

Роман Александра Борщаговского рассказывает о мужественной борьбе горстки защитников Камчатки против соединенной англо-французской эскадры и ее десанта в годы Крымской войны 1853-1856 г.г., завершившейся победой военных моряков парусной "Авроры", русских жителей, казаков Камчатки и аборигенов далекого края)

Александр Михайлович Борщаговский

Русский флаг

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

На чужом рейде.

Забытый край.

Первый удар.

Будни.

Цынга.

Тревога.

Консул Американских Штатов.

Август.

КНИГА ВТОРАЯ

Выстрел.

Идите!

Начало.

Батарея Дмитрия МаксUTOва.

Волки.

Славный край.

"Смертельная".

Десант.

Разгром.

Выстрел унтер-офицера Яблокова.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Чрезвычайный курьер.

Зима.

Ялutorовск.

Мужики.

В Петербурге.

Решение.

"Осени меня, свобода!"

На Восток.

Объяснение.

Есаул Мартынов.

Грач.

Прощание.

"Ловушка".

Подвиг.

В Амур!

Эпилог

К Н И Г А П Е Р В А Я

НА ЧУЖОМ РЕЙДЕ

I

Капитан-лейтенант Изыльметьев стоял у борта фрегата "Аврора" и оглядывал притихший рейд.

Окончился еще один трудовой день, проведенный здесь, в порту Кальяо, вблизи перуанской столицы Лимы. В эти апрельские дни 1854 года на берегу свирепствовала желтая лихорадка, но суда на рейде, несмотря на частые санитарные кордоны, беспрестанно осаждались туземцами, агентами отелей, прачечных и торговых домов. Фрегатский медик Вильчковский дотемна метался по палубе, от борта к борту, и отпугивал лодочников энергичной жестикуляцией. Перуанцы в шляпках и остроносых пирогах, наполненных лимонами, сушеными фруктами, огородной зеленью, останавливались неподалеку от "Авроры" и, завидев офицера или матроса у борта, кричали что-то протяжными голосами.

Русский корабль в здешних местах не частый гость. Суда Российско-Американской компании редко заходят южнее Калифорнии, тут они иногда запасаются продуктами для жителей русской Аляски и компанейских служащих в Ситхе. Военные же корабли и транспорты из Кронштадта предпочитают путь вокруг мыса Доброй Надежды, через Индийский океан, вдоль живописных и богатых островных архипелагов западной части Тихого океана. Вот почему появление в порту русского фрегата сразу привлекло всеобщее внимание.

Торговых агентов ничем не запугаешь. Они обходили кордоны, проскальзывали между пирогами зеленщиков и пытались пришвартоваться к "Авроре". Может быть, фрегат так настойчиво осаждали еще и потому, что он стал мористее других судов у острова Сан-Лоренцо.

Коммерческие суда, с тонкоствольным лесом мачт, с убраным такелажем, и военные корабли других держав стояли на внутреннем рейде, ближе к берегу. Вон там винтовой фрегат Перу, корвет Чилийской республики; неподалеку от него новенький, белеющий в темноте корвет Соединенных Американских Штатов; затем английские, французские суда, крупные фрегаты под контр-адмиральскими флагами - "Президент" и "Форт".

В этих широтах вечер наступает внезапно. Темнота падает разом, приглушая звуки и скрывая утомительно яркие краски.

Опершись усталыми руками о борт фрегата, Иван Николаевич Изыльметьев ловил доносившиеся из темноты обрывки чужой речи, грустные песни берега и всматривался в едва различимые силуэты военных судов. Чувство досады, возникшее в ту минуту, когда он, придя в Кальяо, обнаружил на рейде англо-французскую эскадру, давно прошло. Остались настороженность и напряжение в предчувствии неизбежной и неравной борьбы.

Но действовал он правильно, приведя сюда "Аврору" после изнурительного перехода вокруг мыса Горн. Он выбрал этот порт потому, что английские суда заходят в Кальяо значительно реже, чем в Вальпараисо, что хорошо известно каждому, кто следит за лоджиями и морскими журналами. И не его вина, если с каждым годом становится все труднее избежать встречи с английскими кораблями. Англичане завладели всеми портами и проливами, всюду суют нос, везде пытаются навязать свой распорядок, свою волю.

Из Портсмута Изыльметьев попал прямо в Рио-де-Жанейро, и, право же, придя туда, можно было усомниться, чей это порт - бразильский или английский. А теперь вот Кальяо - желтая полоса прибрежных песков, сухой, встающий за песками хребет Анд, зной, несчастная желтая лихорадка, завезенная из Панамы, и на рейде англо-французская эскадра в полной боевой готовности.

Кроме парусных судов европейских держав тут недавно стоял еще английский пароход "Вилаго". Вчера, едва сошел утренний туман, он взял курс на север, в направлении Панамы. Зачем контр-адмирал Дэвис Прайс, флаг которого развевается на "Президенте", отослал "Вилаго"? За инструкциями, важными депешами или за подкреплением? И не встретит ли "Аврора" в океане, если ей доведется мирно уйти отсюда, "Вилаго" в сопровождении нескольких английских судов? Вероятно, англичане хотят соблюсти приличия: напасть на "Аврору" здесь, в виду перуанской столицы, неудобно - ведь официального сообщения о разрыве между великими державами еще нет. Воюют пока только Россия и Турция. Другое дело в океане - там можно захватить фрегат, и огласки не будет, пока не начнется

война.

Мерцают огни на гафелях судов, все отчетливее выделяясь в сгущающейся темноте. На палубе приглушенные голоса работающих матросов, сиплое, недовольное ворчание боцмана Жильцова, шныряющего по всем закоулкам фрегата. В кают-компании играют на фортепьяно. Вот вступает высокий мужской голос, и мелодия Глинки льется с "Авроры" вверх, к иссиня-черному южному небу...

Поет Виталий Вильчковский, только что отгонявший перуанцев от "Авроры". Удивительно, как меняет его музыка. Красное, рыхловатое лицо уже не кажется грубым, лохматые брови сходятся над переносицей, глаза под стеклами очков закрыты, и, экспансивный обычно, порывистый, он тихо покачивается в такт музыке.

У каждого, кто впервые попадает в кают-компанию "Авроры", вызовет улыбку контраст между доктором и его неизменным аккомпаниатором, лейтенантом Максutowым. Александр Максutow, воспитанник Морского корпуса, один из образованнейших молодых офицеров флота, даже сидя за фортепьяно, не менял холодно-надменного выражения лица. Он играл свободно, и, однако, недовольная гримаса словно говорила о том, что делает он это нехотя, уступая настойчивости товарищей. Смуглое продолговатое лицо насмешника, обрамленное жидкими темно-каштановыми баками, оставалось невозмутимым, хотя тонкие пальцы бегали по клавишам все быстрее. Если бы доктор вдруг взглянул на Александра Максutowа, на прищуренные глаза, из которых смотрели неподвижные, равнодушные зрачки, на капризно выпяченные губы, слова романса, вероятно, застряли бы у него в горле.

Кто-то, мягко ступая, подошел и остановился подле капитана. В тусклом свете фонаря Изыльметьев узнал по забавному, мальчишескому профилю мичмана Пастухова. Хороший будет офицер! Он выделился за эти несколько месяцев исключительно трудного похода. И теперь, на стоянке в Кальяо, когда на фрегате с рассвета до наступления темноты идут ремонтные работы и мелкий, кропотливый труд требует столько внимания и усилий, он всюду поспевает. "Вероятно, привык к труду с детства", - подумал Изыльметьев и окликнул:

- Константин Георгиевич!

Мичман отозвался:

- Простите, я вам помешал? - под русыми усиками, кажется, скользнула виноватая улыбка.

- Пустое! - пробасил Изыльметьев и заметил: - Хорошо поет доктор!

Пастухов вслушался. В памяти ожил гранитный Кронштадт, озабоченное лицо

матери, и на сердце по-юному стало грустно и тепло.

- Хорошо-о-о! - повторил капитан. Он помолчал немного, побарабанил пальцами по борту и сказал: - Вот стою здесь, Константин Георгиевич, и размышляю над превратностями судьбы. Спешили в перуанскую глушь, а оказались на людном проспекте. Тут и англичанин, и француз, и еще двенадцать языков. В Черном море англичанин, может быть, теперь из пушек палит, а у нас здесь визиты да учтивости... А?

В сумраке блеснули глаза Пастухова.

- Вы говорите, Иван Николаевич, об учтивости. Но я, простите, никогда не ждал встретить в просвещенных европейцах столько жестокости и коварства. Сегодня марсовый Климов съезжал на берег за лимонами и видел, как матросы с "Президента" облили кипятком туземцев, приблизившихся к фрегату... - Голос сорвался от напряжения, и мичман, волнуясь, закончил: Этого нельзя так оставить... Мы должны сообщить здешнему консулу.

- Вы уверены, что это было сделано по приказу офицера?

- Матрос на такое сам не решится, - убежденно сказал Пастухов.

Изыльметьев посмотрел в открытое лицо мичмана, слабо освещенное фонарем. Сколько располагающей доброты и простодушия разлито во всех чертах этого некрасивого лица! Крупный, вздернутый и чуть сдвинутый влево нос, на загорелом лице белые бровки, полоска русских усов, большой рот, расползающийся при улыбке к ушам, и серые смеющиеся глаза. Скорый на суждения Александр Максutow как-то отозвался о Пастухове: "Деревенщина". Это было в кают-компании. Иван Николаевич тогда промолчал, хотя и знал, что Пастухов коренной петербуржец. Изыльметьев в ту пору только начинал присматриваться к своим офицерам.

- Вы правы, мичман! - сказал он. - Но к консулу мы не пойдем. Служба этих господ в том и состоит, чтобы учтиво выслушать, пообещать, а затем надуть. Вас ждет еще всякое, Константин Георгиевич, - усмехнулся Изыльметьев и, помолчав, проговорил: - И трудно и горько будет... Русская натура - она ведь широкая, какая-то не форменная, не ложится она в артикул. Вот подите же, Вильчковский доктор, а какой музыкант, как поет! Сойдитесь с ним поближе, узнайте его, - оказывается, он и астрономию понимает, в юности штудировал философов в оригиналах, а теперь книгу о лекарственных травах пишет. Каково! Сам прирос к кораблю, как моллюск, а пишет о травах! Значит, мечта в нем сильнее расчета... И вы, верно, планы строите самые решительные?

- Я о баталии мечтаю, Иван Николаевич. Боюсь, что мы так и останемся в стороне.

- Где уж тут остаться! - Изыльметьев показал на огни судов, полукольцом

охватившие рейд. - Смотрите, как обложили... Стерегут. Баталий и на нашу долю достанется. - Капитан насупленно смотрел в темноту. Десять вымпелов - не шутка! Унести бы ноги, батенька, - сказал он, положив руку на плечо Пастухова. - Не думали ли вы над тем, куда адмирал Прайс отправил пароход "Вираго"?

Ощущая на плече руку Изыльметьева, Пастухов испытывал смешанное чувство удовольствия и стесненности. В то же время он думал, что капитан стареет, - человек, проплававший больше двадцати лет, обойденный чинами и орденами, невольно становится осторожным: бой - это риск, а рисковать любит молодость. Вопрос капитана застал мичмана врасплох, и он неуверенно ответил:

- Не могу знать, Иван Николаевич!

Изыльметьев засмеялся.

- Эх, вы!.. "Не могу знать"... Надобно знать! Все надобно знать, мичман, - сказал он. - Пойдемте-ка к офицерам, послушаем, о чем там шумят фрегатские мудрецы. Баталии у них, что ни вечер, жаркие...

Изыльметьев пересек палубу, загроможденную свернутыми канатами, запасной парусиной, окинул взглядом занятых ремонтом матросов и спустился по трапу к дверям кают-компания.

Пастухов молча последовал за ним. II В кают-компании разгорелся спор об исходе войны с Турцией и о возможных событиях в Европе. Расстегнув мундиры и дымя трубками, офицеры спорили с Александром Максutowым. Оседлав стул и положив узкий подбородок на руки, Максutow сидел спиной к фортепьяно и отвечал противникам то короткими репликами, то ироническими восклицаниями, гримасничая и раздувая подвижные ноздри.

- Вздor! - бросил он Дмитрию Максutowу, стоящему рядом. - Ты превосходно понимаешь, дружок, что говоришь вздор.

- Доказательства! Ты докажи, что вздор!

Полный, подвижный Дмитрий напоминал Александра каким-то далеким родовым сходством, при разительном контрасте каждой черты в отдельности. Он терял терпение, краснел и часто вытирал платком потное лицо.

На фрегате Дмитрия и Александра считают родными братьями: оба они Максutowы и оба Петровичи. В действительности же Дмитрий, троюродный брат Александра, осиротел в раннем детстве, был взят в дом князя Петра Кирилловича Максutowа и усыновлен.

- Доказательства?.. - Александр подумал и невозмутимо ответил: Истину подтверждает время.

- Почему ты решил, что истина в родстве с тобой? - не отставал Дмитрий.

- Не горячитесь, Дмитрий, - вмешался в спор Вильчковский. - Если истина - сестра Александра, она, следовательно, и ваша сестра.

Но Дмитрий не принял шутки:

- Будет вам, доктор! Пусть Александр скажет: почему он считает, что Англия ничем нам не угрожает?

- Англия - цивилизованная страна, - упрямо твердил Александр, освободив правую руку и играя золотой цепочкой часов. - Что англичанам турки, ислам, восточные страсти?.. Англичане попросту привыкли командовать, покрикивать на всех - и только. Пошумят и перестанут.

В углу закричал, заколыхавшись грузным телом, втиснутым в кресло, фрегатский священник иеромонах Иона. Очнувшись от дремоты, он обвел офицеров ленивым взглядом и, убежденный в том, что христианский мир пребудет в полном благополучии, пока удача и доброе здоровье не оставят его самого, повел речь на заученной проповеднической интонации:

- Вероотступники будут прокляты господом богом! Разрушить крест замыслили они, спасти богопротивный, издыхающий исламизм!

Прислушиваясь к словам Ионы, Дмитрий наблюдал за выражением лица брата. Александр тихо сказал:

- Поздравляю! Вот твой союзник и та аргументация, к которой ты неизбежно придешь.

- Ошибаешься, Александр. - Дмитрий сердито повернулся к иеромонаху: Отец Иона, поймите же наконец, что дело не в коране и не в исламе. Англия - страна спокойная, холодная. Для нее война - вопрос торговой выгоды. Господа, вспомните Портсмут, Лондон, вспомните молчаливых джентльменов в черном, самодовольных купцов, - неужели вы думаете, что эти люди захотят пожертвовать хоть одним пенсом ради самого Магомета?!

- Верно, Дмитрий! - поддержал его Евграф Анкудинов, молодцеватый прапорщик корпуса флотских штурманов, усы которого торчали, как два каменных завитка на капители.

Но Дмитрия бесили насмешливые глаза Александра.

- Назови меня практическим философом, циником - я не отступлю ни на шаг от истины. "Цивилизация"! "Честная Англия"! Да будет тебе... Она полмира ограбила, твоя честная, цивилизованная Англия...

- Ты - само преувеличение, Дмитрий! - снисходительно улыбнулся Александр.

- Хочешь точного счета? Изволь... Не Англия ли отняла Гибралтар у Испании, Мадрас у Франции? Не она ли, приставив пистолет к виску китайцев и завладев их портами, обирает до нитки несчастный народ? Не Англия ли алчно поглядывает на Кавказ и Амур?! - Дмитрий обвел торжествующим

взглядом кают-компанию. - А Сцихеллы, которыми прежде владела Португалия? А неисчислимые земли Индийского океана?..

- Мыс Доброй Надежды, - вставил Анкудинов.

Ободренный поддержкой, Дмитрий продолжал:

- Уже не только туземцы, но и голландские колонисты, единоверные европейцы, загнаны в глубь Африки. Да что говорить!.. А Египет, Кандия! Разве не рвет их Англия из рук издыхающей Оттоманской империи, которую она лицемерно вознамерилась ныне защитить?!

- Тем более, Дмитрий. Такую добычу переварить надобно. Англии незачем затевать новую войну.

- А Румелия? - Дмитрий выразительно хлопнул себя по карману. - Почему не заполучить ее? Отчего не прикарманить Константинополь, если обстоятельства позволяют? Торговые кассы Англии бездонны. Она отнимает древние владения у индийских князей и делает их приказчиками английских купцов. Она запрещает землепашцу сеять рис и хлеб, заменяя их маком, чтобы усыпить, отравить опиумом многолюдный Китай, повергнуть людей в скотообразное состояние. - Дмитрий распахнул мундир, словно ему стало душно. - Англия растравляет честолюбие императора Франции, этого, как ты сам говоришь, *parvenu**, и толкает его на войну с Россией. Измена, подкуп, вероломный удар в спину - излюбленные средства господ с Темзы. Вспомните Портсмут, низкую провокацию, в которой были замешаны печать, политические мужи Англии и даже имя королевы Виктории...

* Выскочка. Дмитрий был в ударе. Он чувствовал, что офицеры на его стороне в давнем, начавшемся еще в Портсмуте споре.

Но Александр не сдавался и на этот раз. Спор отвечал его внутренней потребности противоречить людям, испытывать их терпение, злить, наблюдать, как они теряют самообладание, сбиваются с мысли или отступают перед его холодными софизмами.

Изильметьев и Пастухов только что вошли в кают-компанию и остановились в тени, которую отбрасывала фигура Дмитрия МаксUTOва.

- Что ж, господа, - упорствовал Александр, - портсмутская история говорит против ваших аргументов. Кто-то в Портсмуте попытался сманить наших матросов, но стоило проявить известную твердость - и нас оставили в покое. Вместо того чтобы палить из орудий в "Аврору", англичане салютовали нам. Куда как храбро! Зачем же мы летим сюда сломя голову? Зачем испытываем судьбу и ни в чем не повинную "Аврору"? Какие привидения гонятся за нашим капитаном?

- Вы заблуждаетесь, лейтенант, - жестко возразил Изыльметьев, выступив вперед.

Все, кроме Ионы, вскочили со своих мест.

- Садитесь, господа.

Изыльметьев был выше, массивнее собравшихся тут офицеров. Орлиный взгляд светлых, близко сходящихся глаз, тяжелая складка, падающая с большого, ровного лба на переносицу, резко обозначенные черты скуластого лица и, наконец, усы, по-крестьянски свисающие немного вниз, - все это роднило капитана с широко распространенным на юге России типом степняка-хлебороба.

- Вы неправы, - продолжал Изыльметьев, ощупывая суровым взглядом гибкую фигуру Александра. - Ни разу за эти месяцы мы не поддавались панике, не страшились привидений за своей спиной. Я не замечал подобного, господа офицеры. Мы не испугались огня портсмутских фортов, но, господа, у англичан есть пушки, и мы должны о них думать. На вас ведь не партикулярное платье... Да-с, мы спешим, именно спешим, пересекая полмира, чтобы не стать мишенью и упредить тех, кому ненавистен наш флаг...

Александр Максutow не садился. Глядя в сторону, он ответил высоким от волнения голосом:

- Господин капитан! Более недели находимся мы на рейде, бок о бок с теми, кого намеревались упредить, - он нарочито употребил не любимое им слово "упредить", только что произнесенное капитаном. - И что же? Ни пальбы, ни абордажа, ни ультиматумов. Одни любезности французов, визиты да деликатное обхождение...

- Напрасно ты принимаешь это за чистую монету! - воскликнул высокий худощавый юноша, мичман Михайлов.

- Нет! Я знаю цену им. Но в Де-Кастри, куда идем мы, известие о войне придет слишком поздно. Россия победит без нас... - Александр наконец решился взглянуть на Изыльметьева. - Может статься, что "Аврора" вернется в Кронштадт, сохранив по пятидесяти картузов пороха на орудие. - Лицо его искривилось привычной иронической улыбкой: - Разве что на учениях израсходуем немного.

Изыльметьев теперь с любопытством разглядывал лейтенанта.

Александр Максutow - единственный офицер фрегата, который сторонится капитана, не ищет сближения с ним. "Что за странности? - думал Изыльметьев. - Как могли под одним кровом вырасти и воспитаться такие не похожие друг на друга люди?" А Александр и Дмитрий не только росли

вместе, они вместе обучались в Морском корпусе, - честолюбивый Александр отстал от Дмитрия с производством в мичманы всего на несколько месяцев. Но люди совсем разные. Один - живой и общительный, другой - желчный, иронический, порою несносный педант и ментор. Старший - душа нараспашку, гусарская вольница; младший - безупречный офицер, подтянутый, строгий. Дмитрий склонен забывать о дистанции, отделяющей его от матросов; у Александра эта дистанция в холодном взгляде, в резкости тона, в сухости, с которой он разговаривает с нижними чинами. Дмитрий - поэтическая натура, песенник; Александр - искусный, но холодный музыкант. Изыльметьев вспомнил, как офицеры приняли известие о разгроме турецкого флота в Синопе, привезенное голландским купцом из Европы, когда "Аврора" стояла в Рио-де-Жанейро. Капитан давно не видел таких сияющих лиц.

Фрегат салютовал героям Синопа, всполошив многолюдный бразильский порт. Только Александр Максutow стоял бледный, упрямо сжав большие губы. И, может быть, впервые за все месяцы похода он простосердечно сказал Изыльметьеву:

"Я хотел бы находиться там. Как горько покидать Россию в такой час! Ведь можно и поседеть, не понюхав пороха и не выполнив своего предназначения".

Тогда Изыльметьев ответил ему просто, с неожиданной для их отношений душевностью:

"Взгляните на меня: я седой солдат, не нюхавший пороха. Я люблю Россию и готов пролить за нее кровь. Но предназначение солдата - свято исполнять свой долг. Другого пути нет. И не нужно отчаиваться, - может быть, добрая судьба и подарит нас битвой, которой будут завидовать поколения моряков". Пока длилось молчание и офицеры ждали, что скажет капитан, Пастухов сочувственно смотрел на Александра:

"Конечно же, черт возьми, как не понять этого! Поворотить бы "Аврору" и мчаться в Европу, через Атлантику, пройти Гибралтар, грозящий миру английскими батареями, проскользнуть под покровом ночи через Дарданеллы и сказать героям черноморцам: "Здравствуйте! Мы пришли к вам! Мы с вами наперекор всему!" Эх, стар наш капитан!"

Случайно взглянув на Пастухова, Изыльметьев понял, что и мичман разделяет настроения Максutowа.

- Спокойной ночи, господа! - проговорил вдруг Изыльметьев, ссутулясь. - Завтра предстоит тяжелый день. Ремонт надобно ускорить, промедление смерти подобно. Завтра - визит вежливости на английский флагман. - Он усмехнулся: - Прайс зовет чаю откусать и посудачить. Со мною поедут

Анкудинов, Максудов Александр - вы, Александр Петрович, надеюсь поразите их своим изысканным произношением более, чем "Аврора" пушками, еще отец Иона (фрегатский священник прикрыл рукой сладкий зевок) и мичман Пастухов. Спокойной ночи! III Наблюдая подозрительную активность английского флота у берегов Южной Америки, Изыльметьев не раз мысленно возвращался к происшествию в Портсмуте.

Оно отмечено не только в мореходном журнале "Авроры", но и в дневниках молодых офицеров, новичков в заграничном плавании. Что ж, такое не часто случается в жизни моряка.

Изыльметьев не был достаточно изощренным политиком, чтобы постичь истинные цели британских морских властей в портсмутской провокации.

Сын морского артиллерийского офицера, он тринадцатилетним подростком поступил в Морской корпус, в тот год, когда вершился суд над героями 14 декабря.

Тень пяти виселиц пала на Петербург.

Настало лето 1826 года, но декабрьская стужа надолго сковала Россию. Сотни людей ждали приговора. Многие из них были флотскими офицерами, и в доме Изыльметьевых часто с теплом и волнением вспоминали этих отважных людей.

Леденящий взгляд Николая I обратился к Морскому корпусу, и в корпусе всё подчинили воинскому артикулу, шаблону, муштре. Изыльметьеву не раз доводилось наблюдать на смотрах и торжественных церемониях огромную, точно в корсет затянутую фигуру императора. Но запомнился он ему по первой юношеской встрече, взбешенный, с ноздрями, раздувавшимися от ярости.

Был сентябрь 1830 года. Изыльметьев числился уже в гардемаринской роте, после окончания основного курса Морского корпуса. Кадеты корпуса принесли жалобу начальству на плохую пищу. Жалобу оставили без внимания, и более того - рацион с каждым днем стал уменьшаться, словно будущих мореходов приучали к голодному режиму. Однажды воспитанники старших классов встретили в столовой своего унтер-офицера топотом ног и отказались от обеда. Изыльметьев стоял у окна, рядом со своим другом по корпусу гардемаринном Большовым, когда позеленевший от злости унтер с выпученными глазами и вздыбленными, точно медными усами промчался по столовой донести о происшествии начальству.

На следующий день кадетов собрали в общий зал. Опустив седую голову, торопливо пересек зал начальник корпуса Крузенштерн. Дробно бил барабан за стеной, и казалось, что седовласый моряк, имя которого было известно

всему миру, проходит сквозь строй кадетов, навстречу позору и казни. Мог ли он рассчитывать на снисхождение императора, если брат Николая, великий князь Михаил Павлович, не постеснялся сказать однажды на смотре сбившемуся с ноги Крузенштерну - нарочито издевательски: "Странно! Крузенштерн кругом света обошел, а вокруг манежа не умеет!"

Едва кадеты успели построиться, как в дверях появился Николай. Чеканя шаг, он двинулся прямо к гардемаринской роте.

"Унтер вернулся! - мелькнула озорная мысль у Изыльметьева. - Наш глазастый унтер с пучком розог в руке!"

Царь вплотную подошел к шеренге и впился водянистыми глазами в лица ближайших к нему кадетов.

- Подлецы! - закричал он, раздувая ноздри.

Шеренги замерли, затаив дыхание.

- Бунтовать вздумали?! - Николай только входил в раж и скандировал каждый слог. - Я вас научу повиновению! Я напому вам разницу между Петербургом и мятежным Парижем! Или пример парижской черни вскружил вам дурацкие головы? Отечество печется о вас, а вы отплачиваете мне бунтами, заговором, якобинством! - Рука Николая поднялась, словно для удара, но стоявшие в первом ряду не шевельнулись. - Немедля выдать зачинщиков! - в исступлении затопал он ногами. - Не то всех в солдаты! Кто зачинщики?

Молчание. Слышно, как втягивает воздух страдающий одышкой Крузенштерн. В углу взвизгнул и захныкал кто-то из первогодков.

Неожиданно из строя вышел Большов.

В первое мгновение Изыльметьев хотел схватить друга за рукав, оттащить назад. Но было уже поздно.

- Я зачинщик! - спокойно сказал Большов. Только меловая белизна лица и неожиданно обострившиеся скулы выдавали его волнение.

Николай приказал сослать Большова на флот простым матросом и висель при всех воспитанниках корпуса. Затем, круто повернувшись на каблуках, он прошел через зал и, так же чеканя шаг, скрылся, даже не кивнув Крузенштерну.

Жертва Большова оказалась бесцельной. Через три недели после происшествия из гардемаринской роты отчислили шесть - десять человек, более ее половины. Их послали в полки рядовыми. Нескольких "счастливчиков" произвели в унтер-офицеры и направили на Кавказ, в гарнизоны, где их ждала почти верная смерть.

В корпусе Изыльметьева прозвали "татаринком" за скуластое, обветренное лицо с чуть раскосыми глазами и за странную фамилию. Лоска, светскости в

нем и в помине не было, да и откуда бы им взяться: дом Изыльметьевых не отличался ни богатством, ни родовитостью.

Медленно продвигался Изыльметьев по службе, опережаемый сокурсниками и именитой молодежью. Тендер "Лебедь", транспорты "Волга" и "Або" - вот те суда, которые вверялись ему долгое время. И только в 1849 году, через восемнадцать лет по выходе из Морского корпуса, капитан-лейтенанта Изыльметьева назначили командовать корветом "Князь Варшавский". Не жаловали его и орденами. Мундиры удачливых сверстников уже сверкали наградами, а его Адмиралтейство и двор одарили лишь Анной третьей степени. Штабные офицеры, "паркетные мореходы", как называл их Изыльметьев, насмешливо посматривали на седеющую голову капитана и на необъятную, почти лишенную знаков отличия грудь. "Туп, вероятно, - думали они. - Служака, прилежания отменного, а талантами бог обидел. К тому же зашибает и в языках безнадежен..."

Капитан транспорта "Або" Изыльметьев старался не попадаться на глаза преуспевающим офицерам, а встречаясь с ними, держался независимо и даже грубо. Он принадлежал к числу тех скромных талантливых русских натур, которые только и ждут трудного времени, чтобы подняться во всем величии своей души. Ждут, сами того не ведая и не тцась показаться лучше и умнее окружающих.

Но придет ли это время?

Когда в Кронштадте стало известно, что "Аврора" пойдет вокруг света, но не с прежним командиром, Изыльметьев нахмурился.

- У нас всегда так, - говорил он, - хоть и хуже придумают, а непременно другого.

И вдруг пришло ошеломившее всех известие: командиром "Авроры" назначен Изыльметьев, притом ему даже дозволено лично избирать и офицеров и нижних чинов. Толкам и пересудам не было конца. А удивляться, в сущности, не следовало. Фрегату, старевшему и по корпусу и по вооружению, предстояла трудная задача, поэтому к исполнению был призван человек практический, отлично знающий морское дело.

В первом же крупном европейском порту Изыльметьеву действительно пришлось решать сложные задачи, которые не предусматривались ни программами корпусных занятий, ни опытом его многолетних плаваний в Балтике и Немецком море.

Случилось это в Англии.

Портсмут - обычная остановка русских судов для их осмотра и ремонта перед выходом в просторы Атлантики. "Аврора" пришла в Портсмут в ноябре 1853

года. Для экипажа фрегата, пока он чинился, портовые власти отвели старое английское судно "Викториус". Корпус "Авроры", заложенной на охтенских верфях в Петербурге и спущенной на воду еще в 1835 году, нуждался в основательном ремонте. Портсмутские склады и мастерские ломались от запасов корабельных материалов, их, кажется, хватило бы на все флоты мира, но для "Авроры" не находилось подчас даже куска парусного холста, каната или нескольких листов меди. Тягучей чередой шли дни, густые туманы накрывали "Аврору", и люди на "Викториусе" томились в ожидании того часа, когда свежий ветер разорвет туман и наполнит паруса готового к походу фрегата.

Офицеры часто съезжали на берег, ныряли в непроницаемый туман, бродили по грязным улицам Портсмута и возвращались на "Викториус" злые, раздраженные, с пачками газет, в которых каждый успех русских армий на Дунае вызывал поток бранных слов и клеветы.

Но если у офицеров "Авроры" все же были некоторые развлечения поездки в Лондон, музеи, театры, встречи с офицерами русского корвета "Наварин", тоже стоявшего в здешних доках на ремонте, - то матросов Изыльметьев на берег почти не пускал. В портовых городах Англии участились случаи холеры. К тому же выходки завсегдатаев портсмутских кабаков уже не раз приводили к дракам. Аврорцы не любили оставаться в долгу. Вмешивалась полиция.

Матросы работали на "Авроре", изредка ездили на склады, на якорный завод и, лишь рассеивался туман, глазели на путаницу домиков, сбегавших к самой воде, на темную полосу крепостной стены и белый дымок паровоза, увозившего желтые вагоны из Портсмута в Лондон.

Все же однажды в начале декабря Изыльметьев отпустил на берег пятерых бывалых матросов, на которых можно было положиться, и с ними еще первогодка марсового Мишу Климова. Он молча шагал рядом с матросом первой статьи Семеном Удалым, приглядываясь к портовой сутолоке. Еще у причалов за ними увязался какой-то плешивый старик. На ломаном русском языке он назвал себя служащим арсенала. Длинный, как вечерняя тень, неопрятный, он походил на спившегося человека, выброшенного за борт жизни.

Бомбардир Семен Удалой, признанный вожак фрегатских матросов, был уверен, что этот журавль, смешно запрокидывающий голову, раскиснет после первой же рюмки. Но он не раскис. Привел моряков в просторный кабак, разделанный под дуб, распорядился как хозяин и пил не хуже других. Непривычного к вину Мишу Климова мутило. Он сидел неестественно прямо,

стиснув до боли в висках челюсти, и таращил глаза на краснолицего кабатчика.

У кабака их ждали два вместительных кэба и какие-то люди. "Very good!",* "Карашо, русски seaman!"*: Они знают, куда повезти русских матросов! Плешивый многозначительно подмигнул.

* Очень хорошо!

* Матрос. - Свистать всех наверх! - подал команду Удалой и, пошатываясь, первым полез в полумрак кэба.

Ехали долго, подпрыгивая на ухабах, плюхаясь в ямы, так что сквозь щели в полу матросов обдавало жидкой грязью дороги.

- Чертова колымага! - ворчал Удалой, ударяясь головой о ржавые ребра кэба.

- Похуже нашего гроба будет. Тоже, видать, старой постройки и с дырками в зад...

Пахло потным войлоком и старыми кожами.

Трясая езда и сырой полумрак отрезвили матросов. Подъезжая к Гилфорду, они подозрительно стали посматривать на своих провожатых, уже не казавшихся, как час назад, добрыми, сердечными малыми.

Удалой попросил остановить экипаж. Но матросам объяснили: они сейчас так далеко от Портсмута, что все равно не смогут вернуться к назначенному часу. Да и капитану "Авроры" уже дали знать об их дезертирстве. Русский капитан поверит, конечно, скорей полиции, чем беглецам. Впрочем, матросам тревожиться нечего: их довезут до Лондона, дадут адреса, они получают там по двадцать фунтов стерлингов, и, если пожелают, им предоставят место на любом торговом корабле Англии...

Семен ударил тяжелым сапогом в дверь кэба. Кэб накренился, но дверь не подалась.

Драка началась сразу, молчаливо, деловито. Только плешивый взвизгнул и забился в угол. Задний кэб мирно потряхивало на гилфордских булыжниках, тогда как с передним стали твориться чудеса. Его качало и кренило, кожаные бока вспухали то в одном месте, то в другом, глухие удары и тяжелое сопение в кэбе слышали даже прохожие. Возница растерянно оглядывался, не зная, остановить лошадей или ехать дальше. Люди, нанявшие кэб, слишком хорошо знакомы ему, - они приказали гнать лошадей и не простят "кэббиста"* остановки. Они сумеют испортить ему жизнь.

* Уменьшительное от "кэбмен" - извозчик, возница. Но вот, затрещав, дверь распахнулась, и на грязную узкую мостовую выпали двое. А внутри кэба

продолжалась драка. Протяжно выл плешивый, защищаясь ногами от ударов Миши Климова. Кэбмену пришлось остановить лошадей. Стала собираться толпа зевак. Над ними в тумане зажигались гилфордские "звезды" - тусклые газовые фонари. Появился полицейский инспектор, несколько матросов и флотских офицеров, которых всегда бывало много по пути из Портсмута в Лондон.

Удалой поднялся с земли. Рябой, весь в грязи, в разорванной до пояса рубашке, с непокрытой головой, он оглядел толпу серыми выпуклыми глазами, глубоко вздохнул, улыбнулся всем своим большим лицом и сказал как-то невзначай:

- Спасите, людей добрые! Сами видите...

В толпе оказался мичман Попов с "Авроры". Он хотел увезти матросов, но плешивый вознамерился было помешать этому, шепнув полицейскому инспектору, что русские дезертировали и просили доставить их в Лондон, под защиту английских властей. Плешивого тут, видимо, знали: из толпы полетели ругательства, кто-то свистнул, с тротуара швырнули в него комом грязи.

Мичман настаивал, резко, запальчиво, - он уловил кое-что из слов плешивого и понял, какой бедой грозит эта история "Авроре".

Полицейскому инспектору пришлось усадить матросов в кэб и отправиться в Портсмут. Плешивый устроился рядом с "кэбби", но, отъехав несколько миль от Гилфорда, он попросил придержать лошадей и скрылся в темноте уходящей куда-то в сторону пустынной проселочной дороги.

До самого Портсмута полицейский инспектор не проронил ни слова, он лишь бормотал себе под нос извинения, когда от неожиданных толчков наваливался на сидевшего в углу мичмана. На "Викториусе", где по-прежнему находился экипаж "Авроры", уже хватились матросов. Старший боцман Жильцов доложил об их отсутствии вахтенному лейтенанту Александру Максutowу, Максutow - помощнику Изыльметьева, капитан-лейтенанту Тиролю. Тироль оставался в каюте, но часто требовал к себе Жильцова, и всякий раз, возвращаясь от помощника капитана, боцман нетерпеливо похаживал вдоль фальшборта, всматриваясь в проходящие шлюпки. Тревога нависла над палубой старого корабля, где все было чужим и непривычным для экипажа "Авроры".

Изыльметьева на "Викториусе" не было. Он съехал на берег еще днем и отправился в Лондон, поручив экипаж помощнику.

Тироль старался скрыть охватившее его злорадное чувство. Еще в Кронштадте друзья, узнав о предложении Изыльметьева, предупреждали

Тироля, что плавать с Иваном Николаевичем будет нелегко. Тироль мог отказаться от лестного предложения, подождать самостоятельного назначения, - в конце концов, они в одинаковом с Изильметьевым чине.

Но Тироль не отказался. Вспомнил молчаливого "татарина", своего добродушного товарища по Морскому корпусу, - и дал согласие. Теперь Тироль раскаивался, досадовал на себя, но дела уже не поправить.

Более всего опасался Тироль того, что какой-нибудь опрометчивый шаг Изильметьева может повредить его, Тироля, карьере. Уже участвуя в последних приготовлениях "Авроры", он, к ужасу своему, увидел, как велико неодобрительное отношение сановников Адмиралтейства к Изильметьеву. Сомнения уже тогда одолевали осторожного помощника капитана, но отступать было поздно. А едва только фрегат вышел в открытое море, Изильметьев стал круто наводить порядки.

Начал он с Жильцова, старшего боцмана фрегата. Жильцов до "Авроры" плавал с Тиролем, он был опытным, неутомимым моряком и жестоким человеком. Широколицый, с большим, чуть приплюснутым носом и подозрительным взглядом немигающих светлых глаз, Жильцов умел держать нижних чинов в повиновении и страхе. Сам Тироль редко пускал в ход кулаки - этому мешала брезгливость. С Жильцовым Тироль чувствовал себя спокойно: нужно было только не замечать вышибленных зубов, распухших носов, исполосованных спин. А Тироль умел смотреть поверх голов!

Изильметьев проучил Жильцова, он приказал ему вывернуть карманы и выбросить за борт линьки, которыми боцман так злоупотреблял. Не прошло и недели, как в кармане у боцмана завелся новый, аккуратно свернутый линек, но матросы втихомолку потешались над Жильцовым: то и дело кто-нибудь из них появлялся на палубе с карманом, будто невзначай вывернутым наизнанку. Искуснее других проделывал это марсовый Миша Климов, смуглый, черноволосый матрос, прозванный на фрегате Цыганком: он ухитрялся неожиданно возникнуть перед самым носом старшего боцмана и, поймав на себе его яростный взгляд, так натурально умел удивиться и торопливо заправить карман, что Жильцов только зубами скрежетал.

Старший боцман искал поддержку у Тироля, но встречал лишь осторожное сочувствие и в душе начинал уже презирать помощника командира. Тироль чувствовал это, знал, что и младшие офицеры решительно держат сторону Изильметьева, и бесился, становясь все более замкнутым, сухим, педантичным.

После семи вечерних склянок Тироль поднялся из каюты на палубу "Викториуса". Оставалось полчаса до полуночного колокола. Темнота

окружала судно, вдали тускло светились огни порта и мигали сотни фонарей на гафелях торговых судов. Порой по заливу проползали желтые огоньки, но ни один не поворачивал к "Викториусу". На шкафуте покашливал, поджидая матросов, Жильцов.

- Боцман! - окликнул его Тироль.

Жильцов мигом предстал перед Тиродем. Коренастый, плечистый, со стареющими, в глубоких, мягких складках лицом, он вытянулся в струнку перед Тиродем.

- Вахтенного лейтенанта ко мне, - приказал Тироль, чуть подавшись назад и брезгливо морщась от хлынувшего на него сивушного духа. С-с-котина! - добавил он с равнодушной злостью. - Опять нажрался...

Явился Александр Максотов. Они долго стояли молча, точно не замечая друг друга, наблюдая за движением редких запоздалых шлюпок.

- Неужто дезертировали? - проговорил наконец Тироль.

- Не думаю. Напились, верно.

- Хамье! - выругался Тироль. Он впился настороженным взглядом в далекие, едва различимые огни берега, словно надеялся увидеть там матросов "Авроры". - Из любого портсмутского кабака они уже давно бы вернулись на судно. Приползли бы, не новички...

- Из кабака прямая дорога в полицию, - заметил лейтенант. Английская полиция весьма бдительна.

- Не следовало пускать их на берег, - тихо сказал Тироль.

- Рано или поздно это пришлось бы сделать...

- Да-а... - досадливо протянул Тироль и приник к борту.

К "Викториусу" быстро приближалась шлюпка.

Полицейский инспектор добросовестно изложил Тиролю все, что шепнул ему в Гилфорде плешивый. Матросы дезертировали. Они напоили кассира здешнего арсенала ("Примерной честности малый", - вставил инспектор ровным, бесстрастным голосом), посулили ему денег за то, что он проводит их до Лондона. Подъезжая к Гилфорду, кассир протрезвел, стал корить матросов, но был ими избит. Собралась толпа, и беглецов удалось задержать. Вот и все.

Инспектор даже не поднялся на палубу: пропустив вперед матросов, он остановился на последней ступеньке трапа, всем своим видом свидетельствуя беспристрастность и точность полицейского донесения.

По мере того как до Тироля доходил смысл отрывистых фраз инспектора, его охватывала неодолимая, как от озноба, дрожь. На какой-то миг мозг пронзила злорадная мысль: "Началось! Теперь капитану не поздоровится!

Придется ответить за вредное для военного корабля попустительство". Но сразу же все захлестнула ярость, какой Тироль и сам не подозревал в себе. Неясно, словно с далекого, чужого корабля отдались в мозгу удары полуночного колокола. Помощник капитана торопливо поблагодарил инспектора и, едва тот спустился по трапу в шлюпку, кинулся к провинившимся матросам. Тироль оттолкнул мичмана Попова, который порывался что-то сказать ему, задел плечом Александра МаксUTOва и обрушился на Цыганка, стоявшего ближе других.

Тироль задыхался от гнева. В долговязом, тощем с виду теле обнаружилась злая, собранная сила, костистый кулак бил без промаха по лицу Цыганка. Кровь текла из носа, из рассеченного надбровья.

Александр МаксUTOв не видел Цыганка. Бледнея и вздрагивая натянувшимися, как струна, мускулами, он впился взглядом в Тироля. Было что-то гадливое и в то же время заразительное, влекущее в том, как бесновался Тироль, утверждая свою власть над провинившимся матросом.

Привлеченные ругательствами Тироля, на палубу поднимались офицеры. Заспанный Вильчковский на ходу возбужденно спрашивал о чем-то. Дмитрий МаксUTOв тревожно окликнул брата.

От резкого движения фуражка слетела с головы Тироля, открыв глянцевитую, блестящую под светом фонаря лысину.

Боцман ловко подхватил покотившуюся по палубе фуражку, но холодный ветер уже охладил пыл Тироля. Он вдруг увидел и блестящие от возбуждения глаза вахтенного лейтенанта и насупленные, напряженные лица матросов.

- В кандалы! - прохрипел Тироль, резко повернувшись к вахтенному лейтенанту. - Посадить на хлеб и на воду, впредь до суда!

Унтер-офицеры кинулись выполнять приказ командира. Принесли тяжелые кандалы. Но марсового Климова доктор Вильчковский уложил в лазарет.

В каюте Тироль отыскал изданный в 1851 году в Морской типографии "Свод морских уголовных постановлений". Дрожащие пальцы не сразу захватывали плотные, с золоченым срезом листы. Какую бы страницу ни открывал наугад капитан-лейтенант, она угрожала матросу казнью, вечным поселением в Сибири, тысячами ударов палок, розог, шпицрутенов, линьков, ременных "кошек", грозила заключением в казематы, тюрьмы, на гауптвахты, на бак и под бак. Если матрос потеряет сознание под ударами палача, высочайше повелевалось отправить его в лазарет, выходить - затем только, чтобы по выздоровлении продолжать наказание, до тех пор, пока матрос не получит сполна назначенное число ударов.

Наконец Тироль нашел параграфы, относящиеся к побегам матросов с

кораблей, и призадумался.

Случай, оказывается, не из легких. Матросов слишком рано вернули на "Викториус" - только по истечении суток дезертирство считалось установленным и подлежало наказанию по всей строгости военного времени. Нельзя считать Англию неприятельской страной, а Портсмут вражеским портом, несмотря на явную враждебность парламента и газет. Но, с другой стороны, Россия воюет с Турцией, и побег аврорцев следует расценить как преступление военных моряков в военное время! Важно и свидетельство полицейского инспектора - точное, неопровержимое... Чем дольше размышлял Тироль, тем тверже становилось его убеждение, что матросам не избежать строгого суда. А роль презуса суда волей-неволей придется взять на себя Изыльметьеву. Так повелевает закон.

Тироль остыл, размышления вернули ему обычную осторожность, и тут-то он неожиданно вспомнил лицо мичмана Попова, порывистое движение молодого офицера, оставившее в сознании капитан-лейтенанта какую-то необъяснимую досаду. Да, мичман хотел что-то сказать...

Тироль вызвал Попова.

- Вы, кажется, имели что-то сообщить мне, мичман? - сухо спросил он, чувствуя враждебную настороженность Попова.

- Да, господин капитан-лейтенант!

- Ну те-с... - Тироль не сделал привычного для него плавного жеста: "Прошу вас, садитесь..."

- Еще час назад я хотел сказать вам, господин капитан-лейтенант, что не считаю провинившихся матросов дезертирами...

- Вы что же, были с ними в кабаке, мичман?

Попов задержал дыхание. Каштановые усики, бакенбарды и карие глаза резче обозначились на бледном лице.

- Я случайно встретил матросов в Гилфорде...

- Значит, они бежали! - воскликнул Тироль.

- Матросов увезли обманом. В Гилфорде они затеяли драку, чтобы вырваться на свободу.

- А кассир портсмутского арсенала?

- Агент! - уверенно ответил мичман, вспомнив плешивого. - Полицейский агент...

Тироль поднялся.

- Будьте осмотрительны, мичман, - здесь затронута честь "Авроры", честь нашего флага. Самое мягкое, но благородное сердце должно забыть о жалости. Побег - и в это время!

- Я был свидетелем всему, - с усилием проговорил Попов, - я прошу вас смягчить участь матросов. - Ему трудно было просить и смотреть в белесые, с покрасневшими веками глаза Тироля.

Тироль отчетливо представил себе офицеров фрегата. Вероятно, многие, несмотря на поздний час, не спят, ждут возвращения Попова. Сквозь длинный ряд каютных переборок он физически ощутил неприязнь молодых офицеров. Но это чувство только раздражало и злило его.

- Вы отрицаете самую возможность дезертирства, мичман?

- С "Авроры" матросы не могут... - Попов запнулся, - не должны бежать...

- Почему?

- На "Авроре" благодаря Ивану Николаевичу... - взгляд Попова скользнул по переборке, по аккуратной койке командира, - благодаря вам, господин капитан-лейтенант, отношение к нижним чинам столь гуманно, столь человечно...

- Хорошо, - отрезал Тироль, - идите.

И Тироль принял решение. Пусть относительно суда распорядится сам Изыльметьев, когда вернется из Лондона. Презусом суда может быть только он, командир корабля, вольно ему и отказаться от этой роли и самому понести наказание за попустительство.

Утром экипаж "Авроры" выстроился на палубе "Викториуса". День был на редкость туманный. Плотные ряды нижних чинов уходили куда-то в белесую мглу.

С бака привели беглецов.

Взоры всего экипажа приковал Цыганок. Матросы любили его. Несмотря на молодость, он был марсовым; природная ловкость и сметливость помогли ему нести трудную и почетную службу. Открытый и добрый характер, задушевность этого горячего и настойчивого парня сразу расположили к нему товарищей. Цыганок был грамотен - он одолел эту премудрость в детстве милостью сельского дьячка. Матросы охотно доверяли ему свои мысли и любили слушать, как под пером Цыганка их сердечные слова превращаются в складные строки писем на родину.

Лицо Цыганка распухло, только выпуклый, чистый лоб оставался нетронутым. Тироль придирчиво огляделся. Бросилось в глаза почти полное отсутствие офицеров. Чуть поодаль стоял Александр Максотов, еще дальше, у гот-мачты - рослый Евграф Анкудинов и мичман Пастухов. Доктор Вильчковский нетерпеливо переминался с ноги на ногу рядом со старшим боцманом. Тироль подумал, что в такую промозглую погоду Вильчковского, вероятно, мучает ревматизм, лучше бы ему сидеть у себя в каюте. Но доктор пришел, служба

обязывает его находиться здесь, а молодые, здоровые офицеры сказались вдруг больными... Черт с ними!

Заметив в руках у боцмана и унтер-офицеров ременные "кошки", Удалой успел шепнуть Цыганку:

- Хребет береги. Кошка и хребет сечет...

- Поберегу.

Боцман Жильцов сжимал в руке "кошку". Три ребристые кожаные полосы свисали на влажную палубу.

Удары "кошкой" - самое тяжелое из всех телесных наказаний на флоте. Даже правительственными распоряжениями каждый удар треххвосткой приказано было засчитывать за двадцать ударов шпицрутенами.

Жильцов знал, что доктор никому из унтер-офицеров не позволит нанести больше пяти ударов "кошкой", иначе он не стоял бы тут, сердито поблескивая очками.

Неторопливо, подолгу отдыхая, наносил Жильцов удары по смуглой гибкой спине Цыганка. Медленно поднималась длинная деревянная рукоять, над ней змеей вставало ременное плетиво "кошки", а три кожаных конца послушно откидывались назад. Сотни глаз следили за неподвижной, застывшей в воздухе "кошкой". Но никто не мог уследить за ее падением. Ремни рассекали воздух и впивались в тело матроса, оставляя нетронутой смуглую глубокую канавку посреди спины. Цыганок из последних сил берег хребет.

Цыганку доставалось хуже, чем остальным матросам, которых били "кошками" унтер-офицеры. Нанося удар, Жильцов как-то странно приседал, откидывался назад, ремни раздирали рану, причиняя тяжкую боль. Глубокие рубцы ложились вплотную друг к другу, и после пяти ударов на спине Цыганка появилась широкая полоса иссеченного кровоточащего мяса.

Удалого с товарищами снова увели в кандалах на бак, а Цыганка унесли - и на этот раз надолго - в лазарет.

К вечеру на "Викториус" прибыл встревоженный Изыльметьев. Утренние лондонские газеты вышли с подробными описаниями "побега шести русских матросов с русского фрегата "Аврора". Консервативный "Таймс", либеральная "Дейли Ньюс" и десяток других газет - от правительственных официозов до крикливых листков оппозиции - обрушились на "Аврору" и ее капитана.

Изыльметьев внимательно выслушал своего помощника. То, что рассказывал Тироль, слишком точно совпадало с газетными отчетами, чтобы быть правдой. Подозрительными были и согласный хор газет и то обстоятельство, что многие редакции за одну ночь оказались в равной мере осведомленными в подробностях дела. Значит, тут действует какая-то сознательная,

располагающая могущественными средствами и враждебная "Авроре" сила. В дезертирство матросов Изыльметьев не верил - он слишком хорошо знал каждого из них.

- Матросов немедля расковать, - сказал Изыльметьев после тягостного молчания. - Они понесли достаточное наказание за оставление Портсмута. Подобное не должно повториться на "Авроре".

- Рискованное решение, - заметил Тироль, внутренне закипая. Дисциплина экипажа, подчинение, престиж старшего офицера - все ставится на карту!

- Матросов наказали - и наказали сурово, - повторил Изыльметьев упрямо. - Все дело в том, считать ли их дезертирами или нет. Вы, как, впрочем, и эти лондонские господа, - он бросил на стол пачку привезенных на "Викториус" газет, - считаете матросов изменниками, я держусь иного мнения...

Тироль, однако, не унимался. Не скрывая злости и досады, просил об отправке матросов в Кронштадт с корветом "Наварин" или даже с торговым кораблем, ссылаясь на то, что, согласно высочайше одобренным постановлениям, умыслом к преступлению почитается "обнаруженное какими-либо действиями намерение учинить оное, хотя бы при том и не было произведено ни самого преступного действия, ни покушения к оному", просил, по крайней мере, оставить беглецов в кандалах до выхода в Атлантический океан.

Но Изыльметьев был непреклонен.

- Оставив их в кандалах, мы подтвердим клеветы врагов. Слуга покорный - я не намерен этого делать! Кошка на "Авроре"! - угрюмо проговорил Изыльметьев. - Какой позор!

Капитан назначил матросам особую присягу "для очищения подозрения", как командир корабля, он имел на это право.

Пройдя на бак "Викториуса", где унтер-офицеры снимали кандалы с матросов, Изыльметьев сердито обратился к Удалому:

- Бежать вздумали?! Опозорить "Аврору" и мою седую голову!

- И в умысле этого не имели, ваше высокоблагородие, - взмолился Удалой.

- А все-таки бежали?!

Удалой сказал дрогнувшим голосом:

- Легче смерть принять, чем чужой земле предаться. Обманом взяли нас... Своя-то земля и в горсти мила... Опасения Изыльметьева относительно организованного характера травли экипажа "Авроры" полностью подтвердились на следующий день. Заговорили политики, парламентские ораторы, добродетельные буржуа и активистки филантропических обществ. Джентльмены, хладнокровно организующие убийство миллионов цветных

людей, прониклись евангельским сочувствием к шести "невинным христианам, которых пытаются и, несомненно, убьют так же безжалостно, как убивают несчастных турок на Дунае". Заговорил о попрании гуманнейших законов Англии искавший популярности прокурор Чарльз Рональдс. Раздраженный "Таймс" писал, что офицеры русских судов "находятся здесь на положении шпионов".

В эти дни работы на "Авроре" подходили к концу. При попутном ветре можно было вскоре уйти с портсмутского рейда.

Пятого декабря на борт "Викториуса" поднялся полицейский инспектор с предписанием препроводить бежавших матросов к председателю верховного суда Англии.

Изыльметьев медленно читал предписание и обдумывал, как поступить.

"...the writ of Habeas Corpus"*.

* The writ of Habeas Corpus - предписание о представлении арестованного в суд для рассмотрения законности ареста. Пристальные глаза капитана не спеша ощупывали бумагу, скользили по фигуре инспектора, застывшей на фоне серого декабрьского неба. Можно и отправить матросов с этим самоуверенным индюком. Ничего с ними, конечно, не станется, страсти поутихнут, и матросов вернут на "Аврору", снабдив их какой-нибудь длинной наравоучительной бумагой.

Но отпустив матросов в Лондон, капитан не сможет уйти из Портсмута. Людей бросать нельзя, нельзя вычеркнуть их из корабельных списков. Да и уход "Авроры", пожалуй, сочтут за бегство, за признание вины.

Нет! Уходить без матросов нельзя. Что же делать? Ждать? Ждать дни, недели, пока самый медлительный суд в мире разберет дело. Смотреть в непроницаемые лица судейских, на их пудренные парики, читать в газетах вздорные парламентские запросы о шести русских моряках, сносить всю грязную возню вокруг "Авроры" и в бессилии наблюдать, как свинцовые волны Темзы свободно бегут в открытое море. Они хотят, чтобы "Аврора" теряла время - как раз то, чем Изыльметьев дорожил больше всего. Им нужно задержать "Аврору", заставить ее простоять в Портсмуте, не пустить в Де-Кастри, к восточным берегам России. Изыльметьев еще не понимал подлинных причин провокации, но чувствовал, что нельзя терять ни одного дня. Что-то нужно придумать! К сожалению, русского консула нет, он в отъезде, а вице-консул струсит, постарается умыть руки.

Изыльметьев презрительно помахал бумажкой и решительно произнес:

- Это недоразумение. Матросы не бежали, их пытались увести силой!

Инспектор бесстрастно кивнул головой.

- Все они на свободе. Удалой! - окликнул Изыльметьев матроса.

Удалой подскочил и встал навытяжку перед капитаном.

- Вот один из них.

Инспектор не повернул головы, не повел глазом, хотя матрос давно узнал одного из своих гилфордских знакомых и хитровато подмигивал ему.

- Именем ее величества я доставлю матросов в помещение верховного суда Англии, - невозмутимо сказал инспектор.

Изыльметьев вскипел. Сжал в руке полицейский приказ, шагнул к инспектору и сказал отчетливо:

- Если бы предписание действительно исходило от ее величества, оно было бы адресовано нашему послу или консулу! - И он швырнул предписание за борт.

Инспектор и сопровождавшие его полицейские бросились к сеткам. На мутных волнах, среди щепы, шелухи и грязной портовой пены, покачивалась скомканная бумажка.

На следующее утро портовым властям было предписано именем королевы Виктории препроводить в верховный суд "не только матросов-беглецов, но и дерзкого капитана Исламатова".

"Аврора" стояла готовая к отплытию. Изыльметьев спокойно прохаживался по палубе фрегата.

А седьмого декабря днем он приказал поднять паруса и на глазах у большой толпы, возбужденной скандалом, мимо коммерческих судов всех наций вывел фрегат в море. Портовые власти, растерявшиеся в первые минуты, вынуждены были салютовать "Авроре" пушечной пальбой.

Так они поступали всегда, когда иностранный военный корабль покидал гавань. IV Благообразный джентльмен Дэвис Прайс не в первый раз ссорился с командующим французской эскадрой контр-адмиралом Феврие Депуантом. С третьего апреля, когда потрепанная сильнейшими штормами "Аврора" пришла в Кальяо, кончились салонные беседы, воспоминания, любезности, маскировавшие взаимное неуважение этих двух светских людей.

Слова Прайса падали веско, в них сквозили нетерпеливость, раздражение:

- Адмирал, вы не хотите считаться с фактами. Это неблагоприятно.

Они давно оставили удобные кресла и стояли у иллюминатора адмиральской каюты, поглядывая на "Аврору".

- Есть более высокие добродетели, чем благоразумие, мой адмирал, сказал Депуант. - Честь, например. Честь офицера не должна быть запятнана.

Прайсу давно наскучил лощеный старичок, его заученный тон и дешевый

артистизм. Сколько чувства вкладывает он в самые простые слова: "адмирал", "мой адмирал". Он произносит их так, словно говорит: "Мой император!" А в сущности - пустота. Никакого чувства.

- Моральные проповеди! Они полезны мичманам. Контр-адмиралу можно следовать доводам здравого рассудка, не обращая внимания на моральные пугала. Оставьте их детям и неудачникам, адмирал.

Прайс - долговязый старик, неаккуратный, не замечающий своей неаккуратности, повсюду соривший табак, крошки, пепел. Когда он улыбался, обнажались бледные, старческие десны и крупные, лошадиные зубы. Сухой, тонкий рот и злые, назойливые глаза придавали лицу иезуитскую жесткость.

Он смотрел на маленького Депуанта с высоты ста восьмидесяти шести сантиметров своего роста. Белая бородка клинышком, пушистые белые усы француза и седые бакенбарды - и в этом благородном обрамлении пунцовые губы, багровые щеки, покрытые сеткой фиолетовых прожилок, склеротические глаза.

- В Сан-Франциско уже смеются над нами, - сказал Прайс, протягивая собеседнику калифорнийский "Таймс". - Взгляните!

Депуант стал читать. "Таймс" писал, что Тихий океан сделался обширным поприщем для русских военных судов. "В Тихий океан выслано несколько русских военных судов, которые в настоящее время появляются в разных портах и, по-видимому, мало обращают внимания на английские и французские суда, находящиеся здесь". Последние слова были подчеркнуты Прайсом.

Француз небрежным жестом положил газету на стол.

- Янки ждут не дождутся, когда мы сцепимся с русскими, - заметил он небрежно. - Новейший американец - сама предприимчивость. Он привыкает думать о Тихом океане как о собственном владении. Бьет китов у берегов России, покупает все, что произрастает на Сандвичевых островах, и благодаря практическому направлению ума достигает цели. Американец опасается, что Россия однажды поймет свою силу, создаст флот на востоке раньше, чем это сделают Штаты. Тогда, мой друг, янки придется потесниться.

- Адмирал остановился, изучая недовольное лицо Прайса. - Они напрасно пугают нас. Россия дремлет и не скоро поймет свои возможности. Во всяком случае, не в наш с вами век.

- А эскадра адмирала Путятина?

- Уж эта мне *petite escadrille*!* Старая "Паллада", годная на слом, этот монстр,

- адмирал указал дрожащей рукой на "Аврору", - и еще две-три посудины.

Мы потопим их одним бортовым залпом "Форта", мой адмирал!

* Маленькая эскадрилья. Прайс смотрел на него, прищулив пепельные, морщинистые веки.

- Вы заблуждаетесь.

- Мы потопим "Аврору" одним залпом верхней батареи "Форта", повторил с расстановкой Депуант.

- Тогда командуйте "огонь"! - подхватил Прайс. - Поверьте мне, эхо этого залпа раскатится по всему миру. Пока не отомщена память великого императора, честь первого выстрела принадлежит Франции.

Но патриотический мотив не поколебал француза.

- Ни один выстрел не раздастся до тех пор, пока не придет "Вираго" с депешей о разрыве, - сказал Депуант, подчеркивая свою непреклонность энергичным движением руки, и добавил мягче: - Мы условились об этом, адмирал.

Прайс вспылил. Вскинув длинные костлявые руки, словно собираясь проклясть француза, он отрезал грубо:

- Мы не улавливались торчать здесь до второго пришествия! В Черном море, быть может, уже пролилась кровь французов, а вы ждете какой-то бумажки, нескольких жалких слов, подтверждающих то, что для нас с вами совершенно очевидно!..

Прайсу не понять, какие запутанные мысли копошатся в усталом мозгу Депуанта. Кто знает, что задумал император французов, маленький Наполеон, который послал старого адмирала в тихоокеанские воды?

Феврие Депуант был отпрыском аристократического рода, издавна преданного династии Бурбонов. Сам убежденный орлеанист, приверженец монархии, он бредил в юности бурбонскими лилиями, мечтая вместе с кружком друзей стать спасителем "несчастной Франции". Но годы шли, жизнь смеялась над иллюзиями пылкого Феврие, в бурях тридцатых и сороковых годов таяло небольшое наследство и росло остренькое брюшко бездеятельного морского офицера.

Превращение Луи Наполеона из президента республики в императора Франции Депуант, как и многие офицеры флота, встретил с молчаливой враждебностью. Он свято исповедовал истину: плохой император лучше идеальной республики. Но Луи Наполеон как личность не располагал к себе. Депуант презирал узурпатора за то, что он был некогда полицейским чиновником в Англии. Презирал за флирт с буржуазным плебсом, за шулерские проделки, обличавшие низменную, развращенную натуру Луи

Наполеона, и даже за то, что, щедро соря миллионами для подкупа генералов и солдат, император плохо заботился о пополнении пустующих кошельков офицеров флота.

Примирение шло медленно. Депуант все еще оставался орлеанистом, но с некоторых пор находил уже Луи Наполеона дальновидным и достаточно сильным, чтобы спасти Францию. Когда же наконец и Депуант был обласкан и назначен командовать небольшой эскадрой у тихоокеанских берегов Америки, а его личный друг генерал Кастельбажак отправлен в Петербург в качестве посланника Луи Наполеона, - адмирал почти уверовал в своего императора, хотя в душе продолжал считать его опасным шарлатаном. "От героя второго декабря*", - думал Депуант, - можно ожидать всего. Он может уснуть с молитвой о ниспослании ему победы над Севастополем, а проснувшись объявить себя другом русского императора. Кстати, генерал Кастельбажак покорен и очарован Николаем".

* Второго декабря 1851 года Луи Наполеон совершил государственный переворот, упразднив республику. И Депуант колебался.

Была и другая причина.

С началом военных действий Прайс становился начальником объединенной эскадры, как старший по производству, а Депуант об этом и думать не мог без ярости, способной толкнуть его на сумасбродство. "Этот торгаш, негодовал он, - путившийся в плавание потому, что оно сулит легкие крейсерские победы и высокий титул лорда, который он оставит сыновьям вместе с краденым золотом, этот плантатор будет командовать мною только потому, что он на десять лет старше меня и на шесть лет раньше стал контр-адмиралом! - В такие минуты Депуант с возрастающей ненавистью смотрел на Прайса сквозь полузакрытые вздрагивающие веки. - На десять лет старше! Этого никто не скажет: у него не дрожат руки, он не страдает подагрой и не задыхается от быстрой ходьбы. Но нет, ему не удастся сбить меня с толку. Мне, голубчик, некуда торопиться".

- "Аврора" очень потрепана, - сказал наконец Депуант. - Русские начали ремонтные работы, и до окончания их фрегат не может двинуться с места. "Вираго" придет раньше, чем русские приведут в порядок судно. Лейтенант Лефебр вместе с моим медиком был на "Авроре", он утверждает, что фрегат основательно поврежден. Лететь сломя голову мимо мыса Горн в период равноденствия, когда неизбежны штормы и противные ветры, рисковать экипажем, рангоутом и парусами, - нет, на это способен только невежда и сумасброд.

- Но мне подозрительна поспешность русских, - заметил Прайс. - Они не теряют ни одного дня. Спешат.

- Куда?

- Не знаю. А такие переходы, как Портсмут - Рио, Рио - Кальяо, удаются немногим.

Злые глаза Прайса кольнули насмешкой. В его словах намек на то, как полз по этому же маршруту Депуант, засиживаясь в каждом южноамериканском порту, пережидая непогоду и противные ветры.

Депуант не хотел остаться в долгу.

- Вы правы, адмирал. Я понимаю, почему многие предпочитают мыс Доброй Надежды, - сказал он, намекая, в свою очередь, на владения Прайса близ Капштадта.

- Оставим колкости, - лицо Прайса сделалось замкнутым и хмурым. Через несколько часов нас посетит русский капитан. Мы должны уточнить свои цели.

- Они определены инструкцией: уничтожив эскадру Путятина, мы идем разорять русские берега...

- Слова, слова, слова! - нетерпеливо прервал его Прайс. - Что мы знаем о русских берегах? Адмирал Непир с огромным флотом действует в Балтийском море. А мы? Нас спровадили в Тихий океан! Здесь, может быть, и не случится настоящего, правильного сражения, но честное имя можно потерять и без того. У русских здесь мало кораблей. Это наше преимущество. Но попробуйте-ка суньтесь к берегу, не зная его, в их порты, покрытые льдом две трети года! У этих берегов можно потерять репутацию, не сделав ни одного выстрела.

- Интересы империи важнее моей репутации!

Прайс еще больше нахмурился. Сколько раз эта фраза помогала Депуанту скрыть отсутствие мысли, воли, решимости... Но сделав над собой усилие, Прайс удержался от резкого ответа и продолжал настойчиво:

- Петропавловск в камчатских водах - пожалуй, единственная верная цель. Закрытая гавань, естественное убежище. Туда, вероятно, и придет эскадра адмирала Путятина. Но может случиться и так: мы не застанем в Петропавловске ни одного человека, ни одной лодки. Если они оставили однажды безлюдную Москву дядюшке вашего императора, то сжечь сотню изб им ничего не стоит. Жители уйдут в леса.

- А русские фрегаты? - возразил Депуант. - Устье Амура закрыто для морских судов. Им некуда деваться.

- Может произойти то, чего я больше всего опасаюсь, - сказал Прайс

задумчиво. - Они откажутся от мысли действовать эскадрой и займутся крейсерством, каждый на свой страх, уничтожая наши купеческие суда.

- Мы истребим русские суда поодиночке, - вяло ответил Депуант, словно борясь с охватившей его сонливостью.

- Тихий океан велик, - заметил Прайс.

- У нас достаточно сил...

- Заблуждаетесь! Вы слышали что-нибудь о Давиде Портере? - Прайс всмотрелся в седины Депуанта. - Впрочем, вы были еще юнцом, когда здесь, у берегов Америки, хозяйничал Портер. - Едва заметная усмешка пробежала по бескровным губам адмирала. - Как раз в ту пору Бонапарт терял империю, сидя в московском Кремле. Да, да... Я хорошо помню, какой панический ужас наводило на шкиперов и судовладельцев имя Портера. В трюмах гнили фрукты, плесневели и портились товары, но страх перед американцем держал купцов в гаванях. Молодчик Портер на одном единственном фрегате "Эссекс" захватил двенадцать наших крупных купеческих кораблей. Его сорок шесть пушек нанесли Англии убыток в тринадцать миллионов франков. Каково! Триста тысяч на пушку! Наши фрегаты ничего не могли с ним поделать...

Прайс видел, что и подвиги Портера не вывели из апатии француза. Его глаза сонно уставились в иллюминатор, за которым синел океан, багровые щеки обвисли. "Неужели он дремлет?" - подумал Прайс. Они сидели теперь на диване, у переборки, украшенной семейными дагерротипами Прайса.

- Вы никогда не интересовались коммерцией, адмирал? - неожиданно спросил он у Депуанта.

- О нет!

- Напрасно, - в тоне Прайса сквозило искреннее сожаление. - Коммерция и естественные науки - достойнейшие поприща человеческой деятельности. В Англии человек без коммерческой жилки быстро выходит из игры. Его обойдут, как обходят на дерби лошадь, сбившуюся с шага. Вы можете сегодня получить королевскую грамоту, большой крест ордена Бани, а завтра лишиться доброго имени, чести, состояния, если это будет угодно людям коммерции.

Депуант сочувственно улыбнулся.

- Они вам крепко досадили, адмирал!

- Я не скрываю этого. - Прайс прижмурил правый глаз, провел по далеко выдвинутым коленям сжатыми кулаками. - Они сбили меня щелчком, как жука, взбирающегося по ветке. Но я упал на ноги, адмирал. С юношеских лет я был смелым головорезом, готовым на всякую опасность. Однажды, еще в

мундире гардемарина, я влез на крест собора святого Павла в Лондоне... да, да, на самую вершину святилища, где покоится прах Нельсона и Коллингвуда... и в память о себе привязал к кресту носовой платок... Когда мне не повезло, на мне уже был адмиральский мундир. Они столкнули меня в грязную воду Темзы, а я проплыл под шестью лондонскими мостами и вынырнул в Капштадте, в благословенной земле кафров.

- Так нырнуть может только старый морской волк, - сказал Депуант, оживляясь.

В нем проснулся интерес к исповеди Прайса - она уводила его в сторону от неприятного разговора, от необходимости принимать решение.

- Мне удалось сколотить состояние, и сыновьям не придется начинать сизнова. Но я хочу подарить им лордство. Это дорого стоит в Англии, и, кроме того, нужен благовидный предлог. Поэтому я попросил назначения во флот - пусть еще раз вспомнят обо мне... Остальное сделают деньги. Моего Гарри, - сказал Прайс решительно, - будут называть баронет сэр Генри Прайс! Я презираю опасность, пренебрегаю смертью и боюсь только одного ответственности! Ответственности перед парламентом, перед газетами, рвущими жертву, как шакалы связанного человека.

Неожиданный поворот разговора застал Депуанта врасплох.

- Вы окружили себя страхами, адмирал! - заметил он.

Прайс с ненавистью посмотрел на сизую петушиную шею Депуанта, резко поднялся и сказал:

- Даже Коллингвуд, храбрый Коллингвуд, боялся ответственности, как старая дева мыши, как дитя привидения. Я буду ждать возвращения "Вираго" еще неделю. Это предельный срок. Если "Вираго" не покажется на горизонте или придет без депеши о войне, независимо от этого я исполню волю лордов адмиралтейства и захвачу "Аврору".

Депуант растерянно покосился на Прайса и чуть приподнялся с дивана.

- Может быть, сделать это, - промолвил он, - не на рейде? Перу нейтральная держава... Может быть, вытащить "Аврору" в океан?..

- Каким образом?

- Я полагал созвать совещание фрегатских медиков. Пригласим русских. Решим, что оставаться в Калье нельзя: желтая горячка угрожает экипажам. Симулируем несколько случаев на наших судах. Русские выйдут вместе с нами.

- Хорошая мысль, адмирал! - удовлетворенно заметил Прайс.

Депуант поднялся с дивана и пошел к дверям. Но на полдороге остановился и, обернувшись к провожавшему его Прайсу, спросил:

- А что, если все-таки в Европе тихо, если там решили не воевать, а мы... здесь? А?..

- Этого не может быть, - усмехнулся Прайс. - Я никогда не забываю вещей слов Пальмерстона: "Как тяжело живется на свете, когда с Россией никто не воюет!.." Да... Отбросьте всякие сомнения!

ЗАБЫТЫЙ КРАЙ

I

Весть о войне докатилась наконец и до Петропавловска-на-Камчатке, но о возможности нападения на столь отдаленный полуостров мало кто думал.

Здесь о войнах знали только понаслышке: войны начинались где-то далеко, за тридевять земель, и не затрагивали маленького поселения внутри Авачинского залива. О начале военных конфликтов здесь нередко узнавали после того, как правительства воюющих держав уже подписывали мирные договоры, и радовались миру в дни объявления новых войн.

Далекая, заброшенная земля...

Военным судам здесь нечего делать. Война и на этот раз должна пройти стороной. Примитивные укрепления, возводимые сейчас по приказу камчатского губернатора Завойко, простоят без надобности, зарастут травой и папоротниками...

Так думали обитатели Петропавловска. Опасения нескольких беспокойных натур не меняли общей атмосферы и умонастроения камчатцев.

Поэтому поздним вечером на исходе мая 1854 года в доме Завойко было, как обычно,людно и весело. После однообразия зимних месяцев, которого не замечали только торговые люди да охотники, наступила самая оживленная пора. В порт пришел долгожданный транспорт с мукой и мелкие купеческие суда. Курьер из Иркутска привез почту и старые петербургские газеты. От них шел запах уже не типографской краски, а кожаных почтовых мешков и лежалой бумаги.

В Петропавловской гавани наступило весеннее оживление. Изголодавшиеся за зиму жители расхаживали по берегу, по длинной песчаной косе, с жадным любопытством наблюдая за разгрузкой судов. Транспорт из Аяна привез трехпудовые кули крупитчатой муки, листовой табак, сахарный песок, патоку и чай. Матросы сгружали провиант в портовые склады, и население города жены чиновников, служащие инвалидной команды, нижние чины сорок седьмого флотского экипажа, писари и вестовые - не уходило до наступления темноты. Завтра они смогут купить кое-что в провиантской лавке и наесться наконец досыта.

Просторная зала губернаторского дома была ярко освещена. Только

запущенные хоры и антресоли прятали в полумраке тонкие резные перильца, отчего помещение казалось очень высоким. В медных, отлитых в Петропавловске бра, прикрепленных к дощатым стенам, в подсвечниках на столах оплывали свечи.

Вечер начался давно. Молодежь уже не раз пускалась в танцы под звуки маленького оркестра, мешавшего карточным игрокам и унылым ханжам, без которых не обходилось ни одно даже самое маленькое общество. Давно образовались небольшие кружки собеседников, друзей, партнеров.

В дальнем углу, на низком диване, скрытом от глаз стульями, сидел Василий Степанович Завойко в обществе капитана транспорта, шкипера, портового инженера и нескольких чиновников. Отсюда доносился громовой хохот капитана, - так смеются только моряки, привыкшие к ветру и шуму моря, счастливые удачным окончанием плавания. Смуглый красавец, с усами тонкими, в один волосок на концах, ловкий и вполне сознающий свою силу, капитан был возбужден всей атмосферой провинциального бала после нескольких недель плавания в холодном океане, с пронизывающими ветрами и мертвыми туманами. Капитан тоже не верил, что Петропавловск может затронуть война.

- Чепуха! - говорил он, весело поблескивая зубами и накрывая бронзовой рукой острое колено Завойко. - Уж поверьте старому волку: пустое все эти угрозы и серьезности! Я Восточный океан исходил вдоль и поперек, видел, знаете, англичан и французов в разных позициях, но чтобы дело дошло здесь до правильной кампании - нет, батенька, руки коротки, рукава не пустят! - Капитан повысил голос, ему хотелось, чтобы и дамы, сидевшие у стены с высокими окнами, услышали его. - Ну, пришлют к вам несколько судов, пошумят, поворуют, не без того, конечно, - уж больно жадны! - страх наведут на местных дам - и прощайте! На юг, в объятия теплых ветров...

- В случае европейской войны, - сказал портовый инженер, мрачный педант с бледным, одутловатым лицом, вынужденный руководить сооружением артиллерийских батарей, но убежденный, что нападение на Камчатку исключено, - противнику пришлось бы иметь дело с неприступным Кронштадтом, с Севастополем. А наш несчастный край они могут оставить без внимания.

Завойко, окинув взглядом капитана и весь явно согласный с ним кружок людей, сказал в раздумье:

- Не знаю, господа... Однако, будучи предупрежденным, считаю своим долгом приготовить все для отражения неприятеля. Знакомы ли вы с Камеамеа Третьим, королем Сандвичевых островов? - спросил он неожиданно у

капитана.

- Преоригинальнейшая личность! - охотно откликнулся капитан. Вольнодумец, наш друг, но черен сверх всякой меры. В Штатах его непременно повесили бы или продали на плантации.

- Похоже на то, - усмехнулся Завойко, - что Штаты хотят превратить Камеамеа в своего раба, не лишая его королевского титула. Островитяне давно уже в поте лица трудятся на Штаты и Англию. Весь груз сандалового дерева, сухого таро*, и кокосовых плодов отправляется на их склады. Завойко пристально взглянул на капитана транспорта. - Так вот, Камеамеа сообщил мне, что к нам летом нагрянет англо-французская эскадра. Это известно ему из верных источников.

* Многолетнее растение, клубень которого употребляется в пищу. - Не верю, - помотал головой капитан. - Гонолулу - Невский проспект Тихого океана. Там ежечасно возникают чудовищные слухи, невероятные предположения и никто ничего толком не знает. Канальи купцы и китобои хотят посеять панику, чтобы обставить конкурентов. Материя простая...

Раздались нестройные звуки оркестра - трех скрипок, треугольника, турецкого барабана и самодельной балалайки, которая зазвучала неожиданно громко, не в лад со всеми. Капельмейстер, худой рыжебровый старик скрипач из кантонистов, держал смычок в левой руке и дирижировал покачиванием головы. С особым подъемом исполняли местный танец, названный "восьмеркой": танцующие пары вычерчивали затейливый узор, напоминавший цифру восемь. Эта веселая кадрили с бесконечными фигурами увлекала всех, от безусых юнцов до пожилых чиновников.

Единственной женщиной, недовольной тем, что оркестр слишком часто исполняет "восьмерку", была молодая жена петропавловского судьи Петра Илларионовича Василькова. Она приехала в Петропавловск полгода назад и все еще считалась здесь петербургской дамой. Дочери бедных чиновников, штурманов, многодетных камчатских священников и служащих Российско-Американской компании восхищались ее нарядами и совершенным знанием французского. Лицо ее красиво, но мелко, в нем есть какая-то суетливость. Василькова посматривала на рослого капитана транспорта, перехватывая его признательные взгляды. Чопорный супруг сидел далеко за ломберным столом, спиной к танцующим, сгорбившись и будто не замечая ничего вокруг себя.

Жена судьи еще не совсем освоилась со сложными фигурами местного танца, но капитан уверенно вел ее. Рука капитана крепко охватила ее талию, и

молодая женщина кокетливо склонила голову.

- Какой причудливый танец! - сказала она. - Он напоминает мне старинный экосес или грассфатер.

Капитан молча кивнул головой.

Он рассеянно слушал и думал о том, как хорошо после трудного плавания, после штормовой мглы кружиться в светлом зале с красивой женщиной, отдав себя музыке и согласному движению танцующих. В который раз он уже испытывал это ощущение в полузасыпанных снегом домах Гижиги, Тигиля, Охотска, в Петропавловске-на-Камчатке или в Ново-Архангельской крепости. Прекрасное чувство подъема и какой-то особой душевной ясности...

- Вам, должно быть, трудно в этой глуши? - спросил он женщину.

- Очень, - она ответила капитану благодарным взглядом. - Такое безлюдье! Скука!

Они расстались на несколько мгновений, расходясь в стороны. Затем она продолжила:

- И самое страшное - люди втягиваются, привыкают к тупой жизни. И кто! Молодежь, чиновники - люди, родившиеся в Петербурге, в Москве... Это ужасно!

- Поживете - привыкнете, - сочувственно ответил капитан. - Полюбите нашу землю.

- Что вы! - искренне ужаснулась жена судьи. - Здесь люди опускаются! Их трудно отличить от простонародья, от прислуги. Взгляните на жену губернатора: миловидная, из хорошей семьи, а какая во всем простота, фамильярность! Родила десятерых и сама же учит, воспитывает, обшивает. Ни приличных гувернанток, ни сведущих учителей!

Капитан посмотрел в ту сторону, где стояла его давняя знакомая - Юлия Егоровна Завойко. Она что-то говорила прислуге и спокойным взглядом своих добрых карих глаз провожала танцующие пары. Красивая женщина с темным пушком над верхней губой, она изяществом фигуры и тонкостью черт, как сестра, походила на Василия Степановича. Она показалась капитану очаровательной.

- А уозость взглядов здешних! - продолжала жена судьи. - Сколько превратных понятий и ненужной жесткости! Губернатор - оригинал, но деспот, желающий казаться и справедливым и гуманным. В Иркутске, по дороге из Петербурга, мы познакомились с интереснейшей личностью. Англичанин, влюбленный в Россию. Настоящий ученый, он мечтал посвятить свою жизнь геогностическим исследованиям Сибири. В лучших домах Иркутска давал бесплатные уроки английского языка и вместе с тем находил время для ученых записей,

дневников, ландкарт. Представьте себе мой восторг и радость моего супруга, когда господин Степлтон согласился сопровождать нас в Петропавловск, пожить у нас несколько лет... Он намеревался отыскать пропавшую экспедицию Франклина... - Здесь она перешла на шепот: - Степлтон был удивительным человеком. Он стрелял лучше всякого военного, обладал большой силой и, кажется, знал все, что может знать простой смертный... Знаете, как поступил с ним Завойко? Он сделал выговор моему мужу, подверг ученого унижительному допросу, отобрал его бумаги, ландкарты и глубокой осенью на ветхом португальском китобое выгнал из Петропавловска! Можете представить, что теперь напишет о России этот просвещенный англичанин!

Они остановились у открытого окна. В темноте угадывались неясные очертания тополей. Шумела молодая листва. Капитан вежливо поклонился и сказал, не скрывая охватившей его грусти:

- Я, сударыня, простите, поступил бы так же. Много их здесь шляется. Слишком много... II Среди танцующих выделялась одна пара. Кавалер, белокурый мужчина лет тридцати, был намного выше девушки, казавшейся рядом с ним маленькой и хрупкой. Титулярный советник Анатолий Иванович Зарудный был, на первый взгляд, некрасив; девушка же, дочь петропавловского аптекаря, Марья Николаевна Лыткина, очень хороша, пожалуй привлекательнее всех в этом собрании. На худом лице Зарудного всё резкие линии: прямой заостренный нос, круто нависшая над глазами лобная кость и запавшие щеки. А глаза серые, спокойные, пронизательные. Замкнутый, сосредоточенный на какой-то мысли, он казался человеком скучным, ординарным, и это досадное впечатление исчезало только при близком, душевном с ним знакомстве.

Машенька Лыткина забавлялась податливостью и беспомощностью Зарудного. Ее яркие, резко очерченные губы были сейчас полуоткрыты. Синие, очень большие глаза казались бы, вероятно, кукольными, не будь они такими озорными, лучистыми, то темными и грустными, то светлыми и насмешливыми. Длинное платье сиреневого цвета, перешитое, по всем признакам, из материнского наряда, плотно облегал фигуру девушки.

Умолкли, взвизгнув напоследок, скрипки. Кончился длинный танец.

- Пойдемте в парк, - шепнула Маша, приподнявшись на носки. - Тут скучно и душно.

Не дожидаясь согласия Зарудного, она потащила его к двери, пробираясь сквозь толпу.

У дверей сидел почтмейстер Диодор Хрисанфович Трапезников. Он присел на краешек стула, наклонившись к выходу, как непрошенный гость, готовый

всякую секунду ретироваться, встретив неодобрительный взгляд хозяина. Старомодный черный фрак, обильно посыпанный перхотью, лоснился. Крохотные глаза напряженно сверлили толпу, а грушевидный фиолетовый нос, казалось, оттаивал в тепле.

Зарудный поклонился ему, но почтмейстер не ответил, проводив внимательным взглядом - точно в первый раз! - молодого чиновника и Машу.

- Что за урод! - воскликнула Маша, когда они миновали переднюю. - Так и хочется потянуть его за нос!

- Диодор Хрисанфович Трапезников, - сказал Зарудный, - существо загадочное. Оригинал. Артистически молчит, ничего подобного я никогда не встречал.

Глаза Зарудного вскоре привыкли к темноте. Их обступили высокоствольные тополи, уходившие вершинами в темное небо. Громче лопотала листва, шумел густой кустарник, деревья подступали к неосвещенным окнам комнат, где спали дети Завойко.

Дальше парк густел, ноги мягко ступали в опавшие тополиные сережки, которых здесь никто не убирал. На маленькой площадке стояла гранитная колонна с крестом - памятник Берингу, основателю Петропавловска. Где-то рядом плескался ручей - он сбегал со склонов Никольской горы и пересекал парк на пути к бухте. В парке было прохладно, стоял запах прелых листьев, смешанный с крепким ароматом молодой зелени. Ветер нес с гор смолистый запах карликового кедра.

Маша опустилась на садовую скамейку у гранитной колонны. Зарудный молча сел рядом. Девушка посмотрела на его лицо, еще более суровое в темноте, и сказала:

- Говорят, вы поете? Спойте мне, прошу вас.

Она взяла его за рукав, и Зарудный растерянно ответил:

- Я без гитары не пою. Голоса-то, собственно, у меня нет. Одна разве душевность.

Она знала, что Зарудный живет далеко, у Култушного озера, на северной окраине поселка. Но Маше доставляло удовольствие видеть, как послушен ей Зарудный, и она полушутя сказала:

- А если я вас попрошу сходить за гитарой? Право, Анатолий Иванович! А? Сходите, дружок!

Зарудный покосился на нее, встал, заслонив собой колонну и тонкий крест на ней.

- Что ж, извольте, - отозвался он просто, - схожу.

Маша растерялась:

- Нет, нет! Что вы! Не нужно! Я пошутила.

А Зарудный все еще продолжал стоять, глядя на нее в нерешительности.

- Мне холодно, - зябко повела плечами Маша.

- Я попрошу у Юлии Егоровны платок.

- Не нужно. - Девушка помолчала немного и вдруг спросила с неожиданной серьезностью: - Ваши родители живы, Анатолий Иванович?

- Да, - ответил он, недоумевая.

- Они пишут вам?

Зарудный замялся было, потом ответил с какой-то нарочитой твердостью:

- Им недосуг было грамоте научиться: всё труды, заботы, беды... Лицо Зарудного сделалось замкнутым и неприветливым. - И старшим братьям тоже недосуг... На меня одного только и хватило пороку, с меня одного и спрос... - Он усмехнулся, заметив смущение Маши. - Но старики у меня преудивительные: умные, милые, в целом мире веруют только в бога и в титулярного советника Анатолия Зарудного.

Маше почудилась насмешка в тоне Зарудного, и она спросила с вызовом:

- А ведь, правда, я глупая, Анатолий Иванович?

- Что вы, Машенька! - Зарудный вдруг остро ощутил, что ему уже не восемнадцать, а скоро тридцать. - Вы простая и хорошая...

Но Маша настаивала:

- Глупая, глупая! Когда мы уезжали из Иркутска, я плакала навзрыд. Думала, что кончается жизнь. У каменных ворот за городом мне хотелось прыгнуть с возка и целовать землю. Все осталось позади - детство, подруги, светлая, прозрачная река. Разлуку с Москвой я почти не переживала - была девочкой. А тут словно оборвалось что-то, будто захлопнулась дверь и ржавые петли пропели: "Аминь, аминь..."

- Вы оставили там друга?

Маша запнулась. Наверху, в листве, речитативом запела птица: "Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у... чи-у-ичью видь-и-и-ти-у-у..."

- Да, - ответила наконец Маша. - Настоящего друга. Такого же сумасброда, как я, и лучшего из всех, кого знала в жизни.

- Вы так мало жили, Маша, мало видели!

- Потому и глупая. Из Иркутска уезжала рыдая, а здесь за полгода так привязалась ко всему, что и жизнь бы прожить тут не страшно. Глупый щенок! Ткнули его куда-то в чулан, кто-то сунул корочку - он и доволен, и рад, и повизгивает от счастья...

В такие минуты Маше до слез становилось жалко себя, и непонятная боль сжимала сердце.

Птица запела совсем близко: "Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у..."

Маша подняла голову и с каким-то упреком сказала Зарудному:

- Хоть бы прослезились над моей бесталанной судьбой, бесчувственный вы человек!

Зарудный усмехнулся и убрал упавшую прядь со лба.

- Вы напоминаете мне вот эту пичужку. Ее здесь зовут чавычулькой. Правда, похоже?

"Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у", - громко пела птица, будто торопясь подтвердить слова Зарудного.

- Странное название - чавычулька. Как вы находите? - спросил Зарудный.

- Очень, - согласилась Маша.

- Она прилетела к нам, чтобы объявить голодным людям, что идет чавыча - самая вкусная и самая крупная из местных рыб. Это радость рыболова.

"Чавычу видела тут", - как бы говорит она изголодавшимся людям. Слышите?

"Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у!" Народ верит, что вместе с ней непременно приходит чавыча. За Уралом ее, кажется, зовут "чечевицей" или "Тришку вижу"... Но это все не то. Только в нашем крае люди знают ее действительное назначение...

Маша задумалась.

- Как хорошо делать людям добро, - прошептала она, - приносить счастье... А какая она? Большая?

- Не больше воробья. Серая, с маленьким клювом. На шее белый галстук, а затылок, кажется, черный. Ее трудно рассмотреть - непоседа. А в общем обыкновенная птаха.

Рука Маши взволнованно гладила кружевной воротник.

- Я хочу дружить с вами, Анатолий Иванович, - сказала она проникновенно. - Хорошо?

И, не дав ему ответить, проговорила, по-детски повиснув на руке Зарудного:

- Я совсем озябла. Идемте поскорей к людям!

Зарудный покорно шел за Машей.

В темной листве раздавался хлопотливый речитатив: "Чи-у-ичью видь-и-и-ти-у!" И Зарудному казалось, что чавычулька спешит за ними, перелетая с тополя на тополь, радостно тараторя. III В доме Завойко в такие вечера, как нынешний, обычно собиралось до ста человек, размещаясь бог знает где и как. Здесь бывали чиновники, инженеры, врачи, служащие казначейства, штурманские офицеры, презус и аудитор военного суда, офицеры сорок седьмого камчатского флотского экипажа. Прямой, открытый характер Завойко не допускал лакейства и раболепия, столь обычных в чиновном

кругу.

Среди чиновников, уезжавших в Сибирь, было много так называемых "чудаков", натур самобытных, резких и определившихся, которых сторонилось нивелированное мещанское общество, стараясь сжить их со света. Романтики, оригиналы, фанатики науки, надломленные трагическими испытаниями, они в вечных поисках земли обетованной уезжали куда глаза глядят. Они легче других соглашались на поездку в далекий край. Людей, ставящих превыше всего форму, мундир, свое официальное положение, здесь было немного: англоман Васильков с темным, непроницаемым лицом игрока, обрамленным густыми темно-каштановыми баками; аудитор военного суда с розовой, моложавой физиономией, ненавидимый всеми офицерами Петропавловска; медлительный столоначальник канцелярии Завойко; маниак почтмейстер да несколько флотских офицеров, которые прирастились к зуботычинам, пьянству и картам, не сумели, как говорил Завойко, "переменить галс". Этих Завойко охотно выгнал бы, если бы не крайняя нужда в людях.

В этот вечер разговор неизменно возвращался к войне в Европе. Даже за двумя ломберными столами говорили о Турции, о дунайских княжествах, о позиции европейских держав. Часто упоминалась турецкая гавань, доселе мало известная, - Синоп. Декабрьские и январские газеты, доставленные курьером из Иркутска, полны сообщениями о Синопе. Турецкая эскадра истреблена, уцелел один пароход. Из четырех с половиной тысяч экипажа спаслось меньше пятисот человек - людей искалеченных, раненых, подобранных среди обломков или вынесенных на берег. Четыре тысячи убитых! Это в несколько раз больше населения Петропавловска! Людям, не бывавшим в Кронштадте или Севастополе, невозможно даже представить себе размеры синопского сражения. Знатоков слушали благоговейно, как оракулов.

Судья, ревниво наблюдая за женой - она теперь находилась в центре небольшого кружка флотских офицеров и звонко смеялась чьим-то шуткам, обменивался с партнерами новостями из давнишних номеров "Санкт-Петербургских ведомостей" и "Северной пчелы".

- Англия по-прежнему сохраняет дружественные отношения к нам. Синопская победа еще раз покажет ей, что в лице России она имеет могущественного партнера...

- А не соперника ли? - подмигнул главный архивариус, раздавая привычным движением карты.

- Друга, достойного партнера, державу, могущую разделить бремя

управления миром.

- По моему разумению, Англия предпочитает нести это бремя одна, съязвил архивариус. - Не щадя, так сказать, живота своего.

- Европа принудит Англию считаться с нами. Австрия - наш друг. В Пруссии, близ Потсдама, второго января происходила большая королевская охота, на которую имел честь быть приглашенным генерал фон Бенкендорф. Король провозгласил тост за здоровье нашего августейшего императора, сказал судья очень громко, обратив на себя внимание жены и заставив привстать почтмейстера, - за здоровье всей императорской фамилии.

- А Наполеона-то и забыли! Наполеона Третьего, племянника-с...

- Наполеон боится бунта, черни, - возразил судья.

- Э-э-э, напротив-с, - хихикнул чиновник. - Война - исключительно удобный случай: император французов пошлет бунтовщиков и смутьянов умирать. И овцы целы-с, и волки сыты-с! По горло, так сказать, - он выразительно провел ребром ладони по дряблему кадыку с кустиками рыжеватых волос.

Васильков промолчал, и игроки углубились в созерцание карт, ограничиваясь мычанием и им одним понятными междометиями.

Жена аудитора рассказывала о новейших чудесах науки тому непременно кругу гостей, которые не соблазняются карточной игрой, не так просты и молоды, чтобы плясать, и находят болезненное удовольствие в созерцании соседей и сплетнях.

- Ах! - говорила она, закрывая глаза от охватившего ее трепета. - В Париже теперь только и толков, что о новом применении электричества к фортепьяно...

- Что за фантазия! - удивился столоначальник губернаторской канцелярии. - Электричество и музыка - материи несовместимые.

- Представьте, - продолжала аудиторша таким тоном, будто она сама только что наблюдала эти опыты, - если господин Лист начнет играть у себя на электрическом фортепьяно, соединенном посредством... - тут она сделала большую паузу, - посредством нити с подобными фортепьяно в окрестностях Парижа, то весь нумер, сыгранный Листом, до малейшей ноты повторится и на других фортепьяно!

- Таким образом, - не унимался столоначальник, - вы утверждаете, что господин Лист, играющий у себя дома, может быть слышим одновременно в тысяче разных мест?! Но ведь это же спиритизм, сударыня!

Аудиторша возмущенно передернула плечами.

- Разрешите полюбопытствовать: из чего состоят чудодейственные нити, которыми соединяются фортепьяно?

Над этим аудиторша задумывалась так же мало, как над происхождением вселенной. Ее серое лицо побагровело.

Жена столоначальника незаметно ущипнула мужа.

- Впрочем, - сказал он, кашлянув, - кто знает, каких чудес мы дождемся от электричества.

Мир восстановлен.

В зале вдруг стало тихо. Порыв ветра донес до людей слитный шум ольхи и берез, скрип калитки и песню, которую пел высокий молодой голос: Не слышно шума городского,

За невской башней тишина,

И на штыке у часового

Горит полночная луна. - Кочнев поет. Артист! Второго не сыщешь, - сказал Завойко, когда звуки растаяли за окном и над залой опять повис гул многих голосов.

Судья неприязненно посмотрел на Завойко.

"Моего голоса, небось, не узнает в темноте. А мужика - изволь..." Но встретившись со взглядом губернатора, поспешно улыбнулся.

Во внешности Завойко не было ничего начальственного. Глаза, светлые, умные, внимательно смотрели из-под густых изогнутых бровей. Правая бровь всегда приподнята не то насмешливо, иронически, не то с готовностью слушать, понимать и удивляться. Василию Степановичу около пятидесяти лет, но выглядел он, как это нередко бывает с русыми энергичными людьми, много моложе. Его молодили солдатские усы, свисавшие двумя веселыми кисточками у рта, полные, подвижные губы жизнелюбца, светлые шелковистые волосы, вьющиеся у висков и на затылке, высокий спокойный лоб и чисто выбритое лицо добряка и насмешника. Роста он был невысокого, отличался подвижностью и поражавшей всех неутомимостью. Хотя жизнь Завойко прошла в трудах и заботах, годы еще не исчертили его лицо морщинами, не подернули желтизной голубоватую эмаль глаз. Края, где прожил детство и молодость Завойко тонувшая в садах Полтава, Крым, Черное море, - надолго зарядили его живой, кипучей энергией. Еще и теперь, после двух кругосветных плаваний и четырнадцати лет службы в бассейне Охотского моря и на Камчатке, в нем иногда проскальзывали черты веселого полтавского бурсака, умеющего встречать беды с такой же шуткой, с какой и принимать чины и награды.

Сын обедневшего полтавского помещика, он не мог попасть в привилегированный Морской корпус и был произведен в офицеры из черноморской гардемаринской роты. Из находившихся в этой зале людей

Завойко лучше всех мог бы рассказать об условиях и обстоятельствах синопского боя. Василий Степанович служил на Черном море, мичманом участвовал в Наваринском сражении, прекрасно знал парусный флот. Он много знал и прочно удерживал в памяти массу сведений самого разнообразного характера - по сельскому хозяйству и ремеслам, по морскому делу и точным наукам. Не чужд он был и поэзии, - в книжке "Впечатления моряка", изданной в Петербурге после русских кругосветных походов 1835 - 1838 годов, Завойко дал немало живых, полных юмора и искреннего чувства страниц.

Когда кто-то из гостей обратился к Завойко с расспросами о Синопе, о турках, не забыв при этом льстиво адресоваться к "ветерану Наварина", Завойко коротко ответил:

- Затрудняюсь оценкой. Победа выдающаяся. Обстоятельства же мне неизвестны.

- Василий Степанович! Помилуйте! Но турка-то вы знаете? Бивали?

- Давненько, - Завойко весело прищурил глаз. - В природе, драгоценнейший, все меняется. Даже турок. В Наварине, например, рядом с нашим фрегатом англичанин сражался. Плечом к плечу. А теперь, того и гляди, в гости пожалует и почище турка палить станет.

Андронников, здешний землемер, косматый, заросший старик, спросил протодиакономским басом:

- Значит, выставки в нынешнем году устраивать не будем?

Вот уже три года как Завойко каждую осень проводит выставку овощей, поощряя тех, кому удастся вырастить самый крупный картофель, морковь или капусту. Вначале затея Завойко показалась поселенцам и камчадалам несбыточной, сумасбродной, но его настойчивость победила их предубеждение, а пятирублевая премия за лучшие результаты довершила дело. Уже в первый год была выращена морковь весом более четырех фунтов, картофель более фунта, только капуста не успевала войти в полный вес и силу. Завойко требовал от Иркутска присылки отборных семян, изготавливал в мастерских порта лопаты и другие простейшие орудия, обращался к населению с приказами по огородничеству, не ленился переписывать их собственной рукой.

Землемер-философ любил потолковать о несовершенстве мира и законах бытия, а на "подпитии" витийствовал особенно красноречиво. Он, кажется, единственный из приезжих на Камчатке отваживался пить корякскую настойку из сушеного мухомора, не боясь отправиться на петропавловское кладбище у Красного Яра. Он любил свое дело, несмотря на годы, был

неутомим и неистощим в беседах. В юности, посланный в Германию для совершенствования в естественных науках, он слушал Шеллинга в Вюрцбурге, шатался по горам, пил густое баварское пиво, но не стал ни восторженным шеллингианцем, ни дуэлянтом-буршем. Он сохранил природный здравый смысл, презрел заоблачные выси немецкого идеализма и вернулся домой с ворохом рукописей, с опасными мыслями о живой природе и происхождении вселенной. Настаивая на историческом развитии организмов, он посягал на всемогущество бога, создавшего некогда землю и все сущее на ней по своему разумению, недоступному уму смертного. Мысли его были признаны кощунственными богопротивными. Рукописи поистлели, молодой ученый в худеньком мундирчике чиновника одиннадцатого класса прозябал в каких-то уездных канцеляриях, начал пить, опускаться и не опомнился, как очутился на Камчатке. Сюда он прибыл с дырявой студенческой сумкой, в память о скитаниях по Альпам, в которой были десяток книг и тетрадей, а среди них и редчайшая книга его друга Якова Кайданова "Tetractum vitae"*, изданная в Петербурге в 1813 году. Злобы на людей в нем не было, но с годами выросло отвращение к ученым, рассуждающим по книгам.

* "Четвертичность жизни". Завойко молчал. Андронников сказал протяжно:

- Жаль! Лето выдалось на славу, а мы выставки-то устраивать не будем!

- Будем! - сказал Завойко. - Коли сами живы будем.

Андронников запустил руку в темную бороду.

- Я, Василий Степанович, умирать не собираюсь! Недовершил еще земного вращения. Не то чтобы находился в зените... к горизонту клонюсь, однако расстояние порядочное.

- Знаю, что не от пули помрешь, Иван Архипович. Да и я не тороплюсь.

- Мудрено торопиться. Там, за чертой, путь бесконечный. А здесь, на земле, други мои, долго ли до предела! И на сей срок быстротекущий разные феерии устраиваются. Вдруг Европа к нам, азиатам, припожалует, а? Землемер удивленно потрянул головой. - А может, минет чаша сия?!

Завойко развел руками.

- Молюсь о том денно и нощно. Но и трудиться нужно неустанно. Если не услышит господь нашей молитвы и англичанин явится в гости, надобно встретить. По уставу. С огоньком и гостинцами, - Завойко засмеялся. - А с выставкой все может устроиться. До октября не близко...

В залу вошел камчатский полицмейстер, коренастый поручик Губарев. Он щурился от яркого света, отыскивая взглядом губернатора.

С появлением полицмейстера разноголосый шум поутих. Многие смотрели в его сторону, хотя во внешности Губарева не было ничего примечательного, а по званию он уступал многим находившимся здесь офицерам.

Губареву нравилось общее внимание: он приветливо улыбался дамам, отвешивал поклоны чиновникам, а встретясь взглядом с судьей Васильковым, многозначительно кивнул ему.

- Ваше превосходительство! - Губарев стал навтыяжку, увидев приближавшегося Завойко. - Позвольте рапортовать: с вверенными мне нижними чинами прибыл из вояжа!

- Пойдемте-ка, пойдемте, - бросил на ходу Завойко и прошел через прихожую в кабинет.

Губарев четко повернулся на каблуках и последовал за ним.

Час назад полицмейстер Губарев в сопровождении четырех казаков вернулся из Гижиги - далекого северного пункта, подчиненного камчатскому губернатору. Завойко приказал ему произвести следствие по делу гижигинского купца Трифонова. Обосновавшись в Гижиге, на пути из Охотска в Камчатку, Трифонов грабил коряков и эвенков, чинил "суд и расправу", как князек, своей властью. Его дюжие молодцы-приказчики совершали настоящие военные набеги на камчатские селения. Где появлялись они, там уже не существовало ни закона, ни губернаторской власти. Старший приказчик Трифонова, из беглых каторжников, спаивал охотников, раздавал камчадалам яды для запретной, опустошительной охоты на пушного зверя.

Разбой Трифонова грозил восстановить против русских население отдаленных камчадальских острожков, а в условиях надвигавшейся военной грозы это было опасно и нетерпимо.

Завойко давно воевал с Трифоновым, но до сих пор ничего не мог поделаться с богатым купцом. Запойный гижигинский исправник потворствовал купцу, а в самом Петропавловске влиятельные чиновники помогали Трифонову прятать концы в воду. Завойко нюхом чуял неладное, неудачи бесили его, а праздное любопытство чиновного люда и офицеров подливало масла в огонь.

Наконец терпение Завойко истощилось: титулярный советник Зарудный, вернувшийся ранней весной, еще на собачьей упряжке, из поездки в Верхне-Камчатск, доложил губернатору о новом злодействе Трифонова: его приказчики споили и начисто обобрали большое селение в низовьях реки Камчатки и сожгли две избы. Полицмейстер получил предписание отправиться на место и, если обвинения подтвердятся, взять Трифонова под стражу и доставить в Петропавловск.

- Давно прибыл? - спросил Завойко, едва Губарев закрыл за собой дверь.

- Только что. - Но заметив, что взгляд Завойко скользнул по его чистенькому мундиру. Губарев поспешно добавил: - Домой заглянул, жена совсем плоха...

- Что Трифонов? - Завойко одолевало нетерпение.

- Осмелюсь доложить: не нашел я Трифонова. - Брови Завойко удивленно поползли вверх, и Губарев, как всегда, оробел. - Больше недели ждал купца в Гижиге, дорогой искал - все напрасно. Уехал-с. Жена говорит - к чукчам, за оленьими дохами; торгующий американец тамошний уверял меня, что в Иркутск - с золотом и мехами. Поди разберись, - полицмейстер пожал плечами.

- Ну-с, а как следствие, голубчик? - спросил Завойко, темнея и поматывая головой. Он знал, что весть о новой неудаче быстро разнесется среди чиновников.

- Проведено-с, ваше превосходительство. По всей форме-с... Полицмейстер опасливо поглядывал на Завойко. Он боялся этого короткого поматывания головой, высоко взлетевшей брови, маленькой руки, барабанившей по столу.

- Селение ограблено, дома сожжены. Однако решительно невозможно сказать, кем это сделано. Местные жители затрудняются точным ответом.

- Запугал их разбойник, нож к горлу приставил - вот и затрудняются! Василий Степанович досадливо поморщился. - Посади Трифонова на цепь, такое заговорят - уши заткнешь.

- Не могу знать-с. Трифонов не один, ведь кругом купцы... Брагин, Копылов, Бордман, Чэзз. И Жерехов, надо полагать, не без греха. Поди узнай.

- Чертовщина какая-то... - Завойко придирчиво оглядел полицмейстера. - А ты точно ли все вызнал?

- Смею надеяться - все, - обиделся Губарев.

- Обиды, братец, оставь, - зло накинулся на него Завойко. - Ты, небось, ворох бумаг привез, а на что они мне? Трифонова мне подавай, приказчика его, каторжника Скосырева, в железах приведи. Слышь, Губарев, губернатор погрозил ему кулаком, - я этак погляжу, погляжу на тебя, да и выверну, чего доброго, наизнанку. И на мундир не посмотрю.

- Виноват-с, виноват-с, - монотонно повторял Губарев.

- Уж больно охоч ты виниться. Ладно! - прикрикнул Завойко. Кликни-ка мне Луку Фомича, да и сам с ним возвращайся. Зря ты его к воровской компании присчитал. - Луке Фомичу почтение, - небрежно обронил полицмейстер, найдя в зале сурового с виду старика. - Василий Степанович к себе просят. Купца этого Губарев не любил, но побаивался его языка, завидовал деньгам, жене - третьей по счету, - светловолосой и пышной как сдоба, завидовал изобильному дому Жерехова. Семейная жизнь сложилась у полицмейстера

неудачно: еще в Петровском заводе взял он в жены, карьеры ради, стареющую дочь своего полкового командира; ждал быстрого продвижения по службе, а тесть возьми да и застрелись, не оставив своей многочисленной семье ничего, кроме большого картонного долга.

Чувствительный, охочий до дородных барышень, Губарев увидел вдруг, что жена его и стара и костлява сверх всякой меры. Винил ее во всех своих неудачах и бил нещадно, с упоением, бил трезвый и пьяный. Жена терпела молча, рожала ему детей, таких же глуповатых и злых, как их отец. И если полицмейстер, беспокоя помаргивая, впивался взглядом в привлекательное женское лицо и, постанывая, повторял свое любимое словцо: "Обремизился! Обремизился!" - то сослуживцы знали, что он злобится и вспоминает оставшуюся дома жену.

Губарев пропустил в кабинет статного старика с длинной, жилистой шеей, на которой сидела небольшая голова; улыбатое скоморошье лицо, ровный венец седых волос вокруг желто-белой лысины и такая же пегая редкая борода клинышком.

- Вот что, Лука Фомич, - сказал Завойко, усадив гостя рядом с собой, - задумал я капиталом твоим распорядиться. А?

- Чужими деньгами куда как легче распоряжаться, - Жерехов широко улыбнулся, но маленькие глаза смотрели остро, пронзительно. - У чужих денег крылушки, у своих гиришки.

- Открывай дело в Гижиге, - Василий Степанович коснулся рукой горла, - вот как надо...

- В Гижиге? - поразился Жерехов и на всякий случай сказал: - Стар я, Василий Степанович, куда мне в этакое логово...

Жерехов лучше Завойко знал Гижигу. Сорок лет провел он на чукотской земле, на Охотском побережье и в Камчатке. Знал волчьи повадки Трифонова и хитрость Бордмана - торгового американца из Бостона, обосновавшегося в устье Пенжинской губы.

- Хватит еще силенок, - усмехнулся Завойко. - Ты, Лука Фомич, жилистый, совладаешь.

- Негоже двум клыкастым в одной берлоге. - Купец весело потрянул головой. - Глядишь, и шерсть клочьями полетит, вам же, Василий Степанович, и накладно будет.хлопотно.

- Трифонова боишься? - в упор спросил Завойко.

- Не дуже боюсь, но и одолеть не надеюсь. - Он повернул голову к неподвижно стоявшему Губареву и, насмешливо прищутив глаза, сказал: - Чины сколько лет Трифонова воюют, а не одолеют...

- Одолеем! - властно сказал Завойко. - В тюрьме сгною, подлеца, не посмотрю, что первой гильдии купец. Такое мое условие, Лука Фомич: на чистое место придешь, льготы дам, откуп винный... на первое время. По рукам, что ли?

Жерехов насторожился. Лицо его странно вытянулось, стало постным, неприветливым.

- Не охоч я, ваше превосходительство, до откупов, - пегая бороденка обиженно задрожала. - Для такого дела и Трифонов куда как хорош. А меня от такой чести уволь.

Завойко неосторожно задел самолюбивого старика. Сорок лет торговал он в этих краях, торговал широко, прижимисто, но без волчьей жадности и приказчиков старался держать совестливых. Был для своего круга учен и охотно учил других, так что в камчатских селениях встречались люди, обязанные ему грамотой. Выписывал из столиц журналы, газеты и в большой горнице собрал изрядную библиотеку. Камчадалы и коряки издавна привыкли к Жерехову, относились к нему с доверием, но в последние годы он как-то потерял вкус к делам. Женившись, после второго вдовства, на молодой, привлекательной дочери священника из Якутска, старик словно прирос к дому, строго приглядывая за своим единственным сыном Поликарпом.

- Это так, к слову, про откупа, - извинился Завойко. - Гижиге просвещенный купец нужен, темноту поразвеять...

- Право, согласились бы, Лука Фомич, - услужливо вставил Губарев.

Жерехов покосился на щеголеватого полицмейстера, на его жадное, землисто-серое лицо и сказал решительно:

- Нет, миновали мои лета.

- Меняй вывеску, Лука Фомич, - посоветовал Завойко. - Расширяйся! "Торговый дом Жерехов и сын".

- Поликарп-то?!

Жерехов давно подумывал о том, что пора пристраивать куда-нибудь сына. На этот счет у Луки Фомича были твердые взгляды. "На стороне жизнь шибко человека правит, - говаривал он. - Рыбу в реку бросают, а человека к людям. Барахтайся, пльиви посмелее... Смелый приступ - половина спасенья!"

Но купцу не хотелось, особенно при Губареве, обнаружить свою заинтересованность, и он только покачал головой.

- Зелен Поликарп-то мой. Ду-у-рак дураком!

- Не беда, - ободряюще сказал Губарев. - Был бы делу обучен изрядно, а без ума прожить можно.

- Неужто? - переспросил купец удивленно.
- Можно! - подтвердил полицмейстер.
- Во-от как? - протянул Жерехов. - А в нашем торговом сословии без ума никак не прожить. Подумаю я, Василий Степанович. Крепко надо подумать.
- Думай, Лука Фомич, - сказал Завойко.

Завойко отпустил и Губарева домой. Выйдя на крыльцо, полицмейстер простоял несколько минут в раздумье, заложив руки за спину и покачиваясь на носках.

Его тянуло не домой, а на пологий склон Петровской горы, к темной избе, где жила девушка-посельщица Харитина, приглянувшаяся Губареву еще тогда, когда она голенастым подростком шмыгала по дому Завойко.

Сойдя с крыльца, полицмейстер прокрался мимо освещенных окон в парк, пересек его и, перемахнув через ограду, медленно побрел в гору.

Было в повадках Губарева что-то кошачье, хищное. Он умел ждать, сторожко наблюдая за своей жертвой, умел целые месяцы, а то и годы жить одним лишь предвкушением будущих наслаждений и скотской власти над другим человеком.

За Харитиной он охотился давно, чутьем сластолюбца угадав еще два года назад, как расцветет она в недалеком будущем. И оттого, что все случилось так, как он и предчувствовал, Губарев считал свои права на Харитину неоспоримыми, а недоступность ее в доме Завойко только дразнила полицмейстера.

Но и после ухода Харитины из дома губернатора Губарев несколько не преуспел. Столкнувшись с открытой враждебностью девушки, он поостыл было и постарался выбросить ее из головы, да, видимо, это ему не удалось. Вскоре он возобновил то, что называл "правильным преследованием". Со злобной, жестокой настороженностью ждал он какой-нибудь ее оплошности, чтобы добиться своего. IV Ветер разорвал медлительные ночные облака, открыв их серые, мутноватые закраины. Луны не видно, но вокруг посветлело, и обширное пространство Авачинской губы стало отсвечивать тусклым свинцовым светом. Огромным зверем, с головою, прижатой к воде, и приподнятым для прыжка туловищем темнела Сигнальная гора.

Возле одного из домиков на пологом склоне Петровской горы, защищавшей Петропавловск с северо-востока, собралась группа людей. Никита Кочнев, Харитина Полуботько и старик Кирилл, денщик Завойко, сидели на низкой скамье. Другие - среди них камчадал Афанасьев и отставной кондуктор Петр Белокопытов, по прозвищу Крапива, - на тополевом бревне.

Никита Кочнев только кончил петь и прислушивался к наступившей тишине.

Старый матрос хлопнул себя по ляжке и проговорил голосом, в котором восхищение соединялось с какой-то непонятной болью:

- Соловей-птица! У-у-у-х, подлец, всю душу извел!

Возглас его прозвучал как команда. Сразу поднялся шум:

- В Иркутске, в трактире, твоему голосу цены не было бы!

- В церковь шел бы, Никитка, - прозвенел насмешливый девичий голос. Тогда девок из церкви за косы не вытащишь.

- Ну, ты, - степенно ответил Никита в темноту, - помалкивай, не твоего ума дело!

- Нешто и петь-то без ума нельзя? - засмеялась девушка. - А как же ты, Никитка?

Смех покрыл ее слова. Дед Кирилл потеревил жесткую, рыжеватую от табака бороду, вытер рукавом слезящиеся глаза и прикрикнул фальцетом:

- Курица! Раскудахталась!

Смех стал еще громче. Но самолюбие Никиты было удовлетворено.

Только Харитина не шевельнется, не повернет головы, не обронит ни слова. Точно оцепенела от жалостной песни. Никита сидел рядом с ней. При каждом резком движении он касался ее плеча, но Харитина не замечала этого. Словно и нет на свете Никиты и не он сидит подле, напряженный, ждущий, а лохматый дворовый пес, которого и погладить лень.

Никита слышал дыхание Харитины, видел ее полуоткрытый рот и мягкую линию подбородка. Темные глаза уставились в какую-то точку на горизонте, шелковый, праздничный платок сполз на затылок. Темные волосы Харитины пахнут ромашкой и сухими травами. Будь на ее месте другая девушка, Никита знал бы, что делать: он поправил бы сбившийся на затылок платок, незаметно обняв девушку, а то и просто поцеловал бы в тугую, горячую щеку, готовый отпрянуть и перевести все в шутку. Но у Харитины рука тяжелая - это проверено некоторыми друзьями Никиты Кочнева, - а характер ровный, степенный. Ходили слухи, что и сам полицмейстер поручик Губарев заглядывается на нее, а тоже не знает, как подступиться. С ней не поозорешь!

Внизу, у порта, у недвижной глади внутренней петропавловской бухты, воют собаки. Собак здесь много, зимой только на них и ездят. У каждого хозяина на привязи по пятнадцати - двадцати псов. Они не лают, а воют, протяжно, надрывно, будто перед бедой. Этот вой отдается многоголосым эхом по склонам Петровской горы и удручает, пугает приезжего.

- Завыли, - заметил Иван Афанасьев. - Значит, скоро-скоро корабль придет.

- Верно, - согласился Кирилл. - Пес животное умная, даром надрываться не

станет.

- А может, они лососю чуют? - высказал предположение Никита. - Ноне лосось идет - старики не упомнят! Об камни гремит, того и гляди запоры порушит. Собаки свежинку чуют...

Кирилл ответил не сразу. Прислушался, будто хотел проверить догадку Никиты, и после паузы решительно сказал:

- Нет, лосось тут ни при чем. Видать, судно придет - старая собака понапрасну не лает.

Все посмотрели на мерцающий вдали огонек Бабушкина маяка. Главный маяк, Дальний, высился при самом входе в Авачинскую губу - его не увидишь отсюда.

До чего же бело лицо Харитины! Не поддается оно ни весеннему солнцу, ни колючим камчатским ветрам. Светлое, гладкое, с розовыми мочками ушей, со смуглым пушком у висков.

- Молоканочка! - нежно шепчет Никита.

Харитину Полуботько называют молоканкой - на то есть своя причина, но для Никиты это слово обретает особый смысл, простой, осязаемый. Нежное, чуть подрумянившееся в печи молоко!

Харитина живет на Камчатке около десяти лет. В Петропавловск она приехала угловатой, пугливой девушкой, плохо понимавшей местный говор. Ее родителей, украинских крестьян, вместе с партией единоверцев-молокан выслали в Камчатку на поселение. Больше года добирались они до Восточной Сибири, - вместе с переселенцами тряслись в телегах, шли пешком, голодные, замерзшие, сбивая в кровь ноги и потеряв надежду добраться когда-нибудь до места.

За Красноярском в таборе переселенцев началась холера. Люди умирали в пути, почерневшие трупы, завернутые в рогожи, тряслись в телегах в ожидании погребения. Озлобившиеся переселенцы не давали и молоканам хоронить своих покойников без церковного обряда, чтобы не лишиться надежды на милость всемогущего. А сибирские мужики и жители промысловых поселков, назвавшие холеру "черной немочью", встречали переселенцев с дрекольями и топорами, не подпуская их к церквям. Под дым костров, зажженных ожесточившимися сибирскими мужиками, под густой, тревожный набат недостижимых церквей, лесными дорогами, далекой степью объезжали переселенцы деревни. Болезнь косила людей. В одну неделю Харитина потеряла отца, мать, маленького брата. Девушка осталась одна на подводе, запряженной тощей клячей, которой не дотащить и до Верхоленска, откуда начинался речной сплав до Якутска. Хорошо еще под

Иркутском какой-то поп-фанатик, прорвав кордон мужиков, вооруженных топорами и кремневыми ружьями, пришел в охваченный отчаянием лагерь и отпел давно умерших там людей.

Никто не знал фамилии Харитины. В таборе помнили, что она принадлежит к группе молокан, почти вымершей от болезни. Поселенцы, которым посчастливилось добраться до Петропавловска, так и звали ее: молоканкой. С приездом семьи Завойко на Камчатку, в 1849 году, Харитина покинула маленькую хибарку, где она жила у матросской вдовы, и попала в губернаторский дом прислугой.

Харитина росла, годы брали свое, и она превратилась в привлекательную молодую девушку, такую же, какой была ее покойная мать в пору замужества, - крупную, белолицую, с затаенной в темных глазах печалью, с приятным, грудного тембра голосом. Казалось, она была довольна своей жизнью у Завойко, но когда года два тому назад на Камчатке возникла первая ткацкая мастерская, Харитина ушла в подмастерья.

В ту же пору вернулся к деятельной жизни отставной кондуктор Петр Белокопытов и получил свое новое прозвище - Крапива. Мальчиком попал он в ученики на Прохоровскую мануфактуру в Москве, там изучил ткацкое ремесло, потом был взят во флот. Тридцать лет прослужил на корабле, а к старости, разбитый ревматизмом, с отеками от сердечной хворости ногами, с дряблыми щеками, свисавшими, как у обиженного бульдога, осел на камчатском берегу. Он зарос седой щетиной от подбородка до лысой головы, и только закрученные кверху усы молодцевато торчали на усталом, отжившем лице. Старик заметил, как ловко орудуют камчадалы нитками из крапивы, попробовал крепость этой нитки и посоветовал Завойко наладить ткацкое дело, используя, за отсутствием льна и конопли, камчатскую крапиву, на редкость рослую и прочную. Это было последним поприщем потрудившегося на своем веку старика, последним делом жизни, за которое люди поминали его добрым словом, и он не терял времени даром. Крапива объезжал камчатские деревни, обучал женщин мудреным приемам ткацкого дела и организовал в нескольких больших деревнях ткацкие школы, из которых особенно славилась школа в селении Милково. Старик быстро научился отличать лучшие сорта крапивы и нашел способы для простейшего получения из нее волокон для пряжи. Из этой крапивы русские и камчадалы ткали вполне пригодное для белья полотно.

Завойко одаривал местным бельем приезжих чиновников и любил подшутить над ними, ошарашивая неожиданным признанием:

- А я вас, драгоценнейший, в крапиву одел. Ну-с, что скажете? Не кусается?

И заезжему чиновнику, скептику, который иронически относился к рассказам Завойко о местных ремеслах и гордился тем, что выписывал для жены из Парижа новейшие корсеты без швов, начинало казаться, что камчатское белье покусывает, пощипывает, почесывает его нежное тело.

Петропавловск спал. Освещены были только окна в доме Завойко. Еще на противоположной, западной окраине тускло светилося чье-то окошко.

- Никитка, - спросил Кирилл, - это кто огонь жжет, полуношничает?

- Почтмистер.

- Господин Трапезников как будто не у себя, а у Василия Степановича в дому-то, - усомнился денщик.

- Может, американ свечи жжет? У них американ горницу снял. Все ходит, думает, дымит, трубку изо рта не выймет: разве что сплюнуть или кумачом обтереться.

Слова Никиты о трубке уже повернули медлительную мысль старика в другую сторону.

- Сказывают, и табак на транспорте привезли? - спросил он жалобным голосом.

- И табак есть, да не про нашу честь, - пошутил Никита.

- Как так? - вознегодовал Крапива.

- Господский табак. Листовой, черкасский. И мука крупитчатая белая. Не разгуляешься.

Дед недовольно мычит:

- Неужто и в летнюю пору травкой пробавляться?

- Самая пора, - подзадоривал старика Никита. - Что травы, что листу на деревьях - сколько хошь. Ешь, да попивай, да трубку набивай. На это и нашего жалованья хватит. Как думаешь, Иван? - обратился он к своему дружку, камчадалу Афанасьеву.

- Жалованье наше по лесу бегаёт да в реке плавает, - ответил в тон Иван Афанасьев. - Можно и ржаной муки подождать.

- Можно, - согласился старый матрос. - Нам не в первый раз на аварийном довольствии находиться. А теперь свежий лосось пошел.

- Хорошо тебе, Крапива, что делов мало. Все ездешь, баб муштруешь. А коли с рассвету до темноты на батареях в земле копать, так что к ночи рук не чуешь. Лосось хоть и близко, а взять его надо.

- Бабу заведи, - резонно ответил Никите Крапива.

- Разобрали... хороших.

- Чем же Харитина не невеста?! Лучше и не ищи.

- Все девки в девушках хороши, - ответил Никита, - а отколь злые жены

берутся?

Парни засмеялись. Харитина поправила платок и, прикрывая ладонью рот, равнодушно зевнула.

- Нужен он мне, беспокойный! - сказала она низким голосом. - Днем с дружками язык чешет, ночью песни поет. Насмотрелась я на его работу!

Последние дни Харитина работала на дальней кладбищенской батарее. Она плела из прутьев каркасы фашин.

Никита нахмурился.

- Работы моей не тронь, - сказал он резко. - Моя работа при железе, там и суди меня. Что толку в земле копаться? Всей земли не выберешь.

- Оттого и голодуем, что до земли охоты нет, - возразила Харитина.

- Мужичья работа! - упорствовал Никита.

- Известно, не каторжная. - Никита был сыном каторжанина с Петровского завода в Забайкалье. - Хлебная.

- Неужто мы на батареях рожь сеять будем! - усмехнулся Кочнев.

- Не люблю глупостей ваших, Никита Федорович, - сказала Харитина певуче.

- Вон сколько земли наворотили, валы насыпаем, - сказал Никита. - А разве укроет меня земля, если англичец с пушками объявится? Пустое!

- Не земля тебе, а ты ей защитник, - укоризненно промолвил Крапива. Ты и укрой землю грудью.

- Может, мне сподручнее на ровном месте, а ты меня в овраг гонишь.

Крапива ожесточенно потеревил седую щетину.

- Дурак! - озлился он. - Овраг грудью не прикрывай, а землю штыком защищай. Ты пушки не пугайся: пушкой землю нарушишь, а не возьмешь. Про штык думай... Трудно англичцу супротив русского в штыки отважиться. Он мореход исправный, сноровистый, с кораблей палить будет. Таких куличей накидает - свету белого не взвидишь. Дома наши огнем возьмутся, людей железо побьет. А ты не пугайся - сиди, жди, штык наготове держи...

- А если англичец побросает ядер, а потом турка на берег пустит? спросил Никита.

- Турка? - переспросил старый матрос. - Ну, турок - другое дело. Не приведи господь ночью с турком встретиться.

- А что? - встревожился Никита.

- Не распознать его с черноты-то. Темен и больно лукав...

- Это ничего, - Никита ударил по плечу Ивана Афанасьева, - мы и ночью в глаз попадем, не оплошаем. Уж на что соболев умная животино, все лукавится, все норовит охотника уму-разуму учить, а с нами встретится - и конец его лукавству...

Кирилл закашлялся по-стариковски, вздохнул, и, справившись с кашлем, сказал:

- Турок - жарких стран житель. Не решится он к нам. В нашем климате ему не жить.

- А не решится - и то ладно, - подхватил Крапива. - Англичец при корабле силен, в сухопутье он послабее будет. Хитростью возьмет, а силой и отвагой - ни!

Наступило долгое молчание. Было слышно, как шумит ветер в кустарнике, которым зарос весь склон, и поскрипывает настежь открытая дверь.

Кто-то осторожно, крадучись приближался к избе, на короткое время остановился, видимо у глядевшего на гору оконца, и медленно обогнул избу.

Узнав полицмейстера, все поднялись и почтительно поклонились. Тоскливо сжалось сердце Харитины, и она старалась спрятаться за спину Никиты Кочнева. Губарев недовольно осмотрелся. Приметил Кочнева, камчадала Афанасьева, отставного кондуктора Белокопытова. Озлобленно хмыкнул, услышав залиvistый кашель старого денщика Завойко Кирилла, которого никак не ожидал здесь встретить.

Спросил строго:

- По какому случаю сборище?

- Весну празднуем, - пошутил Белокопытов. - Новый хлеб. Поглядеть на него и то любо.

- Поздно! Поздно! - внушительно прикрикнул Губарев.

- Батюшки-светы, Сергей Сергеевич! - послышался голос отдышавшегося Кирилла. - Со счастливым вас возвращением из дальнего плавания! Чаю я, повоевали вы купчину?

Никто не увидел в темноте, как побагровел Губарев. Он только хотел было огрызнуться, как раздался громкий, почти радостный крик Харитины:

- Корабль в море! На "Бабушке" сигналият!

Она первая увидела условный сигнал с обсервационного пункта. Корабль еще находился в открытом море, и узнали о нем на "Бабушке" по сигналам Дальнего маяка. Сомнительно, чтобы кто-нибудь решился войти в Авачинскую губу безлунной ночью, при свежем северном ветре, разводящем волну и сильное течение в самой горловине входа. Нужно дожидаться света, чтобы по условным сигналам узнать, какой нации принадлежит судно, торговое оно или военное и, наконец, один ли корабль пришел к камчатским берегам или чья-то эскадра.

- Расходись по домам! - крикнул полицмейстер и стал вразвалку спускаться к порту. Вскоре, несмотря на сигнал маяка, Петропавловск уснул.

Затихли голоса в губернаторском доме. На Никольской горе у порохового погреба задремал часовой.

Только в доме судьи Петра Илларионовича Василькова жгли огонь. Судья ждал гостей. Он снял мундир и облачился в длинный халат из вишневого полубархата.

Когда судья снимал очки, его лицо приобретало новое выражение. Появлялось в нем что-то беспомощное, жалкое, как у совы, ослепленной ярким светом. В глубоких складках, окружавших глаза, в неприятно темном, уже оплывавшем лице, в усталой гримасе красивого рта чувствовалось многолетнее разрушительное действие пороков.

Никто не знал, какое диво привело этого человека на Камчатку, но нетрудно было догадаться, что только скандальный проступок мог забросить его так далеко.

Преуспевающий петербургский чиновник Петр Илларионович Васильков был замешан в деле известного казнокрада, фаворита Николая I, графа Петра Андреевича Клейнмихеля. Ведая в 1838 - 1841 годах восстановлением сгоревшего Зимнего, граф Клейнмихель присвоил баснословные казенные суммы из строительных смет, а затем прикарманил и сотни тысяч рублей, отпущенные на покупку мебели для дворца. Больше десяти лет запугивал и шантажировал Клейнмихель поставщиков мебели, но в 1852 году его шарлатанство открылось и на некоторое время над графом нависла угроза опалы. Пострадали только подчиненные чиновники Клейнмихеля, сам же граф Петр Андреевич вскоре был прощен. Клейнмихель помог и своим подручным избежать суда, но кое-кому, в том числе и Василькову, пришлось убраться подальше. Живя в провинции, они не теряли надежды на помощь и благоволение сиятельного и всесильного вора.

Чиновничий формуляр Василькова был чист и беспорочен: судья явился в Камчатку с превосходной аттестацией, и Завойко ничего не знал о его прошлом.

В Петропавловске Васильков держался независимо и опасался одного Завойко, как умного и непреклонного начальника, по самому складу своему ненавистного Василькову. Судья был прирожденным стяжателем. На красивую жену свою он смотрел как на собственность; он купил ее у неимущей вдовы коллежского асессора. Собственностью были не только его дома или добро в сундуках, но и чиновники, подчиненные судье, и содержимое чужих кошельков, если их владельцы почему-либо попадали в поле его зрения. Васильков быстро примкнул к враждебной Завойко "партии" петропавловских чиновников; состояла она из судебных - гражданских и

военных чиновников, столоначальника губернской канцелярии Седлецкого, главного лекаря Ленчевского, горного чиновника и немногих офицеров сорок седьмого флотского экипажа.

Около часу ночи раздался осторожный стук в окошко.

Васильков впустил в дом Губарева и гижигинского купца Силантия Трифонова. Казак, сопровождавший их, сразу же был отправлен на хутор Губарева, а принесенный им мешок Трифонов втащил в дом и положил к ногам судьи. Трифонов, тайком приехав в Петропавловск, просидел вечер в одной из горниц Губарева, прислушиваясь к тому, как бродит по дому и ворчит озлобленная на весь мир жена полицмейстера.

- Бью челом, Петр Илларионович, - пробасил Трифонов, но судья приложил палец к губам, и купец заговорил тише. - Вот, прими, от чистого сердца.

Он начал развязывать мешок.

- Ладно, ладно, - остановил его Васильков вялым жестом.

Трифонов уже вытаскивал из мешка шкурки песцов и соболей и, побрякивая, клал их на стол.

- Рухлядишки привез, денег, оленьих языков вяленых, - бормотал Трифонов.

- Ничего не пожалею, Петр Илларионович. Защити меня, не дай растоптать...

- Уняться тебе пора, - проговорил Васильков, испытующе поглядывая на купца. - Явился бы к Завойко с повинной, авось поладили бы. Уступил бы... А?

Трифонов выпрямился, бешено сверкнул глазами из-под темных, кустистых бровей и закричал:

- Ты Завойко не знаешь: уступи ему волосок - бороды не станет!

Васильков сказал грубо, с рассчитанным неудовольствием:

- Что у тебя еще стряслось, каналья? Попадешь с тобой в беду.

Будто по молчаливому уговору, все трое уселись за стол и принялись за штоф белого вина. Трифонов говорил много и много пил. Полицмейстер побрякивал, кивком головы выражая свое согласие с купцом.

Оказывается, камчадалы остались недовольны следствием Губарева и послали выборных к Завойко. Трифонов, уже со слов Губарева, рассказал и о том, что Завойко ищет подходящего купца для Гижиги, на его, трифоновское пепелище. Вникнув в подробности, судья проговорил озабоченно:

- Н-да, круто заварил ты кашу. Судить тебя он, положим, не станет...

- Побоится разве? - с надеждой спросил Трифонов.

- Не подсуден ты ему. Купец первой гильдии! - объяснил Губарев.

Васильков усмехнулся и проговорил с расстановкой:

- А вот закует в железа и отправит в Иркутск.

Трифонов угрожающе поднялся.

- Как каторжника, в железах?!

- В железах, - спокойно подтвердил судья. - Ты, брат, поберегись, в голые руки не давайся. Вот с камчадалами забота! Хорошо, если к Седлецкому ткнутся: столоначальник - милейший человек, уж он им пропишет. А если минуют его да с черного хода, к Завойко?

- Камчадалы - моя забота, - решительно сказал Губарев. - Эдакие подлецы, следствием моим недовольны! Не пущу я их в Петропавловск, Петр Илларионович. - Он продолжал шепотом: - Я казачий пикет у Сероглазок поставил, приказал отвести камчадалов на хутор. Одобрите-с?

- Весьма рискованно, - сказал Васильков, поглаживая рукой песцовую шкурку. - Весьма-с... А впрочем, одобряю. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

И судья усмехнулся, вспомнив Петербург, грозу, нависшую было над ним, и пухлую, в перстнях руку Клейнмихеля, которую он лобызал в благодарность за чудесное спасение.

Властный стук в окно разбудил старика Жерехова. На заднем дворе надрывались, почуяв чужого, ездовые собаки; сторожевых псов здесь не держали, а эти были на привязи.

Как был, в длинной сорочке старик вынырнул из-под пухового одеяла, раздвинул голубевшие в лунном свете занавески, - за окном стоял Силантий Трифонов.

Самому себе не поверил Лука Фомич, наклонился, приблизил стариковские глаза к стеклу, разглядывая приплюснутую к стеклу волосатую физиономию. "Стало быть, Трифонов", - решил Лука Фомич, набросил на плечи халат и разбудил спавшего в соседней горнице Поликарпа, сказав ему коротко: "Поди открой гостю". Жерехов был непугливого десятка человек, но ночное появление Трифонова, после давешнего разговора с губернатором, встревожило его.

Принял он гостя в кабинете, уставленном светлыми, некрашеными книжными шкафами. Тут все было прибрано, строго, счетные книги аккуратной стопкой лежали на конторке... "И от спальни далече, - думал сонный Лука Фомич. - Еще разбудит Глашу, анафема".

Жерехов сразу заметил, что его гость пьян: на ногах Трифонов держался твердо, но вызываяще потряхивал львиной головой, а смоченные слюной губы кровянились под ярким светом лампы. Поздоровавшись с хозяином, Трифонов огляделся, разметал полы синей суконной поддевки и, сунув руки за спину, изумленно проговорил:

- Экую храмину отгрохал! - Подошел к шкафу, постучал твердым, как орех, ногтем по стеклу так, что звон пошел. - А стекла-то! На все гижигинские избы достало бы.

- С чем пришел? - бесцеремонно спросил Жерехов.

- Не злوبيсь, Фомич, с делом я к тебе. Винца приказал бы принести.

- Не пью я, - уклонился Жерехов.

- Знаю. - Трифонов странно, тонко хихикнул. - Сладкое любишь, силы бережешь. - Он тяжело плюхнулся на стул. - Береги, Фомич. - Свирепо взглянул на стоявшего в дверях Поликарпа и прикрикнул на него: - Сходи!

Отец молча кивнул, и Поликарп проворно сходил за вином. Парню нравился гость - сильный, кряжистый, хмельной; нравилось и то, как независимо разговаривает он с отцом.

- Беда у меня, Фомич, - заговорил Трифонов с пьяной горечью, кривясь от крепкого вина. - Злобится на меня Завойко, а я греха на себе не знаю: каждый грош потом-кровью полит.

- Много на тебе крови, Силантий, - сказал Жерехов сурово. - Пора бы и покаяться.

Трифонов тяжело согнулся, схватил полу стариковского халата, подергал ее и зычно закричал:

- Поп ты, Фомич, поп, а не купец! Денег у меня гора, ты и завидуешь! На старости лет в святые просишься, а сам в грехе живешь. Смолоду как куролесил!

Пегая бородка Жерехова затряслась.

- Нет на мне чужой крови!

- И на мне нет! - Трифонов озорно раскинул руки и сверкнул белками глаз. - Всё приказчики, душегубы, каторжники. Разве уследишь за ними, Фомич? Налетят, нагрябят - и-и поминай как звали. Пропьют добро, в тайники схоронят, а мне - оговор да злоба Завойки.

- Ты бы в острог их, в работы.

Трифонов наклонился к Жерехову.

- Убьют, - прохрипел в самое ухо. - Боюсь... - Он долго смотрел на Жерехова испуганными глазами. - Я вот так порешил, Фомич: гнать их в шею. Всех. Обойдусь. А ты помоги мне, сына в науку мне отдай. Главным приказчиком поставлю...

Поликарп все еще стоял у двери, босой, огромный, во всю раму больших дверей. Трифонов налил полную рюмку вина, встал и поднес ее парню. Видя, что отец и головы не повернул, Поликарп довольно улыбнулся, мигом опрокинул рюмку и вытер русые усы.

- Молод он, - ответил наконец Жерехов, сурово взглянув на сына.

- Бога побойся, Фомич! - притворно возмутился Трифонов. - В его лета ты какими делами ворочал! - Снова склонился к уху Жерехова. - Отпусти сына, слышь. Смотри, какую силищу нагулял! В доме молодая баба, белая, пухлая. Убрал бы его от греха...

Жерехов стремительно поднялся, по-змеиному выгнув свою длинную мускулистую шею, вскинул голову так, что Трифонов невольно подался назад, и отрезал гневно:

- Не для тебя сына растил, жила!

- А ты подумай, - издевался Трифонов. Он зашептал в самое ухо старика: - Бабы до молодого мяса у-ух как охочи...

- Прочь поди, жеребец, - наступал на него хозяин, сжимая кулаки.

Но Трифонов уже снова сидел и миролюбиво басил, отмахиваясь ручищами от вздыбившегося Жерехова.

- Прискакал к нам полицмейстер поручик Губарев, - продолжал Трифонов, не слушая старика, - меня не нашел, раз-два, суд и расправу учинил, по воинскому артикулу. Чего мои ушкуйники не нашли, полицмейстеровы казаки откопали. Обглодали камчадалов до косточки - и поминай как звали. Оскудеют людишки - торговле конец. Полицмейстер! - закричал он вдруг. - Боров! Хапуга! - И неожиданно рванулся к Жерехову. - Небось, и Завойко берет? Берет, скажи?

Жерехов даже не ответил на это, только усмехнулся и головой покачал. "Так вот зачем он явился!" - подумал Жерехов.

- Быть того не может! - упорствовал Трифонов.

- Попробуй, - посоветовал Жерехов, - сунься.

- Замолви за меня слово, Лука Фомич. Растолкуй ему. Никого слушать не станет - тебя послушает. Слышь, вразуми окаянного... И сына мне отдай. Как родного смотреть буду. - Подойдя вплотную к Жерехову, пьяно зашептал: Изведут они тебя, Фомич...

Жерехов подошел к двери, молча оттолкнул сына, показал рукой на открывшийся проход и проговорил с достоинством, спокойно:

- Потолковали - хватит. Негоже мне на старости лет в злодейство твое путаться. Прочь поди, чтобы духом твоим нечистым не смердело. Не было у нас с тобой раньше согласия - не быть ему и вовек.

Проходя мимо Жерехова, Трифонов задержался, сказал угрожающе:

- Не был я у тебя. Слышь? Не приходил. - Затем повернулся к Поликарпу: - Прогонит папаша, ко мне прилетай. К настоящему делу приставлю, заживешь...

И сильно ударил его по литому плечу. По дороге на Сероглазки, то всхохатывая, то злобно ругаясь, рассказывал Трифонов полицмейстеру Губареву о своем визите к старику. Но Губарев был недоволен. Сначала даже испугался.

- Озоруешь, Силантий! - выговаривал он купцу, прижимая левую руку к животу: кони шли резвой рысцей, и у Губарева, по обыкновению, больно екала селезенка. - Обремизишься с тобой...

- Заячьи вы души, служилые людишки! - смеялся Трифонов. - Все на один манер скроены: с просителем шибко, с начальством гибко. Не тужи, Сергей Сергеич, я и пьяный разума не теряю. Так честил тебя, так честил, будто два ворога только и есть у меня - ты да Завойко.

У Сероглазок они не нашли казачьего пикета и дальше погнали лошадей вскачь. Но тревога оказалась напрасной. Верные казаки Губарева, неоднократно к тому же соучастники разбойничьих набегов Трифонова, поджидали их на хуторе; камчадалы были схвачены еще с вечера и заперты в бане.

Светало. Губарев водил гостя по неровному, лежащему у самой реки двору, хвастался крепкими, минувшей осенью законченными постройками домом с затейливыми наличниками, коровником, сараями и другими службами.

- Жерехов, окаянный, книги за стеклом содержит, - кликушески закричал Трифонов, остановившись у большого, еще не застекленного окна, высокоумие свое показывает, а доброму человеку окончины закрыть нечем...

- Супругу свою поселю здесь, - сказал полицмейстер. - Живи, хозяйствуй, радуйся. И деткам тут приятно будет. - Он покосился на нахальную, ёрническую физиономию купца. - Теснота у нас, сам видел...

- С постылой бабой и в поле тесно, - сочувственно поддакнул купец.

Губарев промолчал.

Купцу не терпелось ворваться в баню и по-своему расправиться с жалобщиками. Но Губарев решительно запротестовал. Камчадалы не должны даже и видеть Трифонова, иначе вся затея пойдет прахом. Полицмейстер приведет их в дом и прочтет составленную по всей форме бумагу, якобы от самого Завойко. ("Там и тебе достанется", - предупредил он Трифонова.)

- Баловство, - разочарованно сказал купец, но подчинился.

В просторную, еще совсем не обжитую горницу привели трех камчадалов-охотников. Хмурый Губарев начальственно восседал за столом. Потребовал у охотников бумагу - челобитную губернатору. Их обыскали, но никакой бумаги не оказалось.

Полицмейстер беззлобно разглядывал ходоков. Неизгладимая печать нужды

лежала на их лицах. Миновала зима и жестокая, непременно голодная весна, когда в пищу идет березовая кора, мороженые ягоды, с трудом отысканные под снегом, да гниющие рыбы остовы из кислых ям. Резко обозначились челюсти и скулы - кости, обтянутые смуглой сухой кожей. Камчадалы не ждали ничего хорошего.

Губарев вышел из-за стола с бумагой в руках и стал читать. Именем Завойко полицмейстер винил камчадалов в непокорстве, в злостных и неправых жалобах, в напрасной вражде к торговым людям. Корил, правда, и купцов за нечестные расчеты, обещал строгий суд над приказчиками. И в заключение назначал десять суток голодного ареста и большой штраф каждому, кто, минуя тойона и казачьего исправника, осмелится принести жалобу в канцелярию губернатора.

Ни один мускул не дрогнул на лицах камчадалов, они сохраняли все то же терпеливо-напряженное выражение. Один из них, низкорослый, хромой камчадал, изредка переступал с ноги на ногу - он еле держался на ногах после шестидневного перехода по сопкам, болотам и лесному бездорожью.

Камчадалы молчали. Полицмейстер спросил, потрясая бумагой перед самым их носом:

- Поняли всё, каналы?

Хромой охотник с плоским коричневым лицом чуть приподнял голову и сказал отчетливо:

- Бить будешь. Опять бить будешь...

Правое ухо у хромого было изуродовано, словно смято медвежьей лапой или стянуто, как лист тлёт, в безобразный комок.

Губарев досадливо махнул рукой.

- Стану я об вас мараться! Вот посидите десять дней под замком на воде и на хлебе, и все уразумеее.

Хромой тяжело сглотнул слюну, в темных глазах его мелькнула насмешливая искра.

- За хлеб спасибо, начальник, - сказал он спокойно. - Мы тут-ка хлеба давно не кушали.

- Ишь ты, шутник! - удивился Губарев и тяжело опустил руку на плечо охотника. - Моему хлебу не обрадуешься. - Он чувствовал под рукой костистое, но сильное, вздрагивающее от злобы тело камчадала. - С казенной корочки жиру не нагуляешь...

- Отпускай нас домой, бачка, - тонким, срывающимся голосом взмолился седой бородатый охотник, стоявший между хромым и третьим камчадалом, помоложе. - Рыбу упустим - совсем помирать будем...

Полицмейстер погрозил ему в ответ кулаком.

- Отсидите срок, домой под конвоем отправлю, - сказал он строго. Деньги с вас возьму в казну...

- Нет у нас денег, начальник, - с угрюмым спокойствием сказал хромой.

- Небось соболя найдется?

- В лесу зверя дивно много, - упорствовал охотник. - А у нас все приказчик взял. Вот, все меха на нас...

Он поднял руки, чтобы лучше можно было разглядеть изодранную подмышками, лоснящуюся меховую куртку, из-под которой выглядывал подол серой домотканой рубахи.

- Я с тебя самого, братец, три шкуры спущу, - сказал Губарев, ткнув камчадала кулаком в подбородок так, что тот едва устоял на ногах. - Бери их, Максим! - приказал он казачьему уряднику.

По знаку Губарева казаки набросились на камчадалов, выталкивая их пинками из горницы. Хромой охотник цеплялся за дверной косяк и в неистовстве выкрикивал какие-то непонятные полицмейстеру слова. Налился кровью и совсем потемнел его худой, жилистый затылок с косицами жестких, давно не стриженных волос. Через полчаса Губарев и Трифонов покинули хутор, оставив камчадалов под надзором бдительных подручных полицмейстера. Трифонов держал путь через Большерецк в Гижигу, а полицмейстер торопился в Петропавловск.

Ночной сигнал с "Бабушки" вызвал смятение и тревогу. Теперь в порту уже, вероятно, знают, какое судно пришло к камчатским берегам, и полицмейстеру надлежит находиться на месте.

ПЕРВЫЙ УДАР

I

Изыльметьев решил до визита на "Президент" съездить в Лиму, к русскому консулу.

Первое известие о неизбежности разрыва между великими державами командир "Авроры" получил в январе. Пятнадцатого января в сумерки фрегат вошел на рейд Рио-де-Жанейро, а через несколько часов Иван Николаевич уже читал в консульстве секретные депеши о военных приготовлениях. Хотя и находилось немало людей, смотревших скептически на возможность войны между европейскими державами из-за Турции, Изыльметьев принял это известие как заслуживающее серьезного внимания. Уже несколько месяцев газеты обоих полушарий пророчили войну. Французская эскадра давно ушла из Тулона в греческие воды. Адмирал Дондас, командующий британской

средиземноморской эскадрой, курсировал между Мальтой и Константинополем. Еще до отплытия "Авроры" из Кронштадта стала известной активность североамериканцев в турецких водах. Петербургские газеты перепечатывали телеграммы из Кельна и Вены - в них прямо говорилось о тайном договоре, заключенном между Соединенными Штатами и Турцией, по которому Турция получает деньги и морскую помощь, а Соединенные Штаты - порт Энос в Румелии. Но если договор этот был бумажкой, сокрытой от всех глаз, то реальной, зримой силой являлись три американских военных судна в Босфоре, при турецком флоте, а сверх того еще фрегат "Сан-Луи" в Смирне и трехъярусный фрегат "Кумберленд", на котором правительство Соединенных Штатов послало султану восемьдесят миллионов пиастров.

Еще в Портсмуте Изыльметьеву и его офицерам пришлось убедиться в том, что многие газеты Европы рассчитывают на вмешательство Америки в европейские дела. Итальянская газета "Парламенто" в статье, которая была охотно перепечатана в Лондоне, писала о том, что "в 1840 году, когда был поднят египетский вопрос и совершено было нападение на Акку, правительство Соединенных Штатов безуспешно просило короля обеих Сицилий о временной уступке ему большого Сиракузского порта... Было бы несправедливо негодовать на эти устремления великой заатлантической нации или называть их нелепыми или смешными. Американцы, разумеется, не собираются завоевывать Восток и затевать сухопутную войну с Россией. Но если Англия и Франция пускают в ход свои лучшие морские силы, почему бы не делать того же американцам, особенно когда они приобретут морскую станцию - опорный пункт и продовольственную базу в Средиземном море?... Торговля и судоходство настолько расширили узаконенные сношения и связи между всеми народами земного шара, что теперь уже ни один народ не может считать себя чужеземцем в любом море старого или нового континента... По ту сторону океана англосаксонская раса, достигшая высоких степеней богатства, цивилизации и могущества, не может более мириться с тем скромным положением, которое было ей уделено в прошлом... Мы уверены, что американские военные суда, крейсирующие неподалеку от Дарданелл, не откажутся от своего права войти в них в любую минуту...".

Война казалась не только возможной, но и неизбежной.

В Кронштадте Изыльметьев не слыл политиком. Очень редко можно было услышать от него замечание относительно европейских дел. Человек скромный, он вступал в спор только тогда, когда мог сказать что-то дельное, подтвержденное собственным опытом и наблюдениями.

И теперь многое еще ему неясно. Когда разразится война? Кто мог ответить на этот вопрос? Может быть, она уже началась, и быстроходный пароход с депешами на борту спешит через Атлантику в Новый Свет. Хотя наступил век электрического телеграфа, век фотографии, химических спичек и других чудес, человечество еще в бессилии останавливается перед бесконечными водными пространствами. Какие-то фантазеры предлагают уложить телеграфический кабель на дно Атлантического океана или Берингова пролива. Газеты называют их сумасбродами, мечтателями, печатают о них заметки рядом со скандальной хроникой и происшествиями.

Может быть, слово "война" еще не прозвучало?

"Что бы ни происходило сейчас в Европе, - сказал себе Изыльметьев, мой долг сохранить "Аврору", защитить честь русского флага".

Корабли неприятеля разбросаны по всему миру. Суда основательной, крепкой постройки, с новым вооружением, с удобствами, которых нет на старых кораблях, наспех проконопаченных и подкрашенных перед выходом в море.

Горечь охватывала Изыльметьева, когда он мысленно возвращался в Петербург, в здание Адмиралтейства, в кабинеты сановников.

"Поймут ли когда-нибудь эти люди, осыпанные звездами и монаршими милостями, что России нужен большой флот, что русскому моряку тесно на старых, прогнивших судах? Слава нашего флота растет. Синопские громы потрясли Европу. Ныне только безмозглый ретроград станет твердить, что морское дело не с руки русскому человеку. Дайте ему новый флот, дайте линейные корабли, паровые фрегаты, пароходы, новую бомбическую артиллерию - и мир поразится уму и редкому умению русского моряка!"

В это Изыльметьев верил не менее твердо, чем в непреложные законы механики и баллистики.

Однако мечтать о том, чтобы "Аврора" выдержала бой с англо-французской эскадрой, стоящей в Кальяо, - нелепо. Изыльметьев принял другое решение, которому следовал неуклонно после выхода из Рио-де-Жанейро. Необходимо выиграть время. Задача заключается в том, чтобы в любом пункте следования опережать известие о начале войны. Депешу о войне, если она началась, везут не боги на огненных колесницах, а те же матросы на парусных или винтовых судах. Пусть к их услугам морская эстафета, пусть они имеют возможность, причалив к узкому перешейку, соединяющему Северную Америку с Южной, в несколько часов передать сенсацию через Панаму из Атлантического в Тихий океан, - "Аврора" должна опередить ее и затеряться в океане до того, как на вражеских судах откроют орудийные окна и скомандуют: "Огонь!"

И "Аврора" не теряла попусту ни часа. Жестокие штормы обрушивались на фрегат, палубные доски расходились в пазах, обессиленная команда то и дело крепила не только марсели, но и нижние паруса, оставляя одни стаксели; перед входом в Магелланов пролив водяной вал снес со шканцев рубку, нактоуз и две шлюпки, но "Аврора" не сдавалась, не пережидала непогоду. В назначенный самим Изыльметьевым день она пришла в Кальяо.

Желтая лихорадка парализовала порт. Уныло бродили люди у портовых складов. На берегу горы ящиков с сахаром, хлопковых кип, тюки шерсти, штабели медных брусьев. В порт уже который день не приходят коммерческие суда, напуганные известием об эпидемии.

Узкие вагоны местного поезда, соединяющего Кальяо с Лимой, уходили и возвращались полупустыми. Ими пользовались моряки, местные чиновники, городские служащие, которых необходимость заставляла покидать дома и тащиться в порт.

В окнах мелькало плоское побережье, пески и сланцы, изрезанные высохшими ручьями. Вдали, за пустынным плато, вставали сумрачные скалистые горы.

Лима крикливой раскраской домов, белыми тентами над окнами магазинов напоминала тропический город в полдень. Но апрельское утро было не жарким. Холодное течение, омывающее берега Перу, охлаждало воздух. Океан дышал ровно, окатывая берег мягкими волнами прохлады. На бульварах и в парках, у скромных отелей, под холщовыми тентами и навесами магазинов было очень мало людей.

Консула на месте не оказалось. Он выехал под каким-то предлогом на юг, в Мольендо.

Помощник консула, прибывший сюда несколько месяцев назад на бременском пароходе, не подал Изыльметьеву руки, сослался на недомогание. Лимфатический молодой человек с землисто-серым лицом, в мягких домашних туфлях, халате и ночном колпаке, из-под которого смотрели испуганные глаза, - он показался Изыльметьеву натуральным представителем чиновничьего Петербурга, серой песчинкой, неведомо какими судьбами занесенной с Васильевского острова в страну коричнево-оранжевых красок... Из всех углов комнаты шел пряный аромат ванили.

- Перуанский бальзам, - поспешил объяснить чиновник. - Превосходное антисептическое средство. Добывается, кажется, из коры бобового дерева. Прошу садиться...

Он протянул вперед руки, измазанные какой-то темно-бурой жидкостью. Бальзам обильно разлит по всей комнате, и от этого, как и от цветущих в

кадках растений, было очень душно.

Изыльметьев продолжал стоять и с недоумением смотрел на руки помощника консула.

- Вы бы окошко отворили. Духота какая!

- Извольте войти в мое положение... - помощник неопределенно развел руками.

- С моря идет воздух чистый, здоровый. А так и впрямь заболеть можно.

Чиновник плотнее завернулся в халат.

- Извольте шутить, господин капитан. В воздухе носятся мириады бацилл.

Изыльметьев пожал плечами и перешел к интересующему его делу. Да, конечно, консул не забыл о них, тут среди почты есть бумаги, которые должны заинтересовать капитана... Помощник вытер о суконку два пальца и протянул ему несколько листов.

- Господин консул просил ознакомить вас с этим. Все весьма неопределенно: вы сами должны сделать верную оценку.

Расстегнув верхние пуговицы мундира и вытирая платком лоб, Изыльметьев пробежал бумаги. Ничего нового. Разрыв с Англией и Францией неизбежен. Известие может прийти со дня на день. И все же его нет. Вероятно, его нет и у англичан, иначе "Авроре" не пришлось бы стоять так спокойно на рейде... Сегодняшний визит на "Президент" должен многое объяснить.

Чиновник осторожно взял бумаги из рук Изыльметьева, чтобы случайно не коснуться его.

- Благодарю вас. Честь имею...

- Что ж так торопитесь? - помощник консула едва скрывал свою радость. - А я полагал надолго запастись новостями... Ах, Петербург, Петербург, город юности моей! Невский проспект...

Изыльметьев насупился.

- Вы бывали на Литейном, господин капитан?

- Нет, - насмешливо ответил Изыльметьев. - Я истый моряк, господин помощник консула. Родился на палубе, на палубе прожил жизнь. В крепостях бывал дважды: один раз - в Кронштадте, теперь - тут у вас.

- Вас встревожили бумаги? - Чиновник засуетился, заглядывая в глаза Изыльметьеву. - Признаться, и я... Хотя положение весьма неопределенное... Как поверить, что просвещенные христиане станут воевать на стороне Порты? - Молодого дипломата до сих пор сбивало с толку спокойствие капитана, а тут пришлось отвести глаза от его злых и гневно потемневших зрачков. - Однако же, несмотря на отдаленность, все симптомы... А поглядишь этак на английских офицеров - и вдруг отбросишь самое

предположение о войне, как абсурд и отступление от разума. Я, знаете, наблюдаю их сквозь окошко, здесь мой наблюдательный пункт, - лицо помощника оживилось. - Они смотрят совершеннейшими джентльменами. Неужто все это одна видимость?!

Изыльметьев распахнул дверь.

- И заметьте: они вовсе не боятся свежего воздуха, молодой человек! бросил он насмешливо, выходя из комнаты помощника консула.

В открытую дверь смотрело синее небо и зелень консульского сада. Комната наполнилась резким криком птиц. Помощник консула бросился к двери, плотно закрыл ее и, окунув руки в тазик с бальзамом, облегченно вздохнул. II Офицеры, заполнившие обширную кают-компанию "Президента", не могли знать, что война уже началась, что обращение королевы Виктории прочитано парламенту еще 23 марта утром, а несколько часов спустя Луи Наполеон объявил о вступлении в войну Франции. Султанский фирман теперь подкреплялся нотами английской королевы и императора французов, одобренными обеими палатами. Через Атлантический океан к берегам Америки спешил винтовой фрегат с инструкциями соединенной англо-французской эскадре в Тихом океане. У берегов Панама дремал "Вилаго" с погашенными топками. Он ждал депеш.

А в эту пору Прайс пристально всматривался в лица русских. "Тучный иеромонах, узколицый лейтенант, нарочито небрежный, юный мичман, пожирающий всех любопытными глазами, - все это просто и понятно, - думал Прайс. - Каждому из них я легко найду двойника на своих кораблях". Но Изыльметьев ставил его в тупик. Высокий, массивный, с мускулатурой атлета и с простодушным лицом фермера. Может быть, он имеет дело с ограниченным служакой, с простаком? Что-то удерживало Прайса от поспешного приговора. Но что? Улыбка, мелькавшая на скуластом лице, убегающая в грубые солдатские усы? Едва приметная раскосинка, придающая особое выражение его глазам? Или натуральное радушие, столь резко отличное, даже по интонации, от наигранной любезности французов? Тяжеловат, но что-то в нем есть, что-то есть...

Депуант наполнил рюмки чилийским ромом. Француз был куда оживленнее, чем утром, во время беседы с Прайсом.

- Как долго господин капитан собирается пробыть в Кальяо? - спросил он. - Было бы жаль расстаться, не познакомившись как следует. Русские военные суда так редко покидают свои порты, чтоб осчастливить морскую семью знакомством...

- Русский человек привык к простору, господин адмирал. - Изыльметьев

улыбнулся. - В чужих портах бывает слишком тесно. Могли ли мы ожидать, что даже в Кальяо, на краю света, окажется столько военных судов?

Депуант изобразил искреннее огорчение и даже всплеснул руками. Он спросил:

- Не собираетесь ли вы покинуть нас?

- Нет, мы задержимся в Кальяо.

- Надолго ли? - вмешался Прайс.

"Этот грубее, - подумал Изыльметьев. - Ему подавай сразу все начистоту, без особых учтивостей".

- Надолго. Будем поджидать здесь депеш. Чиниться. "Аврора" нуждается в серьезном ремонте. Князь Максutow - он у нас непогрешимый авторитет механики и корабельной архитектуры - мог бы подробно рассказать нам о повреждениях фрегата.

Изыльметьев, а за ним и все присутствующие посмотрели на Максutowа. Капитан не забыл, как удивляла жителей Лондона безукоризненная английская речь Максutowа, и заранее предвкушал эффект.

Но Максutow молчал. Кивком головы он подтвердил справедливость слов капитана и откинулся на спинку дивана.

Пока длилась пауза, Прайс изучал лицо Максutowа. Князь! Порода сразу видна: строптив, самоуверен. Ему не придется в семьдесят два года утруждать свои кости далекими походами.

- Очень пострадал корпус фрегата, - продолжал Изыльметьев, не сразу отведя настороженный взгляд от лица Максutowа, - кое-где нужно менять обшивку. Образовались пазы в палубных перекрытиях, - при большой волне вода проникает в трюм. Да и такелаж изрядно потрепан. Приходит в ветхость наша "Аврора". Девятнадцать лет бессменной службы...

Прайс перехватил торжествующий взгляд Депуанта.

- Всеу свой черед, мой капитан, - произнес Депуант проникновенно. Все уходит из этой юдоли печали... И нет ничего, что устояло бы против разрушительной работы времени в вечной смене приливов и отливов, подъемов и падений. И мы были когда-то молоды, - адмирал поднял руку плавным, театральным движением, - и наша жизнь всходила над синим простором океана, как всходит над миром прекрасная Эос!..

Обнажив десны в снисходительной улыбке, Прайс смотрел на декламирующего Депуанта.

- ..."Аврора"! Утренняя заря! А мы приблизились к сумрачному рубежу. Ах, капитан, жизнь прожита, но познана ли истина? Мы уходим, завещая потомкам только два слова, в свою очередь оставленные нам древними:

"Истина - в вине!" - Депуант налил до краев рюмку Ионы. - Пейте, господа!

Изыльметьев вернулся к прежней теме:

- Как ни прискорбно, господа, мы еще с месяц простои́м у этих унылых берегов.

Он повернулся к Александру Максутову, словно желая услышать подтверждение своих слов.

Лейтенант опять молча кивнул.

Краска залила лицо Пастухова, сидевшего рядом с ним. Мичман склонился к Максутову.

- Александр Петрович, ради бога! - прошептал он. - Простите меня, но ваше молчание невыносимо... Это...

Максutow лизнул языком пересохшие губы и отвернулся от мичмана. Мальчишка! Тоже, лезет с советами.

Разговор вели французы - Феврие Депуант (изредка апеллируя к авторитету Прайса), тщедушный, туго затянутый в мундир лейтенант Лефебр, лейтенант Бурже, который держал себя настолько кокетливо, что можно было предположить присутствие женщин, спрятанных где-то за переборками каюты.

Говорили о лингвистических способностях русских, о новых паровых машинах, о Британском музее и электро-гальванических перьях, о несовершенстве лодий ("Кстати, куда направляется "Аврора"? - спросил мимоходом Депуант. - Не по пути ли нам? О, конечно, если это не тайна..."); о Сибири - "загадке России", об удивительном растении, живущем в любых условиях - и на камне и в деревянной стене каюты ("У меня есть такая штука на "Форте", - сказал Депуант, - я буду рад сделать презент моим новым друзьям!"); о перуанском бальзаме, который конечно же должен стать достоянием всего цивилизованного человечества как по приятному аромату, так и по целительным свойствам! К слову вспомнили и о желтой горячке.

Что за проклятье! Знает ли капитан, что болезнь уже проникла на эскадру? Да, есть случаи на "Президенте", на "Форте" и на брига "Облигадо"... Хорошо бы собрать фрегатских медиков, подумать и сообща решить что-то.

- Если на "Авроре" пока все благополучно, - уверял Депуант, - то это нужно приписать господней воле и благоразумию господина капитана, поставившего "Аврору" мористее других судов. Но нет никакой гарантии, что болезнь не перекинется и на русский фрегат.

Сообщение адмирала встревожило Изыльметьева. Оно было вполне правдоподобно: матросы, съезжающие на берег за свежими продуктами, могли принести заразу. А он ведь решил отправить на берег матросов за

лимонами и живыми быками. Без этого не обойтись.

Изыльметьев заторопился на "Аврору". Но нужно, в свою очередь, сказать седовласым адмиралам что-то приятное и располагающее.

Все уже встали со своих мест, когда он сказал:

- Господа, я и мои друзья весьма тронуты любезным приемом. (Прайс учтиво склонил голову.) Совершеннейший боевой и исправный вид обеих эскадр, - продолжал Изыльметьев, - достоин высокой похвалы. (Депуант порывисто протянул руку Изыльметьеву.) Нам иногда приходится бывать невольными свидетелями занятий ваших команд; артиллерийские учения, примерные высадки, свозы десантов, практикуемые вами столь часто, не могут оставить равнодушным сердце моряка. Во всем расчет, точность...

- Мы высоко ценим ваше мнение, господин капитан, - промолвил Прайс.

- Я не завидую тому, на кого обрушится все это, - так же невозмутимо говорил Изыльметьев. - Но к чему столь грозные приготовления здесь, в Перу?

Изыльметьев встретился глазами с Прайсом. Несколько секунд адмирал выдерживал испытующий взгляд, затем прикрыл глаза морщинистыми веками.

"Напрасный труд! - заключил он, ощущая растущую неприязнь к Изыльметьеву. - Он ничему не поверил. Нужно говорить проще, без околичностей. Сколь ни хитер русский, но раньше чем через десять дней ему отсюда не выбраться, а через неделю "Аврора" будет моя или... ее вообще не будет".

Все это мгновенно пронеслось в голове Прайса, и когда он опять встретился взглядом с Изыльметьевым, в острых глазах адмирала нельзя было прочесть ничего, кроме спокойной, непреклонной решимости.

- Ныне, - сказал он, смакуя слова, - после Синопа, над морским горизонтом возшла звезда России. Россия намерена стать великой морской державой, - это может не нравиться, но считаться с этим необходимо. Особенно тем, кого море кормит!

- России нет нужды становиться морской державой, - проговорил Александр Максutow сипловатым от волнения голосом, - она издавна является ею.

- Разве? - Прайс дивился не только дерзкому тону молодого офицера, но и его произношению - произношению юного тори, который во всю свою жизнь не вымолвил ни одного слова не по-английски. - Что же помешало нам заметить такой важный факт?

- Высокомерие, господин адмирал! - твердо сказал Максutow, вполне овладев собой.

- Но будучи высокомерным, я говорю: русские могут гордиться Синопом... Подобной победы давно не знал ваш флот.

- Англичане и более того могли бы гордиться победой, подобной Синопу.

Капитан Паркер впервые открыл рот.

- Отчего же более? - спросил он вызывающе.

- Оттого, сэр, - запальчиво ответил Максutow, - что Англия почитается владычицей морей, но со времен отважного адмирала Нельсона английский флот не совершил ничего выдающегося.

Атмосферу разрядил Прайс. Пожимая широкую руку Изыльметьева, он сказал:

- Можете гордиться: вы воспитали истинных патриотов. Молодость, горячность, патриотизм - какие бесценные качества!

У трапа, пропуская вперед Максutowа, мичман Пастухов незаметно схватил его холодные пальцы.

- Простите... Здорово вы его!

- Чепуха! - ответил Максutow, не посмотрев на мичмана.

Трудно сказать, к чему относилось это восклицание: к спору ли его с Прайсом или к неуместным излияниям мичмана? Но Пастухов обиделся и еще раз густо покраснел. III Работы на "Авроре" не прекращались и ночью. Команда, измученная переходом вокруг мыса Горн, должна была в несколько дней сделать то, на что при других обстоятельствах ушло бы не меньше месяца.

Боцман Жильцов метался по палубе и трюмным помещениям с воспаленными от бессонницы глазами. Иногда в укромных местах он пускал в ход кулаки, но сдержанно, с опаской. Трудно приходилось Жильцову. Нужно было лавировать между Изыльметьевым и Тиродем. Помощник капитана относился к старшему боцману с деспотической придирчивостью. Он помнил то время, когда неутомимый Жильцов смело орудовал "кошкой", за малейшую провинность ставил матросов на ванты или привязывал к бушприту. Вынужденный во всем уступать непреклонности Изыльметьева, от боцмана Тироль требовал, казалось, невозможного - неподчинения нравственным правилам капитана. Понимал всю несбыточность этого и тем не менее негодовал на Жильцова, находя, что тот проявляет мало упорства и изобретательности.

Фрегат чинился по особому плану. Ремонт палубы, палубных надстроек и рангоута шел ночью. Днем палуба фрегата выглядела непривычно тихо, зато внутри судна стоял шум, - даже некоторые работы по ремонту такелажа, которые ведутся на палубе с того дня, как человек поставил первый парус, были перенесены в душные жилые помещения. А марсовые с чужих кораблей

сlediли за "Авророй" в зрительные трубы и, наверное, отстояв вахту, потешались в кругу своих экипажей над нерасторопностью аврорцев, все еще неспособных привести в порядок свой фрегат. Боцман понимал необходимость такой хитрости, и все-таки его донимала обида.

- Эх! Да разве так это делается! - говаривал он, злобно поглядывая на матросов. - Поставить бы "Аврору" поближе к англичанину и французу, свистать "всех наверх" и показать такой аврал, чтобы соседи ахнули! Вот тогда и поглядели бы мы на них! Нам и зрительной трубы не потребовалось бы...

Палуба "Авроры" оживала лишь вечером, когда звездный полог накрывал гавань, а чужие корабли обозначались редкими огнями, тусклыми в сравнении со звездами южного неба. Работали на палубе лихорадочно быстро, споро, без шума. Со шлюпки, подкравшейся к борту "Авроры", нельзя было бы понять, что делается на палубе.

Самолюбие аврорцев очень страдало, когда на фрегате появлялись гости. А они приезжали часто, по разным поводам и предлогам. Дважды являлся Прайс, смешно, как цапля, поднимая ноги, и Депуант, который обычно трепал по щекам гардемарин, улыбался и повторял единственное известное ему русское слово: "Дгужок!" Матросы уже дали ему и кличку "Дружок", а вскоре и всех гостей, приближавшихся к "Авроре", встречали возгласами:

- "Дружки" едут!.. "Дружки" с правого борту!

С приближением "дружков" - офицеров, врачей, патера - Изильметьев приказывал боцману привести в беспорядок палубу. Речь шла о пустяках спустить гордень, чтобы конец его болтался, расстелить старый, дырявый холст, небрежно бросить инструмент, а главное - следить за тем, чтобы матросы на палубе делали все не торопясь. Жильцов знал, что капитан хочет обмануть гостей, но привычка к порядку была сильнее доводов рассудка. Во время визитов он стоял где-нибудь в сторонке с красным, перекошенным от злости лицом.

Объединенное совещание фрегатских медиков тоже провели на "Авроре", хотя Вильчковский и сказал, что любопытно было бы взглянуть на английских матросов, больных горячкой. Мсье Гренье, медик "Форта", развел руками и, не скрывая своего удивления наивностью русского коллеги, объяснил, что на морских судах желтая лихорадка представляет собой смертельную опасность, особенно для человека белой расы, и потому, конечно, все больные свезены на берег, где и пользуются гостеприимством правительства Перу.

- Благодарение господу, что болезнь не распространилась широко!

плутовские глаза мсье Гренье выражали неподдельный испуг. - Кто не знает, что на морских судах желтая горячка гнездится особенно охотно...

- Если только они не нагружены солью, - педантично вставил медик "Президента".

Мсье Гренье расхохотался.

- Солью!.. Господа, - смеялся он, - я думаю, не составляет секрета, что наши суда начинены порохом и ядрами, как праздничный гусь яблоками. Вот в чем соль вопроса!

Однако шутка француза была встречена зловещим молчанием.

В эти дни Перу трясла двойная лихорадка: желтая и военная. Перу воевала с Боливией. Но военные действия шли далеко в горах и мало занимали иностранных моряков.

Другое дело желтая лихорадка! Она забирала больше жизней, чем пули и стрелы боливийских солдат, она угрожала судам, матросам, съезжавшим на берег. Но, несмотря на опасность, матросы появлялись на берегу: нужно было запастись свежими продуктами, в особенности мясом и лимонами, как хорошим средством против цинги.

Несколько матросов с "Авроры" - Афанасий Харламов, Семен Удалой, флотский первогодок Иван Поскочин, напоминавший своим длинным носом и немигающими желтыми глазами птицу, и черномазый Миша Климов - шли вдоль полотна железной дороги к городу Лиме. В Лиме они должны были дожидаться провиантского офицера и медика Вильчковского. Матросам дали денег на проезд из Кальяо в Лиму, но они решили пойти пешком, - через полтора-два часа они будут в городе, а деньги пригодятся для других целей.

По правую сторону железнодорожного полотна узкой лентой зыбились пески, за ними морщился океан, а слева тянулся рыже-коричневый глинистый грунт с щетиной кустарника и жестких трав. Лимонные рощи ушли в глубь страны, под прикрытия гор. Отсюда, с берега, они казались сплошной зеленой полосой, которую, словно старой медью, оковали подножье Анд. Высоко над землей парили орлы.

Иван Поскочин наклонился и, захватив ком земли, размял его на ладони. Бурый песок потек между пальцами. Поскочин покачал головой.

- Небось, по земле сохнешь? - строго спросил Харламов.

Поскочин служил недавно и был подвержен тем приступам тоски по земле, которые слабеют только с многолетней флотской службой.

- Ху-у-дая земля! - напевно сказал он и добавил, вздохнув: - А все же лучше воды. На земле не утонешь, а умеючи и не пропадешь.

- Эх, ты! - Удалой снисходительно улыбнулся. - Верно люди говорят: морских

топит море, а сухопутных - горе! А горе-то, оно, брат, больше моря-океана. И злее.

Поскочин промолчал. Удалой хоть кого зашибет острым словом. С ним без особой нужды не стоит связываться.

Но разговор о земле у них, у вчерашних мужиков, не мог оборваться на полуслове, невзначай.

- Разве это земля? - сказал Миша Климов, сверкнув белыми зубами. Так себе, грунт. Сушь! На ней и рожь-то, поди, не вырастет.

- Пшеница вырастет, - заметил Афанасий Харламов.

- Мужуку на сыть рожь нужна, - оживился Поскочин.

- А пшеница?

- А пшеница - на верхосытку! - пошутил Цыганок.

- Верно, братцы, - сказал Удалой. - Пшеница - невеста разборчивая, не ко всякому мужуку в дом пойдет.

Долго брели молча. Разговор всколыхнул сердца матросов. Ни суровая служба, ни соленая купель, в которой они проходили свое второе крещение, не могли изгнать из души того, что наполняло ее от рождения и что составляло самую жизнь дедов и отцов. Вставала в груди моряка тоска по родной земле, подступала к горлу, теснила грудь. Эх, достало бы только сил раздвинуть скалистые горы - за ними непременно открылась бы русская земля, в ярах и перелесках, согретая ровным солнышком, налитая потом и слезами, горькая, желанная земля!

Изредка навстречу попадались люди. Они сумрачно смотрели вслед рослым, здоровым матросам. Кое-где двери лачуг заколочены досками, - там уже не было живых.

Особенно поразил матросов вид странных похорон.

Пожилой перуанец по обочине дороги вез на ручной тележке мертвое тело. Никто не смог бы сказать, кого он хоронит: мать, жену или взрослую дочь? Болезнь изувечила тело женщины, сделала его темно-бурым, покрыла язвами и струпьями, вздула живот.

Матросы постояли несколько секунд с непокрытыми головами. Выкатив покрасневшие глаза, мужчина напирал грудью на тележку и касался подбородком мертвого тела.

В какую-то секунду Цыганок хотел броситься на помощь перуанцу, но Удалой удержал его.

Отойдя на десяток шагов, Цыганок обернулся и проводил взглядом необычную похоронную процессию, повернувшую с пыльной дороги к холмам.

- Вот напасть какая! Трясовичка проклятая! - выругался Цыганок.

- Трясовичная болезнь от дочерей Ирода происходит, - сказал Харламов. - Двенадцать дочерей у Ирода, и каждая трясовичку или же лихоманку на людей посылает. Сами голые, трясет их так, что зубы зорю играют, волосы распущены до пят, с лица красавицы, а горя от них на земле - и-и-и! - он сокрушенно махнул рукой.

Происхождение болезни фрегатский медик объяснял по-иному. Маленькие, невидимые существа попадают в кровь и причиняют боль человеку; их не увидишь и в зрительную трубу.

Рассказ Харламова проще и правдоподобнее. Удалой вспомнил: когда умирала в горячечном бреду его сестра Аксинья, в избу принесли икону искусной суздальской работы. На иконе двенадцать голых женщин с горящими глазами и распущенными волосами стояли у пропасти, а за плечами у них виднелись крылья. Святой архистратиг Михаил поражал их копьем, зажатым в правой руке. Теперь Удалой понял, зачем дочерям Ирода крылья: они разносят лихорадку по всей земле, обгоняя корабли, настигая человека даже в пустыне.

Но объяснение Афанасия Харламова плохо вязалось с болезнью Аксиньи. Тут дочери Ирода ни при чем, - разве что сам Ирод явился в обличье барина.

Аксинью взяли в господский дом за два дня до свадьбы. Взяли поздним вечером, а в избу принесли с рассветом, распростертую на конской попоне, в горячечном бреду.

Лежала она, потемневшая, жаркая, на белой простыне, вытканной в приданое. Не помогли ни бабка-знахарка, ни суздальская икона, ни немец-доктор, присланный барином. Шепнула что-то суженому своему неслышно, вздохнула и умерла. Жених Аксиньи поджег ночью господский дом и ушел. А Семен, чтоб не сделать греха, на год раньше срока пошел во флот, благо их губерния исстари снабжала флот матросами. Немного погодя пришло в Кронштадт письмо, писанное рукой дьячка, о том, что Кондратий - так звали жениха - был приведен в Деревню силком и умер под батогами, "так что, слава богу, избавился от Сибири".

- Да, а еще, - продолжал Харламов, - помогает от трясовицы апостол Сисиний и святая мученица Феотиния-самаряныня. Она послабее будет...

В Лиме матросы не скоро дождались Вильчковского. Попав в городской лазарет и не найдя там ни одного больного с англо-французской эскадры, доктор удивился, но сразу же, забыв обо всем, увлекся наблюдениями над малоизвестной болезнью.

Матросы погрузили в вагон большую партию лимонов в светлых тростниковых

корзинах. Иван Поскочин поехал провожатым, а его товарищи и в обратный путь отправились пешком, ведя на привязи трех черных перуанских быков. На зеленой улице пригорода они столкнулись с английскими морскими стрелками. Солдаты королевы Виктории развлекались. Прямо перед ними стояла оливкового цвета женщина в лохмотьях, едва прикрывавших ее тело. Волосы свисали на лоб и щеки, скрывая красивые черты ее лица. Испуганная гогочущей толпой, она жалобно причитала по-испански и протягивала вперед дрожащие руки. Трудно было понять, просила ли она милостыню или защищалась от больших желтых плодов, которые бросали в нее и в двух смуглых девочек четверо бездельников. Вскрикивая, она проворно прятала лимоны под одежду.

Один из стрелков, стоявший рядом с Мишей Климовым, прицелился, зажав в кулаке золотистый плод. Цыганок перехватил взметнувшуюся руку и, рванув ее к себе, очутился лицом к лицу с удивленным стрелком. Его большие рыжие ресницы растерянно мигали.

- Сволочь! - процедил Цыганок сквозь зубы. - Я тебе брошу... погоди!

Стрелок понял не слова, а скрытую в них угрозу и бешено выругался. Его товарищи захохотали. Один из них, низкорослый малый, похожий на голенастого петушка, выскочил вперед и, задвигая кадыком, пронзительно закричал на ломаном русском языке:

- Рюски мужик идет, корова ведет! Скоро рюски мужик будет паф-паф... - Он сделал выразительный жест, будто прицеливаясь.

Стрелки одобрительно зашумели.

Удалой шагнул к горластому стрелку.

- Эх ты ж, нечисть!

Наклонившись, он ухватил его за ворот. Стрелок взвизгнул и бросился на Удалого. Семен неожиданно обхватил его, поднял в воздух и с силой посадил на костистую спину быка. Стрелок завыл от боли и припал к шее животного, ринувшегося вперед в густом облаке пыли.

Насупившись, Удалой оглядел стрелков и деловито спросил:

- Сражение будет? Что ж, давай померяемся!

Но стрелки передумали драться. Их теперь оставалось трое на трое, а возможность посмеяться над товарищем, вцепившимся, как клещ, в спину быка, была заманчивее драки.

- Пошли, - сказал Афанасий и зашагал по улице. - Догнать, Семен, нужно быка. Пропадет еще, тогда Пила жизни нас решит...

Пилой матросы называли долговязого худого Тироля.

Удалой побежал за быком. Цыганок, оттолкнув локтем обидчика, показал на

каменный забор, возле которого все еще сидела женщина.

- Аника-воин... С бабами сражаешься! погоди ты, я тебя пообломаю, паскуда!

IV Раздражение Прайса росло. "Вираго" не возвращался в Кальяо. Правда, капитан "Авроры" как будто не торопился с ремонтом, но на море возможны всякие неожиданности, Прайс хорошо знал это. В поведении русского капитана много странного. Прайсу доносили, что Изыльметьев не обращался за помощью в портовую парусную мастерскую, хотя там имеются отличная пеньковая парусина и умелые мастера-перуанцы. Изыльметьев говорил, что боится занести на фрегат заразу и вообще не торопится, а потому может не спеша менять приведенные в негодность гроты, кливера и стаксели, используя свои запасы. В Лиме он не купил ни одного медного гвоздя, ни одного дерева для исправления рангоута, ни одного фута троса, - адмирал, шпионивший за русскими офицерами, знал каждый их шаг.

Но не собирается же "Аврора" стоять здесь вечность! Русским понадобились вдруг большая партия лимонов, бочонок перуанского бальзама, живые быки, запасы свежей зелени. Провиантские приготовления плохо вязались с медлительным ремонтом "Авроры", и это тревожило Прайса.

Совещание медиков не оправдало надежд Феврие Депуанта. Гренье рассказывал, что медик "Авроры" вел себя грубо, негостеприимно. Сославшись на ревматические боли, Вильчковский размашисто шагал по кают-компаниям и задавал бесцеремонные вопросы. "Я был на берегу, господа, и не нашел там ваших больных! Что это значит?" Гренье вынужден был заявить, что больные скончались и погребены на городском кладбище без приличествующих этому случаю формальностей из-за проклятой болезни, угрожающей флоту.

Последнее же посещение "Авроры" особенно обеспокоило адмирала Прайса. Он обнаружил на фрегате массу пренеприятнейших неожиданностей. Как-то вдруг оказался приведенным в порядок стоячий такелаж, негодные паруса были заменены, продет подвижной, бегучий такелаж. При благоприятном ветре фрегат мог бы сняться с якоря.

Прайс явился на французский фрегат наутро после визита на "Аврору" с непреклонным намерением склонить Депуанта к выступлению.

Депуант пытался и на этот раз увильнуть от разговора. Только что поднятый с постели, с помятым лицом и слезящимися глазами, он казался маленьким и незащищенным. Ему хотелось вытолкать за дверь гостя и прежде всего привести себя в порядок. Депуант твердил раздраженно:

- Мы обо всем условились, решительно обо всем...

Прайс сердито насупился.

- Я требую вашего согласия на самые решительные и незамедлительные действия.

- Увы, не могу! Мое правительство, мой император запрещают мне это... - При упоминании императора голос Депуанта крепнет, а сам он словно становится на котурны. - Я солдат Франции. Я не скомандую: "Огонь!", пока мой император не скажет: "Война!"

Депуант вынул из ящика депешу и протянул ее Прайсу. Париж, 23 февраля 1854 года. Циркуляр морского министра. "Пока неприязненные действия между Францией и Англией, с одной стороны, и Россией - с другой, еще не начались или война еще не объявлена, вы не будете действовать наступательно, а должны оставаться в оборонительном положении. Когда настанет время, я сообщу вам инструкции, необходимые для нападения".

Прайс небрежно бросил циркуляр на стол.

- Мы с вами слишком опытные люди, чтобы придавать чрезмерное значение бумажкам. Потопите "Аврору" - и война начнется, она станет фактом. Сделайте первый залп - и вы непременно будете в выигрыше. Если война началась, этот залп окажет честь вашей дальновидности и решительности. Если же политики решили не воевать - а я не верю в это, - ваш залп даст им великолепную возможность показать свое миролюбие и гуманность. Вас накажут для виду, только для виду, потому что вам будут все-таки благодарны и вскоре сумеют вознаградить.

Депуант рылся в бумагах на столе. В эту секунду он не выдержал бы взгляда Прайса. Англичанин прав, трудно не согласиться с ним. Но Депуанту надоела настойчивость партнера, менторский тон, желание командовать. У них хватит времени для того, чтобы разделаться с "Авророй".

- Логично, логично, адмирал, - соглашался Депуант. - Но когда логика сталкивается с долгом офицера, я отдаю предпочтение последнему. Кроме того, - Депуант приподнялся на носках, - я нахожу тревогу ложной. Потерпите немного - и вы увидите, как "Аврора" будет уничтожена. Смешно же волноваться, имея столь превосходящие силы да еще неопытного противника какого-то тугодума капитан-лейтенанта!

Собрав всю свою выдержку, Прайс приготовился к атаке, твердо решив, что она будет последней. На длинном, иссеченном сухими морщинами лице появилось выражение горечи и с трудом скрываемой обиды. Он помолчал мгновение, словно раздумывая, стоит ли вообще продолжать этот напрасный разговор. Потом начал с непривычной мягкостью:

- Вы совершаете обычную ошибку, адмирал. Мы не знаем русских, готовы считать их неопытными, слабыми - и когда-нибудь поплатимся за свое

равнодушие. - Прайс взглянул на собеседника долгим, тяжелым взглядом. - Я хочу рассказать вам о том, что, к счастью, давно забыто всеми - кроме меня, конечно, - что покрылось уже пылью четырех десятилетий... Во время морской войны, начавшейся после того, как Александр подписал в Тильзите мир с Наполеоном, я, тогда еще лейтенант, плавал на фрегате в северных морях. - Прайс вздохнул: - Я много лет не рассказывал этого никому.

Он неторопливо набивал трубку узловатыми пальцами, утолщенными у ногтей, и, подбирая осторожные выражения, которые не роняли бы его офицерского достоинства, рассказал Депуанту одну из давних историй своей жизни.

Это случилось девятнадцатого августа 1810 года, у Нордкапа, когда английский фрегат почти столкнулся с русским транспортом, шедшим из Архангельска в Норвегию. Море клокотало и пенилось. Безоружным транспортом англичане завладели без особого труда, - встреча была настолько неожиданной, что маленькая команда русских не успела ничего предпринять. К тому же это было торговое, нагруженное пшеницей судно, которое при любых условиях не могло тягаться с фрегатом. Командир фрегата, оставив на транспорте русского шкипера Матвея Герасимова и трех его подчиненных, послал туда лейтенанта Прайса с семьей матросов. Двадцать третьего августа вечером поднялась буря, англичане на транспорте потеряли из виду фрегат и носились по морю с зарифленными парусами и сломанной грот-брам-стенгой. Ночью русские сбросили английского часового в воду, обезоружили Прайса, матросов и бросили их в трюм, где они просидели в темноте больше десяти дней, готовые каждую минуту затонуть вместе с ветхим кораблем. В захудалом норвежском порту Вардегауз Матвей Герасимов сдал англичан местному коменданту.

- Семнадцать лет я замаливал этот грех. Только после Наваринской битвы я вздохнул свободно. И знаете, что было самым большим огорчением в дни Наварина?! Необходимость сражаться вместе с русскими, невозможность повернуть фрегат и топить их. - Прайс помолчал и добавил задумчиво: - Мы очень задержались с войной. Следовало начать лет двадцать тому назад.

- Что же мешало Англии? В поводах недостатка не было.

- Франция! - Прайс сверлил злыми глазками Депуанта.

- Вот как?! Чего же вы желаете?

- Дружбы.

Руки Депуанта замелькали в воздухе.

- Дружба собаки и кошки! - воскликнул он. - Сходите на окраины Лондона и заговорите там по-французски! Вас назовут "френч дог"*, и хорошо, если не

изобьют палками.

* Французская собака. - Так поступает чернь, - заметил Прайс в оправдание.
- Ее воспитывает правительство! - воскликнул Депуант, забывая о долге гостеприимного хозяина. - Ее кормят черствым хлебом лжи газеты! В театрах, в кукольных балаганах француза, как во времена короля Георга, изображают в виде пошлого парикмахера, обжираться бульоном из лягушек, наряженного в жабо, но без нательной рубашки.

Прайс понял, что и на этот раз он не добьется согласия и заговорил с той резкостью и безапелляционностью, которые, как он уже знал по опыту, пугали Депуанта:

- В среду на святой неделе - когда русские ждут этого менее всего - я атакую "Аврору" при любых обстоятельствах. Я не в том возрасте, чтобы совершать ошибки, на исправление которых нужны десятилетия. В Англии самые благополучные дела нередко заканчиваются тем, что храбрый воин вместо лаврового венка за свои заслуги годами терпит клевету, его затапывают в грязь, так что он даже умереть не может спокойно...

Участь "Авроры" была решена: в среду 14 апреля 1854 года она должна стать легкой добычей англо-французской эскадры. V Snаряжая "Аврору" в кругосветное плавание, в Петербурге думали не о войне с великими европейскими державами. Причина была другая.

С некоторых пор на востоке России завелись беспокойные люди. Они доставляли много хлопот столичным департаментам, а более всего министру иностранных дел, государственному канцлеру Нессельроде.

Листая пухнувшие папки Восточного отдела, вчитываясь в резкие, настойчивые записки иркутского генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева, которые нередко попадали к Нессельроде необычным путем - из рук самого царя, он не раз откидывался в глубоком кресле и, поджав свою презрительно оттопыренную нижнюю губу, строил новые планы, обдумывал еще не испробованные комбинации.

Как он, умудренный опытом царедворец, мог допустить назначение этого выскочки Муравьева, помахавшего несколько лет саблей на Кавказе, на должность генерал-губернатора Восточной Сибири? На Кавказе бы ему и оставаться, там и сложить голову. Это столь же естественно, как и то, что для бунтовщиков существует Сибирь, а не Липецкие воды.

Нессельроде снял очки и прищурил усталые, близорукие глаза. Конечно, Муравьев не бунтовщик. А все-таки стоило ему поселиться в Туле в должности тульского губернатора - и уж готов проект об упразднении

крепостного права. Проект писан рукою не якобинца-декабриста, не разночинца, возбужденного европейскими делами. Во всем виден настойчивый, просвещенный администратор: рассуждения о выгоде двора, о пользе отечества, о коммерческих интересах России - столь же резонные, дельные выкладки и точные цифры, как и теперь, когда курьеры мчат донесения Муравьева не близким трактом из Тулы, а в кибитках через всю Сибирь.

Не слишком ли много внимания строптивому, самонадеянному генералу?

Государственный канцлер развязал темный шелковый платок - от него жарко шее, - снял большие очки и устало потирал переносицу. Самодовольная, полупрезрительная улыбка сползла с его лисьего лица.

Неблагодарная страна! Он тратит столько усилий на то, чтобы не возмутить Китай, не обидеть гордую Францию, не восстановить против себя всемогущую Англию, не обмануть ожиданий Пруссии, не волновать Австрию, не потревожить покой многих других держав, - а эти упрямые люди на Востоке что они понимают? - они способны из-за пустяков втянуть страну в конфликт. Соперничество вельмож, ненависть завистливых сановников - все это он снес бы, стерпел. Разве не приходится терпеть то же Пальмерстону?! Или во Франции, в каком угодно другом цивилизованном государстве разве иначе? И там государственные мужи не пребывают в безмятежном покое. Нет! Сильному человеку нечего бояться соперничества, интриг, временной опалы. Для сильного это школа.

Нессельроде думал о другом.

Его ненавидит Россия. Россия университетских воспитанников, молодых офицеров, чиновников легко расстающихся со своими мундирами ради просветительской деятельности. Россия дерзких сочинителей.

Эта Россия издевается над ним. Печатает памфлеты. Сочиняет комедии, басни, эпиграммы. Это она назвала его м и н и с т р о м н е р у с с к и х д е л. Теперь эта кличка - как черное пятно на щеке; оно остается, сколько не три щеку.

Он плохо говорит по-русски. Велика беда! Французский или немецкий языки, которыми он владеет в совершенстве, не помешали ему облагодетельствовать Россию. Он вспоминает, каким изобразил его знаменитый Крюгер, - в мундире, при русских орденах, с хохолком над высоким узким лбом, в бархатном жилете, полным собственного достоинства. Разве он не похож на русского вельможу?

Нессельроде горько усмехается, сжимая до хруста в суставах тонкие, сухие пальцы.

Император в конце концов вынужден был согласиться с теми, кто открыл Амур для океанских кораблей, кто нашел, что устье великой реки судоходно. "Этакое заблуждение! - думает Нессельроде. - России на крайнем Востоке нужна благосклонность великих морских держав, а не Амур с мифическим выходом из него в океан. В Сибири и без Амура немало могучих рек, а что они значат в делах европейской или азиатской политики?! Нельзя рисковать спокойствием страны ради честолюбия морских офицеров, которым всего важнее нанести свое имя на карту, пусть даже в таком гиблом месте, как Татарский залив. Эти невежественные люди не понимают, что Амур дорого обойдется русскому императору. Англия не потерпит усиления России на отдаленном Востоке. Она силой оружия заставит выступить Китай, объявить свои претензии на Амур и Приамурье. Американские Штаты примкнут к сильной антирусской коалиции - они давно мечтают хозяйничать в Тихом океане".

Были у Нессельроде и другие соображения. Однажды, глядя в злые, водянистые глаза Николая I, он изложил свои мысли с поразительной, непривычной в его устах решимостью:

- Ваше величество! Отдаленная Сибирь до сего времени была глубоким мешком, в который мы спускали наши социальные грешки, подонков общества в виде ссыльных, каторжных, поселенцев... С присоединением Амура к России дно этого мешка должно оказаться распоротым. Каторжникам представится широкое поле для бегства по Амуру в океан. Бунтовщик Герцен будет иметь в их лице новых сотрудников и единомышленников...

Николая передернуло. Дело исследования Амура было оставлено. Но ненадолго. В 1849 году оно возникло вновь, и теперь уже никому, и самому Нессельроде, не под силу остановить его.

"Странные, непостижимые люди! - думал Нессельроде. - Невельской рискует головой, карьерой, честью ради того, чтобы отыскать несуществующий проход из Амура в океан. Одержимый, несговорчивый человек, фанатик, каких немало среди грубых русских натур! Муравьев прогоняет сквозь строй солдат, третирует купечество, но сам же пробивает купцам дорогу на Восток. Или этот генерал-малороссиянин с плебейским именем - Завойко, хозяйничающий в Петропавловске-на-Камчатке. Десятилетиями велась спокойная переписка о переносе Охотского порта, а он настоял и сделал: порт уже несколько лет как перенесен в Аян".

Нессельроде с раздражением вспоминал о Востоке. Этого сражения он не выиграл. По-видимому, дело не в Муравьеве, здесь вступили в борьбу какие-то новые, неодолимые силы.

Недаром именитые сибирские купцы, побаивающиеся крутого нрава Муравьева, так щедро поддерживают некоторые его начинания... После долгих настояний генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев получил наконец высочайшее соизволение на снаряжение экспедиции по Амуру. Благодаря подвигу Невельского Амур вновь, после двухвекового сна, оживал для России.

Амур был делом жизни Геннадия Ивановича Невельского. Еще в Морском корпусе пытливый юноша изучал старые карты Татарского "залива", Сахалина и Амура, работы знаменитых мореплавателей, согласных в том, что устье Амура несудоходно и выхода из реки в океан не существует.

Но авторитеты Лаперуза, Броутона и Крузенштерна, тщетно пытавшихся проникнуть в Амур из океана, не поколебали решимости Невельского. Проницательный ум молодого ученого находил в их свидетельствах ошибки и неполноту, а гениальная интуиция Невельского угадывала возможность нового решения амурской задачи. Оказавшись на Амуре, Невельской продолжал действовать как ученый, шаг за шагом исследуя амурский лиман, с тем чтобы дать неопровержимое и окончательное разрешение амурской загадки.

Еще до Невельского, в 1846 году, в устье Амура побывал поручик корпуса штурманов Гаврилов. Ему не удалось опровергнуть заблуждение выдающихся мореплавателей. Правда, Гаврилов и сам чувствовал случайность своих поисков, неполноту выводов, связанную со слишком малым сроком работ на бриге "Константин". Гаврилов предупредил правителя Российско-Американской компании о том, что он не смог прийти к окончательному выводу о судоходности устья Амура. Но неудача Гаврилова была истолкована в Петербурге противниками русской активности на Востоке как новое подтверждение того, что Сахалин соединен с материком песчаным перешейком, запирающим вход в Амур.

Невельскому пришлось вести борьбу не только с мертвящей силой авторитетов, с жестокими природными условиями неизведанного пустынного района, но прежде всего с тупыми и злобными сановниками Николая I, с государственным канцлером Нессельроде и созданным под его председательством Особым комитетом по амурскому вопросу. Бездарный дипломат, весь поглощенный европейскими интригами, льстец и трус, Нессельроде держался твердого убеждения, что Россия должна отказаться от далекого Приамурья и Сахалина - земель, издавна исследованных русскими землепроходцами. Нессельроде пугал Николая неизбежным конфликтами с Англией, войной с Китаем, утверждал, что по Амуру плавают речные военные

суда китайцев, что всякая активность России на Амуре непременно вызовет вооруженный конфликт на Дальнем Востоке.

В 1849 году Геннадий Невельской на транспорте "Байкал", приняв на себя "всю тяжелую ответственность перед отечеством", вопреки предупреждениям Нессельроде и существующему запрету, проник из океана в Амур, открыл глубокий семиверстный пролив, отделяющий о с т р о в Сахалин от материка. Открытие Невельского озлобило Нессельроде. Он потребовал сурового наказания Невельского и добился строжайшего запрещения продолжать какие бы то ни было исследования в устье Амура.

Невельской не отступил и на этот раз. В 1850 году он снова пошел на Амур, основал в амурском устье Петровское зимовье и завершил исследования, начатые в минувшем году. Новая угроза нависла над Невельским - за неслыханную дерзость и неподчинение Особый комитет по амурскому вопросу положил разжаловать его в матросы. Казалось, спасения ждать неоткуда. Но оно пришло, и притом оттуда, откуда меньше всего ждал Невельской.

Неожиданные и эффектные резолюции, круто менявшие направление иных дел, тешили непомерное властолюбие и тщеславие самодержца. Так случилось и на этот раз. Явился и советчик в лице умного и дальновидного Муравьева, генерал-губернатора Восточной. Сибири, и Николай помиловал Невельского.

Избавленный от уголовного наказания, вернувшись из Петербурга на Амур, Невельской на протяжении пяти лет, проведенных в неустанных трудах, испытывал всю тяжесть интриг и мести Нессельроде.

В 1853 году Муравьев тронулся в путь по Амуру, возвращенному России гением Невельского. Подле Усть-Стрелки, там, где Шилка, сливаясь с Аргунью, кладет начало Амуру, генерал Муравьев, перегнувшись через борт шлюпа, зачерпнул стакан амурской воды и, выпив его, поздравил людей с началом плавания. Грянуло "ура". По Амуру растянулся большой караван. Впереди пароход "Аргунь", построенный иркутскими купцами, - его корпус сработали шилкинские мастера, а машину - свои, сибирские, Петровского завода, механики; за ним баржи, плоты, шлюпы, плашкоуты, нагруженные добром, подаренные сибирским купечеством, - хлебом и вином, мясом и маслом, а сверх того и всякою всячиной, необходимой при размене с гиляками.

Талантливый моряк, мужественный, независимый человек, Геннадий Невельской проложил дорогу, - завладела ею набравшая силу русская буржуазия. Охмелев на сибирских просторах, развращенная безропотностью

слабых племен, рабским трудом каторжан, соединяющая в одном лице расчетливого промышленника и пройдоху откупщика, она поднималась во весь рост и рвалась на Восток. Подобно потокам, переполнившим водоем, ее деньги ринулись в поисках новых, удобных путей, нового русла, чтобы устремиться по нему с удесятеренной силой.

Таким естественным руслом был Амур. Таким новым, неизведанным, сказочно богатым краем был Дальний Восток, Приамурье. Богатые сами по себе, эти земли связывали Россию с Тихим океаном, с огромным торговым бассейном, с Аляской, Курильскими и Алеутскими островами.

Русский народ по праву считал эти земли своими - он издавна заселял их и отдал за них тысячи и тысячи драгоценных жизней. Куда бы ни ступила нога исследователя Амура и Дальнего Востока, он неизменно находил следы давней русской жизни.

Наступила критическая фаза в истории северной части Тихого океана. Американцы уже не удовлетворялись безнаказанным хозяйничаньем в водах Охотского моря - этого внутреннего моря России - и грабили побережье. Они послали командора Перри на десяти военных судах со специальной миссией в Японию, открыв для себя эту наглухо затворившуюся от Европы державу. Англия захватывала Китай, заставляя народ поглощать опиум, умирать в нищете. Китайское серебро, шелка и чай стали собственностью англичан.

Отряды китобойных судов в Охотском море росли с необыкновенной быстротой. К исходу сороковых годов сотни судов - американских, английских, французских, немецких, испанских, датских, голландских шныряли в Охотском и Беринговом морях, большие трехмачтовые суда, берущие от трехсот до восьмисот тонн груза. По мере того как Америка утверждалась на Сандвичевых островах, а Англия подчиняла себе Китай, овладев его портами; по мере оживления судоходства в бассейне Тихого океана, связанного с открытием золота в Калифорнии, иностранный китобойный промысел в русских водах принимал все более циничный характер. В Петербург летело донесение за донесением. "В пять лет, - писали люди, хорошо понимавшие значение китового промысла, - богатство это, нам принадлежащее, истребится без всякой пользы для России, доставив несколько сот миллионов предприимчивым людям всего света, исключая русских..."

Богатства Камчатки, Берингова и Охотского морей ежегодно расхищались предприимчивыми англосаксами. Они пытались захватить в свои руки торговлю Камчатки, ссылаясь на то, что правление Российско-Американской компании плохо снабжало население провиантом. Американец Добелль

принял даже русское подданство, желая обосноваться на Камчатке и прибрать к рукам местный пушной промысел и торговлю. Шантаж, обман, подкуп - все было пущено в ход, чтобы завладеть добычей. Пираты с купеческими патентами и купцы с наклонностями пиратов проникали в отдаленные уголки Камчатки, заходили в глубь Пенжинской губы, основывали торговые дома в Гижиге, Большерецке, Тигиле и других селениях.

Камчатка - заманчивый кусок. Охраняют ее несколько сот солдат, вооруженных кремневыми ружьями. Петербург далеко, переписка и по важным вопросам длится годы, департаменты неизменно дают уклончивые ответы на просьбы камчатских начальников, предоставляя им выходить из затруднений собственными средствами. Матерые хищники скоро поняли, что незачем просить у России то, что можно взять силой. Патриархальные времена, когда англичанин Пигот просьбами и посулами склонял камчатского начальника Рикорда к заключению контракта на монопольный промысел китов у берегов Восточной Сибири, миновали. Дело обошлось без контракта, пошлин, даже без соблюдения приличий, обязательных для приходящих в чужой дом.

В 1846 году около пятисот американских китобоев промыслили в русских водах, хозяйничая в Пенжинской губе - этом гнездовье китов. Спустя два года американский китобой "Супериор" проник через Берингов пролив на север, к Чукотской земле, и в несколько дней добыл полный груз китового жира. Китобои каперствовали на побережье Камчатки, палили из пушек на Петропавловском рейде, сходили на берег после вечерней зори, захватывали богатую пушную добычу, выжигали леса, истребляя соболей и лис.

Еще в тридцатых годах русское правительство обратилось к Соединенным Штатам с просьбой запретить американским судам заходить во внутренние моря и заливы России. Правительство Американских Штатов обнародовало просьбу России в крупнейших газетах и сопровождало ее сочувственными, но ни для кого не обязательными комментариями. Приличия были соблюдены, но янки, наживавшие состояния в Охотском море и Пенжинской губе, не считали себя связанными "моральными внушениями" правительства.

В 1846 году, когда около двадцати китобойных судов бесчинствовали в Петропавловской гавани и начальник порта - предшественник Завойко - Машин ждал инструкций, которые разрешили бы ему принять энергичные меры, нарочный курьер привез бумагу Адмиралтейства из Петербурга, позволяющую ежегодно тратить по 5 рублей 71 ³/₇ копейки на кошек, содержащихся в петропавловском провиантском магазине. Правительство,

озабоченное борьбой с четвероногими грызунами, смотрело сквозь пальцы на неслыханное расхищение богатств России двуногими хищниками. Только за два года - 1846 и 1847 - американцы добыли во внутренних водах России китового жира более чем на семнадцать миллионов серебряных долларов. Сумма по тем временам неслыханная!

Англичане настойчиво подбирались к Восточной Сибири, к устью Амура, к Камчатке под видом ученых, геологов, лингвистов, миссионеров и купцов. Поиски пропавшей экспедиции арктического исследователя Франклина служили поводом для посылки разведывательных отрядов. Они забирались в такие углы Восточной Сибири, где легче было бы найти Ноев ковчег, чем несчастного Франклина и его спутников.

Встревоженный нараставшими событиями, Муравьев в 1853 году доносил в Петербург:

"России, натурально, если и не владеть всею Восточною Азиею, то уже непременно господствовать на всем побережье Восточного океана. Мы допустили вторгнуться сюда Англию, которая из своего маленького острова предписывает законы во все части света. Законы же английские не имеют целью благосостояние человечества, а пишутся они в удовлетворение лишь коммерческих интересов Великобритании, нарушая спокойствие и благосостояние других народов... Овладеть Камчаткой, Амуром, Сахалином, отрезать Россию от Восточного океана - вот полагаю, ближайшая цель Англии".

Дальний Восток требовал крейсеров для охраны китового промысла. Торговые суда Российско-Американской компании не могли более оставаться беззащитными, отданными на произвол заморских пиратов. Требовались люди для новых поселений по берегам Татарского пролива. Настала пора послать миссию в Китай и Японию - для торговых и дипломатических переговоров. Только благодаря этому в начале пятидесятых годов из Кронштадта в Тихий океан отправилось несколько военных судов. Сначала корвет "Оливуца", затем транспорты и три фрегата: "Паллада", "Диана" и "Аврора" - так называемая эскадра вице-адмирала Путятина.

Из трех крупных военных судов только фрегат "Диана" был пригоден для трудного кругосветного плавания; "Аврора" значительно устарела, а "Паллада" годилась на слом. Фрегаты плыли не по одному маршруту: "Палада" и "Диана" - вокруг африканского континента, "Аврора" - через Атлантику и вдоль южноамериканских берегов. Им так и не удалось соединиться в один отряд: "Аврора" сражалась в Петропавловске-на-Камчатке, "Диана" в 1855 году погибла у берегов Японии в результате

землетрясения и вызванного им шторма, а "Паллада" едва дотащилась до Татарского пролива, но вскоре была расснащена и закончила в устье Амура свое существование.

Соединенная англо-французская эскадра, в составе около тридцати вымпелов, искала корабли Путятина. Контр-адмиралу Дэвису Прайсу и контр-адмиралу Феврие Депуанту вменялось в обязанность: получив известие об объявлении войны, уничтожить эскадру Путятина и обеспечить полную свободу действий англо-французского флота в Тихом океане. На языке газет, выходивших в Сан-Франциско, это называлось: "Идти в камчатские воды с целью разорять берега".

Вот почему марсовые на "Президенте" и "Форте" не сводили глаз с неподвижной "Авроры". Добыча сама пришла в руки.

В начале 1854 года, когда близившиеся выступления Англии и Франции на стороне Османской Порты не вызывало уже никаких сомнений, Нессельроде не раз мысленно возвращался к делам Крайнего Востока. Он уже знал, что в тихоокеанских водах сосредоточены сильные для тех мест неприятельские эскадры, сверх многочисленных судов Ост-Индской морской станции, контролирующей порты Индии и Китая.

Что ж, теперь, в самый неподходящий для России момент, как раз и случится то, о чем он не раз предупреждал правительство и двор: британские суда придут в Петропавловск, в Охотск, в Аян, увезут все, что им заблагорассудится, и предадут огню постройки. Кто может помешать им? Провинциальный администратор Завойко? Прожектор Муравьев, забавляющийся реформами в Иркутске, за тысячи верст от океана? Или два-три жалких военных корабля, посланных из Кронштадта в Тихий океан?

"Да свершится господня воля, - думал Нессельроде. - Я в свое время сделал все, что мог; теперь английские и французские пушки подтвердят мою правоту и дальновидность!"

Да будет так! VI Во вторник Изыльметьев тщательно осмотрел фрегат. Боцман Жильцов, сопровождавший капитана вместе с группой офицеров, беспомощно разводил руками, когда Изыльметьев указывал на мелкие погрешности ремонта.

Однако Иван Николаевич остался доволен осмотром. Если бы не старая, пооблупившаяся от времени окраска, фрегат еще мог бы считаться красавцем изящная осадка, стройные, приведенные в порядок мачты, разномастная, но новая и прочная парусина. Пришлось сменить ванты, которыми крепятся мачты, - прежние истерлись и при шторме могли лопнуть. Изыльметьев прошел от кормы до бушприта, осмотрел все палубные надстройки, проверил,

как проконопачены щели и пазы в палубе.

Тревогу вызывала подводная часть фрегата, шпангоуты, штевни, нижний трюм. Дубовые балки и доски уступили натиску времени - И дуб и лиственница потеряли свою первоначальную твердость, пропитались влагой и местами прогнили. Об устарелости "Авроры" говорили и большие, пахнущие гнилью деревянные бочки для пресной воды; в последние годы они повсеместно заменялись металлическими цистернами.

Условия стоянки в Кальяо не позволили капитану обследовать медную обшивку "Авроры" лист за листом, и хотя матросы, опускавшиеся под воду, уверяли, что положение обшивки в общем благополучно, Изыльметьев знал, как слабо защищен непрочный киль.

Третьи сутки не было ветра. По утрам берег затягивало серой пеленой. Она таяла медленно, растапливаясь в синеве неба. В такую погоду паруса бесполезны, нужно ждать, с надеждой поглядывая на барометр, не пообещает ли он ветер.

Штиль настраивал Депуанта на благодушный лад. Штиль как нельзя лучше отвечал его нерешительности.

- Вот когда нам понадобился бы "Вираго"! - не без ехидства намекнул он Прайсу.

Но, полный решимости, контр-адмирал заверил Депуанта, что к исходу завтрашнего дня они при любых условиях завладеют "Авророй".

Вечером Изыльметьев посетил английский фрегат. С высокого борта пятидесятипушечного "Президента" видна была неподвижная "Аврора. Пройдет еще час - и вечерний туман скроет "Аврору" от глаз марсовых "Президента", исчезнут в тумане и мягкие очертания острова Сан-Лоренцо, близ которого стоит "Аврора".

В этот вечер Прайс казался необычно любезным и словоохотливым собеседником. Но в его шутках и угловатой подвижности чувствовалась какая-то неловкость, нарочитость и вместе с тем нервный подъем. Он хвалил русских офицеров, пришедших с Изыльметьевым на "Президент", с увлечением говорил о профессии моряка, о "великой, нерасторжимой морской семье".

Депуант притих от изумления.

- ...Что ни говорите, а в появлении паровых судов я вижу какое-то горькое, печальное знамение...

- Это не помешало вам, господин адмирал, - заметил Изыльметьев, включить в свою небольшую эскадру пароход "Вираго".

Прайс рассмеялся.

- Скажу вам по секрету: заставили взять! А душа к нему не лежит. Поздно мне переучиваться. И копоти много. Дымит...

- И камбуз дымит, - заметил Дмитрий Максutow, - однако же упразднить его никто не намерен.

- Приготовление еды, господин лейтенант, - процесс неизбежный, он отвечает естественной потребности человека.

- А паровая машина, - возразил Дмитрий, - я полагаю, отвечает естественным потребностям человечества. И, сколько можно судить, Англия не пренебрегает этой возможностью.

- Еще бы! - Прайс продолжал подкупающе дружелюбно, откровенно, точно изливая наболевшую душу. Темные от старости руки поглаживали согнутые под прямым углом колени. - Разве есть в мире такая вещь, которую пренебрегла бы Англия, не завладела бы, не купила бы ее? И копоти мы первыми наглотались по горло. - Им снова овладело возвышенное настроение. Господа, я люблю Англию. Но, увы, у нас во всем господствует экономическая проза. Только флот, парусный флот - прибежище романтики. На земле мы барахтаемся в паутине своекорыстных интересов, куда-то спешим, чему-то завидуем и в довершение всего стараемся изловчиться, чтобы получше всадить пулю в спину ближнего своего. В открытом море мы все становимся братьями. Мы как дети радуемся парусу, показавшемуся на горизонте, не думая о том, чей флаг на корабле. Мы - великое, нерасторжимое братство!

- Однако в сердце своем, куда бы ни бросила нас судьба, мы храним родину, - сказал Дмитрий, внутренне подготовившись к спору. - Я думаю, что это и делает неожиданную встречу в море столь радостной и возвышенной. Иначе такие встречи могли бы оканчиваться и абордажной схваткой.

- Оригинально! - Прайс не скрывал иронии. - Но недостаточно ясно.

- Родина - компас, господин адмирал. Драгоценный компас, который мы храним не у штурвала, не в нактоузе, а в душе и в сознании своем, пока оно не затмится.

Дмитрий говорил горячо, уверенно. Слова точно слагались в фразы. В них было столько искреннего чувства, что никому не пришло бы в голову заподозрить его в аффектации. В такие минуты Александр любовался Дмитрием, его красивым, мягким лицом и толстоватой, но подвижной фигурой.

Прайс зааплодировал, приглашая офицеров последовать его примеру. Депуант, Паркер, Лефебр и еще несколько офицеров поддержали его жидкими хлопками. Прайс наклонился к Изыльметьеву и проговорил:

- Положительно я завидую вам. Как легко, должно быть, командовать такой молодежью!

- Я люблю их, - просто сказал Изыльметьев.

На обратном пути, в шлюпке, офицеры долгое время молчали.

Было поздно. На отдалявшихся кораблях пробили полуночные склянки. Наступила тишина, нарушаемая глубоким дыханием гребцов и всплесками весел. Когда на шлюпку уже надвигалась темная громада "Авроры", Вильчковский неожиданно сказал:

- Очень уж не похоже на то, чтобы тут пахло войной или какими-нибудь кознями. Я думаю, Иван Николаевич, что мы можем считать себя в безопасности. Адмирал был так любезен сегодня...

- Это-то обстоятельство, - перебил Изыльметьев, выпрямляясь, - больше всего и тревожит меня. Прайс не такой человек, чтобы за здорово живешь витийствовать перед нами. Вот что, господа! "Аврора" починилась и, слава богу, может двинуться в путь. Наша задача ясна - достичь бухты Де-Кастри со всею быстротой, упреждая другие суда и известие о войне. Отправимся через четыре часа, пока не разошелся туман. Необходимо подготовить тросы и гребные суда, - если продлится штиль, мы выбуксируем фрегат в открытое море.

Снова тишина. Даже гребцы замешкались, подняв весла над водой. Этого часа ждали все, и вместе с тем он застигал каждого как бы врасплох, заставляя поеживаться от волнения. Первым нашелся Дмитрий.

- Простите, Иван Николаевич, - сказал он шутливо, - но мы поступили невежливо: мы не простились с адмиралами.

Голос Изыльметьева звучал по-прежнему резко и сурово:

- Надо полагать, что суда Прайса и Депуанта пустятся за нами вдогонку, желая от всей души исправить эту нашу оплошность. Возможно даже, что они попытаются подойти вплотную к "Авроре", чтобы обнять нас и облобызать напоследок. Во всяком случае не мешает зарядить пушки и отточить абордажное оружие. VII Перед рассветом, едва вставший из воды туман скрыл от "Авроры" сигнальные огни "Президента" и "Форта", была отдана команда "свистать всех наверх".

Экипаж выстроился на шканцах во фронт. Изыльметьев, не теряя времени, спокойно, будто продолжая случайно прерванный разговор, сказал:

- Ребята! Помните, я говорил вам, что мы должны быть готовы к войне с англичанами и французами. Война, по слухам, уже объявлена, но известия придут в Кальяо не ранее воскресенья, и, может быть, суда, стоящие на здешнем рейде, скоро погонятся за нами. Коли так случится, то смотрите,

чтобы выйти нам из дела с Георгиевскими крестами! Главное дело - не суетиться, не горячиться, а стрелять хладнокровно, как на учении! Мы теперь идем в русские порты, в Татарский залив...

Изыльметьев подумал, что напрасно он продолжает называть Татарский пролив заливом, но поправляться не стал.

Бесшумно, ложась на старую парусину, поднялась якорная цепь. Спустили на воду шлюпки, прикрепленные прочными бакштавами к корме "Авроры". Из арсенала и кладовой, в которой хранились ядерные ящики, взяли запасы, необходимые для отражения неприятеля.

Паруса в это безветренное утро были бесполезны. По сигналу Изыльметьева офицеры, находившиеся в шлюпках, отдали команду матросам. Взметнулись весла, и тонкие канаты натянулись, запели.

Пастухов, стоявший в одной из шлюпок, волновался. Он не смог бы сам себе дать отчет в причинах этого волнения. Была ли здесь обида на то, что "Авроре", которую он так любил и которой гордился, приходится крадучись уходить от врага, или опасение, что враг разгадает их маневр, или, наконец, желание, чтобы случилось именно так и завязалась жаркая баталия...

Всем телом почувствовал он тот момент, когда "Аврора", вздрогнув, снялась с места и пошла за гребными шлюпками. Фрегат двинулся медленно, и оттого, что расстояние между ним и шлюпкой Пастухова не уменьшалось, он казался неподвижным, уснувшим.

На фрегате не было заметно никакого движения.

Повисли паруса. Матросы стояли у бортов, орудийная прислуга была на батареях верхней палубы. Все готовы к действиям, если неприятель или ветер подадут к тому повод.

"Аврора" ушла довольно далеко от Сан-Лоренцо, когда легкий ветерок начал рвать туман, разбрасывая белые клочья и открывая суда, оставшиеся в гавани. Теперь матросы и офицеры, не раз сетовавшие на то, что Изыльметьев поставил "Аврору" у острова, мористее других судов, вполне оценили его дальновидность.

В море подул попутный ветер. Затрепетали паруса. Матросы живо выбрали тросы и подняли на шканцы гребную флотилию.

Фрегат, шедший во время буксировки кормой, развернулся, наклонился под надувавшимися парусами и начал быстро уходить от берега.

Стая чаек, сопровождавшая "Аврору", с криком оторвалась от фрегата и понеслась к Кальяю.

Изыльметьев долго смотрел в трубу на английские и французские суда. И пока Иван Николаевич мог видеть мачты "Президента" и "Форта" - самых

крупных из фрегатов на рейде, они не меняли своего вида, не вспыхивали тугими светлыми прямоугольниками парусов.

Затем рейд ушел за горизонт, и люди на "Авроре" могли рассмотреть только дымчатую линию гор и солнце, вставшее над ними.

БУДНИ

I

Утром петропавловцам стало известно, что в море находится корвет "Оливуца", а к полудню, медленно лавируя под переменным ветром, стройное трехмачтовое судно отдало якорь во внутренней бухте под дружные крики и приветствия собравшихся в порту людей.

С "Оливуцы", бросившей якорь в Петропавловской бухте в погожий, солнечный день, открывалась величественная панорама. Порт и город лежали в зеленой ложбине. Справа поднимались склоны Петровской горы. Слева маленькую бухту и порт отделял от обширного бассейна Авачинской губы узкий полуостров, состоящий из двух соединенных седловиной гор - Сигнальной и Никольской. На севере, за городом - громады камчатских вулканов, казавшихся близкими в прозрачном воздухе весеннего полудня.

За кормой "Оливуцы" длинная песчаная коса, почти отрезавшая внутренний рейд от Авачинской губы, с узким, но глубоким проходом для судов.

На пристани толпились люди. Завойко стоял в группе портовых чиновников, ожидая встречи с Назимовым, капитаном корвета. "Оливуца" шла с юга. Возможно, корвет побывал на Сандвичевых островах, везет важную почту и газеты с сообщениями о военных действиях. У причалов сновали портовые рабочие, нижние чины сорок седьмого флотского экипажа - они разгружали компанейский транспорт. В просвет между корпусом транспорта и корветом была видна часть песчано-галечной косы в месте ее соединения с берегом. Там укладывались рядами и сколачивались бревна, вырастали земляные валы укрытия одной из ключевых артиллерийских батарей.

К Завойко подошли двое мужчин, не похожих на окружающих чиновников и местных поселенцев. Один из них, рыхлый, коротконогий человек с красным бугристым лицом, словно ошпаренным когда-то кипятком, низко поклонился Завойко, сняв поношенную черную шляпу с высокой тульей.

- С добрым утром, господин губернатор! - проговорил он с заметным акцентом, тщательно произнося каждый слог. Большие вялые губы его кривились.

- Здравствуйте, Чэзз! - Завойко взглянул на склоненную голову хозяина пушной лавки в Петропавловске и добавил: - Шумно становится у нас в порту, а?

Толстяк хихикнул. Золотая цепочка запрыгала на животе, втиснутом в грубое сукно. Глаза его сузились и готовы были вот-вот скрыться в мясистых веках.

- Вы скоро оставите позади Сан-Франциско. Мне придется купить старую посудину и уехать на родину.

- Мы найдем для вас местечко, Чэзз.

- Спасибо, спасибо! - сказал Чэзз в тон Завойко и церемонно поклонился. - Как говорится по-русски: теплое местечко?

- За теплое не ручаюсь. Земля у нас холодная.

Чэзз показал рукой на своего спутника.

- Мистер Магуд. Золотопромышленник и судовладелец.

Завойко взглянул на рослого моряка с немигающими розовыми глазами альбиноса и сказал:

- Мы, кажется, знакомы.

- О да! - простецки улыбнулся Магуд. - Господин губернатор имеет хороший память.

- Мы хотим поговорить с вами, - продолжал Чэзз искательно, - по одному важному делу. Я и мой друг Магуд.

Сквозь шумную толпу, пожимая руки знакомым, уже шел навстречу Завойко весь подобранный, сияющий капитан "Оливуцы" Назимов. Завойко двинулся к нему, бросив на ходу Чэззу:

- Что ж, приходите. Для важного дела и в праздник время найдется.

Чэзз вытащил красный платок из заднего кармана брюк и вытер им потное лицо. II По мере того как Назимов и Завойко обменивались новостями, радостная атмосфера их встречи омрачалась. Собеседники хмурились. Назимов сидел у открытого окна, расположенного довольно высоко для первого этажа, а хозяин дома расхаживал по просторному кабинету, расстегнув парадный мундир, надетый по случаю встречи "Оливуцы".

На письменном столе Завойко лежал рапорт Назимова о плавании корвета и копия приказа адмирала Путятина по отряду. Приказ датирован 26 февраля 1854 года. Он объявлял о возможности в скором времени разрыва между великими державами и требовал привести суда в совершенную готовность.

Подробно говорилось и о победе под Синопом.

Это была поистине выдающаяся победа.

Имя адмирала Нахимова прогремело по всему миру, вызывая ненависть лордов адмиралтейства, нетерпимых к морским успехам любой другой державы. Турецкий флот в Синопе - семь крупных фрегатов, три корвета, пароходы, транспорты, шлюпы были уничтожены в коротком бою 18 ноября 1853 года. Их не спасли ни сотни корабельных орудий, ни мощные береговые

батареи синопской крепости. Пылали в огне, взлетали на воздух и тонули турецкие суда. Горели город и крепость. Тысячи вражеских матросов умирали, не достигнув своего берега, а командующий турецким флотом Осман-паша был взят русскими в плен. Великолепно было искусство нахимовских комендоров, велико воодушевление, охватившее русскую эскадру! Только один быстроходный пароход "Тайф" ускользнул из Синопской гавани. Командовал им не турок, хотя турки-матросы и звали его Мушавер-пашой, а английский военный моряк и инструктор Адольфус Слэд. Что ж, пусть спешит к Дарданеллам, летит к берегам Альбиона и расскажет по пути, в Средиземном море, адмиралу Дондасу, как сражаются русские матросы!

Однако о возможности войны снова ничего определенного. Только сведения о разгроме турецкого флота наполняли гордостью сердце Завойко, и он ощущал нетерпеливое желание действовать и действовать!

Но что может он предпринять сверх того, что уже делается в порту? Во всем удручающая неопределенность. Пришлют ли солдат, без которых Камчатке не отразить нападения? Доставят ли порох и ядра для нескольких старых пушек, имеющихся в Петропавловске? Просьбы Завойко терялись в бесконечной сибирской шири. В Петропавловске нет опытного инженера-фортификатора; Завойко - флотский офицер, ему неведомы многие секреты крепостного строительства. В порту есть тупоносые каронады и безнадежно устаревшие медные пушки, давным-давно снятые за ненадобностью с какого-то военного корабля. Уж не донкихотство ли пытаться с такими силами вступать в борьбу с неприятелем, если он объявится здесь?

Завойко круто остановился перед Назимовым и спросил:

- Что ж по крайней мере говорят о кораблях Англии и Франции в Тихом океане? О чем судачат кумушки в Гонолулу?

Капитан "Оливуцы", прежде чем ответить, приподнялся было, но рука Завойко мягко легла на его эполет:

- Сидите, Николай Николаевич. Что же говорят?

- Всякое, Василий Степанович! - Назимов имел обыкновение чуть покачивать при разговоре большой головой с черными, словно лакированными волосами. Темные, горящие глаза, иссиня-черные усы и большие губы делали выразительным малейшее движение его умного лица. - Иного послушаешь, так хоть жги собственное судно и спасайся на каком-нибудь благословенном островке. Не ведаю, как "Авроре" или "Диане", но мне, знаете, не приходилось встречаться в океане с англичанами.

- Океан велик, могли и разминуться.

- Разумеется, - сухо ответил Назимов, задетый замечанием Завойко. Если попытаться отделить истину от преувеличений и основываться на фактах, заслуживающих полного доверия, то все же силы неприятеля весьма внушительны. У них здесь не менее трех-четырех фрегатов, такое же число корветов. Есть и пароход и мелкие суда. Полагаю, около двадцати вымпелов будет.

Завойко, стоя у распахнутого окна, задумался. Перед ним в просветах деревьев лежал город и порт. На рейде видна "Оливуца", низкий корпус транспорта, а рядом портовые вельботы, шлюп и плашкоуты, совсем игрушечные издали. Ближе к дому - беспорядочно разбросанные серые, замшелые крыши, зеленый купол церкви, веселая путаница тропинок, обозначавших петропавловские улицы. Все заросло травой, все кажется отсюда неподвижным и бесконечно мирным. Через двор идет старик Кирилл, опираясь на палку и помахивая головой, занятый каким-то нескончаемым разговором с самим собой. В порту и на батарее копошатся люди. Их движения из окон губернаторского дома кажутся медлительными, сонными. Назимов понял сосредоточенный взгляд Завойко.

- Трудно будет вам, - сказал он.

Василий Степанович, круто повернувшись, отошел от окна. Его сапоги то глухо стучали по дощатому полу, то затихали, попадая на лежащие посреди кабинета медвежьи шкуры.

- Что ж, прикажете мне гаданьем заниматься?! Разложить пасьянс, может, он скажет мне, быть ли баталии в Петропавловске? - Завойко сердился, его голос, обычно отличавшийся приятной мягкостью, стал сухим. Или отслужить молебен и просить бога отвратить от нас взоры англичан и французов? - Завойко сложил руки на груди и недовольно уставился на Назимова. - Я не верю благодушному шепоту, надеждам на то, что до нас далеко, три года скачи - не доскачешь. Все это лень, драгоценнейший, лень, равнодушие, беспечность!

Капитан "Оливуцы" поднялся.

- Василий Степанович! - произнес было он дрогнувшим голосом.

- Ладно, не ершитель, - Завойко досадливо махнул рукой. - Не думал я вас обидеть. Но пора перестать жить иллюзиями. Время торопит нас, хватает за чуб так, что лбы трещат, а мы упираемся; вчера, мол, английских фрегатов не было на севере Тихого океана! Вчера их не было и в Китае, а нынче они там, господа, они диктуют моды, предписывают правила. Вчера их не было и в устье Амура, завтра они появятся и там, создадут фактории, откроют магазины, высадят солдат и предложат нам убраться. Вы и не опомнитесь,

как на Амуре окажутся английские суда, как Американские Штаты овладеют Сахалином, захватят Авачинскую губу - и поминай как звали!..

Сжав губы, Назимов сделал короткое движение кистями рук, словно говоря: "Ну, это, батенька мой, уже крайности! Преувеличение!"

- Вы полагаете, что чудачество, мания? - Завойко вспыхнул и накинулся на него: - Не ново, драгоценнейший мой, не ново! Таков уж, видимо, обычай нашей жизни: освистать человека, внушить ему идею о собственном бессилии, привить подлый страх, выставить в смешном виде его мысль. Разве не правда? Невельской, движимый единственно любовью к России, на свой страх и риск проникает из океана в Амур, опрокидывает вековое заблуждение известных мореплавателей, дает нам небывалую возможность прогресса на Востоке, - а что ждет его в Петербурге? Ордена? Рукоплескания толпы? О нет! На него орут, его ставят во фронт, объявляют якобинцем, грозят разжаловать в солдаты, казнить. Мы ежечасно трубим об опасности, о чужеземцах, подбирающихся к восточным окраинам России, - нас считают маньяками, швыряют в архивы наши записки, не утруждая себя чтением, не заботясь о последствиях. Из года в год приходят в наши воды чужие корабли с целями не только коммерческими. А ничего не поделаешь, изволь любезничать с ними, хитрить, улыбаться! Везде оградой им низкопоклонство сановников, трусость, пагубное отсутствие человеческого достоинства. Они не ждут и часа, а мы все медлим решительными приготовлениями...

Завойко перевел дух и уже спокойнее продолжал:

- Вы приняли команду над корветом - и что же? Вас вяжут по рукам инструкциями, предупреждениями, советами, и вы уже ничего не можете! Вы и прежде не много могли - двадцать пушек "Оливуцы" против армады мародеров, вооруженных, как заправские пираты. Но, кроме пушек, есть еще рвение, мужество, отвага, выносливость матросов, искусство артиллеристов. А все это гибнет втуне, уступает место безразличию, фатализму. Правда же?

- Истинная правда! - воскликнул Назимов. - Слабые недолго выдерживают.

- И для сильных есть предел, - с горечью сказал Завойко. Он подошел к письменному столу и выдвинул ящик. - Задача "Оливуцы" - крейсерство в Охотском и Беринговом морях. Уступая нашим настояниям, правительство посылает в эти воды еще один фрегат. Но что может дать эта мера, если ни вы, ни "Аврора" не вольны в своих поступках? Россия давно воюет, война грозит охватить сильнейшие державы мира, нашему краю угрожает непосредственная опасность, - а вам по-прежнему предлагается бездействовать. Вот, полюбуйте!

Губернатор вынул из ящика казенный пакет и протянул Назимову. Это была

одобренная Николаем I инструкция, изданная в декабре 1853 года, когда намерение Англии и Франции вступить в войну не оставляло уже никаких сомнений. Административным лицам и командирам крейсеров - речь могла идти о Назимове и Изыльметьеве - строжайше повелевалось "иметь постоянно в виду, что правительство наше не только не желает запрещать или стеснять производимого иностранцами китового промысла в северной части Тихого океана, но даже позволяет иностранцам ловлю китов в Охотском море, составляющем по географическому положению внутреннее русское море, и что главная цель учреждения крейсерства заключается в том, чтобы промысел этот производился не во вред подвластным России племенам и чтобы в морях, омывающих русские владения, повсюду соблюдался должный порядок".

Вся пространная инструкция была составлена в том же духе.

Назимов стоял растерянный, насупив мохнатые брови.

- Для подобных целей, - проговорил он, - лучше было бы прислать священника из Петербурга, чем военный корабль и офицеров, готовых исполнить свой долг.

- Я бы мог сказать о себе, как говорят у меня на родине: моя хата с краю, - сказал Завойко. - Она действительно с краю, с самого что ни на есть краю, однако и с нашей горки многое можно увидеть, а поразмыслив - и понять. Добро бы еще мы сами промыслили китов, тюленей, моржей и прочую морскую нечисть, да ведь сказать стыдно - только года два назад появился здесь русский китобой "Суоми" да прошлым летом безрезультатно проболтался китобой "Турка"! Еще, говорят, "Аян" для тех же целей будет приспособлен. И всё! Трех пальцев хватило, чтобы счесть наши китобойные доблести в здешних водах! И это противу пятисот заморских головорезов, истребляющих не только китов, но и мирных чукчей, и коряков, и камчадалов. Война начнется, неприятель явится, а нам, Николай Николаевич, чего доброго, и стрелять запретят!

- Я многого не умею объяснить своим офицерам, - хмуро признался Назимов, - да и как объяснишь, коли сам не понимаешь.

- Каково же мне?! - почти вскричал Завойко. - Каково нам, людям, вросшим в эту землю?! Тут каждодневные тревоги, заботы, мелкие интересы, но из них-то и складывается существование людей. Взгляните-ка получше, сказал он проникновенно, взяв Назимова под руку и подводя к окну. - Вон флаг над Сигнальным мысом... Тысячи русских людей отдали жизнь за то, чтобы он утвердился на этой горе. Простые мужики, купеческие дети умирали здесь, сохраняя этот край для России. И нам ли терять его! Здесь люди живут

впроголодь. Не хватает железа, дерева, самых обыкновенных материалов. Нам шлют негодную ветошь, швыряют сюда, как в мусорную яму, все, что не находит применения за Уралом. Трудно, говорите? Очень трудно.

По тропинке, наискось перерезавшей двор, шел Зарудный. Он был в высоких сапогах и серой куртке, в темной шелковой рубаше с бантом и с папкой под мышкой и походил скорее на художника, чем на чиновника.

- Один из энтузиастов края, - сказал Завойко, - чиновник Зарудный.

- Чиновник? - удивился Назимов.

- Титулярный советник. Зарудный сегодня дома, и я вызвал его по срочному делу.

- Не попадался он мне прежде, - заметил капитан.

- Весьма возможно. Он много ездит по полуострову, хоть переводит в чиновники особых поручений. Не сидится ему на месте. За два года собрал массу интереснейших сведений о крае. Теперь настойчиво ищет участия в военных приготовлениях. Штатский человек, никогда армейского пороху не нюхал, а, знаете, за последний месяц стал просто необходим мне: все видит, все держит в памяти, и на батареях свой человек. Упорнейшая личность!

В это время Зарудный уже пересек двор и скрылся из виду.

- Если бы однажды столичные витии приехали и поглядели, как мы здесь живем! - продолжал Завойко прерванную нить мыслей. - Вы знаете, как у нас делается доска? Обыкновенная доска, необходимая для полов, перекрытий и прочих строительных нужд, доска, стоящая гроши во всем мире, кроме Камчатки. У нас она добывается - да-да, не удивляйтесь, - именно добывается одна доска из целого бревна. Толстый ствол обтесывается топорами с двух сторон до тех пор, пока он не превратится в доску. Каково?! Сколько труда уходит на это! Но пилы, нужные для изготовления досок, получим не скоро. Зато по настоянию почтмейстера, нам прислали за тринадцать тысяч верст деревянный почтовый ящик, хотя его нетрудно было сделать в Петропавловске, будь в нем нужда. Почта отправляется от нас два раза в году, - кому же придет в голову несчастная мысль заранее бросать письма в ящик? Отправление почты - ритуал, священнодействие; каждому хочется в последние часы перед уходом почты видеть, как его письмо попадет в руки чиновника, как скроется в глубинах почтового баула. А почтмейстер заставляет нижних чинов и население бросать письма в ящик. Хоть на минуту, на две. Формы ради.

После длительного напряжения Назимов расхохотался. Простодушная улыбка скользнула по сердитому лицу Завойко.

- Смешно, конечно, - сказал он. - Но и в этих условиях мы копошимся,

строим. Закончили здание окружного казначейства и покрыли железом. Смотрите, хорошее здание. Такое и в губернский город не стыдно, а? Назимов смотрел в окно по направлению протянутой руки Завойко. - Возвели портовые мастерские - первое начертание будущих верфей, казенные магазины... Даже суда вознамерились строить в Петропавловске. Вон литейный завод, маленький, с деревенскую избу, но работает и приносит пользу. Рулевые петли из меди и крючья для транспорта "Байкал" мы отлили здесь, у себя. Получилось неплохо, не хуже того, что нам присылают из Гамбурга и Петербурга.

В дверь постучали.

- Прошу, Анатолий Иванович, - отозвался Завойко.

В кабинет вошел Зарудный. Поздоровавшись с Завойко, он молча поклонился Назимову.

- Анатолий Иванович Зарудный, титулярный советник, - представил его Завойко и продолжал: - Теперь надо всем нависла угроза. Я разумею не только порт, но и людей. Дома можно сжечь, железо спрятать в земле. А жители? Куда прикажете их, если придет неприятель и сровняет с землей город!

Зарудный протянул Завойко папку.

- Извольте, Василий Степанович, - сказал он. - Дела на батареях идут успешно.

- Слыхали? Успешно! - иронически подхватил Завойко. - А чем прикажете украшать батареи? Амбразура без пушки - дыра, бесполезная дыра и ничего более.

- Чтобы завладеть землей, - убежденно сказал Зарудный, - мало засыпать ее ядрами. Нужно ступить на берег обеими ногами. Если это случится, мы прогоним противника штыками.

- Кто же сие доблестное воинство? Уж не канцелярские ли писцы да секретари?

- Василий Степанович, - Зарудный смотрел на губернатора напряженным, немигающим взглядом, - я еще раз прошу вас на время кампании определить меня по воинской части.

- Анатолий Иванович, война не охота! Англичанин похитрее лисы будет.

- И на него смекалки хватит. Хватило бы пороху!

- Ишь ты! - ухмыльнулся Завойко, положив руку на плечо Зарудного. Хвалился штыком опрокинуть, а теперь подавай ему порох! Ну, добро! Вы займите Николая Николаевича, расскажите ему о наших приготовлениях, а я тем временем бумаги посмотрю.

Пока Зарудный описывал Назимову, как располагаются батареи, Завойко вскрывал казенные пакеты, привезенные "Оливуцой". Вызвав мальчика-кантониста, исполнявшего обязанности курьера, он что-то приказал ему, а затем углубился в чтение бумаг, прислушиваясь краем уха к словам Зарудного.

Батареи охватывали Петропавловск подковой. Человеку, который оказался бы внутри подковы, лицом к югу, общая картина рисовалась бы так. На правом конце подковы, в скалистой оконечности Сигнальной горы, строилась батарея, защищающая вход на внутренний рейд. Ее площадка вырубалась в скале и была почти неприступна для морского десанта. Справа же, на перешейке между Сигнальной и Никольской горами, наметили место для другой батареи. У северной оконечности Никольской горы, на самом берегу, возводилась батарея для предотвращения высадки десанта в тыл и попытки захватить порт с севера. Следующая за ней батарея - на сгибе воображаемой подковы - должна держать под огнем дефиле и дорогу между Никольской горой и Култушным озером, если неприятелю удалось бы подавить сопротивление береговой батареи. Затем шли три батареи - они легли редкой цепью слева, по матерому берегу, против перешейка, в основании песчаной косы - и последняя за кладбищем, у Красного Яра.

Наличной артиллерии не хватало и на треть возводимых укреплений, - на каждую батарею требовалось по меньшей мере три-четыре пушки. Если бы построить прочные земляные укрепления, подвезти лес, необходимый для артиллерийских платформ, а главное - получить солдат, пушки, порох, оборона Петропавловска выглядела бы совсем иначе. Но как добыть все это? Хорошо бы оставить здесь "Оливуцу": с одного борта можно было бы снять десять пушек, да и людей стало бы побольше. Но Завойко не властен распоряжаться корветом, приписанным к отряду адмирала Путятина.

Василий Степанович читал письма, присланные русским консулом в Американских Штатах. Консул просил Завойко познакомиться с содержанием некоторых депеш, чтобы тотчас же, ввиду их важности, отправить курьера в Иркутск. Это была не лишняя мера. Задержка писем на целые месяцы до следующей почты или до случайного иркутского курьера была здесь в порядке вещей.

Офицер, посланный в Америку для приобретения нарезных ружей, доносил артиллерийскому департаменту, что некий Петерс, подрядившийся поставить пятьдесят тысяч нарезных ружей, оказался жуликом и безуспешно разыскивается полицией; что все крупные оружейные фабриканты взяли подряды у британского правительства; что надежда на получение оружия у

Кольта весьма сомнительна, так как и он ведет темную игру с представителями нескольких европейских держав одновременно. Не лучше обстояло дело и с десятью тысячами пудов пороха, обещанного купцом Перкинсом.

Штабс-капитан Лилиенфельд, также командированный из Петербурга в Штаты, писал:

"Прошу доложить генерал-адмиралу мою всепокорнейшую просьбу не принимать в Петербурге никаких предложений от странствующих промышленников, особенно американцев. Здесь, на месте, нельзя не быть пораженным легкостью, с которой эти господа берутся за дела вовсе незнакомые, в надежде обильной жатвы, клянутся и представляют всевозможные гарантии - и все это оказывается ложью... Судя по значительным заказам военного оружия, поступившим с 1850 года на Люттихский рынок из Мексики и Бразилии, а равно по огромному числу охотничьего оружия, ежегодно отправляемого из Люттиха в Америку, можно полагать, что ружейное производство в этой части света не достигло большого развития. Ружья, производимые здесь, по-видимому, необходимы американцам для истребления туземных племен..."

Запечатав письма, Завойко, приказал Зарудному отправить их с курьером в Иркутск, не теряя ни часа, присовокупив свой отчет за несколько минувших недель и настойчивые просьбы о помощи Петропавловску.

На пороге Зарудный столкнулся с Настенькой, сиротой, которая воспитывалась в доме Завойко. Она пришла звать к обеду.

Поклонившись девушке, Зарудный хотел было пройти мимо, но она задержала его в коридоре и, оглянувшись на дверь, заговорщицки сунула Зарудному записку.

- Маша Лыткина просила передать вам... Прощайте, - тихо сказала она.

Зарудный не успел и ответить, как сверкнули голубые настороженные глаза и девушка скользнула мимо, оставив его с запиской.

Зарудный недоверчиво посмотрел на бумажку. Отчего так трудно стало вдруг дышать? Он вертел в руках записку и думал: "Вероятно, вздор, девичьи пустяки, желание хоть чем-нибудь заполнить праздную жизнь... Несколько туманных фраз, написанных полудетским почерком, таинственные многоточия, а может быть, и чужие слова, запомнившиеся при чтении чувствительных романов". Как и вчера в парке, Зарудный больно ощутил разницу возрастов, почувствовал, как далек он от круга интересов Маши.

Сын ялutorовского мещанина, выросший в сибирской глухомани, он был воспитанником декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Якушкин обучал

ребятишек грамоте, языкам, древним и иностранным, геометрии, физике, химии и приучал их к ремеслам, огородничеству и собиранию лекарственных трав. Щуплый, стареющий, но живой, необычайно подвижной человек в полинявшем мундире, с впалыми щеками и озабоченным выражением остроногого лица, Якушкин и по сей день оставался для Зарудного нравственным идеалом.

Якушкин не забывал об ученике и теперь. Он писал Зарудному из Ялуторовска в Иркутск, когда того, с помощью окружавших Муравьева друзей и родственников декабристов, удалось устроить в губернский город; писал и в Петропавловск, после того как Зарудный был спроважен на Камчатку и явился туда с охотничьим ружьем в руках и списком письма Белинского к Гоголю, спрятанным на дне чемодана, под бельем.

На Камчатке он проводил жизнь в частых разъездах, отправляясь в дорогу и поздней осенью и в первые, самые тяжелые месяцы зимы, когда беснуется камчатская пурга и снег метет не переставая. Услыхав шаги в кабинете, Зарудный сунул письмо в карман и вышел на крыльцо. Только за оградой парка, под тенью корявых, изломанных тяжестью снега и ветром берез, он прочитал записку Маши. "...Я вчера, вероятно, показалась Вам вздорной и капризной. Не пожимайте плечами - это так. И записку мою Вы осудите, посмеявшись в душе надо мной. Но Вы можете вдруг уехать, не повидав меня. А мне нужно Вас увидеть, нужно спросить об одном важном предмете. Маша". Зарудный бережно сложил письмо, спрятал его в карман и, вполголоса напевая шутиливую песенку, зашагал вниз по тропинке. III Дом Трапезникова стоял на краю поселка, у подножья Никольской горы, и мало чем отличался от темных лачуг обывателей. Единственная примета, по которой можно было узнать жилище почтмейстера, - желтый почтовый ящик, висящий у входа. Крыша из длинной камчатской травы замшела и кое-где провалилась.

На окраине поселка обычно тихо и безлюдно. Изредка здесь проходили сменявшиеся караулы порохового погреба. Они шли в порт мимо окраинных домиков, сквозь заросли диких роз, жимолости, по полянам, покрытым густой травой. Но теперь наступили "почтовые дни", и дом почтмейстера стал местом паломничества многих жителей Петропавловска.

Диодор Хрисанфович Трапезников редко появлялся в городе, теперь же он расхаживал у казенных построек и подолгу простаивал в порту, устремив свой взор на суда, как бы решая, можно ли доверить утлому транспорту драгоценный почтовый груз. Он уже не ходил, по своему обыкновению, с низко опущенной головой, шаря глазами по земле, как человек, что-то

потерявший, а шествовал с горделивой осанкой, в фиолетовой шляпе, покрытой сальными пятнами.

В часы, когда Диодор Хрисанфович прогуливался в порту, размышляя над реформами почтового дела в России, его помощник Трумберг прекращал прием писем и вел душеспасительные разговоры с экономкой Трапезникова, тучной Августиной, которую многие считали сожительницей почтмейстера. Разговор шел преимущественно о догматах лютеранской церкви, о немецкой кухне, архитектурных красотах Ревеля и велся с помощью междометий и восторженных восклицаний.

Никто не знал, когда уйдут "Оливуца" и транспорт - это могло случиться в любой день, - но то, что с ними отправится почта, было известно всем, и контора Трапезникова стала средоточием общего интереса.

Диодор Хрисанфович стоял у порога собственного дома, когда Зарудный пришел к нему с частными письмами в Ялуторовск и Иркутск. Почтмейстер переругивался с женщинами - солдатскими вдовами, хлопотавшими о пенсии, и двумя нижними чинами из портовой команды. Протянув правую руку с грязным указательным пальцем, он цедил сквозь зубы:

- В ящик! В ящик, каналы!

Пререкания эти шли, видимо, давно. Одна из женщин успела поплакать и теперь, всхлипывая, вздыхала так глубоко, что Трапезников с опаской косился на нее.

- Видишь ты, - начал один из солдат, - ящик твой шибко большой, там письму недолго и потеряться, а мы...

Он не успел договорить, как почтмейстер взревел:

- Не смей тыкать, я тебе не ровня! - Потом хмыкнул носом и строго спросил: - Вы что же, недовольны порядком, установленным правительством?

- Не-е-е, - торопливо заговорил солдат, - мы не супротив порядка. Однако просим из рук взять письма, как прежде брали... Чтоб в книгу аккуратно записали...

- Бросай в ящик, успеем записать.

- А ты прежде запиши.

- Порядка такого нет, дубина этакая! Инструкция запрещает.

- Мы инструкции не касаемые, - заголосила пожилая баба, - мы приватные, ба-а-рин... Возьми письмо Христа ради. Последний целковый отдала...

Она упала перед ним на колени.

- С-с-скоты! - прошипел Трапезников и захлопнул дверь, задвинув изнутри засов.

Просители растерялись и не знали, что им теперь делать: опустить письмо -

того и гляди суда уйдут, а Трапезников в отместку им и не вынет... Каверзный характер его в Петропавловске хорошо был известен.

Зарудный взял письмо у женщины, все еще стоявшей на коленях, и бросил его в ящик.

- Барин, барин! - заплакала женщина. - Что же ты со мной сделал, барин!

- Вот что, служивые, - Зарудный не обращал внимания на ее слезы, живо бросайте письма в ящик. Ничего им не станет.

Солдаты мялись в нерешительности, стараясь не смотреть на Зарудного.

- Вы меня знаете? - спросил он.

- Как не знать! - привычно ответил молодой солдат, хоть он и впервые видел Зарудного.

Второй сказал:

- Примечали...

- Напрасно время тратите здесь, - Зарудный постучал согнутым пальцем по своему лбу и показал на дверь, за которой скрылся Трапезников. - Не прошибете! Я обещаю вам, что письма будут вынуты из ящика в самом скором времени и занесены в реестр.

Спокойный тон Зарудного подействовал. Письма упали в ящик. Люди прислушивались к таинственному шороху конвертов; солдат даже похлопал ладонью по гладкой поверхности, как бы проверяя прочность ящика.

На настойчивый стук Зарудному открыли дверь, и он очутился в большой неуютной комнате, пропитанной каким-то кислым запахом. На полу были свалены объемистые почтовые баулы, в самом центре комнаты выделялся стол с трехгранным зеркалом и уставами. Ветхая мебель почтмейстера была убрана в сторону, а посреди комнаты для приема пакетов был оборудован импровизированный прилавок из трех досок, положенных на ящики и покрытых зеленым сукном в живописных чернильных пятнах. На стенах висели карты, две олеографии, несколько пожелтевших гравированных картин, выданных из старых журналов, и нивесть зачем древние пистолеты и скрещенные сабли.

Диодор Хрисанфович, созерцая уставы и собственные руки, покоившиеся на столе, ответил на приветствие Зарудного не сразу. Морщась, он скользнул взглядом по партикулярному платью Зарудного и одним кивком головы приказал помощнику заняться посетителем. Процедура приема корреспонденции заняла около получаса.

В ожидании Зарудный стал рассеянно читать адреса на пакетах. Вдруг он наткнулся на знакомый почерк и склонился над письмом. Письмо в Иркутск, в канцелярию генерал-губернатора. И еще одно - в Петербург. Тот же мелкий,

ровный почерк, что и в записке, переданной Настенькой. Однако это переписка самого господина Лыткина: казенные адреса, тщательно выписанные титулы. А почерк Машин.

В это время за стеной зычный голос запел по-английски: Я иду из Алабамы, банджо верное со мной.

Я иду в Луизиану, чтоб, Сусанна, быть с тобой!

О Сусанна! Не плачь обо мне... Кто-то торопливо говорил, тоже по-английски, увещевал, спорил, доказывал, но другой упрямо напевал песенку и прерывал ее только для того, чтобы разразиться хохотом. Наконец ему, видимо, надоела назойливость собеседника, и он громко крикнул:

- Идите к дьяволу!

Из соседней комнаты открылась дверь, и на пороге показался пыхтящий Чэзз, а за ним Магуд, натягивавший на ходу замшевую куртку. Трумберг, швырнув пакеты Зарудного на прилавок, бросился к выходной двери и почтительно распахнул ее перед Чэззом. Диодор Хрисанфович молча привстал со стула и проводил своего жильца заботливым взглядом. Заметив в открытую дверь женщин, которые все еще сидели на траве перед домом, он помрачнел.

Сдав корреспонденцию, Зарудный завел с почтмейстером дипломатический разговор, спросив, доволен ли он квартирантом.

- Премного! Личность во всех отношениях выдающаяся, - ответил Трапезников, высоко подняв брови. - Обширнейших познаний человек.

- Чересчур громкий, кажется?

- Это, сударь-с, сила наружу рвется.

- Да-с, - протянул Зарудный, желая продлить разговор. - Долгонько он у вас тут...

- Как раз в вояж собрался, - конфиденциально сообщил почтмейстер.

- Далеко ли? - спросил с притворным интересом Зарудный. - Неужто все дела переделал?

Трапезников развел руками и таинственно перемигнулся с Трумбергом.

- Хранят в секрете-с! В строжайшей тайне-с!

Зарудный вдруг хлопнул себя по лбу, будто вспомнив что-то важное.

- Диодор Хрисанфович, вы меня очень одолжите, если прикажете вынуть из ящика письма. Я уговорил ваших просителей опустить письма в ящик и обещал заступничество. Сделайте милость.

Почтмейстер с трудом подавил тщеславную улыбку и направился к ящику. Приятно, что молодой человек, любимец губернатора, столь учтиво просит его о пустяковом одолжении, постигая всю значительность и важность его персоны!

Открыв ящик, Диодор Хрисанфович вынул письма и, не зная, чего ради, цыкнул на женщин, сидевших на траве в ожидании этой торжественной минуты. Женщины поднялись и заговорили разом, весело и шумно. IV Завойко принял американцев в гостиной, куда он с Назимовым перешел после обеда. Людей малознакомых или несимпатичных в свой домашний кабинет он не звал.

К Чэззу Завойко привык, ценил его деловитость и практическую пользу, которую тот приносил, доставляя в Петропавловск съестные продукты и предметы первой необходимости. Все хоть и не первого сорта и стоит недешево, но не дороже, чем в магазине Российско-Американской компании. Даже в тихом Петропавловске Чэзз ухитрялся жить в состоянии постоянной коммерческой ажитации. Он мечтал о монополии, тягался с оборотистым гижигинским купцом Бордманом из Бостона, с Росселем и К°, с русскими купцами Брагиным, Трифоновым и Жереховым и успешно конкурировал с Российско-Американской компанией, равнодушной к нуждам Камчатки. Завойко давно уже пригляделся к толстой, обрюзглой фигуре Чэзза, к его сырому лицу с хитрыми, бегающими глазками. Магуд же был здесь человеком сравнительно новым и притом замкнутым. Завойко не упускал его из виду и даже завел особый "счет" на напористого американца. В нем значились покупка дорогих мехов за бесценок, охота на ценных соболей и другие грехи, которые Завойко никому не прощал.

Магуд был штурманом трехмачтового китобойного судна "Мария", а не судовладельцем, как отрекомендовал его Чэзз. В Петропавловск он попал при таких обстоятельствах.

В середине июня минувшего 1853 года в солнечный полдень на зеркальной глади Авачинской губы показались три вельбота, шедшие из-за полного безветрия на веслах. На вельботах находилась вся команда китобоя "Мария" во главе с капитаном Дравером и штурманом Магудом. Капитан объявил Завойко, что судно затонуло из-за течи и лежит в Ягодовой бухте. Хотя уже три дня стояла ясная, безветренная погода, Дравер утверждал, что всему виной сильный шторм, который настиг "Марию" минувшей ночью у входа в Авачинскую губу.

Дравер намеренно посадил "Марию" на камень. Он решил получить крупную страховую сумму за старое судно и, ничем не рискуя, дожидаться в Петропавловске, пока какой-нибудь американский корабль увезет их в Штаты. Завойко, осмотрев "Марию", смекнул, в чем дело. За небольшие деньги он купил вельботы у Дравера, обрадованного новым доходом, а оснащенный "Марию" привели в бухту, вытащили на берег и приспособили

под магазин.

Но когда команда "Марии" собралась на китобое "Ноубль" в Америку, Магуд заявил, что хочет остаться на Камчатке, чтобы попытаться здесь счастья. Вместе с ним остался маленький рыжий матрос. Вдвоем они поселились в домике почтмейстера, и жители Петропавловска стали уже к ним привыкать. У Магуда были основания не торопиться с возвращением в Америку. Там каждый шаг этого высокого, плечистого янки с розовыми глазами альбиноса был отмечен преступлениями. Молодость Магуд провел среди тех, кто с особой жестокостью и бессердечием прокладывал свой путь от атлантического побережья Америки к тихоокеанскому, пересекая материк - пески, горы и прерии.

На побережье Тихого океана Магуд столкнулся с русскими и сразу же не поладил с ними. Те жили здесь давно. Жили в дружбе с местными племенами, исконными хозяевами побережья, Аляски и Алеутских островов. Вдали от родины русские сохраняли свою самобытность - стойкие, выносливые люди, хорошие мастера, охотники и храбрые солдаты.

Магуд осел в живописной местности вблизи форта Рос, купленного у России Суттером, и одним из первых набросился на золото, найденное на земле честолюбивого швейцарца. В несколько недель он разбогател, но, как и многие авантюристы, потерявшие голову от удачи, спустил свое золото в кабаках Сан-Франциско.

В мае 1852 года на американском судне "Анна-Луиза" Магуд совершил циничное убийство. Один из матросов, негр Армстронг, недостаточно быстро исполнил приказание штурмана Магуда. Магуд, с утра чем-то недовольный, рыскавший по палубе с налитыми кровью глазами, ударил его мушкетом по голове. Армстронг упал с вышибленным глазом, обливаясь кровью. Как только Армстронга привели в сознание, Магуд потребовал, чтобы он очистил снасть под бушпритом. Негр, шатаясь от потери крови, полез исполнить приказание, но не сумел удержаться и сорвался в море, успев схватиться за конец веревки. Не издавая ни единого крика о помощи, он держался немеющими пальцами за канат, пока Магуд не приказал обрубить конец. Армстронг утонул.

Магуд понимал, что дело всплывет на поверхность, если останутся в живых матросы-негры. В течение трех дней он и капитан "Анны-Луизы", пьянчуга Гайрз, убили двух негров, сбросив трупы в море.

"Анна-Луиза" вошла в британские воды. Оставшиеся в живых члены команды, белые матросы, связали Магуда и Гайрза и доставили полицейским властям на острове Уайт.

Капитан и штурман предстали перед ньюпортским судом. Дело было совершенно ясное. Магуд и Гайрз не отрицали обвинения. Капитан, отрезвившись в сырой камере ньюпортской тюрьмы, скулил и каялся, Магуд же держался с привычной наглостью, доказывая, что он казнил негров за оскорбление достоинства гражданина Соединенных Штатов и тем самым защищал честь своей нации и своего правительства, единственно перед которым он и ответствен.

На разбор дела требовалось несколько минут, но суд затянулся на неделю. Ньюпортский судья снесся с Лондоном и огласил следующий приговор:

"Господа Гайрз и Магуд! Вас, американских подданных, обвиняют в умерщвлении нескольких человек на американском судне, когда как вы не находились еще в британских водах, - на последних словах судья сделал многозначительное ударение, посмотрев поверх очков на притихший зал. - И так как нам не было предъявлено форменного требования задержать вас, без чего, по договору с Соединенными Штатами, мы не можем арестовать вас, - вы свободны и будете иметь дело с вашим правительством".

Магуд вышел из суда, скорчив мину оскорбленной добродетели, а трое белых матросов, которые доставили штурмана в суд, бежали, понимая, что ждет их на "Анне-Луизе". Судьба двух оставшихся матросов подтвердила благоразумие беглецов: набрав команду из темных личностей, шляющихся в портовых городах Англии, Магуд вскоре сумел избавиться и от этих двух матросов - они последовали за Армстронгом и его товарищами.

О преступлении на "Анне-Луизе" стало известно и в Америке, где Магуда могли преследовать не только правосудие, но и родственники двух убитых янки, не полагавшиеся на строгость юстиции. Тогда штурман, пронюхавший об интересе правительства Соединенных Штатов к Восточной Сибири и Амуру, предложил свои услуги и вскоре очутился в Петропавловске.

Все складывалось как нельзя лучше: от почтмейстера Магуд узнал, что "Оливуца" отправляется в устье Амура - район, который более всего интересовал его, - и решил во что бы то ни стало попасть на корвет. Почтмейстера подкупило обещание Магуда поддержать в Иркутске (Диодор Хрисанфович был убежден, что Магуда в Иркутске встретят как почетного гостя) его проект об упразднении всяких почт с нарочными курьерами.

Завойко, хотя и не подозревал, что американский гость прожил столь бурную жизнь, но испытывал инстинктивную неприязнь к этому длиннорукому верзиле с жесткими бакенбардами, торчком стоявшими от висков до подбородка. Волосы Магуда, зализанные, с ровным, как надрез, пробором, пахли рыбьим жиром.

Для начала Чэзз завел разговор о "приобретении пушной монополии на выгодных для господина губернатора условиях". Завойко, сидевший на диване рядом с Назимовым, подтолкнул капитана локтем и сказал шутливо:

- Видите, Николай Николаевич, сколько имеется охотников до русских соболей. Не проходит и года, чтобы мне не делали самых лестных предложений.

- Значит, Камчатка не бесприданница, а богатая невеста, - заметил в тон Назимов.

- Соблазнят меня когда-нибудь господа купцы. Брошусь очертя голову в водоворот коммерции и спущу Камчатку, как гусар родовое имение.

Чэзз угодливо рассмеялся, издавая какой-то твякающий звук, более похожий на стон, чем на смех.

- Я предлагаю денежное дело, - сказал он добродушно, - тут проигрыша быть не может. Будете делать чистые деньги, to make money!* Черная работа достанется нам.

* Делать деньги. Завойко прищурил глаз.

- Уж не собираетесь ли вы приобрести монополию и на китобойные промыслы в наших морях?

В разговор вмешался Магуд:

- Кто же покупает то, что можно взять даром!

- Мне жаль, Чэзз, - сказал Завойко, сдерживая недовольство, - что вы возвращаетесь к этому вопросу. Я своей властью не могу разрешить ничего подобного. Думаю, что и генерал-губернатор Восточной Сибири не смог бы удовлетворить вашу просьбу без согласия правительства.

Чэзз решил апеллировать к Назимову, призывая его в свидетели и судьи.

- Господин капитан рассудит нас. На этот раз мы предлагаем совершенно новую комбинацию. Мы купим не только монополию на пушную торговлю Камчатки, но и монопольное право на разработку золота!

Чэзз ждал, какое впечатление это произведет на русских.

- Золота на Камчатке еще никто не находил, - возразил Завойко. - Вы бросаете деньги на ветер.

- Мы найдем золото! - Магуд впился глазами в несговорчивого губернатора.

- Да, мы найдем золото, - быстро подхватил Чэзз, - и дадим большую прибыль русской казне. Торговля на Камчатке плохо организована, - надеюсь, господин губернатор не обидится на меня за мои слова. Торгуют по-настоящему только раз в году, зимой, и никто не знает, что принесут торги. И разве это разъезды купцов? Это разбойничьи набеги, одно разорение для

бедных туземцев! Привозят разный хлам - рваные одеяла, дырявые котлы, ржавые гвозди, дрянной табак, и за все это охотник должен отдать все свое добро... Камчадалы разоряются, промысел приходит в упадок.

Чэззу не часто приходилось произносить такие длинные речи. К этой беседе он тщательно готовился, надеясь сломить упорство Завойко. Магуд с уважением слушал Чэзза.

- Я знаю, - продолжал Чэзз, - что господин губернатор думает о том, как бы оградить туземцев от алчности русских купцов.

- И не только русских, - заметил Завойко, но Чэзз пропустил эти слова мимо ушей.

- Да, да... Стараются, назначаете специальных чиновников для наблюдения за торговлей, но все напрасно. Чиновники берут взятки, а взятки тоже идут за счет камчадалов, и они оказываются в еще большем убытке. Все воруют, обманывают казну и друг друга...

Завойко поражала неожиданная словоохотливость Чэзза.

- А вы хотите взять монополию на кражу? - спросил он.

- Что вы, господин губернатор! - запротестовал Чэзз. - О! Вы хорошо знаете, как я привязан к Камчатке, как дорожу ее благополучием!

- Я думаю, - усмехнулся Завойко, - что можно печься о благосостоянии края и не упрятывая его на правах монополиста в собственный бумажник.

Чэзз воздел руки к потолку, изображая крайнюю степень изумления и обиды.

- Как? Неужели вы думаете, что я хочу обогатиться за счет Камчатки? Я буду терпеть убытки год, два и больше. Возможно, впоследствии я сумею возратить себе деньги, скопленные многолетним трудом. Но на первых порах убытки, одни убытки, провались я на этом месте!

- Такое бескорыстие делает вам честь, - Завойко старался говорить как можно более серьезно.

Он вспомнил свое посещение Америки в середине тридцатых годов. Оглушенный, он бродил по людным улицам, поражаясь кипучей энергии делового, напористого и бесцеремонного люда.

- Благодарю вас! - обрадовался Чэзз. - Я засыплю Камчатку крупой, сахаром, чаем, затоплю ее патокой. У вас будет все, что необходимо для человеческой жизни. Чэзз ничего не забудет и ничего не упустит.

Он заговорил быстро, загибая пальцы:

- Дробовики, штуцеры, лучший в мире порох, патроны, свинец, топоры, пилы, ножи и все, все остальное, что может понадобиться, мы доставим на американских судах. Все будет лучшего качества и по цене, которой еще не знали на полуострове.

"Зачем пришел этот недалекий, шумный человек? - думал Завойко, наблюдая за Чэззом. - Неужели он надеется убедить меня? Разговор о монополии поднимался не раз. Чэзз знает, сколь безнадежно это дело. И все-таки явился. Выкладывает на стол старые доводы, разглагольствует, старается..."

Завойко продолжал слушать Чэзза.

- Мы будем покупать все. В Камчатку придут горные инженеры, торговцы, вольные работники, хлынет поток денег, край преобразится, как это случилось с Калифорнией, когда на земле сумасшедшего Иоганна Суттера нашли золотой песок. Вы станете маленьким царьком, мистер Завойко!

- Это слишком хлопотно, - Завойко, насмешливо подняв бровь, изучал Чэзза.

- Я только царский слуга - и то не знаю покоя. Да и, насколько мне известно, князек Суттер стал нищим после открытия золота.

Магуду был не по душе разговор о Суттере и калифорнийском золоте. Он заворочался в кресле и громко засопел, выражая нетерпение.

- Он не был практичным человеком, господин губернатор, он не умел делать деньги, - бодро настаивал Чэзз.

- Хорошо, Чэзз, - прервал его Завойко, - передохните немного и выслушайте меня. Дело давно решенное, и не стоит к нему возвращаться. Золота на Камчатке нет, а что есть, то сами, даст бог, подберем. Живите себе у нас спокойно да деньги наживайте, а в благодетели не суйтесь.

В комнату вошла Настенька с подносом, на котором стояла бутылка рому и ваза с фруктами, привезенными на "Оливуце". Магуд впился глазами в полную фигуру девушки, смущенной наступившим молчанием и взглядами посторонних. Настенька вышла, но Магуд не сводил глаз с дверей, будто ожидая, что она вернется. Он стал решительнее, развязнее:

- Вы несправедливы к нам. Это не по-соседски.

- Вот как! - насторожился Завойко.

- Русские живут в Америке, на Аляске и южнее, в долине Сакраменто, торгуют, берут себе жен...

- Ну и что же?

- Правительство Соединенных Штатов не препятствует им.

- Было бы смешно, если бы правительство Соединенных Штатов пыталось помешать нам, - промолвил Назимов, долгое время молча наблюдавший за Магудом и Чэззом. - Мы пришли на Аляску в те времена, когда Штатов еще не было и в помине. Мы живем на землях, принадлежащих индейским племенам, в мире с ними...

- И не требуем монополий! - вставил Завойко.

- За долгие годы жизни на Аляске мы не возбудили против себя ни одного

племени. Заметьте, ни одного, - продолжал Назимов, - тогда как Соединенные Штаты своим желанием властвовать в обеих Америках уже нажили себе много врагов. Штаты уничтожают беззащитные племена, всегда слишком слабые, чтобы сопротивляться, захватывают самые плодородные земли...

- Сильный обязан захватывать, - изрек Магуд. - Воля, сила - это ветер, без которого паруса висят как тряпье.

- Ветры бывают и противные! - сказал Завойко.

- Ладно, - сказал Магуд, махнув рукой, - вижу, что так дело не пойдет. Мы говорим - да, вы говорите - нет. Вы, кажется, считаете нас шарлатанами?!

- Что вы, Магуд! Я так давно знаю мистера Чэзза. Мы отлично понимаем друг друга.

Чэзз поспешно закивал головой, с опаской поглядывая на Магуда.

- В таком случае я хочу, чтобы вы поняли меня. Мы предлагаем вам выгодное дело. Вы не хотите. Ладно. Мы говорим вам: попробуйте год-два. За это время никто ничего не разнюхает. Камчадалы верны и незлопамятны, как собаки...

- Полегче, Магуд! - предостерег Завойко.

- Ладно. Можно полегче. Это не меняет дела. Чего вы боитесь? Время военное, в Петербурге свои заботы. А мы с вами поладим.

- Чего же вы хотите? - нетерпеливо спросил Завойко.

- Доверия. Хочу доверия и свободы действий. Вот господин капитан отправляется на Амур, в новые края. Я опытный моряк, золотопромышленник и хотел бы сопровождать господина капитана.

Завойко насторожился. Назимов вопросительно посмотрел на губернатора: откуда Магуду известен маршрут корвета? О пункте назначения "Оливуцы" знают немногие, а открытие Невельского сохраняется в строжайшей тайне.

Губернатор сдержал себя и довольно миролюбиво спросил у Магуда:

- Что привлекает вас в этот суровый край?

- Риск, господин губернатор, торговый риск. Разрешите мне сопровождать господина капитана - и к будущей навигации я открою на новых землях магазины не хуже лавки мистера Чэзза. Мы, американцы, предприимчивые люди. Через год ваши колонисты на Амуре ни в чем не будут испытывать нужды. По рукам?

Завойко покачал головой.

- Вы все напутали, Магуд. Насколько мне известно, на Амуре нет русских колонистов, а выход из реки закрыт песчаными барами и перешейком, который соединяет полуостров Сахалин с матерым берегом. "Оливуца"

военный корабль, и никто не станет отправлять его в такое тревожное время в дикие, незаселенные места...

Магуд рассмеялся и укоризненно покачал головой.

- Мистер Магуд бывалый моряк, - просительно вставил Чэзз. - Он может быть очень полезен господину капитану.

- Обойдемся, Чэзз.

- Вы нелюбезны, хозяин, - сказал Магуд, переходя на грубоватый тон, в котором он чувствовал себя наиболее уверенно.

Завойко прорвало:

- Какого черта я буду с вами любезничать! Что вы за птица такая диковинная?

Магуд вскочил и, сунув руки в карманы, вскричал:

- Позвольте!

- Не позволю, - отрезал Завойко. - Запомните это раз и навсегда: ничего не позволю! Я три года бьюсь, объясняю камчадалам, что промыслять соболей в марте и апреле грех, преступление, что соболи в эту пору ценные. И когда мы уже почти добились своего, приезжаете вы, цивилизованная личность, и разворачиваете людей. Вы промысляете ценных соболей, подбиваете на это охотников, вымениваете лучшие шкурки за безделицу, за побрякушки, а мистер Чэзз рекомендует вас таким благодетелем, филантропом!

Магуд отступил, растерялся и пробурчал с опаской:

- Меня оболгали, хозяин.

- Сомневаюсь. Запомните, Магуд: замечу еще что-нибудь в этом роде, вывезу вас в море - и за борт! Если угодно, добирайтесь вплавь хоть до Амура. Никакого скотства не допущу. Понятно?

Магуд нехотя кивнул. Завойко подвинул ему недопитую рюмку:

- Пейте и убирайтесь!

Пораженный Чэзз смотрел, как Магуд покорным движением взял рюмку, выпил и поплелся к двери.

Завойко с презрением смотрел на Магуда, затем повернулся к опешившему купцу и бросил недовольно:

- Прощайте, Чэзз. Постарайтесь впредь не отнимать у меня времени такими визитами. Мне стыдно перед гостем.

- Прошу прощения, господин губернатор, - виновато пробормотал Чэзз, пятясь и закрывая за собой дверь.

Когда шаги американцев затихли, Завойко и Назимов взглянули друг на друга и одновременно повернулись к окну, из которого был виден двор.

Компаньоны шли рядом - высокий невозмутимый Магуд и семенящий,

жестикулирующий Чэзз.

- Можете поздравить меня, - сказал Завойко. - До сих пор на Камчатке не было этих диковинных фруктов, - климат не подходящий! А тут объявились, и притом без всяких усилий с моей стороны. Пересекая обширный солнечный двор, Магуд только посмеивался в ответ на сердитое ворчание купца.

- В хорошее положение вы меня поставили, черт бы вас побрал! говорил Чэзз. - Глупее ничего не придумаешь... Настоящее свинство! Судовладелец! - Толстяк злорадно хихикнул. - Вы бы еще приказали отрекомендовать себя губернатором Нью-Йорка или сенатором! Тут-то, шлепнул он себя ладонью по мясистому лбу, - тут-то у вас есть что-нибудь?! С такими повадками лучше наняться на бойню - я вам могу дать даже рекомендательные письма в Штаты, - чем лезть куда-то на Амур...

Штурман нисколько не обиделся. Он хлопнул Чэзза по плечу и сказал добродушно:

- Оставьте ваши письма при себе, я и без них буду на Амуре.

- Еще бы! Мистер Завойко позовет вас и попросит прощения!

- Вряд ли, - ответил Магуд, оглядываясь на дом.

- Ах, вряд ли? - удовлетворенно вскричал Чэзз. - На что же вы рассчитываете?

- На себя... Ну, и на вас, Чэзз.

- Выбросьте это из головы, - сказал Чэзз, чувствуя, как в душу закрадывается страх. - Ради вас я больше не сдвинусь с места.

Штурман посмотрел на Чэзза с сожалением и усмехнулся.

- Дело не во мне, Чэзз. Вы это, надеюсь, понимаете?

Чэзз остановился, с ненавистью посмотрел на огромные сапоги Магуда и сказал неуверенно:

- Ну и ладно. Это ваше дело. А я иду своей дорогой, слышите? - Голос его сделался хриплым от сдерживаемой злости. - Штурман Магуд, я деловой человек. Можете получить у меня в магазине... - Он замялся, впился взглядом в смеющиеся глаза Магуда и прохрипел напоследок: - В кредит, да, да, в кредит все, что вам понадобится, а меня оставьте в покое... ЦИНГА I Тяжкое бедствие обрушилось на "Аврору" - появилась цинга, она валила матросов с ног. Резкий переход к холоду, многодневные туманы, сырость, изнурительные вахты в дни сплошных штормов, пресная вода, пропитавшаяся гнилью в старых деревянных бочках, - все это неизбежно должно было вызвать болезнь среди команды, изнуренной небывалым десятимесячным переходом. На иеромонаха Иону пал нелегкий труд - готовить умирающих к

переходу в небытие. На фрегате существовала маленькая церквушка с походным иконостасом и лампадой, которую гасили только в те часы, когда шла погрузка пороха на судно. Иона набрал певчих из матросов, и службы, которые он теперь отправлял в открытом море, доставляли иеромонаху своеобразное удовлетворение: он чувствовал себя человеком нужным и деятельным, далеко не последним в этом подлунном мире.

Цинга еще не трогала тучное тело иеромонаха, приберегая его, как мрачно шутил он сам, напоследок. Иона почти не спал, его и ночью поднимали с койки. Оступаясь на крутых трапах, ударяясь о выступы корабельных построек, он тащился по кренившейся палубе в лазарет к умирающим.

Иногда Ионе удавалось на короткое время уснуть, и он часто видел во сне, как матросы зашивают в брезент человека, похожего на него, только с огненно-рыжей косматой головой. Голова просвечивала даже через толстый брезент, обжигая руки матросов; матросы злились, туже прикручивали к ногам человека двухпудовую балластину и бросали его в кипящую пучину. И в тот же миг, проваливаясь куда-то, Иона постигал, что в брезенте находятся его бранные останки, а огненная голова - указание на то, что ждет Иону в ином мире за многочисленные прегрешения, в которых он за недосугом никогда не исповедовался. Громкий храп Вильчковского за переборкой, возвращавший в прежние времена Иону в прозаический, реальный мир, теперь редко был слышен. Фрегатского лекаря терзал ревматизм. Он тихо стонал в своей клетушке или, когда болезнь отпускала немного, уходил в лазарет.

Природный здравый смысл помогал Ионе постичь всю тщету своих усилий. Он не мог облегчить людские страдания и находил некоторое удовлетворение в том, что и наука, воплощенная в атеисте Вильчковском, бессильна помочь умирающим людям. Матросские лица в полумраке больничной каюты давно слились для Ионы в одно простое, мужицкое лицо, с разлитой на нем смертельной бледностью. Где-то он уже видел это лицо! Не то в бедной деревенской избе, освещенной дымной лучиной, не то в холерном бараке, по которому некогда носился худощавый подросток, фельдшерский ученик Иона. А может быть, и на погосте за нищими нивами?

Тихий океан уже принял двенадцать матросских тел. Больше тридцати матросов и офицеров находились в тяжелом состоянии, их жизнь зависела более от случайных обстоятельств, чем от усилий Виталия Вильчковского. Но и из тех, кто еще держался на ногах, у ста сорока двух человек появились признаки цинги. "Аврора" превратилась в госпитальное судно, но без тех преимуществ, что имеются на специально оборудованных кораблях. Жилая

палуба была занята больными, и по всему фрегату распространился запах хлора, уксуса и жженого кофе, которым окуривались помещения.

"Аврора" уже больше месяца в океане. Сначала Изыльметьеву казалось, что погоня неизбежна. Но шли часы, дни, а марсовые не видели чужих кораблей. После нескольких дней переменных ветров задул попутный пассат, и "Аврора" под всеми парусами устремилась на северо-запад. Затем ветер, не меняя направления, усилился, и вскоре фрегат попал в полосу штормов; пришлось зарифить половину парусов и испытывать все неудобства бурной промозглой погоды.

Изыльметьев отступил от рекомендованных лоциями океанских путей, он сошел с широкой водной дороги в опасные просторы океана. На специально собранном военном совете капитан объяснил офицерам необходимость этой рискованной меры. Только так можно было избежать встречи с военными судами Англии и Франции, плававшими в водах Тихого океана небольшими эскадрами.

Теперь океан мстил русскому капитану за дерзость. За все время плавания только несколько сносных дней было у Сандвичевых островов, словно для того и выпавших на долю экипажа, чтобы последующие бедствия ощущались с еще большей силой. Опасный, но попутный пассат сменился свежими противными ветрами и штормами, игравшими фрегатом как скорлупой. Вокруг "Авроры" ходили серые упругие валы, остервенело била в скулы корабля океанская волна, и сильный ветер заставлял фрегат черпать бортами. "Аврору" раскачало еще в первые недели плавания, а теперь, после многодневных толчков, в палубах открылись пазы, и ледяная вода стала проникать в жилую палубу.

В несколько дней на фрегате все стало сырым, влажным, и распространившийся гнилостный дух не могли уже пересилить ни запах жженого кофе, ни хлор, ни перуанский бальзам. Матросы, продрогнув на шестичасовой вахте, спускались вниз и не находили в жилой палубе ни сухого угла, ни теплой постели. Повсюду потоки воды. Везде свинцовая сырость. Только изможденный, обессиленный человек мог уснуть в мокрой постели. Ни на минуту не умолкал скрип и треск старого фрегата. Ватервейс отошел на два дюйма от борта. Тросы лопались десятками, садились бимсы*, выдавливая из своих мест каютные переборки. Через разошедшиеся пазы батарейной палубы вода проникала в кают-компанию.

* Поперечные брусья между бортами, на которые настилались палубы. Изыльметьев шел по палубе, тяжело передвигая ноги. Он направлялся к

Вильчковскому: тот уже сутки не поднимался с постели.

Пробило семь склянок. Половина восьмого, но наступление утра почти не заметно. На шканцах двигались серые фигуры, держась за леера*, протянутые над палубой.

* Туго натянутые веревки; служили на парусных судах для разнообразных целей, в том числе и для безопасности движения по палубе во время шторма. Иван Николаевич чувствовал, что цинга подобралась и к нему. Не помогли железное здоровье и сравнительно сносная пища. Тревога за судьбу экипажа, физическое напряжение последних недель пробили брешь, в которую и ворвалась болезнь. Окружающие еще не замечали этого, но он ясно ощущал, как болезнь чугуной тяжестью расползается по членам. Чувствовалась непривычная усталость, сонливость. Он исхудал, кожа рук стала сухой, приобрела землистую окраску и начала шелушиться. Сегодня утром, посмотрев в ручное зеркало, подаренное женой, он увидел два больших темных кольца вокруг глаз и непривычно заострившиеся черты лица.

Он недолго продержится на ногах.

В последние дни Изыльметьев уже не думал о столкновении с неприятельскими судами. За весь переход "Аврора" однажды, двенадцатого мая, встретила с английским военным кораблем. Неожиданно в легком тумане показался двадцатишестипушечный корвет "Тринкомали". Он приблизился к "Авроре", но никаких военных приготовлений не сделал. Суда сошлись на расстоянии четырех-пяти кабельтовых. На "Авроре" все было готово к бою. Но корвет лег на норд и с попутным ветром быстро скрылся за горизонтом. Он не приветствовал "Аврору", не обменялся с нею сигналами, а, как разведчик, неожиданно встретившийся с неприятелем, на мгновение замер и бросился наутек.

Встреча с английской эскадрой не пугала Изыльметьева. Может быть, столкновение с неприятелем, абордажная схватка вдохнет в людей энергию, которая всегда сопутствует подвигу? Лучше погибнуть, схватившись с врагом, взлететь вместе с ним на воздух, чем превратиться в безмолвный плавучий гроб. Изыльметьев не искал встречи с англичанами, но, вспоминая Кальяо, адмиральские фрегаты на рейде, он думал о сражении как о мужественном и счастливом исходе.

Чаще всего он размышлял о другом.

Плавая в Тихом океане впервые, он отказался от путей, указанных в лоциях. Не подверг ли он экипаж чрезмерной опасности? Лоции составляются на основании многолетних наблюдений над метеорологическими условиями,

рекомендованные трассы по возможности обходят районы штормов и опасных ветров.

Весна и начало лета в северной части Тихого океана, на подступах к Сахалину и Камчатке, отличаются густыми туманами и бурями. В последние дни дует в лоб настойчивый северо-западный ветер, мешая "Авроре" хоть немного приблизиться к цели - Татарскому проливу и бухте Де-Кастри.

Изыльметьев назначил военный совет на девять утра и сейчас торопился к больному Вильчковскому, - капитан хотел повидать его еще до завтрака.

У люка он заметил Александра МаксUTOва. Лейтенант намеревался пройти мимо, словно не видя капитана. Изыльметьев резко окликнул его:

- Лейтенант МаксUTOв!

- Простите, не заметил! - ответил тот.

По бесстрастному тону и злому прищур у глаз Изыльметьев почувствовал, что МаксUTOв лжет. Изыльметьев подозревал, что офицеры, с самого начала не одобрявшие принятый им маршрут, теперь осуждают его. Сумрачнее стал его первый помощник капитан-лейтенант Тироль; он поддержал предложение командира без веры, из одного служебного долга. Настороженный взгляд, брошенный на офицеров в кают-компании, показал капитану, как переменялось их настроение. Некоторые офицеры все реже попадались ему на глаза. МаксUTOв первый разрешил себе такую непростительную вольность. Лейтенант лгал, не умея скрыть ложь притворной растерянностью.

- Будьте внимательны, лейтенант, - строго сказал Изыльметьев. Палуба не Невский проспект.

- Слушаюсь, - отчеканил МаксUTOв, - понимаю.

- Извольте держать себя в руках и не страшиться невзгод. Тогда и служба не станет вам в тягость.

- Я полагаю... - начал было МаксUTOв.

- Научитесь внимательно слушать своего командира, - не дал ему договорить капитан и спросил: - Куда вы направляетесь?

- На урок. Сегодня читаю гардемаринам корабельную архитектуру.

- После урока отправитесь к капитан-лейтенанту Тиролю и передадите ему мое приказание: включить вас в список вахтенных офицеров. Нынче слегли еще два офицера.

- Слушаюсь! - повторил МаксUTOв глухим от бешенства голосом.

До сих пор он, занятый уроками с гардемаринами, освобождался от трудной вахтенной службы.

Преодолевая боль в суставах, Изыльметьев спустился по влажному трапу.

Вильчковского он нашел в кресле, с вытянутыми ногами, положенными на

сиденье низкого стула. Доктор сделал усилие, чтобы приподняться, но тяжело повалился в кресло.

- Сидите, ради бога, сидите! - Изыльметьев подошел к нему. - Или лежите. Право, не знаю, как вернее сказать...

Боль за эти недели измучила доктора и оставила заметные следы на его выразительном лице. Он постарел и осунулся.

- Не могу лежать, Иван Николаевич, - пожаловался он, устраиваясь поудобнее. - Невероятный абсурд! Мне бы лежать неподвижно, аки младенцу, а не могу. Все скользко, мокро, мерзопакостно. Здесь хоть под утро удалось вздремнуть, а в постели за ночь глаз не сомкнул.

Изыльметьев опустился на неубранную койку доктора. Минувшие сутки были очень тяжелыми, капитану и на минуту не пришлось прилечь. Теперь захотелось упасть навзничь и растянуться на постели. Сами собой закрылись глаза, грузное тело подалось назад, но капитан успел упереться руками во влажное ворсистое одеяло, постеленное на койке, и удержаться в неестественной позе.

Доктор с опаской посмотрел на капитана. Два дня тому назад Вильчковский заметил, что Изыльметьев болен. Не вышла ли болезнь наружу?

Что это? Пятно на переносице, соединяющее два темных круга у глаз... Неужели кожная язва? Вильчковский подался вперед! Нет! Только тяжелая складка на переносице, тень от нее...

Все это длилось секунду. Изыльметьев поднял воспаленные веки и перехватил пристальный взгляд доктора.

- Что? Нехорош? - он виновато улыбнулся.

- Напротив. Удивляюсь вашему стоическому характеру.

- Привычка, не более того, - устало сказал капитан. - Стар конь, а оглобли упасть не дают.

- Трудно? - участливо спросил доктор.

Изыльметьев кивнул.

- Что сегодня? - доктору не хотелось уточнять вопрос: "Сколько умерло, сколько новых больных?"

- Плохо. Ночью умерли трое. Квашинцев, Ярцев, Селиванов. Из первой вахты. Восемь человек слегли. Мне бы на ногах удержаться...

Вильчковский ответил уверенно:

- Вы кремень, Иван Николаевич. Вас ничем не прошибешь.

- Вы думаете?

- Уверен. Но спать хоть изредка, а надобно. Сон - великий исцелитель.

- Не спится.

Доктор знает, что капитан спит мало, проводит долгие часы у коек больных матросов, а говорит, что не спится, просто не спится...

Слышно, как океан могучими кулаками тузит деревянные борты, как скрипят тали и мачты. По переборке торопливо сбегает капли, словно боятся, что кто-то заметит их и преградит дорогу.

- Иван Николаевич, - умоляет Вильчковский, - вы бы приказали приносить мне больных на осмотр. Не могу я так... Лучше свяжите - и за борт.

- Ну что вы! Завтра встанете на ноги. Изменить вы все равно ничего не можете.

В тоне Изыльметьева нет упрека. Но доктору кажется, что он в чем-то виноват. Может быть, теперь, когда на "Авроре" умирают матросы, а Вильчковский не в силах им помочь, где-нибудь в провинциальной лечебнице земский лекарь открыл простое и верное средство против цинги. Вильчковский верил в безграничное могущество человеческого разума.

- Который теперь час в Петербурге?

- Вечер, - сказал после паузы Изыльметьев. - В Петербурге еще восьмое июня.

- Сейчас загораются газовые фонари, люди торопятся в театры, к теплым очагам... - Доктор помолчал немного и затем заговорил с большой страстью: - Нас не могут ни в чем упрекнуть, Иван Николаевич. Всё, решительно всё против нас, и всему есть граница...

Вильчковский опять попытался подняться и уже спустил было ноги на пол, но капитан остановил его.

- Хорошо, я буду сидеть смирно. Но и молчать не могу. - Он запустил припухшие пальцы за шейный платок, будто платок душил его. - Невозможно молчать, видя, что люди гибнут из-за тупости, из-за равнодушия казнокрадов и подлецов! Трудно ли было заменить старые деревянные бочки для пресной воды металлическими цистернами? Суший пустяк! Однако ж это не сделано или сделано лишь по отчету. Кто-то сунул в карман деньги, назначенные на цистерну, и, не терзаясь совестью, ходит к обедне. А матросы пьют гнилую воду и умирают, чтобы превратиться в бездушную цифирь и украсить собой новый отчет. Доколе же такой порядок будет считаться естественным?

Изыльметьев молчал. В дверь соседней каюты постучали, и чей-то бас позвал "батю" к умирающему матросу.

- Еще один! - вздохнул доктор. - Миллионы рублей уходят на пустяки, на дребедень. Побрякушкам, мертвому артикулу, пуговицам отдаем все силы, все деньги, подаренные нам трудом крепостного, а до существенности никому нет дела. Знаете ли вы, Иван Николаевич, что в сорок девятом году, всего

пять лет тому назад, около ста тысяч человек умерло в России от цинги?! Сто тысяч мертвецов, обвиняющих нас, просвещенных людей отчизны, в преступном равнодушии, в бездеятельности! А что мы можем? Ничего. Мы слуги слуг, лакеи на запятках у департаментских лицемеров, у российских тартюфов...

- Мы слуги отечества, доктор. А отечество - народ, прежде всего народ.

Доктор посмотрел на Изыльметьева долгим, изучающим взглядом.

- Народу мало того, что мы сознали эту истину. Мы обязаны помочь ему, помочь... - Он застонал громко, словно находился в каюте один, и, понизив голос, сказал: - Вы меня знаете коротко, Иван Николаевич. Я не бунтовщик, никогда не был замечен. Но говорю вам - республики жажду, всей силой души своей жажду!

Изыльметьев ответил не сразу. Помолчав, он сказал доверительно:

- Напрасно вы думаете, что не замечены. Напрасно. Еще в Англии, когда "Аврора" находилась в Портсмуте, мне стало известно о вашем визите к господину Герцену...

Доктор опешил было, потом выпрямился в кресле и, не сводя напряженного взгляда с Изыльметьева, проговорил:

- Пустое! Об этом и думать-то нечего. Меня попросили свезти Герцену пакет, я и свез, не более того...

Что-то пробежало между капитаном и Вильчковским, какая-то неясная тень, а с нею и знобкий холодок отчуждения. Изыльметьева неприятно кольнула скрытность доктора.

- Не знаю, не знаю, - хмуро заметил капитан, - да и знать не хочу. Довольно и того, что я так долго молчал об этом. - Капитан прислушался, не слышно ли чьих-либо шагов, и, погрозив доктору пальцем, продолжал более мягко: - За вами следила английская полиция, а помощник нашего консула донес мне.

- Уверяю вас... - начал было доктор, но капитан прервал его с той непреклонной решительностью, которой на "Авроре" никто не умел противиться.

- Оставим это, - Изыльметьев поднял согнутую в локте руку. - Я предупредил вас из чувства искренней привязанности.

Вильчковский благодарно стиснул руку капитана. Она пылала. Доктор особенно ясно ощутил жар своими мертвенно-холодными пальцами и с горечью подумал, что через день-другой болезнь свалит и этого сильного человека.

- У нас есть свой долг, - продолжал Изыльметьев убежденно, - свои обязанности перед родиной. Долг тяжелый, доктор, но и неременный. Жизнь

помогает нам, она сама начертала круг наших обязанностей. "Аврора", ее судьба - вот наша забота, наше отечество сегодня. Я благодарен судьбе за эту ясность, ее лишены очень многие. Но все ли мы сделали для экипажа?..

Вильчковскому почудился скрытый намек в словах капитана, и он с отвращением подумал о своем бессилии.

- Мы сделали немало, - ответил Вильчковский глухо. - Запасли лимонов, свежего мяса, огородной зелени, медикаментов. Хлор, уксус, жженный кофе, даже перуанский бальзам, закупленный по вашему совету... У нижних чинов по двенадцать пар белья, шерстяные чулки, нагрудники, теплые рубашки. Если бы не эта проклятая сырость! Чем лучше и добротнее ткань, тем больше в ней влаги, тем омерзительнее она. Неужели нельзя создать на фрегате ни одного сухого уголка?! - с отчаянием в голосе воскликнул доктор.

- Нет! - Изыльметьев поднялся. - Об этом и думать нечего. Даже в камбузе сыро. - Он задумался, поглаживая по привычке усы. - Да-с, пришло время принимать радикальное решение. Скоро начнется военный совет, доктор. Я думаю идти в Петропавловск-на-Камчатке вместо назначенного нам Де-Кастри. Как вы полагаете?

Вильчковский мало знает об этом океане, словно в насмешку названном Тихим. Вспоминая обрывки слышанного, прочитанного, он приходил к заключению, что Камчатка едва ли не самая суровая земля из всех, принадлежащих России. Но и о Де-Кастри он не имел представления... В конце концов Адмиралтейство, направляя "Аврору" в Де-Кастри, а не в Петропавловск-на-Камчатке, вероятно, руководствовалось деловыми соображениями. К тому же доктор по выходе из Кальяо энергично поддерживал рискованный курс, избранный Изыльметьевым, азартно спорил со скептиками и теперь в глубине души сожалел об этом.

- Не знаю, Иван Николаевич, - ответил доктор, подумав. - Хоть убейте, голубчик, не знаю. Неведомы мне эти дьявольские места. Ноги моей больше здесь не будет.

Это было сказано с такой обидой и детским простодушием, что Изыльметьев, несмотря на серьезность положения, рассмеялся. II Почти все офицеры, собравшиеся на совет, смотрели на предложение капитана так же, как и доктор, и охотно сказали бы "не знаю", если бы обстоятельства службы не понуждали их высказаться более определенно. О Де-Кастри они знали мало. На всем фрегате не было моряка, хоть раз побывавшего там. Зато о Петропавловске они располагали куда более точными и благоприятными сведениями, чем доктор. Многие были не прочь взглянуть на Авачинский залив - хваленую естественную гавань, в которой, по уверениям моряков,

могли поместиться все флоты мира, военные и торговые.

Изыльметьев коротко сообщил о цели совета:

- Противные ветры мешают нам достичь залива Де-Кастри. Никто не может сказать, сколько они продлятся. Мы не знаем и того, что ждет нас в устье Амура, в новых, только что основанных поселениях. Найдем ли мы там сухие помещения, аптеку, медикаменты и необходимые запасы провианта? Экипаж "Авроры" истощен, силы убывают ежечасно. Ввиду исключительных обстоятельств я намерен идти вместо Де-Кастри в Петропавловск, которого мы сумеем благополучно достичь в течение двенадцати - пятнадцати дней. Прошу господ офицеров изложить свое мнение.

Капитан чувствовал себя теперь гораздо хуже, чем час назад в каюте Вильчковского. Веки его налились металлом, и только физическим усилием ему удавалось держать их поднятыми. Офицеры смотрели на него и не понимали, отчего глаза капитана раскрылись так широко и приобрели странное, удивленное выражение. Голос его звучал глухо, кольца вокруг глаз потемнели и придавали лицу злобный и изможденный вид. Капитан говорил отрывисто, сухо, чтобы не выдать своего состояния.

Первым поднялся капитан-лейтенант Тироль.

- "Аврора", - начал он холодно, уставясь в какую-то точку прямо перед собой, - приписана к эскадре вице-адмирала Путятина. Изменив назначенный нам пункт, мы не только нарушаем приказ, но и отрываемся от эскадры, ослабляя ее и в то же время делая наш фрегат беззащитным перед лицом во много раз превосходящего противника. Вправе ли мы так поступить?

Тироль выражался с обычной для него осмотрительностью, но мысль его работала лихорадочно. Кто знает, как повернутся события! Самовольное изменение курса - дело опасное. При неблагоприятных обстоятельствах командир и его помощник несут строгое наказание за самовольное изменение назначенного курса. Их могут исключить из службы или разжаловать в матросы с правом выслуги.

Нет, он не сделает опрометчивого шага. Пусть решает капитан.

- Мы не знаем, где находятся корабли вице-адмирала Путятина, - сказал капитан. - Достигли ли берегов Японии "Паллада" и "Диана"? Не знаем. Не знаем и того, удалось ли им соединиться и составить некое подобие эскадры, не на бумаге, разумеется. Я сомневаюсь в этом. Поэтому полагаю, что, изменив пункт назначения, мы не ослабим несуществующей эскадры. Кто поручится, что в Де-Кастри мы найдем эскадру вице-адмирала?

- Я думаю, - уклончиво ответил Тироль, - Адмиралтейств-совет предусмотрел это.

- Возможно ли предвидеть такое? - сухо бросил Изыльметьев. "Паллада" уже более двух лет в море. Она шла мимо мыса Доброй Надежды, "Аврора" - вдоль американского материка. Бури, штормы, сотни непредвиденных обстоятельств. Тысячи миль разделяют нас. Мог ли все это предусмотреть Адмиралтейств-совет?

Тироль молчал. Он мог бы, конечно, сказать, что предначертаниям начальства полагается следовать неукоснительно, не испытывая его терпения и не искушая судьбу, что моряку иногда следует отказаться от доводов логики, доверившись провидению, ибо самые неопровержимые доказательства бессильны перед внезапно открывшейся течью. Но Тироль уже сказал все, что хотел.

Изыльметьев окинул взглядом собравшихся. Их было меньше обычного. Два офицера лежали в лазарете. Отсутствовал вахтенный офицер Дмитрий Максutow. Все сидели сумрачные, хмурые, избегая взглядов капитана. "Аврору" раскачивало. В кают-компании то и дело темнело: огромные серо-зеленые валы закрывали стекла иллюминаторов. Изредка блеснет по стене струйка воды или ударится о пол крупная капля.

- Анкудинов! - обратился Изыльметьев к молодому офицеру, сидевшему ближе других.

Анкудинов неторопливо поднялся.

- Ваше предложение, господин капитан-лейтенант, - сказал он, представляется мне единственно правильным. Нужно спасти людей - это главное, о чем мы можем и должны сегодня думать. Ветер позволяет идти в Петропавловск, нам надо изменить курс и использовать всю парусность "Авроры". Другого выхода я не вижу.

Он сел и, встретившись взглядом с Тиродем, прищурил глаза, но не отвернулся.

- Лейтенант Максutow! - прозвучал в наступившей тишине голос Изыльметьева.

Поднимаясь со стула, Максutow подался вперед и оказался на том месте, куда методически падали с потолка тяжелые капли. Не успел он и слова сказать, как капля, ударившись о твердый эполет, обдала шею и ухо водяной пылью. "Как глупо!" - промелькнуло в голове лейтенанта.

- Я думаю, - начал он чужим, высоким голосом, - что бедствие, которое мы терпим ныне и которое принуждает нас прибегать к крайним мерам, является следствием другой нашей ошибки...

Р-р-раз! Капля разбилась так звучно, что на это, кажется, все должны были бы обратить внимание. Максutow незаметно уклонился в сторону. Поза

получилась неудобной, неестественной, и это злило его.

- Мы пренебрегли указаниями опыта, выводами мореходной науки, побуждаемые к тому боязнью встречи с английскими и французскими судами... Я не склонен считать эту опасность мнимой, однако ж она, как показала наша встреча с "Тринкомали", - Максutow звучно произнес название английского корвета, но в ту же секунду капля ударила его по лбу, в то место, откуда начинался безукоризненный пробор, - как показала эта встреча, опасность не столь велика, чтобы подвергать из-за этого экипаж таким испытаниям...

- Нельзя ли без воспоминаний, лейтенант! - попросил Изыльметьев.

- Можно...

Еще одна капля упала на лоб. Максutow почувствовал, как тонкая струйка потекла и остановилась перед тем; как залить бровь. "Кажется, у китайцев есть такая пытка, - мелькнула у него мысль, - капли, методически падающие на бритую голову преступника". Максutowу не хватало простоты и непринужденности, чтобы отступить в сторону; подобные натуры больше всего страшатся показаться смешными и неловкими.

- Теперь мы готовы совершить новую ошибку, последствия которой трудно предусмотреть. Если войне суждено быть, хотя я и мало надеюсь на то, что война затронет далекий тихоокеанский театр... - Еще удар, и струйка проложила себе путь вдоль брови к виску. - Если войне суждено быть, "Аврора" не может отсиживаться в Петропавловске. Фрегату назначено рандеву в Де-Кастри, и наш долг заключается в прямом исполнении приказа. Сегодня ветер благоприятствует движению к Петропавловску, а кто знает, что будет через несколько дней, когда мы уже продвинемся далеко на север?!

Вода текла по щеке Максutowа и ползла уже за ворот, но лейтенант не шевелился. Тироль с удовольствием думал о том, как убедительно и ясно излагает его собственные мысли этот умный, образованный офицер.

- Отступите в сторону, лейтенант, - сказал наконец Изыльметьев. - Вас заливают.

- Благодарю, - ответил Максutow и механически, как на смотре, шагнул вперед, к Изыльметьеву. - Я заканчиваю. В устье Амура отважные русские офицеры вершат великое дело. Там трудно, не спору. Но каковы бы ни были жертвы, я полагаю, что в Де-Кастри мы будем ближе к цели, чем в Петропавловске. "Аврора" - военный корабль, обязанный защищать честь нашего флага, неприкосновенность...

Лейтенанту не дали договорить. Открылась дверь, и в кают-компанию вошел Иона с раскрасневшимся лицом и всклокоченными волосами. За плотной

фигурой священника стояло двое матросов.

Иона склонил косматую голову.

- Покорнейше прошу прощения, - сказал он, погрохатывая на частых "о". - Долг пастыря велит мне нарушить ваше собрание. Иван Николаевич, матрос Климов умирает! Простите, что отважился побеспокоить... Проговорив это, он тяжело опустился на стоящий рядом стул.

Тироль оставался с виду равнодушным, но все в нем кипело. Будь он командиром фрегата, этот неопрятный, пропахший вином и табаком "батя" не посмел бы сунуться на военное совещание. "Неужто Изыльметьев отправится в лазарет?" - подумал Тироль, скользнув напряженным взглядом по бледному лицу капитана.

Марсовый Климов был любимцем не только экипажа, но и капитана "Авроры". После Портсмута, в Рио-де-Жанейро и Кальяо Изыльметьев охотно отпускал его на берег, словно подчеркивая свое доверие к матросу, которого кое-кто в душе все еще считал дезертиром. Цыганок возвращался на фрегат веселый, взбудораженный пребыванием на берегу и даже не замечал, как зеленеет от злости первый помощник, втайне уповавший на то, что кто-нибудь из "портсмутских дезертиров" сбежит наконец в одном из портов.

Изыльметьев недолго раздумывал. Поручив Тиролю вести совет, он вышел из кают-компания. У дверей вытянулись в струнку поджидавшие его матросы Семен Удалой и Афанасий Харламов. III Лазарет помещался вблизи носовой части, за фок-мачтой, Изыльметьеву нужно было пройти почти по всей верхней палубе. На шканцах порыв ветра едва не опрокинул его. Ноги отяжелели, стали чужими, чугунными, а коленные суставы горели так, словно они были перехвачены железными обручами, которые стискивались все туже и туже. Жар, сушивший горло и окружавший капитана зыбкими волнами горячего воздуха, сменился ознобом. Кожа лица стянулась, а нижняя челюсть запрыгала смешно и жалко. Изыльметьеву вдруг показалось, что повалил крупный серый снег. Снежинки завихрились в разных направлениях, закрыв грот-мачту и всю палубу. Изыльметьев покачнулся. Правая рука сама собой протянулась к спасительному лееру. "Только бы не упасть, - отдалось в мозгу Изыльметьева, - не свалиться бы здесь. Тогда конец..."

Он заставил себя остановиться и отдернуть руку. Капитан почувствовал, что и матросы остановились, выжидая. Зажмурил глаза. Опустив руку в карман, медленно вытащил трубку. Приоткрыл глаза. Пляшущая муть поредела. Он хорошо различал грот-мачту, тонкие струны талей и грот-штагов. Матросы за спиной капитана переглянулись.

А Изыльметьев уже шел вперед торопливым шагом. Озноб бил его с прежним

ожесточением, но на какое-то время наступила ясность - ясность сознания, слуха и зрения. Он только и желал того, чтобы сохранилась эта ясность, не отступила перед натиском предательски обволакивающих и притупляющих сознание приступов.

Грот-мачта осталась позади. На шкафуте немного тише. Тут лежат запасные стеньги, рей, надежно увязанные и покрытые матами. На рострах укреплены баркас и шлюпки, образуя укрытие от ветра. Капитан быстро преодолел несколько саженей, отделявших его от люка, и спустился по трапу. Здесь было самое теплое место на фрегате: рядом находился камбуз - большая чугунная печь с котлами для варки пищи и со специальной плитой для приготовления кушанья офицерам.

В смрадной духоте лежали десять матросов. Здесь смешались все запахи - человеческого пота, хлора, табака, в котором нельзя было отказать умирающим, острый запах черной горчицы, аромат перуанского бальзама, фрегатского камбуза и гнилостный запах старого, вымокшего в ста водах дерева.

У койки Климова стояли матросы и мичман Пастухов. Головы больных, кто был еще в состоянии двигаться, повернулись к умирающему.

Изыльметьев невольно вспомнил тот день, когда "Аврора" впервые пересекла экватор. Цыганок был душой импровизированного зрелища, устроенного на фрегате. Он, выкрашенный под бронзу, с крыльями за спиной, с луком и стрелами в руках, изображал купидона, неотлучно следовавшего за Нептуном и матушкой Амфитридой, одетой в платье из красного флагдука. С каким озорством и юмором произносил он: "Ваше блистательство!", обращаясь к Нептуну, которого изображал Удалой!

Теперь марсовый Климов умирал.

Приближалась агония. Матрос разметался на койке, сбросив одеяло, обнажив смуглое худое тело, едва прикрытое сползающим бельем. Ноги, заголенные до колен, были покрыты фиолетовыми пятнами, глубокими кожными язвами. Ноги и туловище словно принадлежали разным людям: толстые, опухшие голени, ступни и худая, ребристая грудь. Лицо Цыганка высохло, состарилось; рот провалился, смуглая кожа сморщилась. Глаза, хотя и измученные болезнью, сохранили интерес к жизни, какую-то особую пристальность, присущую Цыганку.

Капитан положил широкую ладонь на лоб матроса. Лоб горел, под пальцами Изыльметьева пульсировала горячая кровь и покорно лежали жесткие пряди. Никто не шелохнулся, не подал капитану стул, только за спиной Изыльметьева кто-то громко вздохнул.

- Спросить хочу... Все боязно было... А теперь могу - не осерчаете...

- Спрашивай, ничего не бойся, - ласково сказал Изыльметьев.

Матросы подались к койке Цыганка. Пастухов подвинул стул Изыльметьеву; это было очень кстати, так как от духоты на него опять наплывала пьянящая муть.

Цыганок медленно повернул голову и с трудом заговорил:

- Давно говорят... мужику воля назначена... Объявить должны царскую волю... про землю. С тем на службу шел, с тем и... - Миша сделал большую паузу, набираясь сил и решимости произнести это слово, - с тем и помираю... Будет воля, вашскородь?

Изыльметьев с волнением слушал затрудненную речь Цыганка. Звуки слагались в слова, слова - в обжигающие фразы. Сколько людей в эту минуту там, на родине, задают себе тот же мучительный вопрос!

Сколько раз задавал себе этот вопрос и сам Изыльметьев! Но и он, веровавший в торжество справедливости, просвещенный человек, - разве он мог ответить на этот вопрос, не солгав.

- Я думаю, не станут люди напрасно говорить, - уклончиво ответил Изыльметьев.

Цыганок отвернулся.

- В море глубины, а в людях правды не изведаеть...

- Ты еще поживешь, дружок, время покажет.

Изыльметьев почувствовал, что говорит не то, что слова Цыганка о людях, в которых "не изведать правды", относятся и к нему.

В лазарет заглянул вахтенный офицер Дмитрий Максutow и замер - он не думал увидеть здесь капитана.

Пастухов заботливо укрывал одеялом тело Цыганка. Будто кончился прием, доктор не сумел сказать ничего утешительного, и близкие, укрывая умирающее тело от его равнодушных глаз, хотят, чтобы он поскорей ушел.

- Будущее лучиной не осветишь, вашскородь... - прошептал Цыганок с такой смертной тоской, с такой безнадежностью, что у Изыльметьева кровь прилила к голове. - Все в руках господ... А господа - что голубые кони: редко удаются...

Вот когда Изыльметьев понял свою ошибку. Ведь Климов действительно умирал, не теша себя пустыми надеждами и не впадая в отчаяние. Он умирал мужественно, тихо и обыкновенно, не рисовался, не ублажал смерть притворной покорностью, не думал о посулах отца Ионы. Он уходил из жизни, храня в своем сердце заботу об остающихся. Ведь не о рае, не о страшном суде спрашивал у него Цыганок. Он жаждал воли, хотя сам уже не

нуждался в ней, мечтал о земле для других. Открытая и чистая душа!

- Будет воля! - промолвил Изыльметьев громко. - Скоро будет!

Снова тишина. Люди сдерживают дыхание. Если бы не глухое ворчание волн, ударяющих в борты, Изыльметьев, может быть, услышал бы, как бьются сердца матросов.

Цыганок пошевелил губами:

- Спасибо. - Слово угадывается лишь по движению его губ, звуков почти не слышно.

- Теперь уже скоро, - убежденно повторил Изыльметьев. - Война задержала, но ждать осталось недолго.

Изыльметьев тяжело поднялся. Он заметил, что слезы бегут по широкому, на удивление спокойному лицу Удалого. Отчего плачут матросы? Им жаль Цыганка? Но минуту назад они не плакали. Может быть, к их горю примешалась и радость? Радость за родню, за односельчан, оставшихся в России? Радость, самая бескорыстная и чистая в мире, ибо немногие из находящихся в этой каюте надеются дожить до воли. И горе и радость их человечны, а мысли тоже отданы человеку и его счастью. Пусть это безотчетное чувство, а не строгий вывод ума, тем дороже оно, от сердца идущее.

- Эх, Цыганок, Цыганок! - раздался слабый голос с соседней койки.

- Прощай, Миша! - проговорил капитан, склоняясь к Климову.

Он поцеловал холодеющий лоб матроса и, круто повернувшись, вышел из каюты.

Кают-компания встретила Изыльметьева молчанием. По лицам офицеров он заключил, что дело нисколько не двинулось вперед. Оттого что с Изыльметьевым пришел растерянный Пастухов, все поняли, что с Цыганком все кончено.

В памяти Изыльметьева возникло начало совета - такое далекое теперь, после посещения больничной каюты, - осторожность Тироля, заносчивость МаксUTOва, спокойная уверенность Евграфа Анкудинова. Вице-адмирал Путятин, Амур, Де-Кастри, приказы Адмиралтейства, обязательное рандеву... Изыльметьев тяжело оперся на стол, рукава мундира поднялись, обнажив запястья.

- Господа, я принял окончательное решение, - произнес он спокойно. "Аврора" возьмет курс на Камчатку. В десять, много пятнадцать дней мы достигнем Петропавловска, даже если часть пути придется идти в полветра. Нужно спасти экипаж и сохранить "Аврору" в числе действующих боевых единиц Российского флота. Я рассчитываю на самоотверженную службу всех,

кто способен еще стоять на ногах.

Александр Максutow взглянул на руки капитана, вцепившиеся в синее сукно, которым покрыт стол. На руках, повыше кисти, видны темные точки и полосы, уходящие под мундир.

"Цинга! - промелькнуло в голове Максutowа. - И тут цинга! Долго он не продержится..."

И впервые что-то схожее с сочувствием к этому большому, чужому для него человеку шевельнулось в сердце лейтенанта. IV Из Петропавловска-на-Камчатке.

От Марии Николаевны Лыткиной.

В Иркутск, в канцелярию генерал-губернатора,
в собственные руки есаула Мартынова. Любезный друг!

Я не тешу себя надеждой, что последнее мое письмо уже попало в Ваши руки. Прошел только месяц с тех пор, как транспорт увез почту в Россию, но когда еще он попадет туда, один господь знает. Нас разделяют горы, тайга, столь приятная Вашему сердцу, пенистые реки, доставившие нам много затруднений осенью прошлого года, по пути из Иркутска в Аян. Только небо над нами одно, - в ясный, солнечный день оно такое же синее, как и над милым Иркутском.

Стоит запрокинуть голову, прижмурить глаза, смотреть сквозь ресницы на теплое небо - и ты снова дома, на берегу Ангары, в кругу друзей...

Видите, как мало можно верить моим клятвам и обещаниям! В прошлом письме я зареклась вспоминать Иркутск... И что же? Проходит месяц, и я прилежно берусь за прежнее.

Последнее письмо я адресовала в канцелярию генерал-губернатора, в собственные Ваши руки. Верно ли я поступила? Положительно не знаю и не скоро услышу от Вас ответное слово. Да и не знаю, когда еще сумею отправить и это письмо. В Петропавловске теперь стоят португальский китобой и американский бриг. Говорят, они пойдут на юг, в страну сандалового дерева. Транспорт "Камчатка" привез муку, но когда он отправится и отправится ли в Аян или Ситху или в какие другие пункты Русской Америки* - неизвестно.

* Так назывались в ту пору Аляска и часть Тихоокеанского побережья Северной Америки, принадлежавшие России. Почты у нас так редки, что трудно и с мыслями собраться, вспоминая прошедшие недели. Буду писать, не дожидаясь почт, - пусть хранятся у меня исписанные листки до подходящего случая. Перед отправкой перечту их, над многим сама

посмеюсь, а иное событие, запечатленное на бумаге, шевельнет в душе добрые чувства или раздосадует: жизнь идет, люди трудятся, пребывая в нужде и заботах, а я по-прежнему праздна и отделена от людей! Я не забыла Ваш девиз: "Без действования нет жизни!" Святые слова! Но что поделать, если не нахожу ни силы, ни условий жить иначе!

Недавно у нас случилось событие, которое и Вашу черствую душу не оставит равнодушной. В ночь на девятнадцатое июня загрохотал гром, и резкие молнии осветили окрестности. Только при вспышке молнии постигла я до конца образ камчатского герба: три заостренных действующих вулкана среди серебряного поля. Небо и при вспышках оставалось темным, зловещим, но вулканы рисовались так же резко, как на изображении. Мне показалось, что грохот исходит от огнедышащих сопок. Но то была натуральная молния, и камчадал, которого отец обучает аптекарской премудрости, объяснил нам, что это духи, по-местному - гамулы, натопив свои жилища, выбрасывают, по туземному обычаю, пылающие головни.

Молнии продолжались всю ночь, а на рассвете в Авачинскую губу вошел фрегат "Аврора" в самом несчастном и бедственном состоянии.

Хотела бы я видеть Вас здесь, в порту, среди безмолвной толпы, провожавшей глазами нескончаемую вереницу носилок, протянувшуюся от фрегата к госпиталю и казармам. Ваше сердце сжалось бы от сострадания, но и наполнилось бы гордостью за людей, которые сумели вынести все это и не пасть духом.

Я не страшусь оскорбить Ваши чувства описаниями ужасов, ибо Вы же мне не раз внушали, что нет предмета более прекрасного, чем натура, какова бы она ни была. Физические страдания, боль, тяжкие недуги - от этого я не бегу, не пугаюсь их вида, приученная многолетними занятиями своего родителя. А все же, Алеша, слов не хватает, чтобы рассказать об ужасающем зрелище.

В несколько часов наш спокойный дом превратился в бедлам. Перегонный куб, сушильный шкаф, печи, тигли, пресс - все нехитрое наше хозяйство, долго стоявшее без дела, пришло в движение, зашипело, заскрипело, заработало. Были извлечены многолетние запасы; все, что издавна береглось, все, от лучших петербургских лекарств до черногрива и пьянишника, напоминающего обыкновенный вереск. Во всей этой кутерьме была и своя смешная подробность. Фрегатский лекарь преподнес моему родителю банку перуанского бальзама. То-то была радость! Отец среди забот вспоминал о бальзаме, весело потирал руки и твердил на разные лады: "Balsamum peruvianum! Peruivianum balsamum!"*

* "Бальзам перуанский! Перуанский бальзам!" Губернатор назначил комиссию, принимавшую больных с "Авроры", известный Вам по Иркутску скопидом Ленчевский, штаб-лекарь коллежский асессор Щуцкий, фрегатский доктор господин Вильчковский и прочие. А между тем смерть, унесшая в море немало жизней, не устала и наших приготовлений, не уступила своих жертв камчатским эскулапам. Ежедневно Петропавловск провожал мертвые тела на кладбище у Красного Яра.

Мы с Настенькой (моя новая подруга, я о ней еще напишу) попросились в госпиталь в помощники, но были подняты на смех. Ленчевский прочитал предлинную нотацию о "безнравственности и противуестественности" наших намерений. "Противуестественность"! Как смеет этот старикашка, натянутый и фальшивый, толковать о естественности?! Что может быть естественнее нашего желания облегчить страдания людям! Говорят, там и без нас достаточно рук. Но женские руки сделают все лучше, нежнее, заботливее самых заботливых мужских рук. Разве у нас нет сердца, приказывающего рукам, сердца, наполняющегося горем наравне с мужским, сострадательного и готового на самопожертвование! До какой поры будут улаживать нас романами Жорж Санд, обольщать надеждами, толками об эмансипации и наступать на подол всякий раз, когда сердце подсказывает какой-либо простой, но решительный шаг? Вот истинная безнравственность и противуестественность нашего века! Низко склоняю голову перед женщинами, ушедшими четверть века назад в Сибирь... Вы знаете, о ком я говорю. Они рядом с Вами. Неужели их подвиг свершен напрасно?!

Постепенно все входит в свою колею. У Красного Яра выросло много зеленых холмиков, а живые думают о живых, жизнь берет свое, и это хорошо, - память человеческая коротка, а раны душевные хоть и не так быстро залечиваются, как телесные, но все же быстрее, чем можно было бы предположить.

В городе появилось много молодых офицеров. Они образованны, умеют порассказать о Петербурге и заморских странах.

Наши присяжные игроки, кажется, нашли среди них не много достойных партнеров. Библиотека, привезенная на фрегате, хоть и невелика, а все же оживила круг местных любителей чтения. Набросились на свежие (для нас!) книжки "Москвитянина", "Библиотеки для чтения" и "Отечественных записок". Что за чудо Островский! Дважды перечитала "Не в свои сани не садись", а над "Бедной невестой" досыта облилась слезами.

Собираемся, как и прежде, в доме Завойко, под сенью парка, посаженного, быть может, еще Витусом Берингом. В числе приезжих офицеров совершенно

нет женатых (исключая командира и его первого помощника), а это обстоятельство вносит большое оживление в наши вечера. Милые бедные невесты всполошились и, кажется, напрасно. Кто знает, сколько времени пробудет здесь "Аврора", не заставят ли ее обстоятельства незамедлительно уйти в море. Сколько-то будет горестей, сердечной тоски и несбывшихся надежд! Только Ваша Машенька, верная и неизменная, хранит ледяное спокойствие, не причиняя, впрочем, этим никому ни боли, ни огорчения.

Офицеры усердно разучивают прелестную "восьмерку" - камчатский танец на манер кадрили, но и они привезли новость: польку-тремблант, отличающуюся особым изяществом и замысловатостью фигур. Некоторые из офицеров стараются научить наших отсталых этому танцу, что отчасти и увенчивается успехом.

Решили разыграть любительский спектакль, но пока ни к чему не пришли. Лейтенант Александр Максutow предложил французскую мелодраму - затея в камчатских условиях невыполнимая. Эту мысль отвергли, а Максutow обиделся.

Я предложила "Бедную невесту" - Настенька могла бы хорошо приготовить главную роль, - но эту пьесу знают столь немногие, что и она была отвергнута без обсуждения. Большинство склоняется к "Ревизору".

Военные приготовления идут своим чередом и составляют главный интерес нынешнего времени. Я предчувствую, что Вы улыбнетесь при этих словах, но кто знает, что суждено нашему дальнему порту, о котором в недостижимых столицах, кажется, ни у кого и мысль не шевельнется! Местные жители шьют палатки на тот случай, если придется покидать дома и жить на близлежащем хуторе или в поселке Авача. Камчадалы не ждут добра от англичан; многие из них работают над сооружением батарей, а в остающиеся часы помогают семьям запасать рыбу. Теперь для этой цели самая горячая пора, и от успешности летнего лова зависит благополучие и сама жизнь несчастных камчадалских семейств.

Женщины тоже приспособлены к возведению батарей: они отправляются за десять верст от порта, режут хворост и плетут из него высокие корзины, такие, как на лубочной картинке, изображающей осаду Туртукая, что висит в Вашем доме. Другие набивают землей мешки.

Моя праздность тяготит меня пуще прежнего. Два человека во всем Петропавловске понимают меня в этом - Настенька и Зарудный, хороший человек, в беседе с которым нахожу большой интерес. Пишите мне, друг мой, не оставляйте меня своим вниманием, не то другой, заботливый, вытеснит Вас из моей непрочной памяти. Страшитесь этого! Здесь, на краю света, и

перемениться недолго, - здесь даже ласточки другие, особенные, с красной, а не белой шейкой.

Настенька влюбилась в мичмана Пастухова. Он совсем еще молод, однако сквозь нежную форму глядит твердый алмаз мужественного характера.

В следующий раз я расскажу Вам о них, особенно о Настеньке, в которой души не чаю. Я еще не прощаюсь с Вами, - письму этому быть еще не раз продолжену, пока оно уплывет из Камчатки.

И все же навсегда Ваш верный друг Маша.

ТРЕВОГА

I

Утром 27 июня на гауптвахте ударили тревогу. Металлический звук разорвал тишину и покатился по склонам гор, поднимая к небу стаи чаек и топорков, дремавших в зарослях Култушного озера. Он разбудил город и родил массу звуков, непривычных для тихого Петропавловска.

У казарм заиграл горнист. С возвышения, на котором стояла церковь, тревожно потекли звуки колокола. Хлопали двери, скрипели калитки, слышался топот ног по каменистым тропам, раздавались встревоженные голоса. Эхо многократно повторяло этот шум, унося его далеко, к вершинам синеющих в утренней дымке вулканов.

По узким тропинкам спешили люди. Мелькали ситцевые платья, ветхие армяки, светлые рубахи из местного небеленого холста. На многих оленьи одежды, выделанные, по камчадальскому обычаю, под замшу и окрашенные ольховой корой. Старики камчадалы и поселенцы обуты в высокие меховые сапоги - торбаса - на толстой подошве из нерпичьей кожи. Мелькали пестрые шелковые платки, повязанные над самыми бровями.

Нижние чины сорок седьмого флотского экипажа шли от казарм строем, с развернутым знаменем. За ними следовали матросы с "Авроры". Их немного, так как значительная часть экипажа по болезни освобождена от несения службы. Служащие нестроевой роты - писаря с ленивыми, сонными лицами, мастеровые, цирюльники, фельдшеры, - вся эта разношерстная, не по форме одетая масса уже толкалась в порту, разглядывая подходивших аврорцев. Группами являлись чиновники казначейства, канцелярии Завойко, портового управления. Судебные чиновники, кондукторы и штурманские офицеры, подшкиперы и унтер-офицеры, баталеры и вахтеры растворились в потоке обывателей.

На плацу собралось более восьмисот человек. Люди стояли плотной массой, окружив невысокий бугор, разглядывая стол, принесенный из портового

управления, несколько стульев и флаг, трепетавший на высоком флагштоке. Пастухов, повернувшись спиной к причалам, обводил блуждающим взглядом селение и лесистые горы. Слева, над Сигнальной горой, с криком носились чайки. Они поднимались от воды к постройкам, к людям и, словно испугавшись чего-то, стремглав уносились в бухту, через седловину между Сигнальной и Никольской горой. "Николка" - так запросто называли здесь Никольскую гору - переливала всеми оттенками зеленого, от темного бархатистого до серебристо-голубых тонов полыни. Гору охватывал широкий пояс камчатской березы, - издали он представлялся узором из белого атласа и изумрудных шелков. Пастухов с детства любил березовый лес больше всякого другого. Любил его сыроватую свежесть, грибной запах, мягкие шорохи, возникающие от малейшего дуновения ветра. Он особенно обрадовался нежной камчатской березе после обильной, подавляющей тропической растительности и свинцово-серого однообразия океана. Пастухов почему-то не ждал найти здесь березу, а увидев причудливо изогнутые стволы, готов был гладить их узорчатую теплую поверхность.

Выше берез шел густой ольшаник с темными пятнами рябинового подлеска; еще выше - кедровый стланик и папоротники. В чистом небе рисовался гигантский конус Авачинского вулкана и ребристая вершина Корякской сопки, с пластами натающих снегов во впадинах.

Когда площадь заполнилась людьми, Пастухов стал искать Настеньку, но ее нигде не было видно. Настенька затерялась в толпе или осталась наверху, в доме Завойко. Взгляд Пастухова скользнул по шеренге матросов, по скучным физиономиям чиновников, по кучке американцев с торгового брига. Маша Лыткина заметила огорченный, ищущий взгляд Пастухова и улыбнулась мичману.

Пробежал, придерживая рукой саблю, полицмейстер Губарев. Расчищая дорогу начальству, он расталкивал на ходу зазевавшихся камчадалов и сердито покрикивал на сновавших по плацу баб.

Через плац быстро шел Завойко в сопровождении капитан-лейтенанта Тироля, правителя канцелярии и петропавловского священника Логинова, облаченного в блестящие ризы. Против обыкновения, Завойко не отвечал на приветствия чиновников и шел, глядя перед собой, сосредоточенный и хмурый. Худощавое тело его тесно облегал парадный мундир; левой рукой он придерживал саблю, которую надевал в исключительных случаях. Завойко легко взошел на бугор и остановился у флагштока.

Семен Удалой, крайний правофланговый, окинул фигуру Завойко критическим взглядом. Каким мелким выглядел бы этот человек рядом с

Изыльметьевым, словно высеченным из глыбы гранита! Экипаж "Авроры" с нетерпением ждал выздоровления Изыльметьева. Пока капитан в тяжелом состоянии лежал в лазарете, матросы ощутили на себе жесткую руку Тироля. Боцман Жильцов, притихший после Портсмута, оживился и принялся за прежнее, рассчитывая на сложившуюся с годами привычку матросов к покорности. Были заведены строгости, излишние в русском порту. Тироль хотел оградить аврорцев от общения с местным гарнизоном и жителями, полагая, что здесь каждый второй человек каторжник или по крайней мере потомок каторжника. Особенно доставалось Удалому и тем матросам, которые за время плавания не угодили чем-нибудь боцману.

Удалой спросил у стоявшего поодаль в толпе Никиты Кочнева:

- Это кто же такой будет?
- Губернатор, - ответил Никита. - Первый человек на Камчатке.
- Эх, чернильное море, бумажные берега! Мелковат. Не чета нашему...
- А ваш-то? - недоверчиво спросил Никита.
- Ого-го-го!
- Чай, до неба достал?
- Дура! - отрезал матрос.
- Задравши голову, не плюй: себе в глаза угодишь, - обиделся Никита и, видя, что Удалой, смерив его презрительным взглядом, не отвечает, спросил язвительно: - Ваш рядом суетится, что ли? - Никита имел в виду Тироля.
- Наш в госпитале лежит. Скорбут*. - Семен подмигнул Кочневу. Подходящей койки найти не могут.

* Цинга. - Длиннее тебя?

Матрос подумал и ответил с достоинством:

- С меня. В благородном сословии это редкость. Наша кость мужицкая, крупная.

Завойко поднял руку узкой ладонью к толпе. Затих говор, и только стоны беспокойных чаек неслись от безмолвного берега.

- Жители Петропавловска! - тихо начал Завойко. - Жители Камчатки, русские люди и иноплеменные друзья наши! Настал час трудного испытания...

Идя сюда, Завойко волновался. Он сам, может быть, впервые до конца понял неотвратимость того, в чем давно старался убедить своих подчиненных: неизбежность военных действий на Тихом океане. Завойко пристально оглядел людей, стоявших поблизости, - матросов, бородатых камчадалов, которых нелегко отличить от русских поморов, рыбаков, охотников, мастеровых. Они живут честной, суровой жизнью. Они знают много лишений,

бед, несчастий и тяжесть голодной жизни, но слово "война" далеко и чуждо им...

- Турецкий флот взорван и потоплен при Синопе, - продолжал Завойко. Армия султана разбита на Дунае. Неприятельские пушки, знамена, военные суда, взятые с боя, говорят о подвигах и храбрости русского войска. А ныне торговый бриг привез известие, что Англия и Франция соединились с врагами христиан. Война может разгореться и в этих местах, - Завойко внимательно вглядывался в сосредоточенные лица бородачей. - Я надеюсь, что все вы не будете оставаться праздными зрителями боя! - Он медленно обводил взором шеренги аврорцев, притихшую толпу, настороженные лица чиновников. Встретившись с горящими глазами Зарудного, сказал с особой силой: - Я пребываю в твердой решимости, как бы ни многочислен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно... Убежден, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!..

Судья, склонив голову и почти не шевеля губами, шепнул соседу, горному чиновнику:

- Вития...

Чиновник молча кивнул головой, хотя физиономия его выражала величайшее внимание.

Андронников был в подпитии. Он упорно цеплялся за плечо Зарудного и сопровождал речь Завойко ворчанием, в котором обрывки латинских и немецких фраз смешивались с русскими словами. Когда Завойко сделал паузу, Андронников произнес: "Finita"*, - так громко, что губернатор оглянулся.

* Конец. Василий Степанович предупредил, что в случае приближения неприятеля к порту женщинам и детям следует немедленно удалиться из города в безопасное место. Каждый должен заблаговременно позаботиться о своем семействе.

- Всякий, - сказал он, - кто желает получить от казны ружье и патроны, должен объявить о том в списке.

Капитан-лейтенант Тироль тяготился всей этой сценой. Лениво, поверх голов, смотрел он на спокойную гладь залива и думал о том, как много лишних хлопот создают себе люди.

Все было ему не по душе: далекий порт, куда он попал против собственной воли, примитивные люнеты, возводимые бог знает зачем, необходимость присутствовать на этом странном сборище, где перемешались военные со

штатскими, русские с камчадалами.

А военные с любопытством посматривали на столик и приготовленные листы бумаги. Служивые и без того уже занесены в списки. Штатские медлили. Зачем списки? Какая в них нужда? Не лучше ли повести людей к цейхгаузу и раздать ружья? У охотников - а их тут немало - были свои ружья, надежные, пристрелянные, поэтому и охотники стояли в нерешительности.

Над группой американцев, сосавших свои трубки, вился голубоватый дымок. Громко высморкался Магуд. Где-то в толпе раздался звонкий шлепок по голому телу и послышался детский крик.

Зарудный хотел было подойти к писарю, но что-то удержало его. Он бобыль, и не будет особенной доблести в том, что вызовется первым. Лишний раз только прослышет у злопамятных чиновников выскочкой, оригиналом.

Он отвернулся и увидел судью Василькова. Судья смеялся... Смеялись его глаза, хотя лицо оставалось невозмутимым.

Зарудный шагнул к столу, но увидел, что к писарю приближается старик. В рваных торбасах, в потемневших от времени и жира кожаных брюках и холщовой рубаше навыпуск, худой, беловолосый, он шел легким, пружинистым шагом.

У стола старик откашлялся и сказал злым фальцетом:

- Пиши, язви их, нехристей, в душу! Иван Екимов! Аккуратно пиши!

- Ты на ногах-то устоишь, дед? - спросил писарь.

Старик блеснул глазами из-под седых бровей.

- Прихворнул я мало-мало, люди добрые. Зиму-то на саране да на березовой коре отсидел... Спасибо их благородиям, - он поклонился чиновникам, - и купцам-радетелям спасибо: в постель уложили, а помереть не дали...

Сочувственный смешок покатился по толпе. Губарев метнулся было к старику, угрожающе размахивая кулаком, но Завойко остановил его резким окриком.

Старик посмотрел на полицмейстера серьезно и сумрачно.

- Отдохну я, ушицы поем, - глядь-ка, и не одного супостата положу.

Он протянул узловатые коричневые руки к толпе:

- Вот руки трясутся, а палить стану - не дрогнут. В глаз намечу - в глаз и возьму. Про меня всякий скажет.

Толпа одобрительно загудела. Старик повернулся к разинувшему рот писарю и, не дожидаясь, когда он впишет его имя, начертал крест в пол-листа писчей бумаги.

Зарудный прошел к столу. За ним ринулся растроганный Андронников. Потянулись чиновники, преимущественно молодые, озабоченные тем, чтобы

Завойко обратил на них внимание. Семен Удалой подзадоривающе толкнул в бок Никиту Кочнева, и тот стал пробираться сквозь толпу.

Сердце Харитины защемило от предчувствия беды, какого-то непоправимого несчастья. Пришла на память толпа голодных переселенцев, одичавших от болезней и преследований, безмолвие табора, пораженного холерой, черные трупы на тряских подводах.

Харитина смотрела на бурлящую толпу, но в отдельности людей не замечала. Не ответила она на улыбку Никиты Кочнева. Не заметила, как пристально смотрел на нее матрос первой статьи Семен Удалой. II Деревянная церквушка свернулась пестрым калачиком в кольце могучих тополей. Темно-красные стены, накрытые невысоким зеленым куполом, увенчанным лазоревой луковицей, не вмещали всех, кто пришел из порта к службе.

Логинов, мрачный священник с внешностью сектанта-изувера, говорил без подъема. Он уныло внушал пастве мысль о необходимости охранять церковное имущество и "в случае возжения одного от огнестрельных орудий стараться гасить при помощи народа, для чего иметь наготове бочки с налитой водой, лестницы и другие принадлежности". Говорил об этом долго, хотя в петропавловской церкви, богатой множеством углов и бревенчатых выступов, не было ни драгоценных манускриптов, ни дорогой ризницы, ни серебряных сосудов.

Пастухов нетерпеливо дожидался конца службы. Он давно заметил Настеньку, - она стояла рядом с Юлией Егоровной Завойко и детьми губернатора. Их тесно окружали офицеры "Авроры", портовое начальство и чиновники. Когда кончилась служба, Пастухова потоком вынесло из церкви, и он стал в сторонке, поджидая Настю.

Уже опустела церковь. Вот и последние прихожане прошли, жмурясь на яркий солнечный свет, а Настеньки все не было. Проскользнув в распахнутые двери, Пастухов снова окунулся в духоту церкви.

Девушка была здесь.

Она молча стояла лицом к клиросу, на котором поблескивала икона св. Юлии-мученицы, пожертвованная предшественником Завойко, капитаном первого ранга Машиным после смерти его жены Юлии.

Пастухов неслышно приблизился к Насте. Он увидел ее грустное, сосредоточенное лицо.

Девушка не замечала Пастухова. Волосы ее, светлые, золотистые, заплетены в две косы и кольцом уложены вокруг головы. У нее пухлые, словно разделенные на дольки губы. Глаза чисты и прозрачны, как вода родника, сквозь которую видна каждая песчинка, каждый стебелек, прижатый ко дну

течением.

Мичман почувствовал, что Настеньку нельзя сейчас тревожить, и стал ждать. Прямо перед ним висели образа Петра и Павла в легких серебряных ризах. Образ Петра темный, старинной работы. Наклоняясь, Пастухов не без труда разобрал вырезанную внизу оклада надпись: "Обложением украшен тщанием и по обещанию флота лейтенанта Дмитрия Овцына и всех служителей, спасшихся с пустого острова и достигших камчатского берега в 1742 году августа месяца". Вспомнился рассказ Завойко о Камчатке, об отважных русских людях, презиравших опасности и смерть. Этот образ - остаток второй экспедиции Беринга, безмолвный свидетель великих подвигов и суровой драмы. Все стало вдруг более весомым, значительным. От настоящего, полного неизвестности и предчувствий, потянулись живые нити в прошлое. Сумрак церкви, причудливый рисунок бревенчатых выступов, бедный иконостас и старопечатное евангелие, глядевшее на него крупной кириллицей, орнаментальными заставками и серебряными гранями наугольников, - все показалось Пастухову полным таинственного смысла и значения.

Настя неожиданно вздрогнула и оглянулась.

- Константин Георгиевич!

Выражение скорби стало исчезать с ее лица. Расправились складки на лбу, приветливо сморщился нос, и девушка улыбнулась.

- Вы были в церкви? - спросила она.

- Да. И все ждал, что вы обернетесь, заметите меня.

Настя виновато улыбнулась.

- Я думала о другом, - сказала она, сжав тонкие, всегда подвижные крылья ноздрей. - Сегодня ровно три года, как я схоронила родителей. Нынче Юлия Егоровна впервые оставила меня здесь одну.

Она говорила просто, без того притворства, на которое охочи люди, знающие, что на них смотрят жалостливыми глазами.

- Я слышал об их смерти, - Пастухов вкладывал в каждое слово большую силу сочувствия. - Это ужасно...

- Да, они отравились, - горестно повторила девушка. - После голодной зимы отравились рыбой. Могли жить, а умерли!..

Они молча пошли к выходу, навстречу солнечной пряже, растянутой над землей. Настенька шла немного впереди.

- Верите ли вы в судьбу, Настенька? - спросил вдруг Пастухов и, не дожидаясь ее ответа, сказал: - Я верю! Верю, что на земле всегда есть кто-то предназначенный тебе, только тебе, и счастье зависит от того, встретишься

ли ты с ним, сойдешься ли коротко. - Говоря, он поглядывал сбоку на пылающую, пронизанную солнцем мочку Настенькиного уха, на крохотные кольца шелковистых волос на ее затылке. - И какое счастье найти его, почувствовать, что ты для него именно и жил, был скуп сердцем, одинок...

Они шли уже по широкой аллее, по обе стороны которой высились тополя и шелестела широкими стеблями трава. Настенька остановилась и посмотрела на Пастухова доверчиво. Но он запнулся, неожиданно заметив тощую фигуру Тироля, с холодным любопытством разглядывавшего архитектуру церкви. Пастухов вспомнил вдруг Изыльметьева и смутился под взглядом Насти. А тут еще Тироль! И мичман, дернув куцый козырек фуражки, продолжал без всякой связи с предыдущим:

- Наш капитан, Иван Николаевич Изыльметьев, замечательный человек. Да... Я уверен, что вы полюбите его... Я не знаю близко ни Ивана Николаевича, ни его семью, но верю, что он способен любить только раз в жизни. Конечно, разлука, долгая разлука - это нелегко... Но нужно быть мужественным, научиться переносить лишения и даже большое горе...

Зачем он говорит ей о мужестве? Сиротство Насти, зоклучения "Авроры", капитан, которого он посетил утром в лазарете, конфузясь под его внимательным, но тяжелым из-за болезни взглядом, - все это представлялось мичману связанным каким-то внутренним единством, может быть потому, что все это близко коснулось его памятливого и отзывчивого сердца. И ему захотелось сказать Насте слова еще более теплые, ласковые, взять ее руку и смотреть сквозь прозрачную розовую ладонь на солнце. А Настя слушала Пастухова и чувствовала нечто более значительное, душевное, спрятанное за словами.

- У вас на "Авроре" все такие... хорошие?

Пастухов уже справился с минутной растерянностью и заговорил рассудительно:

- У нас еще довольно бессмысленной жестокости и равнодушия. С людьми нужно пожить, чтобы узнать и судить о них верно. - Он уловил не то смущение, не то испуг в глазах девушки. - Но много есть прекрасных людей и не только среди образованного круга. Есть матросы, которых я полюбил за время похода как братьев. Как они переносили лишения, Настенька, как умирали!..

Вспомнился лазарет, темное, иссохшее тело Цыганка, шепчущего: "Будущее лучиной не осветишь..."

- Вы не были за Уралом, Настенька?

- Нет. Даже в Сибири не была. Я даже вон за теми горелыми сопками, она

показала на сверкающие в снежной оправе громады, - никогда не была...

- У вас все впереди, - убежденно воскликнул Пастухов. - Вы еще все увидите, все!

Пастухов говорил так решительно, будто от него одного зависело все, что ждало Настю впереди.

- Здесь многие не бывали в России. Живут и умирают на Камчатке.

- А вы побываете, - упорствовал Пастухов. - Мне даже странно, что у вас говорят о России как о другой, заморской земле. А разве Камчатка не Россия?

- Тут что! Камчатка... - снисходительно рассмеялась Настенька. - А Россия - это Москва, Санкт-Петербург!

Пастухов и Настя шли наклонной тропой в сторону залива, мимо покосившихся изгородей, серых калиток и низких крыш, напоминавших соломенные стрехи украинских хат. Пастухов вдыхал всей грудью пьянящий воздух долины, видел светлый узор берез на склонах гор, чувствовал рядом Настеньку и с необыкновенной ясностью ощущал себя именно в России, на русской земле, распростертой от хмурой Балтики до Тихого океана.

- Камчатка, - пошутил Пастухов, - это имя вашей земли, а отчество ее - Россия. Верно? Здесь все родное, близкое. Когда "Аврора" вошла в эту бухту, у меня сердце колотилось так, как бывает только при возвращении на родину. Славные березки, хорошие, близкие люди, птицы поют, как только и могут петь у нас, и дышится легко, как дома. Уж я знаю, - важно сказал мичман, - бывал и в Америке и на Сандвичевых островах...

Вскоре они расстались. Пастухов неловким движением взял ее руку, наклонился и поцеловал. Вырвав руку, Настя сбежала с пригорка, обернулась и приветливо помахала ему платком. III Зарудный поеживался от прохлады. Летние рассветы на Камчатке бывают холодны, вся земля покрывается студеной росой, горы и долины затягиваются туманным пологом, туман сползает медленно по горным кряжам, рвется, виснет клочьями на деревьях и долго хоронится в кустарнике. В конце августа на землю падают первые заморозки. Анатолий Иванович ехал на низкорослой якутской лошадке. Косматая челка почти закрывала ей глаза, тяжелая грива и длинный хвост придавали дикий, первобытный вид. Позади Зарудного трясся на таком же коне Андронников, сердито посапывая и извергая время от времени замысловатые ругательства. Лошади - редкость на Камчатке. Летом путешествовали обычно пешком или в лодках по реке Камчатке и ее узким притокам.

В сумке титулярного советника лежали копии воззвания Завойко к населению полуострова, переписанные ровной писарской строкой.

Всадники надолго скрывались в высоких зарослях сладкой травы и тяжелого

шеламайника, только покачивание стеблей и громкое ворчание землемера выдавало присутствие людей. Из зарослей они выезжали на луга, на пестрые, окропленные росой поляны. Крупные ирисы, восковые лютики, герань покрывали землю сплошным цветастым ковром. Только что пробудившись от сна, они покачивались под тяжестью наполнявших их хрустальных капель.

Переезжали ручьи, горячие источники, над которыми клубился пар и сливался с подвижным утренним туманом. Андронников ожесточенно теребил густую с проседью бороду и ругал торопившегося Зарудного. Особенно ярился он, когда на лицо падали холодные капли с потревоженного кустарника и стекали за воротник.

- Черт меня дернул отправиться в такую рань! - ворчал землемер. Нас, батенька мой, наружным теперь не отогреешь. Мне змия огненного подавай, не то и вовсе отсырею...

Но вот первые лучи солнца пронизали туман и вспыхнули на сочной листве.

- Наконец-то! Соизволили пробудиться, ваша светлость! - пробасил Андронников, приветствуя рукою солнце. - А я-то уж думаю: чего нынче вы нам своей довольной рожи не кажете?! Неужто и небесные светила от нас отвернулись? Как насчет горячительного, Анатолий Иванович? - крикнул он в сгорбленную спину Зарудного, на которой лежал штуцер.

- Обойдетесь мухомором, Иван Архипович! Вы, кажется, большой знаток по этой части? - ответил Зарудный, не оборачиваясь.

- Мухомором? - Андронников выпрямился в седле. - Нет, пардон, батенька! Мне целовальника-плута подавай, не то таких чудес натворю, что не сдобровать ни вам, ни вашему скареду губернатору. - Он грозно надул щеки, сгреб в кулак бороду и сказал, скрывая шутку за грозностью тона: Англичанин вас пушкой возьмет, а я лес зажгу - все лето полыхать будет...

В землемере еще играл вчерашний хмель. Он долго чертыхался, морща крохотный нос. Но Зарудный, отдавшись своим мыслям, не отвечал.

- Молчите, голубчик? - наседал землемер. - Мрачны, как демон ночи. Неужто некая прекрасная незнакомка, этакая простоволосая Хлоя, прогнала вас?

- Вы не ошиблись, я отвергнут, - ответил Зарудный шутливо, в тон.

- Несчастный! - воскликнул Андронников. - Зачем же понадобился вам я?

- Якуты говорят: путешествие любит спутников.

- Ишь ты, якуты, а изрекают что Вольтер!

- А еще они говорят, - усмехнулся Зарудный, - молчаливый всегда слывет умным.

Андронников разразился темпераментной проповедью о варварских народах, которые человечество на собственный позор и несчастье хочет извлечь из

"пещер и дебрей" в цивилизованный, просвещенный мир; о том, что наступит час, когда "систематический англичанин" и "пивообильный пруссак", убоившись за свои очаги и соблазнив на ратные подвиги "забывчивого француза", положат предел всяческому вольнодумству; наконец, о том, что в этом предприятии означенные народы встретят полную поддержку всемилостивейшего самодержца, поелику он "не то чтобы совсем русский, однако ж и не полный немец".

Подобную речь Андронников не решился бы произнести ни в чьем другом обществе.

Анатолий Иванович слушал землемера, но перед его глазами все время стояла Маша Лыткина. Нет, Маша не отдаляла его от себя. Она по-прежнему радостно встречала его на вечерах у Завойко, в порту или на заросших травами улицах Петропавловска. С прежней жадностью она слушала его рассказы о Камчатке, о жизни охотников, о любопытных повадках морских животных. В синих глазах Маши можно было прочесть то же чувство благодарности и восхищения, которыми они загорелись в тот памятный вечер, когда Зарудный рассказал ей о счастливой примете, связанной с маленькой серой птичкой.

В Зарудном Маша нашла друга и единомышленника. Он понимал ее тоску по осмысленной, деятельной жизни, находил такую жизнь единственно нормальной и естественной. Зарудный рассказывал ей о жизни в Сибири, об учителе, находил для нее в своей библиотеке разрозненные номера журналов, - покажи он их ей несколько лет назад, Маша нашла бы их скучными, а теперь они заставляли ее, несмотря на протесты матери, просиживать ночи напролет у коптящей плошки. Ни отец, ни мать не замечали, как Маша, взрослея, начинала терзаться вопросами, до которых совсем недавно ей не было никакого дела.

С приходом "Авроры" Зарудному показалось, что Маша относится к нему сдержаннее, скупится на встречи и наивные, простодушные восторги. Зарудный не понимал еще, что это была ревность, - он не разрешал себе и думать о любви к Маше. А между тем именно ревность, глухая, встающая с самого дна сердца, но еще не вполне осознанная, тревожила Зарудного. Он мрачнел, становился молчаливее, нелюдимее, отталкивая от себя Машу и усугубляя тем самым собственные подозрения.

Он не подумал о том, что с появлением "Авроры" в жизнь Маши вошло что-то новое, значительное, на время поглотившее ее. Она проводила долгие часы с отцом, наблюдая непривычную суету и беспорядок, слушая рассказы его коллег и фрегатских офицеров. Вечерами, при свече или плошке,

заправленной тюленьим жиром, читала книги, добытые отцом из фрегатской библиотеки. На вечерах внимание Маши отвлекали молодые офицеры, много повидавшие за время плавания.

В центре кружка молодежи всегда оказывался Дмитрий Максutow в мундире нараспашку. Он пел много, охотно, по первой просьбе и без всяких просьб. Вскоре все забыли о бирюке Зарудном, о его гитаре, покрывавшейся пылью в избе у Култушного озера. Только Юлия Егоровна изредка, улучив минуту, говорила ему: "Спели бы и вы, Анатолий Иванович, давно мы вас не слыхали". Но Зарудный еще больше дичился и забирался в какой-нибудь укромный уголок гостиной. Оттуда он наблюдал за танцующей Машей - а с ней чаще других танцевал Александр Максutow - и за общим весельем.

Накануне отъезда у Маши произошла размолвка с Зарудным. Найдя его нахохлившимся, Маша спросила:

- Отчего вы нынче злы, Анатолий Иванович?

Зарудный промолчал, сморщив смуглый лоб.

- Вам не идет быть злым, - настаивала она. - Вы становитесь некрасивым.

- Я некрасив в любой позиции, - отрезал Зарудный. - Неужто трудно привыкнуть к этому?

Ямочки на щеках Маши обиженно сжались. Взяв Зарудного за руку, она сказала:

- Не сердитесь на меня. Никогда не сердитесь!

Глаза Маши светились таким участием и грустью, что Зарудный почувствовал себя неловко.

- Завтра на рассвете, - ответил он, словно оправдываясь, - я уезжаю в Коряки, Пушино, Милково и другие селения с воззванием губернатора. Я очень опасаюсь, что за время моего путешествия тут появятся английские корабли и все свершится без моего участия...

Слова Зарудного звучали искренней горечью. Маша задумалась, не зная, чем помочь его горю.

- Возьмите меня с собой! - прошептала она вдруг, оглядываясь и крепко сжимая его руку.

- Это невозможно.

- Почему?

- Вы знаете, как здесь отнесутся к такому поступку.

- Я давно хочу посмотреть Камчатку. Отец обещал взять меня с собой в первую же поездку за лекарственными травами. Но когда это еще будет! Маша наклонилась к нему и шепнула: - Хотите, я убегу из дому?

- У меня уже есть спутник, - ответил Зарудный. - Андронников.

Маша, огорченно посмотрев на Зарудного, потом на землемера, сидевшего в обнимку с Вильчковским, задумалась, как бы сопоставляя живописного, веселого старика и настороженного, замкнутого Зарудного.

Пальцы Маши, державшие руку Зарудного, нащупали толстое кольцо. Маша знала тайну этого железного, оправленного в золото кольца. Братья Бестужевы, поселившиеся после каторги в Селенгинске, выковали кольца и браслеты из тяжелых оков, надетых на декабристов еще в Петербурге; каким-то чудом им удалось долгие годы хранить цепи, не сломившие их мужества и прекрасной веры в будущее России. Как символы братства и непобежденного свободомыслия, эти простые украшения посылались друзьям, узникам, томившимся в селениях Западной Сибири, родным и близким. Когда Зарудный уезжал из Ялуторовска в Иркутск, Якушкин подарил ему массивное кольцо, обнял его за плечи и прочитал глуховатым голосом любимые строки: ...Оковы падали. Закон,

На вольность опершись, провозгласил равенство,

И мы воскликнули: "блаженство!" И хотя он не брал с Зарудного никаких клятв, Анатолий Иванович никогда не снимал железного кольца. В альбоме Маши Лыткиной уже красовался его неровный отпечаток вместо подписи под посланием Пушкина "Во глубине сибирских руд", вписанным туда рукою Зарудного.

Вдруг Маша потянула кольцо с пальца, торопливо приговаривая:

- Анатолий Иванович, голубчик... Ну, не упрямитесь, подарите мне кольцо... Нет, нет... не дарите, оставьте у меня до вашего возвращения. Прошу вас, очень прошу...

Зарудному нелегко было освободить руку из ласковых и упрямых пальцев Маши. Хотелось подольше ощущать их капризную власть над собой, их теплоту и неуверенную настойчивость. Это длилось несколько мгновений. Затем он отнял руку и, поправляя кольцо, сказал недовольно:

- Марья Николаевна, об одном прошу вас: все, что связано с этим сувениром, исключите, пожалуйста, из круга ваших минутных капризов. В противном случае мы не сохраним наших... - он запнулся, - нашей доброй дружбы.

Маша смотрела обиженно и удивленно на Зарудного, неуклюже поклонившегося ей и отошедшего к окну. Остаток вечера она провела в обществе Александра МаксUTOва.

Зарудный перебирал в памяти мельчайшие подробности этого вечера. С необъяснимым чувством досады размышлял он над собственными словами и все же не сожалел о них. Маша прочно вошла в его жизнь. Она необходима ему. Но, подобно многим людям, привыкшим к одиночеству, к длительным

поездкам, к молчаливым размышлениям, он мог довольствоваться и незримым присутствием Маши.

Кони шли шагом, так что добрый пешеход, пожалуй, не отстал бы от них. Да и мудрено было пускать здесь лошадей рысью: то и дело на пути возникали препятствия - заросли кедрового стланика, серебристо-зеленого ольшаника, овраги, ручьи. Зарудный заметил, что он едет по чьему-то следу, - кто-то совсем недавно, может быть еще нынешней ночью, проходил здесь, приминая траву, надламывая хрупкие ветви багульника, ссылая землю на краю оврагов.

Зарудный любил лес с его многозначительной тишиной, знакомыми шорохами, знал медвежьи тропы, ведущие сквозь заросли ольхи и путаницу цепкого кедрового стланика к реке, к рыбным местам. И теперь следы на земле представляли для Зарудного живой интерес; склонившись к лошадиной гриве, так что конь попрыгивал ушами и испуганно косил оливковыми глазами, Зарудный рассматривал плоские следы торбасов, отпечатки матросских сапог и широких башмаков, подбитых железными гвоздями со шляпками, напоминавшими костяные наросты на боках камбалы.

- Что вы там ищете, Анатолий Иванович? - спросил его наконец Андронников.

- Мы не первые здесь с вами сегодня, - ответил Зарудный и выпрямился. - Кто-то опередил нас...

- Сам Люцифер и его свита, - усмехнулся Андронников и не успел продолжить свою мысль, как впереди раздалась не то песня, не то озорная скороговорка. Слова произносились громко, отчетливо и вместе с тем как-то торопливо, опасно.

Зарудный и Андронников остановили лошадей на опушке тонкоствольного березового леса и прислушались. Высокий мужской голос пел: Царь ты наш русский,

Носишь мундир прусский.

Все твои министры

На руку нечисты.

Все сенаторы

Пьяницы и воры.

Флигель-адъютанты

Дураки и франты.

Сам ты в три аршина... Голос вдруг умолк и после паузы закончил на какой-то бытовой, будничной интонации: Эка-я ско-ти-на!.. Спутники переглянулись. Землемер подмигнул Зарудному и, тронув поводья, заметил:

- Ишь ты, какие птицы завелись у нас! - Он присвистнул. - Голосистые!

Возле прямоугольной, сложенной из темных, полусгнивших бревен ночлежной юрты послышался залиvistый смех, чье-то восхищенное восклицание и ворчливый женский голос.

Всадники подъехали ближе. На старых, вросших в землю бревнах сидели люди - несколько женщин, посланных из Петропавловска за лозой для изготовления фашин, и трое мужчин - Никита Кочнев, камчадал Афанасьев и Семен Удалой, отправленные на поиски строевого леса, годного для настила артиллерийских платформ.

Юрта стояла пустая, заброшенная, из дверного отверстия тянуло прохладой и сыростью.

Заметив чиновников, все вскочили со своих мест. Только матрос чуть приподнялся, поддавшись общему движению, и снова сел.

По сконфуженному виду Кочнева, по тому, как он сорвал с головы картуз и низко поклонился, стало ясно, что пел он. Люди растерялись, - они не ожидали в этот час встретить здесь чиновников.

Андронников и Зарудный спешили. Охнув и присев на затекших ногах, Андронников сказал:

- Садитесь, господа хорошие! - И обратился к Никите: - Ты, братец, раньше петуха петъ задумал...

- А коли петух проспал? - смело ответил Никита.

- Смотри! - пригрозил ему землемер пухлым веснушчатым кулаком. Петух хоть криклив и драчлив, а и ему голову рубят.

- И тихой курочке рубят!

- Ах ты, шельма!

- Шельма и есть, ваше благородие, - заулыбался Никита, обрадованный таким поворотом. - Верно изволите...

- И не смей называть меня благородием! Слыхал! "Господин землемер", разумеешь? Зем-ле-мер - высокая должность. А это, - он указал на Зарудного, - господин титулярный советник! Что? Трудновато? Тогда можно просто: "господин хороший". Куда путь держите?

Никита заговорил торопливо и услужливо:

- Мы за деревом снаряжены, а бабоньки хворост резать идут. Решили привал сделать, да, видишь, изба больно темна. Сидим, дожидаемся, когда солнышко спустится к нам с горелой сопки.

Зарудный с удовольствием разглядывал молчаливого матроса и сидевшую с ним темноволосую женщину. Матрос не проронил ни слова, но во всей его фигуре было столько молодой силы и удалства, рябоватое лицо так живо отражало происходящее, что казалось - он и молчит не без умысла, давая

понять кому-то, что не стоит беспокоиться по мелочам, настоящего начальника и без слов узнаешь, а эти, мол, пришли и уйдут, и бог с ними, а тревожиться нет нужды...

Удалого обескураживало отношение Харитины к его ухаживаниям. Еще в порту на плацу, приметив ее, Удалой проникся к девушке теплым жалостливым чувством. Обыватели разошлись с плаца, и Семен потерял Хартину из виду. В тот день он не нашел ее ни у церкви, ни на склонах Николки.

Встретил он ее назавтра неподалеку от батареи, строившейся у основания галечно-песчаной кошки. Батарея эта, тогда же прозванная Кошечной, а в официальных приказах Завойко - номер два, должна была принять большое количество пушек. Тут не было естественных прикрытий, и батарея требовала множества фашин и земли.

Харитина стояла в яме, босая, и сильными движениями бросала землю в плетеную корзину. Яма находилась у подножья холма и предназначалась под пороховой погреб батареи.

Остановившись над ямой, Удалой откровенно любовался фигурой девушки, ладно и уверенно стоявшей на земле. Даже широкие белые пальцы ног, утопавшие в красноватом песке, были, на взгляд Удалого, по-особому хороши.

Почувствовав на себе взгляд, Харитина подняла голову. Оттого, что матрос стоял выше Харитины, он показался ей исполином со смешным и нелепым из-за лихо торчащих усов лицом. Воткнув лопату в песок и опершись на нее руками, Харитина бросила вызывающе.

- Чего уставился? Эка невидаль!

- Уж больно хороша-а-а!

Несколько матросов с "Авроры" и женщины, работавшие вокруг, прислушивались к их разговору, и Семену неудобно было отступить. Он уселся на краю ямы, так что улыбающееся лицо оказалось на уровне сердитых глаз Харитины.

- Матрос первой статьи, бомбардир Семен Удалой! - отрапортовал он.

- Видать, что удалой! - Девушка с интересом рассматривала матроса и неожиданно рассмеялась. - Рябой черт!

Набивая трубку, Удалой добродушно соглашался с Харитиной:

- Да разве ж я допустил бы себя до такого увечья, кабы знал, что встречу здесь такую красу! Оделся бы я по парадной форме, а голландку эту, - Семен рванул на себе рабочую рубаху из парусины, - постелил бы тебе под белые ножки. Топчи, пльиви над землей...

- Красно поешь! - заносчиво ответила Харитина, почувствовав, как что-то дрогнуло в ее сердце.

- В твои глаза поглядишь - соловьем запоешь, хоть при нашем грубом голосе. В глазах матроса Харитина видела пристальный интерес. Поджав губы, она сказала негромко:

- Уходи.

Капельки пота выступили над верхней губой девушки.

- Сперва познакомимся, - ответил Семен и взял натруженную, разгоряченную руку Харитины. - Как величать вас?

Харитина угрожающе схватилась за лопату. Кто-то весело взвизгнул. Стоявший рядом матрос крикнул Удалому:

- Табань!

Но Удалой не сводил насмешливого взгляда с потемневших глаз Харитины. Когда она успокоилась, он медленно поднялся.

- Прощайте, - сказал он сердечно. - Еще и подружмся с вами...

Работая на Кошечной батарее, Семен ухитрялся часто попадаться на глаза девушке, оказывал ей мелкие услуги, оплачиваемые обидными словами и презрительными гримасами; притворно жаловался на свою судьбу, шутил, озорничал и не пропускал случая показать свою недюжинную силу. За несколько дней Харитина привыкла к Удалому, к его шумному, буйному нраву и беззвучно смеялась. Ей безотчетно нравилось и то, что о своих чувствах он говорил не робко, не с рабской покорностью и повиновением, как Никита Кочнев, а открыто и требовательно.

Сегодня на рассвете, когда переходили через мокрый овраг, Удалой хотел помочь Харитине и неожиданно обнял ее. Девушка почувствовала в его движениях робость и, довольно засмеявшись, толкнула его так, что он упал в воду. После этого Семен держался в стороне. На привале он сел рядом с Харитиной и хотел было завести разговор, но тут появились Зарудный и Андронников.

Зарудный видел, что их присутствие стесняет людей. Женщины, развязавшие узелки с мучными лепешками и ломтями свежеевленной рыбы, сидели неподвижно, словно ожидая чего-то. Зарудный поторопил Андронникова, и, попрощавшись, они двинулись дальше.

В селении Зарудный никого не застал на месте: камчадалы ушли к реке, переселились в летние жилища-балаганы, где шла разделка и вяление рыбы. Самая лучшая из лососевых - чавыча - уже отошла. Теперь по мелким, стремительным рекам Камчатки в изобилии двигались, борясь с течением, хайко и жестковатая горбуша.

Андронников остался в доме тойона*. Его привлекала возможность осмотреть огороды местных жителей в их отсутствие. А Зарудный тотчас же отправился к реке - он торопился с оглашением губернаторского воззвания.

* Староста селения. Миновав карликовый березовый лесок и заросли шиповника, он вышел к излучине. Река тут мелела, из воды выступали серо-зеленые спины камней. В полуверсте виднелись крыши высоких балаганов, ветер доносил оттуда запах гниющей рыбы, оглушительный собачий вой и песню камчадала.

Река бурлила, набитая до отказа рыбой, напиравшей из Авачинской губы. На перекатах вода вытеснялась рыбой, и река превращалась в месиво упругих, тускло поблескивающих, израненных тел. Рыбы, родившиеся несколько лет назад среди камней камчатских рек, прожившие жизнь в океане, возвращались в пресную воду, чтобы умереть в родных местах и дать жизнь миллиардам новых мальков, которым в будущем суждено пойти неотвратимым путем предков.

Все мешало лососям: река встречала их песчаными перекатами, колючими отмелями, упрямыми струями воды, стремившейся к устью, рвала тело острыми камнями, сужалась, словно нарочно, облегчая людям постройку глухих запоров и ловушек.

Лососи входили в реки упругими, серебристо-белыми стрелами и старились, дряхлели в несколько дней. Челюсти их сильно развивались и, клювообразно искривляясь, придавали им злое, хищное выражение. У самцов горбуши вырастал горб, точно вода и камень коверкали их. Тело рыб становилось дряблым, и серебристая окраска сменялась ярко-малиновой.

Люди, работавшие на берегу и у щек плетеного запора, не замечали Зарудного.

Вооруженные длинными шестами с острыми крючьями на конце, камчадалы были заняты "крючканием" рыбы - быстрым движением они выхватывали из кишевшей массы самых крупных и бросали их в рыболовные баты. Женщины тут же пластали рыбу и вывешивали ее для сушки на длинные жерди, заготавливая на зиму юколу. Тремя ловкими ударами ножа они разделявали рыбину: мясистая спина и бока рыбы отделялись от головы, внутренностей и позвоночника.

Вместе с полусгнившей и непригодной в пищу рыбой эти отходы сбрасывались в ямы и служили зимой кормом для собак.

Сход созвали между двумя балаганами - дощатыми шалашами, устроенными высоко на бревнах и жердях, на манер индейских хижин. Под шалашами

находился настил, образующий как бы первый этаж, приспособленный для сушки и хранения рыбы в дождливую погоду.

Люди сидели на траве, среди гниющих остатков рыбы, на жердях и поперечинах, заменявших лестницы на деревянных настилах, и опрокинутых тополевых батах.

Несмотря на горячую пору, многих молодых камчадалов, опытных охотников, не раз сопровождавших Зарудного в его поездках, не было на месте. Жители встретили слова Зарудного недоверчиво. Казалось, что известие о войне уже дошло до них и воззвание губернатора не является новостью. На недоуменный вопрос Зарудного - что случилось? - маленький седобородый тойон неопределенно пожал плечами.

Зарудный подошел к старику, сгорбившемуся подобно усталому беркуту. В седой бороде проглядывали черные пряди, рот был презрительно сжат, как у человека, который привык к молчанию и размышлениям, а глаза, прищуренные и полуприкрытые многочисленными складками, смотрели холодно и строго. Старика звали Буочча. Его сын Илья, лучший охотник на соболей, был другом Зарудного.

- Здравствуй, Буочча! - сказал Зарудный.

Старик неторопливым движением снял с головы малахай. Легкие как пух, серебристые пряди на его голове зашевелились от ветра.

- Здравствуй, молодой начальник!

Зарудный присел рядом с Буочча на днище перевернутой лодки и спросил:

- Где Илья?

Старик показал на север, в сторону гор и леса.

- Разве теперь время по лесу шататься? Вся рыба в чужие запоры уйдет, - заметил Зарудный.

- Не уйдет, - засмеялся старик уголками глаз. - Видишь, я тут сижу, сторожу. Наше от нас не уйдет!

- Кто-нибудь приезжал к вам?

- Был.

- Кто?

- Американ.

- Чэзз?

Зарудный вспомнил, что, когда он с Андронниковым затемно проезжал мимо дома Чэзза, тот проходил через двор в исподнем и лукаво приветствовал их. Как он мог очутиться здесь?

- Нет, - сказал старик.

- Кто же?

- Громкий американ. Большой охотник. А с ним слуга, волосы красные, как утренний костер.

Зарудный решил, что это Магуд и его матрос, но, чтобы окончательно убедиться, жестом показал старику торчком стоящие бакенбарды американца. Буочча кивнул головой и сказал:

- Знаешь. Он тебя тоже знает. Сказал - ты приедешь, камчадала обманывать будешь.

- Что?! - Зарудный вскочил на ноги.

Старик понял, что сказал лишнее. Втянув голову в плечи, он молчал, посасывая трубку.

- Повтори: что он сказал?

Буочча молчал.

- Я прошу тебя, Буочча!

- Несказанное слово лучше сказанного, - торжественно изрек старик.

Зарудный настаивал, сердился, но Буочча молчал.

От тойона ничего толком нельзя было добиться. Он был чем-то напуган, сообщил наконец, что американец появился еще вчера, разговаривал с охотниками - о чем, ему неизвестно, он не интересуется чужими делами - и ушел, оставив в доме тойона два кожаных мешка с товарами на сохранение, до вечера.

Зарудный решил задержаться до следующего дня и дожждаться Магуда.

Наступил вечер, а Магуд не возвращался. Кое-где в темных, крытых травой избах зажглись плошки, устроенные из жестяных банок с тюленьим жиром и фитилем из сухого мха. Красноватое пламя тускло светило сквозь медвежьи пузыри, которыми здесь были затянуты окна. В селение возвращались молодые охотники с беличьими шкурками, красной лисой, сиводушками, со шкурками выдры, с горностаем и соболями. Охотниками были осмотрены все капканы, извлечены из тайников меха, припрятанные от сборщиков податей. Появились и жители соседних острожков; в легких мешках из кожи молодого сивуча они тоже принесли меха.

Зарудный стоял у порога дома тойона, сложенного в два сруба, с чистыми горницами в семь-восемь аршин, и прислушивался к вечернему шуму к отрывистым фразам охотников и к знакомой песне о калинушке, которую пели заночевавшие в окраинной избе женщины.

К полуночи Зарудный и землемер улеглись в чистой горнице тойона. Комната с большой крапивной циновкой на полу была оклеена листами бумаги и украшена лубочными картинками. В красном углу, где висели образа и теплилась лампада, стоял покрытый куском белого полотна стол с чайной

посудой и обычной камчадальской плошкой. Хозяин дома не ложился, часто выходил во двор, стараясь осторожно прикрывать за собой двери и не стучать сапогами.

Андронников долго ворочался, не спал: одолевали мысли, мешало лунное пятно на полу.

- Не спите, Анатолий Иванович? - спросил землемер негромко.

- Нет.

- Думаете?

- Жду.

- Напрасно. Могу поручиться, что Магуд не явится сюда. Напьется где-нибудь вина и свалится с ног. Этакое животное...

- Где ж и напиться, как не у своих мешков! Уверен, что там и вина достаточно.

- Вы думаете? - Андронников встал и подошел к открытому окну.

- Уверен.

Некоторое время они молчали.

- Вы можете смеяться надо мной, - с мягкой грустью сказал землемер, но нынешний день кажется мне исполненным какого-то таинственного значения и силы. Вы ушли по своим суетным делам, а я, цивилизованный человек, вкусивший Европы, скитался здесь меж пустынных домов. Тишина и медвяные запахи трав. Словно в лесном скиту. Кажется, чего бы еще: ложись, человек, в мягкую мураву, радуйся божьему миру и внеми, как он входит в тебя, возвышает, согревает ревматические члены... Насекомое и то объемлет величие минуты, не потревожит тебя прикосновением легких крыл своих. И вдруг я почувствовал, что этого мало мне. Мало, мало! Хочу светлой веры в человека, без этого ничего не хочу - ни тишины, ни благодати. И нет ничего достойного на земле за пределами человека: ни знания, ни истинной красоты, ни возвышающей любви... Думали ли вы о человеке, Анатолий Иванович?

- Меня научили этому с детства, - сдержанно сказал Зарудный.

- Детство мало что смыслит! Холодная мудрость нужна для этого, друг мой! Нам все кажется, что мы благотельствуем кого-то, одариваем сверх меры и когда-то отплатится нам за добрые деяния! Что бы ни сделал человек, все норовит выдать за благодеяние, за чистейшую филантропию. - Говоря это, Андронников шире распахнул окно. - Жили здесь до нас люди и называли сей звездный поток среди неба огненной рекой! Хорошо! Красиво и точно! А мы учим их говорить - Млечный Путь и думаем: "Вот благодетели-просветители!" Большую Медведицу они зовут Сохатым, малую - Сохатиком! А Венеру

Зарницей, ибо Венера для них пустой звук, суета сует и всяческая суета.

- По-вашему, следовало бы оставить их в языческом неведении?

- Те-те-те, батенька! - обиделся Андронников. - Не о том речь. Дружелюбия большего хочу, терпеливой ласковости и любопытства. Главное любопытства или, если угодно, любознательности. - Землемер уселся на табурет, поджав голые стынувшие ступни. - Поймите же меня. Отобрали мы у них громкие побрякушки, языческих богов, злых духов, а что дали взамен? Что? Бога, бесплотного и ненаказуемого бога! Так и живут они, нищие, между богом и своим старым знакомцем Кутхой, между варварством и цивилизацией, между светом и тьмой. А многое ли мы заимствовали у сих мудрых младенцев? Знали ли мы, где обретаются целительные травы, прибыльные металлы и многое другое, что им завещано далекими предками? - Землемер, потряхивая бородой, принялся ходить по комнате мелкими шажками. - В приятном-с заблуждении пребывает Европа. По разумению просвещенного европейца все началось в его собственном доме, чуть ли не на скотном дворе: и философия и искусство... А ныне англичанин на паровой двигатель уповает и вскоре найдет средство, как втолковать изумленному миру, что родина всего разумного, доброго и прекрасного - великая Британия. - Андронников остановился перед Зарудным и сказал с необычной серьезностью: - Но мир существовал, когда сих просвещенных народов и в помине не было. Были высокие культуры, о которых мы, грешные, знаем слишком мало. Был Восток. Была мораль и, разумеется, философия, хоть и не схожая физиономией с пифагорейской. А паче всего были люди. В переселение душ не верю. Чепуха, умственная мизерия! По ту сторону - тлен и хлад и ничего более. Но в преемственность верую, в преемственность культур, обычаев, добра и зла. Язычник-камчадал мне дороже благополучного вашего собрата по губернской канцелярии, чистого с виду, да черного душой. И никуда я отсюда, из Камчатки, не поеду! - закончил он неожиданно.

- Никто вас и не гонит.

- Гонят! Гонят! Собственные думы гонят, сомнения... Западёт вдруг в голову шальная мысль и сверлит мозг, донимает. Хочется еще раз побывать в столицах, порыться в новейших книгах, порастолкать присяжных крикунов и сказать свое слово. Громко сказать, не убоявшись скандала и немилости. Андронников протяжно вздохнул. - Да дерзости не хватает! Боюсь, не услышат. Сумасбродным стариком боюсь показаться. Так и пребываю в колебаниях. А как мечталось, дорогой Анатолий Иванович, как смело, высоко мечталось по утру моей жизни! Где не бывал я в мыслях своих, чего не содеял на благо человечества! И вот связали, ткнули рылом в корыто. И

ничего, пью пойло, не бунтую... Смирение - вот древняя и вечно новая добродетель.

- Смирение - величайший грех против общества, - холодно сказал Зарудный.

- Молодо - зелено! - воскликнул Андронников. - И я в ваши годы был силен порассуждать. А где они, наши несмиранные? Где обретаются?

- Не далее нас с вами, - ответил Зарудный. - А в сердце народном им первейшее место. - Зарудный заговорил возбужденно, как бы освобождаясь от ленивой созерцательности. - На кого и надеяться нам в России, если не на народ! Простая истина, а постигается не скоро. Сколько жизней, без пути загубленных, сколько упований напрасных! А ведь одна надежда - народ. Нынче многие понимать стали...

Сильный шум, поднятый вошедшими в соседнюю комнату, прервал беседу. Было слышно, как староста уговаривал их, а они отвечали ему хохотом и отрывистыми фразами. Не прошло и двух минут, как за стеной раздалась все та же знакомая Зарудному песенка: О Сусанна! Не плачь обо мне... распевал во всю глотку Магуд.

Зарудный торопливо натянул сапоги. Андронников постучал в стенку и крикнул сердито:

- Эй, вы, *homines silvatici*!* Тут люди спят!

* Дикий народ! (Буквально - лесной народ.) Магуд расхохотался и ответил через стенку:

- Русский начальник! Иди к нам ужин брать!

- Свой ужин взяли, - проворчал землемер, - а твоего нам не надо.

Магуд не понял его и повторил приглашение.

Зарудный решительно подхватил под руку Андронникова, взлохмаченного, в ситцевой рубахе, и пошел с ним в соседнюю комнату. В жилой комнате тойона, где находились печь и обеденный стол, кроме Магуда и старосты был рыжий матрос, неременный спутник штурмана. Тойон молча сидел в углу, хмурая суровый, языческий лик.

Матрос смотрел на Магуда преданными, восхищенными глазами и подавал ему пакеты из стоящего на скамье заплочного мешка. Тут было все, чем мог снабдить магазин мистера Чэзза: копченая ветчина, консервы, галеты, квадратная фляга виски. На столе стояла, поджидая гостей, тарелка со свежей рыбой и глиняная миска, полная клейкой икры.

- Садитесь, - пригласил их Магуд. - Или по-русски говорится: ешьте хлеб-соль...

Зарудный, как всегда в минуты возбуждения, теребил усы и потягивал носом

воздух. Он стоял против Магуда и в колеблющемся свете лампы казался обиженным и злым. Магуд был крупнее Зарудного. Разливая водку в чашки, он посматривал на молодого чиновника с чувством превосходства.

Магуд протянул ему чашку, но Зарудный не взял.

- Благодарю. Употребляю редко и только зимой.

- А я - весь год, - пожал плечами Магуд и передал чашку Андронникову. - Кушайте, - пригласил он Зарудного.

Все сели. Староста придвинулся к столу и уставился в шершавые доски стола.

- Разрешите полюбопытствовать, - начал Зарудный небрежным тоном, какие дела привели вас сюда?

- Коммерция, - коротко ответил Магуд.

- А точнее?

- Коммерция и охота.

Зарудный сидел, тяжело положив руки на стол. Он спокойно заметил:

- Теперь неподходящее время для подобных вояжей.

- Почему?

- Камчатке угрожает война.

- Ну и что ж из этого? Вы воюйте, а мы будем торговать. Торговый человек всегда полезен.

- Торговец торговцу рознь, - усмехнулся Зарудный.

- Мое дело - деньги. А из кого я их выжму и каким образом, в это, молодой друг, лучше нос не совать...

- Я вовсе не признаю вас за своего друга, - сказал, с трудом сдерживаясь, Зарудный, - а более того, не признаю вашего права надуть камчадалов, грабить соотечественные нам племена...

Зарудный поднялся. Магуд рассмеялся и ткнул в бок рыжего:

- Слышишь, парень! Он этих грязных животных называет соотечественниками! Не собираетесь ли вы их выбирать в конгресс?

- Что с вами попусту толковать! - презрительно пожал плечами Зарудный. - Вы даже не умеете уважать хозяина дома, за столом которого сидите.

Тойон беспокойно заерзал на скамье. Низкорослый старик с удивительно коротким туловищем, когда садился, казался седым карликом. Андронников зло посмотрел на него, отодвинул чашку и буркнул:

- И поделом ему, по гостю и хозяину почтение...

- Хорошо, - сказал Магуд. - Вы хотите помешать мне?

Зарудный поднялся из-за стола.

- Непременно, если вы не подчинитесь закону.

- Я не знаю ваших законов. И не хочу знать. Пусть один английский корабль

появится в Петропавловске - и вы разбежитесь, как зайцы! разошелся Магуд, не давая Зарудному слова сказать. - У вас нет пушек, нет штуцеров. Конечно, охотиться на медведей с русским ружьем прибыльный бизнес... Пока ружье начнет шипеть, - Магуд, сжав жирные губы, имитировал шипение пороха, - и раздастся выстрел, медведь успеет наестся ягод, пробежать пятнадцать миль до следующей провинции и преспокойно улечься в берлогу.

- Смею уверить, вам это не удастся, - сказал Зарудный.

- Что?

- Улечься в берлогу. Подыдем.

Магуд вскочил, но Зарудный, не обращая на него внимания, повернулся и пошел в свою комнату. Андронников остановился в дверях.

- Мистер Магуд, - обратился он к американцу, - если старикинская память не обманывает меня, вы попали к нам с потерпевшего крушение брига "Мария"?

- С "Марии", - огрызнулся Магуд. - А что?

- Много всяких отбросов выкидывало море на нашу землю, но такой дрянью, как вы, оно нас еще не одаривало... Так-то! - Андронников с силой хлопнул дверью. IV Удалой с друзьями устроился в пустой избе. Лежа на полу, Семен с удовольствием слушал певучий, спокойный голос Ивана Афанасьева, рассказывавшего о Камчатке, о местных обычаях и достопримечательностях. Многие казалось странным. Взять хотя бы самого Ивана Афанасьева. Ладный парень, скуластый и загорелый. Определи такого на корабль - кто отличит его среди массы русских матросов? И говорит по-русски ровно, уверенно, только некоторые слова произносит необычно, по-здешнему немного шепелявя. А толкует все о чем-то незнакомом, далеком. Бог Кутха и его жена Какх, вероломный лесной карлик Пихлач, злые духи, горелые сопки - жилища богов, священный ворон...

- Ладно ты выучился русскому! - похвалил Удалой Афанасьева.

- Мало-мало, - ответил польщенный охотник. - Здеся-ка школа была. Я был совсем маленький, дома одно камчадалское слово слышал. По-русски понимал не шибко, а учитель, видишь ты, казенной грамоте слабо знал, все по-церковному. Вот выучил я: "Распятого же за ны..." - Иван старательно произнес эту фразу, с усилием выговаривая буквы "с", "ж" и "з", - а учитель все поправляет меня: "Рашпята за жаны", "рашпята за жаны...". Так и запомнил я этот урок, а когда приехало начальство и спрашивали нас, я встал и громко ответил: "За жену распятого..." Смеху-то дивно было...

- Ишь, придумал! - удивился Семен. - Небось, секли?

- Не-е, - протяжно ответил Иван.

- На корабле за богохульство линьки полагаются.

- И ему, верно, досталось, - вмешался в разговор Никита Кочнев, только не помнит. Уж больно незлобивы, отходчивы они.

- Здесь сробеешь, - Семен взял Афанасьева под защиту. - Начальства у вас, я погляжу, больно много. На каждую живую душу, почитай, пять начальников да десять собак.

- Собак поболее будет, - подтвердил камчадал.

- Чудно живете, - проговорил Семен, ворочаясь на тонкой крапивной циновке. - Кругом богатство какое, река - что уха, соли да ешь, и погоды стоят подходящие, а вы ровно нищие или погорельцы.

Иван приподнялся на локтях. Луна осветила его смуглое, со скудной растительностью лицо, озаренное горящими темными глазами.

- Здеся-ка все есть, - сказал он зло, - да не для нас. Чиновник берет. Купец берет. Беда берет. А у охотника две руки, два глаза, одно ружье! Что будешь делать? Купцу не жаль охотника. Приезжает начальник, кричит: "Иван, вези почту! Иван, вези товары! Иван, вези меня!" Снял поклажу - нарты чистые, ни жиру на них, ни денежки не осталось. Собаки худые, кушать просят, рыбы нет. Чем кормить будешь? Пришел домой - другой начальник едет, кричит: "Эй, Иван, вези меня!" А денежки-то наши в берлоге полеживают, найти нужно. Как будешь искать? Зимой приехал купец - взял соболя, взял песца, взял горностая, охотнику зайца оставил. Что будешь делать? Сытому и жир невкусен, а проголодаешься - и кора сладка.

- Хлеб сеять надо, - твердо сказал Удалой.

- Что камчадал, что русский поселенец - одинаково живут, - Никита зевнул. - С ползимы сарану жрут. Иной раз спишь, во сне хлеб видишь. А сеять пробовали - не доходит.

- Только ангелы с неба не просят хлеба, - подтвердил Семен. Говоришь, не доходит?

- Не достигает. В конце августа заморозки побивают.

- Не до-сти-гает! - передразнил Семен. - Оттого не достигает, что на флотских надеетесь. Не стоит и беспокоиться, привезут-де матросы мучицы, сахару привезут. А не везли бы - умудрил бы бог. Рожь хороших рук требует, - заключил Удалой примирительно.

- Заняты руки-то, не больно размахнешься! - сердито ответил Никита.

- Чем же заняты?

- Ныне крепости строим супротив англичан. В другое время все больше казармы да гауптвахты. Уж тут у нас ни одного острожка, ни одного поста не заложат, пока гауптвахты не построят.

- Заместо церкви? - ухмыльнулся Удалой.

- Казенное заведение, - строго сказал Никита, - первойшей надобности.

Стало тихо. Никита ворочался, устраиваясь поудобнее, Иван же так и остался неподвижно лежать на полусогнутых руках. Даже дыхания его не слышно.

Удалой осторожно тронул плечо камчадала и тихо спросил:

- Слышь, парень, а клады тут водятся?

- Клады? - удивился Иван.

- Ну, богатства, в земле схороненные, спрятанные в тайниках, господское добро краденое, турецкий монет...

- Здеся-ка-а? - протянул Иван. - Однако, есть. В лесах и на сопках дивно карликов есть. Пихлачи называются. Весь год разъезжают в маленьких нартах из китового уса, а в упряжке у них тетерева. Они собирают шибко много мехов - таких теперь охотнику и не найти - и прячут их в тайном месте. След от маленьких нарт ма-а-ленький, неприметный, скоро пропадает на снегу или в траве... Трудно найти такой след, хороший глаз нужен. А нашел - тут дело пойдет, только не дай Пихлачу затеряться в кедровом стланике или в сугробе. Пихлач хитрый, злой. Найди ивовую жердь, облупи кору и положи поперек следа. Только смотри не путай, - тут ольха не годится, береза не годится, даже тополь не годится, а об иву разобьются нарты, Пихлач сядет возле них и непременно человека дожидаться будет. Хорошо ездит Пихлач на тетеревах, важно, как тойон, сидит, а починить нарты не может. Тут и надо идти по следу и выручать его из беды, а только цену за помощь назначить самую дорогую, какой и не слыхали еще на земле, Пихлач все даст.

- Ну? - недоверчиво спросил Семен.

- Не пропадать же ему у разбитых нарт.

- А ты встречал его?

- Счастья у меня нет или молод еще. Нет, - вздохнул камчадал, - следа не находил. А встретить Пихлача на целой нарте - бе-е-да! Кто за ним пойдет, тот и погиб. Особливо христианин.

- Ишь ты! - воскликнул Семен. - Мал леший, а турку в помощники нанялся!

Он прислушался к ночным шорохам. В соседней избе, где разместились женщины, заскрипела дверь. Раздался негромкий, сонный окрик. Кто-то вышел из избы или возвратился, прикрыв за собой дверь. Семена потянуло наружу, где ему чудились легкие шаги Харитины. Когда Удалой уже взялся рукой за щеколду, его окликнул Никита:

- На улицу идешь?

- А что?

Никита ничего не ответил. Семен вышел на освещенную лунной улицу.

У входа в соседнюю избу белела фигура женщины. С реки слабо доносился

собачий вой, а в соседнем леску, обступившем обширную топь, не ко времени раскричались кулики и связи, вероятно потревоженные хищником. Но слышнее всех звуков колотилось сердце Удалого, - так по крайней мере казалось ему, когда он подошел к соседней избе, к женщине, стоящей перед дверью.

Харитина встретила Семена просто, словно она ждала его здесь в условленный час.

- Все ходите! - сказала она с легким упреком.

- Разве по соседству с вами заснешь! - Удалой наклонился к девушке, стараясь заглянуть ей в глаза.

- Какие вы беспокойные! - Харитина отвернулась, но голос ее звучал незлобиво.

- Такой уродился.

- Все матросы беспокойные...

- Крепкое сословие! - самодовольно ухмыльнулся Семен. - Морского клейма народ, зерно грубое, в соленой воде держанное.

Девушка молчала.

- Сели бы, а? В ногах правды нет...

Харитина покорно опустилась на скамью. Удалой устроился рядом и положил руку на обтянутое ситцем плечо Харитины.

- Не дурите! - Она резко повела плечом. - Уйду.

Удалой нехотя отнял руку и положил ее на колено, ладонью вверх, словно не зная, куда девать.

- Мучаете вы меня, Харитина, - сказал он с искренней болью.

Девушка тревожно посмотрела на матроса. Какая-то новая, еще незнакомая интонация прозвучала в его словах.

- Что вы? - сконфуженно прошептала Харитина. - Как можно?..

- Мучаете, это правда, - настаивал Удалой. - Это всякий скажет.

- Чем же я вас мучаю?

Удалой неопределенно развел руками.

- А зачем вы тут? - неожиданно спросил он. - Почему не спите? Все спят?

- Спят.

- А вы?

- Потянуло из хаты. Ночью тут совсем как у нас на Украине. И месяц такой...

Удалой крепко сжал ее полную горячую руку и протянул со вздохом:

- Эх ты, хата моя, хата! И привела ж тебя нечистая сила сюда на мою погибель...

Харитина засмеялась счастливо и так молодо, что это как-то не вязалось с ее

большой фигурой и привычной степенностью. Попробовала отнять руку, - Удалой крепко держал ее.

- Не дам, - мотнул он головой. - Не дам - и все.

- Только сидите смирно, - согласилась Харитина, - а не то уйду.

- Есть! - отчеканил он. - А вы засмейтесь, Харитина, засмейтесь! Ну и чудно ж вы смеетесь! Целую ночь слушал бы.

Рука девушки, напряженная, непокорная, вдруг ослабела и осталась спокойно лежать в шершавой, иссеченной канатами руке Семена.

- А вы под барином были, Семен?

- Был, да в море уплыл. Теперь вольный матрос.

- Какая ж это воля - век на воде бобылем прожить?

- А все ж лучше крепости. Способнее.

- А тут крепости нет, - сказала задумчиво Харитина.

- Нет? - удивился Удалой и добавил веско: - Каторга крепости не слаще. Тут, почитай, ничего нет. И народу маловато.

- Народ тихий, хороший, своим делом занят. Когда наших в Сибирь гнали, сказывали - тут крепости нет, помещика нет, а только земли да земли.

- За бунт сослали? - участливо спросил Удалой.

- Не-е! Мы без желез шли. Вольным табором. Молокане мы. - Девушка тяжело вздохнула. - Не повидали тато с мамою ясного света, не довелось: черная немочь потравила.

Они долги сидели молча, не шевелясь, ничем не нарушая согласных дум. V Торг начался рано. Рыжий матрос вытащил из двух изб столы и устроил подобие прилавка, на котором шел небрежный осмотр мехов и меховой одежды, от кухлянок из мохнатых пыжиков до оленьих чулок. Попадались ровные пластины китового уса, моржовые клыки, кожи. Магуд торопливо осматривал меха и, не вынимая трубки изо рта, называл своему помощнику цену.

Никогда еще охотники не видели купца с такими ничтожными запасами товара, привезенного на хромой, низкорослой кляче. Несколько новых штуцеров, взятых у Чэзза, немного патронов, порох в продолговатых коробках, пистоны, три ящика табаку, десятка два бумажек с иголками, ситец, бусы - вот и все, чем богат Магуд. Тут не было ни крупчатки, ни ржаной муки, ни патоки, ни котлов, ни металлической посуды, в чем испытывали острую нужду камчадалы.

Торговля в это непривычное время года шла вяло. Магуд скупился, ворчал на своего приказчика и при первом же возражении охотников смахивал на землю легкие шкурки. После того как Магуд продал штуцерные ружья, глазу

охотников уже решительно не на чем было остановиться. Камчадалы стояли поодаль, даже не развязывая свои мешки.

На площади собралось много людей. Были тут охотники, принесшие все свое добро, копившееся к традиционному зимнему торгу; стояли любопытные, пришедшие с реки петропавловские бабы и Удалой с товарищами: Иван Афанасьев - уроженец этого селения (его встречали здесь как своего человека), а рядом с ним Никита Кочнев и светлоглазый веселый матрос, поглаживавший каждого соболя или голубую беличью шкурку любовно, нежно, словно голову ребенка.

Зарудный некоторое время наблюдал за Магудом из окна. Затем он и Андронников вышли из избы и остановились у двери.

Илья, сын Буочча, смуглый красавец, положил свой мешок у ног отца и легкой, скользящей походкой подошел к Магуду. Приблизившись, он снял с головы маленькую нерпичью шапку и слегка поклонился американцу.

- Американ, - начал Илья миролюбиво, - возьми еще товар. Еще штуцер, порох, свинец, капканы, одеяла, котлы, - он показал смуглой, суховатой рукой на дом тойона. - Иди в избу, бери товар. Камчадал мука нужен, сахар нужен, табак шибко нужен...

- Меха не вижу, - Магуд насмешливо оглядел Илью справа, слева и приподнялся на носках, словно желая заглянуть, не спрятаны ли меха за спиной юноши.

- Меха есть. Горностаи, соболь... Выдра есть, - Илья показал на мешок, лежавший возле Буочча.

- Не вижу, - ответил Магуд. - Не хочу с нищим разговаривать.

Магуд отвернулся от Ильи.

У Ильи под смуглой кожей забегали желваки. Губы неестественно оттопырились, как будто он собирался зарычать и броситься на Магуда. Сверкнули белые зубы. Илья не спеша подошел к отцу, поднял с земли мешок и, возвратившись к Магуду, вывалил на стол содержимое. Тут были беличьи шкурки, два песца белее январского снега, горностаи - добро, на которое с уважением и завистью смотрели охотники.

- Вот! - Илья гордо кивнул на стол.

Магуд скользнул равнодушным взглядом по шкуркам. Тогда Илья отобрал из кучи две волнистые шкурки песца и четыре дымчатые серо-голубые белки и положил их отдельно, на продажу.

Не задумываясь Магуд швырнул на прилавок две пачки патронов, бумажку с иголками и кусок дешевого ситца в десять-двенадцать аршин.

Ропот изумления пронесся по толпе. Такой малой цены никто не ждал. Илья

тряхнул шапкой черных волос и стал складывать меха в мешок. Магуда это как будто и не касалось. Он отвернулся, громко болтая со своим подручным. Молчание длилось долго. Охотники ждали, что купец расщедрится, прикажет принести еще товаров и станет назначать справедливую цену. Зарудный пока не вмешивался. Труднее было сдерживать Андронникова. Он судорожно сжимал руку Зарудного повыше локтя и приговаривал:

- Ну и жила!.. Подлец... Разбойник!..

Наконец к Магуду приблизился Буочча, слывший самым мудрым и справедливым человеком в селении. Подойдя к прилавку, он обнажил бронзовую голову, припорошенную белым пухом. Магуд уставился на него.

- Что, старик, бородой торговать будешь?

Буочча молчал.

- Не нужна мне твоя борода.

Видя, что старик молчит, Магуд набрал пригоршню бус и поднес их к лицу Буочча. Старик не пошевелил рукой и сказал:

- Собака воет - человек молчит. Говорить с тобой буду.

- Что говорить? - огрызнулся Магуд. - Торговать к вам пришел.

- Помыслы купца, - сказал Буочча, - текучая вода.

Магуд не понял старика.

- Почему они не идут ко мне?

- К недоброму человеку и птица не летит.

- А ты кто такой?

- Буочча! - с достоинством ответил старик.

- Буочча? - Магуд не знал, имя ли это или административная должность, позволяющая старику вести себя так независимо. - Эй, тойон, - крикнул Магуд, но старосты здесь не оказалось, он незаметно исчез. - Тойон! Чертово племя! - выругался Магуд. - Ничего тут у вас не разберешь. Чего ты хочешь? - набросился он на Буочча.

- Правды.

- Какой еще правды? - Магуд чувствовал на себе презрительный взгляд Зарудного и начал терять самообладание. - Я не миссионер, а купец.

- Ты пришел к нам и сказал: будет война, - хладнокровно проговорил старик, - приедут твои соплеменники и заберут у камчадалов все: меха возьмут, девушек возьмут, юколу возьмут. Даром возьмут, ты сказал, русские им не будут мешать. Теперь пришел молодой русский начальник и сказал: камчадал будет защищать свой дом, камчадал получит ружье, порох, только стреляя врага. Правда это?

- Нет у них ружей, - проворчал Магуд, но старик не слушал его.

- Может, и правда, - рассуждал он. - Подождем, посмотрим. Недолго ждать, зимой враг не придет - твердая вода помешает. Ты когда к нам пришел? - спросил вдруг Буочча.

- Летом.

- Летом и уйдешь, - уверенно сказал старик. - Грубый человек - как одичалая собака, воет громко, а в упряжку не годится.

Зарудный почувствовал, что пора вмешаться. Тем временем Магуд вытащил из портплекда, лежавшего под столом, две большие фляги спирта, а рыжий матрос начал медленно складывать товары в дорожные мешки.

Это подействовало на часть охотников. Тут были люди, находившиеся в крайней нужде, они твердо решили не возвращаться домой без пороха и патронов, как бы дешево ни пришлось им отдать свое добро. Видя, что Магуд закрывает торг, они двинулись к прилавку. Их было всего человек пять, но Магуд по опыту знал, что за этими обязательно пойдут и другие - все, кроме самых упрямых или обеспеченных.

Впереди оказался хромой охотник с изуродованным ухом, один из тех, кто был схвачен казаками Губарева. Маленькие глазки его недружелюбно смотрели на Зарудного, морщинистое лицо поросло коротким жестким волосом. Его мешок казался пустым, - Зарудный удивился, увидев, что охотник вынул из мешка два пыжика и отличную соболью шкурку.

Зарудный подошел к столу и стал наблюдать за торговлей. Магуд как будто не замечал чиновника. Он сбросил шкурки пыжиков на траву, провел рукой по собольему меху и протянул хромому пачку патронов, коробку пистонов и немного прессованного табаку. Тот покорно взял все и готов был сунуть в мешок, но Зарудный остановил его:

- Верни ему все, это незаконная сделка.

Охотник положил коробки на стол. Зарудный приказал Магуду:

- Отдайте шкурку!

- И не подумаю, - ответил американец, сгребая со стола мех. - Мы по обоюдному согласию.

- Это грабеж, - Зарудный возвысил голос, чтобы все его слышали. - Вы хорошо знаете, что плата за соболя - за соболя среднего достоинства, а не такого редкостного - установлена в двенадцать рублей серебром или восемь долларов.

- Вы хотите, чтобы я открыл в этой дыре банк? - вызывающе крикнул Магуд. - Ваши купцы тоже расплачиваются товарами!

- Это ваше право, - продолжал Зарудный спокойно. - Но вы даете товаров не на восемь долларов, а на восемьдесят центов. Это неслыханно даже на

Камчатке. Кроме того, вы ведете себя подло, попирая законы гостеприимства...

- Всё? - нетерпеливо спросил Магуд.

- Верните ему шкурку и немедленно отправляйтесь в Петропавловск.

- Всё?

- Всё, - сказал взбешенный Зарудный.

- А если всё, то убирайтесь отсюда подальше. У вас есть свое дело, читать прокламации господина губернатора. Поезжайте, поезжайте! - крикнул он вызывающе. - Туземцы ждут ваших проповедей!

Зарудный перегнулся через стол и схватил соболью шкурку, лежавшую наверху кучи. Но и Магуд успел вцепиться в нее. Шкурка сухо потрескивала, дымчатый пух летел из-под пальцев Зарудного и Магуда, но никто из них не мог пересилить.

Вдруг Магуд отшвырнул в сторону легкий стол и, выпустив из рук мех, бросился на Зарудного. Зарудный увернулся. Магуд, тяжело дыша, с налитыми кровью глазами, очутился лицом к лицу с Семеном Удалым.

Семен чувствовал на себе обеспокоенный взгляд Харитины. Это наполнило его уверенной силой, он опустил свою увесистую руку на плечо Магуда.

- Что ж ты, милоч, - сказал он насмешливо, - в чужой монастырь да со своим уставом!

Магуд молча сбросил руку Удалого.

- Честной народ грабишь, - насмешливо выговаривал матрос, - морской устав забыл, начальству перечишь...

Магуд злобно выругался.

- Но-но-но! - остановил его Удалой. - Мы и получше можем. Уходи, пока кости целы, не то отделаю тебя так, что и дома не признают.

В то же мгновение Удалой полетел на землю от удара, угодившего ему в челюсть. Он вскочил, помахивая головой, будто удивляясь случившейся напасти. В Удалом трудно было теперь узнать веселого, добродушного матроса. Он обвел взглядом замершую толпу, надеясь приметить Харитину, и ринулся на американца.

Нечего было и думать о том, чтобы помешать им: столько было ярости, стремительности и силы в этом упругом, мускулистом клубке! Рыжий выхватил было из-под куртки кольтовский револьвер, но был тут же схвачен Ильей и Никитой Кочневым, связан и брошен на кучу мехов.

Магуд и Удалой катались по траве среди расступившихся в страхе камчадалов. Изловчившись, Семен ударил Магуда ногой в пах и одновременно правой рукой - под ложечку, отбросив американца от себя.

Через секунду они уже стояли на ногах и снова сцепились.

Теперь Семен, сжав Магуда тисками жилистых рук, старался приподнять его и бросить наземь. Правая рука американца, прижатая к животу, медленно подбиралась к ножу, висевшему у пояса. Лица людей мелькали перед Удалым, как в детстве на ярмарочной карусели. Пальцы Магуда уже добрались до рукоятки ножа.

- Полундра! - крикнул Семен и бросил Магуда на землю с такой силой, что раздался гулкий, утробный стон, будто в груди американца что-то надорвалось.

Магуд лежал на траве, разбросав руки. Из рта выступила пена, и розовая сукровица потекла на сбившиеся от пота бакенбарды.

Никто не слышал сдавленного крика Харитины в ту секунду, когда Магуд выхватил нож. Увидев кровь, стекавшую по пальцам Удалого, Харитина сорвала с головы белый платок и подошла к нему. Семен протянул руку. Обнажив ее по локоть, Харитина перевязывала руку.

Семен еще тяжело дышал, но уже успокаивался, чувствуя касание мягкой, шелковистой ткани, ласковое прикосновение пальцев, радуясь испугу, который трепетал в темных глазах девушки.

КОНСУЛ АМЕРИКАНСКИХ ШТАТОВ

I

В кабинете начальника Петропавловского порта окна были открыты настежь. Июльское солнце заливало слепящим светом летние мундиры офицеров и некрашенные половицы.

Из двух своих служебных кабинетов - губернаторского и портового Завойко любил второй, большой, не загроможденный мебелью, в недавно построенном здании портового управления. В летние месяцы тут было хорошо: ветер пронизывал угловую комнату, обращенную четырьмя окнами к заливу, причалы - рукой подать: слышен стук топоров, удары весел о воду, голоса матросов.

И в минувшем году Завойко пропадал здесь все дни, с самой весны до конца навигации. В кабинете всегда былолюдно, шумно, за распахнутыми окнами шла веселая рабочая сутолока. Редко увидишь здесь чиновника; тут толкнутся шкиперы, штурманские офицеры, портовые мастера, матросы. Теперь же, с ходом оборонительных работ, кабинет приобрел особую цену для Завойко: отсюда хорошо видна главная батарея на песчаной косе, и каждый, кто направляется на Сигнальную батарею или на Перешеечную через "седло", непременно пройдет мимо.

В этот июльский день в кабинет Завойко явился Изыльметьев. Час назад в бухте бросил якорь американский торговый бриг "Ноубль", он привез важные депеши для камчатского губернатора. На "Ноубль" отправился офицер местного гарнизона поручик Гезехус.

Офицеры с "Авроры", собравшиеся у Завойко, нетерпеливо поджидали возвращения поручика. Они надеялись, что среди депеш найдется кое-что и для "Авроры", - не хотелось верить, что их фрегат простоит в этом тихом, солнечном порту всю кампанию.

- Нет, господа, - не соглашался с Дмитрием Максutowым и Вильчковским Тироль, - на депеши для "Авроры" не надейтесь. В Петербурге никому и в голову не придет, что мы забрались сюда.

Он говорил негромко, поглядывая на широкую, чуть сгорбившуюся спину Изыльметьева, стоявшего в другом конце кабинета. Капитан застыл у окна, только пальцы его рук, заложенных за спину, методично вертели фуражку.

- Я боюсь худшего, - продолжал Тироль. - Севастополь... Не пал ли Севастополь? Не гуляет ли турок по Крыму под охраной английских орудий? Завойко оторвал взгляд от разложенного на столе плана расположения батарей и обронил хмуро:

- Не по зубам орешек. Не знаете вы Севастополя и севастопольцев.

- Признаться, не приходилось бывать, - ответил Тироль, но в тоне его по-прежнему сквозило сомнение.

- Во всяком случае с моря Севастополя не взять! - горячо заговорил Дмитрий Максutow; он слыл в кругу товарищей знатоком крепостной архитектуры и военной истории. - А с суши? Кто же не знает, что на суше англичане не мастера воевать!

- Не знаю, не знаю, - упорствовал Тироль. - Я кронштадтский житель, коренной петербуржец.

Изыльметьев не вмешивался в разговор. Он угрюмо следил за шлюпкой, шедшей к берегу по глади залива. Резкая складка легла со лба на переносицу, во всей его фигуре ощущалась мрачная, хмурая сосредоточенность. Он понимал, что поступил разумно, приведя "Аврору" в Петропавловск. Он спас экипаж, спас фрегат. Но теперь, в жаркие дни середины июля, сознание своей правоты уже не радовало измученного цингой Изыльметьева. Шло к тому, что "Аврора" останется в стороне от военной кампании, цинга тяжкие испытания минувших месяцев - все это скоро забудется, уже забывается, как и всякая боль, останется одно только щемящее, горькое чувство досады...

Досады ли только? Для тихоокеанских сил России сорокачетырехпушечный

фрегат весит немало, а он, капитан-лейтенант Изыльметьев, обрек "Аврору" на бездействие. Если случится беда и "Паллада" или "Диана" будут захвачены или потоплены вблизи Татарского пролива, Адмиралтейство не простит Изыльметьеву самовольного изменения курса. Кто знает, не вернется ли он из этого плавания простым матросом?.. Изыльметьев мрачнел, сторонился людей и редко выходил из своей каюты на "Авроре".

Явился рыжий красавец Гезехус, которому ни вызывающе яркий цвет волос, ни легкое заикание не мешали считаться местным "львом". Он привез пакеты и пачку американских газет. Завойко поспешно вскрыл пакеты, офицеры у дальнего окна занялись газетами, время от времени поглядывая на меняющееся лицо губернатора. Один Изыльметьев по-прежнему стоял у окна, его теперь уже неподвижные пальцы крепко стиснули околыш фуражки.

- Каково! - воскликнул вдруг побагровевший Вильчковский. - Этакого хвастовства мир не видывал! - Он потряс калифорнийским "Таймсом".

Американские газеты полны европейскими новостями. В Лондоне, в "Клубе реформ", был дан обед в честь Чарльза Непира, назначенного командующим английской эскадрой в Балтийском море. Седой адмирал торжествовал победу над своими соперниками. Сам Пальмерстон председательствовал на обеде, сам Генри Джон Темпл, пэр Англии, кавалер Большого креста ордена Бани, виконт Пальмерстон превозносил добродетели престарелого адмирала. Чарльз Непир пообещал в три недели овладеть Кронштадтом и Петербургом.

- Вы послушайте только! - горячился не на шутку рассерженный Вильчковский. - Нет, какова наглость! - Он прочел вслух: - "Лица, желающие сделать какие-нибудь поручения в Петербурге, могут адресоваться к Чарльзу Непиру, который находится теперь в Балтийском море и будет в Петербурге к 10 апреля". Кронштадт сгоряча не одолеешь! - кипел Вильчковский. - Об его граниты не один лоб расшибить надобно. Нельзя же так, господа, укоризненно покачивал он головой, будто перед ним находился сам издатель газеты, - пришел, увидел, победил! Хвастовство и скудоумие-с!

Тироль взял у него газету и недоверчиво пробежал глазами заметку. Через плечо Тироля заглядывал Гезехус; его белесые, навывкате глаза часто мигали.

- М-да-а... - обеспокоенно протянул Тироль.

Дмитрий Максutow рассмеялся:

- А вот и второй покоритель России - адмирал Дондас. Тут, господа, хвастовство, неприличное даже британцу; совершеннейшая Шехерезада! - Он прочитал несколько строк из сан-францисского "Курьера": - "Адмирал Дондас пригласил своих лондонских друзей на обед, который он намерен дать в Севастополе в первых числах апреля сего, 1854 года. За столом будут

прислуживать донские казаки". Не хватает только гурий...

- Шут гороховый! - воскликнул Вильчковский и так сердито надул свои толстые щеки, что Максотов и Гезехус рассмеялись.

Тироль учительно поднял руку, погрозил им пальцем:

- Грех, грех, господа, смеяться над этим...

Доктору трудно сохранять хладнокровие при чтении подобного рода газетных заметок. Петербург и Севастополь от Камчатки далеко, и, хотя шутовской тон этих заявлений лишал их основательности, на ум приходили самые мрачные предположения. А что, если дела приняли дурной оборот и за четыре месяца, прошедших с объявления войны, противник преуспел в своих намерениях? Не пал ли Севастополь, обогранный кровью русских моряков?

- Господа! - раздался звонкий голос Завойко. - Получены важные новости! - Изыльметьев резко обернулся, впился глазами в Завойко. - Я думаю, надобно вскорости ждать гостей...

Изыльметьев подошел, взял со стола аккуратно исписанный лист. Генеральный консул Соединенных Штатов на Сандвичевых островах Виллье направил письмо русскому консулу в Гонолулу с приложением своего обращения к камчатскому губернатору и шести экземпляров прокламации короля Камеамеа Третьего, рекомендуя отправить корреспонденцию в Петропавловск "на американском бриге "Ноубль", готовом к отплытию".

Консул Соединенных Штатов брал на себя почтовые хлопоты, рассыпался в приятностях и дружеских заверениях. Вместе с тем любезность его как бы предупреждала всякую возможность непосредственных сношений России с "суверенным гавайским государством". "Милостивый государь! - писал Виллье к Завойко в послании от 12 июня 1854 года, задержав на месяц отправку прокламаций Камеамеа. - Я имею честь при сем приложить для раздачи шесть экземпляров королевской прокламации о нейтралитете в продолжение войны, которая, к несчастью, объявлена в Европе. Вы увидите самые интересные подробности в No 5 от 10 июня газеты "Полинезиаль", который я прилагаю. Его Императорского Величества фрегат "Диана" вышел из нашего порта 10 сего мая неизвестно куда. Если он посетит Ваш порт, то прошу сделать мне честь засвидетельствовать капитану мое почтение и сказать ему, что я получил его любезное письмо от 10 сего месяца, но, так как он немедленно вышел, я не имел времени ему ответить. Я счастлив, что имею случай уверить Вас в отличном уважении и почтении, с которыми имею честь быть, Милостивый Государь, Вашим всегда покорнейшим слугой. Р. К. Виллье". - Заметили ли вы, господа, что мистер Виллье проболтался? - спросил Завойко, после того как послание консула было прочитано вслух.

- Признаться, нет, - недовольно сказал Изильметьев.

Завойко поднялся и заговорил раздумчиво, прищурив глаза:

- Ясно, что "Диана" ушла из Гонолулу внезапно, не осчастливив прощальным визитом любознательного Виллье. Виллье убежден, что "Диана" отправилась в Петропавловск! Он сумеет это внушить англичанам и французам, не слишком хорошо знающим наши берега. А результатом будет непереносимый визит вражеской эскадры. Теперь я в этом убежден больше чем когда-либо. Довольный собственным умозаключением, Завойко развернул экземпляр королевской прокламации. - А чем порадует нас самодержавный узник, король на службе у чужеземцев?

Заслонясь левой рукой от солнца, Завойко прочел прокламацию Камеаеа. "Да будет это известно всякому, до кого это касается, что Мы, Камеаеа Третий, король Гавайских островов, этим объявляем полный нейтралитет в войне, угрожающей теперь Великим Морским державам Европы, что наш нейтралитет имеет быть уважаем всеми воюющими, во всем пространстве нашей власти, - по напряженному лицу Завойко пробежала ироническая усмешка, что по нашим основным законам есть на расстоянии одной морской мили кругом всякого из наших островов - Гавайи, Мауи, Каулауи, Ланаи, Молокаи, Оау, Кауаи, Ниау, начиная с места низкой воды на всяком из берегов помянутых островов и включая все проливы, разделяющие эти острова один от другого и идущие между ними, что все призы и поимки внутри нашего вышеупомянутого пространства противозаконны и что покровительство и гостеприимство портов, гаваней и дорог будет распространяться на все воюющие стороны, как долго они будут уважать наш нейтралитет, и да будет далее известно всякому, до которого это касается, что Мы сим строго запрещаем всем нашим подданным и всем живущим на наших владениях участвовать в каперстве судов кого-либо из воюющих, под опасностью быть судимым и казненным.

Дана в нашем дворце в Гонолулу 16 мая 1854 г. Камеаеа". Прокламация о "полном нейтралитете", продиктованная Виллье, была на деле гостеприимным приглашением Англии и Франции пользоваться покровительством и услугами портов Камеаеа Третьего, которые благодаря своему географическому положению имели большое значение для судоходства в Тихом океане. Можно было не сомневаться, что в условиях войны русские суда, военные и торговые, будут держаться своих внутренних вод, а враги в полной мере пользовались всеми выгодами "нейтралитета" короля Камеаеа Третьего.

Завойко сопоставил письмо Виллье и прокламацию Камеаеа с газетными

сообщениями. Он обратил внимание офицеров на одну несообразность. Король Камеамеа Третий под страхом смертной казни запрещал своим подданным заниматься каперством, приватиством, то есть превращать купеческие корабли в крейсирующие вооруженные суда, с целью захвата торговых кораблей воюющих стран в виде "призов". Американские же газеты, привезенные на бриге "Ноубль" вместе с дипломатической почтой, публиковали заявление правительства Соединенных Штатов, которое отказалось запретить приватиство, несмотря на предложение Англии и Франции, сделанное еще в марте 1854 года, перед объявлением войны. В апрельских номерах газет было напечатано официальное заявление правительства Соединенных Штатов: "Наше правительство не имеет желания слушать какие-либо предложения о полном прекращении приватиства. Оно не намерено вступать ни в какой договор, коим оно бы лишило себя возможности обращаться к купеческому флоту страны в случае, ежели бы ему пришлось вести войну". Вместе с тем правительство Соединенных Штатов лицемерно настаивало на необходимости воспретить вообще военные нападения на купеческие суда и пространно толковало о "самообороне" торгового флота.

- Я, Василий Степанович, не искушен в дипломатических тонкостях, сухо заметил Изыльметьев, разочарованный содержанием депеш. - Предложение Соединенных Штатов кажется мне разумным и гуманным.

- Гуманным? - удивленно переспросил Завойко.

- Признаться, и мне оно кажется полезным, - сказал Тироль, которого обычно раздражала проницательность и, как находил Тироль, провинциальная бесцеремонность Завойко. - Запрещение нападать на коммерческие суда вообще сохранит множество ценностей, сохранит честь и жизнь многих людей, которые становятся легкой добычей пиратов, обуздает, наконец, грабительские инстинкты мародеров. Какой же вред может проистечь из этого?

Завойко досадливо отмахнулся от него:

- Вы толкуете о частных выгодах.

- Купеческая собственность есть достояние державы, - возразил Тироль.

- Справедливо, совершенно справедливо! - с жаром подхватил Завойко, обращаясь не к Тиролю, а к внимательно смотревшему на него Изыльметьеву. Честь нескольких сот граждан и содержимое купеческих трюмов - все это весит кое-что на чаше державных весов. Мы здесь каждым гвоздем дорожим. Завойко подошел к Изыльметьеву - его начинало тревожить настроение капитана - и проникновенно сказал:

- Но есть и более высокие ценности - судьба отечества! Вопли о гуманности, о святости и неприкосновенности купеческого добра - все это поставлено на службу самой своекорыстной силе нашего полушария, а может быть, и всего мира, не исключая Англии.

- Слишком сложно для меня, дорогой Василий Степанович, - сказал, скрывая раздражение, Изыльметьев и, заметив нетерпеливый жест Завойко, добавил:

- Будьте снисходительны: я моряк - и только.

- Не в том беда. Вы больны петербургским недугом - таким оптическим обманом. Любое происшествие в Европе: придворная сплетня, запретная дуэль, афоризм парламентского пустозвона - и уже шумят газеты, скрипят перья, отверзаются уста, идут толки и пересуды. А здесь у нас хоть скройся под воду целый материк, хоть перекраивай кто угодно деспотической рукой карту полушария - Петербург молчит. Мы тут - как дятлы, долбим, долбим, долбим, предупреждаем о событиях - и что же? Нас успокаивают как блаженненьких!..

Изыльметьев, видя, что Завойко оседлал любимого конька, приготовился терпеливо слушать. От наблюдательного Завойко не укрылось короткое, досадливое движение плеча Изыльметьева.

- Вы скоро тоже будете считать меня маньяком. Добро, - оставим в покое Петербург. Вы говорите - слишком сложно для вас? Скажу иначе: нынче английским и французским судам можно будет свободно плавать в Тихом океане, а русским - нет. Чего уж проще! - Завойко умолк на мгновение, словно ожидая ответа капитана, но тот молчал. - Зачем о миролюбии толкуют работоторговцы? С какой целью взывают к справедливости люди, истребляющие племена от Атлантического до Тихого океана?

В это время команда "Ноубля" проходила через плац к питейному заведению. Матросы шли тесной кучкой, пыля, весело переругиваясь. Один лишь шкипер, ежегодный посетитель Петропавловска, встречая знакомых, церемонно поднимал фуражку. Завойко проводил их взглядом и продолжил:

- Ныне черный штандарт рабства вздымается над Американскими Штатами, над страной, которая в прошлом снискала уважение целого мира справедливой войной против вездесущего англичанина! Нет, господа, не о гуманности, не о мире пекутся янки, ратуя за неприкосновенность торгового флота, а единственно о своих корыстных интересах, представляющих для мира не меньшую опасность, чем военные флоты европейских держав. Вот в газетке "Полинезиаль" эта маленькая заметка скажет вам о симпатиях Американских Штатов вразумительнее, чем все правительственные релиации. Поглядите!

Изыльметьев прочитал заметку, набранную петитом:

"В Америке, впрочем, радуются необыкновенному участию, которое Англия и Франция принимают в восточном вопросе, и соединяют большие надежды с употреблением в дело большей части морских сил означенных стран. Новый пароход "Вильям Норрис", который должен был совершать плавание через Атлантический океан в двадцать дней, продан турецкому правительству за 230 тысяч долларов".

- Теперь толкуйте о симпатиях, об отличном уважении, с которым имеет честь быть и оставаться мистер Виллье! - воскликнул Завойко, принимая из рук Изыльметьева газету. На улице слышались громкие крики, и Завойко беспокойно поглядывал в окна, но ничего необычного не замечал. - "Вильям Норрис", этакая махина в тысячу четыреста тонн, передается туркам! Американские порты, ремонтные мастерские, склады, магазины - все к услугам Англии. Американские купеческие суда на службе у французов, у всех, кто имеет достаточно денег, чтобы платить за них. Револьверы Кольта и нарезные ружья отправляются не в Петербург, а в Портсмут, в Гавр, нам же остается... отличное уважение достопочтенного мистера Виллье...

- Канальство, истинное канальство! - откликнулся Вильчковский.

Крики на улице росли. Завойко, выглянув в окно, увидел толпу, которая тесным кольцом окружила медленно едущую телегу. Впереди толпы адъютант Завойко, штурманский офицер Лопухов.

- Трифонова при-и-везли! - сказал заикающийся Гезехус.

За подводой шли не только зеваки, но и многие чиновники, забросившие ради такого события свои необременительные занятия.

Пока купца везли на боте по Пенжинской губе в Большерецк, он ухмылялся, чудил, похлопывал по плечу Лопухова. Сорил деньгами, смеялся, весело подмигивал командиру бота, приятелю, который не раз бывал в его хлебосольном и пьяном гижигинском доме.

Но когда Трифонова ссадили в Большерецке, связали и бросили на телегу под одобрительные крики камчадалов и русских поселенцев, он взбесился. Окладистая борода растрепалась и приняла дикий вид. Он не раз пробовал перекусить веревки белыми волчьими клыками.

Увидев в окне фигуру Завойко, Лопухов подбежал к зданию и стал навытяжку, с ног до головы покрытый дорожной пылью.

- Доставил-с, ваше превосходительство.

- Буянил?

- Вначале был тих, покорен. Полагал - пугаем. А когда убедился, такое вытворял, - Лопухов развел руками, - не поверите.

- Ладно. Развяжи его и веди ко мне. Судью кликни.

Трифонов тяжело ввалился в кабинет. Сверлил злыми глазами офицеров, избегая Завойко. Василий Степанович подошел к нему, спросил в упор:

- Укротили?

Купец угрюмо молчал.

- Эх ты, вепрь! Такое время настало, в России кровь православная льется, впору бы и тебе за ум взяться! Да куда там! Того и гляди, англичанину прислужишь, камчатские племена разбоем смутишь...

- Слышь-ка, Василь Степанович, - начал Трифонов полупочтительно, - ты меня перед миром не срами. Все старшой приказчик виноват, Козьма Скосырев. Каторжный он...

- Тебе пара.

- Не черни купеческого имени, - настаивал Трифонов. - Я тебя озолочу...

- Подлец ты, подлец! - невозмутимо ответил Завойко. - Тебе и невдомек, что не все то купить можно, что под богом живет.

- Все, Василь Степанович! Как есть все. - Он с тревогой посмотрел в нахмуренное лицо Изыльметьева, на окуляры Вильчковского, внутренне робея стольких незнакомых людей. - Тебя, может, и не куплю: ты характерный. Да ведь не тебе деньги даю, даю на капризы твои, на хозяйство. Хочешь, доставлю тебе сто лошадей, крепких, сибирских? Почту зимнюю за свой счет заведу... Тише Жерехова жить стану...

Вернулся Лопухов с Васильковым. Они остановились позади Трифонова.

Вильчковский поднял окуляры на лоб, уставился большими влажными глазами на Завойко и проговорил с явным интересом:

- Ишь ты, почту сулит... Полезное дело!

Ободренный Трифонов пообещал:

- Церковь новую поставлю!

- Не твоими руками церкви строить, душегуб! - И Завойко приказал полицмейстеру. - Увести его! В железа!

Трифонов побелел, затрясся, заговорил торопливо, сбивчиво:

- Гимназею построю!.. Нищих кормить буду...

- Тебе нищих плодить, а не кормить! - отрезал Завойко.

Купец долго цеплялся за косяк двери, ругался и норовил вырваться из рук казаков.

Когда наконец дверь за ним закрылась, Васильков сказал:

- Купец дело говорит, Василий Степанович. Лучше бы с пользой для края. В Иркутске непременно откупится.

- Мы его здесь судить будем.

- Невозможно-с! Купец первой гильдии, не подлежит-с. Только Иркутск и Санкт-Петербург.

- Тогда готовьте бумаги - и в Иркутск!

Судья с сожалением взглянул на губернатора.

- Напрасные усилия-с...

- Нет! - отрезал Завойко. - Бумаги! И в дорогу! Немедля в дорогу! Глядеть за ним, шельмой, в оба, не то отобьют: приказчик-то Скосырев бежал.

Подвода с Трифоновым тронулась к гауптвахте.

Протодиаконская октава Трифонова гремела на весь порт. Люди смеялись. Даже Чэзз, который обычно оказывал Трифонову знаки внимания, трясся от смеха, упершись покатою спиной в дверь своего магазина.

Отойдя от окна, за которым стихал шум, Завойко проговорил, будто извиняясь перед офицерами:

- Сколько лет терпели, подумать невозможно! А и без него не слаще будет. Не доставит купец хлеба - и люди остаются аки птицы небесные, не имея чего съесть. Но у птиц крылья, они долетят к пище, а человеку невозможно... Любите этой край, господа, - закончил он простодушно, - не хмурьтесь на него. II Экипаж торгового брига "Ноубль" принес в Петропавловск известие о скоплении больших неприятельских сил в Тихом океане. Из Большерецка, из Тигиля и Нижне-Камчатска тоже приходили тревожные слухи, их привозили иностранные китобои, плававшие у восточного и западного побережья полуострова. Слухи множились. В воображении служилого люда и чиновников небольшие неприятельские отряды, замеченные в Ванкувере, на Сандвичевых островах и в океане, вырастали в грозные эскадры. Жены рыбаков и поселенцев во всем находили дурные приметы: и в необычно буйном даже для Камчатки росте трав, и в том, что слишком рано отошла чавыча, что Авачинская и Жупановская горелые сопки и плоский Толбачек курились сильнее обычного и чаще погрохатывала, содрогаясь, гористая камчатская земля.

А в конце июля 1854 года жители поселка снова хлынули к причалам, - в малой бухте бросил якорь транспорт "Двина". Он привез из Иркутска партию сибирских стрелков в триста пятьдесят штыков, капитана второго ранга Александра Павловича Арбузова, назначенного помощником Завойко и командиром порта, и специалиста по крепостному строительству инженер-поручика Мровинского.

Стрелки, набранные из тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого сибирских линейных батальонов, крепкие таежники, несмотря на тяжелый переход по Охотскому морю, держались бодро.

Прибытие "Двины" губернатор воспринял как последнее усилие Иркутска помочь ему. Теперь-то уж больше нечего и неоткуда ждать. Судьба, именно судьба, а не равнодушное начальство, уже одарила его нечаянной радостью: если бы не цинга, штормы и противные ветры, не видать бы ему "Авроры", с ее экипажем и артиллерией. Да и "Двина" на неизведанном пути от Шилки до озера Кизи, в опасном амурском лимане, рисковала немало, а вот пришла, на радость камчатцам!

На следующий день после прибытия "Двины" Завойко, Изыльметьев, Арбузов и Мровинский с небольшой группой офицеров осматривали окрестности Петропавловска. Завойко и Изыльметьев шли впереди: губернатор - в партикулярном платье, с непокрытой головой, капитан - в темном мундире, болтающемся на исхудавшем после болезни теле. За ними шел Мровинский, недовольный плохо проведенной ночью, вяло откликавшийся на обращения начальства, Тироль, Арбузов, командир "Двины" и кое-кто из местных чиновников.

Осмотр начали с северной окраины Петропавловска. Здесь, между склонами Петровской горы и оконечностью Николки, лежало Култушное озеро, отделенное от Авачинской губы песчаной косой. Между Николкой и Култушным озером в узком дефиле изгибалась грунтовая дорога. Она вела в глубь полуострова.

Серое небо нависло над портом. Туман окутал зыбким покровом озеро и Авачинскую губу. Он сблизил горы, и в это туманное утро казалось невероятным, чтобы неприятель, если он явится на Камчатку, решился напасть на город через узкое озерное дефиле. Тут намечалось сооружение батареи, уже названной Озерной.

- Еще пять лет назад Николай Николаевич Муравьев, посетив Петропавловск, указал на необходимость укрепления этого пункта, - сказал Завойко и обратился к Мровинскому с вопросом:

- Как вы полагаете?

Офицеры и чиновники, кто с интересом, а кто с притворной пристальностью, озирали местность.

- Если иметь в виду защиту этой дороги, - уклончиво ответил инженер, - артиллерийские позиции могут оказаться нелишними.

В тоне инженера не было ни уверенности, ни согласия. Он недовольно двигал широкими ноздрями, под которыми топорщились густые усы. При первом знакомстве губернатор показался ему суетливым, беспокойным человеком. Накануне, еще не умолкла барабанная дробь, пока стрелки сходили с "Двины" на берег, Завойко уже засыпал инженера вопросами и приглашал на

ближайшую Кошечную батарею.

- Мне хотелось бы получить более точный ответ, - настаивал Завойко. Нужна ли в этом пункте батарея? Необходима ли она? У нас слишком мало пушек!

По лицу Мровинского пробежала гримаса недовольства.

- Может быть, я недостаточно хорошо знаю местность, - сказал он, рассеянно поглядывая вокруг, - но размышляя над картой, которую меня снабдили еще в Иркутске, я думал, что эту дорогу можно было бы считать опасной только в случае бунта камчадалов или коряков, а не нападения с моря. Морской десант будет отражен береговой батареей, она должна воспрепятствовать высадке.

- А если противник все же высадится?

Мровинский пожал плечами.

- Всего не предусмотреть, господин губернатор, - сказал он. - К тому же мы будем иметь противников не дикую орду, а европейцев, английских и французских офицеров, тактика которых достаточно хорошо известна.

- И вы думаете, - не отставал Завойко, - что деликатность помешает им напасть на город с севера, даже если береговая батарея будет уничтожена?

- Я полагаю, что главного удара следует ждать непосредственно со стороны порта, - холодно ответил Мровинский. - Если противник придет на Камчатку с ничтожными силами, он не рискнет напасть на нас. Если же силы его будут достаточно велики, он ударит в лоб и постарается достичь успеха. Ну а буде он и вовсе не явится, тогда я думаю, не так уж важно, воздвигнем ли мы батарею для защиты дороги.

"Э, голубчик, - решил Завойко, - ты просто недоволен тем, что тебя оторвали от дома, от устроенной жизни ради какого-то Петропавловска! Ничего, ничего, потрудишься, потерпи немного! И тут ведь люди живут, век живут..."

Он хмуро посмотрел на инженера и закончил разговор, сказав подчеркнуто:

- В последнем случае вы правы. Только в последнем!

Обогнув затем Никольскую гору, они вышли на узкую береговую полосу, прижатую к скалистым обрывам. Лесистый узкий полуостров, образованный двумя горами и "седлом", соединяющим горы, тянулся на полтора километра к югу, защищая своими склонами город и порт. Скалы круто падали в Авачинскую губу, подступали к самой воде, оставляя только серую ленту обвального щебня.

Изыльметьев молча шагал по влажным камням крупным, размашистым шагом, и Завойко с трудом поспевал за ним.

- Загоняете вы меня сегодня! - пожаловался он шутя Изыльметьеву, когда они на короткое время остановились у перешейка между Никольской и

Сигнальной горой.

В полуовале седловины виднелась серая гладь петропавловской гавани и очертания Петровской горы, словно гравированные на стали. Офицеры и чиновники, поотстав немного, посматривали на забавную пару: ссутулившегося, широко шагавшего капитана и поспешавшего за ним низкорослого губернатора.

Едва стало известно, что "Аврора" не сможет уйти из Петропавловска и останется на зимовку, среди чиновников начались разговоры о том, как сложатся отношения Завойко и Изыльметьева.

"Аврора" не была приписана к Петропавловску, и командир ее являлся самостоятельным начальником. Ему подчинялась команда, хотя и малочисленное местного гарнизона, но составленная из опытных офицеров, артиллеристов и хорошо обученных матросов. Сорок четыре фрегатских орудия представляли собой серьезную силу для обороны Петропавловска, но распоряжался ими Изыльметьев, - Завойко своею властью не мог снять с фрегата ни одной пушки.

Оба они, капитан и губернатор, уже немолоды. Оба, несмотря на высокое положение, представлялись многим неудачниками, обойденными наградами и милостью начальства. К тому же люди думали, что неторопливый Изыльметьев раздражался и делался молчаливым от бойкости и подвижности Василия Степановича. "Нашла коса на камень!" - говаривали чиновники, питавшие неприязнь к Завойко. Все знали, что Изыльметьев не пожелал съехать на берег и сразу же из госпиталя вернулся, несмотря на протесты Вильчковского, в свою каюту на "Авроре". Он редко появлялся на вечерах в доме Завойко и держался подчеркнуто вежливо с губернатором, сохраняя в отношениях с ним некую дистанцию, невольно обращавшую внимание окружающих.

Отношения Завойко и Изыльметьева оставались неясными, и потому многих очень удивило, когда Вильчковский, выслушав кого-то из чиновников, рассмеялся от души и неожиданно сказал:

- Какие глупости! Да они души друг в друге не чают! Руку даю на отсечение... И Вильчковский был прав.

Чувство уважения к Завойко под влиянием событий и времени росло в душе Изыльметьева. Несмотря на все внешнее несходство, Изыльметьев угадывал в Завойко близкую ему натуру, человека немелочного, пытливого, свободного от начальственной спеси. На взгляд Ивана Николаевича только это и могло служить п р о б о й личности. Человек начинался с этого; он мог отличаться самыми разнообразными чертами и свойствами натуры, но прежде всего он

обязан быть человеком, жить с людьми и для них. Перед Изыльметьевым был человек, облеченный властью, но желавший употребить ее только на пользу края. В Завойко он чувствовал истинного моряка, офицера, который знает и любит море. Лет десять назад он прочел книгу Завойко "Впечатления моряка" и, как большинство людей, не владеющих пером, испытывал особое уважение к людям, одаренным талантом сочинительства.

Еще одно непонятное окружающим обстоятельство глубоко затронуло душу Ивана Николаевича. После годичной разлуки с женой и матерью он ощутил большую привлекательность и человеческую теплоту многолюдной семьи Завойко. Изыльметьеву нравилась орава детей, живых, голосистых, которые никому не мешали, никого не раздражали, хотя и бывали так же шумны, как и всякие дети.

Ни высокомерному Тиролю, ни камчатским чиновникам невозможно было проникнуть во взаимоотношения Изыльметьева и Завойко. И так как натурам ограниченным свойственно прилагать ко всему миру мерку собственной души, люди, сопровождавшие начальство при обходе бухты, посмеивались про себя и пребывали в ожидании неизбежных конфликтов.

У седловины Завойко и Изыльметьев не задержались. Мровинский еще вчера, при первой беседе над планом порта, высказал предположение о постройке батареи в самом "седле": сооруженная на возвышенности, она составит важное звено в обороне правого фланга и окажется вне выстрелов неприятельских судов. Оставалось практически решить вопрос о размере батареи и ее фасов, об огневых средствах и артиллерийских платформах.

Обогнув южную, расширявшуюся лопаткой оконечность Сигнальной горы и поднявшись по крутой тропинке, они достигли гранитного карьера, где велись круглосуточные работы. Это место самой природой было назначено для защиты Петропавловска. Пока будет действовать Сигнальная батарея, ни один корабль не сможет подойти к внутреннему рейду и проникнуть в узкий проход между кошкой и Сигнальной горой. Высеченная в гранитной скале и защищенная справа каменным траверсом, батарея Сигнальной горы станет настоящей крепостью, способной выдержать любой огонь.

Неподалеку, за гранитной скалой, послышалась песня Магуда и чей-то восхищенный голос произнес:

- Ну и ленив же ты, американ!

Завойко выглянул из-за камня. Тут был Магуд, отправленный Завойко на строительство батарей, и рядовой батальона сибирских стрелков Никифор Сунцов. Магуд лежал подле носилок, нагруженных камнями, и дурачился, не обращая внимания на Сунцова, который добродушно приговаривал:

- Ну и ленив, скотина! Ну и гульный же ты человек! Не миновать тебе палочной академии!

Магуд толкнул с носилок под откос увесистую глыбу и, протянув Сунцову кисет, сказал:

- Кури.

Сунцов присел на корточки, вытащил из выцветших казачьих штанов трубку и стал вдавливать в нее табак большим пальцем.

- Послушай, парень, - толкнул Магуд стрелка, - правда, что по Амуру корабли в море ходят?

Сунцов задумался.

- Не скажу. Не видел, - промолвил он протяжно. - Может, ходят, а может, плывут.

- А ваш транспорт?

- "Двина"?

- Да.

- Мы с озера Кизи.

- Кизи? - Такого Магуд не слышал.

- Оттуда. Долго шли. И пешком ходом, и шлюпками, и кораблем.

- По Амуру?

- Всякое бывало. И амурской водицы попили, - сказал с достоинством Сунцов.

- Теперь там крепости делаем...

Завойко вышел из-за укрытия. Сунцов вскочил и вытянулся, уставясь глазами на начальство. Поднялся и Магуд.

- Запомни, Магуд, - сказал Завойко с расстановкой, - шпионить станешь - выберу камень потяжелее, - он ткнул ногой носилки, - привяжу к шее и брошу в Авачинскую губу.

С Сигнальной горы открывалась панорама Петропавловска и берега. На берегу воздвигались две батареи: одна - направо, у Красного Яра, южнее всех остальных, Кладбищенская; другая - в основании кошки, самая крупная, на десять-двенадцать орудий. Кошечная батарея была главным замком на входных дверях порта, она защищала проход в Петропавловскую бухту.

С высоты Сигнальной горы было особенно ясно видно, как точен и правилен замысел Изыльметьева: он предложил загородить проход в бухту боном из скрепленных якорными цепями бревен, запасного рангоута и стеньги и поставить в бухте, за боном, "Аврору" и "Двину" левыми бортами, чтобы суда могли встретить неприятеля полным бортовым залпом. Пушки другого борта должны быть сняты и установлены на крепостных батареях.

Неискушенным юнцам и романтикам, подобным Пастухову, замысел этот

представлялся созданием осторожного, недерзкого ума. Он обескрыливал фрегат, отвергая надежду на смелый маневр, abordажные схватки и преследование врага.

Море лениво плескалось у Сигнального мыса, набегая на отмель. На двадцатиметровой высоте строители батареи отбивали камень кирками и специальными молотами, изготовленными в портовых мастерских, расчищали площадку для пяти пушек - двух бомбических, двухпудового калибра, и трех обычных, тридцатишестифунтовых, стрелявших ядрами. Тут предполагалось разместить более шестидесяти человек, ядра и артиллерийское хозяйство. Работа подвигалась медленно. Люди с трудом вгрызались в красный, словно кровоточащий гранит.

Здесь находились лейтенант Гаврилов и наблюдавший за инженерной частью Дмитрий Максutow, который за день успевал по нескольку раз побывать на каждой из батарей.

- Сизифов труд, - признался Дмитрий Максutow, после того как Гаврилов отдал официальный рапорт и Завойко перешел на дружеский тон. - Долбим скалу с усердием необыкновенным. Еще немного усилий - и мы окажемся по ту сторону земного шара, в каменном Кронштадте.

- Я бы не советовал вам, Дмитрий Петрович, появляться там в таком виде, - заметил Изыльметьев.

Максutow посмотрел на свои сапоги, покрытые пылью, на измятый мундир и начал торопливо застегивать пуговицы.

- А что касается сизифова труда, - продолжал капитан, - вы неправы. Труд Сизифа - бессмысленный труд, унижающий человека и самое понятие о человеке как о разумном существе. Нам же с вами хорошо известна цель работ.

- Понимаю, - сокрушенно вздохнул Максutow и сказал с подкупающей искренностью: - Я вполне научился жить интересами этого захолустья, да извинит меня господин губернатор...

- Нет, голубчик, - возразил с притворной строгостью Завойко, - не извиню и Ивана Николаевича попрошу не прощать вам всяческого вольнодумства.

Максutow посмотрел на Завойко, затем на многоверстный, скрывавшийся в тумане простор Авачинской губы и сказал с тоскою в голосе:

- Что ж, казните, если угодно, но и мне иногда думается, что нам здесь нечего делать, хотя обстоятельства и привязывают нас к Камчатке. III Если бы кто-нибудь поручился, что на Камчатке соединенная эскадра найдет "Аврору", упущенную в Перу, Дэвис Прайс немедленно приказал бы поднять паруса и взять курс на север, к берегам России.

Положение адмирала было очень сложным.

За евангелическими речами министров королевы Виктории Прайс без труда угадывал действительные цели британской политики на Дальнем Востоке. Моряк и человек коммерции, он внимательно следил не только за военно-дипломатическими шагами английского правительства, но и за возрастающей экспансией Соединенных Штатов в районе Тихого океана. Более того, он с горечью видел, что по крайней мере в северном районе Тихого океана янки решительно опережают медлительное, по мнению Прайса, английское правительство. Многочисленные силы Англии приковал к себе азиатский материк: военные корабли Ост-Индской морской станции были заняты Китаем, огромной, непокорной, свободолюбивой страной.

Конечно, британских разведчиков и миссионеров хватает и на то, чтобы натравливать китайского богдыхана на Россию, и подрывать кяхтинскую торговлю, и шпионить на огромном протяжении тихоокеанской русской границы. Но теперь, когда британский флот занят в Европе, а тихоокеанские эскадры блокируют охваченный огнем крестьянских восстаний Китай, британский кабинет не отважится на захват русских земель на Дальнем Востоке - этого не сделает ни осторожный, слывущий русофилом премьер-министр Эбердин, ни злодышащий русофоб Пальмерстон.

Другое дело Соединенные Штаты. Пока Англия и Франция воюют с Россией, они попытаются и при сравнительно малом флоте урвать у последней все, что возможно; вытеснить русских с Аляски, обосноваться на Сахалине и в Сибири, подчинить себе Японию, а если позволят обстоятельства, то и отторгнуть Чукотку и Камчатку. Прайс знал, что у русских берегов уже более полугода плавает американская военная эскадра Рингольда-Роджерса, которая занимается то разведкой угля в Пенжинской губе, то съемкой малоисследованных берегов. Ясно, что при малейшей военной неудаче русских на Дальнем Востоке янки сумеют прибрать к рукам опустошенные районы. По свойственной американским политикам бесцеремонности они, впрочем, и не таят своих намерений подобно медоречивым британским министрам. Еще в 1848 году конгресс заслушал записку советника Верховного суда Американских Штатов Аарона Пальмера "О современном географическом, политическом и коммерческом состоянии, промысловых запасах и торговых возможностях Сибири, Маньчжурии и островов Тихого океана". Аарон Пальмер рекомендовал тогдашнему президенту Полку прямую экспансию в Сибири и Китае. Прайс не сомневался в захватнических целях Штатов, - у них каждые четыре года меняются президенты, но не меняются алчные планы деловых людей Америки.

Ясно, что пока Англия не разделается с русскими на европейском театре войны, нечего и ждать решительных действий англичан на востоке России. От Прайса в настоящее время ждут не эфемерных захватов, а практических действий: он должен уничтожить русские военные суда и, обезопасив таким образом английскую торговлю в Тихом океане, заняться безнаказанным разорением русских берегов, поселений, факторий.

Прежде всего должны быть потоплены - или захвачены - русские фрегаты и корветы. Если Прайс сожжет береговой пост или пустынный, оставленный русскими малоизвестный порт, а в это время "Аврора" потопит несколько британских судов с драгоценными грузами, - старому адмиралу несдобровать. Но достаточно потопить находящиеся в тихоокеанских водах суда русских - и с морскими силами России здесь надолго будет покончено; в военное время ни один русский корабль не рискнет выйти из Кронштадта в кругосветное плавание. Вот тогда можно будет заняться русскими поселениями и, может быть... решиться на большее, снискав благодарность парламента и адмиралтейства.

Но русские фрегаты то и дело ускользали от Прайса.

Лето 1854 года казалось ему каким-то кошмаром. Представь себе адмирал, что обстоятельства сложатся так неблагоприятно, он больше никогда не ступил бы на палубу военного корабля, предоставив подвиги и славу молодым. Прайс не потерял еще ни одного судна, английские купцы преспокойно бороздили воды Тихого океана, а он чувствовал себя отвратительно: легким не хватало воздуха, мысли ускользали, несмотря на мучительные усилия сосредоточиться. Над головой собирались тучи, адмирал предчувствовал неотвратимость грозы, но поделиться своими опасениями ему было не с кем. Феврие Депуанта нельзя серьезно принимать в расчет. Пока в его руках находилось самостоятельное руководство французской эскадрой, он еще силился показать наличие твердости и воли. С начала мая, как только слухи о войне подтвердились, Феврие Депуант официально стал вторым лицом на соединенной эскадре. Но он не ушел в тень, не заперся в своей каюте на "Форте" в ожидании того часа, когда превратности судьбы позволят ему играть первую скрипку в тихоокеанской кампании. Он стал словоохотливее прежнего. Вместе с ответственностью, которая легла главным образом на плечи Прайса, он весь отдался незлобивым шуткам, ироническим колкостям и невинным на первый взгляд двусмысленностям, приводившим в бешенство Прайса. Депуант стал остроумнее, скучные сентенции о долге и чести реже извергались из его уст, - словом, он стал самим собой: судил обо всем не задумываясь, высказывал по несколько самых противоположных

мыслей на день и был бесконечно доволен делами, хотя шли они из рук вон плохо.

- Все превосходно, мой адмирал! Все идет как нельзя лучше! Вы огорчены?.. Вас по-прежнему тревожит *petite escadrille* адмирала Путятин? Пустое! Могу поручиться, что они заблудились в Тихом океане и еще обратятся к нам за помощью. Сохраните бодрость, об остальном позаботятся наши офицеры и отважные матросы.

Вот так он обычно отвечал на тревогу Дэвиса Прайса, спеша покончить с неприятной темой и завести разговор о мелочах, почерпнутых из маленьких газет, толковавших о войне с осведомленностью приказчиков модного магазина.

А "отважные матросы" уже начали дезертировать с кораблей эскадры. Правда, у Прайса было одно утешение: дезертирство на его эскадре не шло ни в какое сравнение с массовым бегством в Австралию матросов, воевавших в Китае и Бирме. Сотни моряков - англичан и чужеземных наемников - бежали в австралийские порты и на мыс Доброй Надежды еще до того, как корабли приходили в гавани, захваченные у китайского богдыхана. В войне, которую Англия вела на Востоке, жестокость ее офицеров превосходила их бездарность. Но ошибки этой кампании и массовое дезертирство не прошли даром: лорды адмиралтейства решили отозвать начальника Ост-Индской морской станции вице-адмирала Флитвуд-Пеллау и назначить на его место контр-адмирала Джемса Стирлинга.

Да, сэр Флитвуд-Пеллау, стоявший прочно, как виндзорский дуб, повержен, смещен и, надо полагать, посрамлен, несмотря на свои седины. Прайс отчетливо представил себе заседание парламента, издевательский запрос какого-нибудь бездельника, любопытство которого оплачивается газетами. Реплики, полные сарказма, оглушительный топот ног, отвратительные выкрики: "Слушайте! Слушайте!" - и комья грязи, не натуральной, конечно, но еще более липкой, неотвязной, падающие на благообразную голову Флитвуд-Пеллау. "Господа! - хочется крикнуть Прайсу. - Ведь он не щадил чужой крови ради ваших интересов, ради Англии и ее величества!"

Иногда Прайсу казалось, что на заседании парламента раздается и его имя. Кто-то насмешливо выкрикнул его, и оно покатилося по рядам без каких-либо других слов и дополнений. Только имя. Короткое имя, без титулов! А сколько насмешки, унижения, издевательства в том, как выкрикивают его в парламенте, выталкивают из луженых глоток, швыряют из угла в угол! В такие минуты Прайса покалывал озноб, он проводил ночи без сна, а утром появлялся на палубе сумрачный.

В июне с "Президента" бежало несколько матросов. Это совершенный пустяк. Что значит пять-шесть человек для эскадры? Но факт дезертирства стал известен калифорнийским газетам. Заметки, напечатанные в Сан-Франциско, попали и в другие газеты Тихоокеанского бассейна, и Прайс с ужасом увидел, сколь извращены и преувеличены были цифры и факты. Создавалась неприятная картина повального бегства матросов. Прайс ясно представлял себе, как паническая информация о дезертирах скользит по телеграфной ленте, падает в типографские кассы лондонских газет. Теперь уже имя Прайса выкрикивает толпа, возбужденные лавочники, сытые комиссионеры, приказчики, кондукторы omnibuses, грубые "кэбби".

"Все может быть! - думал Прайс. - Все может быть! Я стар, но разве во всем королевском флоте есть хоть один адмирал моложе шестидесяти лет?! Слава богу, традиции британского флота еще живы, и никто не позволит сорокалетним мальчишкам командовать с адмиральского мостика. Но увы, традиции флота ничто для шайки грязных политиков! Они готовы посягнуть и на традиции и на славу британского флота, только бы вернее наращивались проценты и богатели купцы... Старая, славная гвардия! Вице-адмирал Перси, старший из нас по службе, получил капитанский чин в 1806 году, а самый младший, контр-адмирал Брюсс, - только в 1821 году, тридцать три года тому назад... И эту стену пытаются разрушить, пробить медными лбами молодые честолюбцы, мальчишки!.."

Размышления о "честолюбивых мальчишках" носили вполне конкретный характер. Дэвис Прайс достаточно наблюдателен, чтобы видеть среди окружавших его офицеров людей, которые охотно поддержали бы билль о контроле над производством и увольнением на флоте, неоднократно вносимый и, к счастью, отвергаемый парламентом. Прайс сам был молод и помнит, какими презрительными кличками одаривает молодежь стариков, упорно не желающих сходиться с мостика.

Дэвис Прайс порой перехватывал такие взгляды тупицы Барриджа или горластого лейтенанта Клеменса, за которые он охотно прогнал бы их с кораблей, если бы взгляды были наказуемы. Но первый номер среди внутренних врагов Прайса не капитан "Президента" Барридж, не Клеменс с отвратительной нижней челюстью, выдающейся на полвершка вперед, не долговязый командир морских солдат Паркер, а Никольсон - капитан фрегата "Пик", старший после Прайса офицер на английской эскадре... Этот сорокадвухлетний командир с темными, непроницаемыми глазами, резкий и высокомерный, был четок, исполнителен, говорил мало, скупясь на слова и обещания. Никольсон сторонник крайних мер и наступательной тактики во

всех случаях жизни. До ушей Прайса еще в Кальяо дошли хвастливые слова Никольсона о том, что он в полчаса привел бы "Аврору" в полное повиновение, если бы не слишком осторожная тактика адмиралов.

Очко в пользу Никольсона! "Аврору" следовало захватить. Глупо церемониться и щепетильничать, когда все решалось так просто. Виноват Депуант! Он сумел заразить Прайса своей нерешительностью и колебаниями. Русские ушли при полном штиле. Прайс еще не приготовился к плаванию и не мог начать немедленное преследование. А через несколько суток "Аврору" уже было и не найти в океане. Безуспешные поиски "Авроры" унизили бы Прайса, выставили бы его на посмешище! А тут еще Депуант, его постоянная забота о соблюдении приличий, о необходимости дожидаться официального разрыва! Прайс постарается внушить Лондону, что всему виной нерешительность Депуанта. Но защитит ли это его, Прайса, от клеветы Никольсона, имеющего большие связи в адмиралтействе?

Прайс поживался на верхней палубе "Президента", вглядываясь в пасмурное небо. На "Пике", которым командует Никольсон, все обстоит благополучно, с "Пика" не дезертировал ни один матрос. Все дезертирства, как назло, с "Президента", флагманского фрегата. Сам Никольсон наблюдает за своими матросами с зоркостью полисмена. С "Пика" невозможно бежать, разве что броситься за борт, в открытое море.

Итак, на "Президенте" - случаи дезертирства, на "Пике" - образцовый порядок, мир и благоденствие. Вот и второе очко в пользу Никольсона. Он расчетливо играет роль вождя "партии смелых". На военном совете в Кальяо Никольсон не преминул выразить удивление, почему эскадра простояла на рейде целых десять дней - с седьмого мая, когда подтвердились известия о войне, до семнадцатого мая. Мог ли Прайс сказать, что он попросту не знал, что делать, куда направить корабли? Прайс туманно намекнул на "высшие соображения", которыми он и его "друг адмирал Феврие Депуант руководствовались в виду особых обстоятельств". Никто не поверил ни в "высшие соображения", ни в "особые обстоятельства", и Никольсон снискал общее одобрение.

В июне капитан "Пика" предложил, не теряя времени, отправиться к Сандвичевым островам, полагая, что русские, "если они еще не утонули и не стали легкой добычей отдельных боев (он старательно подчеркнул это слово) единиц нашего флота, неминуемо должны оказаться там". Прайс медлил, отсиживался у берегов Америки и прибыл в Гонолулу через восемнадцать дней после отплытия русского фрегата "Диана". Когда портовый чиновник, явившийся на "Президент" с визитом, сообщил об этом Прайсу, Депуанту и

находившимся на флагмане офицерам, контр-адмирал сделал огромное усилие, чтобы не взглянуть на Никольсона. В эту минуту Никольсон, вероятно, подсчитывал, на сколько дней задержали эскадру у берегов Калифорнии упрямство и нерешительность Прайса, и торжествующе посматривал на адмирала: "Вот, полюбуйтесь на плоды вашей трусливой тактики! Упустили "Аврору", проворонили "Диану"... А захвати или уничтожь мы два русских фрегата, что осталось бы от пресловутой эскадры Путятина? Старая рухлядь "Паллада", которая менее всего могла бы взять на себя тяжкий труд крейсерства, да еще два-три мелких суденышка!"

Известие об уходе "Дианы" из Гонолулу и, следовательно, еще одна упущенная возможность уничтожить другой русский фрегат угнетали Прайса и внушали ему самые мрачные предчувствия. Все складывалось слишком плохо, словно назло Прайсу. Отклоняя предложение Никольсона, Прайс не упрямылся, а действовал по своему расчету и разумению. Он не верил, что "Аврора" или любой другой русский корабль рискнет появиться в одном из оживленных портов Тихого океана, зная о несомненном преобладании в них английских и французских судов. Таков был ход мыслей Дэвиса Прайса, и капитан корвета "Тринкомали" только подтвердил справедливость суждения адмирала, сообщив о встрече с "Авророй" в самом неожиданном месте, вдали от путей, рекомендованных лоциями.

И все-таки жизнь опровергла логическую схему Прайса. "Аврора" шла опасным, малоизвестным путем, а дерзкий капитан Лесовский привел "Диану" в Гонолулу, под дружескую сень пытливого и заботливого мистера Виллье.

Сидя в уютной качалке на прохладной веранде консульского дома в Гонолулу, Прайс с завистью читал воинственные посулы Чарльза Непира, Дондаса и других мужей, вознамерившихся одним ударом покончить с Россией. Чарльз Непир в триумфальной колеснице на улицах побежденного Петербурга! Дондас, окруженный одалисками и полусотней пленных казаков в высоких меховых шапках! Чужие предприятия всегда кажутся более осуществимыми, чем собственные, даже несложные начинания, и Прайс, трезвый, здравомыслящий Прайс, начинал верить в победы своих счастливых коллег, считая себя неудачником в этой войне.

Прайс и теперь больше всего опасался крейсерства русских судов. Успешное крейсерство русских наверняка навлечет на него гнев Лондона. Сообщение капитана "Тринкомали" усилило беспокойство адмирала. Капитан Изильметьев казался умным, опытным моряком. Он не мог по ошибке или по незнанию так отклониться от принятых путей. В распоряжении Прайса находились фрегаты "Президент", "Форт", "Пик", пароход "Вилаго", корветы

"Эвридик", "Облигадо", "Амфитрит" и "Артеми́с". В случае нужды эскадра могла быть увеличена, - англо-французский военный флот в Тихом океане насчитывал десять крупных фрегатов, семь пароходов, четыре военных корабля и шесть вооруженных двухмачтовых шлюпов. Но все эти силы не могут воспрепятствовать успешному крейсерству, ибо иголку в стоге сена отыскать легче, чем фрегат в безрадостной пустыне Тихого океана. Огромное протяжение американского берега, не говоря уже об океанских просторах, нельзя надежно прикрыть даже всем британским флотом. Прайс с ненавистью думал о том, что Дондас, действующий в Черном море у берегов России, располагает эскадрой в сто с лишним вымпелов. Но рассчитывать на большее, чем имеет Прайс здесь, где русские интересы считаются вовсе незащищенными, не приходится.

Депуант, с некоторых пор охваченный воинственной решимостью, твердит о необходимости идти к русским берегам с целью их разорения, но Прайс озабочен защитой английского коммерческого флота. Он охотно откликнулся бы на призыв Депуанта, если бы на русском побережье существовали богатые поселения, верфи, магазины, склады. Уничтожив их и захватив ценности, Прайс поступил бы в согласии с лучшими традициями флота ее величества. А разорять пустынные берега, пугать голодных туземцев, назначать новых князьков и объявлять чужие земли своей собственностью только для того, чтобы потерять эту собственность при первом попутном ветре, теперь, пока Тихий океан бороздили русские военные суда, - было, по мнению Прайса, безрассудно. Идти к русским берегам, тревожить лежбища тюленей и сивучей, оставляя в покое русские суда, - против такой тактики Прайс из чувства самосохранения решительно восставал.

Где может находиться эскадра Путятина? Куда исчезла "Аврора"? В каком порту скрывается "Диана", ускользнувшая из Гонолулу? Все, что было известно Прайсу, указывало на восточные берега России. Но легко сказать восточные берега России! Тысячи верст сурового, неприступного берега, омываемого самыми бурными, неприветливыми морями мира. Грозные ловушки Курильские проливы, о которых лучшие английские штурманы говорят с суеверным страхом. Безлюдье Сахалина. Закупоренный отмелями и песчаным перешейком Амур. Охотск и Аян - два порта на побережье Охотского моря, где стоянка столь же опасна, как соседство рифов в штормовую погоду. Наконец Петропавловск, где-то совсем на краю света... Вот что такое эти восточные берега России! Правда, моряки рассказывают чудеса об Авачинской губе. Там тихо, спокойно, удобно. Там спасались остатки третьей экспедиции Кука. Отчаявшиеся мореплаватели нередко

находили там приют.

Но не там ли обрели могилу многие баловни судьбы, которых смерть щадила в других широтах? Не там ли похоронен Лаперуз, Кларк, сменивший Кука? Не там ли сложил свою буйную голову знаменитый Барбер, который еще при жизни стал героем пиратских повестей и романов? Прайс гнал от себя эти мысли, но Петропавловск вставал в его воображении в виде черной гористой земли, покрытой могилами. Зловещая страна вечного покоя!

Известия о современном состоянии Петропавловска-на-Камчатке самые противоречивые. "Полинезияль" сообщил, что к середине июля в петропавловском порту находился сорокачетырехпушечный фрегат, корвет "Оливуца" и коммерческое судно Российско-Американской компании "Камчатка", что порт "укреплен многочисленными батареями и эти укрепления непрерывно усиливаются. Жителей в Петропавловске до четырех тысяч и в том числе сильный гарнизон. Все жители обязаны военной службой и хорошо вооружены".

Прайс несколько раз пробежал заметку. Он научился не верить газетным сообщениям, но невольно задумывался над тем, что Петропавловск все чаще упоминался в разговорах офицеров, в сообщениях купцов, словно какая-то сила намеренно подсовывает ему эту карту, как ни тасуй колоду.

Оранжевый диск солнца опускался за горизонт. Пальмы на берегу потемнели, вскоре их силуэты четко обрисовывались на фоне пылающего неба. Но и с наступлением вечера прохлада не приходила на веранду дома британского консула в Гонолулу, где теперь находились хозяин дома, Прайс, Депуант, Никольсон, командир "Президента" Барридж и неперменный Виллье, наблюдавший собеседников сквозь дымчатые очки.

Прайс брезгливым жестом положил газету на тростниковый стол.

- Если сведения о Петропавловске так же точны, как сообщение о дезертирстве с "Президента", - процедил он, - то гарнизон этого русского порта следует исчислять примерно в четыреста - пятьсот человек.

Никто не поддержал его.

- Такая цифра, - продолжал Прайс, помолчав, - отвечает рассказам купцов и китобоев, которых нам удалось опросить.

Все молчали.

Прайс вопросительно посмотрел на Депуанта, плохо переносившего тропическую жару.

- Я убежден, что мы справимся с ними, - сказал Депуант и, неопределенно махнув рукой, утер платком лицо, по которому обильно стекал пот, - сколько бы их там ни было, четыреста или четыре тысячи. Конечно, если там не так

жарко, - добавил он сквозь вымученную улыбку.

- Камчатка - страна вечных снегов и белых медведей, - глубокомысленно сообщил английский консул.

- Согласен! На все согласен! - буркнул Депуант и в притворном отчаянии развел руками.

В разговор вмешался Виллье. Все умолкли, вслушиваясь в его тусклый, дистиллированный голос, лишенный живых интонаций.

- Газета не должна вызывать вашего раздражения, господин адмирал. Этот листок, как и все подобные ему, тем и полезен, что он сообщает заведомо ложные сведения. Пресса превратилась бы в страшный бич человечества, вздумай она давать точную информацию. Она разоблачала бы политиков, упрощала бы труд полководцев, лишая его риска, а значит, и некоторой части славы, уничтожала бы хитроумные комбинации деловых людей. Пусть знает мир, что в Петропавловске четыре тысячи хорошо вооруженных солдат, хотя это ложь, фантастика, миф. - У Виллье неприятный рот; верхний ряд зубов карнизом нависает над нижней губой, над тупым и бесхарактерным подбородком. Чувствовалось, что этот человек не выдержал бы пустякового испытания на море, ничтожной опасности, боли, голода - всего, что выпадает на долю моряка, и оттого его правота особенно раздражала офицеров. - Если вам случится покорить Петропавловск, мир воздаст вам величайшую хвалу, как победителям многочисленного гарнизона. Потерпев поражение, ищите газету вернее, наймите газету, - способную доказать, что гарнизон Петропавловска насчитывал восемь тысяч стрелков, - и ваша честь спасена.

- А по-вашему, сколько там солдат? - резко спросил Никольсон, которого больше других злил менторский тон Виллье.

- Немногим больше, чем полагает господин контр-адмирал. Может быть, шестьсот. Не более семисот. Но дело не в этом. Русские плохо вооружены, у них нет нарезных ружей. Ваши стрелки будут иметь большое преимущество. Когда Виллье закрывал рот, редкие, расширявшиеся книзу зубы ложились на вялую губу. - Необходимо знать, где находятся русские фрегаты. "Аврора" ушла из Кальяо, не простившись с вами. Капитан "Дианы", господин Лесовский, очень любезный, обязательный господин, не явился ко мне с прощальным визитом. Я был бы рад передать ему привет, письмо. Я и раньше думал, что "Диана" уйдет в Петропавловск. "Полинезиаль" убеждает меня в том, что я прав. - Виллье сложил руки на груди, протянул вперед ноги в щегольских сапогах, которые все же не могли скрыть две неприятно выпиравшие косточки больших пальцев. - "Оливуца", несомненно, там. Господин Назимов, командир фрегата, ушел в Петропавловск из Гонолулу.

Мы провожали его всем нашим тесным дружеским кругом. "Камчатка", надо полагать, привезла провизию. Есть основания думать, что и третье судно, о котором упоминает заметка, - сорокачетырехпушечный фрегат не выдуман газетой. Это "Диана".

- Или "Аврора", - сказал Никольсон.

- Может быть, - согласился Виллье. - Хотя я лично думаю, что "Аврора" ушла в Ситху и займется крейсерством у берегов Калифорнии. Лавры "Эссекса" и нашего славного капитана Портера не дают покоя русским.

Никольсон ожесточенно сжал челюсти. Прайс тоже находил это замечание Виллье бестактным в обществе офицеров флота ее величества.

Через два дня Прайс, после новых мучительных колебаний, принял решение. Соединенная эскадра немедленно отправится к берегам Камчатки. Если ему удастся захватить врасплох корвет "Оливуца" и один из русских фрегатов, он уничтожит почти половину неуловимого отряда Путятин. Хорошо бы, конечно, найти там "Аврору" - он сумел бы вознаградить себя за ошибку, допущенную в Кальяо. Но "Диана", пожалуй, важнее для русских. Она новейшей постройки, отлично вооружена. Потеря такого фрегата была бы весьма ощутима. Озабоченный походом к берегам Камчатки, Прайс не оставил без охраны и тихоокеанские торговые пути. Корветы "Артемис" и "Амфитрит", присоединившиеся к эскадре в бухте Анна-Мария на острове Нукагива, отряжались на время камчатского похода для наблюдения у берегов Калифорнии.

Прайс твердо надеялся застигнуть эскадру Путятин или часть этой эскадры в Петропавловске. Может быть, там и назначено место зимовки. Слухи о каких-то гаванях в Татарском проливе, о каких-то открытиях русских на Амуре недоверчивый Прайс относил к числу легенд, в которых нет недостатка на море. Если судьба и на этот раз будет благоприятствовать ему, соединенная эскадра одним ударом покончит с морскими силами русских на Тихом океане. Слава богу, худшее время осталось позади. Апрель, май и июнь - самые трудные месяцы для плавания у берегов Камчатки - миновали. Кончились сплошные туманы, утихли непокорные ветры, бросавшие суда на пустынные скалистые берега. С попутным ветром, задувшим 25 июля, Дэвис Прайс рассчитывал быстро достичь Петропавловска. Построив суда в кильватерную колонну, он отправился в путь.

Ветер, который сначала дул в корму, сменился порывистым галфиндом и заставил Прайса уклониться в сторону, но эскадра благополучно двигалась к цели. Все спокойно, только в душе Прайса было по-прежнему пасмурно, хмуро. По ночам ему виделся Виллье с черными впадинами вместо глаз,

тонущие купеческие корабли, матросы, хватающиеся за обломки мачт; тюки хлопка, уходящие в воду, и газетные листы, падающие на него с тяжестью свинцовых плит.

АВГУСТ

I

Наступил август, а сигнальщики с Дальнего маяка не тревожили жителей Петропавловска известиями о чужих кораблях. После прихода "Двины" в порту наступило затишье. Изредка разве мелькнет в заливе рыбачий парус да медленно проползет на плоском брюхе плашкоут, груженный кирпичом или углем. Уже и птицы стали сбиваться в стаи, готовясь к отлету. По утрам клектуши и казарки подымали деловой галдеж, не похожий на звонкие весенние крики или ликующие летние призывы. Были они чем-то озабочены, встревожены, выбирая вожака в дорогу или обсуждая подробности небесных маршрутов.

В Камчатке лето кончается сразу же после первых заморозков. Осень расползается желтизной и пятнами багрянца, сушит листву, а ночные ветры сбрасывают ее на тронутую инеем землю. Но пока еще, в солнечный воскресный день середины августа 1854 года, когда компания молодежи отправилась из Петропавловска на прогулку к Светлому ключу, лето было в полной силе. Дружно вставали травы после июльского покоса, багряные кисти рябины были разбросаны в сочной, налитой влагой и теплом зелени.

Общество, собиравшееся по вечерам в гостиной Юлии Егоровны, за несколько недель привыкло к аврорцам, включило их в круг своих интересов и продолжало прежнее неторопливое существование.

Из офицеров в рыцари ломберного стола был принят один-единственный Тироль, как равный, не затмивший, однако, ни судьи, ни правителя губернской канцелярии, - они обнаруживали за вистом такую меткость ума и выдержку, какую нельзя было в них и заподозрить. Тироль часами просиживал за ломберным столом, хмуря тонкий профиль с прямым носом и четко, словно резцом гравера очерченными, правильными губами. Молчание, нарушавшееся только короткими и только к делу относящимися репликами, было ему по душе. Константин Пастухов так непростительно помолодел в Петропавловске, что, с легкой руки Юлии Егоровны, его все стали называть Костенькой с такой нежностью, которая могла повредить продвижению по службе. Братья Максutowы оказались и здесь в центре общего внимания: Александр - в роли спорщика и мизантропа, Дмитрий - весельчака и души общества.

Со дня прихода "Двины" Зарудный находился в радостно-возбужденном настроении. Он получил через Мровинского письмо от Якушкина, большое, обстоятельное, с пространными рассуждениями о Камчатке и Сахалине и с такими серьезными, деловыми предложениями, словно Зарудный был не безвестным титулярным советником, а по меньшей мере вице-губернатором Восточной Сибири.

Якушкин и прежде не жаловал англичан, величая их "спесивцами" и "рыжими". В своих ученых рассуждениях он воздавал должное их систематичности и склонностям к механике, но от других похвал воздерживался. Восток же и прежде занимал умы его товарищей по тюрьме и каторге, а десятилетия жизни в Сибири усилили этот интерес. К тому же, крайним Востоком ведал Николай Николаевич Муравьев, а в его окружении было немало родственников декабристов. Русская Америка, Камчатка, Амур, Сахалин были постоянно в поле зрения тесного ялutorовского кружка ссыльных.

В письме к Зарудному Якушкин настаивал на первостепенной важности этого края для России, ссылаясь на авторитет Пестеля, Рылеева*, Штейнгеля, Романова - людей, чьи имена были святы для Зарудного. Он напоминал ему пророческие слова Пестеля о том, что для твердого установления государственной безопасности, для упрочения границ Сибири крайне необходимо, чтобы все течение Амура, начиная от озера Далай, принадлежало России, и не поленился сообщить выдержки из послания Николая Александровича Бестужева в Читку, от 27 декабря 1853 года (о котором узнал от Д. И. Завалишина), побуждая Зарудного, а вместе с ним и большой круг административных лиц, к активности. "Не знаю, удастся ли нам справиться с англичанами и французами, - писал Бестужев Завалишину, - но крепко бы хотелось, чтобы наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех частях света. Надобно поскорей занимать Сахалин и ближайшие к нему берега, а иначе англичане влезут к нам в карман!"

* Рылеев в 1824 году был правителем канцелярии Российско-Американской компании. "Сколь верна эта мысль! - продолжал Якушин. - Сколь своевременна она! Прошу тебя, любезный и юный друг мой, не забывай в суетных и усыпляющих душу делах народных нужд, будущего нашего народа, его неизмеримых страданий и безмолвных упований на людей, не всегда остающихся верными назначенному долгу. Не умножай рядов позорно бежавших с поля брани, в сытости пребывающих, отдавшихся течению

жизни, словно неодолимой магнетической силе. Будь русским: пусть ухо твое остается чутким к печальному звону кандалов, которым наполняется земля наша, пусть ни один вопль, ни один крик боли не оставит бесчувственной твою душу, пусть зрелище позора и насилия возмущает твою кровь; пусть Тирания остается для тебя самым ненавистным понятием; верь в будущее исполина-народа, будь с ним и в помыслах и в делах своих! Пусть страшная кара падет на голову того, кто три десятилетия глумится над Россией, кто не внял голосу справедливости, но отдал жизнь лучших сынов России палачам! Поделом ему! Но за Россию, за народ сердце не раз кровью обольется. Твердо верю и знаю, что ты не сойдешь с пути. Но много ли вокруг тебя людей, способных подняться над мелочностью узких интересов, над мнимым патриотизмом, рожденным не мукой душевной, а страхом перед начальством? А нужно, чтобы нашлись люди, готовые грудью своей и жизнью постоять за этот далекий край и не отдать его на растерзание высокомерному британцу. Верю - найдутся. Ибо в такие часы в нашем народе всегда находились во множестве люди отважные и благородные сердцем, а успех предприятий бывал тем больший, чем меньше внимания устремляло на них мертвящее бюрократическое око. Однако же вожаки нужны. Нужен план, нужны сметливые головы, а сколько при них чинов и орденов, неважно, не о том забота..."

"Ты знаешь, друг мой, сколь я ненавижу рабство под любой личиною, сколь отвратительны мне насилие и подлая несправедливость, на каком языке ни воспевалась бы она продажною посредственностью, но подлость и насилие английских барышников, посягающих на национальную жизнь других народов, на их свободу и самое существование, мне вдвойне омерзительны. Неужели всему миру готовят они участь умирающей с голоду Индии или отравляемого гомерическими дозами опиума Китая?"

Зарудный впервые получил т а к о е письмо от Якушкина. Оно выражало не только привязанность учителя к ученику и интерес к его судьбе, в письме получилось, что он, Анатолий Зарудный, несет и личную ответственность за благополучие края и его безопасность в дни войны.

Зарудный решил показать Маше письмо. Пусть прочтёт непременно, никакие рассказы, никакие похвалы не скажут о человеке так убедительно, как его собственные мысли.

После поездки по полуострову он встретился с Машей просто, легко, словно и не было никакой размолвки. Видя, как радостно бросилась Маша ему навстречу, Зарудный забыл об обиде и о своем намерении держаться в стороне.

Через день после прихода "Двины" Зарудный показал ей письмо Якушкина. Сегодня с утра Зарудный и Маша вместе с шумной компанией молодежи отправились к Светлому ключу, в окрестности Петропавловска. Дорога шла мимо зарослей отцветшего шиповника и редкоствольных березовых рощ, сквозь которые виднелись склоны Петровской горы.

Зарудный и Маша опередили всех. Когда не стало слышно зычного голоса Дмитрия МаксUTOва и звонкого хохота Насти, они свернули с дороги и сели на траву. Темное платье Маши свободно легло, закрыв поджатые ноги, крепко охваченные в коленях смуглыми руками. Она положила маленький острый подбородок на колени и мечтательно смотрела на низкорослые деревца, рассыпавшиеся по склону.

Листья маленьких берез шевелились беззвучно, будто околдованные прозрачной тишиной, и только одно деревцо тихо шелестело глянцевитыми листиками. Казалось, весь мир уснул, обласканный августовским теплом. Стояла та особая тишина, какая бывает на исходе лета. Прерывистый стрекот кузнечика напоминал об ушедшем июльском зное. Небо, выцветшее у горизонта, по мере приближения к зениту наливалось голубизной и синью. Смотришь в небо - и не ощущаешь воздуха, но стоит взглянуть на ярусы деревьев и кустарника - и кажется, что прозрачную ткань воздуха можно снять, так же как снимают рыболовные сети, развешанные для просушки.

- У молодых березок, - сказала Маша, - ветви не такие, как у старых. Посмотрите, Анатолий Иванович! Они еще тянутся вверх, а не свисают бессильные, грустные... Отчего это?

- Не знаю, Машенька. Вероятно, молодость, упрямство.

- Что же мешает им простоять так всю жизнь?

- Мудрость и доброта, - шутливо ответил Зарудный, подчиняясь ее настроению. - С годами они постигают простую и вечно мудрую истину: что нельзя век простоять одиноко, в гордой уединенности...

- Это - мудрость. А доброта?

- Доброта? Она клонит их к земле, торопит прикрыть ее своими ветвями, сплести над землей светлый, ласковый шатер. Оттого наша справедливая земля так любит березу. Тополь она посылает в чопорные парки, ставит как часовых у господских владений, а сама купается в березовом раздолье...

- Наряжается в рябиновые ожерелья! - подхватила, смеясь, Машенька.

- ...Одевается в дубовый кафтан, подпоясывается ивовым кушаком, надевает на голову колючий сосновый малахай!

Маша залилась счастливым смехом. Зарудному мучительно хотелось броситься к Маше, обнять ее, рассказать о своей любви. Но именно это

желание делало Зарудного беспомощным и неуверенным.

- Хорошая сказка, - сказала Маша, возвращаясь к нарушенному ходу мыслей.

- Но для людей она не годится. У нас тоже наступает время, когда мы никнем, покоряемся чему-то, что сильнее нас... В нашем домашнем альбоме есть дагерротипный портрет моей матушки. Веселая, милая хохотунья... Совсем как Настенька. Прошло не так уж много лет, а человек вовсе переменился. До неузнаваемости, до полной своей противоположности. А ведь люди не думают о ласковом шатре над землей, они до конца дней пекутся о личном интересе.

- Да, у людей иначе, - согласился Зарудный. - Не сгибаются и не никнут лучшие, те, кто думают о других, живут для других. Они и в величайшей бедности сохраняют верность своей натуре.

- Это очень трудно, - задумчиво сказала Маша, - а для некоторых и вовсе невозможно. - Она откинулась на руках, опершись ладонями о траву, и спросила: - Вы уважаете Александра МаксUTOва?

Вопрос неприятно кольнул Зарудного. Он ревновал Машу к МаксUTOву и уклонился от прямого ответа.

- Я предпочитаю Дмитрия.

- А все-таки? - настаивала Маша.

- Мы с Александром МаксUTOвым мало знакомы. Мы чужие люди, неприязненно подчеркнул Зарудный слово "чужие".

Маша выпрямилась и в упор посмотрела на Зарудного большими, настойчивыми глазами.

- Вы не любите его, я это заметила. А почему? Почему вы, справедливый человек, не любите другого, который не сделал вам зла, который ровен и одинаков со всеми?

Из-за поворота дороги, стелющейся у подошвы горы, донеслись голоса.

- Мне кажется, что господин МаксUTOв не только ровен со всеми, но и холоден, равнодушен к целому миру.

- Он очень любит Дмитрия.

- Это слабость, не изменяющая натуры.

- Нет, - Маша упрямо тряхнула головой, - я думаю, что он несчастлив. Одинок и несчастлив. Порой меня охватывает желание растормошить его, заставить проснуться.

- В этом нет нужды, - возразил Зарудный, - у господина МаксUTOва холодная, трезвая голова.

- Я часто думаю о том, как принял бы МаксUTOва Мартынов, стараюсь взглянуть его глазами, но это не всегда удается.

- Надобно иметь свой взгляд на вещи, - сухо заметил Зарудный.

Маша ответила не сразу. "О разном говорим", - подумала она.

- Вам это трудно понять, Анатолий Иванович. Мартынов - первый человек, который заговорил со мной серьезно, то есть очень весело, как никто другой весело, и вместе с тем серьезно. Он заставил меня читать, думать, сам того не понимая. - Маша улыбнулась. - Матушка только тогда и вздохнула, когда мы уехали из Иркутска. Все опасалась чего-то... Так вот, вчера, сама не знаю зачем, я дала Максutowу свою тетрадь. Там записи, дневники, предназначенные для Мартынова. Он полистал тетрадь и сказал: "Чрезвычайно интересно..." - таким тоном, каким говорят "вздор", "чепуха". Потом заметил мою растерянность и добавил, что "людям редко удается изменить течение действительной жизни, и тем охотнее они предаются самообману...".

Зарудный хотел было ответить, но к ним подошла вся компания.

Война стала привычной темой разговоров. И сюда, в этот отдаленный угол России, столичные газеты принесли унылое однообразие слов, казенную фразеологию, удобно выражавшую верноподданнические чувства дворянства, разменную монету ходовых сентенций. Часть людей овладевала ими тем легче, чем более пусто было в их голове и в сердце. Но праздная болтовня раздражала и здесь каждого, кто серьезно относился к развивавшимся в мире событиям.

Поэтому, когда между разговором о бумаге альбеспейрес - "лучшей перевязи для шпанских мушек", о красотах магазина господина Бастида в Санкт-Петербурге и о намерении господина Тьера удалиться от света и посвятить всего себя составлению книги о ходе изящных искусств с 1830 года, отпечатав ее в пятидесяти экземплярах для коротких друзей, - когда в одном ряду с этими сенсациями и восторгами по поводу "Крестницы" Жорж Санд зашла речь о войне, Зарудный, который захватил с собой охотничье ружье, решил было, что наступил подходящий момент незаметно оставить компанию. Молодой чиновник с капризно взбитым хохолком высказал глубокомысленное предположение, что и Луи Наполеон был искушен и обманут вероломной Англией - страной, преступно уравнивающей купца и монарха, обманут и роковым образом вовлечен в эту войну.

- Что же, по-вашему, - насмешливо сказал Дмитрий Максutow, император французов - легкомысленная кокотка, которую можно подкупить дешевыми посулами?!

Чиновник переменялся в лице от одной только мысли, что кто-нибудь может заподозрить его в таком дерзостном посягательстве на достоинство короны, - короны! - кому бы она ни принадлежала.

- Вы превратно толкуете мою мысль, - проговорил он дрожащим голосом.
- Да мысль-то не ваша, - с усмешкой заметил Дмитрий, - вы сорвали этот незрелый плод с газетного листа! Признайтесь!

Кто-то откровенно засмеялся.

- Все равно, - ответил побагровевший чиновник, - газета - зеркало общественной жизни. Господа издатели пишут о том, что уже сложилось во мнении общества. Я и не мыслил так трактовать личность императора. Он обманут, истинно обманут и введен в заблуждение. Временное затемнение ума, - запинаясь, стал говорить молодой человек, - к величайшему несчастью народов, постигает и лиц... э... лиц... отмеченных ореолом монаршей власти! Немало тому примеров дает нам древняя история.

- А новейшая? - наседал Дмитрий.

Чиновник беспомощно развел руками.

- Бросьте! - миролюбиво сказал Дмитрий, видя, что противник умолк. Добро бы еще Луи Наполеон жил в земле папуасов, питался кокосовыми орехами и носил набедренную повязку вместо горностаев и тончайших лионских сукон... Ореол монарший...

Но договорить Дмитрию не удалось, истерический фальцет молодого человека прервал его:

- Вы кощунствуете!

- А вы, сударь, защищаете злейшего врага России, - парировал Дмитрий, улыбаясь. - Помилуйте, о ком речь идет? О Луи Наполеоне, племяннике Наполеона Бонапарта, жестоко поколоченного в России. Вы говорите: "обманули", "искусили", "роковым образом вовлекли"?! Ничуть не бывало, не таков ваш Луи Наполеон. Если угодно, я могу изобразить вам в лицах, как была соблазнена Франция. - И, поощряемый заинтересованными взглядами стоявших вокруг, Дмитрий продолжал: - Представьте себе, что Настенька прекрасная Франция, я - коварный Альбион. - Он подошел к Насе и, скрестив на груди руки, почти прорычал: - Послушайте, любезная ветреница! Я хороший сосед и отменный человек. У меня тяжба с Россией, пустяковая тяжба с той нелюбезной страной, в которой Наполеон потерял свою армию и честь и откуда его несчастная звезда направилась по дороге к Ватерлоо. - Он подмигнул Настеньке: - Идите за мной, красавица! Вы не совсем узнали русских Наполеон слишком быстро бежал из этой суровой страны, - и вам будет весьма приятно подраться с ними. Дайте нам корабли, а главное - солдат, побольше солдат; полководцев мы и у себя сыщем. Оставьте дома шпионов и доносчиков, а тех, кто еще недавно орал: "Рес-пуб-ли-ка!", отправьте к русским. Пусть они там покроют себя славой и могильным

саваном, к общему удовольствию... Согласны?

Настенька растерянно молчала.

- Видите?! Настенька молчит, а Луи Наполеон подсчитал барыши и сказал: "Согласен!" Он ведь мечтает диктовать порядки Бельгии, Голландии, Пьемонту, а если удастся, то и целой Европе.

К этой теме, пожалуй, и не возвращались бы больше, если бы в разговор не вмешался Александр.

- Митя, твои сентенции об императоре Наполеоне неуместны, - сказал он наставительно, - они пахнут пустым шутовством.

Добродушная улыбка сползла с лица Дмитрия.

- Я не намерен обсуждать с тобой этот вопрос, - холодно сказал он.

- Отчего же? - глаза Александра сузились, и голос сразу стал не приветлив. Чтобы скрыть охватившее его напряжение, Александр непринужденно опустил на траву.

Перед глазами Дмитрия возник вдруг берег реки в Ракитине подмосковном имении старого дяди, у которого он проводил летние каникулы. Был там у Дмитрия друг - пастух Прошка, рослый веснушчатый мальчишка, обучивший его рыболовной премудрости. Прошка был на три года старше Дмитрия, умел подражать крикам птиц, находить их гнезда, мог пройти на руках по песчаному берегу к самой воде. Однажды в Ракитино приехал и Александр. Прохор рассердил Александра каким-то грубым словом, и тот прогнал его прочь. Тогда Александр тоже побледнел, опустил на песок и равнодушно шарил рукой по речным ракушкам, украдкой поглядывая на Дмитрия, готового вот-вот расплакаться...

- Ты слишком хорошо знаешь мои мысли, - сказал наконец Дмитрий, бледнея.

- Нам нет нужды говорить об этом.

Вокруг все молчали, не сводя с них глаз. Александр хладнокровно взвешивал щекотливость и остроту положения. Наконец он сказал:

- Пожалуй, ты прав. Но нам всегда следует помнить о том, что русский солдат пойдет умирать с именем монарха на устах.

Зарудный давно собрался уходить, но при первых же словах Александра почувствовал, что теперь он непременно останется и вмешается в спор. Поправляя ружейный ремень на плече, он ждал только повода, и повод этот сейчас ему представился.

- Если ваше поучение, господин Максutow, предназначается исключительно для нижних чинов, то вы не достигли цели: здесь их нет, проговорил Зарудный, чеканя каждое слово.

Александр Максutow весь подобрался от неожиданности, но ответил

небрежно, с чувством своего безусловного превосходства:

- Я говорил о солдатах, господин титулярный советник, символически. Генерал, действующий в войске, - тоже солдат. Ни возраст, ни форменный мундир, ни табель о рангах не могут освободить человека от исполнения патриотического долга, от известного образа мыслей.

Полулежа, он подбрасывал на ладони серый камешек. Маша сидела растерянная, предчувствуя недоброе и считая себя в чем-то виноватой.

- Неужели нет других идеалов, способных толкнуть человека на подвиг? - промолвил Зарудный.

- Например? - Максutow высоко подбросил камешек и ловко подхватил его.

- Афиняне эпохи демократии считались хорошими воинами. Их знаменем была Греция.

- Но Александр Македонский победил их, - невозмутимо возразил Александр, - не правда ли?

- Это уж совсем другой вопрос. Ведь и Рим, императорский Рим, поработили варвары, едва ли способные проникнуться высокими идеалами просвещенной монархии.

Зарудный произвольным движением снял ружье с плеча и, опершись на него, приготовился к дальнейшему спору. Лево́й рукой он беспрестанно теребил усы. Вихрастый, жилистый, с широкими отворотами охотничьих сапог, он напоминал разозленного деревенского петуха.

- У камчатских чиновников, - сказал Максutow, окидывая быстрым взглядом Зарудного и чиновника с хохолком, - повальная болезнь: по любому поводу обращаться к древней истории.

- Уроки истории весьма поучительны, господин лейтенант.

- Рассуждая о древних, вы забываете о современности, упускаете из виду Россию, живущую по законам, присущим ей одной. - Наконец и Александр Максutow заговорил не холодно-бесстрастно, а с большой внутренней заинтересованностью. - В России даже бунтовщик, подобный Пугачеву, для успешности своего предприятия вынужден был назваться монархом. Он знал Россию не хуже некоторых канцелярских народолюбцев, господин титулярный советник.

- С той поры Россия далеко шагнула, - сказал Зарудный, с трудом сдерживая злость.

- Разрешите полюбопытствовать: куда?

Зарудный мгновение поколебался, взглянул в побелевшее лицо Маши, на ее взметнувшиеся в испуге брови и, сердясь на самого себя, произнес вызывающе громко:

- В Сибирь!

Максутов не ожидал такой откровенности. Он удивленно приподнялся и, заметив горящий взгляд Маши, растерянность окружающих, сказал, улыбнувшись:

- Оставим ученые споры и отвлеченности, господин Зарудный. Вы, - он саркастически оглядел Зарудного, - единственный среди нас вооруженный и, кажется, самый воинственный в этих широтах человек, скажите нам: ради чего вы пойдете на подвиг, на смерть?!

- Я?!

- Да, вы!

Зарудный вскинул ружье на плечо и сказал:

- Ради отечества своего! В нем слилось для меня и честь предков, и добрый народ, ничтожной частицей которого я признаю себя, и земля, вскормившая меня. Эти идеалы стоят того, чтобы отдать за них жизнь.

- Вот как!

- Да, да... Вы офицер, господин Максутов, и должны знать, что на морском штандарте государя императора орел держит в клювах и лапах только четыре моря - Балтийское, Белое, Черное и Каспийское. Только четыре! Увы, Восток забыт. Что ж, но у нас русский флаг, и ради него мы пойдём на смерть!

Зарудный повернулся, чтобы уйти, но Максутов остановил его.

- Вы не полностью изложили свою программу, господин Зарудный. Максутов вскочил на ноги, его губы уже болезненно кривились. - А ненависть к тирании и рабству, которую вы столь усердно внушаете некоторым доверчивым лицам? А опаснейшие цитации из запретных сочинений малопочтенных господ? А этот чугунный перстень, - он показал пренебрежительно на руку Зарудного, - разве ради него не стоит отдать жизнь?

Пораженный Зарудный уставился на Машу.

"Рассказала! Предала! - мелькнуло в голове Зарудного. - Все святое, хранимое в сердце, защищенное от недружелюбных взглядов, все, что я доверил ей, брошено под ноги - и кому?!"

- Ради этого кольца, - проговорил он наконец, подняв вверх правую руку, - я мог бы умереть. Оно частица моего отечества. Этого не понять ни вам, ни тем, чье бесчестие не щадит чужих тайн. - И, вскинув ружье на плечо, он пошел по узкой тропинке под гору.

Маша, сидела, низко опустив голову. Окружающие настороженно смотрели на нее, - они хоть и не понимали всего, но чувствовали, что Маша имеет какое-то отношение к ссоре этих двух людей.

Тень птицы мелькнула невдалеке по зеленому склону горы, но самой птицы никто не увидел. В этот день Пастухов впервые поцеловал Настю. Девушка, напуганная ссорой, причины которой она плохо понимала, инстинктивно искала защиты у Пастухова. В сумерки вся многочисленная компания - днем к молодежи присоединились и степенные обыватели - тронулась в обратный путь. Впереди всех двигались Вильчковский, Андронников и Иона, который дерзнул распевать церковные псалмы на манер и мотив, непростительные для священнослужителя, с легкомысленным припевом, сочиненным нетрезвым землемером. За ними в большом отдалении следовали остальные. Шествие замыкали старик Кирилл и две девушки, нагруженные корзинами с чайными принадлежностями и винной посудой. Светлое платье Насти мелькало в кустарнике позади всех. Несколько раз ее окликали, и веселое Настино "а-а-у-у" доносилось издалека. Потом о Пастухове и Насте забыли.

Настя шла, опираясь на руку Пастухова и ощущая теплое жестковатое прикосновение сукна. Пастухов говорил об "Авроре", о Кронштадте и Петербурге, чувствуя рядом с собой доверчиво открывшееся сердце.

Они подошли к окраинным домикам. Пастухов остановился и, не выпуская ее руки, повернулся к Насте, ощутив на своей щеке короткое, взволнованное дыхание девушки. Он порывисто обнял ее и прижался к горячим губам.

- Настенька, милая Настенька! - бормотал Пастухов, опускаясь на колени и целуя ей руки. - Не гоните меня... Я люблю вас, люблю всей силой души...

Постояв несколько секунд с зажмуренными глазами, она тряхнула головой, улыбнулась и, взяв Пастухова за руку, пошла с ним на раздававшиеся впереди голоса.

- Я люблю тебя, радость моя... - твердил Пастухов, словно боясь, что если он умолкнет, то в мире случится что-то непоправимое.

- Милый! - тихо отвечала Настя и прятала свою руку в широкой ладони Пастухова.

Они шли по улицам Петропавловска, не слыша ни склянок "Авроры", ни запоздалых криков чайки, ни того, как господин Трумберг, почтенный ревельский патриот, поклонник Магуда и помощник Диодора Хрисанфовича Трапезникова, расспрашивал у дровяного склада нижних чинов, прибывших на "Двине", об их путешествии по Амуру. II Петропавловск-на-Камчатке.

Дом коллежского секретаря,

Управляющего аптекой морского госпиталя

г. Лыткина.

В собственные руки

Марии Николаевны Лыткиной

От есаула А. Г. Мартынова.

Озеро Кизи, в устье Амура. Мой первый друг, мой друг бесценный!

Ныне твой недостойный слуга и раб Алексей находится так близко от тебя, как еще ни разу за минувший год. Беспокойный нрав Николая Николаевича Муравьева заставил нас проделать неслыханный вояж по Амуру, от образования этой опасной реки до берегов восточного океана, именуемого простакими Тихим. Губернатор вознамерился проверить путь по Амуру, столь необходимый для России.

Сказано - сделано! Восемнадцатого апреля он принял от иркутского купечества торжественный обед, а наутро мы укатили из города и вскоре святой байкальской водой смыли с рук нечистые прикосновения сибирских толстосумов.

Но об этом в последующих строках. Сперва хочу обрадовать тебя известием, что и мой бесшабашный нрав, моя непременная веселость, которым я обязан тем, что навсегда пребуду в высоком и малоодоходном звании есаула, - и они испытывают удары тоски. Тешу себя надеждой, что, возвратясь в Иркутск, найду у себя великое множество твоих писем размером с обширнейшие листы "Санкт-Петербургских ведомостей", писем, длина которых будет соперничать с нежностью, а нежность превосходить все доселе нам из чувствительной литературы известное.

Это письмо посылаю тебе через верные руки Николая Дмитриевича Свербеева, того самого баловня судьбы, который прежде мечтал об изящной словесности и независимой жизни, а минувшим летом женился на Зинаиде Трубецкой, меньшей княжне, обманув своим смиренным видом и преогромными окулярами доверчивых мать и отца. Сей честолобец и тайный радикал приходится мне другом, а Муравьеву - чиновником по дипломатической части. Прибыв вместе с нами на озеро Кизи, он сухопутным путем отправляется до Татарского пролива, а оттуда по морю в Аян. В Аяне он сдаст мое письмо какому-нибудь верному человеку, и оно дойдет до тебя, минуя официальную почту со всеми ее непредвиденными случайностями.

Возвращаюсь к сибирским толстосумам, зная, сколь живо ты интересуешься иркутскими нравами. Можешь представить себе, как все мы были удивлены, прослышав о том, что Муравьев, известный гонитель купечества и откупщиков, примет их роскошный обед! Ну и слетелось же этого сытого воронья на небывалую ассамблею! Тут и благообразный старец Кузнецов, "почетный гражданин" и известный жертвователь на постройку тюрем натуральных и прочих, именуемых пансионками, богадельнями и домами призрения, и пройдоха Бенардаки, зажавший в волосатый кулак добрую

половину сибирского золота, и Лопуховы с Силантьевыми, и прочие, впрочем, рангом не ниже первой гильдии. Братья Машаровы не одну тройку загнали, прискакали из самого Канска; там бедный люд нанимается на золотые промыслы, туда же и выходит из тайги пропивать свои трудовые денежки. Есть на что разгуляться!

Всполошила всех весть об Амуре. Видно, нужен Амур России, а купечеству нужен особо. Так нужен, что и раскошелиться не жаль! Торжественный обед - не последний расход, понесенный торговым классом, они и пароход "Аргунь" построили на шилкинском заводе руками мастеровых, и снабдили обильной провизией всю нашу флотилию...

Ну и речь закатил им Муравьев! Вышел в собрание в общем армейском мундире, с правой рукой на перевязи. Он похаживал среди них, словно рысь по овчарне, жмурясь и сжимая когти от сладких предчувствий. Суди сама, каково им было вкушать яств, приготовленных на собственные деньги, когда Муравьем обратился к ним с такой речью:

"Знаю я, вы люди ко всему, кроме своих выгод, равнодушные. Обижаться не приходится, мы друг друга насквозь видим. Вам-то все равно, кто бы ни открыл Амур, а коли мы сами открыли, без помощи людей, предававшихся исключительно коммерческим расчетам, так и то хорошо, и то вам с руки. Ладно, бог нас рассудит, а я каков в колыбельке, таков и в могилке. (Притихли все. Сидят, не шевельнутся.) Вы могли бы стать истинно опорой государства, если б хоть отчасти думали о выгодах казны, а паче всего пресекли бы безнравственные злоупотребления откупщиков и золотопромышленников. О мещанах и не говорю, - это сословие составляет в государстве народную язву. Оно не имеет никакого постоянного занятия - ни торгова, ни ремесла. Главная, исключительная промышленность мещан состоит в обмане, мошенничестве, воровстве и конокрадстве..."

Как скоро речь зашла о мещанах, бороды закивали и огласили собрание сочувственным мычанием.

Затем губернатор стал распространяться об Амуре и англичанах, другими словами, метал бисер перед свиньями. Толстосумы готовы хоть и с англичанами делить радости коммерческой жизни, был бы процент повыше и барыши повернее. Остальное им не помеха.

О Европе Муравьев способен говорить часами. Он минувшее лето провел за границей. Помнишь, какая благодать была тогда у нас, как отменно мы бездельничали в ожидании расплаты! И что же, расплата настала. Никогда мы еще не видели его столь энергичным, как в эти месяцы ожидания военных действий, и никогда вместе с тем он еще не бывал столь придирчив и жесток.

За неделю до нашего отъезда на Амур в Иркутске по приказу Муравьева насмерть засекли солдата Овчинникова, всеобщего любимца, потомка ссыльного пугачевца. Преступление его состояло в том, что, будучи выведен из себя, он схватил бригадного командира за эполеты. За это беднягу шесть раз прогнали сквозь строй в тысячу человек. Он умер, и мы никогда не простим этого палачам! Зачем окружать себя приверженцами справедливости, высказывать за бутылкой вина либеральные суждения, на людях ласкать разжалованных и красить жизнь героям четырнадцатого декабря, если все это одна видимость, за которой кроется деспотизм и злой ум, попирающий человеческие законы и справедливость?! Вот одно из уродств нашей жизни!

Но Муравьев прав, говоря, что англичане помышляют о захвате Амура. В Нерчинске нами был задержан джентльмен в клетчатых брюках, с которым мы имели честь познакомиться еще в Иркутске. Этот новоявленный Робинзон, вопреки строгому запрету, преспокойно проскакал почтовым трактом через Верхнеудинск и Читу в Нерчинск и с помощью серебролюбивых Пятниц соорудил уютный плот для спуска по Шилке и Амуру в океан. Ваганов, инженер корпуса топографов, схватил его за фалды сюртука и отправил под конвоем вместе с его геологическим инструментом в Иркутск - довершать курс английского языка и европейских манер в лучших домах города.

Не стану описывать подробностей нашего плавания. К естественным наукам склонности не питаю, красот природы не чувствую за недостатком поэзии в душе. Я всегда предпочитал опуститься в каюту ради бутылки вина, чем лицезреть окрестные пейзажи. Впрочем, и я нагляделся на торжественные церемонии, на высокие скалистые берега, именуемые "щеками", на сосновые рощи и девственные луга, на дальние наши станицы и берестяные урасы ороchon, еще более бедные, чем жилища якутов.

Но и мое бесчувственное сердце тронул один памятник старины, встреченный нами на пути. На развалинах Албазинского укрепления мы нашли старые кирпичи, обломки печей, осколки глиняных горшков, пули и отвердевшие куски хлеба. Здесь были русские удальцы, продолжатели славного Ермака, смельчаки, обжившие этот край без военных орудий, не чая наград. Никакие величественные развалины не могут действовать на чувство так, как обожженные зерна ржи и пули, век пролежавшие в земле.

Как ни труден был наш путь (в июне нас даже настигла буря на Амуре и потопила несколько больших лодок), а и он кончился, и не нашлось такого места на Амуре, которого не прошли бы успешно русские суда. Как тут не повторить вместе с мудрым якутом его любимых слов: "И у великих гор есть

проходы, и у матери-земли дороги, и у синей воды брод, и у темного леса тропа!"

Главная награда ждала меня в конце пути, у озера Кизи. Тут я имел счастье познакомиться с чудо-человеком, настоящим героем Амура, которого не должны затмить ни великолепие купеческих пожертвований, ни тщеславие Муравьева. Кесарево - кесарю! Амур же - Невельскому! Слыхала ли ты это имя? Конечно, слыхала! Не могла не слышать. Нет в наших краях такого человека, который не хотел бы пожать руку этому отважному пионеру Востока. Я сделал визит Невельскому, и этот добрый человек принял меня как друга. С ним постоянно находится, презирая опасности и невзгоды, его жена. Вот еще один пример, достойный подражания!

Он не только сделал открытие, все последствия которого не могут быть учтены, но и сумел защитить свое детище, - а это в наших условиях, среди людей завистливых, высокомерных и продажных, труднее трудного. Еще весь мир, внемлющий авторитетам, считает Сахалин полуостровом и Татарский пролив - заливом, но Невельской своею мужественною рукою уже переменяет карты. А ведь мореплаватели, в том числе и недруги наши, слышавшие первыми мореходами мира, разделяют давнее заблуждение насчет Амура! Знай они, что из океана в Амур могут заходить крупные суда, уж зачастили бы сюда покорители безоружного Китая.

Пишу тебе, мой друг, о сих мужских предметах, оставляющих равнодушными твоих счастливых сверстниц, ибо знаю, что ты не похожа на них и горячая твоя голова жаждет знаний. Кто знает, может быть, и в нынешней войне открытию Невельского суждено сыграть какую-нибудь роль! Невельской не модный человек Европы, позирующий толпе, а простой, душевный. Он возвышается над другими своими знаниями, талантом, упорством.

Довольно о делах! И без того мое письмо походит более на официальную реляцию, чем на послание человека, имеющего объясниться в нежнейших чувствах. Когда еще судьба сведет нас вместе, а природа, люди и случайные обстоятельства делают все, чтобы и письма наши не достигали слишком скоро желанной цели.

Есть же счастливы на нашей неустроенной земле, хотя бы экипаж "Двины", который уже, вероятно, достиг Петропавловска и дышит одним с тобой воздухом.

Господи, зачем ты сотворил меня есаулом? Почему отвратил меня от морских просторов, а вместе с тем и от уютнейшего уголка мира, того, где аптека высокочтимого господина Лыткина?

Вскоре напишу еще. Преданный тебе А л е к с е й.

Прощай! III На другой день после поездки к Светлому ключу Изыльметьев потребовал к себе Пастухова. Мичман предстал перед капитаном в радостно-приподнятом настроении, хотя он хмурился и старался выглядеть озабоченным.

Изыльметьев жестом пригласил Пастухова сесть.

- Садитесь, садитесь, - настоял капитан и прошелся по каюте. - Трудно сказать, когда "Аврора" подымет паруса. Мы долго пробудем здесь.

- Да, - сказал Пастухов неопределенно, но без огорчения.

- По-видимому, офицеры начинают свыкаться с этой мыслью?

Пастухову послышался в вопросе капитана скрытый намек. Он покраснел и ответил:

- Не все, Иван Николаевич. Некоторые предпочли бы находиться в море.

- С какой целью?

- "Аврора" могла бы уничтожать коммерческие суда противника, - в словах Пастухова не было большой уверенности, - или сражаться с военными кораблями.

- А вы как думаете?

Пастухов запнулся. Его тоже манил романтический образ вездесущего фрегата, отважно бороздящего океан. Но логика вещей и чувства Пастухова в эту минуту говорили другое.

- Я думаю, что было бы трусостью бросить на произвол судьбы Петропавловск, - произнес он наконец.

Щеки его пылали. Он говорил о порте, а видел перед собой Настеньку, и Пастухову казалось, что капитан все понимает и в душе смеется над ним.

Капитан кивнул, соглашаясь с Пастуховым, и проговорил с непривычной для него злостью и раздражением:

- Разве не ясно, что "Аврора" никуда не может двинуться без нужных запасов провизии, с поредевшей командой! А люди рвутся бог знает куда. Все недостаток выдержки. И молодость, - добавил он примирительно.

Пастухов молчал.

- У вас какая-то радость?

Мичман глотнул слюну, поперхнулся.

- Неужели мать догадалась прислать письмо в Петропавловск? - Капитан выжидательно смотрел на него.

- Я полюбил... - сказал Пастухов, запинаясь и чувствуя, как пышет жаром лицо. - Полюбил девушку... хорошего друга...

Он собрался с силами и посмотрел в лицо капитану. Изыльметьев и не думал смеяться.

- Вас, кажется, зовут здесь Костенькой?

- Да...

- Это хорошо, - заметил Изыльметьев с неожиданной серьезностью. Значит, полюбились людям. Уверен, что это не мешает вам честно нести службу, и поздравляю вас.

- Спасибо! - Пастухов горячо пожал протянутую руку.

Изыльметьев перешел к делам.

- Силою обстоятельств "Аврора" прикована к одному месту. Возможно, что в военных действиях, если они произойдут, наш фрегат сыграет роль крупной батареи и встретит неприятеля при входе на внутренний рейд. Но экипаж не будет бездействовать. Мы даем орудия для многих батарей, артиллерийскую прислугу, стрелковые партии. Меняется и круг наших обязанностей. Наши интересы простираются теперь не от кормы до бушприта, а захватывают обширный район. Я нуждаюсь в офицере, который находился бы при мне, безотлагательно выполняя все мои поручения, бывал бы повсюду и наблюдал за ходом работ. Вы кажетесь мне человеком вполне подходящим для этой цели.

- Буду рад оправдать ваше доверие, Иван Николаевич.

Капитан предупредил строго:

- У вас не будет и часа свободного времени.

- Я готов!

Так Пастухов стал адъютантом Изыльметьева, проводя дни в окрестностях Петропавловска, на строительстве укреплений. В течение дня он не однажды встречался на батареях с Завойко и его помощниками - капитаном второго ранга Арбузовым, щеголеватым поручиком Гезехусом и расторопным адъютантом Лопуховым. И тут счастливая звезда не оставляла Пастухова: его любили все. Завойко был с ним ласков, Гезехус, Лопухов и даже вспыльчивый Арбузов охотно отвечали на вопросы мичмана, относились к нему с покровительственным дружелюбием. Мастеровые, матросы и сибирские стрелки любили молодого общительного офицера, всегда веселого и готового разделить чужое веселье.

Правда, он несколько дней сряду не виделся с Настей, но образ ее всегда стоял перед глазами Пастухова. И, странное дело, она казалась ему взрослее, чем была, добрая, сильная, способная поддержать и защитить его в случае нужды. Часто задумывался он над тем, как встретила бы Настеньку его мать, и приходил к заключению, что девушка показалась бы матери хорошей, заслуживающей любви.

Сооружение батарей двигалось медленно, хотя люди работали до

изнеможения. Не хватало леса. Экспедиция Семена Удалого не дала результатов. Деревья, годные для постройки артиллерийских платформ и блиндажей, находились слишком далеко, их доставка требовала длительного времени и огромных усилий. Из соседних деревень камчадалы привезли немного старых бревен, но этого не хватало даже для платформ. Доставка леса затруднялась летним временем. Зимой бревна перевозились на собаках, а теперь их приходилось стаскивать к разным пунктам Авачинской губы и подгонять к порту.

Скрепя сердце Изыльметьев отдал распоряжение снять с "Авроры" несколько площадок и палубных надстроек. В глубине души он еще надеялся на чудо, которое выведет "Аврору" в море. Но когда начали снимать небольшую площадку с верхней палубы, а вслед за нею сносить по сходням и другое дерево, провожаемое грустными взглядами команды, он ощутил, что произошло нечто очень важное, до конца выяснившее место "Авроры" в кампании нынешнего года.

Особенных трудов стоила батарея номер два, у основания кошки, в том месте, где коса соединялась с берегом. Эта батарея с амбразурами на одиннадцать орудий возводилась на ровном месте и требовала большого количества леса, земли, фашин. Размах всего сооружения нетрудно представить себе, если принять во внимание, что расстояние между амбразурами сохранялось в три сажени, толщина бруствера - в двадцать один фут, а высота - в семь футов. Кошечная батарея могла бы считаться образцовой, найдись под руками лес для устройства блиндажей над орудиями. Но леса не оказалось, артиллерийская прислуга была открыта ударам сверху и могла сильно пострадать от действия бомбических пушек.

Вокруг Кошечной батареи, на ровной площадке между песчаной косой и небольшой горой Поганкой, откуда носили землю для засыпки фашин, лежали бревна и хворост; здесь сутились женщины, матросы, солдаты, занятые земляными работами и установкой орудий. Матросы в рабочих голландках таскали на спинах мешки из-под крупчатки, набитые землей и песком. Пушки, даже самые малые, двадцатичетырехфунтового калибра, весили больше ста пятидесяти пудов. Их подкатывали на бревнах.

Но были и тихие места. Одно из самых тихих - батарея номер три, Перешеечная, в седловине между Никольской горой и Сигнальной. Она представляла собой почти открытую площадку, упирающуюся в невысокую земляную стену. Ее вырыли в мягком грунте, на возвышении, рассчитывая на то, что неприятелю невозможно будет стрелять по малой батарее иначе, как накренив суда, а это представлялось невероятным.

Пастухов, как адъютант капитана, находился в самой гуще событий и знал, что, несмотря на значительные трудности и недостаток необходимых материалов, люди работали дружно. Единственным человеком, за кем он наблюдал со смешанным чувством тревоги и любопытства, был капитан второго ранга Александр Павлович Арбузов, прибывший на транспорте "Двина" с партией сибирских стрелков.

В декабре минувшего года Арбузов был назначен помощником губернатора Камчатки, капитаном над портом Петропавловск и командиром сорок седьмого флотского экипажа. Человек немолодых лет, воинственной и решительной наружности, в которой неискушенный глаз Пастухова не замечал элементов аффектации, Арбузов плыл в Камчатку в полном сознании важности своей миссии.

Муравьев был весьма внимателен к нему во время плавания по Амуру, и Арбузов, сам редко делавший людям добро без особого умысла, заключил, что генерал-губернатор нуждается в нем, рассчитывает на него, а следовательно, не возлагает особых надежд на губернатора Камчатки Завойко.

Муравьев же, молча взиравший на берег Амура с капитанского мостика "Аргуни", представлялся Арбузову идеалом. Генеральский казачий мундир, блеск орденов, рука на перевязи, умные и резкие суждения, высокомерие и надменность в соединении с минутами полнейшего армейского панибратства приводили в восторг Арбузова, и по мере приближения к цели - устью Амура и сам он все более наполнялся самомнением, заносчивостью и горделивым презрением к людям, что, однако, не мешало ему искренне считать себя отцом "лихих солдатиков".

Арбузов пользовался любым поводом, чтобы напомнить о двадцати с лишним сражениях, в которых он принимал участие. Названия турецких фрегатов и корветов, потопленных Арбузовым, Тульча, Силистрия и другие пункты, бывшие свидетелями боевых подвигов капитана, непременно упоминались в речах офицера.

Встретившись с Муравьевым на Шилкинском заводе, Арбузов поспешил сообщить, что он обучает людей только что вводимым в войсках военным приемам.

- Прелюбопытно, - обронил равнодушно Муравьев. - Поотстали мы здесь, в медвежьем углу.

- Я научился этим военным движениям в Турции, у европейских инструкторов в 1848 году!

- Истинно русская черта: не пренебрегать даже уроками врага! Муравьев

хитровато поглядывал на Арбузова, но капитану его взгляд казался веселым и одобряющим. - Каковы же эти движения?

- Я обучал солдатиков быстрым построениям и движениям по сигналу горна. - Говоря это, он энергично жестикулировал. - Приучил к фехтовке штыками в подвешенные шарообразные цели, свитые из соломы и сена... - тут Арбузов выдержал паузу и закончил самодовольно: - Служившие во время отдыха подушками!

Муравьев расхохотался, подаваясь назад всем телом, но и это офицер принял как награду за сметливость.

- Употреблением в дело таких подушек, - словоохотливо продолжал он, я обязан указаниям гимнастов-французов, состоявших матросами на кораблях Черноморского флота...

Моложавое лицо Муравьева нахмурилось.

- Сдается мне, - остановил он Арбузова, - что все эти нововведения известны были и отцу нашему Александру Васильевичу Суворову?

- Но опыт европейцев, - опешил капитан, - новейшая школа... Французы всегда слыли искуснейшими фехтовальщиками...

- Чепуху говорить изволите! - вспыхнул Муравьев. - Доколе мы будем судить об Европе по досужей болтовне гимнастов и старых дев, нанимающихся в Россию гувернантками! Я только что из Европы, да-с, только что... Можно сказать, в ушах еще стоит ее гул... Странное впечатление произвела на меня Европа, - сказал Муравьев, обращаясь к своей многочисленной штатской свите. - У нас все велико, там все мало. Там в подробностях все хорошо, удобно устроено, гладко, рассчитано, - Муравьев вглядывался в суровый берег Шилки, в синевшую вдалеке тайгу, - все исчислено, соображено, пригнано в меру и вес. Люди все знают, чего, кажется, и знать бы нельзя, а потому там нет будущего. Там все утопают в мелочных интересах...

Вся эта тирада была адресована не ошеломленному Арбузову, а большому кругу лиц, толпившихся подле генерал-губернатора, и бравый капитан предпочел остаться в тени.

Тем более радовало Арбузова благожелательное отношение к нему Муравьева в пути. "Чувствует все-таки, что был неправ, хватил через край! - радовался Арбузов. - Что ни говорите, а французы и англичане не нам чета!" Арбузов плыл в Петропавловск, исполненный искреннего желания осчастливить камчатский порт, явиться его неожиданным спасителем. Внешние обстоятельства благоприятствовали этой иллюзии. Спутники Арбузова капитан-лейтенант Василий Кондратьевич Коралов, служивший, по собственному выражению, верой и правдой двум королям, "русскому и

бубновому", и инженер-поручик Мровинский - не посягали на власть и военные лавры. Плавание "Двины" по Охотскому морю и через второй Курильский пролив было очень тяжелым, но даже и оно показалось Арбузову только последним испытанием, ниспосланным ему судьбой перед полным торжеством, ожидающим его в Петропавловске. И он терпеливо сносил невзгоды. Никто не мешал ему подолгу рассуждать о своих былых заслугах и житейском опыте, об умении определять речной фарватер по струе течения, по виду берегов и изворотам реки. Не успела еще "Двина" выйти из лимана, как Арбузов стал уверять своих офицеров, что благополучный сплав "Двины", "Аргуни" и всего отряда судов по Амуру - дело его рук; руководить этим делом Арбузова просил, мол, сам губернатор, но он, щадя самолюбие Муравьева, остался в тени, хотя в действительности все держалось на нем.

Нетрудно представить себе, что приезд в Петропавловск был для Арбузова подобен падению с большой высоты. В порту, который он думал застать беззащитным, кипела работа, и размах ее превосходил все, что могла нарисовать фантазия Арбузова. Воздвигались батареи, слышался согласный перестук топоров, зычные голоса начальников партий, напоминавшие о том, что все идет своим чередом, жизнь течет и без участия капитана второго ранга Арбузова. В порту, подле двух-трех каботажных судов и торгового брига, высился темный корпус "Авроры". Еще не приняв дела, Арбузов сообразил, что он представляет себе Петропавловск в превратном свете и ни одно из его предположений не подтвердилось. Этого было достаточно, чтобы настроить Арбузова на возбужденный, повышенный лад.

Завойко принял Арбузова дружески, сразу ввел его в исполнение многочисленных обязанностей, но не сделал ни одной уступки капризам своего нового помощника, ни в чем не захотел нарушить принятого порядка вещей. Вместо того чтобы вершить и править, командовать и оказывать beneficia своими советами, Арбузову пришлось встать в ряды тружеников и защитников порта, оказаться одним из рычагов несложной машины, управление которой находилось в крепких руках Завойко.

И Арбузов, человек тщеславный, мнительный, при всей своей храбрости, внезапно увидел все вокруг себя в самом неприглядном и мрачном свете. Легко отличив среди петропавловских чиновников людей, недовольных Завойко, он осаждал их, надоедал своими замечаниями, советами и сетованиями.

Уже в первый вечер в доме губернатора Арбузов умудрился выставить себя в смешном свете, поколебав веру многих в его деловые качества и здравый смысл. Громким голосом, обратив на себя внимание всех присутствующих, он

повторил свой рассказ об опыте обучения солдат штыковому бою и, не встретив возражений, увлекся.

- Не скрою и того оригинального способа, - сообщил он, - каким я приучил солдат действовать рассыпным строем в местности пересеченной. Это весьма может пригодиться в Петропавловске. Выбирая местность гористую и лесную, я приглашал туда гулять девушек из деревни, выводил туда же команду и затем, приучая солдат прятаться за деревья, кусты и камни, делал всякого рода эволюции...

- Умопомрачительно! - рассмеялся Иона, поддержанный несколькими весельчаками.

Арбузов уставился на иеромонаха и упрямо повторил:

- Делал эволюции рассыпанными солдатами.

- Рассыпанными?! - Иона сложил свою полную руку ковшиком, прикрыл ею рот и проговорил, заикаясь от сдерживаемого смеха: - По-ди ж ты, рас-сы-панными!

Арбузов насупился. Стройный, с отличной выправкой и сидящими висками, облагораживающими его красивое смугловатое лицо, он продолжал гневно, отрывисто:

- Мы быстро окружали врагов. Мгновенно по сигналам делали перемены фронта. Ни один враг не ушел, не укрылся...

Иона странно, бочком выскользнул из комнаты. Арбузов, проводив его взглядом, круто повернулся к гостям и раздраженно ударил по левой руке перчаткой.

- Пошло-с, не приличествует священническому сану. - Арбузов самоуверенно оглядел присутствующих; они делали большие усилия, чтобы не рассмеяться.

- Шутя, весело, как бы играя, лихие солдаты привыкали к бою на суше, научались применяться к местности. А враги, - Арбузов посмотрел на дверь, словно за ней притаился Иона, - враги собирались после учения ко мне во двор, и здесь раздавались песни, дребезжал барабан, шипела гребенка, пляс не переставал до поздней ночи.

Все молчали. Никто не решался открыть рот, боясь рассмеяться.

Привыкнув к обильному столу амурской экспедиции, Арбузов поразился скудному петропавловскому пайку, которому, наравне со всеми, были обречены солдаты его партии. Он стал распространять слухи, что имевшиеся в порту запасы провизии разосланы рабочим "Североамериканской компании", как он именовал Российско-Американскую компанию, что им, Арбузовым, замечена неполнота показанного в ведомостях провианта. Затем провиантский комиссар Арбузова нашел на одном из складских чердаков

сукно, будто бы укрытое адъютантом губернатора. Рапорт следовал за рапортом, донесение за донесением.

Это начинало раздражать Завойко. Доносчика, поднявшего шум из-за армейского сукна, которое было на строгом учете у Завойко, он посадил на гауптвахту, а Арбузову указал на то, что его интерес и отеческие заботы должны простираться в равной мере и на сорок седьмой флотский экипаж и на портовую команду.

Десятого августа в Петропавловск пришел из Гамбурга клипер "Св. Магдалина" с большим запасом провизии. Арбузов снял фуражку и, перекрестившись, сказал:

- Слава богу, спасены от голодной смерти!

Офицеры удивленно посмотрели на Арбузова, который все еще продолжал стоять с непокрытой головой.

- Сколь ни бедно на Камчатке, - сказал Завойко, провожая взглядом тяжелые кули с мукой, покачивающиеся на спинах камчатских матросов, летом тут и сирота не умрет.

- А пасынок? - деланно улыбнулся Арбузов.

- Людям, живущим здесь, - ответил Завойко, пытаюсь образумить Арбузова, - действительно приходилось переносить лишения и нужду и не раз видеть страдальческую смерть. А вы, - Завойко пожал плечами, - вы здесь без году неделю, живете в довольстве... Простите, не понимаю вас...

В тот же день между ними произошел разговор, который исчерпал терпение Завойко. Приведя в воинственный вид нарядные, холеные усы цвета воронова крыла, Арбузов предстал перед начальником.

- Василий Степанович! - начал он торжественно. - Полагаю единственно разумным провиант со "Святой Магдалины" разместить по разным домикам.

Завойко посмотрел в его светлые холодные глаза: "Что за блажь?"

- Я распорядился сгружать в портовые магазины, - сухо ответил Завойко.

- Знаю! - Капитан выжидающе потупил голову. - Взял грех на душу, приказал прекратить разгрузку!

- Это почему же-с? - голос Василия Степановича предвещал недоброе.

- До первых заморозков, бывающих здесь в сентябре, следует разместить провиант по частным домикам... Разумеется, только в верные руки...

- Странно, весьма странно, господин Арбузов! - Вертикальная складка прорезала лоб Завойко, на лице появилось несвойственное ему выражение злости.

- Если провиант останется в магазинах, - поучал Арбузов, - то при бомбардировке города гарнизон может разом лишиться всего.

- Значит, наши оборонительные сооружения вы ни во что не цените? Вы считаете, что мы позволим неприятелю беспрепятственно забрасывать порт ядрами и бомбами?!

- Оборонительные сооружения могут быть уничтожены! - воскликнул Арбузов; он начинал тяготиться тем, что приходится объяснять такие простые вещи.

- Только вместе с нами! Только вместе с нами! - повторил Завойко. Запомните это! Неприятель может завладеть землей, когда убьют последнего из нас. Это раз. Затем решительно запрещаю вам отменять какие бы то ни было мои приказы и распоряжения.

Вечером Арбузов получил предписание отправиться в Большерецк для ознакомления с южной оконечностью полуострова.

Размолвка эта не осталась секретом в маленьком Петропавловске. Сам Арбузов, искавший популярности и сочувствия, делал все для того, чтобы малейшая подробность его разговора с Завойко стала известной.

В несколько дней сблизившись с кружком Петра Илларионовича Василькова, Арбузов стал непрямым посетителем его дома, а в лице жены судьи, доктора Ленчевского, столоначальника Седлецкого, полицмейстера Губарева и многих других приверженцев Василькова нашел людей, чутких к уязвленной гордости столь заслуженного офицера, людей, во всем осуждавших Завойко.

Поэтому, когда 14 августа Пастухов, находясь при Изыльметьеве и Завойко на Кошечной батарее, увидел шедшего по берегу Арбузова и перехватил недоуменный взгляд губернатора, он понял, что быть грозе. Но, против всех ожиданий, Завойко встретил своего помощника сдержанно. Довольно мягко, может быть именно потому, что все ждали грозы, он напомнил о необходимости отъезда.

Арбузов, вначале внутренне робевший, приободрился, встретив такой прием. Он увязался за Василием Степановичем, поминутно суясь во все дела.

На Перешеечной батарее работы подходили к концу. В нишах, закрытых от попадания снарядов со стороны Авачинской губы, устанавливали железные цистерны для хранения пороха, так как порохового погреба поблизости не было. На батарейную площадку укладывали импровизированные орудийные платформы, а со стороны внутреннего рейда, через бугор, подтаскивали длинные двадцатичетырехфунтовые пушки, снятые с правого борта "Авроры". Тут находился и инженер-поручик Мровинский, всегда аккуратный, подтянутый, с бледным, очень усталым лицом.

Группа рабочих - среди них Никита Кочнев и лобастый, большеголовый

солдат сибирского линейного батальона Никифор Сунцов - водворила на место тяжелую цистерну, и теперь люди, измазанные землей, потные и всклокоченные, стояли, застигнутые начальством.

Завойко присел на казенную часть пушки.

- Что, ладно гнездышко? - спросил он.

Люди молчали. Чувствовалось, что они не разделяют мнения Завойко.

- Отвечайте же! - прикрикнул Арбузов, заметив здесь и своих людей.

- Так точно! Ладно гнездышко, ваше благородие! - тотчас же прокричал солдат высоким голосом.

Никифор Сунцов посмотрел на Завойко из-под тяжело нависшего лба и кустистых бровей и, обнажив желтые от табака зубы, сказал:

- Ладно-то оно ладно... Однако ж тут способнее чай кушать... Красота необыкновенная!

На полных губах Сунцова, которые не могли спрятаться в пышных рыжеватых усах, играла улыбка человека, способного при желании рассмешить всех, но из такта и приличия не делающего этого. А вид с батареи открывался поистине редкостный! Ветер играл мелкой волной, и солнце щедро роняло в залив золотую стружку. Вдали, слева, вставали утесистые, покрытые лесом берега внутренней Тарьинской бухты, мыс Калауш, а справа живописные, изрезанные ручьями берега Маховой бухты.

- Говоришь, способнее чай кушать? А службу боевую нести? - спросил Завойко.

Сунцов замотал головой:

- Не приведи господи!

- Что за вздор! - вспыхнул Мровинский.

- Погодите, погодите, господин Мровинский, - остановил его Завойко. Объясни-ка мне, голубчик, отчего ты так думаешь?

На лице Сунцова, крупном и добродушном, погасли огоньки юмора, он ответил, осторожно подбирая слова:

- Так что считаю... ваше превосходительство, местность открытая... Защиты от огня не имеется... прислуга, прямо сказать, как есть голая, незащищенная... Окромя пяток, - закончил он, улыбнувшись, и показал на земляную стену, в которую упиралась батарея.

- Глупости! - Мровинский недовольно надул губы и махнул рукой. - Я уже докладывал вам, Василий Степанович, что корабельная артиллерия не может действовать по возвышенности иначе, как полузатопив суда. А ты как полагал? - обратился он к Сунцову.

- Не могу знать, - ответил солдат.

- Дур-р-рак! - звучно произнес Арбузов.

- А коли приспособятся?! - вставил негромко Никита Кочнев. - Коли приспособятся по горке стрелять?

- Это невозможно, - нетерпеливо сказал инженер. Его тяготил спор, к которому Завойко и Изыльметьев прислушивались слишком внимательно.

- Ныне нельзя, а завтра можно. Хитрость и разум чего не сделают! А вот за день крепости не насыпишь, - проговорил Кочнев и показал на слабо очерченные фасы батареи.

Арбузов не торопился уходить с батареи. Уже Завойко с чиновниками скрылся за скалистыми выступами горы, а Арбузов стоял перед Сунцовым, не сводя с него взбешенного взгляда. Затем мельком глянул в спину удалявшемуся Изыльметьеву, поднялся на носки и оглушил солдата ударом кулака. Никифор Сунцов едва устоял на ногах.

- Поговори у меня... Скотина! - прохрипел Арбузов, потирая ушибленный сустав.

Что-то заставило Изыльметьева обернуться. И хотя Арбузов уже шел к нему, а солдат все еще стоял неподвижно, не осмеливаясь утереть кровь, Иван Николаевич понял все. Окинул тяжелым взглядом молодцеватую фигуру Арбузова, широкие плечи в золоченой бахrome эполет, отвернулся и быстро пошел вперед, нагоняя Завойко. В бессильной ярости думал Изыльметьев о том, что Арбузов капитан второго ранга, командир над портом и волен поступать так, как ему заблагорассудится.

Когда группа офицеров вышла к Сигнальной батарее, где развевался крепостной флаг, Завойко, шедший рядом с Иваном Николаевичем, повернулся к Арбузову и вполголоса сказал:

- Что за ругательства без нужды и повода! Потрудитесь тотчас же исполнить мое приказание. Я готов беседовать с вами после того, как вы возвратитесь из Большерецка. Прощайте!

Пропустив мимо себя Мровинского и Пастухова, Арбузов повернулся и, спотыкаясь о камни, быстро зашагал обратно, к Перешеечной батарее, где никто не мешал ему выместить злобу на солдатах. IV Маша изменилась за несколько дней, прошедших после ссоры у Светлого ключа. Она осунулась и подурнела.

Маша винила себя во всем. Тетрадь она показала Максutowу без какой-либо задней мысли. Пожалуй, больше всего ей хотелось заставить Максutowа поверить в Зарудного, примирить их таким образом и по возможности сдружить. Она и не подозревала, что они так разно думают и чувствуют! Как глупо, как пошло все получилось!

"Виновата! Во всем одна я виновата!" - с горечью думала Маша, чувствуя, что Зарудный не простит ее. Максutow стал ей вдруг совсем безразличен. Казалось, что она знает его уже вечность и ничего не может переделать в этом жестком человеке.

Зарудный избегал встреч с ней. Маша не находила его ни на улицах Петропавловска, ни в порту, где теперь можно было увидеть всех чиновников и где против корпуса "Св. Магдалины" бесшменно стоял почтмейстер, словно собиравшийся купить гамбургский клипер для почтовых перевозок.

Не пришел Зарудный и на чтение "Ревизора" в дом Завойко, куда собралась едва ли не вся молодежь.

Маша сидела в темном углу гостиной, по-домашнему поджав ноги. Подле была Настенька; она никого не замечала, устремив восхищенные глаза на освещенный стол, за которым читал комедию лейтенант Гаврилов.

Дверь из гостиной вела в коридор, по коридору то и дело проходили люди в кабинет Завойко и изредка, любопытства ради, заглядывали в гостиную. Маша прислушивалась к движению за стеной, надеясь различить шаги Зарудного. Вот прошел кто-то медлительной, тяжелой походкой, от которой закрипели половицы... Изыльметьев? Может быть... А может быть, Ленчевский или Вильчковский? Нет, пожалуй, Вильчковский живее, энергичнее... Иных Маша узнавала по голосам и удивилась, когда заметила, что Настя, увлеченная "Ревизором", не услышала фразы, довольно громко произнесенной в коридоре Пастуховым.

Настя приходила в себя только в перерывах между актами. Ее возвращала к реальной жизни одна и та же злорадная реплика Андронникова, адресованная присутствующим чиновникам:

- Н-н-н-да-а, доложу я вам! Знакомая картинка-с!

Но пока читали пьесу, Настя целиком отдавалась ее движению, помогала Гаврилову мимикой, а больше всего игрой глаз.

Маша плохо вникала в пьесу. Она думала о другом. Как странно устроена жизнь! В десяти шагах отсюда, в кабинете Завойко, толкуют сейчас о пушках, ядрах, о ружьях и запасах пороха, подсчитывают число защитников порта, говорят о жизни и смерти, о крови, которая прольется, оросив окрестные холмы, - а здесь "Ревизор", Настенька, влюбленная в Пастухова, смех, беспечность и вместе с тем серое уныние, гнездящееся где-то в темных углах гостиной! Разные люди, различные интересы, противоречивые чувства... Как согласовать это? Какая сила способна соединить людей? И достижимо ли это? Маша чувствовала, что фальшивое положение, в котором оказалась она, не может длиться долго. Это недоразумение, противное разуму и взглядам таких

людей, как Зарудный. "Алексей поступил бы иначе, - успокаивала себя Маша. - Конечно, иначе. Может быть, он и разругал бы меня жестоко и заставил бы плакать, но через день сам пришел бы ко мне, если он вообще верит мне... Если верит? Алексей верит, Зарудный может и не верить. Он слишком мало знает меня". Маша вся съежилась. Стало очень обидно при мысли, что Зарудный может просто не верить ей и быть при этом правым.

В гостиную вошли Юлия Егоровна и Александр Максutow. Они сели рядом с Машей, разговаривая шепотом.

- Да, Егор умный, развитой юноша, - сказал Максutow, соглашаясь с каким-то доводом Юлии Егоровны. - Пожалуй, он не уступит мальчишкам, воспитанным в лучших заведениях. И все же корпус или лицей...

Слышно было, как вздохнула Юлия Егоровна и проговорила:

- Что вы! Дай бог воспитать их порядочными, полезными людьми.

Они помолчали. Юлия Егоровна, вероятно, мысленно пробегает вереницу трудных лет, прожитых в Охотске, Аяне и Петропавловске.

- Трудно, очень трудно, - прошептала она с такой мягкой женственностью, что Маше захотелось подвинуться, протянуть ей руку. - Я ведь все сама: и пошить, и накормить, и научить азам. Все я да старик Кирилл. На его руках росли дети, у него ключи от всех годовых запасов... Кирилл был денщиком Василия Степановича еще прежде, чем я вышла за него замуж.

- И все же десять! - твердит свое Максutow. - Это выше моего разумения, Юлия Егоровна.

- Бедный люд на Руси богат детьми.

- Этак вы своей жизни и не увидите.

- Они - моя жизнь, - не колеблясь ответила она. - Вся моя жизнь, до краев наполненная заботами, тревогой и счастьем.

Взволнованный шепот Юлии Егоровны потонул в шуме и аплодисментах. Чтение комедии закончилось. Началось оживленное обсуждение кандидатов на главные роли. Роль городничего неожиданно для всех вызвался исполнять заглянувший сюда под конец Вильчковский. Гаврилову поручили Осипа, сожалея о том, что старый Кирилл - натуральный Осип - по дряхлости, незнанию гражданского письма и полнейшему презрению к домашнему театру не мог быть использован для этой цели. Гаврилову не скрыть ни молодого голоса, ни живого блеска черных глаз, хотя читал он Осипа отменно. На роли Бобчинского и Добчинского назначили двух чиновников, с успехом игравших эти роли в обычной жизни Петропавловска; одним из них оказался чиновник с хохолком, незадачливый защитник Луи Наполеона. Без труда распределили и другие роли, и только три фигуры пьесы заставили

собравшихся задуматься: Хлестаков, жена городничего Анна Андреевна и дочь Марья Антоновна.

Кандидата на роль Хлестакова решительно не находилось. Перебрали многих, и наконец Дмитрий Максудов самоотверженно предложил свои услуги, которые и были приняты охотно, но без особого воодушевления.

В самый разгар оживленного разговора за дверью послышались голоса Зарудного и Пастухова, затем открылась дверь, и мичман позвал Настю. Маша поняла, что между ними все было условлено: она ждала Пастухова. Повременив немного, Маша так же незаметно выскользнула в полумрак коридора.

Сегодня здесь забыли зажечь свечи, и длинное помещение освещалось только двумя симметрично расположенными окнами. Луну закрывали облака, и все же от окон на старые половицы ложились мутновато-серые пятна. В скупом свете слабо заметны очертания двух кресел, контуры печи и высокие подставки для канделябров.

Маша подошла к окну и остановилась, опершись о широкий подоконник. Если бы не разросшийся кустарник и старые тополя, Маша увидела бы в темноте огоньки порта и дальних батарей. Но теперь она различала только колеблющийся огонь на Сигнальной горе, где обычно находился крепостной флаг.

В кабинете становилось шумно. Чэзз просил позволить Магуду уехать из Петропавловска на клипере "Св. Магдалина", и вскоре американец покинул кабинет, удовлетворенно бормоча что-то себе под нос.

Маше пришлось долго стоять, прижавшись к деревянной стене. Двери кабинета стали часто открываться, пропуская выходивших оттуда людей. До слуха долетали обрывки фраз, короткие диалоги. Люди толковали о молчаливости Изыльметьева, хвалили поручика Гезехуса за храбрость, но сомневались в его опытности, жаловались на чье-то тиранство и грубость характера.

- Ядра калить - не печь топить! - запальчиво объяснял кто-то. Допустите неопытного юнца - он вам пороховой погреб на воздух поднимет, костей не соберете...

Прошел полицмейстер Губарев, злобно бормоча себе под нос:

- Черт побери... Этого еще недоставало... Обремизился!..

Наконец в коридор вышел Зарудный. Маша прижалась к стене.

Из кабинета выскользнул мичман Попов. Он догнал Зарудного, обнял его за плечи и сказал звонким, юношеским голосом:

- Как я счастлив, друг мой! Как я безмерно счастлив!

- Еще бы!
 - Ты пойми, казенная душа, величие этого слова: батарея! - ликовал Попов. - Ба-та-ре-я!
 - Самая дальняя! - поддразнивал его Зарудный.
 - Пусть!
 - Самая дрянная...
 - Неправда! - воскликнул мичман. - Не смей так говорить! Чудо-батарея! Слышишь...
 - Мастеровые в порту называют ее "кладбищенской".
 - Отлично! Пусть она станет кладбищем для врага!
- В гостиной громко засмеялись, и Попов спросил:
- Заглянем?

Зарудный помедлил ответом.

- Не хочется.
- Ну и ладно, - согласился Попов, все еще охваченный радостью. Пошли! Беда мне с тобой, - сказал он, открывая выходные двери, - у тебя душа моряка, романтика, а определился ты по письмоводительской части. Роковая ошибка.

Они вышли, и Маша не расслышала ответа Зарудного.

Маша вернулась в гостиную в тот момент, когда Дмитрий Максutow внес предложение, которое не умирло шумного веселья, но внесло в него элемент тревоги, со всех сторон обступившей в этот вечер дом Завойко.

- Предлагаю назначить на главные роли по два кандидата! - закричал Дмитрий, покрывая гул голосов.
- Зачем? - огорченно спросила девица, только что назначенная на роль Анны Андреевны.
- Убьют одного - другой заменит, - пояснил Дмитрий.

Мысль Дмитрия на мгновение поразила всех. Это придавало всей затее большую серьезность, как бы включая ее в круг военных приготовлений.

- Дети! - скептически заметил Александр Максutow, наклонившись к Юлии Егоровне. - В этом весь Дмитрий. Эффектно. Трогает за душу, но, в сущности, ничего в жизни не меняет. В этот вечер Семену Удалому не нужно было возвращаться в казармы.

Он был отпущен в порт ладить старый плашкоут, чтобы с рассветом плыть в Тарью, на юго-западное побережье Авачинской губы за партией кирпича для Озерной батареи.

Только после вечерней зори, когда густая темень заполнила петропавловское межгорье, Удалой скинул измазанную смолой рабочую голландку и

направился в поселок. Шагал он не напрямик - чтоб не встретиться с кем-нибудь из офицеров, - а в обход служебных зданий к основанию кошки и дальше по темному склону Петровской горы. Уверенно шел знакомыми тропами и, дойдя до избы, где жила Харитина, приоткрыл дверь и тихо окликнул девушку. Отозвался ворчливый старушечий голос, но Удалого это не смутило - он присел на бревно и раскурил трубку.

Харитина вышла из избы и спросила удивленно:

- Что это вы... среди ночи?

- А нам ночь не указ, - улыбнулся Удалой. - Значит, вахту стоим.

- Вахту на корабле держат...

- В Тарью еду, - объяснил матрос - На кирпичный завод. У причала плашкоут ладим. Вот и пришел "до свиданья" сказать...

Харитина недоверчиво повела плечами и сказала со смешком, заглушая волнение:

- Не за море плывете. Какое тут прощеванье...

Матрос уверенно взял ее руку. Харитина не перечила ему.

Удалой проговорил с затаенной, из самого сердца идущей тоской:

- Не гадал матрос, что сердце по девке сохнуть станет... Да как сохнуть!.. Запоет в лесу птица, а мне твой голос чудится. Взойдет солнышко, волну вызолотит, а я тебя одну вижу, ровно марево какое сладкое...

Пришло первое счастье ее горькой, скудной жизни, и оно оказалось таким огромным, что оглушило девушку и на мгновение отняло у нее волю, способность двигаться, отняло и давно созревшие слова любви. Но только на мгновение...

Затем она подалась к Удалому, руки потянулись к красноватому огоньку трубки, который тоже неуверенно двигался к ней, и вдруг услышала тяжелые, приближавшиеся к ним шаги.

Харитина успела только шепнуть Удалому: "Он, он, берегись!" и схоронилась в сенцах, даже не прикрыв двери.

Губарев был пьян. Он едва не наткнулся на стоявшего неподвижно матроса. Удалой растерянно улыбался, но глаза его даже в темноте горели злым, настороженным огоньком.

Полицмейстер узнал рослого матроса с "Авроры", выхватил у него из рук трубку и закричал:

- Па-адлец!.. По ночам шляешься!..

- Я в порт назначен, ваше благородие, - ответил Удалой миролюбиво. На работы.

- Ах ты, каналья! Вижу, какова твоя работа. К девкам бегаешь...

- Ваше благородие, - прошептал матрос, задыхаясь от обиды, - не срамите ее безвинно...

Губарев расхохотался.

- Р-рыцарь сыскался!.. Скотина! - Густая, темная кровь прилила к голове полицмейстера: ему представилось, как минуту назад Харитина любезничала с этим матросом. - Ха-ха-ха!..

Он уже больше не владел собою, чувствуя, что рядом, за дверью, стоит Харитина, ярился, поливая Удалого бранью, бесчестил девушку злым, грязным словом. Несколько секунд Удалой стоял, зажмурив глаза, вобрав голову в плечи и покачиваясь, как пьяный. Потом со стоном подался вперед и схватил полицмейстера за плечи. Губарев крикнул и осел на неожиданно дрогнувших ногах. "Конец? Смерть?.." Хотел крикнуть и не смог...

Губарева спасла Харитина. Она услышала хрипение полицмейстера, с громким криком кинулась к ним, и этот крик остановил Удалого. Матрос резко отшвырнул Губарева и окончательно пришел в себя.

Пальцы его правой руки все еще сжимали сломанный офицерский погон, Удалой заметил это только сейчас. Послышался тихий стон, затем шорох осыпающегося песка и неуверенные шаги Губарева, уходившего вниз напрямиком, по неровному склону горы.

Быстро сунув погон за пазуху, матрос повернулся к девушке.

- Семен, - прошептала она, - как же теперь, Семен?..

- Убьют меня, - ответил он и так отчетливо расслышал два эти короткие слова, будто сказал их не он, а кто-то другой.

Харитина схватила его горячие, еще вздрагивавшие от волнения руки.

- Что ты! - вырвалось у нее испуганно. - Как можно? Я к Завойке пойду!..

- Нет! - сказал Удалой с горечью. - Хоть Завойко, хоть кто, тут короткий сказ...

Харитине стало страшно, и она прижалась к Удалому всем своим большим, не знавшим ласки телом.

- Беги, беги, Сеня! В Тарью, Губарь тебя там не сразу достанет... Беги!

И, легко оттолкнув от себя Удалого, она скрылась в избе.

По дороге к порту у Семена мелькнула вдруг мысль, что и у причалов что-нибудь случилось и плашкоут, не дождавшись его, вышел в Тарью до рассвета. Он кинулся бежать.

Только в порту отдышался Семен. Тяжелые думы обступили его.

Пощады не будет.

Не может быть пощады. Дважды видел он, как наказывают матросов за поругание офицерского достоинства. Помнил кровавые лохмотья иссеченной

спины осужденных, помнил и то, что смертная казнь была заменена им восемью тысячами шпицрутенгов, они умерли в лазарете. Только вчера стрелок с "Двины", такой лобастый, большеголовый солдат, рассказывал, как весною в Иркутске засекли насмерть рядового, доведенного до крайности издевательствами бригадного командира и в полубеспамятстве сорвавшего у него погон.

"А может, - мелькнула мысль, - выдержу? Крепкий ведь... Нет! Этакого никому не снести..."

В возбужденном сознании Удалого возникали лица аврорских офицеров: Изыльметьева, которого он от души любил, добродушного Дмитрия МаксUTOва, Пастухова, честного доктора Вильчковского - людей, которые, быть может, и захотели бы ему помочь. Но и они не спасут...

Вспомнился Цыганок, и жалостливая слеза застыла в уголке глаз.

- Эх, Миша, - прошептал Удалой, - свидимся скоро...

Медленно побрел Удалой к тому месту, где стоял плашкоут. Тучи обложили небо, и стало совсем темно. Неподалеку попыхивали трубками товарищи Удалого. Он знал: пройдет еще немного времени - и Губарев с казаками возьмет его на берегу.

Удалому, как никогда еще в жизни, захотелось в последний раз, пусть ненадолго, пусть на плоском суденышке со старым лоскутным парусом, выйти на широкий морской простор. Да не видать ему больше безбрежного океана Авачинский залив хоть и широк, но суровые сопки стерегут его со всех сторон. Отойдя саженой на сто от избы Харитины и не слыша за собой шагов, полицмейстер остановился, чтобы собраться с мыслями и перевести дух. Спрятал трубку Удалого в карман - она пригодится как неоспоримая улика! Дотронулся рукой до левого плеча - сукно мундира было разодрано, погон сорван...

Пока Губарев отряхивался и наугад приводил себя в порядок, за его спиной послышался приближающийся топот. Полицмейстер метнулся в сторону и нырнул в густой, едва приметный в темноте кустарник.

Мимо пробежал Удалой.

"Бежать от нас некуда, - злорадно подумал Губарев, - кругом вода и вода..."

Но едва миновала опасность, мысли Губарева вернулись к Харитине, и он быстро повернул в гору, туда, откуда только что ушел.

Дверь избы была наглухо закрыта. В горнице горел тусклый, красноватый огонек плошки. Губарев молча налег плечом на дверь, скрипнула щеколда, сухо затрещали доски, но дверь не подалась. Губарев тихо постучал в дверь, как может стучать только тот, кого ждут.

Послышался встревоженный голос Харитины.

- Семен?.. Вернулся...

Губарев прошептал:

- Открой...

Харитина распахнула дверь и попятилась.

- Не ждала? - входя в сенцы, сказал он негромко, боясь разбудить хозяйку избы. Засмеялся: - Думала, он! Не-е-ет, не он! Он, считай, теперь мертвый...

- Уйди, - взмолилась она, - уйди, барин...

- погоди, - хрипло сказал он. - Хочешь матроса от казни спасти?

- Уйди!.. - повторила Харитина дрожащим голосом, видя, что Губарев подбирается к ней. - Я закричу, барин! Чуешь?..

Губарев прихлопнул дверь ногой и кинулся к Харитине.

- Не мучь меня, ты... - хрипел он, стискивая девушку сильными руками. - Слышь, касатка...

Харитина высвободила руку и вцепилась в лицо Губарева.

- А-а-а! - злобно вскричал он, отступая от нее. - Матросская подстилка! В ногах валяться будешь, да поздно... Ты!..

И в это время за стеной заскрипели дощатые нары и послышался недовольный старушечий голос:

- Да будет тебе озоровать-то, Харитина!..

- Собака ты, барин, - прошептала Харитина, едва сдерживая рыдания. Пес гнилой... Уйди!..

Губарев грязно выругался и, распахнув дверь, исчез в темноте. Рассвет выдался холодный, предвещая близкие заморозки. Временами вместе с резкими порывами ветра портовые постройки и людей обдавало колючим, не летним дождем. До подъема флага оставалось три часа. Городок, утомленный дневными трудами, крепко спал.

Удалой сидел под парусиновым навесом, укрывавшим от дождя его и четырех спутников - квартирмейстера Усева, старого матроса Киселева и аврорцев Зыбина и Ехлакова.

В горах, вероятно, шел непрерывный дождь. Небольшие ручьи, обычно лениво бежавшие через город к внутреннему рейду, теперь шумели и резво катили к морю гальку.

Матросы попыхивали трубками, слушая Усова, который возглавлял экспедицию. Квартирмейстер думал не о кирпичах, а о жене с двумя малолетними сыновьями, которые гостили у свекрови в Тарьинской бухте.

Фамилия Усов на редкость соответствовала его внешности, - усы, заостренные на концах, со множеством подусников, были самой

выразительной приметой на спокойном лице, добром и пребывающем в постоянном довольстве. Квартирмейстер поминутно подкручивал молодецкие усы и с удовольствием рассказывал бобылям о жене и сыновьях, которые "точь-в-точь я, только что усов недостает".

- Верно, служивые, - говорил он, высовываясь из-под навеса и не замечая, что на него падает дождь, - приду другой раз домой поздно, зажгу плошку - на столе ужин собран. А мои спят! Клавдия дышит ровно, неслышно, наследники на медвежьей шкуре разметались. Эх, ровно ангелы по избе летают! Сядешь за стол, подопреешь голову руками и глядишь, глядишь...

- Беспечальным сон сладок, - серьезно сказал Удалой.

Он все посматривал на серевшие вдалеке постройки, ожидая появления Губарева. Но торопить Усова боялся. Усов чужой человек, расскажи такому все - не возьмет на плашкоут. Странное спокойствие овладело Удалым.

- Сладок, - поддержал его Зыбин, пожилой низкорослый матрос с заметной проседью.

Он дослуживал срок и много думал о том, возвратиться ли в родные места, где уже не осталось близких людей, или поселиться где-нибудь в обетованной сибирской земле.

Ехлаков, матрос помоложе, сохранял полную невозмутимость: глаза этого бронзоволицего скуластого человека были неподвижно устремлены на серый в утреннем тумане корпус "Авроры".

Усов убеждал, что матросы, которым вышел срок службы, должны селиться на Камчатке. Щедрая, хорошая земля!

Ехлаков подмигнул матросам:

- Поучись у доброго человека - научит, как воду решетом носить!

Насмешка подстегнула Усова.

- Суши весла! - закричал он. - А что ты, кроме своего фрегата, знаешь? - Усов на мгновение задумался. - Возьмите к примеру медведя...

- Ну-у? - любопытствовал Зыбин.

- Обыкновенное животное?

- Известное дело, - подтвердил Зыбин, - зверь ленивый, добрый.

- На Камчатке медведь - дорожный строитель и рыболов, другого не сыщешь.

- Заметив недоверие на лицах слушателей, Усов продолжал с жаром: Залезет в воду на задних лапах, а передние протянет, как нищий на паперти. И сидит. Только услышит между лапами лосося - сразу хлоп! Рыбина в лапах бьется, а он ее, подлец, знай разделяет. Если случится рыбный год только головы и ест, мозгами лакомится, а мясо бросает... Или идешь лесом, в зарослях стланика, ни пути ни дороги, хоть топор доставай, пробивай

колючую стену. И вдруг медвежья тропа, ровная, утрамбованная, широкая такая, что и на коне проедешь. Трава на ней повырвана, все аккуратно, человек лучше не сделает.

- Без пользы дорога, - заметил скептически Зыбин, - на коне в берлогу не заедешь.

- Не-е, - возразил Усов, - медвежья тропа ведет к перевалам, к речному броду, обходит скалы и пропасти. Медвежья тропа по всей Камчатке идет и умного человека всегда к цели выведет.

От медведей Усов перешел к морским львам и нерпам, поражая матросов подробностями их жизни, рассказами о том, как защищают самцы самок и детенышей.

Но вот плашкоут готов к отплытию, и матросы двинулись к берегу. Удалой брел устало, глубоко вдыхая влажный, морской воздух.

В нескольких саженях от воды Удалого окликнули. От поселка бежала, догоняя его, Харитина. Семен остановился, небрежно опираясь о перевернутую шлюпку, вытащенную на берег для ремонта.

Харитина подошла запыхавшись, с покрасневшими щеками, с прядями волос, выбившимися из-под теплого платка. Руки девушки крепко прижаты к груди, словно сдерживают сердце.

- Здравствуйте! - Он поклонился девушке так, словно ничего и не случилось этой ночью.

Харитина одной рукой отвернула платок на груди и, достав плоский хлебец, протянула его Удалому.

- Скорее расстегни бушлат. Вот так. Спрячь...

Харитина сунула ему за пазуху хлеб. Хлеб горячий, недавно испеченный.

- Спасибо, - Семен чувствовал, как ласкающее тепло растекается по всему телу.

- Сеня, - проговорила девушка дрожащим голосом, - Сеня! Непутевый ты мой матросик... - Бросив украдкой взгляд на людей, копошившихся на плашкоуте, она обвила шею Семена мягкими, теплыми руками и крепко поцеловала. - Голубь мой сизокрылый, - прошептала Харитина и отступила на шаг от Удалого, обеими руками прижимавшего хлеб к груди.

- Се-ем-ен! - позвали его с плашкоута.

Харитина снова бросилась к Удалому и обняла с громким, глубоким, как дыхание, стоном:

- Не отдам я тебя, Сеня, чуешь? И смерти не отдам. Умру - не отдам, повторяла она сквозь слезы.

Харитина долго стояла в порту. Маленький парус обогнул громаду фрегата,

вышел из внутренней бухты и сверкнул в первых лучах солнца, прежде чем скрыться за Сигнальным мысом. Полицмейстер не мешкал. Поутру, заклеив пластырем исцарапанную щеку, он явился с рапортом к Завойко, доставив и вещественные доказательства мундир с сорванным погоном и матросскую трубку. Объяснил, что встретил ночью пьяного матроса, пытался урезонить, но тот начал драться и бежал. Место происшествия назвал приблизительно: на окраине, у Петровской горы. Завойко выговорил полицмейстеру за то, что тот идет в обход без казаков караульной службы, и дал незамедлительный ход делу.

Только встретясь с Изыльметьевым и Тиродем, Завойко почувствовал, что дело обстоит сложнее, чем ему казалось сначала. Изыльметьев был заметно взволнован, Тироль же, напротив, сохранял невозмутимость.

Послали за Удамым, но явился боцман и доложил, что матрос первой статьи Семен Удалой ушел с плашкоутом в Тарью на кирпичный завод. Боцман узнал трубку Удалого и подтвердил, что ночью матроса действительно не было в казарме.

Завойко вызвал к себе презуса военного суда и приказал начать следствие. Но Василий Степанович видел, как различно отношение Изыльметьева и Тироля к случившемуся. Тиролю не удалось скрыть от пристального взгляда Завойко удовлетворенность и даже какое-то внутреннее торжество. Уловил Завойко и враждебную напряженность, сразу возникшую между капитаном и его помощником, как только выяснилось имя преступника.

- Превосходный матрос, - сказал Изыльметьев, когда Тироль ушел. Душа экипажа. И, поверьте, Василий Степанович, хороший, совестливый человек. - Сквозь окно портового кабинета капитан смотрел на высокий корпус "Авроры" и вдруг сказал глухо, растерянно: - А ведь убьют! Убьют!..

И, видя, что Завойко уклоняется от разговора, Изыльметьев тяжело зашагал по кабинету, говоря гневно и всякий раз поворачивая голову к Завойко:

- Не мог он этак... без повода, без понуждения!.. Добрейший матрос, ума отменного... Не верю!..

- Матрос не будет судим без следствия, - сухо сказал Завойко.

Изыльметьев только рукой махнул. Спросил недружелюбно:

- А что он за птица, этот ваш полицмейстер?

- Ни то ни се, - признался губернатор. - А скорее всего дрянь...

- Вот видите! - воскликнул Изыльметьев с болью. - Он, конечно, вызвал матроса на дерзость!

- Это не меняет дела, Иван Николаевич, - сказал Завойко, недовольный тем, что неприятный разговор затягивается. - Закон говорит, что в оправдание

нижнего чина не принимаются показания о личном оскорблении, нанесенном ему офицером. Ничего не поделаешь... Такого нельзя прощать и в более спокойное, мирное время... Вы хотите поговорить с Губаревым?

- Нет! - резко сказал Изыльметьев.

Прошло два дня. Удалой не возвращался. А шестнадцатого августа утром Петропавловск взбудоражила тревожная весть: с Дальнего маяка сообщали, что далеко в море видна эскадра в составе шести судов, направляющихся к Авачинской губе.

Сигнал повторялся неоднократно.

Сомнения быть не могло - пришел враг, хотя кажется невозможным, чтобы в этот солнечный день за сине-золотой завесой, за малахитовыми горами, в спокойном, добродушно-ворчливом море таился враг.

Смотритель Дальнего маяка настойчиво повторял:

"В море вижу неизвестную эскадру из шести судов".

К Н И Г А В Т О Р А Я

ВЫСТРЕЛ

I

Как только стало известно, что у входа в Авачинскую губу появились четыре фрегата, бриг и пароход, Завойко приказал созвать на экстренный совет капитанов судов, командиров батарей и других лиц, ответственных за оборону порта. Офицеры собрались в гостиной губернаторского дома.

В доме как-то необычно громко хлопали двери. По коридору сновал Кирилл; он то и дело сходил с высокого крыльца, бочком, по-стариковски, и сносил вещи на траву.

На этот раз Завойко изменил своей излюбленной манере говорить, расхаживая по комнате. В генеральском мундире, тесно охватывавшем его сухонькую фигуру, он стоял за столиком рядом с Изыльметьевым, и, посматривая в открытое окно, за которым шумел тополь, рисовал подробную картину обороны порта. Неприятель может попасть в гавань не иначе, как только перешагнув через загораживающую вход "Аврору", уничтожив ее и заградительный бон. Защитников порта восемьсот тридцать семь человек: двести восемьдесят четыре - экипаж "Авроры", шестьдесят - "Двины" и сухопутный гарнизон до пятисот человек, считая волонтеров. Наберется еще и небольшая партия охотников-камчадалов.

- Сила немалая, всего до девятисот человек, - сказал Завойко, - о ней прежде здесь и помыслить нельзя было...

Тревожно ударил церковный колокол. Завойко остановился, прислушиваясь.

По кивку Изыльметьева Пастухов выскользнул из гостиной с намерением узнать, что случилось.

- Но и неприятель обманул все наши ожидания, - продолжал Завойко, поглядывая на дверь. - Еще вчера многие считали невероятным, чтобы англичане послали в наше захолустье хотя бы одно крупное военное судно. Я, впрочем, держался другого мнения. Но, признаюсь, господа, и я был поражен известием о столь многочисленной эскадре. Четыре фрегата! Вы знаете, как многолюдны их экипажи, каковы их экипировка и снаряжение. - Здесь он сделал паузу, взглянув на вернувшегося Пастухова, по спокойному жесту которого все поняли, что в заливе ничего не изменилось. - Противу нас двинуто больше двухсот орудий - сила, превосходящая оборону порта по крайней мере в три-четыре раза, - спокойно подсчитывал Завойко. - Большая часть орудий на англо-французских судах - обычно бомбические и мортирные, а их стрелковые партии вооружены штуцерными ружьями. Это создаст большие трудности при отражении десанта. Я не спрашиваю вас, как нам быть, защита отечества - священный долг каждого, и пока мы живы, пока жив хоть один матрос, русский флаг не будет спущен. - Он сурово сжал брови и, заканчивая, произнес убежденно: - Пусть они познают, что от России тогда только отпадает земля, когда на ней не остается в живых ни одного человека! Я жду от вас, господа, советов и пожеланий.

А в коридоре за стеной не смолкал шум, которого, впрочем, почти не замечали поглощенные делами участники совета. Там шли сборы: проносили корзины с провизией, чемоданы, увязанные постели и теплые вещи на случай ночных заморозков. Слышались суетливые шаги, детский плач, ворчание Кирилла. Семья Завойко и другие чиновничьи семьи отправлялись в селение Авача, а оттуда на хутор Губарева, в двенадцати верстах от Петропавловска. Денщики и вестовые были расписаны по местам и ушли, оставив Юлию Егоровну с детьми на попечение старика Кирилла, Насти и, как всегда, пьяного повара.

Первым поднялся капитан-лейтенант Тироль, коротким движением одернув и без того хорошо сидевший на нем мундир. Ему не хотелось говорить, но он сидел рядом с Завойко и, заметив, что Изыльметьев и Мровинский смотрят на него выжидающе, невольно поднялся.

- У нас еще нет окончательной уверенности в том, - начал он, скрывая нерешительность за холодностью тона и отчетливой артикуляцией, - что эскадра, находящаяся в море, неприятельская. Известно, что командор Перри с эскадрой Соединенных Штатов в составе линейного корабля "Вермонт", трех пароходов-фрегатов и шести других судов отправился к берегам Японии,

намереваясь принудить императора к подписанию торгового договора. Возможно, на обратном пути командор Перри с частью эскадры решил нанести визит Камчатке. Наконец, это могут быть и суда эскадры Рингольда-Роджерса...

Мысль Тироля явно не находила ни у кого поддержки. Офицеры понимали, что Перри не мог так быстро закончить переговоры с японцами: церемонии, которыми приближенные сейгуна* и японского императора обставляли международные приемы, требовали многих недель. А Рингольд-Роджерс недавно оставил берега Камчатки и, как стало известно, намерен проникнуть в устье Амура. Тироль почувствовал, что офицеры несогласны с ним, и поспешно заявил, что распоряжение господина губернатора, рекомендующее женщинам и детям укрыться в окрестных селениях, вполне своевременно: "Бомбические снаряды и конгревовы ракеты могут быстро уничтожить дома, состоящие из дерева и сухой травы..."

* Сейгуны - начальники вооруженных сил страны, фактические правители Японии на протяжении многих веков, до 1868 года. Но еще прежде, чем он закончил, раздался условный стук в дверь, и Завойко, оставив Изыльметьева продолжать совет, вышел проститься с семейством.

У крыльца его ждала Юлия Егоровна с гурьбой детей. Она казалась спокойной, но именно в этом спокойствии, в несвойственной Юлии Егоровне медлительности движений и выражалась охватившая ее тревога. Завойко знал это хорошо.

Перецеловав детей, он обнял жену. Ее голова легла на грудь мужа, лоб уперся в холодную пуговицу.

- Прощай, - тихо сказал Завойко. - Если судьбе угодно не дать нам свидеться, то вспомни, что и жизнь долга ли. Не плачь. Останусь жив увидимся, не останусь - детей сохрани, чтоб были люди честные и верно служили России. Завойко гладил жену по голове, по плечу, и Юлия Егоровна, постояв немного, справилась с охватившей ее тоской.

Простившись с Настей и старым денщиком, Завойко взошел уже было на крыльцо, как услышал голос старшего сына Георгия.

- Матушка! - закричал Георгий. - Оставьте меня здесь! Отец остается один... С вами все...

- Георгий! - остановил его Завойко. - Ты опора матери, как можно оставить ее одну?! Ступай с матерью.

Георгий стоял молча, насупившись. Привязанность к матери боролась в нем с мальчишеским интересом к предстоящим сражениям. Но он хорошо знал отца.

Тот редко менял свои решения, а тут и вовсе никакой надежды на это быть не могло. Подхватив одну из корзин, он поплелся за матерью, думая о том, что книжечка, лежащая в его кармане, в которой срисованы все условные знаки маяков, будет бесполезна на хуторе Губарева. Больше всего он завидовал мальчишкам-кантонистам, назначенным помогать орудийной прислуге при подноске "картузов" - шелковых мешочков, наполненных порохом.

Пока Завойко прощался с семьей, в совете были высказаны опасения, сумеют ли защитники порта отразить нападение.

Поручик Гезехус, назначенный командиром Озерной батареи, строительство которой все откладывалось, был в дурном настроении. Белесый, с глазами навывкате, он, как обычно, начал заикаться от волнения.

- Батареи номер шесть не существует, господин капитан-лейтенант, доложил он. - Свезены пушки, и только... К-какие пушки? Четыре восемнадцатифун-фун-товые, лю-лю-безно предоставленные капитан-лейтенантом Васильевым. Батарея не имеет вала. Абсурд! У наших людей кремневые ружья, заряжающиеся с дула. Бьют на триста шагов. А неприятель? - Гезехус выразительно поднял плечи и развел руками. - Для нас б-будет...

- Вы предлагаете сдаться? - оборвал его Изыльметьев.

Мровинский сжал до боли в суставах сплетенные руки. Капитан "Авроры" сегодня злил его. Нехорошо прерывать человека, которому и без того трудно говорить. Всегдашняя замкнутость Изыльметьева нравилась Мровинскому, за нею виделись ему непременно привлекательные черты. Сегодня Изыльметьев переменялся: чувствовалась какая-то грубоватость и прямолинейность, прежней хмури как не было.

- Я готов д-драться, не щадя своей жизни! - Гезехус опустил руки по швам и стоял навтыжку. - Надобно возводить несуществующую б-батарею.

Испытывая вспыхнувшую неприязнь к Изыльметьеву, инженер-поручик Мровинский заговорил бесстрастно, суховатым голосом педанта:

- Отсутствие нарезных ружей неизбежно скажется на обороне. В этом нельзя сомневаться. Уже около ста лет в Камчатку посылают только те ружья, которые негодны к делу. Хорошей артиллерии мало. Некоторые пушки скорей сделают вред нашей прислуге, чем неприятелю. Несчастный, безответный край... - Впервые за три недели жизни в Петропавловске, без сна, без отдыха, он почувствовал смертельную усталость, граничившую с апатией.

Офицеры впервые видели Мровинского в сапогах, покрытых известковой пылью, в измятом мундире, впервые заметили по вспотевшей голове инженер-поручика, сколько трудов стоило ему укрывать растущую лысину длинными прядями волос. А он продолжал методично, словно испытывал

терпение Изыльметьева:

- В Петербурге, вероятно, сочли бы преступной расточительностью то обстоятельство, что в Петропавловске ныне собрано около девятисот штыков, ровно столько, сколько должно быть матросов в одном только сорок седьмом флотском экипаже.

- Вы уклоняетесь от предмета, - нетерпеливо заметил Изыльметьев.

- Напротив, - спокойно возразил инженер и бросил на капитана неприязненный взгляд. - Необходимейшего для батарей материала - леса нет. Железные цистерны вместо пороховых погребов - затея рискованная, но вынужденная. На кошке и перешейке устроены ядрокалильные печи, однако орудийная прислуга по своей неопытности едва ли сумеет ими пользоваться. На батарее номер семь, у подножья Никольской горы, еще ведутся работы; не все закончено и на трех других батареях. Что касается Озерной, господин Гезехус прав, согласно правилам фортификации этой батареи вовсе не существует.

Изыльметьев нетерпеливо поднялся.

- Что вы предлагаете? - спросил он.

- Если последует приказ о приготовлении к бою, предлагаю срочно закончить самое необходимое. - Большие веки инженера устало опустились. Для Озерной батареи мы не успеем насыпать мешки землей, прошу дозволения на использование готовых кулей с мукой, привезенных "Святой Магдалиной". Мера крайняя, но при благоприятном исходе мука вернется в магазин; в противном случае она все равно попадет в руки неприятеля в качестве трофея...

Вернулся Завойко и занял свое место за столом.

- ...Вот, в сущности, и все, - кончил Мровинский.

Дмитрий Максutow напомнил, что в порту имеется ничтожный запас пороха, по тридцати семи зарядов на каждое орудие, учитывая пороховые ресурсы "Авроры" и "Двины".

- Потребуется выдержка и хладнокровие. Беспорядочная пальба для устрашения неприятеля может привести нас к гибели. Артиллеристы должны стрелять только по достижимым целям, это неременное условие отражения, сказал он.

Предложение Мровинского показалось Изыльметьеву удачным. Дмитрий Максutow тоже говорил дело, командирам батарей нужно без конца твердить о скудных запасах пороха. В азарте боя и не заметишь, как останешься без пороха, особенно если командиры еще не были в настоящем бою. Но речи офицеров оставляли чувство досады, в них не было подъема, даже у Дмитрия

Максутова.

Капитан бросил взгляд на Василия Попова. Мичман поспешно встал, хотя минуту назад он решил не говорить. Он волновался, хмурил светлые метелочки бровей и морщил выпуклый, отчетливо разделенный на полушария лоб. Под маленькими каштановыми усами по-мальчишески топырилась губа. Попов говорил короче других, с напряженной отчетливостью:

- Я счастлив и горд, господа, павшим на меня выбором, назначением на батарею номер четыре у Красного Яра, именно потому, что понимаю исключительную трудность обороны...

Пастухов с благодарностью взглянул на друга. Он нетерпеливо ждал, когда же раздадутся настоящие слова, и радовался, что их произнес застенчивый Попов.

После Попова атмосфера военного совета изменилась. Завойко живо наблюдал за энергичными жестами Изыльметьева, которого он еще не видел таким деятельно уверенным и живым. Даже Александр Максутов, слушая лейтенанта Гаврилова и капитан-лейтенанта Коралова, с удивлением находил в себе такой неожиданный интерес к подробностям, будто он не два месяца назад, а только что приехал в Петропавловск.

Дошел черед и до Изыльметьева.

- Нынешний совет произвел на меня дурное впечатление, господа, начал он, придирчиво оглядывая всех офицеров.

В этот момент снова ударил набат - настойчиво, громче прежнего. Он врывался в окна гостиной вместе с нагретым воздухом полудня.

- Да, дурное, - повторил капитан убежденно и продолжал, стараясь пересилить звуки набата:

- Хватит нам шаркать ножками перед англичанами и самих себя вводить в опаснейший обман относительно морского всемогущества Британии. Мы были в Портсмуте, стояли бок о бок с неприятелем у берегов Америки. Видели их корабли, хорошо снаряженные, нарядные, многолюдные. Но в этом больше сытости, довольства, чем мужества и благородного самоотвержения, которыми наш матрос превосходит всех матросов мира. Может быть, недалек тот час, когда история скажет, что британский флот в упадке, несмотря на все внешнее великолепие. Уже и лондонские газеты требуют очистить флот от бездарных офицеров, от людей, одной лишь протекции обязанных своей карьерой, а мы по-прежнему твердим о превосходстве британского флота! Полно, стыдно! Они превосходят нас числом кораблей, числом пушек, числом матросов, но русского матроса я за троих не отдам.

Изыльметьев заключил, сопровождая каждую фразу ударом кулака по столу:

- Сдачи порта ни в коем случае быть не может. Если неприятель прорвется в город, я с фрегата буду продолжать пальбу. В последней крайности взорву фрегат. Русский флаг не достанется врагу!..

Распахнулась дверь, и в комнату вбежал Губарев.

- Ваше превосходительство, - доложил он, тяжело переводя дыхание, - в губу вошел пароход... под американским флагом...

Офицеры невольно оглянулись на Тироля. Неужели он оказался прав в своем предположении и им предстоит не кровопролитная борьба на артиллерийских бастионах с англичанами и французами, а мирная встреча с эскадрой командора Перри? II Офицеры молча спускались к порту.

При совершенном штиле по зеркалу Авачинской губы медленно двигался трехмачтовый пароход. Он шел осторожно на северо-восток, огибая отмели Ракова маяка и мыса Липунского. На короткое время пароход скрылся за Стрелкой, в обширной Раковой бухте. Было очевидно, что он идет к своей цели не прямо, а медлит, лавирует, знакомится с берегами и делает промеры глубин.

В порту толпилось множество петропавловцев. Многие изумленно смотрели на неуклюжее, никогда еще не виданное ими судно, двигавшееся при полном безветрии. Большая дымящая труба, не похожая на камбузную, и колеса, выступающие из воды, нарушали обычные представления о кораблях и казались зловеще угрожающими.

Не доходя трех миль до Сигнального мыса, пароход остановился. В подзорную трубу хорошо был виден американский флаг на корме. Людей на палубе почти не было, как будто пароход находился в открытом море, а не в виду порта. Все это не предвещало ничего хорошего, и офицеры терялись в догадках по поводу флага Соединенных Штатов.

Завойко приказал послать навстречу гребную шлюпку-шестерку под командованием Дмитрия МаксUTOва.

Шлюпка шла по внутренней бухте, скрытая выступами Сигнальной горы. МаксUTOв вел ее как можно ближе к берегу с намерением вынырнуть из-за мыса внезапно и оказаться перед пароходом.

В порту, среди толпы, шли толки и пересуды.

- Не верю, - сказал судья Васильков, стоявший среди толпы со скрещенными на груди руками, - положительно не верю, чтобы англичане были способны на подлог флага! Они не решатся на такой низкий поступок.

- Плохо вы знаете их, сударь, - урезонил его Вильчковский, - и судите неосновательно. Они способны решительно на все.

- Но это же бесчестье! - пожал плечами Васильков.

- А разбойничать на берегах? Жечь деревни, палить из пушек в лоцманские суда? Грабить индусов, китайцев и еще полмира - это что же, подвиги чести? Завойко меж тем, не отнимая трубы от глаз, говорил офицерам:

- По части шарлатанств у них огромный опыт. Три года назад к нам пришел вооруженный люгер* под флагом Соединенных Штатов. Капитан - Геджес. Представительный мужчина, только глаза вороватые. Документы судна показались мне подозрительными. Назначаю комиссию по осмотру. Вижу, гости волнуются, грозят именем президента. Спрашиваю: "Кто у вас теперь президент?" - "Великий герой Захарий Тейлор!" - "Чем же он велик?" - "Как же, - удивляются, - он разбил испанцев, привел в повиновение негров, индейские племена..." - "И только?! Передайте президенту, что в России свои обычаи, и поживей открывайте лавочку, не то нам придется ее взломать!" - Он наводил трубу то на лавирующий пароход, то на эмалевую гладь залива, которую рассекала шлюпка, оставляя за собой пенистый след. Что же вы думаете? Как только комиссия приступила к работе, на люгере подняли новый, уже английский флаг. Ко мне явился с законными документами некий Стротен и заявил, что капитаном является он, а не американец Геджес, пугавший нас гневом президента. Нынче у них новый президент, а повадки старые... Ага! - глядя на пароход в заливе, воскликнул Завойко. Поворотил, поворотил...

* Небольшое трехмачтовое судно. Максutow, выведя шлюпку на простор Авачинской губы, приказал матросам приналечь на весла. Шлюпка полетела навстречу пароходу. Завидя шлюпку, пароход стал уходить на юг. В этот момент на палубу парохода высыпало много людей. Они облепили корму и борт, с которого открывался вид на Петропавловск.

- Табань! - приказал раздосадованный Максutow. Он успел разглядеть на борту парохода небрежно покрашенную надпись "Вираго" и красные рубахи английских матросов.

Завойко насупился.

Сомнений нет! Английский пароход под американским флагом разведывал обстановку. "Если к утру поднимется хотя бы легкий ветер, - думал губернатор, - позволяющий парусным судам войти в Авачинскую губу, завтра же можно ждать сражения. Нужно торопиться с последними приготовлениями".

Перед Завойко вдруг возникла широкая физиономия мистера Чэзза.

- Спешу высказать свое негодование, господин губернатор, - заверял его Чэзз, низко кланяясь. - Торгующие американцы возмущены тем, что

неприятель воспользовался флагом свободных Штатов!

- Невелика беда, Чэзз, - небрежно обронил Завойко и спросил строго: Почему не увозишь добро из Петропавловска? У Жерехова кладовые уже небось пустые, а ты что-то замешкался...

Лицо Чэзза расплылось в угодливой улыбке, глаза исчезли в темных, морщинистых веках, и, прижимая короткопалые руки к сердцу, он промолвил:

- Полагаюсь на доблестных защитников Петропавловска!..

Они не сделали и двух шагов, как поручик Губарев, протолкавшись сквозь толпу, подошел к Завойко и доложил, что со "Св. Магдалины" бежал штурман Магуд и сопровождавший его матрос.

- Куда? - вскинул голову Завойко.

- Неизвестно-с... Похитил деньги, имевшиеся на клипере, и бежал-с!

- Ну-ка, Чэзз, голубчик, - сказал Завойко недобрым голосом, - не ты ли просил за него, а?!

Он приблизился к Чэззу и, схватив купца за лацкан лоснившегося скюртука, гневно спросил:

- Куда он бежал?

- Что вы, господин губернатор! - шарахнулся испуганный купец. - Разве могу я знать!

- Хорошо! - Завойко повернулся спиной к американцу. - Мистер Чэзз поручился за Магуда. Если штурман не отыщется, деньги взыскать с Чэзза!

И, не обращая внимания на протесты купца, Завойко с Изыльметьевым пошел к зданию портового управления.

У крыльца они, к величайшему своему изумлению, столкнулись с Арбузовым, который, по предположению Завойко, должен был находиться уже на полдороге к Большерецку.

Арбузов два дня не попадался на глаза Завойко. На совете он не присутствовал. Казалось, он внял наконец повторному приказанию начальника. С появлением неприятельской эскадры Завойко пожалел было, что отправил Арбузова, вздорного, беспокойного, но все же боевого офицера.

- Почтение, Василий Степанович! - как ни в чем не бывало поклонился Арбузов. - Иван Николаевич, здравствуйте! Все-таки решили припрятать муку подальше, как я и предполагал? - он указал на стрелков, переносивших кули с мукой к Култушному озеру для сооружения вала Озерной батареи.

Завойко взорвало. Мгновенно представились ему и стычки с Арбузовым и повышенный к ним интерес молодых офицеров.

"Недостойно! Мерзко! - пронеслось в голове. - В нынешнее же время и

вдвойне мерзко. Скрываться, хитрить..."

- А я, милостивейший государь, - начал Завойко, сдерживаясь, предполагал, что вы находитесь на пути в Большерецк!

- Василий Степанович, помилуйте! В этакое время...

- Я предполагал, господин капитан второго ранга, что двух приказаний, - розовый от негодования Завойко подчеркнул последнее обстоятельство, - двух моих приказаний достаточно для такого опытного офицера, каким вы себя считаете! В любое время!..

Арбузов струсил. Он потерял беспечный вид, но тотчас же справился со смущением, придав себе вид отчаянной решимости.

- Применяясь к точному смыслу военного закона, при таких исключительных обстоятельствах...

- Обстоятельства, - пресек его Завойко, - известны мне не меньше вашего...

Арбузов хотел найти поддержку у Изыльметьева, но Иван Николаевич ответил на его искательный взгляд так, словно встретился с досадным препятствием при исполнении серьезного и важного дела. Тогда Арбузов упрямо вскинул голову и, сжав кулаки, ответил:

- Я не имел права оставлять свой пост в виду угрожающего противника.

- Третьего дня, когда я повторил свой приказ, о неприятеле не было известно.

- А нынче он тут!

- Потрудитесь немедленно выполнить приказание! - вспылил Завойко.

У Арбузова как-то сразу задрожало лицо, расширились сверкнувшие презрением глаза, заходили сильнее ноздри, он ответил хрипло, срываясь на крик:

- Старший по начальнике не оставляет своего поста на случай его смерти!

- Значит, вы не повинуетесь? - тихо спросил Завойко.

- Разрешите напомнить вам, - воскликнул Арбузов с истерической ноткой в голосе, - что начальник команды не может быть никуда посылаем на срок свыше трехдневного! Я капитан над портом и под страхом смертной казни не оставлю своего поста...

- В последний раз предлагаю вам одуматься, - предупредил его Завойко с недобрым спокойствием в голосе. - Я не допущу подобного неслыханного нарушения приказа перед лицом неприятеля, угрожающего порту.

Арбузов закусил удила.

- Если ваша власть выше закона, - закричал он, - закуйте меня в кандалы, бросьте на гауптвахту, казните...

Но Завойко уже не слушал его. Повернувшись к адъютанту, он приказал:

- Тотчас же приготовьте приказ об отрешении капитана второго ранга Александра Павловича Арбузова от всех занимаемых им должностей. III Случай свел Зарудного и Машу для короткого прощания. Узнав о приближении неприятеля, Зарудный собрал свою партию волонтеров из молодых чиновников и петропавловских мещан, и они, вооруженные кремневыми и пистонными ружьями, отправились на северную окраину города, к Култушному озеру. Здесь была назначена боевая позиция для их разношерстного отряда. При отряде находилась единственная сухопутная пушчонка и пара лошадей к ней.

Партия уже около двух недель проводила ученье, и Зарудному удалось добиться некоторой согласованности действий, хотя внешне отряд выглядел случайным сборищем. Чиновничьи мундиры смешались с неуклюжими куртками местного изготовления, с ситцевыми и холщовыми рубахами мещан, форменные фуражки - с выцветшими картузами и потертыми малахаями.

В полдень волонтеры расположились на отдых. Из-за казарм, которые замыкали северную окраину Петропавловска, показалась колонна женщин и детей. Они шли к Култушному озеру по грунтовой дороге, ведущей на Авачу. Зарудный, как и другие чиновники, стоял с обнаженной головой. В тихом исходе этом, без стенаний и плача, было что-то горестное и значительное.

Неожиданно Зарудного обнял Андронников, оказавшийся в колонне женщин. Он тоже уходил на Авачу.

- Голубчик, - бормотал он, смахивая слезу, - счастлив видеть вас... безмерно счастлив и доволен...

- Иван Архипович! - обрадовался Зарудный. - Уходите?

- Увы! Скитанья мой удел! - старик поник головой, и борода, прижатая к груди, смешно растопырилась. - Подобно Агасферу, блуждать буду вечно и в горести пребуду...

Зарудный не удержался от смеха, - так комичен был этот взлохмаченный пророк печали на виду насторожившейся толпы и спокойно двигавшихся женщин.

- Над старостью смеетесь, господин хороший! - обиженно выпятил нижнюю губу землемер.

- Да нет же! - поспешил уверить его Зарудный. - Я подумал, что для Агасфера Камчатка земля неподходящая: кругом вода и вода, а теперь и неприятель появился...

- Надеетесь? - выразительно спросил Андронников, потрогав пальцем дуло ружья Зарудного.

- Твердо верю, дорогой Иван Архипович, - ответил он.

Освободившись из объятий землемера, Зарудный увидел в толпе и Машу, и Настю поодаль, с младшей дочерью Завойко на руках.

- Здравствуйте, Марья Николаевна! - сказал Зарудный, теряясь от неожиданности.

Маша подошла к нему и, смущаясь, заговорила:

- Я хочу проститься с вами, Анатолий Иванович...

- Верю, верю, что вы скоро вернетесь, - поторопился сказать Зарудный, почувствовав, что она хочет завести разговор о том, чего ему теперь не хотелось и вспоминать.

- Не знаю, - уклончиво ответила Маша. - Я не думала уходить, но пришлось уступить... - Она замялась. - Ничего не могу поделать с матушкой...

- Маменьки нынче не верят, что Жанна д'Арк существовала когда-либо, вставил Андронников. К нему возвращалось присутствие духа, а вместе с ним и юмор.

- И не только они, - зло возразила Маша, - но и господа офицеры! Насмешка землемера задела девушку, она уже твердо глядела в глаза Зарудного. - Мы расстаемся, Анатолий Иванович. Кто знает, что случится завтра. Простите меня, и мы расстанемся друзьями.

- Полно, Машенька, что вы! - воскликнул Зарудный, сжимая ее протянутую руку. - Вы... вы не должны виниться... Все пройдет, забудется...

Поднявшись на носки и наклонив Зарудного к себе, Маша, сразу же превратясь в порывистого подростка, поцеловала его в лоб и, крикнув: "Будьте мужественны! Прощайте!" - убежала.

Анатолий Иванович ожесточенно теребил свои жидкие усики. Все поплыло перед его глазами в ласковом солнечном мареве: идвигающаяся дальше колонна, и взмахи фуражек в руках чиновников, и ответное прощальное приветствие Андронникова, высоко поднявшего над головой широкополую шляпу. IV Вид камчатских берегов порастил Прайса. Всем морякам мира самое слово "Камчатка" служило синонимом севера, льдов и холода, где почти невозможна нормальная человеческая жизнь. Стало обычным противопоставлять тропическому зною холод Камчатки. Камчатка продолжала линию дикого, скалистого берега, отмечаемого на всех европейских картах загадочным именем "Т а т а р и я".

Солнечным утром 16 августа 1854 года старые, уже приглядевшиеся к миру глаза Прайса загорелись молодым любопытством. Такого высокого неба и дикой, влекущей красоты он еще никогда не видал. Конечно, и Столовая гора у Капштадта и грозные утесы мыса Доброй Надежды стоили многого, не говоря уже о языческой дикости Огненной Земли. Но у Капштадта все было

просто, разгаданно: за отвесными скалами находилась богатая страна, в которой кое-что принадлежало и Дэвису Прайсу.

Впрочем, и здесь почти такие же скалы у входа в бухту и утесы, о которые в непогоду может расщепить корабль, сколоченный лучшими мастерами Англии. На вершинах вулканов сверкает никогда не тающий снег. Мир окрашен в голубой и зеленый цвета. Голубое небо и зеленая земля всевозможных оттенков, от легких, акварельных, тающих тонов до темно-зеленого плотного бархата.

Прайс вернулся в каюту в хорошем настроении, но тут его ждал сюрприз.

На полу, между дверью и столом, лежала газета. Это декабрьский, сильно истрепанный номер "Дейли ньюс". Подняв газету, адмирал увидел несколько жирно подчеркнутых кем-то строк. У Прайса задрожали колени и нижняя челюсть тяжело отвисла, когда он прочел эти строки.

В них не было имени Прайса, но и без того все было ясно. "Не пора ли, - спрашивалось в статье, критикующей порядки во флоте, - очистить британский флот от старых, сгнивших судов, а офицерский состав - от бездарностей и выживших из ума стариков?" Чтобы Прайс не терялся в догадках и не строил себе никаких иллюзий, слова "выживших из ума стариков" подчеркнуты дважды.

Прайс бросился к двери, но, приоткрыв ее, одумался и, спрятав газету, в смятении заходил по каюте.

"Кто? Кто мог это сделать? - спрашивал он себя, не находя ответа. Флаг-капитан Ричард Барридж? Ограниченный офицер, безынициативный, туповатый, но исполнительный служака с подобострастными глазами, которые не умеют лгать? Нет, он не мог подбросить этой газеты. Никольсон? Смешно приписывать такой утренний подарок человеку, находящемуся на расстоянии нескольких кабельтовых от Прайса, на борту "Пика"... Разве что пороть всех матросов подряд, вытрясти из них душу, узнать, кто подходил этим утром к его каюте. Нет, не годится! Таким оборотом дела будет больше всего доволен тот, кто издевался над Прайсом".

И Прайс решил лично отправиться на рекогносцировку Авачинской губы на "Вираго". "Нужно действовать, - подумал Прайс. - И действовать энергично. Заткнуть глотку бездарным мальчишкам, возомнившим о себе слишком много!"

"Дейли ньюс", аккуратно сложенная и засунутая во внутренний карман мундира, жгла грудь. Как только "Вираго" удалился от эскадры, Прайс прошелся по палубе, расстегнул пуговицу мундира и выбросил газету за борт. Кажется, никто не заметил. Все смотрели вперед, на широкий

скалистый коридор, за которым открывалась панорама огромного залива.

Прайс старался скрыть волнение, но это плохо удавалось. Руки, державшие тяжелую зрительную трубу, тряслись. Пароход лавировал, и Петропавловск на короткое время уходил из поля зрения Прайса, но с каждой минутой каждая пройденная сажень уводила "Вираго" в глубь залива, на север, где адмирал уже успел заметить высокие мачты судов и линии крепостных укреплений.

Наконец пароход остановился в трех милях от Петропавловска. Адмирал вспомнил об американском флаге, и чувство неуверенности, давно охватившее его, возросло. Правда, даже самый придирчивый член конгресса отнесся бы к подлогу флага как к забавной шутке. И все-таки Прайсу не по себе, когда он думает о том, что с самого начала обстоятельства заставляют его прятать британский флаг.

Без труда узнал он "Аврору", загородившую бортом вход в бухту. Слева бухта прикрыта гористым полуостровом, справа лесистым горным склоном. Песчаная кошка заслонила корпус русского фрегата значительно выше ватерлинии.

Петропавловск представился Прайсу глухим ущельем, войти в которое можно только с юга. Но этот вход защищают естественные преграды, русские суда и три батареи - они смотрят на Прайса темными квадратами амбразур. На скалах в конце полуострова видна высеченная в горе батарея и русский крепостной флаг. В основании песчаной косы многосаженное сооружение, обороняющее вход во внутреннюю бухту.

В одно мгновение Прайсу представились ошибки недавнего прошлого и весь возможный позор будущего. Все, что построено здесь русскими, - дело самого недавнего времени. Пока он препирался с Депуантом, эти люди успели воздвигнуть укрепления. Китобои, посетившие Петропавловск весной, как и шпионы, щедро оплачиваемые Виллье, не видели здесь прежде никаких укреплений и доносили о ничтожном гарнизоне, неспособном к защите. В Англии никто не поверит, что для захвата Петропавловска нужно было понести большие жертвы.

В сознании Прайса тяжело ворочались газетные строки: "Выживший из ума старик"!.. Он, только он виноват во всем! Захвати он "Аврору" в Кальяо Никольсон не пропускает случая напомнить, что предлагал поступить именно так, - и Петропавловск лишился бы такой немалой силы, как фрегат, многих орудий, опытных защитников.

Этого никто и никогда не простит Дэвису Прайсу - с т а р и к у, в ы ж и в ш е м у и з у м а. Скупердяи из Сити слишком дорожат каждым кораблем, каждым

гвоздем, вколоченным в палубу. Барышники, заседающие в парламенте, беспощадны, когда дело доходит до нарушения их интересов, когда видят, что жирный кусок ускользает из рук. Корабль не должен утонуть, прежде чем не придет в полную ветхость. Горе тому капитану или начальнику эскадры, который не сумеет защитить торговые интересы Англии или упустит добычу, щекочущую ноздри лондонских купцов и банкиров! Его могут спасти только связи, только протекция. Иначе парламентские демагоги, остерегающиеся трогать сильных, уничтожат его, человека без протекции, унижат, посадят на скамью подсудимых. Капитаны эскадры Бенбоу, с безукоризненной честностью служившие британской короне, были повешены только за то, что прекратили безрассудное преследование вдвое более сильной неприятельской эскадры... Даже храбрый ветеран Роберт Кальдер, которого никто не осмелился бы назвать в ы ж и в ш и м и з у м а с т а р и к о м, даже безмерно отважный сэр Роберт Кальдер лишился начальствования и был отозван с флота за то, что, вступив в сражение с неприятелем, отнял у него только два корабля, в то время как торгаши из Сити рассчитывали на большее! По сравнению с Прайсом это были люди, о которых можно сказать, что они имели некоторые связи!

Могильным холодом дохнуло на Прайса в этот теплый августовский день.

Хорошо бы уйти, исчезнуть или возвратиться на год назад и отказаться от лестного предложения адмиралтейства, доживая остаток лет на увитой плющом веранде капштадтской виллы, рядом с домами неприветливых голландцев! Хорошо играть с внуками, раскрывать за утренним кофе газеты и находить свое имя только в списках пожертвователей, как и подобает с т а р и к а м, в ы ж и в ш и м и з у м а. Если нужно пощекотать нервы, для этого существуют маленькие бушмены и кафры, охота на них не сопряжена с большим риском!

Послушайся он совета Никольсона и отправься без промедления в Гонолулу - русский фрегат "Диана", возможно, лежал бы уже на дне Тихого океана или был бы отведен в один из американских портов. Где теперь "Диана"? Конечно, рыщет на торговых путях, уничтожает английские купеческие суда, доверившиеся в ы ж и в ш е м у и з у м а с т а р и к у, пускает ко дну состояния лондонских купцов, а вместе с тем топит и его, Дэвиса Прайса, репутацию, доброе имя, а может быть, и жизнь.

Он с озлоблением смотрел на недостижимый крепостной флаг, на маленькие фигурки людей в порту, на спокойные зеленые горы, дружелюбно обступившие порт и укрепления.

Вот почему Прайс не сумел скрыть внезапного испуга и приказал повернуть

"Вираго" к выходу из залива, когда из-за скалистого полуострова показалась русская шлюпка. Адмирал заметил крайнее удивление Маршалла капитана "Вираго", а затем увидел, как высыпали из трюма на палубу матросы и офицеры, словно им больше не представится возможность взглянуть на Петропавловскую бухту. Команда парохода недоумевала: чего испугался адмирал? Но "Вираго" уже неуклюже поворачивал и уходил от шлюпки.

Еще одна оплошность! Слух о том, что "Вираго" при шести пушках бежал от неприятельской шлюпки и адмирал не дал бомбардирам испытать меткость их прицела, тотчас же распространится по эскадре. Непоправимая оплошность!..

Бодрость уже не возвращалась к Дэвису Прайсу.

Он стоял одиноко на корме "Вираго", когда пароход в вечерних сумерках проходил мимо Трех братьев - высоких скалистых зубьев, стороживших вход в залив. Что-то мелькнуло на волне. Прайсу показалось, что это номер "Дейли ньюс", брошенный за борт, маячит на волнах, поджидая эскадру. Газета и завтра будет кричать о старике, выжившем из ума! Найдутся еще глаза, кроме глаз Прайса, которые узнают грязный газетный листок...

Поздно ночью Прайс встретился с Депуантом.

По настроению Прайса Депуант заключил, что в Петропавловске, этом загадочном русском порто-франко,* его встретили не белые флаги и не суетливая бестолочь шлюпок, наполненных представителями торговых фирм.

* Беспешный порт. Депуант схватил жесткую ладонь Прайса и с тревогой спросил:

- Одно слово, мой адмирал: *petite escadrille*?

- "Аврора" там.

- Русские воздвигли укрепления?

- Да. И весьма серьезные. Порт расположен в естественной и почти неприступной крепости.

- Для соединенной эскадры не существует невозможного, мой адмирал!

- Разумеется, - бесстрастно подтвердил Прайс. - Но штурм будет стоить больших усилий.

- Я полагаюсь на психологический эффект, - ободрил себя Депуант. Стоит русским увидеть нашу эскадру - и их воинственный пыл остынет.

- Сомневаюсь, - буркнул Прайс.

- Нужно основательно пугнуть их! - Слова француза сопровождались энергичными взмахами руки. - И мы это сделаем, черт возьми! Не для того же мы тащились в Камчатку, чтобы обменяться приветствиями!

Решили вести эскадру в Авачинскую губу на следующий день, если позволит

ветер.

Утром черные фрегаты - белые полосы, обозначавшие артиллерийские порты, были покрашены еще в Гонолулу - начали осторожно входить в проход и поплыли в кильватерной колонне. В четыре часа дня эскадра бросила якорь в заливе западнее Сигнальной горы.

Когда суда описывали дугу, проходя в виду Кладбищенской, Кошечной и Сигнальной батарей, раздался общий залп "Авроры" и трех батарей. Снаряд одной из бомбических пушек Сигнальной батареи угодил в корму "Президента", повредив осколками штурманскую и капитанскую каюты. Прайс, занимавший каюту своего флаг-капитана, находился в это время на носу, но меткое попадание русского снаряда принял как недоброе предзнаменование. Суда эскадры ответили несколькими залпами верхних батарей и отошли в глубь залива.

На "Президенте" было созвано совещание капитанов эскадры. Все имели возможность лично рассмотреть укрепления Петропавловска, - следовательно, не было нужды излагать результаты вчерашней рекогносцировки. У всех были уши, чтобы слышать, как встретили эскадру русские артиллеристы.

Прайс хотел бы знать, известно ли его подчиненным о бегстве "Вираго" от русской шлюпки. Но разве прочтешь что-нибудь на замкнутых лицах офицеров, в глазах, не выражающих в данную минуту ничего, кроме служебного рвения! Даже расчетливый Никольсон охвачен воинственной лихорадкой, злобной нетерпеливостью, точно он готов сейчас же, не ожидая рассвета, ринуться в бой.

Адмирал изложил свой план атаки:

- Мы бросаем в бой сильнейшие суда. С русскими нужно покончить одним мощным ударом. "Президент" займет место против самой сильной неприятельской батареи. - Прайс мельком взглянул на Никольсона, но тот ни одним движением не выдал своего отношения к решению адмирала. - Ближайшая батарея, находящаяся на оконечности полуострова, будет уничтожена огнем "Форта". Капитан Никольсон со своим фрегатом захватит дальнюю батарею, могущую помешать нам фланговым огнем. Подавив эти батареи, мы собьем замок с порта и доберемся до "Авроры". Мы обрушим на порт удар ста пятидесяти орудий, имея в запасе еще пятьдесят. Отважные артиллеристы "Форта" отомстят за сегодняшний выстрел русской батареи, стрелковые партии капитана Никольсона без труда овладеют самым незащищенным из русских укреплений.

Никольсон рассчитывал на то, что адмиралы, столь нерешительные у берегов

Америки, и тут, следуя своей тактике, возложат на него самую трудную задачу. Он уже видел "Пик" в облаках порохового дыма, идущий в узкий проход, на горящую "Аврору", мимо разгромленных - им разгромленных! - батарей. И вдруг - дальняя батарея! Трехпушечная батарея, с которой мог справиться не только малый фрегат "Эвредик", но и восемнадцатипушечный бриг "Облигадо". Но Фредерик Никольсон склонил негодующее лицо в знак того, что он все понял и со всем согласен.

Спрошенный же Прайсом по существу плана, Никольсон порывисто поднялся и без всякой связи с предложениями адмирала сказал:

- Флот требует отважных, дерзких парней. Из таких парней состоит экипаж "Пика", и они выполняют любой приказ. Будет бесчестьем британского флага, если наш завтрашний обед состоится не в Петропавловске.

Воинственное заявление Никольсона все приняли как свидетельство храбрости и патриотизма капитана, и только Прайс сумел в полной мере оценить скрытые в нем намеки.

Наступила ночь. Прайс не ложился, погруженный в мрачные размышления.

В каюте еще заметны следы недавнего взрыва: бюро, в котором хранятся пистолеты, сдвинуто в сторону, поврежденная переборка завешена ковром.

Прайс представил себе возможность неудачи. Представил с такой ясностью, столь подробно, что смог бы описать картину бедствия до мельчайших деталей.

Бесчестье британского флага! А что, если ему, человеку без связей, полузабытому адмиралтейством, суждено стать причиной этого позора? Быть судимым, лишиться мундира, чести, доброго имени! Оставить в наследство сыновьям не лордство, а поруганное, замаранное грязью имя! Нет! Только не это... Прайс с омерзением чувствует ненужность и нелепость своего длинного тела, внушающего почтение подчиненным, свое бессилие... Он гонит от себя мысли о прошлом, о непоправимых ошибках, призраки разгрома, бедствий, тонущих судов, озлобленные лица купцов, лордов адмиралтейства, членов трибунала, посылающих его в тюрьму.

Мелькает мысль: а что, если умереть? Посмеяться над такими прохвостами, как Никольсон или ничтожество Клеменс (по-видимому, он подсунул ему "Дейли ньюс", - кто другой мог это сделать?!). Если бы уйти, не навлекая на свои седины позора! Заставить окружающих возносить ему хвалу, сожалеть, говорить прочувствованные речи и лицемерить так же, как они лицемерят при его жизни.

Несчастный случай?.. Неосторожное обращение с пистолетом? Внезапный выстрел - и никто не осмелится назвать это самоубийством! Предоставить

Никольсону и Депуанту погибать от русских ядер, а самому уйти, как подобает сильному? Если эскадру постигнет неудача, никто не станет хулить его, жертву несчастного случая. Найдутся и такие, которые скажут: "Если бы был жив Прайс! О, если бы этот славный старик, этот старый отважный солдат был жив, разве так обернулось бы дело?" Такие всегда находятся.

И сразу же вместо разверстой могилы позора Прайсу представилась пышная поминальная служба в кафедральном соборе св. Павла. Вереница карет, кэбов, экипажей, замершие на дороге омнибусы... Печальные лица, траур, семья, окруженная вниманием и почетом, дорога из белых роз, по которой душа Прайса и доброе имя его восходят к вечному блаженству...

А те, которые считают его стариком, выжившим из ума, пусть отдадут жизнь за честь британского флага! С него хватит. Он заслужил право на этот последний выстрел. Он хитрил с кафрами, бушменами, голландскими колонистами в Африке, со священником, которому исповедовался, - можно ему один раз схитрить с Англией! Многие делают это каждый день и купаются в золоте, пользуются репутацией лучших, благороднейших, честнейших граждан Англии. Разве он не платит тяжелой цены? Разве он не ищет самого малого для себя - только покоя и доброго имени?

Ноги Прайса одеревенели. Всю ночь он двигал ими, не сбиваясь с шага. Из угла в угол. Из угла в угол.

На рассвете в каюту Прайса постучали. Понадобились немалые усилия, чтобы казаться спокойным и полным решимости.

Прайс ответил на приветствие Барриджа и вышел с ним на палубу. Флаг-капитан что-то говорил о принятых диспозициях. Прайс деловито покачивал головой. Он сегодня суров и внимателен как никогда.

"Президент" готовился к сражению. Снимались щиты и переборки кают, отделяющие их от артиллерийских батарей. Дюжие руки матросов убирали переборки адмиральской каюты. Теперь каюта и батарея с находящейся на ней орудийной прислужкой представляли собой одно целое. Матросам хорошо видно, что делается в каюте. Теперь Прайс не смог бы ни открыть незаметно бюро, ни выпить тайком рюмку рому.

Ветер достаточно силен, чтобы "Пик" и "Президент" могли занять свои места без помощи "Вираго". Но "Форту" понадобится буксир: он стоит так, что при необходимой эволюции попадет под обстрел русской батареи.

"Пик" начал двигаться. С "Форта" подали буксир на пароход.

Сигнальные флаги взвились на мачтах.

- Теперь мы готовы! - громко сказал Прайс и спустился в свою каюту.

Он открыл бюро, вынул два пистолета и, зарядив их, остановил выбор на

одном. Внимательно, держа палец на спусковом крючке, осмотрел вороненую сталь, заглянул в короткий ствол, словно заметив внутри пятна ржавчины. Правый глаз Прайса нервно подергивался, но он был зажмурен, - иначе орудийная прислуга, стоявшая в нескольких шагах от него, заметила бы, что с адмиралом неладно.

Пистолет скользнул вниз, от левого глаза к груди, и когда он оказался на уровне сердца, раздался выстрел. Прайс упал, растянувшись почти во всю длину каюты.

В последний миг рука адмирала дрогнула, и пуля прошла чуть выше сердца. Он лежал без сознания, в крови, медленно выползавшей из-под левого плеча. Барридж трясущимися руками расстегнул мундир, разорвал тонкое полотно рубашки. На груди почти не было крови, жесткая седая поросль окружала небольшую рану. Видимо, кровь заливала легкое.

Адмирал приоткрыл левый глаз. Тусклый зрачок дрожал в сетке рыжеватых седых ресниц. Правый глаз закрыт, словно парализован. Сознание того, что он жив, не радует Прайса. Что-то сломалось внутри, лопнула пружина, двигавшая его поступками, возобновлявшая силы и волю, и нет желания сопротивляться смерти.

Возле него Барридж. Это хорошо. Самый доверчивый из всех... Нужно сказать что-то такое, что Барридж непременно запомнил бы и передал другим.

- Проклятый... пистолет... - прохрипел Прайс, чувствуя, как клокочет у него в груди и пена выступает в углах губ. - Кэт... дорогая Кэт... Вы победите, капитан...

Барридж почтительно склонил голову.

Прайс закрыл глаза и после этих драматических слов только изредка поглядывал на окружающих сквозь дрожащие, прижмуренные веки.

Вокруг адмирала суетились люди. Медик "Президента", мсье Гренье, офицеры. Его положили на кушетку. Длинные ноги в чулках повисли без опоры. Потрясенный Депуант о чем-то вполголоса расспрашивал Барриджа.

- Ах, какое несчастье! - восклицал француз через правильные промежутки.

По трапу спустился Никольсон, - только он умеет так тяжело ступать на каблуки. Прайсу очень хочется взглянуть на Никольсона, на выражение его лица, но он отказывает себе и в этом.

"Нет, нет... Только лежать и слушать! Насладиться скорбью подчиненных. И уснуть..."

Так проходит час. Слух Прайса ловит отдельные слова и фразы. Его собственные слова, брошенные как приманка Барриджу, у всех на устах. Их повторяют, им придают должный смысл и направление. Скоро у его постели

разыграется привычная комедия притворства, ханжества, спектакль, ради которого он и убил себя.

Мсье Гренье в трех шагах от него объясняет кому-то, что все зависит от сердца:

"Выдержит ли оно? Он давно не приходит в сознание... Это прискорбно..."

Взглянуть бы на того, кому он это говорит... Что он - растерян, огорчен или равнодушен, слегка прикрывшись показным участием?..

Сквозь щелку век Прайс осторожно смотрит на окружающих, слабо различая их. Они плывут, точно под водой.

Доктор попросил всех оставить каюту. Офицеры тяжело поднялись по трапу, словно на плечах у них уже колыхался гроб или костлявое тело, завернутое в парусину. Около Прайса остались врачи, - они отошли в сторону и совещаются. Тут же Депуант и Никольсон.

Адмирал чуть приоткрыл глаза и уловил презрительный взгляд Никольсона. Прайс захрипел.

- Я приказал прекратить все приготовления, - сказал нерешительно Депуант.
- Сегодняшний день испорчен, ничего не скажешь, - согласился Никольсон.
- Думаю, что адмиральский флаг не должен быть спущен... до занятия Петропавловска?

Прайс ждет, что ответит Никольсон, старший после него на эскадре.

- Пожалуй, - процедил сквозь зубы капитан "Пика".

Длинная, мучительная пауза. Прайс пытается представить себе, как топчется на месте растерянный француз в поисках слов, приличествующих моменту, но и приятных молодому честолюбцу.

- Какой человек умер! - раздается наконец вздох Депуанта.
- Вы верите в несчастный случай? - спрашивает Никольсон грубо.
- Побойтесь бога!.. - начал было Депуант, но собеседник прервал его:
- Пусть он трепещет бога и страшного суда! Выживший из ума старик!
- Ради бога, капитан... - прошептал Депуант. - Я тоже подозревал... Но этого не должен знать никто до окончания боя. Вы дадите мне честное слово офицера... Вашу руку!

Молчание.

Умиравший видит их рукопожатие, слышит, как легко взбегают по трапу Никольсон. Это походка человека, который вполне уверен в своем благополучии и силе. Депуант приближается к распростертому телу Прайса, чтобы проститься, но губы шепчут слова, от которых адмиралу становится совсем худо:

- Ах, какая подлость!.. Связал меня господь на старости лет...

Больно сердцу. Кажется, кто-то накачивает его воздухом и сердце вот-вот разорвется... Прайс не может ни крикнуть, ни пошевелить рукой, хотя мысль еще работает. Но когда матрос, подвешивая ковер в том месте, где была переборка, весело сказал своему товарищу: "Бешеный дог не будет больше скалить зубы! Он получил чего заслуживал", - Прайс чуть приподнялся, хотел закричать, жить назло всем, и упал на спину, чтобы больше уже не подниматься, не видеть ненавистных лиц, не слышать поношений. Левое легкое, налившись кровью, задушило старое, немощное сердце Дэвиса Прайса, контр-адмирала.

ИДИТЕ!

I

Завойко неотлучно находился на Сигнальной батарее, наблюдая за кораблями в зрительную трубу. С самой батареи не видно эскадры, с запада позиции защищены скалою - она служит батарее траверсом и заслоняет всю северо-западную часть залива. Орудия установлены так, чтобы защищать подходы к Петропавловской бухте. Только выйдя вперед бруствера, на наклонную, покрытую щебнем площадку, можно следить за противником. Но тут неудобно, голо и площадка слишком наклонена к заливу.

Завойко, лейтенант Гаврилов и присланный Изыльметьевым Пастухов обогнули скалистый траверс и вышли на удобную площадку, заросшую пахучей серебристой полынью. В трещинах скал вился морской горох, поднявшийся так высоко по каменистой почве.

Стояло спокойное, ничем не потревоженное утро.

Увидев в зрительную трубу, как взвились сигнальные флаги на фрегатах, как пришел в движение сорокашестипушечный корабль, а с самого крупного, шестидесятипушечного "Форта" подали буксир на пароход, разводивший пары, Завойко приказал лейтенанту Гаврилову привести батарею в боевую готовность и сигнальть "Авроре" и остальным батареям о подготовке к сражению.

Отправив Гаврилова и продолжая следить за фрегатами, на которых поспешно убирались порты и переборки для свободы действий оружейной прислуги, Завойко обратился к Пастухову:

- Вам знакомы эти суда?

- Да, хотя они и покрасили борты. Они находились с нами в Перу. Вон тот, ближний к нам, шестидесятипушечный, - "Форт", флагманский корабль французов; второй, с контр-адмиральским флагом, - "Президент", пятьдесят пушек; малый фрегат - "Эвредик", тридцать две пушки. Остальных не было в

Кальяо.

- Расскажите об Арбузове...

Завойко наблюдал за шлюпкой - она двигалась от "Президента" к "Форту". Но приготовления на эскадре внезапно прекратились.

- Сегодня ночью Арбузов явился на "Аврору", - сказал мичман. - Взойдя на фрегат, он обратился к Ивану Николаевичу с такими словами: "Господин капитан-лейтенант, искреннее чувство и преданность престолу привели меня к вам. Остаться простым зрителем начинающегося дела для меня равно смерти. Разрешите мне поступить волонтером под вашу команду..."

- Так, так! Что же ответил ему Иван Николаевич?

- Он сказал: "Александр Павлович, все мы в настоящее время находимся под начальством Василия Степановича. На его плечах ответственность за судьбу порта. Я обещаю вам попросить разрешения у генерала Завойко..."

Завойко послал вестового за Гавриловым. Рассказ Пастухова не произвел на губернатора никакого впечатления, - видимо, судьба Арбузова перестала его занимать.

- Хотел бы я знать, почему они прервали приготовления? - размышлял вслух Завойко. - Какая-то суета; шлюпка, ездившая к "Форту", возвращается на флагманский корабль... Все приостановлено... Странно... Странно...

Пришел Гаврилов. На эскадре спустили сигнальные флаги. Завойко повернулся к Пастухову:

- Передайте Ивану Николаевичу: непосредственная угроза миновала, неприятель отложил приготовления. Пока намерения неприятеля не выяснятся определенно, я приказал разбить стрелков на три партии. Крупной партии, в сто штыков, назначаю место на берегу между Кошечной батареей и Красным Яром. Скрываясь в кустарнике, эта партия сможет оказать содействие Попову и в случае необходимости прийти на помощь порту и главной батарее. Вторая партия остается здесь, при мне, маскируясь в восточной отлогости Сигнальной горы. Третья - в городе, для тушения пожаров. До начала действий противника нет никакой возможности составить более подробную диспозицию. Идите.

- Всё? - Пастухов мешкал с уходом.

- Ах да, еще Арбузов! - вспомнил Завойко. - Что ж, я согласен, пусть Иван Николаевич берет этот грех на душу.

- Как быть с резервными запасами пороха? - спросил мичман. - В каких количествах распределять их по батареям?

- Порох пока останется на "Авроре". Сейчас трудно предвидеть, где он понадобится больше всего, а где может оказаться обузой... Мы подвезем

запасные картузы во время сражения.

Пастухов умчался в сторону Перешеечной батареи. Оттуда через седловину легче пройти к песчаной отмели, где его ждала одна из шлюпок "Авроры".

На Сигнальной батарее шумно, оживленно. В отлогости горы оборудована походная кухня, возле нее орудуют Харитина и еще одна девушка, вызвавшаяся вместе с Харитиной помогать артиллеристам. Девушки разливали в матросские миски щи с солониной. Рядом выдавались положенные на обед две трети чарки белого вина, и все это вместе - миновавшая тревога, присутствие девушек, обед и водка - возбуждало матросов, вызывало смех и шутки.

Вот кто-то из матросов, опрокинув чарку, высоко подбросил ее, поймал в воздухе и, взбежав на бруствер, закричал в сторону неприятеля:

- Добро пожаловать, непрошенные гости, лежать вам на погосте!

Батарея ответила ему дружным хохотом.

Из-за скалы показались Гаврилов и Завойко. Шутник хотел было спрыгнуть с бруствера, но заметив что-то вдали, лихо отрапортовал, будто специально для этого и забрался на укрепление:

- Ваше благородие, в море вижу парус... Виноват, не в море, в заливе!

Гаврилов быстро взшел на вал и, посмотрев в трубу, доложил Завойко:

- Плашкоут Усова возвращается из Тарьинской бухты... Неприятель спускает с ростров катера и баркас...

Завойко, обойдя платформы бомбических пушек и левый фас батареи, вышел на каменистую площадку.

Сигналить Усову об опасности поздно.

Ветер стихал, и было заметно, как повисал парус тяжело нагруженного плашкоута. Гребные катера и баркас, каждый с флагом на корме, шли навстречу плашкоуту, охватывая его полукольцом. Экипажи неприятельских судов высыпали на палубы и толпились у сеток, наблюдая за неравной борьбой.

Обед забыт. Артиллеристы - их было на батарее со всей прислугой больше шестидесяти - сгрудились на площадке перед бруствером и на валу. Увидев, что батарея опустела, Харитина поднялась на бруствер, пробуя ногой прочность земляной насыпи. Едва она поровнялась с матросом Иваном Поскочиным, как он закричал:

- Братцы, это же плашкоут! Там Семка Удалой!

- И Ехлаков! - вспомнил кто-то.

- А Зыбин?! Земляка-то забыли!..

Толпа зашумела, заговорила, заволновалась, как будто их возбужденные

движения на Сигнальной горе могли помочь людям на плашкоуте.

Харитина вздрогнула, услышав имя Семена. Она застыла на возвышении, наблюдая, как цепочка вражеских катеров смыкалась вокруг знакомого плашкоута.

Парус бесцельно болтался на мачте плашкоута. Наступил штиль, как и во все эти последние дни после полудня. Двигаться можно только на веслах, но плашкоуту, нагруженному четырьмя тысячами штук кирпича, невозможно уйти на веслах от легких гребных катеров.

- Вот так Зыбин! - махнул рукой старый матрос с проседью в усах. - По последнему году служит, а, кажись, в железа угодил.

- Землю ехал смотреть, - пропел насмешливый тенорок. - Под хутор, стал быть, себе...

- Ишь ты! А вона беда какая вышла!

- Беда окольными путями ходит!

Птичий, настороженный профиль Поскочина оживился. Он повернулся к Афанасию Харламову.

- Семен не дастся! - он смотрел пристально, не мигая. - Ни-ни...

- Что ж ему, кирпичами воевать? - усомнился тенорок.

- А хоть и кирпичами... - Поскочин удивленно поднял неприметные стелющиеся бровки и продолжал с каким-то ожесточением: - Хоть зубами... Семен тако-о-й...

В эти короткие слова было вложено столько нежности и веры в Семена, что Харитине захотелось броситься к остроносому матросу и заплакать, прижавшись к его груди.

Неприятельские катера окружили плашкоут и, взяв на буксир, повели его к эскадре. С Сигнальной горы все это представлялось условленной и забавной игрой; никакой борьбы, никакого сопротивления, все разыграно, точно по нотам.

- Гляди! - воскликнул неумный, пронзительный тенорок. - Мыши кота хоронят!

Действительно, семь катеров, держась в кильватерной колонне, вели на буксире плашкоут, по бокам которого тоже плыли катера, а замыкал шествие вооруженный баркас. И все это расцвечено флагами, белыми панталонами и яркими куртками гребцов.

В возбужденной гул батареи ворвался плач Харитины. Она голосила громко, горестно, как когда-то ее земляки, предававшие земле родных, умерших от черной болезни. Девушка плакала, не скрывая своего горя, не стыдясь слез.

II Депуант, все еще потрясенный самоубийством Прайса, предложил

Никольсону допросить пленных и по возможности склонить их к переходу на службу соединенной эскадре. Это могло иметь известный моральный эффект. Депуант заперся в каюте, но и закрыв глаза он видел перед собой распростертое тело контр-адмирала. Еще вчера оно казалось ему таким завидно сильным, собранным, долговечным...

Пленных выстроили на шкафуте "Пика". Жена Усова с двумя сыновьями сидела на куче снастей.

Переводчиком был лейтенант Лефебр, француз, командовавший взятием плашкоута. Он прожил несколько лет в Петербурге, с отцом, который состоял в каких-то незначительных чинах при французском посланнике. И хотя в том кругу, в котором вращался его отец, даже русские предпочитали французский язык родному, предприимчивый юноша, поклонник горничных и неперенный посетитель всех значных мест Петербурга, с грехом пополам научился русскому языку.

Кисти пленных были сжаты наручниками. Зыбин и Ехлаков поддерживали искалеченное тело Удалого. Он, как и предполагал Поскочин, долго отбивался от врагов тарьинскими кирпичами. Матросам приказали взять русских живьем, и, исполнив это, храбрецы в синих куртках злобно набросились на упрямого русского бомбардира. Левый глаз Семена скрылся под темной кровавой опухолью. Здоровым глазом он угрюмо посматривал на толпу английских матросов и морских солдат.

- Кто такие? С каких кораблей? - спросил Никольсон.

Лефебр перевел. Матросы молчали.

- Ви есть немцы? - закричал француз.

- Никак нет, вашескородие, - ответил Удалой. - Мы не немцы, мы русские...

- Вижу! Дур-р-ак! Капитан спрашиваль: какой ви есть корабль?

- "Наш корабль есть ваш плен", - передразнил Удалой.

- Он с "Авроры"! - крикнул из толпы стрелок, которого Удалой в Кальяо посадил на перуанского быка. - Мы его видели в Кальяо!

- "Аврора"? - спросил Лефебр, схватив Удалого за ворот изодранной рубахи.

- Ага! Старые знакомцы, - усмехнулся Семен.

- Ви? - Лефебр ткнул пальцем Ехлакова.

Он невозмутимо кивнул.

- Ви?

- Так точно, - ответил Зыбин.

- Ви? - обратился француз к Усову.

- Господин офицер, - тихо сказал он. - Я квартирмейстер. Ездил за семьей...

Жена, дети вот... - он беспомощно осмотрелся. - Семью пощадите.

Лефебр перевел слова Никольсона:

- Ви есть наш военный приз, по-русски - трофей...

- Курица не птица, кирпич не трофей, - назидательно вставил Удалой.

Удалой все еще досадовал на себя; когда груженный плашкоут вышел из Тарьинской бухты и стали видны фрегаты, Усов приказал было повернуть, но Семен отговорил его. Семен был уверен, что это пришли суда отряда адмирала Путятина, а вчерашние выстрелы - салюты петропавловских пушек...

- Ви есть трофей, - убежденно настаивал Лефебр. - Господин капитан делает вам предложение - перейти на флот ее королевское величество...

- Зачем переходить, - ответил Удалой невозмутимо, - коли вы нас перенесли!

- Но? - торопил Никольсон.

- Терпение, капитан! - Лефебр продолжал объяснять: - Господин капитан сказал - перейти на службу. Быть свободный матроз под британский флаг.

- Передай капитану, вашескородие, что у нас сроду того не бывало, чтоб матрос на своих руку поднял.

Пленных окружили матросы "Пика". На лицах некоторых кровоподтеки следы недавней схватки с Удалым.

Никольсон сердито инструктировал Лефебра.

- Господин капитан, - сказал француз, - обращается к вам последний раз. Когда ми отпустишь вас, вы будете благодарны?

- Коли отпустите, воевать будем супротив вас! - ответил Удалой.

- Как можно воеваль! - вскричал француз. - Ви видель наш эскадра?! он гордо обвел рукой эскадру.

- Кораблей у вас супротив нашего вдвое, - озлился Удалой, - а мы согнем вас вчетверо!

- Молчать! Ви будете благодариль нас: ви сказали нам про этот форт, артиллерия, люди. Ви честно сказали!

- Честно? - переспросил Удалой.

- Честно. Ми будем отпустить вас.

- Хорошо! Снимай железа - все покажу!

Никольсон разрешил снять с матроса наручники.

- Вот, видишь... - Удалой показал на батареи, привлекая внимание Лефебра.

- Видишь батареи? - повторил он. - Попробуй польстись на русский штык, авось ноги унесешь...

Лефебр выхватил пистолет, но Удалой, сбив его с ног, с возгласом: "И мы не лыком шиты!" - бросился к борту. Прыгнуть в воду ему не удалось улюлюкающая толпа матросов настигла Удалого, сбила его с ног.

Никольсон приказал бросить пленных, а с ними и семью Усова в трюм. Туда приволокли и Удалого. Его тело с глухим стуком ударилось о поленицы дров, сложенных в углу темного трюма.

Через несколько часов на "Форте" вновь собрался военный совет. Офицеры почтили вставанием память "безвременно погибшего" контр-адмирала Дэвиса Прайса. Депуант сказал небольшую речь, с трудом выдавливая из себя фразы, пригодные и для торжественной церемонии публичных похорон и для официального отчета о случившемся.

- Тяжелое несчастье постигло нас! - Депуант чуть покачивался всем телом. - Сэр Дэвис Прайс... прославленный мореплаватель, контр-адмирал... беззаветно любимый подчиненными, пал жертвой случая в расцвете... э-э-э... расцвете своих сил... у самой цели, к которой он шел с присущей ему энергией, решимостью и силой... э-э... духа. - Он запинаясь, частые остановки, казалось, были вызваны горестным состраданием. Но постепенно голос Депуанта окреп. - Дэвис Прайс ушел от нас, но мы по-прежнему сильны и непобедимы. ("Еще бы! - смеялись глаза Никольсона. - Во всяком случае, сильнее прежнего!") Исполнив план, начертанный рукой покойного контр-адмирала, мы воздадим должное его уму, мужеству и проницательности. Господа! Я вношу лишь незначительные коррективы в дислокацию контр-адмирала Прайса. Храброму капитану Никольсону представляется возможность атаковать батарею на оконечности полуострова и, захватив ее, отомстить за смерть Прайса, случившуюся в русских водах... смерть от несчастного случая, - поспешно добавил он. - "Форт" же атакует наиболее отдаленную от города батарею, на холмистом берегу. Уничтожив эти батареи, мы сумеем проникнуть в порт и захватить его во славу англо-французского содружества! Я кончил, господа!

Вопросов не было. Все понимали, что Депуант избрал для "Форта", который, по плану Прайса, должен был атаковать укрепления Сигнальной горы, самую безопасную цель - отдаленную трехпушечную батарею. III День в Аваче прошел в хлопотах, в устройстве ночлега.

Старики камчадалы, припадая ухом к земле, старались услышать, не началось ли в Петропавловске сражение. Днем кто-то слышал орудийные выстрелы. Маша бросилась на траву и, прижавшись к земле, действительно уловила несколько глухих ударов. Затем стало тихо. Земля молчала. Сколько ни прикладывались к ней люди на протяжении дня, гул не возобновлялся. Неужели сопротивление порта так быстро сломлено?

Под вечер в селение явился Лука Фомич Жерехов с женой Глашей, без приказчиков, которые, справившись с делами, вместе с сыном купца

Поликарпом ушли в отряд Зарудного. Затем прискакал вестовой. Он привез короткую записку и первые сведения о неприятеле. Несколько строк, написанных Завойко, вызывали тревогу.

"Неприятель поднял американский флаг. Пришло шесть судов: четыре фрегата, пароход и бриг. Бог за правое дело: мы их разобьем. Кто останется жив, про то никто не знает. Но мы веселы, и тебе желаю не скучать... Вам необходимо удалиться на хутор, с Авачи все уйдут и скот угонят".

Почему американский флаг? Зачем уходить с Авачи, угонять скот? Неужели неприятель польстится на мирное камчадалское селение?

Юлия Егоровна за долгие годы жизни с Завойко привыкла к неожиданным и резким решениям мужа. Они не раз выводили семью из затруднительного положения.

Пребывание в Аваче закончилось трагическим происшествием. После отъезда вестового в поселке появился Магуд со своим спутником. Они прошли в дом тойона, растолкав стоявших у входа женщин. Вскоре в доме раздались крики, громкая перебранка. Андронников, трезвый и злой, недовольный своим уходом из Петропавловска, отправился на помощь к тойону.

Утром в селении обнаружили следы преступления Магуда.

Андронникова нашли в дровяном сарае, избитого, связанного, с грязным платком Магуда во рту. Староста, его жена и дочь, тоже связанные, лежали в чистой горнице, а пятнадцатилетний сын уведен, как слышалось тойону, в Тарью, в качестве проводника и носильщика для добра, унесенного со "Св. Магдалины". Тойон слышал, как Магуд совещался с рыжим матросом: сначала они думали достичь Тарьинской бухты на лодке, но боялись доверить деньги и собственную жизнь тополевым батам - валким, ненадежным лодкам камчадалов. Других лодок в Аваче не было. Решили идти берегом и захватили сына старосты с собой. Старик понял все по частому упоминанию Тарьи и по вопросам, заданным сыну.

Андронников будто окаменел, когда его развязали и вытащили изо рта вонючий кляп. На все вопросы он отвечал молчаливым покачиванием головы, угрюмо растирая затекшие руки. Он молчал, как человек, который боится заговорить, чтобы не поразить мир чудовищными, кощунственными ругательствами. Через час землемер, вооруженный пистонным ружьем тойона, ни с кем не простившись, отправился в сопровождении двух охотников по следам Магуда.

Это было первое глубокое потрясение в жизни Маши. До сих пор она знала только мелкие невзгоды, горечь случайных обид, трудности переездов, которые нарушали привычное течение жизни. В детстве - переезд из Москвы

в Иркутск, затем, всего только год назад, - новая перемена: перевод отца в Петропавловск и трудная дорога на Камчатку. Настоящее горе еще не посещало благополучного дома коллежского секретаря Лыткина, доктора фармации, человека, соединявшего редко уживающиеся качества - педантизм и добродушие. Ничья злая, разрушительная, намеренно враждебная воля не вторгалась еще в жизнь Маши.

С появлением неприятельской эскадры все переменялось: отец стал неприятно суетлив, словно боялся чего-то и всеми силами заставлял себя не думать об этом; госпожа Лыткина, величественная в кругу мещанок и сохранявшая горделивую осанку даже в кругу именитых чиновниц, превратилась в испуганную, жалкую женщину.

До появления Магуда в Аваче события последнего дня казались Маше неправдоподобным сном. Чужая эскадра у входа в Авачинскую губу, тревога, военные экзерцисы молодых чиновников, даже уход женщин из порта - все еще могло внезапно перемениться, как внезапно и началось. Но теперь беда как-то неожиданно обрушилась на людей и заставила Машу очнуться. Военные действия в Петропавловске словно приблизились к ней, обозначились со всей резкостью звуков и красок.

Там будут умирать знакомые, близкие люди! Там будет кровь, много крови, и стоны, и скупые слезы, сохнувшие на обожженных щеках, и невозвратимые потери. Именно невозвратимые потери! Маша впервые почувствовала тупую, грызущую боль, рожденную этими двумя словами. Должно случиться что-то, чего не переменишь, не подчинишь своему капризу, не склонишь ни мольбой, ни молитвой. Что-то уйдет из жизни, уйдет навсегда.

Утром женщины двинулись дальше, к хутору поручика Губарева в шести верстах от Авачи. За ними шло стадо коров под присмотром трех дряхлых отставных матросов. Коровы то разбредались в кустах ольшаника и смородины, то скрывались за травянистыми увалами, то, собранные в тесный гурт, рысцой догоняли людей, оглашая дорогу тревожным, наводившим тоску мычанием.

Наступила глухая августовская ночь.

Но спали лишь дети, уложенные на светлом полу только что отстроенного дома Губарева. Женщины разговаривали вполголоса, они прислушивались к тишине и ровному плеску Авачи. От густого ольшаника шел горьковатый запах. На песчаном берегу лежали перевернутые баты, длинные крючья, похожие на пики, дырявые плетенки, негодные части старых рыболовных морд. Они напоминали фашины, вырванные из валов артиллерийскими снарядами.

Маша с Настей сидели на днище опрокинутой лодки в самом центре брошенного промысла.

В полночь на реке показались огни. Мимо темного хутора прошло несколько батов, освещенных факелами. Факелы вырывали из темноты бородатые лица вооруженных камчадалов, огнистый след весел, освещали тревожным светом недвижный, как место недавнего боя, берег. Маше казалось, что они с Настенькой сидят на поле смерти, среди разбитых пушек, взрытых бастионов, среди трупов и брошенного оружия в ожидании утра, когда можно будет опознать лица умерших.

Насте, видимо, передалась тревога Маши. Проводив взглядом быстро удалявшиеся баты, она, как испуганный ребенок, тесно прижалась к Маше. Подбородок Маши коснулся теплых волос Настеньки.

- Страшно? - спросила Настя. Ее рука легла на спину Маши.

- Тяжело. - Маша следила за красноватыми огоньками, которые все еще мелькали за прибрежными деревьями.

- Ты думаешь о Зарудном?

- Нет. - Маша задумалась и повторила твердо: - Нет!

- Я люблю Константина, - шепнула Настя.

- Знаю.

- Ты не можешь этого знать. - Настя освободила руку и выпрямилась. Никто этого не может знать. Я тоже не понимала всего, пока не рассталась с ним.

- Он хороший.

- Хороший? - переспросила Настя, словно не доверяя такому простому, будничному слову. - Да, хороший! Самый лучший! - Она провела рукой по лбу. - Пусть моя любовь охранит и спасет его!

- С ним ничего не случится, - уверенно сказала Маша.

- Ты веришь в это?

- Судьба не посмеет отнять у тебя Константина.

- У него в Петербурге мать. Я ее тоже полюблю, но боюсь, что она не примет меня...

- Примет.

- Может быть, она думала о другой для него? - говорила Настя с тревогой. - Искала самую лучшую, образованную девушку...

- Глупости! - сказала Маша неожиданно строго. - Ты самая лучшая.

Настя засмеялась застенчиво и счастливо.

Раздался конский топот и громкий говор. По дороге, которая белела между берегом и домом Губарева, двигалась группа всадников. Окликнутые женщинами, они спешили. Оказалось, русские матросы. Одни были

посланы на ловлю лососей, другие возвращались с угольных ям, - уголь был открыт еще в минувшем году на реках Вахиль и Облескова. Матросы забросали женщин вопросами: что в Петропавловске, каков неприятель, сколько у него судов? Матросы спешили в порт.

Замелькали в темноте острые искры огнив, из выбиваемых трубок посыпались в траву красные светлячки. Впервые за много часов раздался громкий, веселый смех, шутки, бодрый разнобой голосов. После короткой остановки снова в путь. Топот копыт медленно растаял в тревожной тишине ночи.

Не успел он затихнуть, как на дороге, по которой только что ускакали матросы, раздался дробный топот, приближающийся к хутору. Всадник резко осадил коня у самого входа в дом.

Вестовой от Завойко.

Разыскали Юлию Егоровну. Кирилл принес зажженную свечу. Жирный воск капал на лист писчей бумаги, заполненный крупными, неровными буквами. Юлия Егоровна молча пробежала письмо, потом прочитала из него вслух все, что интересует женщин.

Ночь безветренная, свеча горела ровно в дрожащей руке Кирилла.

"Мы полагали, что неприятель, придя с такими превосходными силами, сейчас же сделает нападение... Не тут-то было... (Настя стояла насторожившись, сложив губы трубочкой, как всегда при большом напряжении.) По всей вероятности, неприятель считает нас гораздо сильнее, чем мы есть. Это дает нам надежду, что выйдем с честью и славой из неравной борьбы. Жаль, попался Усов с плашкоутом, шедшим с кирпичного завода... (Тишина. Слышно, как потрескивает пламя свечи.) Хотя кирпич еще не трофей... Мы обменялись выстрелами, но их бомбы и ядра куда были с нами вежливы..."

Вестовой рассказал подробности пленения Усова, описал неприятельские суда.

Маша напряженно слушала вестового, смущенного общим вниманием, к которому он не привык. Она слушала человека, который видел неприятельские суда, слышал их залпы, был там и через несколько минут, как только Юлия Егоровна закончит письмо, опять помчится туда. Над портом взойдет солнце, голубое небо уйдет так высоко, что к полудню его краски поблекнут, а исход сражения решат люди, их упорство, выносливость и любовь. Именно любовь! Как она не поняла этого сразу?! Петропавловск спасут люди, любящие свою отчизну больше самих себя, больше жизни. Какое счастье любить людей, помогать им, жертвовать своим благополучием,

покоем и даже жизнью! Нужно любить людей, иначе не бывает подвига. Без любви нет дерзновения, нет спасительной непокорности, нет л и ч н о с т и. Чувство вины перед людьми, перед жизнью, в которую Маша не вносит ничего своего, чувство, возникавшее и прежде, охватило ее, затруднило дыхание, вызвало желание бежать в Петропавловск и, наперекор всему, быть вместе с его защитниками.

- Маша-а-а! - позвал ее усталый, домашний голос матери.

После отъезда вестового все как-то сразу успокоились, началось хлопотливое приготовление ко сну.

- Маша-а-а! - нетерпеливо повторила мать. - Пора спать.

- Я скоро приду, - ответила Маша, - не тревожьтесь.

Кирилл высоко поднял огарок свечи, и Юлия Егоровна оглядывала свернувшихся на душистом сене детей, словно пересчитывала их.

Перед самым рассветом, когда короткие порывы ветра пробуют разогнать темноту и прохладный воздух, вливаясь в легкие, покалывает нёбо и гортань, на дороге слышались новые голоса. Группа камчадалов остановилась в нескольких шагах от девушек. В темноте неясно рисовались их фигуры, вспышки трубок позволяли рассмотреть лица.

- Торопитесь, - сказал негромкий старческий голос. - Огненная река погасла. Утром вы должны быть у большой воды...

- Прощай, отец!

- Иди, Илья... У тебя верный глаз и сильная рука, - Старик негромко кашлянул. - У вас мало зарядов, берегите их...

- Русские дадут нам порох, - уверенно сказал кто-то.

- Мне не надо их пороха! - злобно вскричал охотник, ближе других стоявший к Маше. Девушка присмотрелась к его маленькой, ничем не прикрытой голове, и ей почудилось, что у камчадала нет одного уха.

В волнении он бормотал проклятия на непонятном Маше языке.

- Уйми злость, Аверьян, - сказал старик. - Пришла пора не злобы, а отваги. Только трус бежит в горы, когда волки нападают на племя. Идите!

Охотники молча пошли по дороге. Упрямый камчадал шел, прихрамывая, последним. Старик постоял несколько минут, прислушиваясь к звуку шагов. Затем и он скрылся в темноте.

Маша до боли сжала руку Настеньки, пока камчадалы находились рядом.

- Ты слышала? - она задержала дыхание от волнения.

- Конечно!

- Я тоже пойду. - Она собрала на груди концы темного платка, крепко сжала их в руке. - Я должна быть там, в порту. Я не могу иначе.

Маша говорила быстро, настойчиво. Она поднялась и поправила на себе платье, точно собираясь идти немедленно.

- Что ты, Машенька? - изумилась Настя. - Как же это возможно?

- Очень просто, - сказала Маша твердо. - Я пойду, и пойду тотчас же.

Настя всплеснула руками.

- А как же маменька?

- Ты скажешь ей, - приказала Маша испуганной девушке, - скажешь, что я ушла в Петропавловск. Пусть не думает искать меня. Прощай, Настя.

Девушки обнялись, не видя в темноте слез, застилавших глаза.

К восходу солнца Маша миновала уже Авачу и приближалась к селению Сероглазки, от которого оставался только час ходьбы до Петропавловска.

НАЧАЛО

I

Командир Сигнальной батареи, лейтенант Гаврилов, ходил с Завойко по каменистой площадке. Щебень сухо шуршал под ногами. Артиллеристы разговаривали так тихо, что звук голосов не долетал даже до отвесной каменной стены в нескольких метрах позади орудий.

Ночь прошла без сна. Неприятель готовился к нападению. На эскадре жгли огни. В зрительную трубу можно было рассмотреть палубы фрегатов, движение на шканцах, спуск с ростров десантных шлюпок. Ракеты и фальшфейеры вспарывали темноту безлунной ночи, напоминая местным жителям о пламени и раскаленных камнях, которыми так часто швырялись камчатские вулканы. По заливу ползали оранжевые светлячки - это шлюпки ходили от корабля к кораблю, делали промеры, ощупывали подходы к Сигнальной горе.

Орудийная прислуга не раз в течение ночи становилась к пушкам. Но орудия молчали. Завойко, неотлучно находившийся на батарее, приказал беречь снаряды и порох. У бомбических пушек - на них возлагались особые надежды - было всего по тридцать шесть снаряженных бомб. Следовало точно знать цель, на которую тратится драгоценный снаряд. Завойко заботился и о другом: сдерживая нетерпеливого лейтенанта Гаврилова ("Погодите, погодите, - осаживал он Гаврилова, - еще успеете согреться, будет вам еще жарко, как грешнику в аду!"), он стремился поточнее выведать намерения врага, распутывая хитроумный узор ночных огней.

Вот мигающие оранжевые точки, отделясь от эскадры, ползут к Сигнальному мысу, но на расстоянии трехсот шагов останавливаются, натываясь на отмели. Пытаются обойти преграду, лавируют, словно желая найти вход в

невидимый коралловый атолл. Огоньки встречаются в темноте по два, по три, несколько минут держатся друг подле друга и снова, покачиваясь, ощупывают какое-то препятствие.

- Не нравится им наша отмель, - заметил удовлетворенно Завойко.

- Я не жду здесь десанта, Василий Степанович, - в словах Гаврилова слышался полувопрос. - Никаких выгод для высадки, сто шестьдесят сажений отмели и крутые утесы...

- Эти господа, голубчик, горазды на всякое безрассудство.

- Устоять бы нам против огня! - воскликнул Гаврилов тоном, означающим, что все прочее чепуха, суета сует.

- Н-д-а-а! - вздохнул Завойко. - Чего захотел! Накроют они нас в этой фараоновой гробнице двухпудовыми гостинцами и высадутся, несмотря на отмель. Поневоле за штык схватишься.

Тишина. Внизу чуть слышно плещутся волны.

- На штыки надеюсь, коли до этого дело дойдет, - проговорил Завойко.

Светлеет. Четко обрисовываются контуры батареи, тупоносые пушки, тяжелые станки под ними, тали, сдерживающие орудия, словно построжки и вожжи ретивых рысаков, неровная линия скалы, правый, западный траверс батареи.

Удачная, прочная позиция, думает Завойко. Как много все-таки успели сделать для обороны порта! Взять хотя бы Сигнальную батарею. Под ногами скала, ее не поколебать никаким залпом. Позади и справа - камень. Впереди - прочный бруствер, литые, грузные тела пушек на высоте десяти сажений и обширная отмель, охраняющая подступы к батарее. С места, где стоит Завойко, не видно ни порта, ни "Авроры", ни Кошечной батареи, только на берегу у Красного Яра, на высоте тринадцати сажений, небольшим прямоугольником распластался вал Кладбищенской батареи. Завойко знал, что рядом, у внутренней отлогости Сигнальной горы, стоит стрелковая партия, готовая отразить неприятельский десант, затем "Аврора", заслоняющая вход в бухту, Кошечная батарея под командой Дмитрия МаксUTOва, стрелковая партия в засаде у реки Поганки, неподалеку от кладбища. В случае нужды эта партия придет на помощь МаксUTOву или мичману Попову и его команде на Кладбищенской батарее. Малые силы порта размещены так, чтобы можно было в любом пункте встретить превосходящего неприятеля и при нужде быстро перегруппироваться.

На "Авроре" пробило четыре склянки. Металлический отзвук скользнул по заливу и замер у скал Раковой бухты. Через несколько минут Завойко дали знать, что на эскадре замечены приготовления к съемке с якоря.

На фрегатах выбирали якоря, подвозили буксирные тросы к пароходу: без помощи "Вилаго" парусные суда не смогли бы в ясное безветренное утро занять боевые позиции. С левого борта находится "Форт", справа "Президент", под флагом контр-адмирала Прайса. Натянулись буксирные тросы, и фрегаты поплыли. За кормой "Вилаго" послушно следовал "Пик" сорокашестипушечный фрегат Фредерика Никольсона.

Артиллеристы внимательно наблюдали за движением неприятельских судов. "Вилаго" проделывал сложные эволюции, подводя каждый из трех фрегатов к назначенной позиции.

- Ишь ты, кадриль выплясывает! - крикнул кто-то из артиллеристов.

Матросы весело засмеялись: определение было меткое и точное.

Завойко подошел к матросам.

- Что, братцы, не больно напугал вас англичанин?

- Никак нет, ваше превосходительство! - ответил голосистый матрос, подшучивавший вчера над погоней за плашкоутом. - Любо поглядеть, как англичанин на французский манер кадриль пляшет!

Фрегаты, подведенные "Вилаго", стали поворачивать левым бортом к порту. На Сигнальную батарею взошел сухопарый поп Григорий. Он был совершенно спокоен, не смотрел в сторону неприятеля, а, отойдя под прикрытие скалы, угрюмо уставился в подвижные, сотрясаемые смехом плечи матросов. В черной рясе, мохнатый, сутулый, он напоминал орла-отшельника.

Завойко обратился к матросам. Он говорил людям о том, что давно уже условлено и обсуждено между ними. Он сделал одно только движение рукой, вверх, к крепостному флагу, и сказал:

- Пожалуй, пора и за дело браться! Работа жаркая будет. Флага им не отдадим! Истреляем весь порох, сожжем суда, а флага не отдадим! Ежели будет десант, возьмем в штыки, тут наша сверху. Отстоим с честью, не посраим русское имя и покажем, как русские сохраняют честь отечества. Верно, братцы?

- Верно-о-о! - прокатилось по батарее.

Едва священник раскрыл привычным движением требник и начал служить молебен, по батарее ударили с неприятельских фрегатов. Молитву пришлось отложить. Артиллеристы заняли места у орудий, и сражение началось.

Неприятель изменил свои первоначальные намерения: все три фрегата и "Вилаго" обстреливали Сигнальную гору. Суда вели беглый огонь. С первыми выстрелами над мысом замечались птицы. До этой минуты люди не замечали их гомона, теперь же с удивлением смотрели, как над полуостровом с криком носились тысячи птиц, описывая круги, поднимаясь все выше и выше.

На "Авроре" не видели неприятельских фрегатов. Заняв позиции, удобные для обстрела Сигнальной горы и Кошечной батареи, фрегаты спрятались от "Авроры" за гористый полуостров. Но грохот бомбических пушек отчетливо доносился до аврорцев, высыпавших на верхнюю палубу. Они увидели серое птичье облако, а через несколько секунд неточно пущенное ядро перелетело через батарею, просвистело над мачтами "Авроры" и шлепнулось в бухту.

Изыльметьев сорвал фуражку с лысеющей головы и перекрестился. У него шевельнулась мысль, что вот наконец и баталия, и ему, прослужившему двадцать пять лет во флоте, вынуждены будут дать "Геorgia". Но он отогнал от себя эту мысль, хотя и справедливую, но недостойную в этих обстоятельствах, и строго посмотрел на офицеров.

- Началось, - промолвил Александр Максотов. - Наши старые приятели не торопятся обменяться знаками внимания с "Авророй".

- Все еще впереди, лейтенант. Надоест им за горкой сидеть, - заметил капитан и низко надвинул фуражку.

- Я просил назначения на батарею, - сказал Максотов, наклонив голову и щуря глаза, как всегда, когда он не был уверен в ответе.

- Терпение, лейтенант! Вы не останетесь сторонним свидетелем дела, пообещал Изыльметьев.

Он окликнул Пастухова и приказал ему отправиться на Сигнальную батарею для связи с Завойко. С первых же минут боя Гаврилов увидел, что против пяти его орудий англичане и французы имеют больше восьмидесяти мортирных и бомбических пушек, считая только левые борты трех фрегатов. Ежесекундно на двухдечных фрегатах, извергавших пламя и двухпудовые снаряды, вспыхивало несколько розовато-серых облаков. Неприятель, конечно, не испытывает недостатка в порохе.

Густые, шелковистые брови Гаврилова сблизились, разделяемые только глубокой складкой. Складка появилась с первыми выстрелами и словно окаменела на лбу лейтенанта. Можно подумать, что Гаврилов сердится на неприятеля, морщится от досады и недовольства.

Завойко стоял под прикрытием скалы. Неприятель, открыв по ней продольный огонь, с каждым выстрелом откалывал от скалистого траверса глыбы земли и камня.

Гаврилов бросился к губернатору:

- Василий Степанович! Прошу вас, уйдите... удалитесь, хотя бы к пороховому погребу.

- Лейтенант! - Завойко резко отвел его руку. - Прошу вас помнить только о том, что каждый выстрел должен идти в дело. Каждое ядро - в цель. Только в

цель. Идите...

Гаврилов возвратился к орудиям.

Орудийная прислуга, кантонисты, подносившие пороховые "картузы", командиры орудий работали деловито и спокойно, посылая во вражеские суда ядра и бомбы. Гаврилов следил за фрегатами в зрительную трубу и видел, какую разрушительную работу делали его артиллеристы. Несколько бомб разорвалось на палубе "Вираго", повредив фок-мачту и большую трубу парохода. На "Президенте" спешно крепили ванты грот-мачты. В бортах фрегатом заметны пробоины и повреждения. Три наиболее удачных выстрела вывели из строя бомбическую пушку на верхней палубе "Президента".

Гаврилов, переходя от орудия к орудю, коротко командовал:

- Второй номер, пали!

- Пятый номер, пали!

Даже в первые минуты боя, когда вражеские бомбы еще не растрепали земляной бруствер и не снесли западный траверс батареи, у Гаврилова сжалось сердце; он увидел, что каменная крепость, казавшаяся столь надежной и спасительной, является бедствием для прислуги. Неприятельские ядра, пущенные даже без точной пристрелки, ударялись об отвесную каменную стену позади орудий и осыпали людей градом увесистого щебня. Скала высока, и чем выше попадали ядра неприятеля, тем злее и опустошительнее становился каменный град. Осколки со свистом неслись на батарею, словно пущенные исполинской пращей; они летели с тыла, рвали матросские бушлаты и рубахи, вонзались в тело, кололи в щепу орудийные станки и деревянные платформы. Из тысяч осколков десятки находили живую цель и выводили из строя защитников батареи. От каменной картечи некуда было укрыться. Острым осколком отсекло три пальца у фейерверкера первого номера. Упал навзничь с раздробленным затылком кто-то из прислуги четвертого номера. Замечая изредка в дыму, в ливне осколков худощавую фигуру губернатора, Гаврилов удивлялся тому, что Василий Степанович еще жив и невредим.

...Гаврилову за тридцать. Многим он кажется недалеким, простоватым офицером, которому надлежит выйти в отставку в чине лейтенанта и доживать век в глуши, в окружении многочисленных детей и внуков. Гаврилов долго служил на побережье Охотского моря, был под командой Завойко, когда тот начальствовал над Аянским портом. Окончив школу штурманов, произведенный восемь лет назад в поручики корпуса штурманов, он охотно исполнял поручения по описи не изученных еще восточных берегов России. Делал промеры глубин, наносил на карты новые

подробности, дорисовывал жесткий, угрюмый профиль безлюдного края. Он возвращался из опасных походов пораженный цингой и лихорадкой, сдавал начальству свои записи, таблицы, карты, нимало не заботясь о том, сохранится ли его имя в рапортах и донесениях, которые курьерские тройки помчат из Иркутска в Петербург.

Восемь лет тому назад, в 1846 году, Гаврилова командировали для исследования устья Амура на небольшом бриге "Константин" с командой вдвое меньше той, которая находится сейчас на Сигнальной батарее. Поручик корпуса штурманов Гаврилов, как и его знаменитые предшественники, нашел отмели и банки, закрывающие подступы к Амуру. Противные ветры и сильное течение, разводившие опасные сулои,* помешали ему проникнуть в Амур.

* Завихрения и всплески волн при противоположных течениях. Прошло несколько лет. Экспедиция на "Константине" забылась. Но когда слух об открытии Невельского взбудоражил русский Восток и стало ясно огромное значение его подвига, Гаврилова обжег стыд. Ему казалось, что, говоря о Невельском, каждый мысленно упрекает его, Гаврилова, смеется над ним. Сам же он первым поверил в открытие Невельского и в душе приветствовал его.

Потянулись годы спокойной службы в Петропавловске. Лейтенант Гаврилов женился, и жена бывшего поручика корпуса штурманов за пять лет счастливой жизни родила ему трех дочерей, напоминавших отца черным шелком волос и приятной округлостью лица.

Командуя огнем Сигнальной батареи, Гаврилов всем существом ощутил исключительность этого часа. Пришло второе в его жизни, а может быть, и последнее испытание. Нужно выдержать его, сцепив зубы, стянув в железный узел все силы, всю свою волю, пока не остановилось дыхание.

Гаврилов не заметил, когда на батарее появилась мешковатая фигура Вильчковского с несколькими матросами-санитарами и фельдшерскими учениками.

Замолкли две пушки тридцатифунтового калибра.

Батарея замедлила и без того нечастый огонь. Платформы вышедших из строя пушек засыпаны землей и щебнем выше колес. Орудие номер пять, крайнее справа, опрокинулось, раздавив стопудовой тяжестью ноги раненого фейерверкера Ивана Поскочина. Пригвожденный пушкой к земле, он ворочал налившимися кровью глазами и стонал тихо, почти неслышно. Птичий профиль Поскочина исказился судорогой боли, из открытого рта вместе с жалобным, берущим за душу стоном вырывалось жаркое дыхание. Афанасий

Харламов, которому камень срезал слой кожи и мяса на лбу, стоял перед ним на коленях, поматывая головой и вытирая рукавом текущую по щекам кровь. Неприятель усиливал беглость огня. Скалистый траверс почти разрушен методическим огнем. Ядра и бомбы крошат выступ, откалывают от него тяжелые глыбы, швыряя их и на бруствер и на прислугу. Как только рухнут остатки естественного прикрытия, неприятель будет действовать продольно, не встречая никакого препятствия и не опасаясь ответного огня.

Уже нет сил сопротивляться огню, но люди не отступают. В какую-то минуту Гаврилову показалось, что прислуга дрогнула и уходит от орудий.

- Держись, братцы! - крикнул Гаврилов, рванувшись вперед. - Русские умирают, но не уходят!

Голос лейтенанта утонул в грохоте, в гуле разрывов. Но лейтенант ошибся, никто не покидал орудий. Это Завойко приказал очистить позиции от раненых, и помощники Вильчковского, рискуя жизнью, выполняли приказание. Только широкоплечий Харламов, весь в крови, стекавшей по седоватой, а теперь казавшейся рыжей щетине лица, упрямо стоял на коленях, прикрывая собою от осколков друга, которому никто уже не мог помочь.

Гаврилов отчетливо сознавал, что долго так продолжаться не может. Даже то, что самый большой неприятельский фрегат "Форт", все время обстреливавший Сигнальную, перенес огонь на Кладбищенскую батарею, не принесло облегчения. "Президент" и "Пик" усилили обстрел, а батарея отвечала им все реже.

- Первый номер, огонь! - скомандовал Гаврилов, чувствуя, что люди повинуются движению его губ, не слыша хриплого, срывающегося крика.

Он увидел, как бомба первого номера ударила в корму "Пика" и разорвалась ниже штурвала. В то же мгновение сильным взрывом Гаврилов был брошен на землю.

Он очнулся, ощущая острую боль во всем теле. Канонада гремела сильнее прежнего. Подле трех орудий, которые вели редкий прицельный огонь, находился Завойко. Он показался Гаврилову совсем маленьким и тщедушным в этом первозданном хаосе разрушения. Приказов Завойко никто не слышал артиллеристы слушались энергичных взмахов его руки. Они мгновенно исполняли его команду, пороховые "картузы" стремительно исчезали в стволе пушки, и точный выстрел накрывал цель. Стонали тали, натягиваясь, как струны, скрипели станки с вонзившимися в них чугунными осколками и камнями.

Гаврилов попробовал подняться и только теперь заметил, что его левой ногой

завладел Вильчковский, туго перевязывая ее ниже колена.

- Спокойно, спокойно! - остановил его Вильчковский. - Слава богу, только нога... Отделались, голубчик, пустяком...

- Только нога?!

Нет, ноет вся спина, должно быть оттого, что взрывом его бросило на колючий щебень. Трещит голова, волнами набегают слабость, головокружение, смещаются линии, очертания предметов плывут перед глазами. Кровь течет по лицу, ползет за ворот. Он ранен в голову. Трудно сказать - чем, осколком бомбы, или камнем, но ранен.

Гаврилов делает усилие. Он поднимется, встанет на ноги, не оставит батареи.

- Угломонитесь, лейтенант! - строго прикрикнул на него доктор. - Мы унесем вас отсюда. Орудия заклепают без вас...

"Заклепают орудия?! Так скоро?.."

Он вскочил на ноги, оттолкнув Вильчковского и матросов... Ни за что! Пушки будут стрелять, пока останется хоть одна душа, способная закладывать пороховые "картузы" и ядра, поджигать фитиль, хоть один здоровый глаз, чтобы подсчитывать пробоины в черных бортах вражеских фрегатов.

Однажды он совершил только то, что было в человеческих возможностях, и оказался неправ. Да и что такое человеческие возможности? В иные минуты жизни им нет предела! Есть цель, возвышенная цель и жизнь, у которой всегда найдется про запас что-то и сверх того, что люди для оправдания собственных слабостей привыкли называть человеческими возможностями.

Гаврилов забыл о расстоянии, отделяющем батарею от неприятеля, о дымном облаке, охватывающем позиции. Ему казалось, что надменные офицеры с британских фрегатов видят его в зрительные трубы, следят за ним и ждут той секунды, когда он упадет, попросит о пощаде, а они станут смеяться и показывать на него пальцами. Не бывать этому! Может быть, он и умрет. Может быть, на всей батарее не останется ни одного живого артиллериста, но они собьют спесь с врага, заставят его ужаснуться.

Увидев, что Гаврилов возвратился к пушкам, Завойко ушел к пороховому погребу, откуда можно наблюдать за всей бухтой.

Развитие событий на Кладбищенской батарее не предвещало ничего хорошего. Гребные шлюпки, державшиеся под прикрытием "Форта", пока он обстреливал трехпушечную батарею, поплыли к берегу. Синие куртки французских матросов в шлюпках отчетливо выделялись на голубовато-зеленой воде залива.

Артиллеристы обрадовались появлению Гаврилова, - его уже считали убитым. Между ними не было сказано ни слова, но сверкающие на закопченных лицах

глаза говорили лучше слов. Несколько минут батарея действовала оживленнее прежнего, несмотря на убыль прислуги и замешательство, вызванное уборкой раненых. Афанасий Харламов, высокий, мрачный, с обожженными усами, заменил фейерверкера второй пушки и старался не смотреть в ту сторону, где умирал Поскочин.

Гаврилов держался на ногах последним усилием воли. Прислуга повиновалась приказам его глаз, слабому движению руки. Три пушки все еще вели огонь по врагу, которому Сигнальная батарея начала казаться дьявольским наваждением.

Пробоина на "Президенте"! Еще одна, чуть выше ватерлинии. Расщепленная бизань на "Пике"! Паника на шкафуте: запасные реи разметало взрывом двухпудовой бомбы! Еще! Еще! Каждый снаряд в дело! В дело!.. Гаврилов сжал запекшиеся губы.

Он потерял равновесие. Упал на колени, обняв руками теплый ствол пушки. Все поплыло перед глазами: переворачивались фрегаты, вонзаясь мачтами в море, падал каменный дождь. Дочери лейтенанта пытаются убежать от этого дождя. Темнота... Гаврилов механически повторял: "Пали! Пали!" уткнувшись подбородком в изодранный мундир, глядя вниз, как будто изучая бревенчатую платформу.

Это длилось несколько секунд. Затем вернулось сознание, Гаврилов увидел перед собой камень, комья земли и вьющийся стебель морского гороха, свалившийся вместе с землей. Лейтенант поднялся, сдерживая стон, и беззвучно скомандовал:

- Первый номер, пали!

Батарея продолжала пальбу.

Особенно достается фрегату Фредерика Никольсона.

В трюме "Пика", в подводной части, пленные прислушиваются к выстрелам. Глаза привыкли к темноте; сквозь узкую щель в грот-люке сюда просачивается слабый свет, позволяющий различать только колеблющиеся тени. Грохочут выстрелы каронад* и мортир над головой, гулко повторенные пустотами канатного люка и трюма. Позванивают наручники, когда кто-нибудь из матросов шевелится. Скрипит зубами распластанный на запасном такелаже Удалой, и слышатся гулкие удары потревоженной воды о борт. Мощный взрыв сотрясает корпус: бомба, выпущенная одной из пушек Сигнальной батареи, достигла цели.

* Короткое орудие с расширяющимся на конце каналом, прикрепленное к станку толстым болтом. - Громи их, громи, Цыганок! - хрипит в

полубеспамятстве Удалой. Круши, Афанасий! На дно, паскуду... Полундра! Усова прижимает к груди испуганных детей. Ее сухие, потрескавшиеся губы шепчут молитву. - ...Третий номер, пали! - приказывает Гаврилов.

Пушка выстрелила и подалась назад. Скрипят станины, орудийные цапфы рвутся из своих гнезд. Пороховое облако на несколько секунд скрыло от Гаврилова неприятельские фрегаты и залив.

Кто-то кричит над его ухом, дергает за рукав. Это Пастухов.

- лейтенант Гаврилов! - кричит мичман, видимо уже не в первый раз. Генерал приказал немедленно заклепать орудия и оставить батарею...

Гаврилов упрямо тряхнул кудлатой черной головой. Кажется, что он снова командует: "Пали!"

- ...заряды уже отправлены на кошку, артиллеристам МаксUTOва, надрывался Пастухов, с состраданием всматриваясь в лицо Гаврилова. Необходимо спасти людей. Команда немедленно отправляется к Красному Яру, неприятель свозит туда десант. Крепостной флаг перенести в порт. Все.

- Есть, унести флаг в порт! - медленно проговорил Гаврилов, удивленно пяля глаза, будто его внезапно и грубо разбудили.

Гаврилов приказал заклепать уцелевшие орудия гвоздями из мягкого железа. Если русским артиллеристам суждено вернуться сюда, можно будет ввести орудия в строй.

Крепостной флаг, вздрагивая, поплыл вниз. Бережно сложив его на груди, лейтенант, поддерживаемый двумя оборванными черномазыми матросами, заковылял по направлению к порту.

Афанасия Харламова оставили часовым около умолкших орудий.

Завойко не ждал здесь неприятельского десанта. Слишком большая отмель окружала Сигнальный мыс, а вторая резервная стрелковая партия расстреляла бы идущих вброд англичан. Это был наименее удобный пункт для высадки, и назначение часового носило лишь символический характер.

Несколько неприятельских шлюпок, выйдя из-за укрытия, приблизились к отмели Сигнального мыса. Спокойно целившиеся офицеры и матросы сделали больше шестидесяти ружейных выстрелов по Афанасию Харламову. Но он продолжал неторопливым шагом ходить по узкой площадке впереди бруствера. Штуцерные пули посвистывали вокруг седого матроса в чужой, случайно поднятой фуражке, плохо прикрывавшей его львиную голову. Афанасий не смотрел в сторону неприятельских фрегатов и раскачивающихся от залпов шлюпок. С него довольно и того, что враг не захватил батареи, что ему выпала честь охранять закадычного друга, Ивана Поскочина, павшего смертью храбрых.

Не успели еще французские матросы с "Форта" достичь берега у Красного Яра вблизи Кладбищенской батареи, а на остывающие развалины Сигнальной батареи уже возвращались беспокойные чайки. II Мичман Попов не мог отвечать на огонь "Форта". Флагманский фрегат Депуанта остановился за пределами действия трех двадцатичетырехфунтовых пушек батареи Красного Яра, названной матросами Кладбищенской из-за близости к зеленому кладбищу Петропавловска.

За несколько минут до начала боя Попов, распрямив плечи, неторопливо похаживал по своей десятисаженной крепости. Он посматривал на приземистые тупоносые орудия, аккуратные амбразуры, крепкие, ладные станки под орудиями, которые легко ворочали два артиллериста, на спокойные лица усачей, отданных под его начальство. Сам того не замечая, мичман то и дело гладил тыльной стороной руки пылающее лицо и каштановые усы и часто прикладывал к глазам зрительную трубу.

Солнце вставало за спиной артиллеристов, засевших на высоте тринадцати саженей над уровнем моря. Огромная чаша Авачинской губы наливалась солнцем. Светлела вода. В поселке сверкали окна казарм и казенных учреждений.

Все казалось необычайно торжественным, полным особого, почти праздничного подъема. День выдался удивительно ясный, - солнечная щедрость лета соединялась в нем с хрустальной прозрачностью предосенней поры. Берега смотрелись в светлую ширь залива, отражавшую небо и землю в мельчайших подробностях. Вся орудийная прислуга одета в чистые белые рубахи, и только на нескольких матросах, шлюпочных гребцах, ярко-красные рубахи. Удары колокола "Авроры", неперенные восемь склянок, означавшие смену вахты и утренний подъем флага, донеслись до слуха Попова и показались мичману торжественным благовестом мужества и подвигов.

Когда "Вираго", надрываясь и выбрасывая в небо черный столб дыма, подбуксировал фрегаты к месту, с которого они готовились открыть огонь, мгновенно отрезвевший Попов увидел, что неприятельские суда выстроились слишком далеко от Красного Яра. Стрелять по ним бессмысленно: ядра упадут в воду, не долетев нескольких сот саженей даже до "Форта" - ближайшего из фрегатов.

Спустя полчаса после начала сражения "Форт" открыл огонь по Кладбищенской батарее. Дальнобойность его орудий вдвое превышала дальность стрельбы пушек Попова и других батарей порта.

Сбив на затылок фуражку, Попов внимательно наблюдал за действиями противника, ожидая движения кораблей к берегу или приближения десанта,

который находился позади "Форты" в пятнадцати гребных судах.

Огонь "Форты" пока не причинял вреда. Фрегат находился так далеко, что не мог вести прицельный огонь по батарее, расположенной в отлогости горы. Ядра и бомбы ударялись в зеленые склоны далеко от батареи, подбрасывали вверх землю и кусты ольшаника, сталкивали в воду обросшие мхом валуны. Кусты, падая, трепетали, будто цепляясь листвой за воздух.

Обреченный мучительному бездействию, мичман невольно размышлял о неравных условиях, в которые поставлены защитники Петропавловска. За свою недолгую жизнь Попов не раз испытывал горечь обиды, боль ущемленной гордости. Где бы ни появился русский корабль, в Европе или у берегов Америки, непременно испытывая нужду и в провианте, и в запасном такелаже, и в медикаментах, - на рейде всегда самодовольно покачивались отлично оснащенные британские суда. Почему в руках английского морского солдата штуцер, удобное, дальнобойное оружие, а наш должен довольствоваться кремневым или пистонным ружьем и покупать успех ценой жизни в штыковом бою? Зачем умный русский матрос, умелый, скорый на выдумку, прикован к старым пушкам, к гниющим судам, ко всяческой древности, за которую он же и платит жестокой ценой? Какая горечь, какая неизбывная беда! В России большое сословие мастеровых, чудесные умельцы, способные ко всякому рукоделию, талантливые инженеры, оружейники, фортификаторы, первые в мире сталевары, корабельные плотники - золотые руки, а дело обставлено так, что стоит выйти на люди - и все оказывается и бедным, и скудным, и куда как не новым. Какая-то злая сила мешает, путает, пресекает смелый порыв, вместо новейшего инструмента сует в руки дедовский топор, рвет чертежные листы с запечатленным на них полетом вдохновенной мысли, а стоит начаться делу, жаркому, настоящему, когда поздно уже охать и поздно разыскивать в истлевших архивах отвергнутые проекты, - и солдат кровью, жизнью своей платит за постыдное всевластие этой злой и тупой силы...

Под командой Попова двадцать восемь матросов. Они ждут боя. В бою, пусть неравном, они сумеют показать свою отвагу и силу. А неприятель, будто насмехаясь над ними, хладнокровнейшим образом расстреливает их позиции. Над головой Попова пролетают, врезаясь в холм, ядра. На "Форте" успели пристреляться, ядра ложатся все ближе к ровным фасам батарей.

Угадав мысли Попова, находившийся при нем веснушчатый, как воробыиное яйцо, гардемарин Колокольцев говорит:

- Ничего, ничего, все же придется им подойти ближе. Этак они расстреляют все свои заряды.

- У них в запасе десант, - сосредоточенно ответил мичман. - Слишком сильная партия для Красного Яра.

- Триста человек, - поспешно заметил Колокольцев. - Я подсчитал. По двадцать в шлюпке.

Попов успевал наблюдать за действиями Сигнальной батареи. По мере того как сопротивление батареи ослабевало, неприятель усиливал огонь по Кладбищенской. "Вираго" подбуксировал французский фрегат ближе к берегу. "Пик" и "Президент" вели навесный огонь по батарее. "Форт" разрушал своими выстрелами бруствер, стремясь вывести из строя орудия.

Под прикрытием фрегатов приближались гребные суда неприятеля. Попов рассматривал в трубу дюжих гребцов, матросов, зажавших между коленями блестящие на солнце штуцеры. В двух шлюпках впереди небольшой флотилии стояли офицеры, - одного из них, стройного, молодого, небрежно играющего снятой перчаткой, Попов разглядел очень хорошо и как будто узнал по стоянке в Кальяо.

Мичману известно, что в кустарнике на взгорье находится небольшая партия стрелков-камчадалов, а возле Кошечной батареи, на расстоянии двух верст, команда матросов и сибирских стрелков, которая может прийти к нему на помощь. Но успеют ли они подойти? Неприятельский десант движется слишком быстро, словно подгоняемый течением и совершенно равнодушный к тому, что с берега на него смотрят три пушки Попова.

Надо действовать. Попов повел непрерывный огонь. Прислуга не успевала подносить заряды из зарытых неподалеку корабельных цистерн. Теперь и у артиллеристов Кладбищенской батареи жаркая работа; нет возможности поднять голову, бросить взгляд на Сигнальную гору, проверить, продолжает ли она вести огонь.

Шлюпки неприятеля приближались. Попову удалось попасть в "Форт". Одно ядро угодило в левую скулу фрегата, другое - в нижнюю батарейную палубу, выведя из строя орудие. Меткий выстрел поразил тяжело нагруженную шлюпку, крайнюю справа. На какое-то мгновение в поле зрения Попова оказалось темное днище шлюпки и цепляющиеся за него французские стрелки. Но остальные шлюпки одна за другой проскальзывают в мертвое поле, безопасное от выстрелов батареи.

- Пора уходить, - хрипит Колокольцев.

Попов обшарил взглядом берег, ручей, гору Поганку у Кошечной батареи, ленту дороги вдоль береговой полосы. Оттуда еще может прийти спасение. Еще не поздно. Он продержится четверть часа до подхода стрелков.

Если бы только подоспело подкрепление!

На расстоянии версты, до самого кладбища, не заметно никакого движения. Деревья и кусты, разбежавшиеся с зеленого увала, стоят на берегу неподвижно, заглядывая в светлую ширь. Мир неподвижен и спокоен. Только та его частица, на которой находится Попов, сотрясается от огня.

- Пора! Мы потеряем людей и орудия! - строго звучит молодой басок Колокольцева. Его лицо краснеет, а слитые в неровные пятна веснушки кажутся совсем темными.

- Пора... Пора...

Попов готов заплакать. Конечно, он не станет плакать, но если существуют неслышные рыдания, сжимающие мужественные сердца, слезы, прожигающие тело насквозь, то он плакал в эту минуту. Уйти с батареи, оставить орудия! И это после того, как ему рисовались славные подвиги батареи, враг, молящий о пощаде, ядра, все до единого попадающие в цель, трофеи и благодарное рукопожатие товарищей! Уйти, бросить все? Бежать с батареи, оставив ее врагу? Лучше умереть...

Посылая Попова на Кладбищенскую батарею, генерал Завойко приказал ему твердо помнить о ее вспомогательной роли. Угрожая вражеским судам огнем с фланга, Кладбищенская батарея мешала свободному маневру судов. Слишком отдаленная от Петропавловска, она не имела значения важной полевой позиции, так как неприятель, высадив десант, мог обойти батарею или отрезать ее от порта.

Сегодня на рассвете Завойко еще раз напомнил Попову об этом.

- Завяжете штыковой бой, - сказал он, - только в том случае, если в помощь вам будут брошены партии стрелков. Это будет зависеть от того, куда устремятся главные силы неприятеля. В крайности заклепаете пушки, уведете людей. Вы хорошо поняли меня, мичман?

- Понял, ваше превосходительство, - ответил Попов. - Без подкреплений я не приму боя.

Если бы только пришло подкрепление! Если бы в кустарниках показались знакомые мундиры сибирских стрелков, блеснули бы начищенные накануне пуговицы и мелькнули широкоствольные, похожие на трубы ружья камчадалов!

Все по-прежнему спокойно.

Остались считанные минуты. Больше медлить нельзя.

Французы высадились южнее батареи и побежали к ней, переходя по щиколотку реку Гремучку. Осталось каких-нибудь сто пятьдесят - двести сажень. Уже и англичане с "Пика", ободренные успехами французов, послали несколько шлюпок к Красному Яру.

Кажется, что померкло солнце. Попова охватила злость, какой он еще никогда в жизни не испытывал. Больше не стоит оборачиваться и глядеть на кладбище в ожидании подмоги. Нужно уводить людей.

- Заклепать орудия! - скомандовал Попов.

Специально заготовленные ерши из гвоздей вклинились в запалы пушек.

- Порох закопать!

Новые и новые шлюпки врезались в песчаную отмель вблизи Гремучки. Синие куртки матросов испятнали берег. Стрелки мичмана Попова, прикрывающие отход, открыли стрельбу по смельчакам, приблизившимся к батарее на расстояние ружейного выстрела. Упал высокий матрос с "Форта" и покатился вниз, под ноги наступающих товарищей. Стрелки торопливо заряжали ружья, но французы, справившись с замешательством, бросились вверх, к батарее.

Попов со своей командой ушел только тогда, когда неприятельский десант подходил к батарее, оглашая холмы криком и беспорядочной стрельбой из штуцеров.

Мичман ушел последним, часто оборачиваясь на ходу. Увидев французский флаг над неповрежденным валом батареи, Попов яростно потрянул головой и бросился догонять команду, которую гардемарин Колокольцев вел на соединение со стрелковыми отрядами. Захват Кладбищенской батареи был бы чреват тяжелыми последствиями, если бы неприятель высадил здесь крупный десант. Отсюда многочисленный неприятель мог двинуться к порту, обойти с тыла Кошечную батарею и ворваться в Петропавловск. Поэтому, когда Завойко увидел, что вслед за шлюпками "Форта" к Красному Яру стали приближаться десантные отряды с "Президента" и "Пика", он приказал стрелкам идти на соединение с отходившим Поповым. Навстречу неприятелю были брошены стрелковые партии мичмана Михайлова, полицмейстера Губарева, отряд в тридцать два человека, который повел Пастухов, и партия камчадалов.

Артиллеристы Попова, соединяясь с отрядами, торопившимися им навстречу, усиливали боеспособность этого стрелкового заслона. И все же неприятель по числу людей втрое превосходил их.

Едва французский флаг повис над батареей и Изыльметьев принял сигнал Завойко: "Батарея пала. Открыть огонь!" - расчетам "Авроры" был отдан приказ открыть батальный огонь по Красному Яру. Но прежде чем бомбы "Авроры" долетели до батареи, занятой неприятелем, чужой снаряд разорвался в самой гуще французов. Его не могло послать ни одно из орудий Кошечной батареи: пушки Дмитрия МаксUTOва не имели такого угла обстрела.

- Похоже, что стреляли из-за Сигнального мыса? - удивился Тироль.

- Несомненно. Шальной снаряд, - подтвердил Изыльметьев. - Метили в отступающую команду мичмана Попова. Французский флаг хорошо виден.

Спустя несколько секунд меткий батальный огонь "Авроры" и "Двины" достиг батареи и охладил пыл "крошки Лефебра", который размахивал шпагой и клялся у флагштока, что он станет немедленно преследовать русских и разобьет их наголову или "заставит разбежаться по лесным норам". Лефебр и Бурассэ теряли драгоценные минуты, не зная, чем еще, кроме подъема флага, ознаменовать свое присутствие на оставленной русскими батарее.

- Нужно сжечь платформы и сбросить вниз пушки, - предложил Бурассэ.

- Лейтенант! Как можно! - возразил Лефебр. - Над батареей флаг Франции, тут все неприкосновенно.

- Тогда вперед, и да здравствует император! - провозгласил прямолинейный Бурассэ.

- Это не так просто, мой друг, - улыбнулся Лефебр, пряча свое щедедушное тело под прикрытие земляного вала, тогда как рослый Бурассэ отважно стоял на виду. - Русские могут не пустить нас в город. Следует дожидаться англичан.

Бурассэ махнул рукой и храбро поднялся на несколько саженей выше батареи, откуда открывался вид на дорогу, ведущую в порт. Французы залегли во все углубления и ямы, вырытые бомбами "Форты", скрываясь от огня "Авроры" и "Двины".

Фрегаты завязали перестрелку с Кошечной батареей. Она отвечала им неохотно, редко, будто с ленцой.

Никакого движения в заливе, английские шлюпки замерли, опасаясь приблизиться к берегу.

Взглянув вперед, Бурассэ заметил русских матросов и стрелков, бегущих к Красному Яру от кладбища. В два прыжка он достиг батареи, но советовать ему было не с кем: Лефебр ушел к шлюпкам, оставленный им мичман Тибурж убит осколком русской бомбы.

Пьер Ландорс, первый весельчак на "Форте", наклонился над мичманом и, обнажив курчавую голову, сказал:

- Готов! - Заметив Бурассэ, он сверкнул белками каштановых глаз и добавил:

- А мы думали, что совсем осиротели, ваше сиятельство, - такова была неизменная форма обращения Ландорса.

Бурассэ приказал подобрать тело мичмана, захватить раненых, не забыть о флаге, который так и не успел наполниться русским ветром, и убираться по возможности быстрее. Мичман Попов спешил на батарею. Он бежал впереди отряда, размахивая рукой, не чувствуя, как ветки били его по лицу. Если ему

удастся настичь французов, схватиться с ними, сбросить вниз и завладеть флагом, он будет считать себя вполне отомщенным.

Позади и слева от него стремительно бежали люди Михайлова и Пастухова. Камчадалы скользили по зеленым склонам, на ходу целясь в неприятеля. У отрядов не было общего командира, но охвативший их порыв, страстное желание нанести врагу поражение в первой рукопашной схватке были настолько сильны, что люди представляли собой единую, слитную массу, испугавшую неприятеля неудержимым стремлением вперед. Сверкали лезвия штыков, камни беззвучно срывались из-под ног и падали, разбивая прозрачную кромку воды.

Попов не сразу понял, что французы бегут. Только бы прийти первым! Смыть следы врага его же кровью. Он должен прийти первым... Рядом слышался топот матросов с "Авроры", сибирских стрелков; тяжело дышал, обгоняя Попова, быстроногий Пастухов. Партия камчадалов опережала всех, хотя бежала она по самой неудобной, наклонной части берега, готовясь ударить по французам сверху.

Уже исчез французский флаг с батареи. Матросы "Форта" кубарем скатывались к воде. Они прыгали с бруствера, теряли равновесие, падали, поднимали галдеж у шлюпок, роняли ружья и, уже сидя в шлюпках, вылавливали из воды фуражки.

Заметив бегство неприятеля, Попов крикнул своим людям: "За мной!" - и свернул вниз, к отмели, рассчитывая отрезать от шлюпок хотя бы часть десанта. Шлюпки поспешно отчаливали. Батареи "Авроры" умолкли: русские стрелковые партии приближались к Красному Яру, и неточно посланный снаряд мог причинить им вред.

Французы в шлюпках гребли изо всех сил. Вдогонку понеслись выстрелы с отмели и с батареи, занятой стрелковыми отрядами, но кремневые ружья скоро оказались бесполезными.

Сняв фуражку и вытирая жестким рукавом покрывшийся испариной лоб, рядовой сибирского линейного батальона Никифор Сунцов провожал шлюпки насмешливым взглядом.

- Зачем спину кажешь? Дал бы в лицо поглядеть, какие глаза твои... Ну и ловок же бежать, ваше благородие! - обратился он к Пастухову. - Ровно заяц скачет...

- На зайца гончие есть, - сказал Пастухов, все еще тяжело дыша. Управимся. Пастухов напрасно старался скрыть бурлившую в нем озорную, мальчишескую радость.

- Однако обидно... - сокрушался Сунцов. - Мне бы живого офицера поддеть...

Их благородие капитан Арбузов сказывали: за офицера крест полагается. Обидно, вашблагородие!

- Успеется!

На батарею поднялся Попов. Пастухов бросился ему навстречу, и они обнялись.

- Ну, вот ты и дома, Вася! - сказал сияющий Пастухов. - Ты счастлив?

- Да, - коротко ответил Попов и, помолчав немного, оглядевшись, добавил: - Жаль пушек, их сразу не расклепашешь... И батарею загадили... он брезгливо поморщился.

- Мы еще встретимся, - потряс его за руку Пастухов. - Еще сразимся!

Попов широко улыбнулся, стирая со своего лица усталость и треволения минувших часов.

- Сразимся! - закричал он во весь голос, удивляя матросов. - Еще как сразимся! III Арбузов управлял орудиями командирского дека "Авроры". Он стоял недалеко от Изыльметьева и Завойко, только что перебравшегося с кошки на палубу фрегата, наблюдал за полетом ядер и в короткие паузы между выстрелами ревниво ловил долетавшие до него фразы.

Его бесило равнодушие Завойко. Видит ли тот хотя бы, что ядра, пущенные орудиями командирского дека, достигают цели лучше других? Понимает ли он это? Способен ли губернатор вообще разобраться в сложных перипетиях боя? Зачем он явился и стоит, спокойный, неподвижный, на борту "Авроры", где и без него, слава богу, есть кому командовать, вместо того чтобы ободрять своим присутствием стрелков Кладбищенской батареи!

Арбузов ждал, что Завойко заметит его, подойдет, даст понять, что с прошлым покончено и ему не до ссор теперь, когда Петропавловску так необходимо настоящее военное руководство. Ничуть не бывало. Взгляд Завойко несколько раз скользнул по молодцеватой фигуре Арбузова и не задержался на ней, словно перед ним был незнакомый офицер или нижний чин. Лицо Арбузова обдавало жаром, сердце мгновенно срывалось вниз, голос делался резче. Но проходили секунды, Завойко отворачивался от его батареи, и Арбузов с ненавистью смотрел на узкую спину губернатора, на гладкий сидящий затылок между воротом мундира и околышем фуражки.

- Батарея спасена! - воскликнул Изыльметьев, наблюдая за отходом десанта.

- Поздравляю, Василий Степанович!

Завойко снял фуражку, заложил руки за спину и стал, по обыкновению, прохаживаться, словно ничего не произошло.

- Она пригодна только как стрелковая позиция, - сдержанно сказал Завойко.

- Попов стрелял до последней минуты. Он, вероятно, не успел заклепать

орудия... - предположил капитан.

- Не думаю. Я приказал заклепать при уходе. Попов скорее умер бы при пушках, но не оставил бы их неприятелю. Впрочем, - добавил Завойко с добродушной улыбкой, - если бы Попов не выполнил приказа, за него постарались бы французы при отходе...

"Уже ищите оправданий! - думал Арбузов, покусывая от возбуждения нижнюю губу. - Но оправданий нет. Следовало все предусмотреть, предвидеть события, не допустить неприятеля, иметь теперь пушки незаклепанными..."

На палубу вышел Вильчковский. Он переоделся после тяжелых перевязок на Сигнальной батарее и сейчас выглядел бодрым, посвежевшим.

- Недурно бы теперь закусить, - сказал он, потягиваясь и разминая плечи.

Ответа Изыльметьева Арбузов не расслышал из-за выстрелов Кошечной батареи. Видимо, он сказал что-то смешное - у Вильчковского от смеха трясутся плечи, Завойко ухмыляется, показывая рукой на Сигнальную гору, за которой прячутся фрегаты, обстреливающие батарею Дмитрия МаксUTOва. Им весело! Втроем они прошли мимо Арбузова, не замечая его. Встретив по пути Иону, что-то сказали ему, отчего он истово перекрестился и расплылся в улыбке.

Когда офицеры спустились по трапу, Арбузов, никем уже не сдерживаемый, бросился к иеромонаху.

- Отец! - он тряс тучное тело Ионы. - Может быть, я скоро умру, отец!..

- Не искушайте господа и дайте мне вашу трубу, - спокойно ответил Иона, уверенный, что Арбузова обуяла радость.

- Я завещаю вам: наша обязанность - расклепать орудия и поправить дело!

Иона рассматривал в трубу Кладбищенскую батарею.

- Слышите? - иступленно топал ногами Арбузов. - Расклепать и поправить дело!

- Слышу, - испуганный Иона отпрянул от Арбузова. - Дела идут хорошо, матросики вернули батарею...

Арбузов мотал головой, как раненый бык.

- Да вы, батенька, рехнулись на радостях! - улыбнулся Иона.

- Р-р-расклепать орудия! - заорал Арбузов.

- Прикажите расклепать нижним чинам, - оскорбился иеромонах. - Мне недосуг. Эдак с вами и завтрак пропустишь.

Иона ушел, а Арбузова все еще душила ярость.

Вскоре Завойко съехал с фрегата в порт, а партия матросов под начальством мичмана Пастухова возвратилась на "Аврору". Арбузов, чуть поостыв, улучил удобную минуту и подошел к Изыльметьеву.

- Иван Николаевич! - начал он драматическим тоном. - Надобно спасать дело!
 - О чем вы, Александр Павлович?
 - Надо расклепать орудия. Поручите это мне, я прошу вас! Это была роковая ошибка!
 - Не могу согласиться с вами. Находишь вы на батарее, вы точно так же заклепали бы пушки.
 - Я сумел бы отстоять их, - заносчиво сказал Арбузов.
 - Не думаю, - Изыльметьев болезненно поморщился и посмотрел на Арбузова тяжелым взглядом. - Офицеры, начальствовавшие батареями, сражались доблестно.
 - Я не хотел обидеть их...
- Изыльметьев сухо прервал Арбузова:
- Генерал Завойко приказал расклепать орудия. Я поручил это прапорщику артиллерии Можайскому. Вы удовлетворены?
- Глаза Арбузова потускнели, руки вяло повисли вдоль тела.
- Вполне, - сказал он тихо.

БАТАРЕЯ ДМИТРИЯ МАКСУТОВА

I

Приближаясь к порту, Маша все явственнее слышала артиллерийскую канонаду. Петропавловское межгорье подхватывало звуки выстрелов, бросало их на Култушное озеро и разносило по окрестностям. Но и слыша перестрелку, Маша не могла представить себе военного Петропавловска. Несколько раз в жизни ей доводилось слышать артиллерийские салюты - добродушный, ворчливый грохот стареньких медных пушек. Три коротких выстрела с равными промежутками, напоминающие детскую игру в войну.

Не то теперь. Выстрелы раздаются часто и, продленные эхом, сливаются в сплошной грозный гул. В нем Маше чудятся протяжные стоны, воинственные крики. Она не умеет отличить неприятельские залпы от выстрелов портовых батарей, пальбу ядерных пушек от разрывов бомб, выстрелы от повторяющего их горного эха. Пушки стреляют - значит, порт не пал! Значит, еще держится!

За всю дорогу до Култушного озера она никого не встретила. Край этот, и без того малолюдный, казался вовсе вымершим. Обычно в такой ясный день по дороге с Авачи и Сероглазок можно было увидеть камчадала, идущего в казначейство, охотника, направляющегося в лавку Жерехова, Чэзза или Российско-Американской компании, чиновника или служивого. Теперь не было никого. Неподвижно стояли деревья. Высокие травы не шелохнутся. В

зените повисло одно единственное облачко.

Странная неподвижность, окружающая Машу, волновала, подталкивала девушку, заставляя ускорять шаги.

Только дойдя по грунтовой дороге до Никольской горы, Маша нашла людей. Они стояли неподалеку от батареи номер семь; среди них капитан-лейтенант Коралов и командир Озерной батареи Гезехус.

Они плохо знали обстановку и не успокоили Машу. Сигнальная батарея уничтожена, Красный Яр, кажется, в руках неприятеля. Слишком сильный огонь. Сотни пушек маневренных фрегатов против четырех-пяти орудий каждой из батарей. Что будет дальше? Если англичане сунутся, батареи сделают все возможное.

Коралов пожал плечами.

- Уж лучше бы в штыки!

Еще сотня шагов в обход горы - и перед Машей открылся Петропавловск. Она поднялась на первую террасу Никольской горы, чтобы лучше разглядеть бухту. "Св. Магдалина", мелкие каботажные суда жмутся к пристани, "Аврора" и "Двина" запирают вход во внутренний залив. Неприятельских судов не видно, они все еще закрыты Сигнальным мысом.

Город под неприятельским обстрелом. Из-за Сигнального мыса фрегаты стреляли навесным огнем, поэтому можно было видеть ядра и бомбы на излете, когда они, описав дугу, падали между домами. Машу поразили вид конгревовых ракет: продолговатые хвостатые тела поднимались на высоту в шестьсот семьсот сажень, оставляя за собой зловещий дымный шлейф. Но в городе не видно пожаров. Песчаная коса в дыму, большую, одиннадцатипушечную батарею трудно различить.

Постояв несколько минут, Маша пошла дальше, миновала часового, охраняющего пороховой погреб. По его доброму, но громкому окрику свернула влево и столкнулась с волонтерами, с Зарудным - тот стоял у легкой конной пушки.

Что-то случилось с Зарудным. Небранный, с усталыми, красными веками, он казался постаревшим и немного растерянным. Зарудный был в высоких, завязанных у колен сапогах и потертой суконной куртке; из-под куртки виднелось грубое полотно рубахи. Вся его нескладная фигура невольно заставила Машу вспомнить красивые мундиры и боевую выправку офицеров, с которыми она только что рассталась. Видимо, обстрел Петропавловска привел его в замешательство. Война не охота. Война - наука, этой науке его не обучали. Маша вспомнила их спор с Александром Максutowым, и к чувству большого уважения к Зарудному примешалась безотчетная жалость. Вместе с

тем Маша ощутила и некоторое облегчение: в тревожную атмосферу утра вошло что-то привычное, примиряющее с действительностью.

- Зачем вы здесь, Маша? - обеспокоился Зарудный.

Он застегнул куртку, не замечая, что с одной стороны торчит белый ворот рубахи. Зарудный напомнил Маше встревоженного, кудлатого пса, одно ухо которого смешно свисает, а другое торчит предупреждающе и зло.

Маша улыбнулась, и Зарудному почудилась в ее взгляде мягкая, снисходительная жалость.

- Я пришла помочь вам, Анатолий Иванович.

Ее руки потянулись к шее Зарудного, но он отступил и, теребя светлые усы, обиженно сказал:

- Вы находите во мне что-то забавное?

Выражение лица Маши изменилось. Сколько горечи принесла ей размолвка с Зарудным! Неужели они рассорятся из-за пустяка? А Зарудный все-таки очень смешно потягивает носом...

- Нет, - ответила Маша серьезно, - я хотела поправить вам ворот рубахи. Извините.

Зарудный засунул под куртку торчащий конец ворота.

- Хорошо, что я встретила вас. Я ушла с хутора. Не могла там более оставаться. Вы один поймете меня...

- Вам тут нечего делать, Машенька! Вы не представляете, каково там, в порту.

- Может быть, - лицо Маши стало упрямым, неприветливым. - Могу я однажды поверить своему сердцу, поступить вопреки всему, даже вопреки вашему разумению? Или я навеки обречена рабской покорности?

- Маша! - обиделся Зарудный. - Вы знаете мой взгляд на этот предмет...

- Какая же цена вашему взгляду, - гневно возразила Маша, не дав ему договорить, - если, едва столкнувшись с жизнью, он переменяется?! Вы... вы велите мне оставить в беде и отца и друзей, быть только наблюдателем кровавых событий...

Несмотря на охватившее его волнение, Зарудный залюбовался Машей. Только сейчас он в полной мере ощутил, как дорога ему эта девушка.

- Об этом не нужно спорить, - сказал он, виновато хмурясь. - Я опасаясь, что вы окажетесь там обузой. К войне тоже надо готовить себя...

- Я готова! - Маша повеселела. Схватив Зарудного за руку, она неожиданно проговорила: - Я сейчас скажу вам одну свою мысль, а вы честно ответите мне: да или нет! Хорошо?

- Отвечу.

- Вы сейчас больше всего, больше всего в мире боитесь, что дело обойдется без вас, что сражение пройдет, а вы простоите тут со своими волонтерами, ни разу не выстрелив?

- Мучительная мысль! - признался Зарудный.

- Значит, я только похожа на вас! - обрадовалась Маша. - Вот и все. Прощайте.

Зарудный медлил, сжав ее руку.

- Хорошо. Ваша правда... - Он говорил взволнованно и немного сердито. - Только берегите себя, Маша, прошу вас. У меня нет более близкого, родного человека. Идите!..

- Держитесь Никольской горы, Николки держитесь, Марья Николаевна! крикнул он, когда Маша была уже у развилки дорог.

Маша приветливо помахала ему рукой.

Под прикрытием Никольской горы можно, не опасаясь, дойти до перешейка. Неприятельские ядра не долетают сюда. Идя по взгорью, по перекрещивающимся тропинкам, Маша слышала злое шипение бомб, рев ядер, рассекавших воздух, видела белые облачка разрывов над городом. Часть населения перешла под защиту горы и тощего леска.

У дома почтмейстера Маша задержалась. Нужно сворачивать влево, к порту, - прямая тропа привела бы ее к перешейку, через который обстреливали город.

Дверь дома Диодора Хрисанфовича Трапезникова широко раскрыта. Передней комнате был придан вполне служебный вид, хотя почты в ближайшее время не предвиделось и на того, кто пришел бы в эту пору с письмом, посмотрели бы как на сумасшедшего.

На скамье у дома восседал сам почтмейстер в парадном мундире. Высокий ворот сжимал его морщинистый кадык. Тут же сидел и Трумберг, с загадочной улыбкой на устах, пышнотелая Августина, утопающая в складках, кружевах и фестончиках, и пялящий глаза Чэзз, красный, будто он только что удачно закончил хлопотливую торговую сделку и разрешил себе небольшой отдых. Они смотрели на город и порт с видом театральных зрителей, которым известен финал спектакля. Почтмейстер, похожий на длинный высохший корень, извлеченный из песчаной почвы, был важен как никогда. В эту минуту он гордился своей дружбой с Чэззом и Магудом, гордился зеркалом и почтовыми чемаданами: они превращали его, как он полагал, в жреца, гордо взирающего на суету политической жизни. Он гордился даже тем, что его дом, скрытый горой, оказался самым безопасным в городе.

Чэзз, наиболее подвижный в этой молчаливой компании, окликнул Машу:

- Куда идет молодая лэди?! - Лицо Чэзза смеялось узкими щелями глаз.

Маша ничего не ответила.

- Если вы хотите увидеть англичан, это можно сделать, не рискуя жизнью! - продолжал Чэзз, ерзая на скамье.

Трумберг засмеялся и сразу умолк под тяжелым взглядом Августины. Маша не нашлась, что ответить. Надобно скорей бежать. Скорей идти на батарею, только не слушать этого грязного человека, который всегда с такой слащавой приторностью кланяется женам чиновников с порога своей лавки... Бежать! Она решительно повернула к городу.

- Последуйте нашему примеру! - хихикнул ей вслед Чэзз. - Посидите здесь!

Маша обернулась. Диодор Хрисанфович смотрел на нее тупым и укоризненным взглядом.

- Вы... воронье, воронье, - закричала она, - мерзкое воронье!

И побежала вниз по дороге, навстречу улицам, изрытым ядрами, навстречу оглушающему грохоту и странному чавканию бомб, падавших в Петропавловскую бухту. II Артиллеристы Кошечной батареи были потрясены неожиданным событием. Неприятель на протяжении трех часов осыпал позиции крупными ядрами и бомбами, но никакие его сюрпризы не рождали того оживления, какое вызвала своим появлением Харитина. Она пришла не одна и не с пустыми руками. Харитина с подругами принесла котел горячей каши и большой медный самовар из господского дома. Этот самовар перешел к Завойко по наследству от прежнего камчатского начальника Машина.

Харитина разыскала Василия Степановича в порту, когда он съехал с "Авроры", и спросила разрешения взять из дому самовар.

- Самовар?! - поразился Завойко. - Что за причуда?

- Дозвольте, хотим матросиков чаем побаловать, - бойко сказала девушка, - авось, жарче бить будут.

- Бери, пожалуй, - ответил Завойко, рассмеявшись. - Гляди, чтоб цел остался. Перед Кириллом ответ держать будешь, он старик строгий, злее англичанина...

- Известно, - Харитина мельком взглянула на окружающих, не смеются ли, и проворно побежала к дому губернатора.

К батарее женщины подходили во весь рост, подняв головы, будто обстрел их не касался, как дело сугубо мужское.

- Лихо идут бабоньки! - восторженно крикнул высокий комендор с Георгиевским крестом на груди. - Гляди, чиненка маковку оборвет!

Чиненками матросы называли бомбы, в отличие от "холодных" - ядер.

Над головами пролетела стайка ядер. Рядом прошипела бомба.

- Берегись! - крикнул комендор женщинам. - На землю, бабоньки! Не сносить вам головы, коли таким манером разгуливать будете!

Дмитрий Максutow с любопытством смотрел на эту сцену, еще не понимая, зачем явились девушки на батарею.

Харитина сказала спокойно, как будто дело шло о чем-то привычном и навсегда решенном:

- Нечего им кланяться, пусть себе свистят... - Она шагнула в сторону, и Максutow увидел трехведерный самовар. - Просим чаю откушать!

Высокий комендор сгреб фуражку и весело ударил ею о землю.

- Спасибо, девушки! - сказал Дмитрий Максutow, низко кланяясь Харитине. - Всем вам спасибо!

Несмотря на то что теперь Кошечная батарея выдерживала огонь всех неприятельских фрегатов, у прислуги хватало времени пользоваться кухней Харитины, водворенной в один из блиндажей. Неприятель построил фрегаты в одну линию, но не подходил к батарее ближе четырехсот пятидесяти - пятисот саженей и прятался за Сигнальную гору, так что из одиннадцати орудий Кошечной батареи могли действовать всего шесть. В амбразуры остальных орудий видна была только гора, за которой скрывался неприятель. Избрав такую позицию, Депуант расчетливо избегал встречи с батареями "Авроры", к которым в глубине души еще со времени Кальяо относился серьезнее, чем англичане. Стоило фрегатам выйти из укрытия и приблизиться к отдели, они сейчас же оказались бы в виду "Авроры" и под огнем ее батарей.

Кошечная батарея построена прочно; пожалуй, это единственное оборонительное сооружение, воздвигнутое по всем правилам фортификации, с поправками на камчатскую бедность. Высокий бруствер, тугие фашины и бревенчатые укрытия, усиленные мешками с землей, хорошо защищали артиллеристов от ядер и осколков бомб. Пока неприятель стрелял навесным огнем из-за горы и с далекого расстояния, его ядра не имели полной силы. Ударяясь о фашины, они не проникали в толщу бруствера, застревали в фашинах или отскакивали и зарывались в песок. Большой вред приносили двухпудовые бомбические пушки, - их было по две на каждой стороне фрегатов. Бомбы вредили фашинам, грызли бруствер, рвались над батареей и позади ее, раня осколками прислугу и кантонистов-картузников, сновавших между пушками и пороховым погребом.

С "Авроры" тяжело наблюдать за ленивой пальбой Кошечной батареи. Подвиг ее артиллеристов, быть может, будет оценен только к исходу сражения, если батарее чудом удастся устоять. Но в каждую минуту боя, когда в ответ на

батальный огонь неприятеля раздавались, и то не часто, одиночные выстрелы - как будто большинство орудий МаксUTOва уже подбито, заряды кончаются, а прислуга уничтожена, - аврорцам, любившим Дмитрия, становилось не по себе. Фрегат не мог участвовать в перестрелке, пока какое-либо из неприятельских судов не покажется из-за Сигнального мыса, и весь бездействовавший экипаж высыпал на шканцы, наблюдая за действиями Кошечной батареи.

Александр МаксUTOв с надеждой смотрел на батарею всякий раз, когда там возникало минутное оживление. Иона, принявшийся было считать неприятельские ядра и бомбы, видные глазу, вскоре махнул рукой и, остановив Александра, сказал укоризненно:

- Ленив братец ваш, зело ленив! От него не скоро выстрела дождешься... А еще гусар, крамольник! Ай-яй-яй!

Александр МаксUTOв с трудом сдерживал разбуженную злость.

- Вы не вспыхивайте, Александр Петрович, - подтрунивал Иона. Табачком не балуюсь, мне огонька не потребуется. Вот Дмитрию подать бы огня...

- Отец Иона! - заговорил Александр, заикаясь от ожесточения. - Ничего вы в этом не смыслите...

- Что-то вы все сегодня шипите, как бомбы! - замахал на него руками Иона. - Того и гляди, разорвет!

Александр дважды подходил к Изыльметьеву с просьбой послать его на батарею к Дмитрию. Иван Николаевич, невозмутимо наблюдавший за неравной артиллерийской дуэлью, отказал:

- В этом нет нужды. Дмитрий Петрович отлично справляется и один.

- Однако же на перешейке, на пятипушечной батарее, назначенной мне, сказал раздосадованный Александр МаксUTOв, - находятся нынче лейтенант Анкудинов и прапорщик артиллерии Можайский!

Усмешка пробежала по лицу Изыльметьева от губ к веселым, спокойным глазам.

- Батарея бездействует, они друг другу не мешают.

Во второй раз Изыльметьев серьезно спросил МаксUTOва:

- Вы находите ошибки в действиях Дмитрия Петровича?

- Батарея отвечает вяло, - уклончиво ответил лейтенант.

Изыльметьев повысил голос, нарочно, для того чтобы его слышали офицеры, столпившиеся на шканцах:

- Кошечная батарея действует с редким искусством. Чтобы оценить это в должной мере, надобно, конечно, видеть неприятельские суда, но и без того картина ясна. Дмитрий Петрович ведет огонь умно, расчетливо,

хладнокровно, пренебрегая естественным искушением открыть беглый огонь по цели. Он сберегает заряды, рассчитывая на длительную борьбу.

Полагаясь на выдержку Дмитрия МаксUTOва, Изыльметьев поддерживал с батареей постоянную связь, интересуясь запасом пороха, потерями, причинами, по которым орудия не стреляют калеными ядрами. На батарее была устроена напольная ядрокалильная печь, лежали шарообразные железные щипцы, специально для этой цели выкованные в мастерских порта. Ответы лейтенанта МаксUTOва коротки, деловиты:

"Заряды имеются в избытке, батарея скупO расходует порох. Потери ничтожны, тяжело ранен только кантонист Матвей Храповский: оторвало кисть при подноске "картузов". Калеными ядрами не действуем по неопытности прислуги, чтобы не произошло большего, чем от неприятеля, вреда. Отобедали, пьем чай..."

Последнее известие развеселило даже закоренелых скептиков, и только капитан Арбузов, мрачно поглядывавший на песчаную косу, был убежден, что дела на батарее идут ни шатко ни валко и ей не хватает огонька! Боевого огонька и немного безрассудства, без которого не выигрываются ни большие, ни малые сражения. Дмитрий МаксUTOв хорошо сознавал, что на его долю выпала особая задача: пока действует батарея, неприятельские фрегаты не пройдут в Петропавловскую бухту. Двигаясь по узкому проходу, закрытому боном, "Авророй" и "Двиной", они подставят правые борта под прицельный огонь батареи и будут потоплены или взорваны. Умолкнет его батарея - и неприятель останется лицом к лицу с "Авророй", четыре подвижных фрегата против одного, стоящего на мертвых якорях. "Аврора" будет уничтожена, бон взорван, и ничто не помешает вражеской эскадре подойти к петропавловскому причалу. Кошечная батарея - прочный замок на воротах порта. Ключ от замка вручен ему, и он не выпустит его из своих рук. Враг не добьется своего ни силой, ни хитростью. Может быть, он попытается проникнуть в город через озерное дефиле за Николкой или через перешеек? Что ж! Там англо-французов встретят другие орудия и стрелковые партии. Это будет встреча в лоб, штык к штыку, при большом численном превосходстве противника, вооруженного нарезным оружием, но без тех очевидных преимуществ, что предоставляют врагу его двести восемнадцать орудий.

Дмитрий ходил по батарее без фуражки, с трубкой в зубах, в расстегнутом мундире, с простецким видом, точно по собственной комнате. Так красившая его добродушная улыбка не сходила с округлого, мягкого лица. Даже приказания номерам он отдавал словно шутя и радуясь, но строго следя за

тем, чтобы в нужные моменты не было и секунды промедления.

Пастухов, побывавший у него на обратном пути от Красного Яра, был даже разочарован той атмосферой, которая царила на батарее. Спокойствие, неторопливость прислуги, домашний вид командира, старый, мятый самовар. Широкоплечий огневой сидел на мешке земли и провожал неприятельские ядра ленивым взглядом. Здесь же слышался приглушенный женский смех. Все это не вязалось с представлениями Пастухова о сражении. Хотелось самому броситься к орудиям, растормошить прислугу, ударить по фрегатам частым, губительным огнем.

- А хорошо у нас, Константин! - похвастался Максutow. - Оставались бы здесь.

- Слишком спокойно, - буркнул Пастухов. - Как в Кронштадте.

Максutow удовлетворенно рассмеялся.

- И отлично! Знаете, Костенька, когда мне бывает особенно трудно держать себя в узде, я вспоминаю Ивана Николаевича. Помогает. Я ведь тоже горяч, - чистосердечно признался Дмитрий, - а здесь нужна выдержка, иначе проиграем.

Пастухов не был убежден в правоте Дмитрия. Он оставил батарею со смутным чувством недовольства, которое не исчезло и после похвальных слов Изыльметьева о действиях Максutowа.

Лейтенант переходил от орудия к орудью, заглядывал в широкие, с большим углом обстрела амбразуры и время от времени командовал прислуге:

- Седьмой номер, пали!

- Десятый номер, пали!

Дмитрий Максutow и впрямь часто вспоминал Изыльметьева. Он хотел бы увидеть капитана здесь, на батарее, чтобы Иван Николаевич оценил порядок, спокойную деловитость прислуги. Схватку с неприятельскими фрегатами Дмитрий рассматривал как продолжение давней борьбы, начавшейся еще в Портсмуте. Он помнил каждый поступок Изыльметьева, каждый его шаг, решительный, смелый, позволявший выиграть время, сберечь силы и людей. Ничего показного, бьющего на эффект, даже когда он бросил за борт бумагу с предписанием именем королевы. Изыльметьев всегда выигрывал схватки благодаря сильной воле и выдержке. Он ход за ходом улучшал свои позиции, подготавливал скрытые линии нападения, обескураживал противника неожиданными мерами, и было бы непростительно одним неосторожным ходом, продиктованным горячностью или безрассудной отвагой, разрушить работу многих месяцев.

"Если Прайс и его офицеры сомневаются в храбрости наших солдат, думал Дмитрий, - случай еще доставит им возможность разочароваться. Придет

время - может быть, оно совсем близко, - и мы покажем, как русские принимают врага на своей земле, как они дерутся и как умирают. Но сейчас враг хочет другого, иначе он не хитрил бы и не прятался".

Англичане, конечно, давно смекнули, что на батарее тридцатишестифунтовые ядерные пушки, - они действуют успешно только в те минуты, когда фрегаты подтягиваются поближе к берегу, чтобы стрелять всеми орудиями, батальным огнем. И Дмитрий Максutow ждал этих минут. Ждал со спокойствием охотника, знающего повадки хищного зверя. Ждал, напряженный, собранный, зорко наблюдая за движениями неприятеля, которому поднявшийся ветер позволял теперь маневрировать без помощи парохода. Ждал, испытывая острое волнение, но внешне добродушный, уравновешенный, неторопливый. Наблюдение за парусами неприятеля позволяло Дмитрию Максutowу предвидеть движение судов, и ему почти всегда удавалось опередить судовых артиллеристов в моменты наибольшего сближения фрегатов с батареей. Ядра, пущенные с батареи, шли в дело, несмотря на то что приходилось часто стрелять рикошетом, по воде.

Прислуга, заряжавшая орудия, смотрела в амбразуры, не боясь штуцерного обстрела, страшного при крепостной войне сухопутных армий. Подчас, наблюдая через амбразуры неприятельский флот, матросы отпускали крепкие словца по адресу англичан и французов.

Если разрыв бомб не заглушал возгласов шутников, веселилась вся батарея.

- Хорошо бьет ружье! - кричал красный от натуги матрос в парусиновых шароварах, с развевающимися на груди концами галстука, кричал так, будто его и впрямь могли услышать на ревущих от выстрелов и окруженных дымом фрегатах. - С полки упало - семь горшков разбило!

Бывалые матросы, люди, привычные ко всему, очень удивились бы, узнав, что их молодой веселый командир боится вида крови. Дмитрий Максutow, как и большинство молодых офицеров "Авроры", ни разу еще не участвовал в бою. Он знал о войне все, что можно было узнать из книг. Он готов к выполнению своего офицерского долга, но мысль об ужасных ранениях и льющейся крови тяготила его. Найдется ли он в тяжелую минуту, сумеет ли удержаться на той позиции, которая не делает командира жестоким и черствым в глазах нижних чинов, но и не допустит его до бесполезной и жалкой чувствительности? Добро бы еще на батарее царил кромешный ад, люди, сбиваясь с ног, металась бы у орудий, а стволы пушек накалялись от выстрелов, - тогда для всего прочего, кроме сражения, не осталось бы и времени.

За первые часы боя на батарее ранило троих артиллеристов. Все ранения

неопасные. Двое тут же вернулись к своим номерам, выделяясь среди прислуги белыми пятнами повязок и той особенной смесью страдания и бесшабашной веселости во взгляде, которая бывает у людей, только что перенесших тяжелую физическую боль, но вернувшихся в строй. До конца боя Харитина и ее подруги деятельно помогали фельдшеру, оттеснив двух матросов из инвалидной команды. По-видимому, на раненых хорошо действовал уход женщин: не слышно было ни стонов, ни обычных в такой обстановке ругательств, проклятий. Женщины незаметно вошли в жизнь батареи, оказались необходимыми во многих случаях, хотя раньше свободно обходились и без них. Они поили матросов, помогали кантонистам-картузникам, оказывали мелкие услуги фельдшеру. Две женщины, вызвавшиеся доставить в госпиталь раненого канонира, вопреки опасениям матросов, относившихся к ним уже ревниво, как к своим, вернулись на батарею и сквозь слезы стали рассказывать о том, как строго встретил их "главный дохтур" Ленчевский и как их выручил "чужой дохтур" с фрегата - по-видимому, Вильчковский.

Харитина пользовалась всякой возможностью взглянуть на чужие суда. Страх за Семена не оставлял ее ни на минуту. Здесь, на своей земле, его ждала лютая казнь, но ведь и там, на чужих кораблях, не слаще. Полицмейстер, встретив девушку в порту, пьяно прохрипел ей в самое лицо: "Что, бежал твой каторжник?! погоди, скоро увидишь дружка - англичане повесят его на нее. У них скорый суд". И глаза Харитины торопливо обегали мачты фрегатов, сердце замирало от тяжелых предчувствий, весь мир в это мгновение втискивался в полуторафутное отверстие амбразуры. Уже не раз, завидя на саллингах фрегатов фигуру человека, девушка закрывала глаза, чувствуя, как холодеет тело и подкашиваются ноги.

Суда маневрировали. Ближе других подходил к батарее "Форт", открывая ураганный огонь. На котором из них Удалой? Жив ли он?

В нескольких шагах от Дмитрия МаксUTOва осколком бомбы оторвало кисть кантонисту Матвею Храповскому. Белокрысы мальчик с молочно-голубыми удивленными глазами лежал на твердом грунте батареи. Кровь хлестала из рукава.

Прежде Дмитрий как-то не выделял его среди кантонистов, шнырявших по батарее. Но теперь, при внимательном взгляде на него, он был потрясен сходством мальчика со своим товарищем детства, пастухом Прошкой. Все такое же - и густо облепившие переносицу веснушки, и выражение светлых глаз, и большой рот над коротким, словно срезанным подбородком. Поразительное сходство!

Краска сошла с лица МаксUTOва. Он почему-то стал лихорадочно застегивать мундир. Возле мальчика уже суетились фельдшер, Харитина, стояли испуганные кантонисты - друзья безбрового Матвея. Фельдшер остановил кровотечение, мальчика положили на носилки, и на них еще оставалось удивительно много свободного места.

МаксUTOв подошел к мальчику и погладил колючую золотистую щетину волос.

- Молодец, Матвей! - поправил он фуражку, лежащую в изголовье раненого. - Спасибо за службу!

Белые губы мальчика дрогнули в улыбке. Он скосил глаза на товарищей.

- Мне не жалко, Дмитрий Петрович, - сказал он звонко. - Совсем не больно... Руки не жалко, только бы поколотить их!

- Поколотим! - воскликнул МаксUTOв, почувствовав прилив нежности к раненому мальчику и ощутив, что боязнь вида крови, вероятно, прошла навсегда. - Мы за тебя отплатим, Матвей!

Храповского унесли. МаксUTOв прикрикнул на замешкавшихся кантонистов, и жизнь батареи потекла по-прежнему неторопливо и уверенно. "Аврора" почти не участвовала в деле, но служила штабом и центральным нервом сражения. Изыльметьев бессменно находился на шканцах, сносясь с Завойко через вестовых или встречаясь с ним для коротких совещаний на палубе фрегата.

Завойко не случайно избрал в этот день "Аврору" своим главным командным пунктом. Фрегат находился в центре оборонительных сооружений, и пока внимание неприятеля было занято Сигнальной, Кошечной и Кладбищенской батареями, "Аврора" оставалась идеальным командным пунктом. Отсюда сигнальные передавали командирам отрядов и батарей приказы Завойко, здесь находились резервные запасы пороха, потребность в котором на батареях, при строгой бережливости и вполне вероятном расчете на многодневные бои, могла меняться в зависимости от маневров неприятеля. Поблизости, у Сигнальной горы, расположились и стрелковые резервы.

Несколько раз "Вираго" с большой пушкой на носу пытал счастье высовывался из-за Сигнального мыса, намереваясь приблизиться к батарее МаксUTOва. Но "Аврора", не теряя ни секунды, будто ожидая "Вираго", палила по нему всем бортом. В свою очередь, Дмитрий МаксUTOв пускал в ход одиннадцать пушек, и пароход, дымя и отплевываясь, пятился назад.

- Иди, иди, "дружок"! - ликовали на "Авроре". - Авось удовлетворишься так, что более не захочешь!

После трех попыток приблизиться к батарее "Вираго" заметно накренился и больше не показывался. Он притих за мысом, на виду у безмолвной Сигнальной батареи и невозмутимого часового Афанасия Харламова.

Около часа дня на "Авроре" стало известно, что малый фрегат "Эвредик" и бриг "Облигадо" в сопровождении десантных судов приближаются к перешейку. Евграф Анкудинов доносил о готовности отразить неприятеля.

- Я думаю, что это разведка, - предположил Изыльметьев. - Хотят пощупать оборону. В дверь не достучаться - может быть, удастся найти лазейку.

- А если решительная высадка? - усомнился Завойко.

- Нет, - в тоне Изыльметьева абсолютная уверенность, - после бегства с Красного Яра они не решатся на десант под прикрытием малых судов. Пока фрегаты заняты Максutowым, мы можем быть спокойны. У адмирала Прайса не слишком сильное воображение.

- Пожалуй, - согласился Завойко. - Но все же я отправлюсь на перешеек, сам погляжу на неприятеля, каков он пополудни!

Изыльметьев оказался прав.

Десантные шлюпы неприятеля, направлявшиеся к Култушному озеру, были обстреляны у перешейка батареей лейтенанта Анкудинова. Артиллеристы потопили один шлюп, и десантный отряд испуганно поворотил, удаляясь от берега. Ушел и "Эвредик", поврежденный двумя ядрами. Тем временем "Облигадо" открыл огонь по "Авроре", рангоут которой был виден в овале седловины. Комендоры "Облигадо" пробили навылет грот-мачту "Авроры", после чего бриг тоже удалился.

Огонь на Кошечной батарее усиливался. Все побережье вокруг батареи было усыпано бурными осколками. "Форт", "Президент" и "Пик" палили с ожесточением, вымещая на турах и фашинах батареи свое озлобление. Навесный, батальный и рикошетный огонь шквалами обрушивался на бруствер и всю площадку батареи, крошил, разрушал земляной вал. Ревели ядра; зловеще шипели, выталкивая тонкую струйку дыма, большие бомбы. "Холодные" весом в восемьдесят шесть английских футов глухо сотрясали почву.

Максutowу приходилось чаще отвечать на огонь неприятеля. Шесть часов непрерывного боя изменили вид батареи. Здесь уже нельзя было найти ровных геометрических линий, плотных, утопанных площадок, аккуратных граней траверсов и блиндажей. Все разрушили ядра и бомбы, все испробовали на зуб, на ощупь, все изорвали и рассекли. Повсюду ямы, кучи земли, слой осколков, смешанных с плетеными лоскутьями фашин. Изменились и люди, потемнели от пороха и копоти, в мокрых от пота, изодранных рубахах.

В эту пору Маша пришла на батарею. Приближаясь к огненным позициям, она заставляла себя идти спокойно, но не утерпела и, прикрыв голову руками,

побежала. Десятки раз хотела она вернуться на хутор, чувствуя, что не достанет сил на выполнение задуманного. Наступало безрадостное облегчение при мысли, что сейчас весь этот ужас останется позади, перед глазами вставала безлюдная, сонная, пригретая солнцем дорога на Сероглазки, но последним усилием воли Маша заставляла себя идти вперед. На берег неподалеку от Маши упала бомба. Нужно броситься на землю, но Маша не смогла этого сделать. Она оцепенела и впилась глазами в металлический шар, в маленькую трубку, из которой тянулась струйка дыма. К счастью, бомба не разорвалась. Она перестала дымить и, остывая, лежала в лунке, выбитой двухпудовой тяжестью. Маша долго смотрела на бомбу, а когда поняла, что разрыва не будет, опустилась на землю и заплакала.

Тут в величайшем душевном смятении предстала Маша перед Дмитрием Максutowым.

Он едва успел ей кивнуть, - "Форт" подошел на расстояние четырехсот сажень, обрушив на батарею шквальный огонь. Нужно отвечать всеми орудиями, но без суматохи, хорошо зная, какой цели служит каждый выстрел. Толстенький Максutow, с прядями волос на лбу, слипшимися от пота, подпрыгивая на мускулистых ногах, попевал всюду, командуя, указывая точную цель, ободряя прислугу.

- Где Александр? - не зная зачем спросила Маша, но вопрос потонул в грохоте выстрелов, Маша захлебнулась дымом.

Дым рассеялся. Маша увидела перед собой Харитину. Мгновение девушка удивленно смотрела на Машу, затем, решившись на что-то, приблизилась к ней и закричала в самое ухо:

- Уходили бы, барышня... Эко вас угораздило!

Девушка говорила так, точно она была здесь хозяйкой, - уверенно и властно. Маша растерялась.

- Я по делу. - Она глубоко вздохнула, и снова в легкие попал дым, заставив Машу закашляться. - По важному делу.

- Уходите, милая! - повторила Харитина ласковее прежнего и легко подтолкнула Машу.

Маша почувствовала, что эта сильная девушка с душевным грудным голосом может поднять ее, как ребенка, и унести отсюда.

"Неужто не хватит сил? - испуганно пронеслось в голове у Маши. Неужто я отступлю теперь, почти достигнув желанной цели?.."

- Я к лейтенанту Максutowу, - сказала Маша растерянno и, заметив Дмитрия, двинулась ему навстречу.

Дмитрий воспользовался короткой передышкой, чтобы вернуться к Маше.

Безотчетно обрадованный в первое мгновение ее появлением на батарее, он затем ужаснулся и решил во что бы то ни стало выпроводить Машу.

И теперь, глядя в бледное лицо девушки, в ее расширившиеся не то от страха, не то он напряжения глаза, он заговорил торопливо и участливо:

- Как можно этак, Машенька?! Что за несчастная мысль пришла вам в голову?! - Он схватил Машу за руку и затем, словно очнувшись, отступил на шаг и сурово оглядел девушку. - С какой стати вы на батарее?

- Я хочу помочь вам, Дмитрий Петрович! - Маша победила робость и отвечала уже уверенно.

- Какая чепуха! - воскликнул было Максutow. - Простите ради бога... Вы ничем не поможете, и вас непременно убьют... Здесь есть помощницы, уже два часа как я гоню их с батареи, - солгал он, - и ничего. Не подчиняются! - Он недовольно пожал плечами.

- И я не подчинюсь, - Маша вызывающе, упрямо посмотрела на лейтенанта.

Он не успел ответить: дела снова заставили забыть о Маше. Впрочем, он не совсем забыл о ней. Опершись на орудийный станок, он написал коротенькую записку аптекарю Лыткину. Харитина дала ее одному из раненых, которого должны были срочно доставить в госпиталь. По мимолетному кивку Максutowа в сторону Маши Харитина поняла, каково содержание записки, и с готовностью исполнила поручение. Наклонившись над раненым матросом, она ласково попросила не забыть о записке.

Харитина пожалела было Машу, встретив ее растерянную, испуганную, но теперь, когда барышня, справившись со страхом, приглядывалась ко всему на батарее, она почувствовала, как вырастает между ними стена враждебности. Харитина была здесь как дома. С ней здесь и Удалой, вопреки тому, что их разделяют ревущие пушки, бастион, залив... Даже лейтенант Максutow, к которому она не решилась бы подойти ни на плацу, ни в церкви, где все едины перед богом, ни на тихой улочке Петропавловска, - тут казался ей простым и доступным. Без Маши батарея была своим, родным миром, - пришла эта красивая, вздрагивающая от выстрелов девушка, и возникло тоскливое ощущение пустоты.

Но огорчение Харитины длилось недолго. Не прошло и получаса, как на батарею появился Лыткин и увел с собой дочь. Маша хотела спорить, окликнула занятого у пушек Максutowа, взглядом умоляя его о помощи, но он даже не посмотрел в их сторону.

В госпитале Маша заявила, что не тронется с места и никто, даже Ленчевский, не заставит ее покинуть защищенное горой здание, в котором помещалась и аптека.

На столе, около аптекарских весов, среди облаток, порошков и склянок, Маша увидела записку МаксUTOва.

"Любезный г. Лыткин, - писал лейтенант. - Ваша дочь на батарее. Уведите ее, с меня хватит англичан и французов. М а к с у т о в 3-й".

Маша опустилаcь на низенький сушильный шкаф и, разрывая записку на мелкие кусочки, со злоcтью шептала:

- Третий, третий, третий! III В четыре часа дня на "Авроре" все были серьезно обеспокоены судьбой батареи МаксUTOва. Огонь усиливался, будто "Форт", "Пик" и "Президент" торопились расстрелять обременяющие их запасы ядер и пороха.

Батарея почти не отвечала. Впору высаживать десант и захватить расстрелянную позицию. Уже больше часа нет донесений от Дмитрия МаксUTOва.

Изыльметьев приказал нагрузить катер запасными зарядами для батареи. Иеромонах Иона, считая выстрелы пушек МаксUTOва, то и дело сбивался и называл фантастические цифры. Хотя Дмитрию МаксUTOву для его одиннадцати орудий было дано пороху больше, чем всем остальным батареям вместе, его запасы давным-давно должны были иссякнуть - батарея действовала больше восьми часов.

Подвоз пороха по Петропавловской бухте представлял смертельную опасность и требовал большого искусства от гребцов и командира катера. Большая часть пути проходила по открытому зеркалу бухты, на виду у неприятеля, который тотчас же поймет цель дерзкого предприятия. При прямом попадании погибнут и люди и порох; если же катер будет только опрокинут водяным валом от взрыва, Петропавловск лишится части пороха, которого и так едва ли достанет.

Кого послать?

Изыльметьев оглядел окружающих. Все понимали, какой вопрос решает капитан, и ждали, кто с готовностью, кто с замершим от волнения дыханием. Александр МаксUTOв? Пожалуй... Он достаточно расчетлив. Но от этой мысли Изыльметьев отказался. Кто знает, сколько дней продлится оборона, какие еще сюрпризы в запасе у Прайса. Нужно беречь офицеров, способных командовать батареями и самостоятельными партиями. Гаврилов ранен. Чем закончится день у Дмитрия МаксUTOва, уцелеет ли он?

Боцман Жильцов? Изыльметьев задержался на его широком морщинистом лице. Кольнула неприятная мысль:

"Жильцов боится! Чувствует на себе мой взгляд, крепится, но не может скрыть страха".

Изыльметьев вспомнил неизлечимое пристрастие Жильцова к линькам, его непостижимое умение отравлять дружественную атмосферу на фрегате.

Капитан перевел взгляд на Пастухова.

У мичмана в глазах тоже страх, но совсем иной: боязнь, что на катер пошлют кого-нибудь постарше. Волнение исказило его большеротое лицо такой трогательной гримасой, что Изыльметьев тотчас же приказал:

- На катер назначаю мичмана Пастухова. Жильцов! - окликнул он.

- Слушаюсь!

- Отправишься с гребцами на катере. - Изыльметьев погладил усы. Дело важное, гляди, братец, в оба!

- Есть! - рявкнул боцман, заглушая собственный страх.

Как только гребцы, поощряемые возгласом Пастухова: "Навались!", вывели катер на место, открытое обстрелу, "Форт", а за ним и два английских фрегата перенесли часть огня на бухту.

С выходом в опасную зону бухты катер Пастухова оказался в центре внимания всего обширного амфитеатра, от Сигнальной горы до матерого берега. Даже артиллеристы Дмитрия МаксUTOва, которым не до зрелищ, следили за эволюциями катера. Вокруг него забурлила вода, заходили волны. В небольшой бухте рвались бомбы, десятки ядер, ударившись о воду, рикошетом уходили к причалу или, описав дугу, с угрожающим рявканьем скрывались в волнах, подымая пятисаженные смерчи.

Матросов обдавало брызгами, били упругие, хлесткие струи, подбрасывало на сиденьях. Взмокшие рубахи гребцов прилипали к телу. Концы галстуков плясали на груди от стремительных движений, толчков и резких поворотов.

- Табань! - командовал мичман, и матросы мгновенно отгребали в обратную сторону, избегая встречи с ядрами, падающими в нескольких саженях от катера.

- Навались!

- Табань!

- Суши весла!

Команда следовала за командой, как на трудной тактической игре. Матросы действовали с той редкой слаженностью и единодушием, на которые способны лишь искусные мастера.

Только в эти минуты Пастухов понял всю правоту Дмитрия МаксUTOва. Хладнокровие и выдержка - первейшие качества офицера. Чего стоила бы храбрость, если бы, пренебрегая неприятельским огнем, Пастухов устремился напролом к близкой цели? Погибли бы люди и бесценный груз, заботливо укрытый старым парусом. Нужно уметь ждать, сдерживать порыв. Разве

прямое движение катера к батарее было бы мужественным поступком? Нет, оно было бы слепо, безрассудно, походило бы больше на отчаяние, чем на борьбу.

Пастухов ощутил высокое упоение борьбой. Точно крылья выросли у него, а мир, вопреки смертельной опасности, засверкал голубизной, золотом плавившейся на солнце воды.

Нужно стоять прямо, во весь рост, не кланяясь вражеским ядрам, не обнаруживая ни малейшего страха! В этом он будет дерзок и безрассуден. Взметнулась за бортом вода, сорвала с мичмана фуражку. Русые волосы прилипли к вискам и лбу, капли сбегали вдоль щек по двум тонким складкам, которые в это утро появились на молодом лице Пастухова.

Катер приближался к основанию косы. Оставались последние сажени. Еще несколько сильных рывков - и лодка войдет под прикрытие батареи, окажется в относительной безопасности. Неприятель почувствовал, что жертва уходит. Десятки выстрелов обрушивались на маленький участок отмели, отсекая катеру путь воем ядер, вспоротой водой, картечью песка и гальки, поднятой роющими отмель "холодными". Приходилось "сушить весла", пережидая шквал. Едва наступила пауза, Пастухов скомандовал: "Навались!" - и в несколько секунд катер подошел к батарее.

- Шаба-а-аш! - закричал Пастухов и прыгнул в воду навстречу Максуту. Опять проснулся в нем озорной, восторженный мальчишка. - Они чудом спаслись! - заключил Арбузов, азартно наблюдавший движение катера.

- Все в руке божией, - поддакнул Иона, отходя от борта. - Однако же и Костенька молодец! Верно я говорю? - обратился он к матросам.

- Верно, батюшка! - охотно отвечали матросы. После крепких объятий выяснилось, что на батарею еще достаточно зарядов.

- Я - что твой Плюшкин, - смеялся довольный Дмитрий. - Ни одного ядра не подарю им без особой нужды. Однако же спасибо! - добавил он, заметив на выразительном лице мичмана тень разочарования. - Теперь не нужны, через час понадобятся. Спасибо, друг!

Пастухов остался на батарее. Наступил критический час сражения. Такого огня еще не видели с самого утра. Огневые "Пика" и "Президента" металась по палубе фрегатов, не успевая подавать фитили. Тяжелые пятиаршинные орудия часто откатывались и вновь подступали к бортам, осыпая батарею каленым железом.

Фредерик Никольсон командовал артиллеристами "Пика", метался между верхней и нижней палубами. Более флегматичный Барридж стоял на шкафуте "Президента" и молча проклинал упорство русских. В сердце этого служки

закрадывалась ненависть к мертвому адмиралу. Сегодня мысль о самоубийстве адмирала казалась и ему вполне правдоподобной.

Именно сегодня, встретив необыкновенное упорство русских, Барридж узрел какую-то логику во вчерашнем выстреле. Но кто мог подумать об этом вчера! Никольсон дважды просил Депутата разрешить ему повесить русских матросов на реях "Пика". Адмирал сначала ответил, что русские матросы являются его пленниками, а после вторичной просьбы прислал офицера с приказанием перевести русских на "Форт".

Никольсон не верил в магическую силу патриотических призывов, в спасительность королевского флага. Нужно было придумать что-нибудь посильнее и вместе с тем попроще. Четыре русских матроса, висящие на реях, поумерили бы пыл защитников порта и придали бы парням на фрегатах гораздо больше уверенности, чем голубые с белыми крестами флаги или боевое знамя Гибралтарского полка с внушительной надписью: "Per mare, per terram!"*

* "По морю и по суше!" В шестом часу Кошечная батарея умолкла. Пауза длилась дольше обыкновенного, и на фрегатах ликовали, считая батарею разгромленной. Но как только "Пик" подался вперед, залп пяти пушек заставил его отступить с двумя пробоинами в корпусе. Батарея жила. Истерзанная, она поднималась навстречу англичанам, словно окропленная живой водой.

Солнце опускалось к холмам за простором Авачинской губы. Неприятельские суда, различные несколько часов тому назад во всех подробностях, все больше превращались в силуэты, освещенные по кромке огнистыми лучами солнца. Среди хаоса разрушения двигались люди МаксUTOва, закоптелые до черноты.

- Седьмой нумер, пали!

- Девятый нумер, пали!

Пастухов не отрывал глаз от МаксUTOва, от изнуренных, но упрямых артиллеристов. Мичман забыл о катере, о пережитом волнении и радостном чувстве победы. Чего стоит его десятиминутная выдержка в сравнении с подвигом этих людей!

Около шести часов суда прекратили огонь и отошли.

Охватывая усталым взглядом тихий рейд, длинную тень Сигнальной горы в заливе, Завойко заканчивал письмо Юлии Егоровне. У дверей портовой канцелярии сдерживал коня вестовой.

"...Сегодня день был жаркий... В город падает много бомб, и многие не

разрываются. Не любят англичане и французы штыков, удалились от них..." Харитина испуганно смотрела, как исчезали за мысом корабли. Приближались сумерки. Зловещая тишина окутывала чужие корабли безмолвием могилы, укрывала холодным туманным саваном. По переднему фасу Сигнальной батареи расхаживал часовой, старый матрос Афанасий Харламов.

ВОЛКИ

I

Магуда, видно, не догнать.

Без провожатых Андронников давно запутался бы и сбился со следа. Собственно, достичь Тарьи нетрудно было бы и новому человеку - для этого достаточно держаться берега залива. Андронников же не раз бывал в Тарье, знал многих камчадалов, живших на пути, у Паратунских горячих ключей, у озер и стариц, густо заросших осокой и хвощом.

Но Магуду нельзя верить. Не для того ли он заговорил о Тарье, чтоб обмануть тойона? Он мог вернуться в окрестности Петропавловска, скрываясь в лесу и зарослях жимолости, дойти до озера Калахтырка и, держась русла реки Калахтырки, выйти к морю, на Дальний маяк или к мысу Лагерному, и поджидать здесь английские суда. Это было бы вполне логично. Тарья людный пункт с кирпичным заводом и рыбным промыслом в Сельдовой губе. Конечно, и через Тарью можно пройти к океану, к Бабушкину маяку или обрывистому мысу Станицкого, но здесь дорога к морю более длинная и трудная, чем по Калахтырке. Может быть, Магуд рассчитывает найти в Тарье шлюпку, достаточно прочную и устойчивую, чтобы на ней достичь неприятельской эскадры или, в случае необходимости, выйти из залива в открытое море, к Курильским островам? Может быть.

Теперь Андронников не доверял ни собственным умозаключениям, ни логическим доводам. При одном воспоминании о Магуде землемера начинало трясти, и он сознавал, что способен на грубейшие ошибки и просчеты. Нет, уж раз он решил преследовать зверя - а Магуд был для Ивана Архиповича бешеным, вырвавшимся из клетки зверем, - то нужно отыскать след и гнать его без усталости.

Камчадалы преследовали Магуду с безошибочностью прирожденных охотников. Беда в том, что американец опередил их на целую ночь и двигался быстрее, чем страдающий одышкой Андронников. Одни камчадалы со своей бесшумной, скользящей походкой, вероятно, догнали бы уже Магуду, но землемер не отпускал их вперед. Он сам должен схватить Магуду.

В травах, покрывших приозерные луга, камчадалы легко находили следы Магуда и его спутников. Примятые стебли, сломанный куст голубики, глянцевиые брусничные листья, втопанные вместе с буроватыми зреющими ягодами в землю, след, наполнившийся водой, на мягкой, болотистой почве, осыпавшийся под тяжестью сапога край овражка, сдвинутый с места камень, щепотка золы из трубки американца, клейкие коричневые комочки табачной жвачки рыжего - ничто не ускользало от глаз камчадалов.

Молодой камчадал с длинной жесткой шевелюрой и медно-красным, узким лицом шел, пригибаясь к земле, находя новые признаки недавнего присутствия Магуда, а бородатый камчадал в теплой куртке и рваном малахае одобрял его "находки" ворчливыми междометиями.

Так они двигались молча - впереди стройный и легкий, как молодой олень, следопыт, за ним камчадал в зимнем малахае, позади взъерошенный, возбужденный Андронников. Только во время коротких привалов завязывался разговор, который больше напоминал монолог в исполнении провинциального трагика. Как только они садились, встревоженные камчадалы, мысленно возвращаясь в Авачу, в дом тойона, вспоминали о Магуде и, недоуменно покачивая головами, говорили:

- Злой человек, стыда не имеет... Ай, Ай!

- Человек, говоришь ты? - Андронников срывался с места, будто он ждал этих слов. - Нет, брат, постой! Докажи прежде, что он человек! - властно требовал он у камчадала.

- Садись, дохтур, ногам покой нужен, - смущенно говорил камчадал. Как и многие его соплеменники, он считал Андронникова доктором.

- Не можешь? - сердился бородач. - Зачем же величаешь его так, оскорбляя людской род и высокое звание человека? Ты темный человек, грамоте не знаешь, а разве станешь травить псами таких же, как ты, людей, ломать им кости, подвешивать за ноги?

- Нет, дохтур, нет! - испуганно мотал головой камчадал.

- Ты бедный камчадал, веришь в бога, или в своего Кухту, или в шамана, я не знаю, но ты ищешь добра себе и людям...

- О-о-о! Кутха! - забормотал растерянно камчадал, не то напоминая о грозной силе древнего бога, не то осуждая самое упоминание его имени.

Такие разговоры возникали на каждом привале. Увлеченные выразительной жестикуляцией старика, камчадалы слушали его почтительно.

Они шли сквозь рощи нестройной, причудливой каменной березы, через овраги и узкие сухие русла, которыми была изрезана земля. Поднимаясь на холмы, Андронников видел залив, бархатный хребет Сигнальной горы и

неприятельскую эскадру, казавшуюся издали игрушечной.

Горькие мысли одолевали землемера. Пережитое потрясение вышибло его из житейской колеи. Мысли невольно возвращались к прошлому. Так ли он прожил жизнь? Не бежал ли от исполнения долга страха ради, не умея противостоять грубой силе, скудоумию и невежеству? Не загубил ли он в себе талант бегством от жизни? Конечно, загубил! В молодости, когда в голове зрели планы, сулившие добро России, нужно было бунтовать, бесстрашно идти до конца, какими бы пытками и духовной инквизицией ни грозили ему вельможи и сановные тупицы! Зачем он дал себя сломить? Зачем решимость пришла только теперь, когда он уже конченный для науки человек и имя его скажет любознательному петербуржцу так же мало, как стук копыт извозчицкой клячи по торцовой мостовой?

Заночевали в избе, построенной двадцать лет тому назад у Паратунского озера, в районе горячих ключей. Землемер с наслаждением погрузил свое утомленное тело в просторный бассейн, устроенный между двумя ключами, горячим и холодным. Он чувствовал, как расходуется тепло по телу, расплывается целительная бодрость и усталость целого дня сползает с него вместе с пылью и потом.

Преследование возобновили на рассвете. Утром со стороны залива пришли слабые отзвуки далекой канонады, - она не умолкала весь день, до самой встречи Андронникова с Магудом.

Они нашли их в лесу, на берегу Тарьинского залива, в двух верстах от селения. В Тарье Магуду не удалось достать шлюпки - они охранялись несколькими старыми матросами и нестроевыми сорок седьмого флотского экипажа. Жители сообщили, что американцы пришли в Тарью без провожатых, никто не видел с ними мальчика камчадала.

На берегу Тарьинского залива, в месте, наиболее удобном для причала, разложив большой костер, спали Магуд и рыжий матрос. Андронников шепотом приказал камчадалам изготовить ружья и, подойдя к Магуду, разбудил его ударом ноги.

- Вставайте, ваше скотинство! - крикнул он гневно.

Магуд и матрос вскочили на ноги и, увидев направленные на них ружья, подняли руки.

Андронников шагнул к Магуду и оказался между Магудом и молодым камчадалом. Едва последний успел крикнуть: "Дохтур!" - как Магуд выхватил нож, бросился на Андронникова.

Рыжий ринулся на камчадалов, которые опасались стрелять без приказа "дохтура". Андронников вскрикнул, схватился за живот и упал ничком на

траву, а Магуд большими прыжками, петляя от дерева к дереву, скрылся в лесу.

Камчадалы повалили матроса и бросились к Андронникову. Лицо "дохтура" было приплюснуто к земле, лохматая борода сплелась с травой. Один только глаз, закатившийся в смертной тоске и боли, жил на неподвижном косматом лице. Камчадалы положили землемера на спину.

- Подвел я вас, братцы, - жалобно сказал Андронников, собрав остаток сил.

- Дохтур! Дохтур! - причитал бородатый камчадал. - Что будем делать тут-ка, дохтур?

- Глядите... этого пса... - прохрипел Андронников.

Потускневшие глаза землемера смотрели укоризненно. II Военный совет на "Форте" проходил под стук плотницких топоров и скрежет пил. В иллюминатор кают-компания видны огни "Вираго". Глаз моряка по смещенным огням угадывает, что пароход сильно накренился.

Депуант приказал приступить к ремонту судов, не теряя ни часа. Лишняя чарка рому, выданная матросам к ужину, ободрила их, и они принялись за работу в надежде, что благоразумный адмирал прикажет ставить паруса и уходить.

Задельвались пробоины в бортах, крепился поврежденный рангоут, чинились станки, мостики, разрушенные ядрами. Тут работы станет на два-три дня, иначе нельзя показаться в приличном нейтральном порту. Ясно, что эскадра была в сражении и получила изрядную взбучку...

Феврие Депуант втайне надеялся, что и офицеры разделяют его желание поскорей убраться из этого проклятого залива.

Он рассчитывал на сильного союзника. Союзник лежал на диване адмиральской каюты "Президента" и восковой улыбкой предупреждал бывших подчиненных от легкомысленной заносчивости. Дэвис Прайс, Дэвис Прайс, хитрая же ты бестия!

А если англичане будут настаивать на высадке? Тогда он откровенно скажет Никольсону все, что думает о сегодняшних действиях англичан. Тогда церемонии в сторону, разговор примет крутой оборот. Он выложит им все, что давно следовало сказать еще Прайсу, этому расчетливому островитянину, полупатриоту и торгашу, который осмелился командовать им, Феврие Депутатом, героем и дворянином!

Как только начался совет, Депутат обнаружил свою ошибку. Никто из капитанов эскадры, не исключая и командиров "Форта", "Эвредика" и "Облигадо", не помышлял об уходе.

- Никто не заставит нас уйти раньше, чем русские капитулируют! заявил

вызывающе Никольсон. Настойчивый взгляд его блестящих глаз будто говорил, что менее всего способен изменить решение англичан контр-адмирал Депуант. - Мы предполагали, что Петропавловск сдастся при первых выстрелах, но русские призвали все свое мужество и продержались один день. Завтра мы принудим их выкинуть белый флаг.

- Для этого надобно действовать, - заметил раздраженно Депуант.

- Я вас не понимаю, господин контр-адмирал! - насторожился Никольсон.

Над головой раздаются удары молотка. Депуант вспоминает о гробе.

"Завтра похороны Прайса. Готов ли гроб? Еще доставало, чтобы этим занимались матросы "Форта"! А почему бы им не сделать этого? Делают же они гробы для мичмана и убитых матросов, можно и еще один... Но они погибли в бою, а этот... дезертир!"

- Вы считаете действия английских судов недостаточными? - наседал Никольсон, видя, что Депуант медлит с ответом.

- Недостаточными? - Депуант гневно засверкал глазами, потеряв всякое терпение. - Это слишком деликатно сказано, капитан! Вы действовали отвратительно... Действовали так, словно задались целью помешать моим матросам успешно провести десант.

Никольсон демонстративно встал.

- Адмирал! - уронил он угрожающе.

- Бомба, посланная с "Пика", стоила жизни нескольким французским матросам. - Рука адмирала уже продета за борт мундира. - Мои матросы и отважный мичман Тибурж, славный Тибурж, герой и сын Франции, пали на русской батарее. Но кто поручится, что в их тела вонзилась не бирмингемская сталь?

Никольсон продолжал нагло, вызывающе смотреть на Депуанта.

А стук молотков назойливо лез в уши. Он возвращал к действительности. Чинится ли фрегат, поврежденный русскими, сколачиваются ли гробы - все равно ничего приятного, ничего успокаивающего в этом нет. Взвизгнула пила, и зачастили глухие, как вздохи, удары топора.

- Я готов считать это ошибкой ваших артиллеристов. Трагической ошибкой!

Депуант явно апеллирует к Бурассэ, единственному участнику десанта. Лейтенант Лефебр повредил ногу при отступлении и потому не присутствует на совете. А Бурассэ, плотный, мрачный бретонец, как всегда, молчит. У него собачий прикус, длинные руки.

- Роковой ошибкой! - Адмирал все еще ищет поддержки у Бурассэ.

- Если бы не чертовщина с бомбами и ядрами, - подтвердил Бурассэ неуверенно, - мои мальчики обедали бы сегодня в Петропавловске.

- В продолжение всего дня я не получал достаточно ясных приказаний, возразил Никольсон. - Когда наши шлюпки приблизились к берегу, лейтенант Лефебр и вы, господин Бурассэ... увели матросов с батареи. Обратный путь вы проделали слишком стремительно.

Капитан "Эвредика" решил разрядить атмосферу. Воспользовавшись паузой, он сказал:

- Господа, кто из вас видел русского часового? Он спокойно расхаживал под градом штуцерных пуль. Со шлюпок по нему дали не менее ста выстрелов.

- Да, да! - подхватил Депуант, которому после упрека Никольсона в отсутствии ясных приказаний хотелось показать, что ни одна подробность боя не ускользнула от его взгляда. - Он уцелел, чего вполне заслуживает, несмотря на то, что он русский! Да-а, господа, - проговорил он с расчетливой серьезностью, - русские оказались сильнее, чем мы предполагали...

Депуант наблюдал, какое настроение вызывает у офицеров воспоминание о сегодняшнем сражении. Может быть, они, подумав о том, что борьба предстоит нелегкая, что русские упрямы и фанатичны, придут к более разумному выводу - сняться отсюда и уйти.

Но вот встает Барридж. Он редко берет слово. Болтовней делу не поможешь. Пусть болтают другие, у него по горло всяких дел. С Прайсом он по неделе ни о чем не заговаривал, ограничиваясь короткими фразами приветствия. Они и так понимали друг друга. Но теперь он скажет. Все, что происходит, похоже на уличное представление.

- О чем мы толкуем? - пожал плечами Барридж. Слова перекатываются у него в горле сухо, отчетливо, как горох по гладкой доске. - Что случилось? Мы уничтожили три батареи русских. Наши потери невелики. ("А Прайс! хочется крикнуть Депуанту. - Присчитай-ка и его!") Да, невелики, а оборона русских разрушена. Приведем в порядок суда, произведем высадку и наденем наручники на всех, кто бросает вызов британскому флагу.

- Вы забыли, капитан, что наручники можно пустить в ход, только находясь на земле. В продолжение сегодняшнего дня я не заметил у вас намерения свезти десант, атаковать русских, исполнить свой долг!

При этих словах Депуанта Никольсон, Барридж, Маршалл и Паркер даже привстали, готовые возражать, но адмирал остановил их гневным взглядом.

- Все ваши возражения здесь, в кают-компании, не имеют цены. Громкие речи, воинственные слова хороши после победы, на развалинах вражеских батарей, среди разбитых пушек и неубранных трупов. Здесь у нас декорация неподходящая. Ваши действия, господа, заслуживают самого решительного осуждения. Они были неловкими, трусливыми, - да, да, я не боюсь и столь

ужасного слова, так как дорожу истиной и жизнью матросов. Ваши фрегаты боялись высунуть нос из-за Сигнального мыса, они испугались "Авроры". Один раз - только один раз! - вам удалось метко выстрелить, и бомба легла в самую гущу моих матросов. Решительно все благоприятствовало высадке, нападению на "Аврору" и порт. Но вы медлили, капитан Никольсон, вы выжидали, вы не хотели рисковать. Пусть французы таскают каштаны из огня! Нет, французы не станут этого делать!

Но Никольсон уже вполне овладел собой и огрызнулся невозмутимо:

- В таком случае мы останемся здесь одни и о д н и захватим Петропавловск. Это замечание, оброненное бесстрастно, вскользь, оказалось для Депуанта столь внезапным, что он растерялся. "Может быть, - мелькнула у него мысль, - Никольсон, х о ч е т, чтобы я убирался отсюда? От него всего можно ожидать".

Никольсон захватил инициативу. Он говорил горячо, настойчиво. Депуантом овладело точно такое же тоскливое, сонное состояние, как и в те часы, когда Прайс склонял его к неприятным поступкам и он, еще возражая, знал, что не сможет настоять на своем. Французу даже показалось, что Прайс где-то здесь, в кают-компании, и поощряет Никольсона покачиванием головы. Депуант беспомощно огляделся.

Никольсон говорил о Петропавловске, но думал о том, что если бы от него зависело укомплектование флота офицерами, он знал бы, от кого следовало избавиться в первую очередь. Почему они держатся за флот, как клещи, впившиеся в собачью спину? В таком возрасте даже плешивые кассиры уходят на пенсию. Нерешительные, осторожные, угасшие люди! Вот оно, точное слово, - угасшие! Он оставил бы во флоте только тех, кто всегда помнит о благе Англии, кто не смог бы пройти мимо чужого порта, чужого склада, не подумав о том, как уничтожить его! Только тех, кто ненавидит Россию, огромную, непонятную страну, которая целое столетие угрожает Англии морским соперничеством. Только тех, кто понимает, что нужно постоянно держать в узде Францию и зорко смотреть за океан. Там слишком уж быстро растут Американские Штаты.

- Я мысленно обращаюсь к сэру Дэвису Прайсу, к его незапятнанной чести, - говорит Никольсон, мужественно сжимая кулаки. - Что сказал бы он? О! Сэр Дэвис Прайс, конечно, приказал бы: "На штурм!" Вы сказали, господин контр-адмирал, что большая батарея русских умолкла, приглашая нас к высадке? Нет, к чести русских, она не умолкла. Тем больше у нас оснований заставить ее замолчать. Мы не потеряли ни одного корабля, потери убитыми и ранеными столь ничтожны... (Разумеется, мы склоняем головы перед прахом

отважного Тибуржа и французских матросов, - Никольсон небрежно преклонил голову.) ...столь незначительны, что о них не приходится и говорить. Необходима высадка, дерзкая, подавляющая искусством стрелков и числом ружей. Нужны энергичные и устрашающие русских меры. Я предлагаю...

- Хорошо, - остановил его Депуант, - я подумаю, господа.

На палубу, вероятно, упало бревно, выскользнув из рук матросов. Грохот потряс кают-компанию. Депуант опасливо посмотрел на потолок, с ненавистью думая о Никольсоне, который вчера еще издевался над Прайсом, обвинял его в самоубийстве, а теперь болтает о незапятнанной чести контр-адмирала! "Прайс мертв, - твердил себе Депуант, - и Никольсон хочет приписать одному себе славу победителя Петропавловска. И это после того, как пролилась не английская, а французская кровь!"

- Не будем принимать поспешных решений, - заключил адмирал. Надеюсь, что наши друзья поняли всю... э-э-э-э... нерешительность своих действий. Именно нерешительность.

Бурассэ отвернулся от бурого извиняющегося личика Депуанта.

"Вот и выдохся, старикашка..."

А Депуант торопился, чтобы не вспыхнул вновь неприятный спор.

- Завтра мы предадим земле прах высокочтимого сэра Дэвиса Прайса, мичмана Тибуржа и матросов, - говорил он. - Может быть, в минуты скорби, над свежей могилой соотечественников, нас осенит истина и мы примем самое благоразумное решение. До завтра, господа!

Сапоги Никольсона громко простучали по трапу, замолкли уже и голоса англичан, а контр-адмиралу все еще кажется, что Никольсон меряет размашистым шагом палубу "Форта".

Феврие Депуант вышел на палубу, к сетке, откуда видны огоньки Петропавловска. Дряблое тело пронизывал непривычный холод. Быстро стыли руки и ноги. На разрушенных батареях мелькали огни. Русские восстанавливали оборону.

- Холодно, - пробурчал Депуант, проходя мимо Бурассэ.

- Прохладно, - подтвердил капитан "Форта". - Пленный квартирмейстер сказал, что ночью можно ожидать заморозка.

- Кстати, Бурассэ, - Депуант остановился, - пленного, у которого жена и дети, вместе с семьей свезите на берег. Я напишу записку губернатору. Помедлив, он проговорил: - Никольсон собирается устроить русских, я поражу их благородством, размягчу фанатическое упорство. С двух концов, с двух концов, Бурассэ. Попробую слегка улыбнуться им. А? Как вы полагаете?

Депуант не расслышал слов Бурассэ. Но он и не ждал ответа. III 21 августа 1854 года Друг мой единственный, Алексей Григорьевич!..

Пишу Вам без надежды на скорую оказию, - не до того теперь здесь. Жизнь повернула к нам свое устрашающее лицо, и бедный Петропавловский порт переживает такое, что не могло привидеться и самой пылкой фантазии.

Может статься, что это письмо дойдет до Вас позднее, чем рапорты о происходящих сражениях, или вовсе не придет, если воинов наших и оборонительных средств окажется недостаточно против столь сильного неприятеля... Но молчать не могу.

Не знаю, что станет завтра, и страшно помыслить о новых жертвах, но думаю только одно: если англичанин и взойдет в Петропавловск, то не прежде, чем умрут все его защитники. Живым никто не дастся. Вчера еще я и думать боялась, каковы-то будут под неприятельским огнем простые мои знакомые. Но они вовсе не переменились, та же обыкновенность во всем, - и какое при этом бесстрашие и упорство!

Тем горше мне мысль, что одна я не в силах ничем им помочь.

Человеческая память презабывчива. Забудутся страдания, боль, даже кровь ближних. Но забудутся ли трусость, позор, бездействие в такой час? Не знаю, думаю, что нет, никогда не забудутся!

Город пока не загорелся, хоть он из дерева и крыши его крыты травой. Отец говорит, что ревностное исполнение местными жителями поста и молитвы спасают население, неприятель тщетно борется с промыслом божьим (верно, это со слов священника нашего Логинова). Знаю хорошо, что поста никто здесь не исполняет, кроме неимущих, коим часто приходится поститься и без помощи англичан.

Неприятель еще ничем, кроме обстрела мирных домов, не показал своей жестокости, да и как показать, если на берег не пускают. Зато североамериканец, в морском просторечии янк, по имени Магуд, выказал себя с такой стороны, что этого и не напишешь в письме. Если подобных ему много в той стороне, откуда он явился, то что за ужас всем соседним племенам и народам! Но нет, не верю. Такие и у несчастных народов в меньшинстве.

На "Авроре" праздник, несмотря на такое время, - сегодня ровно год, как они покинули Кронштадт.

Завтра еще поговорю с Вами, а пока прощайте, мой далекий, бесценный друг! IV Восстановительные работы начались еще с вечера, как только отошел неприятель. Двадцать первого утром командиры доложили об исправлениях, произведенных на батареях. Ночью произвели выстрелы стапином* с дульной

части заклепанных орудий, и пороховые газы выбили ерши из запалов, благо ерши из мягких гвоздей. Восемь орудий Сигнальной и Кладбищенской батарей снова могли поражать неприятеля.

* Жгуты из хлопчатобумажных ниток, пропитанных спиртом и высушенных. Употреблялись для зажигания фугасов и при фейерверках. По городу и в порту слонялись возбужденные жители. Они разглядывали воронки, поднимали с земли чугунные ядра и неразорвавшиеся бомбы, шагами измеряли расстояние от места падения снарядов до бревенчатых стен.

- Почему вы не стреляли калеными ядрами? - спросил Арбузов у Дмитрия МаксUTOва, встретив его на палубе "Авроры".

Дмитрий удивленно взглянул на него. Уж не смеется ли капитан над ним? Все знают, что прислуга не была обучена стрельбе калеными ядрами. Печи все сражение простояли холодными.

- Странное вы предлагаете, - уклончиво ответил он. - Вы видели, что я должен был стрелять рикошетами!

- Ну и что же?

- Ядра-то от всплесков охлаждаются...

И Дмитрий принужденно перевел разговор на другое.

Об Арбузове вспомнил сам Завойко. Зашла речь об офицерах, способных принять команду над стрелковыми партиями, если неприятель предпримет большой десант. Решили вернуть Арбузова к сибирским стрелкам, - нужно только, чтобы кто-нибудь из офицеров посоветовал ему обратиться с письмом к Завойко. Это необходимо для поддержания дисциплины.

Александра МаксUTOва перевели на Перешеечную батарею.

- Скорей всего второй удар будет нанесен со стороны полуострова, предположил Изыльметьев, - рекогносцировка была произведена еще вчера. Александр Петрович будет полезнее на батарее, чем в стрелковой партии. По знаниям он не уступает Дмитрию Петровичу.

Итак, Попов - в Красном Яру, Дмитрий МаксUTOв - на большой батарее. На Сигнальной горе - Гаврилов, он хромает, но потребовал вернуть его на батарею. ("Нога не помеха, - настаивал Гаврилов. - Мне не кадриль плясать, на камешек обопрусь и выстою".) Дальше на север - Александр МаксUTOв, Коралов, Гезехус... А в бухте - "Аврора", стрелковые партии, местное ополчение и камчадалы. Когда выяснятся намерения англичан, на отражение неприятеля могут быть брошены команды с батарей, которые окажутся вне боя.

День был полон неожиданностей. Наблюдатели сообщили, что бот и

несколько катеров отделились от эскадры и направились к Тарьинской бухте. Через короткое время в заливе появилась гребная шестерка, она медленно приближалась к Сигнальному мысу. Петропавловцы признали в ней свою шлюпку, захваченную вместе с плашкоутом. В шестерке оказался Усов с женой и детьми, - он не помнил себя от радости и все опасался, что неприятель, передумав, откроет по шлюпке огонь.

Губарев встретил Усова у самого причала. Отвел его в сторону и спросил угрожающе строго:

- Фрегатские небось изменили? Предались врагу?

- Никак нет, ваше благородие! - радостно отчеканил Усов.

- Ну-у! Ты! - подался к нему полицмейстер. - А рябой каторжник?

Усов покачал головой.

- А ты скажешь: предался! - прохрипел Губарев в самое ухо квартирмейстера.

- Слышишь... Надо так. - Он добавил почти шепотом: - Не то генерал шкуру с тебя спустит. И я не пощажу. А матрос чужой, каторжник, ему все одно петля. Бабе своей накажи, - торопливо закончил полицмейстер, заметив бегущего к причалу адъютанта Завойко Лопухова.

Завойко читал письмо Депуанта, а Усов с виноватым видом стоял посреди канцелярии, чувствуя не себе общие взгляды.

- Удивительное джентльменство! - промолвил Завойко, протягивая письмо офицерам. - Прочтите. - "Господин Губернатор! - прочел Тироль вслух, расправив листок на ладони. - Случайностью войны досталось мне русское семейство. Имею честь отослать его к вам обратно. Примите, господин Губернатор, уверение в моем высоком почтении. Феврие Депуант". - Какое благородство!

Завойко неодобрительно покосился на Тироля и заметил:

- Расчет, милостивый государь, один расчет.

- Не понимаю, Василий Степанович, - сказал Тироль, - какой уж тут расчет, один убыток!

- Это материя тонкая, до людской психологии относящаяся. Расчет каков? Авось расчувствуемся и черное за белое примем! Совершенно во французском духе... - Завойко взял письмо из рук Тироля и повернулся к Усову. - Где матросы?

- На "Форте".

- Живы?

- Одного искалечили, не знаю, выживет ли. Бунтовал...

- Удалой? - живо спросил Вильчковский.

Усов с тревогой посмотрел в покрасневшее, напряженное лицо

полицмейстера, понурил голову и твердо сказал:

- Он.

Глаза Завойко и Изыльметьева встретились, и Василий Степанович почувствовал, что в эту минуту капитан "Авроры" гордится своим матросом. "А ведь явился он теперь, пожалуй, можно бы и помиловать..." - пронеслось в голове Завойко. Он покосился на Тироля, но лицо помощника капитана было непроницаемо.

- Бунтовал? - Завойко смерил придирчивым взглядом бравую фигуру квартирмейстера. - А ты что же, глазки делал?

- Как можно-с! - обиженно ответил Усов и как-то поник, продолжая с хрипотцой: - Мы своего звания не опозорили!

- Ну-ка, похвались!

Усов угрюмо протянул вперед руки - на них ниже кистей багровели полосы.

- Вязали?

- В железа взяли... Узки больно, им наша кость в новинку.

- Как дети? - спросил все еще строго Завойко.

- А чего им станется...

Казалось, Усов сердится на жену и на детей за то, что их маленькие, штатские жизни так некстати вплелись в дело государственной важности.

- Эх ты, Усач! - Завойко погрозил пальцем растерянному квартирмейстеру.

- Я ж от всей души. Кабы знали вы... - он с горечью поник.

- Что, покупали? Сулили золотые горы? - спросил Завойко. - Лестно им русского человека купить!

- Ле-естно...

- А не купишь!

- Не купишь, - живо подхватил Усов. - Уж как просили! В службу звали. Денег обещали, выгод всяких. Мундиры на них кра-а-сивые!..

- Красивее наших?

- Не то чтобы красивше... - Усов замялся. - Но хорошие. Особливо офицерские: параду много!

- Чего-чего?

- Параду, блеску много... - Усов запнулся, замолчал, вспоминая недавнее, и веско заключил: - А против наших людей не устоят. И не мелки, особливо англичане, а крепость не та.

- Жарко там было вчера? - спросил Изыльметьев.

- Жарко! На "Форте" одних убитых, почитай, десятка два матросов. А английский адмирал третьего дни застрелился...

- Как - застрелился? - переспросил Изыльметьев.

- Нечаемо... Сказывали - без умыслу.

- Вот так так... - проговорил Изыльметьев возбужденно. - Третьего дня? Так, так... А флаг адмиральский не спускают. Значит, сам в нору, а флаг в гору? - Он схватил Усова за рукав. - Да точно ли адмирал умер?

- Так точно. Сегодня в Тарье хоронят.

- Вот для чего нынче гребная флотилия в Тарью пошла, - проговорил, усмехаясь, Завойко. - Ну, этого нам не жалко, милости просим, на сие земли у нас хватит! Дома Усова ждала Харитина. Она долго изводила его расспросами.

- Отвяжись, девка! - вспыхнул вконец издерганный Усов. - Полынь-трава горькая.

- Совсем побили, говоришь? - тоскливо повторяла Харитина и заглядывала Усову в глаза. - А может, выживет, а? Он крепкий... Ничего не говорит?

- Стонет.

- Стонет?! - глаза девушки налились слезами. - Стонет... А как же вы?

В эту минуту Харитина ненавидела Усова.

- Что мы? - озлился он.

- Не оборонили, ироды! На глазах человека калечат... А вы... Харитина наступала на него.

- Командирша нашлась! - вышел из себя Усов. - Жив твой Семка, жив! Жив! Уходи, бесстыжая, тоже мне, артикул читает...

Девушка ушла из избы Усова, пришибленная бедой, не замечая людей, не ощущая приветливой ласки согретого солнцем августовского дня. Шла, спотыкаясь на крутых тропинках, крепко, до боли, прижимая руки к груди, как в то горестное утро, когда она торопилась в порт со свежим хлебом для Удалого.

У самой избы Харитину поджидал Никита Кочнев. Он низко поклонился, сняв картуз. На затылке курчавились тонкие светлые волосы.

- Шел мимо, дай, думаю, загляну ради праздничка, - напряженно проговорил он, не глядя на Харитину. - К Ивану Афанасьеву собрался...

От Никиты пахло винным духом, но Харитина так и потянулась к нему...

- Слыхал, Семена-то как? - сказала она.

- А что?

- В плену... Били его. Крепко били.

Никита стоял насупившись, смотрел, как текли слезы по белым щекам девушки, ожесточенно мял такую желанную, покорную ее руку.

- Судьба, значит, - проговорил он тихо. - Корабли вона где стоят... Ну как тут ему помочь? Не подойдешь, - сказал он, словно оправдываясь. Да и где

искать-то?

Харитина освободила руку и, уже не глядя на него, толкнула дверь. Никита мягко загородил дорогу.

- Пстой! - сказал он дрогнувшим голосом. - Пстой, беда моя! - Он взял ее за плечи. - Слышь, пстой! Нет Семена, нет дружка нашего... Я бы за него ворогов без счету положил, а, видишь, ушли, удалились, - улыбнулся он улыбкой, полной пьяной горечи, - может, и вовсе уйдут, что станешь делать?.. Океан дал, океан и взял. - Скрытая боль послышалась в словах Никиты. - Привиделся он тебе, молоканочка, привиделся... Не век же горевать...

- Никита, Никита... - ответила девушка сквозь слезы. - Разве ж его забудешь? Глупый ты, Никита! Хороший, а глупый... V Даже в дни затишья Завойко избегал возвращаться в свой опустевший дом. В порту ни на минуту не останавливалась работа. Продолжали прерванную приходом неприятеля разгрузку "Св. Магдалины", пополняли запасы пороха на батареях Дмитрия МаксUTOва, Гаврилова, Попова. С "Авроры" свозили на берег запасной рангоут, стеньги, которые не были использованы при сооружении заградительного бона. На гребных лодках в безветрии переводили "Ноубль" и мелкие каботажные суда под прикрытие Сигнальной горы, - по вчерашнему обстрелу города и порта стало очевидным, что на прежнем месте оставлять их опасно.

Завойко пригласил офицеров "Авроры" отобедать в его портовом кабинете, куда внесли два длинных некрашенных стола и собранные чуть ли не со всего управления стулья. Через открытые окна в комнату врывались голоса, скрип схода у пакгауза, пьяная немецкая песня, несшаяся из питейного заведения, и крики чаек. Коротка птичья память, - чайки уже бесечно носились над заливом; они то срывались вниз, готовые, казалось, вот-вот упасть на палубу "Авроры", то неслись понизу, едва не касаясь воды, и улетали за Сигнальную гору, туда, где в безмолвии стояли черные фрегаты.

Еще до начала обеда Пастухов доставил губернатору письмо Арбузова. Завойко веселыми глазами пробежал письмо, расхохотался и протянул его Изыльметьеву:

- Полюбуйтесь, каков!

"Оставляя в стороне оскорбленное чувство человека, - писал Арбузов, обращаюсь к Вам, господин губернатор, с предложением моих услуг. Может быть, это сколько-нибудь поправит дело обороны. Мне более двадцати раз приходилось бывать в делах с неприятелем. Из числа наличных офицеров едва ли кто-нибудь в состоянии заменить меня, за недостатком боевой

опытности..."

- Положительно неисправим! - буркнул Изыльметьев, прочитав записку.

Склонясь над столом, Завойко крупными буквами наложил на письме резолюцию:

"Издать приказ о вступлении капитана второго ранга Арбузова А. П. в командование партии сибирских стрелков с сего числа, 21 августа 1854 года".

Губернатор протянул Пастухову листки и, отыскав конверт, в котором было подано письмо, вернул его мичману.

- Вот, - сказал он. - Мы ждем его к обеду.

Но обед не состоялся. Под самые окна с грохотом подкатила телега, и Завойко, ждавший возвращения вестового с хутора, выглянув в окно, ужаснулся. На жердях, едва прикрытых сеном, лежал ногами к передку Андронников. Серая холстина сползла с лица. Щеки землемера запали, приоткрылись веки, и сквозь узкую щелку глядели с застывшей мукой зрачки.

Завойко, а за ним офицеры и чиновники поспешили на площадь, куда отовсюду стекался народ. От телеги уже тянуло тленом. Завойко нагнулся над покойником, потом кинулся к тойону и впился в него сверлящим взглядом.

Седобородый старик беспомощно развел руками.

- Убит, ваше превосходительство, - сказал он тихо. - И сына мой пропал, пропал...

- Кто убил? - Среди глубокого безмолвия вопрос Завойко прозвучал громко, исступленно.

Старик обернулся к задку телеги. Там жался маленький рыжий матрос, тоскливо поглядывая то на толпу, то на суда в заливе.

- Американ, - сказал тойон. - Большой американ.

Завойко бросился к рыжему, с неожиданной силой схватил его за ворот рубахи, потряхнул так, что матрос упал, ударившись лицом о кованый обод колеса.

- Подпоручик Губарев, - приказал Завойко, отвернувшись от рыжего и все еще тяжело дыша, - завтра на плацу наказать плетьюми... - На мгновение он запнулся, думая, сколько назначить ударов, потом резко взмахнул рукой. - Нечего ему землю поганить. Хватит! Где Магуд? - повернулся Завойко к тойону.

- Ушел...

В Завойко все так и клокотало.

- Как же вы выпустили его живым?! - гневно воскликнул он и подошел к телу

Андронникова.

Сунув в чьи-то руки свою фуражку, он наклонился и поцеловал большой лоб землемера. Губы ощутили недобрую прохладу безгласного, недвижимого тела.

- Светлый, нужный был человек, - сказал негромко Завойко и глубоко вздохнул. - Еретик! Мало веры и много любви. Да-с...

Многие вернулись в комнату вслед за ним.

В ожидании Чэзза Завойко предавался воспоминаниям, говорил об Андронникове, которого мало знали приезжие офицеры, и о первом своем посещении Америки почти двадцать лет назад. Он стоял опершись на спинку кресла, чуть раскачиваясь в горьком раздумье.

- Пират! Черный, лесной человек, - говорил он о Магуде. - Двадцать лет назад я впервые пристал к берегам Америки. Можете себе представить, господа, сколь долгожданным был для меня новый берег, о котором слыхано столько чудес! Америка! Давид, поразивший британского Голиафа! В первую же нашу стоянку в Рио-де-Жанейро мы увидели три американских брига с черными рабами. Да, довелось и мне лично узреть это зверство человеческое, господа! - Завойко, глядя перед собой, взволнованно провел рукой по волнистым волосам. - До пятисот рабов на маленьком бриге! Я сам не хотел прежде верить, чтобы строгость всеобщего закона, запрещающего торговлю людьми, и дух века были так презираемы теми, кто имеет капиталы. Несчастных продавали с аукционного торга на двенадцать лет в неволю, с тем чтобы после им стать уже свободными людьми. - Завойко саркастически улыбнулся: - Как он найдет свободу даже и после этого срока? Никак и никогда! Я был еще тогда наивным юнцом, мне хотелось броситься на преступные бригаи и крикнуть бессердечным спекуляторам: "Разве работник лошадь, на которой вы пашете, возите воду, ездите в церковь? Разве он ваша личная собственность, которую вы можете терзать по своему произволу?"

Тироль усмехнулся, чуть скривив тонкие, бескровные губы, и сказал с легкой укоризной:

- Не слишком ли горячо-с, ваше превосходительство?! Поверите, вчуже страшно стало... Уж не посоветуете ли мне отпустить мужиков на все четыре стороны? - Тироль рассмеялся, но, заметив недовольное выражение лица Завойко, добавил с улыбкой: Помилуйте-с, этак мы благородных дворян по миру пустим...

- Нынче, - сухо оборвал его Завойко, - к чести нашей, в России едва ли не все сословия ощущают... - он запнулся, подбирая подходящее слово, ...всё неудобство крепостного состояния...

Он повел было речь о нравах в портовых городах Америки, но дверь

осторожно открылась и в кабинет, пропустив вперед Губарева, робко, бочком вошел Чэзз. Завойко бросил взгляд в его сторону, помолчал какое-то время и спокойно приблизился к Чэззу.

- Ну-с, поручитель! - проговорил губернатор с пугающим спокойствием.

Обрюзгшее, помятое лицо купца было неприятно, веки с мелкими прожилками вздрагивали. Зловещее спокойствие губернатора, хмурые лица офицеров - все это страшило его. Он открыл было рот, но Завойко перебил его:

- Уж не вздумал ли и ты бежать?

- Что вы, ваше превосходительство! - пролепетал Чэзз. - Я... заломил он в отчаянии руки.

- Будет! - гневно прервал его губернатор. - Будет тебе шута ломать! И, пронизывая купца ледяным взглядом, сказал: - Магуд убил Андронникова и бежал. Понимаешь? Бежал... Куда?

Чэзз упал на колени. Руки купца потянулись к Завойко.

Губернатор брезгливо подался назад.

- Губарев! Убери его! Головой ответишь! - И, взглянув на протянутые руки Чэзза, приказал: - Взять в железа, а там поглядим!..

Скользнув глазами по лицам офицеров, подошел к накрытому столу и, когда затихли шаркающие шаги Чэзза, сказал почти конфузливо:

- Ну вот и отобедали, господа! VI Никольсон обставил похороны Прайса со всей возможной при военных обстоятельствах торжественностью. Ритуал похорон должен был напомнить матросам о всемогуществе британского флота.

Вслед за шлюпками к Тарьинской бухте подтянулись суда эскадры. На берегу приготовились к погребению адмирала. Но прежде нужно было похоронить убитых матросов. В складке между двумя холмами их торопливо забросали землей. Тут же предали земле бранные останки мичмана Тибуржа. Прозвучали скромные ружейные залпы.

И только после этого Никольсон ступил на берег с отборной командой матросов "Президента". На их плечах мерно колыхался гроб.

Так вот она, русская земля, повергшая в прах старого адмирала! Непокорная и загадочная земля! Никольсон ступает по ней нарочито тяжело, печатая шаг, как будто утверждаясь на этой земле, вопреки вчерашнему поражению. На прибрежном песке отпечатываются глубокие следы его сапог.

Следов множество. Сюда съезжают матросы, рывшие могилы, музыканты, офицеры... Точно так будет выглядеть берег у Петропавловска, когда англичане пойдут на решающий штурм. Всю землю покроют следы

матросских сапог.

Будет так!

Обыкновенная, ничем не примечательная земля! Угрюмо встречают волну морщинистые скалы. Они словно укрыты огромной медвежьей шкурой: цепкий кустарник, мох, низкорослый пихтач и каменная береза образуют этот щетинистый покров. На отмелях - тусклое мерцание дресвы, плоские светлые камни, валуны, тронутые серо-зеленым мхом.

"Ничего особенного! - думает Никольсон. - Тишина, нарушаемая только птицами. Пугливое вздрагивание березовых листьев. Сколько раз высаживался британский солдат на чужие берега - они шумели широкой листвой пальм, отгораживались от пришельцев стеной джунглей, могучими кедрами, эвкалиптами, суровыми хребтами, таившими несметные богатства, - и не было земли, которая не принесла бы дань покорности Британии!

Так было в Индии, в Океании, на земле кафров, бушменов, в Бирме, на всех континентах мира. Так было в Китае, который дерзнул отказаться от торговых услуг ее величества королевы английской, от опиума из лучших сортов индийского мака! Так будет и здесь, на суровой русской земле. Ничего особенного в ней нет, в этой земле, которой уstraшилcя Прайс, старик, выживший из ума..."

Под ногами сухо потрескивают сучья, выскальзывают, словно разбегаюсь в страхе, скрипучие кругляши, шуршит песок, и покоряются человеку цепкие, упругие ветви кедрового стланика.

Земля осыпалась под ногами матросов, несших гроб. В душе они проклинали адмирала. Дубовый гроб, жилистое тело адмирала, тяжелый парадный мундир, золото погон и нарукавных нашивок, адмиральская шпага трудная ноша для людей, которым приходится брести в гору, по неровной, сыпучей земле.

Никольсон слышал учащенное, с присвистом дыхание Депуанта. В белых панталонах и синем мундире на ярко-красной подкладке, пунцовый от напряжения, Депуант напоминал попугая.

Он легко подтолкнул Никольсона локтем и, скосив глаза, посмотрел в небо.

- Смотрите, они уже улетают!

Крикливые гуси, быстрые казарки, связы и клоктуши собираются в стаи, поднимают оживленный гомон на открытых холмах, волнуются в заливе, на озерах. Начинался отлет птиц на юг.

Черные суда в Тарьинском заливе, сине-красные мундиры и высокие фуражки французских артиллеристов с султанами над козырьком, красные и белые рубахи матросов - все это беспокоит птиц, привыкших проводить свои

предотлетные советы в патриархальной тишине.

- Улетают! - повторил Депуант со вздохом зависти.

Мелькнул в памяти далекий, недостижимый берег Нормандии.

- Ничего, господин контр-адмирал, - сказал Никольсон, - я обещаю вам хорошую охоту. Тут должна быть и лесная зимующая птица: глухари, рябчики, куропатки. Еще пригодятся наши штуцеры...

Капитаны судов дружно работали лопатами, заваливая могилу Прайса комьями земли.

На судах скрестили реи, отдавая последнюю дань покойному адмиралу. Раздались орудийные залпы. Вспугнутые птицы поднялись в безоблачное небо и устремились на юг, на лету перестраиваясь для трудного, далекого путешествия.

Офицеры и матросы поспешно покидали берег. Ни у кого не было желания задерживаться здесь, хотя впервые после Гонолулу матросы чувствовали под ногами твердую почву. Тревожило безлюдье, столь странное после вчерашнего боя, настороженный строй деревьев, рассыпанных по холмам, как солдаты в цепи, дыхание густого, непроницаемого кустарника. Никольсон тоже покинул берег с чувством облегчения.

На широкой отмели остался один катер.

У могилы Прайса еще возились матросы. Они украшали могильный холм дерном и вырезали в коре высокой березы, в тени которой лежал Прайс, две буквы "Д. П." - Дэвис Прайс.

Дерево было старое, неподатливое, оно пустило тело Прайса в землю после отчаянного сопротивления: пришлось топорами разрубать его узловатые, крепкие корни. Магуд слышал ружейные залпы, но не знал, что они означают. Все еще испуганный появлением Андронникова и камчадалов, он опасался погони и прятался в оврагах Сельдовой бухты, постепенно отдаляясь от берега. Звук ружейных салютов дошел до него слишком глухо. Трудно определить, стреляют ли из штуцеров или старых кремневых ружей, переделанных камчатскими мастерами в ударные. А может быть, это расстреливали рыжего матроса?

Но когда неподалеку прогрехотала большая пушка "Вираго", а затем залпы судовой артиллерии, Магуд сообразил, что английская эскадра близко. Не могли же, в самом деле, батареи Петропавловска переместиться в Тарью.

Магуд выбрался на возвышенность и вскарабкался на березу, с которой поверх кустарника и мелколосья открывалась часть Тарьинской бухты. Желанные английские суда! Ради них он проделал такой опасный путь, и вот они рядом, в получасе ходьбы, если идти быстро.

И он не пошел, а побежал. По скрещенным реям и размеренным залпам Магуд понял, что суда пришли сюда воздать кому-то воинские почести, и испугался, что они уйдут прежде, чем ему удастся добежать до берега. Он продирался сквозь заросли можжевельника и колючей жимолости, оставляя в них клочья одежды, падал в скрытые травой овраги.

Последняя группа матросов закончила работу и спускалась к воде. Могила осталась наверху. Матрос, вырезавший инициалы Прайса, остановился и окинул веселым взглядом место погребения.

- Ничего, - заметил он удовлетворенно, - место хорошее. - И подмигнул товарищам: - Летом полежать можно.

- А зимой? - спросил кто-то, и все вдруг впервые после высадки на берег рассмеялись.

- Вспомните мое слово, ребята, - сказал щекастый, кривоногий боцман "Президента", - в этом чертовом месте адмиралу еще поставят памятник. Привезут за десять тысяч миль каменную махину со всякими штучками и надписью, от которой ученому впору прослезиться, и поставят.

- Как же! Жди! - ответил веселый матрос. Он крепко выругался. - Как бы еще не вырыли нашего и не сбросили в какую-нибудь яму за кладбищенской оградой...

- За что?

- Будто не знаешь! - подмигнул матрос.

Сдвинули катер с отдели и тихо стали уходить от берега.

В эту минуту на скалах появился Магуд. Он с такой стремительностью сбежал вниз, что не смог остановиться и с громкой бранью ринулся по воде за катером.

Через несколько минут Магуд сидел в катере.

Для Никольсона Магуд оказался настоящей находкой. Штурман, проживший год в Петропавловске, представлял для капитана большой интерес, и поэтому Никольсон старался не замечать того, что отталкивало от этого точно с луны свалившегося человека. Он даже прощал Магуду развязность в обращении, за которую в другое время, как говорил капитан "Пика", "собаке штурману влетело бы здорово!". Фредерик Никольсон не без интереса изучал Магуда.

Янки трудно говорить, это заметно. Слишком скуден запас слов у парня. Но это не беда.

В конце концов, они и без того отлично понимают друг друга. Слава богу, четвертый час толкуют. Не с луны же, в самом деле, свалился этот щетинистый парень с бакенбардами, торчащими как у рыси, с пухлыми, плотоядными губами! От него разит потом, ромом, табаком - что ж, это

запахи, знакомые каждому, кто бывал в портовых кабаках.

Главное, Магуд - живое подтверждение политической теории Никольсона. Нация должна делиться на две части: аристократы духа - и сильное, жизнеспособное, но слепое стадо. Люди, управляющие всем, и люди, делающие все.

Американец достал из кармана сложенный вчетверо намокший лист бумаги и осторожно расправил его. Это план порта и окружающих его батарей.

- А дорога достаточно широка? - переспросил Никольсон, показав на линию между Никольской горой и Култушным озером.

- Прекрасная дорога, капитан! Широкая дорога! - ответил Магуд, раскинув свои медвежьи лапы. - По такой дороге русским только и отправляться в ад.

Подробно расспросив Магуда о расположении батарей, о численности сил и оборонительных средствах порта, Никольсон представил его Депуанту.

- Кто защищает порт, кроме экипажа "Авроры"? - спросил адмирал, которому Магуд не понравился с первого взгляда.

- Старики, инвалиды, чиновники. Еще приехали стрелки из Сибири на транспорте "Двина"... Триста казаков. Дикий народ...

- Позвольте! - Депуант обрадовался, уличив Магуда во лжи. - Как же это, из Сибири на транспорте? По Сибири, насколько мне известно, можно ездить на лошадях, на собаках, на телегах...

- А эти прикатили на транспорте, хозяин, - упрямо возразил Магуд.

- Что-то ты путаешь, штурман, - насторожился Никольсон. - Из Амура в море не выйдешь, а других судоходных рек тут нет.

- Значит, нашлись, - отрубил Магуд.

Депуант поинтересовался:

- В Петропавловске никто не сочувствует нам?

Магуд задумался.

- Есть один уважительный человек. Почтмейстер. Тут не все в порядке, - он постучал по лбу согнутым пальцем. - Еще есть купец Чэзз. У него богатая лавка, много провианта. Он поможет.

- А туземцы? - спросил Депуант.

- Что вы, хозяин! - Магуд расхохотался. - От них ничего не ждите!

Магуд устал от продолжительного допроса. По требованию Депуанта он набросал обстоятельный план Петропавловска, нанес на него довольно точно расположение батарей, сведения о численности сил и важные подробности о дороге и озерном дефиле.

Но и это показалось Депуанту недостаточным.

- Я не доверяю этому бродяге, - сказал он, оставшись наедине с

Никольсоном. Никольсон нетерпеливо поморщился. - Да-с! Но страну знает. Многое совпадает с нашими наблюдениями. Сведите-ка его с пленными русскими, попробуйте добиться от них чего-нибудь. Покажите им этот план. Вскоре пленных вернули на "Пик".

Никольсон остановил свое внимание на степенном и, казалось, подавленном событиями Зыбине.

- Посмотри-ка, дружок, карту, - обратился он через переводчика. Верно ли, что эта дорога удобна для десанта?

- Отчего не поглядеть, - согласился Зыбин. - Ну-ка, дай мне ландкарт!

Матрос долго вертел в руках листок с чертежом Магуда.

- Не знаю, - сказал он наконец. - Не по-нашему тут писано.

- Верно ли, что между горой и озером лежит широкая, удобная дорога? уточнил Никольсон.

- В порту, что ли? - озабоченно поглядел на него Зыбин.

- В Петропавловске, - подтвердил переводчик.

- И-и-и, этого мы вовсе не знаем...

- Как так?

- Мы люди морские, здешних мест не знаем.

- Должны знать, - повторил переводчик слова Никольсона.

- А как же нам знать, коли привезли нас сюда в скорбуге! Мы здешнюю землю только в гошпитальное оконце видели.

- Лжешь, старый!

- Грех в мои-то лета врать. Мы с "Авроры". Еще в Калья бок о бок с их блистательством стояли, - простодушно улыбнулся Зыбин.

Ужимки матроса не обманули Никольсона. Он пустил в ход тяжелые сапоги.

- Бей, бей, барин! - злобно приговаривал Зыбин, руки которого были схвачены наручниками. - Хоть кнутами бей! Кнут не архангел, души не выймет, а правду скажет. Задохнешься ты нашей правдой!

Ехлаков тоже отпирался и отвечал на все вопросы упорным движением головы. Кулаки англичанина отскакивали от его постепенно темневших, отливавших красной медью скул.

- Азиат! - орал Никольсон, взбешенный упорством русских. - Татарин! Будешь у меня болтаться на рее!

Дошла очередь и до Киселева, старого матроса, доживавшего свой век в Петропавловске, в собственной избе, с женой камчадалкой. Киселев знает окрестности Петропавловска как свою избу, не раз видел в порту Магуда.

- Не могу знать! - ответил вполголоса Киселев и почувствовал облегчение оттого, что слово уже сказано и теперь он будет упрямо стоять на своем.

- Ах ты, шелудивый пес! - Магуд подскочил к Киселеву и сгреб в кулак его седой ус. - Кому же знать, как не тебе!

Магуд нанес старику удар в подбородок. Мир покачнулся. Воды залива взметнулись, встали холодной голубой стеной, а затем стена рухнула и глазам открылась дорога.

...Белая, усыпанная толченым известняком, схваченная дождями и зноем дорога у Никольской горы. Плотная лунная дорога, мерцавшая даже в беззвездные ночи.

Глаза Киселева были закрыты, но он ясно видел перед собой эту дорогу, ее ленивый, вольный изгиб, ее озорную игру с зеленой Николкой: то подойдет совсем близко, прильнет к мшистым скалам, то отбежит на много сажень, и вьется и манит белизной.

Новый удар потряс матроса.

Дорога разбилась на тысячи кусков, и каждый рассыпался пучком жарких искр, беснующихся, обжигающих мозг.

- Не ты ли всегда торчал на посту у арсенала? - закричал Магуд.

...Многие годы стоял он на часах у порохового погреба. В январскую пургу, когда снег заметает избы до самых крыш, и в теплые летние ночи. Как хорошо здесь летом! За Николкой прохладно дышит залив, огромный, как море. Гул шагов по сухой, звонкой дороге издали извещает часового о путнике. Его не нужно бояться, думать, что он подкрадется к пороховому погребу и отнимет у старого матроса кремневое ружье. Тепло человеку среди своих!

От сильного толчка Киселев упал на колени. Он выплюнул кровь на светлые доски палубы и еще раз прохрипел:

- Не могу знать...

Зеркальная поверхность Култушного озера завертелась перед его глазами... Затем озеро исчезло, открыв полутемную избу и смуглое лицо пожилой камчадалки. Из-под длинных темных ресниц медленно ползут слезы, оставляя след на смуглом, нежном лице женщины, на котором старый матрос не замечает ни морщин, ни чересчур острых скул. Нежная, лучшая, как и каждая любящая женщина и мать...

- Не могу знать! - прошептал Киселев, сгибаясь и закрывая живот.

Удары падали тяжело, тупо. Киселев лежал на палубе - теперь было удобно бить сапогами.

Кровь хлынула из горла старого матроса, и он потерял сознание.

Когда Магуд оказался рядом с Удамым, тот плюнул в лицо удивленного американца. Магуд узнал своего старого противника. Гнев вернул Семену

энергию и живость.

- Что, узнал? - прохрипел Удалой, смотря на него воспаленными, страшными глазами. - Оботрись, кат! Никуда ты от меня не уйдешь до самой смерти.

Магуд бросился к Семену, но Никольсон остановил его. Простое убийство не входило в расчет капитана. Пленных следовало возвратить на французский фрегат - Депуант не отменял своего приказа.

- Полегче, хватит, - сказал Никольсон, перехватив руку Магуда. - От него ничего не добьешься, уж мы пробовали...

Хотя пленные ничего не сказали, старшие офицеры эскадры, одобренные сведениями Магуда о гарнизоне Петропавловска, настаивали на высадке. Даже осмотрительный и осторожный Ла Грандиер, капитан "Эвредика", считал, что высадка неминуемо должна быть успешной.

Феврие Депуант поддался общему подъему. Ему тоже показалось теперь все таким простым, осязаемым, достижимым. Остатки сомнений исчезли.

- Мы будем завтракать в Петропавловске, - воодушевился Депуант. Прошу вас позаботиться обо всем, захватить провизию, вино, одеяла, тюфяки, аптечки... Материалы для заклепки русских орудий...

- Будет нелишним захватить и наручники для пленных, - вставил Никольсон.

- Эта вещь часто совершенно необходима.

Высадка была назначена на 24 августа.

В ночь перед сражением Депуант обходил палубу и матросские помещения флагманского фрегата. В кубрике, при свете тусклого фонаря, Пьер Ландорс, только что отстояв вахту, писал письмо. Молодой матрос не сразу заметил адмирала.

Адмирал положил руку на плечо Ландорса.

- Что пишешь, дружок? - спросил он.

Пьер опустил руки по швам. Обычная его веселость, спугнутая адмиралом, возвращалась медленно.

- Письмо, мой адмирал!

- Кому, дружок?

- Матери. В Нанси.

Депуант взял из рук матроса начатый лист бумаги, перо и надписал в правом верхнем углу: "Петропавловск-на-Камчатке. В канун победы. 23.VIII.1854 г.".

Пьер прочел, его лицо расплылось в добродушной улыбке.

- Справедливо?

- Справедливо, мой адмирал. Только я однажды уже сделал такую надпись.

Когда нами еще командовал мичман Тибурж...

Адмирал насупился, раздумывая, как лучше объяснить матросу разницу

между боем 20 августа и завтрашним днем, который непременно принесет им победу.

Между тем Пьер Ландорс уже шарил в карманах в поисках неотправленного письма.

- Не нужно, - остановил его Депуант. - Напиши матери что-нибудь ободряющее.

- Я готовлю матушку к тому, чтобы она не очень удивилась, получив следующее письмо, написанное рукой моего товарища, - сказал Пьер, вполне совладав со смущением. - Пусть знает, что сын ее в раю и у него нет времени на такие пустяки, как письма в Нанси.

- Ты шутишь? Это хорошо. - Депуант потрепал Пьера по щеке. - Французы побеждают шутя, а если нужно, то и умирают с шуткой на устах!

Довольный собой, Депуант разгуливал по палубе.

Поднялся ветер. За сетками морщился пустынный залив, словно охваченный волнением перед неизбежным падением порта. Ветер принес с берега жалобный, скулящий звук, похожий не то на визжание ворота, не то на вой зверя...

"Плохо там, на берегу, - подумал адмирал. - Не хотел бы я быть на их месте".

Эскадра спала, но усиленная ночная вахта делала необходимые приготовления к высадке.

Все предвещало успех.

СЛАВНЫЙ КРАЙ

Если бы кто-нибудь заглянул в офицерские казармы вечером 23 августа, он не поверил бы, что на рейде в Авачинской губе все еще стоит неприятельская эскадра. Окна казарменных помещений были открыты, и хотя свет горел только в немногих окнах, отовсюду слышался людской говор, взрывы смеха, песни. Пела гитара под чьей-то умелой рукой.

В комнате братьев Максutowых, у самого изголовья койки Александра, колеблясь, потрескивала свеча, но углы комнаты были освещены слабо. Дмитрий с гитарой в руках сидел на подоконнике, опустив ногу на деревянную скамью. Он напевал вполголоса, пробуя струны и повторяя отдельные фразы песни: ...Долго я звонкие цепи носил,

Душно мне было в горах Акатуя... Дмитрий не пел, а говорил нараспев, с чувством: Старый товарищ бежать пособил:

Ожил я, волю ночуя... - Хорошо! - заметил сидящий на скамье Пастухов.

Александр бросил на пол старый номер "Северной пчелы" и проговорил лениво:

- Новая песня... Откуда?

Дмитрий не ответил. Его мягкий, бархатистый баритон тихо вел рассказ о беглеце... Таясь от горной стражи, беглец долго шел забайкальскими дебрями, переплывал на сосновом бревне реки и стремнины, а на берегу Байкала нашел омулевую бочку и, приспособив вместо паруса рваный армяк, отважно пустился в путь... Поплыл в Россию, а мог бы погулять и тут... Труса достанет и на судне вал, проговорил Дмитрий, стараясь схватить ускользающую мелодию, Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней было бы жить омулям.

Рыбки, утешьтесь моими словами:

Раз побывать в Акатуе бы вам

В бочку полезли бы сами!.. Александр громко зевнул. Он потянулся на постели, слышно, как хрустнули суставы.

- Неужели не нравится? - обиделся Дмитрий. - А меня волнует до чрезвычайности. Много поэзии и сильное, натуральное чувство. Скажешь строчку - и, кажется, все оживает вокруг тебя: Байкал, угрюмые горы, парус. Хоть рукой дотронься...

- Зарудный научил? - спросил Александр.

- Зарудный. Он записал ее три года назад у самородного сибирского поэта. Жаль, я запомнил имя...

- Давыдов, - подсказал Пастухов. - Учитель Дмитрий Давыдов.

- Кажется, Давыдов.

Дмитрий помолчал и сказал задумчиво:

- Нищий учитель, которому не достало средств, чтобы приехать из Троицкосавска в Петербург, в университет, для экзамена на степень кандидата чистой математики, бедняк, - а ведь он и физик, и естествоиспытатель, и первый знаток края, и поэт! Какую песню написал!

- Она достаточно наивна и проста, - примирительно сказал Александр.

Дмитрий подумал об Александре с сожалением. Вот живет среди новых людей, ничем не интересуется, как будто все можно узнать из книг, до всего достичь одними лишь умозаключениями. В первые дни его занимал порт, своеобразие пейзажа, старинные иконы местной церкви. Но и этот минутный интерес миновал, уступив место скептическим разглагольствованиям и ядовитым шуткам.

Двадцатого после боя Александр принужденно, словно по обязанности, поздравил Дмитрия. Холодно принял он и свое назначение на Перешеечную батарею. Никаких признаков радости, никакого подъема. Он исправно посещал батарею, изучил каждую пушку, каждую орудейную платформу - и

только.

Дмитрий оборвал песню и обернулся к нему:

- Трудно тебе, должно быть, Александр. Сторонишься жизни, словно люди тебе безразличные. А между тем хочешь возвышаться над всеми.

- Жажду.

- Именно жаждешь. И это совсем не смешно. Люди вокруг понимают тебя.

Александр приподнялся.

- Представь, - продолжал Дмитрий жестко, - многие жалеют тебя.

- Жалуют? - Это заставило Александра сесть на постели. - Люди меня утомляют, - сказал он зло.

- Так и должно быть, если всегда ждать от людей чего-то недоброго, жить без веры, насторожившись... Ты приди однажды к людям бесхитростно...

Открылась дверь, в комнату заглянул Арбузов.

- Люди сами пожаловали к нам, - буркнул Александр и, взяв с пола газету, недовольно поднялся.

- Рады, рады, Александр Павлович! - весело приветствовал Арбузова Дмитрий.

Возвращение Арбузова к сибирским стрелкам все офицеры приняли с чувством облегчения, - в качестве опального он слишком тяжел и несносен.

Повеселел и Арбузов. Он, естественно, не капитулировал. В письме к Завойко он ясно дал понять, что считает себя наиболее опытным офицером, и никто не решился оспаривать это. Еще бы! Попробовали бы они поспорить!

С сибирскими стрелками Арбузов говорил напрямик, по-солдатски. Он им прописал за нерешительность во время отражения десанта в Красном Яру! Так ли нужно было действовать? Следовало непременно настичь неприятеля и сбросить в море, усеяв берег трупами врагов.

- Теперь, друзья, я с вами! - воскликнул Арбузов, остановившись перед строем стрелков. - Клянусь крестом святого Георгия, который честно ношу четырнадцать лет, не осрамлю имени командира! Если же вы увидите во мне труса, то заколите штыком и на убитого плюйте!

Из-под коротких козырьков на него настороженно смотрели пристальные солдатские глаза.

- Но знайте, - продолжал Арбузов, - что и я потребую точного исполнения присяги - драться до последней капли крови!

- Умрем - не сдадимся! - ответили стрелки.

- Песельники, вперед! - вскричал Арбузов, воодушевляясь.

Вот уж третий день он в праздничном настроении...

- Господа, - промолвил он с порога, - хотите шараду? - И сразу же

задекламировал, смешно двигая усами: Где певчие поют, там первый слог бывает,

Второй не только нас, но и скотов кусает,

А целый - в деревнях крестьян всех утешает. - А? Каково заверчено! Ну-с, потрудитесь! Повторить?

- Хоровод, - сказал Пастухов, с трудом удерживаясь от смеха.

- Отгадал! - Арбузов был раздосадован. - Отгадал, каналья... Хор и овод... Хоровод...

Арбузов засмеялся, но никто не поддержал его. Внезапно оборвав смех, он обратился к Дмитрию:

- А вы, милостивый государь, надули меня давеча!

- Что вы, Александр Павлович!

- Как же-с, вы утверждали, что не хотели калить ядра, опасаясь, как бы они при рикошетах не остыли!

- Верно.

- Оказывается, орудийная прислуга не была обучена этому искусству. Отстали мы от Европы, Дмитрий Петрович, ой, как отстали!

- Виноват, - сказал Дмитрий простосердечно.

- Я вас прощаю за то, что вы и англичан провели так искусно. Они выпустили несколько сот ядер по фальшивой цели, по тому месту, из которого вы приказали вырезать дерн для укрытия порохового погреба. Представляете себе бешенство сигнального: ядра ложатся точно в цель, одно, другое, третье - и никакого результата. Колдовство! Кстати, господа, верите ли вы в то, что английский адмирал погиб случайно?

Дмитрий высказал предположение:

- Он мог и застрелиться.

- А вы как полагаете, Александр Петрович?

- С меня довольно того, что Прайс окочился, - ответил Александр.

- Нет! - вскричал Арбузов. - Не верю в самоубийство! С какой стати рассудительный англичанин станет стреляться в виду ничтожного Петропавловска? Его уложил картечью мичман Попов, третьего дня, когда стрелял в "Вираго". Время утишит страсти, и англичане, без сомнения, почтут память павшего воина достойным мавзолеем. Они поставят его на могиле сраженного адмирала.

- Простите, Александр Павлович, - Пастухов поднялся, - я надеюсь, что Россия никогда не позволит осквернить свою землю памятником этому недостойному британцу.

- Вот как! - смутился Арбузов и, заметив на постели Александра номер

"Северной пчелы", привезенный еще на "Двине", перевел разговор на другое: - Что любопытного в газетах? К сожалению, тут нет кондитерских и кофеен, в которых можно было бы узнать важные новости, потолковать о том о сем.

- Все, о чем мы толкуем: Петропавловск, Прайс, отражение неприятеля, - вздор, суета, жалкая пылинка в космосе, - ответил Дмитрий. В мире творятся события огромной важности.

- Например-с?

- Например, охота его императорского высочества, великого князя Александра Николаевича, на медведя.

Лицо Арбузова стало серьезным, он слушал с величайшим вниманием.

- Февральские Санкт-Петербургские газеты сообщают много интересного об этом происшествии, - Дмитрий говорил с церемонной важностью, чуть запрокинув голову. - Медведь был поднят в шести шагах от его императорского высочества. Представляете!

- Еще бы!

- Медведь пал с первого выстрела августейшего наследника!

- Слава богу! - вздохнул Арбузов.

- При нем, то есть при великом князе, неотлучно находились: урядник линейных казаков собственного конвоя, егерь с рогатиною и биксеншпаннер! Арбузов закрыл глаза от почтительного восторга.

- Представляю себе мгновение, - сказал он, - как сейчас вижу!.. Кстати, каков каналья этот матрос... Удалец, что ли? Бежал к англичанам и в ус не дуёт. Капитан-лейтенант Тироль уверяет, что негодяй пытался уйти еще в Портсмуте. Вздернуть бы его еще там на рее...

- Неправда! - воскликнул Дмитрий так гневно, что Арбузов удивленно уставился на него.

- Ну-с, не знаю, не знаю... А любезнейший полицмейстер, знаете, пальцы от досады кусает... Обидно, черт возьми! Обремизился...

Когда дверь за Арбузовым закрылась, Александр протянул насмешливо:

- Вот и то-олкуй о людях...

- А по-моему, после такого только и потянет к людям, - сказал Дмитрий.

Он смотрел в окно. Впереди вставал темный массив Петровской горы. Если бы не огоньки, мерцающие в порту и в отдаленных избах, гора казалась бы совсем рядом и пологость ее не была бы заметна. Окна дома Завойко, из которых обычно падал свет на окружающий их сад и решетку, темны, так что и сам дом, расположенный вдали от казармы, только угадывался. Несколько раз Дмитрия окликали: мичман Попов - возвращался от Гаврилова,

Вильчковский и Тироль - шли кончать неоконченную со вчерашнего вечера партию, отец Иона торопился к Григорию Логинову для продолжения религиозно-философского спора.

Недавнее сражение словно перевернуло все в Дмитриии.

Прожитые годы теперь казались подготовительными классами, преддверием настоящей жизни, той, в которой непременно будут и интересные люди и значительная цель. Жизнь не может, не должна разматываться бессмысленной чередой лет. Должен быть и идеал, возвышенный, достойный того, чтобы ради него пожертвовать и жизнью... Зарудный, вероятно, знает свою цель. В глуши, за тысячи верст от столицы, он сумел прекрасно образоваться. О петербургских журналах, о Белинском он говорит так, словно только вчера явился из столицы, еще разгоряченный литературными баталиями. Дмитрий жил в Петербурге и как-то прошел мимо важного, самого важного...

Свеча догорела, вспыхнув и ярко осветив напоследок комнату. Из портовых мастерских доносились частые удары, точно кто-то бил палочкой, обернутой в суконку, по хрустальной чаше, затем суконка падала, и хрусталь начинал петь чисто и звонко. Необыкновенная ясность разлита вокруг. Может быть, поэтому и сердитый, хриплый голос караульного у казенных магазинов, и окрик часового у порохового погреба, и звук шагов по дороге, и настороженный шепот листвы - все звуки, наполняющие петропавловскую ложбину, так отчетливо долетали до Дмитрия. На вершине Николки пел дозорный камчадал; пел давно, в одной тональности, не повышая голоса, будто рассказывал друзьям длинную историю, которой хватит до самого утра.

- Славный край! - прошептал Дмитрий. Ему теперь не хотелось слышать скептических замечаний брата.

- Прекрасный! - вторил ему Пастухов. Он давно искал случая выразить волновавшие его чувства, но робел в присутствии Александра. - Иногда мне кажется, что я нашел ту землю, к которой давно и безотчетно стремился, еще сам не зная того, что надобно мне. Простые люди, труд, заботы, лишения. Честные, открытые люди...

- И Настенька?..

- ...и Настенька! - признался Пастухов, забыв об Александре. - И возможность отплатить этим людям за радушие, за любовь. Возможность испытать свой жребий здесь, в невыразимой дали от Кронштадта. Это ли не счастье, Дмитрий Петрович?

Дмитрий молча стиснул плечо мичмана.

- Не может эскадра сняться с якоря и уйти в море? Ночью?

- А вы боитесь этого, Константин?
- Хочется сделать так много!
- Успеем, - уверенно сказал Дмитрий.
- Хочется еще раз увидеть людей такими, как в день сражения.

Дмитрий следил за женщиной, шедшей по дороге, мимо офицерского флигеля. Сначала возникло неясное пятно, затем показалась стройная фигура девушки.

"Маша!"

Дмитрий многозначительно сообщил брату:

- Саша, Марья Николаевна идет.
- К нам?

Койка заскрипела, газета, шелестя, упала на пол.

- Не знаю. Я позову ее.
- Не нужно, - попросил Александр и настойчиво повторил: - Слышишь, Дмитрий, не зови!

Маша поровнялась с флигелем, и Дмитрий вспомнил ее появление на батарее, вопрос девушки об Александре, на который он тогда не обратил внимания. Дмитрий обидел ее, но, в сущности, он хотел ей добра и благополучия, именно поэтому он и отослал Машеньку.

- Она нравится тебе, Саша?
- Глупости! - поспешно ответил Александр. - Не зови ее, это неприлично.

Безразличные, резонерские слова брата подзадоривали Дмитрия.

- Ма-арья Николаевна! - окликнул он и, спрыгнув на плотно утрамбованную вокруг флигеля землю, пошел к Маше.

Маша остановилась на дороге.

- Я поступил дурно, не сердитесь на меня, - сказал он ей. - Я не хотел причинить вам боль.

Маша сердилась. Это было заметно по упрямому наклону головы, по тому, как она принужденно, нехотя протянула Дмитрию руку. Но он завладел рукой и крепко стиснул ее, ожидая ответного пожатия.

- Поймите, Машенька, и меня. Я растерялся. Ведь не каждый день приходится меняться выстрелами с целой неприятельской эскадрой.

Маша попыталась отнять руку.

- Не отпущу, - упорствовал Дмитрий. - Клянусь, не отпущу до самого полного прощения!

- Я прочитала вашу записку, - проговорила Маша таким тоном, словно навсегда отказывала Дмитрию в прощении.

- Записка - ничего! Пустяки! - сказал Дмитрий примирительно. Послушайте,

как бьется мое сердце. - Он бесцеремонно потянул ее руку к груди. - Прощение или смерть?

- Зачем вы прогнали меня?

- Ах, если бы я знал, что на батарею пожаловала Марья Николаевна Лыткина!

- продолжал Дмитрий весело. - Я-то ведь думал, что это явилась Машенька, маленькая Машенька, которой нельзя быть там, где смерть и кровь.

Маша закусила пухлую губу, помолчала немного и, глубоко вздохнув, сказала с улыбкой:

- Бог с вами... Только я вам когда-нибудь отомщу...

- Согласен! А сегодня окажите нам честь, посидите с нами. Там Пастухов, Александр. Сегодня у нас особый день - словно праздник какой. Хочется открыть объятия миру, жизни, понимать каждый, самый ничтожный ее шорох.

- Мне надо идти.

- В такой час? И одной?

- Я привыкла. Мне нужно повидать господина Зарудного.

- Можно с вами?

Сегодня Дмитрий был решительно неспособен соблюдать такт и приличие. Потянуло к Зарудному - и делу конец.

- Анатолий Иванович гостеприимный хозяин, - сдержанно сказала Маша и добавила со странной поспешностью: - А я буду рада попутчику.

- И не одному! Пастухов! - закричал Дмитрий. - Бери гитару - и за мной! Саша!

Александр не отвечал. Зазвенела многими голосами гитара - это Пастухов выпрыгнул из окна.

- Саша! - повторил Дмитрий.

Молчание.

- Ну и пусть его!

По пути они нагнали странную процессию, которая унылостью и безмолвием напоминало похоронную. Тихо скрипел нагруженный возок. За ним шли трое - один очень высокий, несмотря на то, что он наклонялся, точно отыскивая что-то, полная женщина в темном, с желтым гарусным бурнусом на плечах и мужчина в шерстяном пледе, с вязаным шарфом вокруг шеи. Они двигались медленно в сторону Култушного озера. Это были почтмейстер, Трумберг и верная Августина. Напуганный обстрелом, убийством Андронникова и арестом Чэзза, Диодор Хрисанфович поспешно подготовился к эвакуации и, получив согласие Завойко, отбывал в Старый Острог.

Дом Зарудного трудно было узнать. Он стоял на северной окраине Петропавловска, на пути к Култушному озеру, и напоминал теперь военный

бивуак. Неподалеку расположилась партия стрелков, охраняющая северные подступы к городу.

Несмотря на поздний час, двери дома не закрывались. Сюда приходили узнать новости, утолить жажду, набить трубку крепким черкасским табаком, запах которого пропитал комнату титулярного советника.

Хозяйка, вдова офицера Облизина, претолстая, румяная коротышка, сновала по дому, подметая пол длинными юбками. Добрая, вопреки воинственному и свирепому выражению лица, она и в отсутствие Зарудного охотно принимала гостей, поила их водой из помятой медной кружки и была неистощима в изобретении проклятий на голову англичан. По мнению Облизиной, офицеры - единственно стоящие люди; Зарудного она уважала именно за то, что он мало походил на чиновника, был заядлым охотником и украшал стены своей комнаты оружием, звериными шкурами, чучелами птиц.

Облизина просияла, завидев МаксUTOва и Пастухова.

- Заходите, милости прошу, заходите! - зачастила она низким, рокочущим контральто. - Анатолий Иванович отлучился, скоро вернется. Прошу сюда, в его комнату! - она пропустила Машу и офицеров в комнату Зарудного. - Ах, я так устала от чиновников! Бедный Анатолий Иванович! Уж как он мается с ними... Садитесь, барышня, сюда, на кушетку, господа офицеры на стульях посидят. У нас просто, без церемониев. Живем как бог велел... Верно говорят, английский адмирал застрелился?

- Верно, хозяйюшка, - ответил Дмитрий.

- Вишь ты! Испугался, значит? Ну и пес с ним! Гореть ему в геенне огненной без срока, без времени...

Облизина только что набрала полную грудь воздуха и приготовилась к длиннейшей тираде, как в комнату вошел Зарудный и, поклонившись гостям, сказал:

- Ручаюсь, что Евдокия Саввишна, наш домашний Цицерон, мечет громы на головы несчастных англичан!

- Угадали, Анатолий Иванович! - воодушевилась Облизина. - Кого же и ругать, как не их, изменников, еретиков...

- Вы бы нам чайку, Евдокия Саввишна, а? Покрепче, - мягко остановил ее Зарудный.

- Извольте, - согласилась хозяйка, несколько не обидясь.

Она вышла из комнаты, но долго еще за дверью раздавался гневный рокот ее мужественного контральто.

- Не ждали? - весело спросила Маша, когда затворилась дверь за Облизиной.

- Признаться, не ждал, - подтвердил Зарудный, не зная, чему приписать их

визит. - Наша партия здесь рядом. Ходим всё, толчемся, ждем чего-то. Дождемся ли?

- Непременно дождетесь! - уверил его Дмитрий.

- Рад видеть вас, господа! - Зарудный обратился к Дмитрию: - Наслышан я о ваших подвигах и даже искал вас в порту, но не нашел.

- Дмитрий Петрович - истинный герой... - Маша выдержала паузу, - с женщинами воевать.

Маша чувствовала себя хорошо и просто в обществе этих людей. Она шла к Зарудному, чтобы в беседе с ним, единственно близким ей человеком в Петропавловске, укрепиться в каких-то уже принятых ею решениях. Станет ли она рассказывать ему о них? Этого Маша еще и сама не знала.

Сегодня Зарудный показался ей красивым - сильный и мужественный, с постоянно меняющимся выражением лица при неровном свете чадающей лампы.

- Я хотела штурмом овладеть батареей, которой командовал господин Максutow, но была с позором изгнана, к вящей славе отважного лейтенанта. В этом и состоит главный подвиг Дмитрия Петровича. Все прочее сделали его артиллеристы.

- Страшная месть! - сказал Максutow. - Но я прощен?

- Нет, нет!

За чаем Зарудный рассказывал о людях, с которыми в последние дни пришлось жить бок о бок, о местных достопримечательностях.

Склянок "Авроры" здесь не было слышно, зато отчетливо раздавались удары колокола на гарнизонной гауптвахте.

Зарудный ловил на себе взгляд Маши - она будто гордилась им перед офицерами - и был охвачен радостным сознанием уверенности и силы.

- Что греха таить, - говорил Зарудный, - любим мы иной раз о человеке плохо говорить... Сами собой липнут к языку бранные слова. Обругаем ближнего и рады: "Ах, какие мы умные, сколь честны и превосходны!" Конечно, немало у нас и шельм и отменных тупиц. Однако же не на них земля стоит, не ими живы мы, а видеть только грязь да черноту вокруг себя может тот, кто и сам по себе черен и неспособен подняться на известную высоту. Возьмите хотя бы наше отношение к камчадалу, которому мы дали еще так мало, господа, что порою совестно и брать-то с него. Вот пришелся им по душе Завойко! А ведь за то только, что не грабит их, не притесняет без нужды, что справедлив в общем и честен, как полагается быть человеку. Для них и это в диковинку!

- Голос Зарудного зазвучал скрытой горечью: - Что видят они, кроме крайней нужды? Курьеры! Нарочные! Скачут курьеры по Камчатке, и хоть величиною

она поспорит с иною европейской державой, малолюдство ее таково, что некуда деваться камчадалу от почтовой повинности. Едва уехал исправник, как уже явился священник для свершения треб, за ним казачий старшина, важный чиновник, провиантский комиссар, а там, глядишь, и купчина раздобылся бумагою на предоставление ему казенного транспорта. Беда! Скачи, камчадал, успевай поворачиваться... Любить их надобно, господа, учиться нравственной чистоте у трудового люда, а грязь физическую, неизбежную при нужде и суровости, помогать счищать средствами наук, которым нас обучали...

Пастухов взволнованно вскочил со стула.

- Вы... вы... Анатолий Иванович, справедливый человек... Очень справедливый... - проговорил он, краснея и стыдясь своего порыва.

- Сколько здесь интереснейших людей! - продолжал Зарудный, крепко держась рукой за шершавый угол стола. - Сколько удивительных биографий! Господа нашего круга часто жалуются на скуку, хандрят, тупеют за ломберными столами или плачут над слезливыми романами, дурно пересказанными с чужих языков. А подле нас люди, жизнь которых интереснее самого натурального романа; расскажи о них только с чувством и толком тысячи поразятся! Но мы идем мимо, отворачиваемся от почерневших в труде рук, от язв, оскорбляющих наше эстетическое чувство, от грубых, простых лиц. А с ними вместе проходит мимо нас жизнь. Я никогда не был за пределами Сибири, не знаю англичан, не видел и турка, но я не верю, чтобы между британцем и турком, которого он решился защитить, была бы и доля той сердечности и дружелюбия, которые существуют между здешними племенами и русским человеком в массе...

Маша сидела не двигаясь, не вмешиваясь в разговор. Ей было удивительно хорошо в этот вечер. Каждое слово Зарудного и офицеров находило отзвук в ее душе. Кажется, скажешь некстати фразу - и все пойдет прахом. И нужно ли задавать вопросы, если эти люди так полно, так охотно и предупредительно отвечали на все мысли и сомнения Маши!

Комната наполнилась табачным дымом. Когда открывалась дверь, дым убегал в прохладную темноту, скрывая лица новых гостей. Как в счастливом сне детства, мелькали перед Машей лица чиновников, Никиты Кочнева, Ильи Буочча, которого Маша узнала по голосу, Облизиной, Мровинского, заглянувшего на огонек.

Потом Зарудный и Дмитрий пели "Сомнение" Глинки под аккомпанемент двух гитар.

Далеко за полночь Зарудный пошел проводить гостей.

Из сеней их напутствовала хозяйка:

- Анатолий Иванович! Вот платок для барышни. Нынче холодно... Приглашайте господ офицеров захаживать.

- Непременно, Евдокия Саввишна.

Зарудный накинул на плечи Маши платок.

- Вот, Машенька. Илья Буочча обещает сегодня первый заморозок. Закутайтесь получше.

- Спасибо!..

Маша нашла в темноте руку Зарудного:

- Прощайте, Анатолий Иванович!

- Помните мою просьбу, - шепнул Зарудный, - берегите себя...

- Не обещаю! - крикнула Маша, смеясь, и, взяв об руку офицеров, двинулась с ними к спящему порту.

"СМЕРТЕЛЬНАЯ"

I

В шестом часу утра на гауптвахте ударили тревогу.

Колокол гудел громко и надсадно, оповещая петропавловцев о грозящей опасности. Над заливом стоял густой туман. Он таял лениво, неохотно.

Еще с вечера стало очевидно, что неприятель готовится к наступлению. Поднятые в ростры после похорон Прайса десантные боты и катера снова были спущены на воду. И хотя с утра туман почти не позволял рассмотреть эскадру, - по шуму, который производил колесный пароход "Вираго", можно было заключить, что решительный час приближается.

Завойко в сопровождении нескольких офицеров обходил батареи и отряды, расположенные вдоль Никольской горы. Начав обход с Озерной, он двигался по подножью гористого полуострова на юг, к восстановленной и прикрытой сверху старым парусом Сигнальной батарее, напоминавшей забытый карьер каменоломни.

Всюду в холодных и влажных кустарниках стояли люди - камчатцы, фрегатские матросы, сибирские стрелки, беспорядочная кучка волонтеров у маленькой конной пушки, камчадалы, зорко наблюдавшие каждое движение Завойко, артиллеристы и снова матросы. Угрюмое спокойствие и решимость написаны на лицах людей... Отрядов немного, в каждом не более двадцати человек, но вся эта цепь, как казалось Василию Степановичу, надежно защищает Никольскую гору и северные подступы к Петропавловску. Батареи прочно вросли в зеленую землю Камчатки, как крепыши-боровики, приподнимающие макушками коричневый покров прошлогодних листьев. В

ожидании команды отряды стояли готовые в несколько минут оказаться на гребне горы.

В ногу с Завойко двигался знаменосец - офицер с крепостным флагом Петропавловска. Командиры батарей и партий преклоняли колена перед флагом, матросы и стрелки отвечали на слова Завойко дружным:

- Умрем, а не сдадимся!

От провиантских магазинов Завойко свернул к перешейку, на батарею Александра МаксUTOва. Туман в заливе заметно поредел, и корпуса неприятельских судов обозначились четче.

Пять двадцатичетырехфунтовых пушек были едва прикрыты бруствером главного фаса.

- Непривычно, должно быть, моряку на земле, - сказал Завойко МаксUTOву, обходя батарею.

- Я не чувствую этого, ваше превосходительство, - сдержанно ответил Александр. - Под ногами площадка "Авроры", пушки с "Авроры", прислуга тоже фрегатская. Я дома!

- "Аврора" - наше спасение, лейтенант, - проговорил Завойко задумчиво. - Подумать страшно, сколько сирот было бы на Камчатке, кабы не "Аврора"! Англичанин с гордостью в сердце явился к нам, чистенький, щегольски одетый. Мечтает нашу бедность живьем взять.

- Пустые мечты, ваше превосходительство!

- Вы думаете?

- Уверен! У нас тоже пушки, ядра, преимущества местности...

- Люди, матросы, - добавил Завойко. - Это наша сила. Наш матрос в бою никому не уступит. Не могу говорить без удовольствия о русском матросе, особенно как вспомню заморских, - показал он зрительной трубой в направлении эскадры.

- Наш матрос службу несет исправно, - сказал Александр МаксUTOв.

Ему послышалось какое-то учительство в словах губернатора, и он весь подобрался.

- Ну-с, не прощаюсь, - сказал Завойко и повернул к перешейку. Сегодня свидимся не раз. Боюсь, жарко будет у вас здесь.

- Я не боюсь этого, ваше превосходительство!

- И отлично! И отлично!

Завойко поднялся на палубу "Авроры", но пробыл там недолго. Нужно было торопиться на Сигнальную гору и оттуда, после того как намерения врага обнаружатся с полной очевидностью, проследовать на пункт, который позволял бы руководить действиями стрелковых партий.

- Спешу, Иван Николаевич! - Завойко пожал руку Изыльметьева. - На Сигнальной горе, я думаю, уже слышна цепная музыка. Припала же им охота начинать дело в этокое утро!

Уже опустив одну ногу на трап, он обратился к Изыльметьеву:

- Если события привяжут меня к озеру, вы здесь полный хозяин, жестом он описал дугу, охватывающую Красный Яр, батарею Дмитрия МаксUTOва и Сигнальную гору с перешейком. - Дарю вам полцарства. Судите, приказывайте, казните. Я полагаю, что нам не до военных советов будет.

Изыльметьев ответил, кашлянув и не сводя с Завойко насупленного взгляда:

- Постараюсь оправдать доверие!

- Вы не опасаетесь за МаксUTOва?

- МаксUTOв на месте.

- Да-с... - протянул Завойко в раздумье. - Слишком открытая позиция. Потребуется большое нравственное мужество. - Он взмахнул на прощание рукой. - Ну, так тому и быть. Прощайте!

На Сигнальную батарею Завойко попал в восьмом часу.

На батарее за эти три дня матросы восстановили относительный порядок. Сброшенное со станка орудие было поднято и тупорылые цапфы снова легли в круглые вырезы станка. Артиллеристы заделали повреждения в платформах, насыпали разрушенные части бруствера. Не хватало лишь флага над батареей, без которого Сигнальная гора как бы теряла свое главенствующее положение.

Гаврилов просиял, увидев Завойко. Его сердила мысль, что крепостной флаг Петропавловска, всегда развевавшийся над Сигнальной горой, оставлен внутри порта и затерялся там среди построек и мачт. На Сигнальной горе его видел каждый - чужестранный китолов, лишь только он входил из океана в Авачинский залив, жители порта, камчадалы, плывущие на батах из Тарьи, охотники - с крутых тропинок Петровской горы.

Запрокинув забинтованную голову, с сожженными порохом бровями, Гаврилов провожал взглядом поползший вверх флаг и думал о том, что это добрый знак.

Эскадра пришла в движение. Туман рассеялся, и стало видно, как "Вираго" взял на буксир адмиральские фрегаты. Естественного, скалистого траверса больше не существовало - он был разрушен, - и Завойко мог прямо с батареи наблюдать за боевым строем неприятельской эскадры. Отделившийся от нее "Пик" приблизился и остановился, как бы решая, повернуть ли налево, к перешейку, или повторить нападение на Кладбищенскую батарею. "Эвредик" двигался прямо к Сигнальной горе, к батарее Гаврилова. Бриг "Облигадо"

оставался в резерве. Но куда собираются повернуть флагманы? Буксируемые "Вилаго", они разворачиваются очень медленно. Между тем судить о замыслах врага можно будет лишь после того, как обнаружится направление "Форта" и "Президента". Тогда выяснится, справедливо ли предположение Изыльметьева, что неприятель высадится у Никольской горы. Ведь Сигнальная и Никольская горы круты, здесь десантные партии попадут под огонь стрелков. За Никольской горой озеро и узкое дефиле, но неприятель не может знать об удобстве продвижения в город с севера, по грунтовой дороге...

Вяло полоскались неубранные паруса фрегатов. В повисшей парусине, в молчаливости кораблей было что-то угрожающе-зловещее, - так бывает в самые последние минуты перед штормом, когда ветер стихает, набираясь сил для сатанинского натиска.

Прошло еще несколько секунд, и стало очевидно, что флагманские фрегаты направляются к перешейку. Артиллеристы стояли в полной готовности на палубах, у батарей правого борта, а на шкафуте "Вилаго" уже толпилось множество назначенных для высадки стрелков и матросов.

Фрегаты подошли к берегу на расстояние двухсот пятидесяти саженей. "Эвредик", желая сковать силы защитников и скрыть, хоть на время, направление главного удара, открыл огонь по Сигнальной батарее. Но Завойко уже разгадал план неприятеля, - на выстрелы "Эвредика" он почти не обратил внимания. Взойдя на гору, выше батареи, он следил за фрегатами.

"Президент" и "Форт" прошли еще двадцать саженей. До берега осталось не больше четырех кабельтовых.

"Пора! Теперь пора! - пронеслось в голове Завойко. - Больше медлить нельзя!"

И, словно в ответ ему, с "Президента" ухнули разом все орудия правого борта. Оглушающий залп "Форта" прозвучал как близкое эхо. II "Президент" не задержался у Перешеечной батареи. Бортовой залп обошелся фрегату дорого. Тотчас же в ответ заговорила батарея, и каждая из пяти пушек Александра МаксUTOва оставила след на корабле Ричарда Барриджа. Одним залпом были повреждены ванты, сбит гафель и сорван флаг.

- К дьяволу!.. - успел только выкрикнуть взбешенный Барридж и вывел фрегат из-под обстрела. Падение флага, с точки зрения суеверного Барриджа, было едва ли не самой скверной приметой.

"Президент" повернул на север, к крайней на этом фланге батарее Коралова, которая прикрывала подступы к грунтовой дороге и Култушному озеру.

По-видимому, Депуант считал, что удар по этим двум батареям должен быть нанесен одновременно, а для подавления пяти пушек на перешейке достаточно и тридцати орудий одного борта французского флагмана.

Феврие Депуант, слишком долго колебавшийся между желанием мирно покинуть Авачинскую губу и не менее острым искушением стяжать славу покорителя Камчатки, действовал теперь со всей решимостью.

Позиция, занятая теперь Депуантом, говорила о решимости контр-адмирала добиться капитуляции Петропавловска. "Форт" стоял на расстоянии двухсот пятидесяти сажень от берега. С такой дистанции открытую батарею можно было расстреливать в упор. Но и для "Форта" каждый залп батареи представлял серьезную опасность. Трудно надеяться, что русские промахнутся с такой дистанции. Но Депуанта это не смущало. По его расчетам, русские не успеют пристреляться. С двухсот пятидесяти сажень он мог бы, будь в этом нужда, поражать батарейную прислугу даже ружейным огнем.

И действительно, вопреки предположению Мровинского, орудия "Форта" били по батарее в упор. От взрывов тяжелых бомб перешеек обволакивался пороховым дымом и вздыбленная земля рушилась, как черные, с обуглившейся листвой деревья. На батарее кипело и клокотало так, будто в этом месте прорвалась лава, сдерживаемая громадами Авачинской и Корякской сопки, и все, что тут было живого, должно неминуемо погибнуть. Ядра весом в полтора и два пуда производили ужасающие разрушения. Земляные вихри сбивали с ног прислугу, засыпали платформы, ослепляли людей. Все смешалось - чугунные шары, сложенные у пушек, крупная щепка, срезанная осколками со станков и платформ, сломанные банники, гранатная шрапнель, горячие ядра неприятеля, распростертые тела убитых и раненых.

В первые секунды Александр растерялся. Действие батареи замедлилось. Ядра и бомбы "Форта" не позволяли прислуге успешно действовать у пушек, которые заряжались с дульной части. Слой земли и щепы, разметанные орудийные принадлежности, поврежденные станки мешали быстро накатывать пушки и отводить их после выстрелов. Прислуга быстро выбывала из строя, среди гари и дыма все меньше заметно было движения и жизни. Кажется, вот-вот наступит момент, когда человеческое тело, беззащитное, оглушенное взрывами, обожженное огнем, исчезнет, смешается с землей.

Максутов не боялся смерти. Под жестоким батальным огнем неприятеля он испытал бешенство и изумление оттого, что все произошло так стремительно, так непоправимо.

Пять орудийных стволов батареи и корпус "Форта" - вот и все, что он мог

держат в границах своего напряженного сознания.

Ядра, пущенные с батареи, сделали четыре подводные пробоины, перебили гафель и крьюйс-стенгу, прострелили мачты "Форта". Большого, вероятно, не сделали бы и самые искусные артиллеристы, находишься они даже под надежным укрытием крепостных бастионов.

Сквозь едкий дым Максutow удивленно приглядывался к своим артиллеристам, как будто он впервые в жизни получил возможность наблюдать их вблизи. Напрасно он подумал, что матросы могут побежать с батареи! Раненые и те не хотят уходить от пушек.

В дыму батареи перед глазами Максutowа промелькнули женские лица. Он ожесточенно трясет головой, зажмуривается. Это невозможно. Мираж! Откуда бы им здесь взяться?

Но они не исчезают. Одна из них - Маша или кто-то очень похожий на Машу. Другая - толстая, маленькая, свирепая. Они подхватили на руки комендора, лежавшего у края платформы, и быстро унесли его, скрывшись за земляным валом. Там перевязочный пункт.

Взрыв потряс площадку, обрушил на батарею земляной ливень. Потом воздух на мгновение очистился, открыв голубое небо. Максutowу кажется, что женщин здесь не было. Конечно, галлюцинация...

Над пушками сгустились пороховые тучи. Но глаза Максutowа видели теперь лучше. Это от привычки и обретенного спокойствия.

С перешейка переползает к нему инженер Мровинский. Рухнувший столб земли сбил фуражку и взъерошил волосы вокруг бледных залысин.

"Отважный человек! - подумал Максutow. - Зачем он сюда?"

Мровинский, бледный, тяжело дыша, наклонился к уху Александра:

- Ругаете меня?

- За что же, помилуйте?

Максutowу, как никогда, хотелось казаться спокойным, даже равнодушным.

- Я располагал, что кораблям неудобно действовать по возвышенности, виновато прохрипел инженер, - а они что придумали! Поглядите, накренили фрегат, разобрали борты над портами* и палят как бы по горизонтальному направлению...

* Отверстия для орудий в борту корабля. - Зато и нам удобнее, - Максutow указал на корпус "Форта": он подался из воды выше обычного. - Глядите, как мы его изукрасили!

Батарею накрыл залп бомбических пушек. Мровинский упал на Максutowа, едва не сбив его с ног. На другом конце батареи свалилось со станка орудие

с развороченным стволом.

- Уходите! Немедленно уходите отсюда! - крикнул Максutow.

Мровинский, повинаясь его приказу, ушел, ни разу не обернувшись на батарею. Он был оглушен взрывом, но уходил спокойно, неторопливо, не сгибая узкой, с выпирающими лопатками, спины.

У ближней пушки Александр Максutow заметил смеющиеся лица артиллеристов. Трудно поверить, но белые зубы сверкали на закопченных лицах. В четверть часа вид артиллеристов совершенно изменился: в темных от земли и гари рубахах, задымленные, они скорее напоминали кочегаров, отстоявших смену, чем опрятных аврорских матросов. Но они чему-то смеются, играют белками озорных глаз. Удивительный народ!

Максutow подошел ближе. Мускулы под взмокшими рубахами матросов вспухали буграми, люди с трудом накатывали орудия, чугунные колеса вязли в земле, которой засыпана платформа.

Выстрел. Ядро угодило в корпус, в самую ватерлинию, приподнятую над водой из-за крена фрегата.

- Хвалю! - крикнул Максutow. - Над чем смеетесь, орлы?

- Ваше благородие, - ответил чумазый артиллерист, его русые волосы походили теперь на парик, - Афанасий Харламов каждый снаряд благословляет: "Лети, говорит, лети, да в Семена не угоди!"

Матросы, смеясь, сноровисто заряжали пушку.

"...Афанасий Харламов? Ах, помню! Вон тот высокий мужик с банником в руках. Был на батарее у Гаврилова, а вчера напросился к нам. Он там один из всего расчета уцелел, что ли..."

Ядро, раздирая воздух, понеслось к "Форту". Перед тем как произнести свое заклинание над новым ядром, Афанасий объяснил Максutowу:

- Дружок мой в плену, Семен Удалой. Француз близко встал, как бы своим ядром Семена не убить...

- Значит, ты не рад взорвать неприятельский фрегат?

- Взорвать? - Афанасий умолк, оценивая положение. - Взорвать - другое дело, за это и Семен жизни не пожалеет.

Афанасий Харламов бросился к стволу пушки и принялся усердно орудовать банником.

Две пушки из пяти вышли из строя. Одну из них сбросило с платформы: канат, удерживающий орудие при откате, был перебит осколками бомбы, а заменить его не успели. Да и прислуга убывала, - теперь у Максutowа не нашлось бы людей для пяти орудий.

"Форт" усиливал огонь. Крупнокалиберные ядра и бомбы падали на батарею с

интервалами в несколько секунд. Не было возможности осмотреться, исправить повреждения, счистить землю с платформ.

Максутов вновь убедился, что вместе с нижними чинами инвалидной команды на батарее появилась Маша. Но теперь Максуту это было решительно безразлично. Для него теперь весь мир - крохотная батарея, слепящая упругим воздухом, жаром, вздыбленной землей. Ничего другого нет и не будет.

"Может быть, попросить помощи у Изыльметьева?.."

Нет, он не станет просить помощи. Это бессмысленно и поведет к новым жертвам. Для трех пушек у него людей достаточно. Каждый лишний человек на батарее - открытая мишень для врага...

Десантный бот неприятеля выполз из-за кормы фрегата, но ядро, посланное с батареи, подняло столб воды у самого его носа.

- Э-э-э-х, берегись!.. - крикнул кто-то рядом. - "Смертельная" гостинцы шлет! ...Бой продолжался, хотя, по расчетам Депуанта, на каждый аршин батарейной земли приходилось уже по несколько снарядов. Их выпущено более пятисот, и вся открытая площадка перепахана раскаленным металлом. Неприятель обстреливал не только перешеек. На побережье, за Никольской горой, завязалась артиллерийская дуэль между "Президентом" и батареей капитан-лейтенанта Коралова. В город и на внутренний рейд вблизи "Авроры" падало больше бомб и конгревовых ракет, чем при первой атаке.

Все предсказывало решающее сражение.

Изыльметьев оставался на "Авроре". Он напряженно вслушивался в артиллерийскую канонаду, выделяя из хаоса звуков одиночные выстрелы "Смертельной". Он заметил ослабление батареи, когда она стала действовать только двумя пушками. Максут не слал за помощью, - вероятно, орудия выбывают из строя быстрее, чем люди.

Изыльметьев приказал Пастухову съехать с отрядом на берег. Свежие силы понадобятся для отражения десанта. Сколько еще продержится батарея? Пять, десять, пятнадцать минут... Счет пошел на минуты и доли минут.

"Облигадо" приблизился к перешейку и, став в двух кабельтовых юго-западнее "Форта", открыл перекидной огонь по "Авроре" и "Двине", мачты которых виднелись в зеленом проеме между горами.

На батарее вышла из строя еще одна пушка, накреньясь вперед с перебитого станка.

Огневой шквал достиг небывалой силы, - у пушек "Форта" метались артиллеристы, теряя высокие шапки с красными султанами. В дыму, окутывающем батарейные палубы, мелькали синие мундиры.

Под прикрытием шквального огня неприятель двинул к берегу десант. Катера отделились от "Форта" и пошли не спеша, опасаясь единственной русской пушки, которая еще вела огонь.

Александр Максutow встал к пушке, отстранив выбившегося из сил бомбардира. Напоследок, прежде чем оставить разрушенную батарею, он и сам постреляет. Хлопот теперь немного, у командира батареи осталась одна пушка. Пусть и неприятель видит, что русские офицеры не оставляют позиции, пока действует хоть одно орудие.

"Они, вероятно, видят меня, - подумал Максutow. - Мне-то хорошо видны офицеры на катерах и даже на "Форте". Должны видеть!"

Максutow стоял теперь плечо к плечу со своими артиллеристами, но различал их хуже, чем прежде. Они двигались увереннее прежнего, и только тяжелое дыхание выдавало все напряжение ратного труда. Стопудовая пушка на тяжелом дубовом станке и чугунных колесах сновала в их корявых, обожженных руках, как ткацкий челнок, послушный мастерице. Пушка стреляла чаще, чем прежде, чаще, чем это предусмотрено артиллерийскими таблицами и уставами.

Ядро, пущенное Максutowым, попало в большой катер, и он пошел ко дну, вызвав замешательство в десантном отряде.

- А ты без спросу не кажи к нам носу! - закричал кто-то рядом с Максutowым, потрясая длинным шестом с игольчатой муфтой на конце.

Пушка била по десанту. Ядра ложились у низких бортов, ломали весла, разводили волну, от которой катера бросало, словно в шторм. Два, три... пять выстрелов. Головной катер забрал влево, севернее перешейки, надеясь вывести десант из-под обстрела.

В эту минуту Максutow ощутил толчок, будто его ударили доской плашмя, но самое прикосновение доски он не успел почувствовать из-за слоя мгновенно отвердевшего воздуха. Максutowа ударом ядра отбросило на пять шагов. Правую руку оторвало по локоть.

На какую-то долю секунды Максutow пришел в сознание. Кто-то больно сжимал правое предплечье. Но еще больнее было спине, как будто, падая, он грохнулся на перевернутую борону и все зубья вошли глубоко в тело. Лицо Маши Лыткиной, десятки сапог, проносящихся мимо него, - вот все, что заметил Максutow.

"Куда они бегут? Неужели с батареи?" - подумал лейтенант и снова потерял сознание.

Но артиллеристы "Смертельной" не бросили своей единственной пушки. Когда на "Форте" и катерах, увидев гибель русского офицера, закричали

"виват!", "виват!", подбрасывая фуражки и роняя их в воду, на батарее не растерялись. Пушка упрямо, как дятел, выстукивала свое.

Мимо расprostертого на земле МаксUTOва пробежала команда аврорцев с Пастуховым во главе. Спрыгнув с земляного вала на изрытую площадку, Пастухов увидел, что батарее помочь ничем уже нельзя. "Форт" мстил батарее жестоким и бессмысленным огнем. Осколки бомб, свои и вражеские ядра, щепы и земля - все смешано так, будто земля, взорванная изнутри, приподнялась, а затем рухнула, создав невообразимый хаос.

Вражеский десант медленно подвигался в двухстах саженях от разрушенной батареи, между перешейком и огрызавшейся батареей Никольской горы. Теперь каждый человек был особенно дорог, - неприятель задумал обхватить Николку с двух концов.

Участь порта решится на суше.

Пастухов приказал заклепать пушки, в том числе и ту, которая действовала до последней минуты. Выполнив приказание мичмана, артиллеристы ушли за внутреннюю отлогость Никольской горы, где ожидали своего часа стрелковые партии.

"Смертельной" батареи больше не существовало.

Если бы орудия "Форта" внезапно умолкли, все поразились бы удивительной, полной тишине безлюдной батареи.

Но фрегат все бил и бил по перешейку; он хотел стереть с лица непокорной русской земли воспоминание об упрямой батарее, опрокинувшей расчеты контр-адмирала Феврие Депуанта.

ДЕСАНТ

I

После самоубийства Прайса решающий голос на эскадре принадлежал не французскому адмиралу, а капитану Никольсону. Он стал хозяином на эскадре, используя иные, чем Прайс, средства. Капитан "Пика", равный по званию Барриджу, Паркеру и Ла Грандиеру, опирался не на право старшинства, а использовал, как ни странно, ненависть, которую питал к нему Депуант.

Адмирал ненавидел высокую, прямую фигуру Никольсона, созданную для мундира, для парадов и капитанского мостика, ненавидел его цепкий, односторонне тренированный ум, отрицавший все, что могло служить "пользе ближнего", отвергавший спасительные формальности и правила вежливости эту, как считал Депуант, "основу и самую возможность благоприличной жизни людей высшего круга", - ненавидел ум Никольсона, направленный

исключительно на удовлетворение своекорыстных интересов, эгоистического инстинкта и властолюбия. Никольсон был неистощимо изобретателен, когда дело шло о его личной выгоде, о борьбе за власть. Его ум настораживался, пробуждался инстинкт игрока, авантюриста.

Депуант в редкие минуты, когда обнаруживал, что он действует по указке Никольсона, "взрывался". Он шумел, объяснялся с Никольсоном раздраженным тоном, казался гневным, упрямым командиром. Но хватало его ненадолго.

Никольсон с назойливостью маньяка говорил об Англии. О величии Англии. О будущем Англии. О чести Англии. Именем Англии он клялся. Англию призывал в свидетели и судьи. Казалось, никто в мире не должен думать ни о чем другом, кроме Англии, не смеет заботиться о чьих-либо интересах, кроме интересов Англии. Депуант терпеливо выслушивал излияния Никольсона. О, он привык уважать верноподданнические чувства! Разве он сам не клянется в верности Луи Наполеону, герою случая и трагической запутанности европейских дел, разве не клянется он в верности императору, хотя не чувствует в своем сердце ничего, кроме гнетущей пустоты и равнодушия? Это тоже правила игры, своего рода светскость, норма поведения - иначе у шпионов и палачей императора оказалось бы слишком много забот.

Пусть болтал бы себе об Англии! Прайс тоже не упускал случая вернуть словечко о "старой доброй Англии". Но зачем так усердствовать?! Зачем понуждать окружающих беспрестанно глотать то, что разжевываешь своими волчьими челюстями, зачем совать эту жвачку в глотку людям без меры и без спросу!

Пусть болтал бы себе об Англии, но в меру, холодно и чинно, как актер старого театра, с пристрастием к звучной и высокопарной фразе.

И тем не менее капитан "Пика", молчаливо перенося взрывы раздражения адмирала, искушая его легкостью овладения портом, а порою и пугая тенью Прайса и тяжестью ответственности за неудачу кампании, принудил Депуанта принять составленный им, Никольсоном, план высадки и атаки.

Никольсон с нетерпением ждал предстоящих событий.

Нынешний десант ничем не будет напоминать беспорядочной высадки у Красного Яра. Все рассчитано, все учтено.

Нынче и вулканы, сторожащие камчатскую землю, не кажутся Никольсону такими грозными и величественными, как в день похорон Прайса. Горы и мрачные утесы, непокорные племена и чужие континенты - все склонилось перед могуществом Англии. Склонится и Петропавловск.

Никольсон нынче не на "Пике", а на "Президенте", против крайней береговой

батареи русских. У "Пика" сегодня простая задача: фрегат ведет отвлекающий огонь по двум уже знакомым батареям и сковывает часть сил русских. Изредка "Пик" стреляет и по русским судам и по порту, образуя нестройное артиллерийское трио с "Эвредиком" и "Облигадо".

Другое дело - "Президент". Здесь Никольсон находится к явному неудовольствию капитана Барриджа, пользуясь правами старшего на английской эскадре. Барридж докладывает Никольсону нехотя, цедит сквозь зубы неразборчивые фразы.

"Президент" ведет интенсивный огонь по берегу. Батарея у северной оконечности Никольской горы оказалась более твердым орешком, чем можно было предположить по ее виду и размерам. Никольсон, впрочем, схитрил: он поставил фрегат южнее батареи и заставил бездействовать три русские пушки, установленные на левом фесе.

Ричард Барридж от англичан и Ла Грандиер от французов назначены начальниками десанта. Нельзя сказать, что Барридж трусил, - он располагал слишком значительными для Петропавловска силами и мог спокойно ждать развития событий. И все-таки риск был. Всякое случается - шальная пуля, удар штыка, граната, иногда и своя, если разорвется слишком близко... Упасть можно и на ровной, надраенной палубе, а чертова гора, которая торчит перед глазами, с обрывистыми тропинками и жесткой щетиной кустарника, - не палуба, высадка десанта - не парад. Заварил кашу Никольсон. Он спелся с приблудшим янки, сам наметил и место высадки, а теперь намерен отсиживаться на "Президенте".

Никольсон понимал, чем в настоящую минуту начинена голова Барриджа. Он подошел к Барриджу, готовившемуся спуститься в десантную шлюпку, и сказал, причмокнув губами, как гастроном, сожалеющий о потерянном для него лакомом блюде:

- Ну что за подлость лишить меня возможности высадиться на берег в такое прекрасное утро!

- Старик здорово обошел вас, - вяло ответил Барридж и подумал: "Хитришь, негодяй! Захотел бы высадиться - и Депуант ничего не смог бы поделаться!"

- Американец не соврал, - продолжал почти грустно Никольсон, - за озером широкая дорога, не хуже той, что ведет из Лондона в Портсмут. Одно удовольствие двигаться в порт по такой дороге.

- Похоже, что так, - буркнул неопределенно капитан "Президента", понимая, что все это досужая болтовня, к дороге нужно еще прочиться, а это может стоить жизни.

- Я завидую вам, Барридж! Что бы ни случилось, добрая половина славы

покорителя Камчатки будет принадлежать вам.

- Я солдат, сэр, - заметил Барридж скромно, - я выполняю приказ!

Барридж невольно улыбнулся, подумав о том, что станет с его половиной славы, если он умрет на этой прекрасной дороге, не успев написать завещание.

Осмотр местности с "Президента" подтвердил правильность сообщения Магуда. Если янки дал точные сведения и о численности и о боевых качествах гарнизона, победа будет достигнута легко, сам Депуант постарается забыть о прошлой высадке у Красного Яра. Вспоминая первый бой, Никольсон радовался своему чутью, инстинкту истинного британца, который подсказал ему, в чем заключается настоящий интерес Англии. Неважно, что выстрел Никольсона стоил жизни нескольким французам!

Невелика беда... Британские стрелки, матросы "Пика" и "Президента" не для того совершали кругосветное плавание, чтобы высадиться на самой отдаленной батарее русских п о с л е т о г о, как ее заняли французы. Нет, он вовремя удержал своих парней. Они еще понадобятся для решающего штурма. Вот сегодня их день! Ну, а бомба, посланная с "Пика" в гущу французских матросов?.. Шальной снаряд, обычное на войне дело...

Замолчала батарея на перешейке, и десантные катера "Форта" подошли к узкой отмели. За ней начинались обрывы и крутизны Никольской горы. Матросы, британская морская пехота, французские стрелки, выйдя на берег, торопливо собирались в колонны. Глядя на то, как серо-зеленый берег покрывается красными и синими мундирами, Никольсон убеждался, что никакое неожиданное препятствие уже не задержит десанта, не заставит его повернуть.

Но нужно торопиться с проклятой батареей, дерзко отвечающей "Президенту"! Ее сопротивление задерживает высадку главных английских партий. Замысел Никольсона состоит в том, чтобы овладеть Никольской горой одновременным наступлением от перешейка и со стороны озера и, не задерживаясь, ворваться в порт.

Укрытая прочным земляным валом, батарея действовала тремя пушками. "Президент" подошел очень близко, на расстояние трехсот саженей. Меткое ядро русских уложило тринадцать человек на "Президенте". Но, несмотря на потери и значительные повреждения рангоута, становиться дальше не имело смысла, с батареей нужно покончить одним коротким ударом, чтобы высадить десант на всем протяжении Никольской горы.

На помощь "Президенту" пришел "Форт".

...Два часа не давал высадиться англичанам капитан-лейтенант Коралов.

Мягкие черты его матово-смуглого лица оставались спокойными. Только каштановые кольца волос, которые всегда кудрявились на лбу и на висках и нежно вились на молочно-белом затылке, слиплись, и обильный пот выступил вокруг его красивых темных губ. Он непрестанно ловил пальцами левой руки крохотный ус, правой же коротко взмахивал, командуя орудиями.

Три короткие двадцатичетырехфунтовые пушки его невозмутимо отвечали на огонь семи бомбических и двадцати семи тяжелых ядерных орудий англичан. Два часа шла борьба. Англичане начинали терять всякое терпение.

Коралов упал, раненный в голову, но батарея продолжала сопротивляться.

И только когда у единственной уцелевшей пушки, накалившейся от частой стрельбы, разорвало ствол, на батарее застучали молотки. Артиллеристы Коралова заклепывали три пушки, которые так и не приняли участия в сражении - они тоже были засыпаны землей и фашинами.

Теперь ничто не мешало повсеместной высадке десантных партий.

Англичане хозяйничали на разрушенной батарее, сидели верхом на орудиях, хлебали ром из походных фляг, жгли фашины, прикуривали сигары от орудийных фитилей, рубили станки и грозились камня на камне не оставить на проклятой земле. II После падения батареи Александра МаксUTOва Завойко неотлучно находился у порохового погреба, под горой. От неприятеля его отделяло несколько сот сажень. Между ними лежала Никольская гора, и Завойко из донесений начальников стрелковых партий знал, что по ее склонам уже карабкаются морские солдаты, вооруженные брандскугелями для поджога Петропавловска и дальнобойными штуцерами.

Генерал обдуманно избрал место для своего командного пункта. Сидя на сером валуне за погребом и прислушиваясь к перестрелке между батареей Коралова и неприятельскими фрегатами, он отдавал должное проницательности Муравьева, который пять лет назад при посещении Камчатки предсказал, что северные подступы к городу в случае высадки неприятеля окажутся наиболее уязвимым местом.

Попытка неприятеля пробиться в Петропавловск с парадного подъезда четыре дня назад была сорвана искусством и мужеством артиллеристов Сигнальной и Кошечной батарей. Сегодня неприятель постарается ворваться с черного хода, с фланга и тыла, не оставляя вместе с тем в покое и малую петропавловскую бухту. При нападении на Петропавловск с северо-запада Завойко нечего было делать на "Авроре". Там оставался - с небольшими резервами - капитан Изыльметьев, начальствуя над фрегатом и тремя восстановленными батареями.

От мысли сосредоточить свои стрелковые партии по гребню Никольской горы

Завойко отказался сразу же. Трудно сказать, куда направит удар враг. Десантные отряды могут обойти гору, послав вверх для отвлечения внимания лишь небольшие группы стрелков. Портовые партии на горе окажутся окруженными, отрезанными от Петропавловска, а дорога в город и порт будет открыта. Сражение могло быть проиграно мгновенно.

Поэтому Завойко послал на Николку лишь две стрелковые партии: поручика Губарева к северной оконечности горы и партию аврорцев к югу, к седловине. Они встретят неприятеля ружейным огнем и попытаются, под прикрытием кустарника, задержать его на береговом склоне Николки. А тем временем выяснится и главное направление десанта. Завойко твердо рассчитывал на то, что стрелковые партии, собранные в более тесное кольцо вокруг Петропавловска, сумеют оказать длительное сопротивление неприятелю и сломить его настойчивость. Беспокойство вызывала батарея Култушного озера: всего четыре орудия, едва прикрытые валом, сложенным из мешков с крупчатой мукой, орудийная прислуга, набранная из писарей, чиновников и рядовых нестроевой роты.

Командир батареи, корабельный инженер-поручик Гезехус, заметно волновался. Он зарядил два орудия из четырех картечью с твердым намерением подпустить неприятеля на близкое расстояние.

В артиллерийском резерве одна легкая сухопутная пушка на конной тяге. Жалкий резерв! Титулярный советник Зарудный, командир этой пушки и отряда волонтеров, имел весьма грозный и воинственный вид. Отряд Зарудного насчитывал девятнадцать человек, которые держались тесной молчаливой кучкой.

"Дрянные ружья, - заключил Завойко и, оглядев побледневших чиновников, подумал: - А стрелки, надо полагать, и того хуже".

Завойко удерживал при себе резервную партию. Всего двадцать три человека. Они могут понадобиться в любой момент. При штыковом бое, да еще на такой гористой местности, никогда не знаешь, куда устремится враг, где ему удастся найти незащищенный проход или опрокинуть малочисленный заслон. Важно сохранить до критического момента какие-то, пусть незначительные, но способные оживить сопротивление силы.

О южных подступах к порту Завойко почти не тревожился. Вестовые приносили успокоительные сведения. Три батареи, испытанные в бою 20 августа, надежно запирают вход в гавань. "Аврора" и "Двина" не боятся малых судов неприятеля. Пожалуй, в трудную минуту батареи Гаврилова и Дмитрия МаксUTOва смогут выделить стрелковые команды в помощь городу. Стрелковые резервы "Авроры" тоже пойдут в дело.

Завойко невольно ухмыльнулся собственному ходу мыслей. Резервы... Команды... Стрелковые партии... Громкие, обнадеживающие слова! Небольшие группы в семнадцать, двадцать, самое большое - тридцать человек! В общем, при всех усилиях не наберется и трехсот человек. Они затеряются на одном только склоне Николки. Еще неизвестно, что предпримет неприятель, сколько штыков он бросит на приступ города.

На батарее Коралова орудия умолкали одно за другим. Посыльный опаздывал с донесением. Завойко и сам слышал, что на батарее палит только одна пушка. Ранен капитан-лейтенант Коралов.

- В госпиталь! - приказал Завойко.

Не успел скрыться кондуктор, сообщивший о ранении командира батареи, а уж из-за горы показались носилки. Коралов с вяло склоненной набок головой вытянулся во всю длину носилок. Он был в беспамятстве. Лежал неподвижно, с кровавой полосой на мертвеннобледной шее, а батарея продолжала действовать... Но почему с такой тревогой смотрят на раненого волонтеры? Генерал сердито отвернулся от волонтеров. Он смотрел на дорогу, по которой непременно покажется неприятель, после того как окончательно разгромит батарею.

Несколько орудий "Президента" обстреливали навесным огнем внутреннюю отлогость Никольской горы. Вначале казалось, что это случайные выстрелы: артиллеристы, не рассчитав заряда и угла прицела, вместо порта обстреливают гору.

Но в неприятельских выстрелах была какая-то методичность и система. Ядра и бомбы ощупывали взгорье, на котором устроен пороховой погреб. Шаг за шагом, меняя участок, они приближались к погребу.

"Неужели они знают, где пороховой погреб! - Недоброе чувство к Усову хмурит лоб Завойко. - Может быть, матросы с "Авроры" не выдержали пыток?.. Или старик Киселев?"

Бесцельно думать об этом... Кто бы ни открыл англичанам секрет, они нащупывают пороховой погреб, защищенный со стороны дороги полуокружностью рва.

На площадку перед самым входом в погреб упала полуторапудовая бомба. Бомба скрыта от Завойко насыпью, образованной вынутой из рва землей. Сейчас раздастся взрыв, который затем повторится с несравненной силой. Крошечные капли пота выступили на лбу Завойко.

Еще полсекунды, секунда - и шипение потонет в грохоте взрыва. Завойко перестал слышать выстрелы "Президента" и "Форта", - на всей земле только и осталось, что зловещее шипение и дымок у входа в погреб.

...Кто-то бросился к бомбе. Крик изумления и испуга раздался в группе людей, стоящих вокруг Завойко.

Часовой порохового погреба наклонился, поднял тяжелую бомбу и бросил ее в глубокий ров. Взрыв потряс воздух. Часовой упал, вероятно оглушенный.

Вскоре его представили Завойко. Это отставной кондуктор Петр Белокопытов, по прозвищу Крапива. Он надел свой старый матросский костюм и наравне с прочими попросился "в службу".

Крапива был доволен до чрезвычайности, дряблые щеки румянились в седой щетине.

- Спасибо, дружок! - Завойко положил руку на костлявое плечо Белокопытова. - Не посрамил седой головы!

- Старая сноровка, ваше превосходительство, - козырнул Крапива, и при резком движении руки стало особенно заметно, как сильно сдал старый служака, - матросское платье свободно болталось и топорщилось на нем.

- Заслужил ты сегодня "Георгия", Белокопытов.

- Для "Георгия" грудь нужна молодецкая, - ответил Крапива, пожимая плечами и становясь еще тоньше. - А дадите - не откажусь. И седой голове лестно.

Канонада за горой усиливалась.

- Вот не знает англичанин, кто ему планы расстроил! - усмехнулся Завойко.

Старик польщен похвалой, обвисшие веки повлажнели; впрочем, у старика уже несколько лет как слезятся глаза. Он повернул голову к горе, за которой скрывался неприятель, и закричал высоким, стариковским тенорком:

- Эй, Англия! Не силен - не борись, не богат - не сердись!

Бескозырка упала на землю, открыв голову - точь-в-точь иссушенный солнцем и облетевший одуванчик.

- Нет, брат, - вздохнул Завойко. - И силен, и богат...

Умолкла батарея Коралова. Офицеры прислушались. На батарее заклепывают орудия.

Арбузов, чисто выбритый, с горящими глазами, в нетерпении переминался с ноги на ногу.

- Неужели невозможно использовать орудия правого фаса? - спросил он у Мровинского.

- Что вы, Александр Павлович! - голос Мровинского прозвучал укоризненно, почти обиженно. - Пушки не ружье, по команде "раз-два" не поворачишь...

Мровинский продолжал говорить, так как уловил в глазах Арбузова недоверие: "На свете нет ничего невозможного. Пустили бы меня на батарею, уж я бы..."

- Плохо, господа! - неприятно-менторским тоном заговорил Арбузов, как человек сторонний, имеющий право судить и оценивать. - Еще далеко до полудня, а береговые батареи пали. Берег открыт и доступен неприятелю. Теперь надежда на стрелков.

Над горой встал густой дым. Он заползал и с севера, по склону Николки, разорванный деревьями на тощие клочья.

- Горит рыбный сарай, - хмуро проговорил Зарудный.

На дороге показались артиллеристы Коралова. Они почти бежали, унося раненых на руках.

- Господа, прошу по местам! - приказал Завойко.

Мровинский неприязненно поглядел вслед Арбузову.

- Странный человек! Оригинал...

- Вы о ком? - спросил Завойко.

- Об Арбузове. На Амуре я как-то не разглядел его. Кругом было столько интересного, нового...

- Известная порода людей! - Завойко легко взмахнул кистью руки. Казарма. Плац-парады. Лесть младших офицеров и отвратительное всевластие над нижними чинами. Даже ясной голове за тридцать лет не устоять против этого... Весьма обыкновенная история.

В воздухе запахло гарью.

Клочья дыма обволакивали гору, пытались обойти препятствие, прорваться в город.

Вестовой от Губарева и помощник Коралова доложили Завойко о движении десанта: как и предполагал Завойко, удар наносился одновременно по трем направлениям; к седловине и на Никольскую гору двигались французы и небольшая часть англичан, главные же их силы были брошены к озерному дефиле. Обстановка определялась довольно точно. Завойко послал связного к Изыльметьеву с приказом бросить в бой все наличные стрелковые партии и фрегатские резервы, исключая оружейную прислугу. Депуант решил не высаживаться на берег. Адмиральская шлюпка остановилась у отмели, на расстоянии двух десятков сажень от берега. Тут, в виду разрушенной батареи Коралова, адмирал будет дожидаться сообщения о взятии Петропавловска.

После падения обеих батарей Депуант был уверен в победе. И все-таки, пожимая на прощание руку Ла Грандиеру - а ему Депуант вверял честь французского знамени, - он успел шепнуть:

- В случае неудачи (заметьте, капитан: я не допускаю мысли о ней, но предусмотрительность требует этого!) кто-нибудь из ваших людей должен

встать на видном месте и поднять обе руки к небу!

Никольсону с капитанского мостика "Президента" было гораздо удобнее обозревать местность. Перед ним, уходя направо, к перешейку, лежала Никольская гора, слева - низменный берег, дорога, за которой синело озеро. И все это пространство было занято десантными войсками.

Тут около тысячи человек. В авангарде шли двадцать рослых морских солдат с "Пика". Капитан Паркер тоже поднимался в гору. От Паркера на один шаг отстал знаменосец. У него в руках колебалось развернутое знамя Гибралтарского полка - символ храбрости и непобедимости британских морских солдат, приписанных к эскадре.

"Per mare, per terram!" - начертано на знамени.

Земной шар на знамени обвит лаврами.

Призывно звучат барабаны.

Кто остановит победное шествие британских солдат?! Царственный леопард поднял лапу. Под ним сверкала крошечная золотая корона. Ещё ниже надпись: "Гибралтар".

Морская пехота уверенно поднималась в гору. Красные рубахи мелькали в зелени кустов, задерживались у препятствий и упрямо ползли вверх.

Выше и выше...

Справа двигались французы. С борта "Президента" они казались особенно живописными, в синих куртках нараспашку, в темных, напоминающих по форме тапалы шляпах с развевающимися лентами. Они поднимались по склону горы, жестикулируя, словно продолжая обычный оживленный галдеж.

На левом фланге и ближе к центру продвигались матросы с "Пика", "Президента" и "Вилаго". Самые рослые, самые мускулистые и выносливые из всех, кто в это солнечное утро, как будто забавы ради, взбирался на молчаливую гору.

Французов на склонах больше, чем англичан, но в авангарде шли англичане. В важнейших пунктах - английские матросы. Впереди - Паркер, Барридж. Лейтенанты Кулум и Клеменс так и рвутся в бой, рыщут по склону, как заскучавшие по дичи ищейки. Гигант Ла Грандиер, мрачный бретонец Бурассэ, жеманный Лефебр - те ближе к седловине, на правом фланге, которому Никольсон не придает большого значения. Мундиры французских офицеров сверкают золотым шитьем.

"Великолепное зрелище! Чего опасался этот старый болван Депуант?! "По морю и по суше!" - написано на знамени Гибралтарского полка. Где британский солдат, там победа! - Никольсон ликовал. - Кто осмелится помешать десанту! Скоро партии достигнут середины горы, а сверху, где

предполагалась засада, еще не прозвучал ни один выстрел. Или прав Магуд и русские ружья - что-то вроде детских хлопушек - неспособны причинить вред на расстоянии ста шагов?"

Магуд шел в гору, по правую руку от Барриджа. Он не удивился, выслушав приказание адмирала отправиться с десантом. Ничего удивительного, что ему не верят. Людям нельзя верить на слово, и старик прав, желая заручиться более веским доказательством. Что ж, они скоро убедятся, что на этот раз Магуд не соврал. Пусть не думают, что он собирается их облагодетельствовать! У него свои счета с русскими, и уж на этот раз он постарается свести их так, чтобы не остаться в долгу.

Он не хотел бы попасться в руки Завойко. Но прийти в Петропавловск победителем, с десятком пар наручников, которыми запаслись английские офицеры, - совсем другое дело. Ради этого стоит рискнуть.

Крупный отряд англичан двигался в обход Николки к дороге. Он должен был захватить Озерную батарею, командующую дефиле, обнажить северные подступы к Петропавловску и охватить русские стрелковые партии.

Простой, дельный план.

Во всех пунктах численный перевес, преимущество вооружения, тактическое превосходство. Инициатива принадлежит храбрецам Паркера.

Дерзко, торжествующе били барабаны, швыряя трескучую дробь в спокойное голубое небо.

Кто устоит против натиска британских солдат!

Первым вступил в бой отряд англичан, обогнувший подножье Никольской горы. С этой минуты Завойко, стоявший на взлобке, у порохового погреба, весь подобрался и словно преобразился. Коротким, острым взглядом он мгновенно охватывал широкое пространство перед собой: Зарудного с волонтерами, стоящего в полусотне шагов; Гезехуса на валу батареи; командиров стрелковых партий, ждущих его приказаний; приближавшегося неприятеля. Он теперь непосредственно руководил людьми, разбросанными на обширной пересеченной местности; офицеры хорошо видели генерала и следили за редкими взмахами его руки.

Как только в дефиле показались англичане, вестовой от Завойко бросился к Озерной батарее с приказом: "Подпустить близко. Бить картечью, наверняка".

Завойко ни на минуту не упускал из поля зрения и Никольскую гору. Присланный поручиком Губаревым солдат сообщил, что по всему склону движется неприятель. Число солдат точно установить невозможно - их маскируют деревья и кустарники.

Во всяком случае, на Николке Губарев с отрядом и фрегатская команда человек в тридцать. Они задержат неприятеля. Хоть на время. Пока выяснится обстановка у Култушного озера.

Волонтеры Зарудного занимали открытую позицию между Озерной батареей и пороховым погребом. Они волновались в ожидании неприятеля, и если Зарудный не замечал этого, то только потому, что и сам был неспокоен. В странном чувстве, овладевшем им, не было ничего знакомого и привычного.

Думал ли он о смерти? Да, думал о ней, когда только началась артиллерийская перестрелка. Он завидовал Александру Максutowу. Их спор не был закончен. Максutow слишком упрямый, нетерпимый человек. Люди не меняют своих убеждений только потому, что им встретился красноречивый противник. Да и какое ему дело до убеждений Максutowа?! Слова - ничто, если они не скреплены делом. Кровью, жизнью своей нужно подтвердить иные истины. А жизнь, насмехаясь над порывом Зарудного, привязала его к маленькой пушке, к нестройной партии волонтеров, жизнь не позволяла ему доказать значительность слов, сказанных в памятное воскресенье, по дороге к Светлому Ключу. Зарудный искренне верил, что защищает нечто неизмеримо более высокое и значительное, чем то, что доступно пониманию Максutowа. Но защищать-то ему пока не приходится, а Максutow уже командует батареей, о которой даже скупой на похвалы Мровинский выразился весьма восторженно. Размышляя об этом, Зарудный желал себе любого исхода и даже смерти, только бы не прийти к концу дела с тем же нетронутым зарядом картечи, с той же холодной пулей в казенной части ружья. Когда же он узнал о тяжелом ранении Максutowа, об отваге Маши Лыткиной, нетерпение его выросло до чрезвычайности.

Зарудный вырос в просторах Азии, изъездил гористое Забайкалье, тайгу и равнины Восточной Сибири - края, где церкви соседствовали с кумирнями и дацанами*, где базары поражали разноречьем языков, контрастом лиц, где русский свободно объяснялся с якутом и тунгусом, а бурят знал русский язык с детства. Зарудный принадлежал к той распространенной породе простых людей, светлое и широкое сердце которых могло объять все иноязычные племена и народы, людей, с ненавистью наблюдавших колонизаторскую жестокость алчного, лишенного совести и честности чиновничества, и он попросту рассмеялся бы, если бы его обвинили в предвзятости, в намеренно неприязненном отношении к другому народу. Пустое! Зачем бы он стал ненавидеть мастерового, падающего от усталости у бирмингемской сталеплавильной печи, ливерпульского кочегара, изнемогающего подле жаркой топки, землепашца, бьющегося в тисках нужды, или манчестерскую

ткачиху, умирающую от чахотки? Этой Англии, Англии работников, Зарудный не знал, но понимал, что она есть, непременно есть, и ее безрадостный труд позволяет английским шкиперам и офицерам одеваться в лучшее сукно, плавать на надежных кораблях и кричать о своем превосходстве над целым миром.

* Буддийский монастырь. Но была и другая Англия: она возникала перед глазами при чтении газет и книг и отчасти была знакома ему по личным наблюдениям. Это Англия непроницаемых, надменных лиц, страна плантаторов и ростовщиков... Перед Зарудным возникали разные лица - то Магуда, хотя он был янки, то заезжего "геогностика", которого так решительно спровадил Завойко, то ханжеская физиономия Пальмерстона, портрет которого встретился Зарудному совсем недавно, в связи с военными событиями в Европе.

Английский отряд, выйдя на дорогу, на глазах у Зарудного разделился на две части. Большая группа двинулась к Озерной батарее, меньшая задержалась, осматриваясь в новой местности. По-видимому, они попытаются пройти у подошвы Николки, между пороховым погребом и отрядом Зарудного.

Неприятель был спокоен. Офицеры, в пунцовых куртках с белой перевязью, что-то обсуждали, показывая руками в сторону Петропавловска.

Большой отряд приближался к Култушному озеру, но батарея, где находился теперь, кроме Гезехуса, и Арбузов, молчала. Зарудный следил за батареей, хотя второй отряд пришел в движение и медленно сближался с партией волонтеров.

Когда до батареи осталось шагов шестьсот, англичане стали на ходу целиться в прислугу у амбразуры и в Арбузова, расхаживавшего по банкету. Несколько штуцерных пуль не достигли цели - испуганные писаря попрятались, а капитан Арбузов, чувствуя, что в это мгновение на нем сосредоточены все взгляды, остановился и погрозил неприятелю обнаженной саблей.

Хотя молчание батареи и смущало англичан, уже испытавших на себе выдержку и непреклонность русских артиллеристов, они, сменив шаг, кинулись вперед, рассчитывая броском овладеть позицией. Только тогда выстрелили две пушки, заряженные картечью.

Больше Зарудный не мог наблюдать за батареей.

На него шел отряд матросов, вдвое превосходивший численностью команду волонтеров. Волонтеры, кроме тех, кто обслуживал пушку и кое-как скрывался за ее дубовым лафетом, опустили на колени. Так было удобнее прицеливаться, а бурьян и трава закрывали тело.

Покуда стрелять не имело смысла. У волонтеров ударные ружья, переделанные в здешней мастерской из старых кремневых: огниво и подогнивная пружина были сняты, срезана полка, вместо этого вварен подстержник и кремневый курок заменен ударником. Дальность стрельбы увеличилась, и все же не было смысла открывать огонь дальше трехсот трехсот пятидесяти шагов.

- Лихо идут, подлецы! - восхищенно сказал Поликарп Жерехов, косясь на Зарудного.

- Лихо-то лихо! - отрезал Никита Кочнев. - Поглядим, как обратно побегут! Красные рубахи приближались. У офицера, плотного, квадратного человека, лицо с массивной челюстью и короткими, словно обрубленными ушами кажется надменным и жестоким.

Один из волонтеров выстрелил. Пуля шлепнулась на дороге, саженой за тридцать до шагающих матросов, и рикошетирила влево, к горе. Матросы засмеялись и открыли стрельбу из штуцеров. Волонтеры пригнулись к земле. Англичане ускорили шаг. Оставалось не больше двухсот шагов. Зарудному показалось, что он встретился глазами с офицером и уловил в них пренебрежение. Пора! Завойко поднял согнутую в локте руку и выжидательно смотрит на Зарудного. Если пропустить нужный момент, волонтерам придется плохо.

- Пали! - скомандовал Зарудный.

Пушка выстрелила картечью. После трех выстрелов, откатившись слишком сильно, пушка свалилась в яму, заросшую травой.

Картечь пробила брешь в первых двух линиях англичан. Со стоном упали раненые. Матросы подхватили их на руки и в замешательстве установились. Зарудный бросился вперед, увлекая за собой волонтеров.

Англичане повернули и побежали быстрой рысцой, унося убитых и раненых.

- Во как бегут! Славно бегут! - закричал рядом с Зарудным Никита Кочнев.

Справа, вдоль озера, растянулась цепочка морских стрелков Паркера они тоже бежали к заливу. Зарудный понял - Гезехус отогнал аванпосты неприятеля.

Пришлось остановить возбужденных, орущих волонтеров: соединенный отряд англичан мог легко перебить людей Зарудного.

Едва остановились, как слева, на склоне горы, послышался топот и громкие крики. Зарудному показалось, что англичане, овладев вершиной горы, бегут вниз, чтобы ударом с фланга и тыла уничтожить стрелковые заслоны. Но когда мимо Зарудного пробежал полицмейстер Губарев, а за ним показался и весь его отряд, Зарудный почувствовал некоторое облегчение.

Завойко уже спешил к месту неожиданной встречи двух отрядов. От Озерной батареи бежал, придерживая саблю, Арбузов, а за ним Гезехус.

Поджидая Завойко, Зарудный видел, как скатывается с горы отряд матросов с "Авроры", - среди них были и шлюпочные гребцы, одетые в красные рубахи, принятые Зарудным за мундиры англичан. На вершине горы сухо потрескивали штуцерные выстрелы.

Зарудный никогда не видел Завойко таким, как сейчас: он смотрел на Губарева широкими от бешенства, злыми, беспощадными глазами и, казалось, готов был ударить полицмейстера.

- Почему оставили гору без боя, без сопротивления?

Поручик обмяк, отвел глаза от бледного лица губернатора.

- Виноват-с, ваше превосходительство. Спешил на помощь батарее поручика Гезехуса.

Гезехус хотел что-то сказать, но, как всегда, от большого волнения стал заикаться. Обстановка была не такая, чтобы ждать, пока Гезехус разрешится фразой. Арбузов величаво молчал и уничтожающе смотрел на Губарева, точно говорил: "Вот они, ваши-то подчиненные, господин губернатор, полюбуйтесь!"

- Как ты смел? Без приказа, без моего разрешения!

- Виноват-с, - тупо повторял Губарев. - Виноват-с... Только я не от смерти, а к смерти бежал...

- Всё слова. Дурацкая болтовня... Не о твоей жизни дело идет... Теперь, гляди, и флотские побежали... Где неприятель?

- На гору подымается...

- На гору... - Завойко подался вперед и сорвал погоны с приземистого Губарева. - А ты с горы? Грабители в дверь, а ты в окно: пропадай добро, жена, дети...

- Виноват-с, виноват-с... - растерянno твердил поручик.

- О вине потом, - проговорил Завойко, шевеля белыми от бешенства губами, - если голова цела останется. Пойдешь в бой простым волонтером. Гардемарин Колокольцев! - приказал он стоявшему в резерве юноше. Приказываю: немедленно подняться на гору и занять оставленную позицию. Умрите, а назад ни шагу!

Колокольцев повернул отряд, но было уже поздно. Неприятель появился на гребне Никольской горы, от перешейка до северной ее оконечности. К выгодной в стратегическом отношении площадке, которую недавно занимал Губарев, подходили и англичане из партии, отступившей от батареи Гезехуса. Морские солдаты использовали оплошность полицмейстера.

Теперь и маленькому отряду аврорцев, которым командовал переброшенный с Кладбищенской батареи мичман Попов, пришлось отойти, чтобы не быть окруженным неприятелем. Но сегодня Попов чувствовал себя спокойнее, чем 20 августа, когда его артиллеристы заклепывали орудия Кладбищенской батареи. Он принял уже боевое крещение и знал, что вызванный необходимостью отход вовсе не означает поражения, что дело не проиграно, пока сохраняется боевой дух людей.

Попов шел последним и не сразу заметил, что капитан-лейтенант Тироль остановил отходящих матросов. Только столкнувшись с ним у подножья Николки, мичман увидел серое, перекошенное лицо и округлившиеся от бешенства темные глаза Тироля. Мичману мгновенно пришла на память палуба "Викториуса" в тот миг, когда Тироль набросился на беззащитного Цыганка.

Фуражку Тироль держал в левой руке, видимо уронив ее, когда бежал навстречу отряду; ветер поднял над бледной, покрытой испариной лысиной редкую прядь волос. Он поворачивал матросов на гору пинками, руганью, угрожал им зажатым в правой руке пистолетом.

- Мальчишка! - закричал Тироль, завидев Попова. - Только и умеете, что бегать от неприятеля...

- Господин капитан-лейтенант... - начал было потрясенный Попов, но Тироль остановил его.

- Молчать! - прикрикнул он на высокой, истерической ноте и, устремившись на гору, приказал: - За мной!

После бегства отряда Губарева их бросок не имел ни смысла, ни надежды на успех. Это понимали и Попов, и матросы его отряда, и Тироль, с яростным упорством взбиравшийся вверх. И когда с вершины раздался громкий штуцерный залп и одна из пуль царапнула щеку Тироля, он в немом бешенстве махнул рукой и повернул вниз, к порту. У подножья Тироль остановился, отдышался и, вытирая платком выступившую на щеке кровь, сказал с расстановкой Попову:

- Во всем виноваты вы, мичман. Теперь дела не поправишь...

Мичман ничего не ответил. Он не сводил с Тироля упрямого и дерзкого взгляда.

Никольская гора на всем ее протяжении оказалась в руках врага. Он открыл беглый ружейный огонь по "Авроре" и ближайшим к горе постройкам. Полетели вниз и ручные гранаты.

Озерная батарея и волонтеры Зарудного теперь не помеха англичанам. Овладев горой, неприятель сделал бесполезными и Озерную батарею и

укрепления, выдержавшие огонь фрегатов три дня тому назад.

От деревянных строений Петропавловского порта, жилых домов и казарм неприятеля отделяло несколько сот саженей пологого склона Никольской горы. Мелким стрелковым партиям Завойко не сдержать натиска англичан и французов, когда те ринутся вниз, под аккомпанемент ревущих ядер, бомб, рычащих конгревовых ракет, гранат, рвущихся сухо, как гигантские хлопушки.

Осматривая Петропавловск с горы, Барридж впервые без злости вспомнил о Никольсоне: "Все-таки приятно чувствовать, что ты сам, собственной рукой, схватил противника за горло и бросил его на землю. Никольсон схитрил - тем хуже для него!"

Солнце стояло над уютной ложбиной. Город раскинулся в ней, недвижимый, молчаливый, словно не было никакого боя. Ни одного разрушенного дома. Ни одного пожара.

Барридж хлопнул по спине Магуда, глазевшего на Петропавловск со смешанным чувством любопытства и необъяснимого страха. Здесь все было как прежде, как в тот день, когда Магуд бежал. "Св. Магдалина" и мелкие каботажные суда робко жмутся к причалу. У входа в бухту "Аврора" и "Двина". Но почему-то тихо. Тихо до странности.

- Молодец, янки! - добродушно процедил Барридж. - Мы тебе многим обязаны.

- Пустяки, - небрежно ответил Магуд. - У меня с Ними свои счета. Они еще вспомнят Магуда! Ого-го-го! - заорал он, и звук его голоса покатился вниз, не смешиваясь с гулом пушек.

Депуант смотрел на гору в зрительную трубу. Весь хребет занят его солдатами, матросами Никольсона. Вот и верзила Ла Грандиер. Конечно, никто не поднимает рук к небу. Как могла прийти ему в голову мысль о неуспехе?

Барридж взмахнул рукой. Барабаны били наступление.

Депуант приказал перетащить свою шляпку по отмели к берегу. В Петропавловске он будет раньше Никольсона! III В ожидании операции Александр Максutow лежал у окна госпитальной палаты. На перевязочном пункте им не стали заниматься, - нужно было отпиливать руку у самого плеча, удаляя раздробленную кость.

С низкой госпитальной койки он видел в те минуты, когда возвращалось сознание, только светлый квадрат неба, то серый, постепенно темневший, то ослепительно белый, до рези в глазах. Временами небо становилось привычно голубым, и тогда Максutow слышал голоса за стеной, шарканье ног

в палате, чье-то покашливание, звяканье стекла и металлических инструментов.

Звуки артиллерийской канонады, приглушенные горой, вначале вовсе не достигали его слуха. Он слышал только далекий слитный шум, но шум пропадал всякий раз, едва раненый напрягал слух.

Затем наступило облегчение. Вильчковский дал ему болеутоляющее, и ушибленная спина перестала чувствовать жесткий тюфяк. Во рту оставался неприятный, вязущий вкус, приходилось часто глотать слюну.

Он лежал плашмя, не поворачивая головы, скашивая глаза на окно, но за окном не было и не могло быть ничего, кроме чистого неба. Деревья, которые росли здесь раньше, срублены при постройке казарм и больницы.

Маша всматривалась в измученное лицо МаксUTOва. Предупрежденная Пастуховым, что батарея на перешейке прекратила сопротивление, она возвратилась в госпиталь и осталась при сердитом, громяющем Вильчковском. Аптекарь, счастливый тем, что дочь жива и невредима, носился по госпиталю, наполняя комнаты суетой, латынью, как-то странно звучавшей среди горячечного бреда, стонов и вздохов.

- *Fiat lege artis!** - самодовольно восклицал Лыткин, величественным жестом передавая Вильчковскому склянку. - *Quatitativim!* По каплям! - поучал он фельдшера с утомленным, испитым лицом.

* Приготовлено по правилам искусства! Маше было тяжело слышать резкий голос отца, нечуткого к человеческим страданиям. "Как должен он быть неприятен этим несчастным, стискивающим челюсти до скрежета, чтобы не закричать от боли!" Наркотиков для нижних чинов не хватало, раненые матросы переносили мучительные операции, получив несколько чарок водки. Мир представлялся Александру мрачным и бессмысленным. Петропавловск падет. Существует логика более сильная, чем логика титулярного советника Зарудного. Количество орудий. Калибр. Дальнoбойность. С этим ничего не поделаешь.

Мысли упорно держались недавнего прошлого. Пустынный залив, скалистые ворота и зеленые горы словно отрезали МаксUTOва от прошлого. Перед глазами Петропавловск, чужое, нищее селение, воскресная обедня в старой церкви, дремотный причал, Маша... Ни одного близкого, родного лица. Никто из друзей юности не приходит к нему, в этот, быть может, последний час жизни. А были ли друзья? МаксUTOв тихо застонал. Ему трудно вспоминать прошлое. Пустота огромного родительского дома. Гувернеры. Слова, утомительные слова, от пробуждения до темноты. Мать, которой он привык

повиноваться во всем по малейшему движению ее бледной, но деспотической руки, по первому взгляду подвижных, всегда возбужденных глаз. Унылая суতোлка европейских курортов, наконец Морской корпус, желанный корпус, военные экзерцисы, неукоснительный устав, возможность уйти в себя, никому не исповедоваться, одеться в защитную броню мундира и княжеского титула... Годы бегут, ускользают, не дав рассмотреть себя. Но где же друзья? Если бы друзья были, они сами пришли бы...

В палату вошел Тироль. Его сухой, тонкий профиль сегодня непроницаемо строг. Учтивый офицер, он прошел мимо Маши, даже не поклонившись.

Остановился у постели, почти касаясь байкового одеяла.

- Александр Петрович! - сказал он громким, деревянным голосом. Мужайтесь!

- А-а-а! - раздалось не то приветствие, не то стон МаксUTOва.

МаксUTOв с трудом повернул голову. Увидел Машу. Дрогнули углы губ, но сил на улыбку не достало.

Тироль, прижав фуражку к левому боку, наклонился над МаксUTOвым.

- Иван Николаевич просил сказать вам: он благодарит вас за службу.

Александр слабо кивнул головой.

- Что передать Изыльметьеву? - спросил Тироль.

- Я теперь многое понял, - проговорил МаксUTOв осипшим голосом. Дмитрий жив?

- Жив.

Тироль замолчал. Он и сам считал дело проигранным, конченным, но более всего был удивлен собственным спокойствием, каким-то тупым, покорным равнодушием, заползающим в душу. Зачем Изыльметьев послал его к умирающему лейтенанту? Какое это теперь имеет значение?.. А впрочем, все равно!

Как только ушел Тироль, МаксUTOв окликнул Машу:

- Марья Николаевна, вы были на батарее?

- Была. Я видела, как вы командовали! - прошептала Маша взволнованно. - Этого невозможно забыть во всю жизнь.

- Минута... - МаксUTOв закрыл глаза. - Одна только минута, а цена жизнь...

- Когда вы упали, на "Форте" и в шлюпках закричали: "Виват! Виват!"

- Правда?

- Они обрадовались, считая вас убитым.

- Значит, там заметили меня, - пальцы здоровой руки МаксUTOва медленно скользнули по одеялу, сжимаясь в кулак. - Значит, они видели, кто был на батарее?..

- Еще бы!

Вошел священник Логинов, но Максудов закрыл глаза и упрямо ждал, пока он уйдет.

- Слава богу! - сказал он, усмехаясь, когда угрюмый Логинов прикрыл за собой дверь. - У меня еще осталась рука, чтобы перекреститься самому...

Едва улетучился едкий запах уксусных курений, который врвался в палату из обширной залы, когда открывали дверь, к Максудову заглянул Иона. Упругими колечками покатались по комнате сочные "о" иеромонаха. Выразительным жестом пухлой руки он выпроводил из палаты Машу.

Она вышла в залу, занятую ранеными матросами и стрелками. Между койками хлопотали фельдшерские ученики, старые матросы из инвалидной команды и Харитина.

Вильчковский приветливо улыбнулся Маше. Он только что ампутировал ногу у молодого матроса с "Авроры" и поручил его фельдшеру для перевязки. В приоткрытую дверь доносилась болтовня Лыткина.

- Веселый у вас отец, Машенька, - бросил на ходу Вильчковский.

- По-моему, неприлично кричать здесь без умолку. Весь этот шум, латынь...

- Что вы, друг мой! - Вильчковский удивленно остановился. - Латынь! Это музыка для уха раненого. Он слышит ученые слова и верит в спасение, в чудо. Ваш батюшка кажется ему магом, чародеем. Веселье и ученость бальзам для больного.

Молоденький матрос умоляюще смотрел на Харитину:

- Сестричка, во-о-дочки!

Харитина поднесла ему чарку и, приподняв голову, влила водку в открытый рот. Это, с разрешения Вильчковского, уже в третий раз.

Матросу казалось, что она хитрит, недоливает. Глаза в глубине были словно накалены докрасна от боли.

- Еще, еще, красавица! Что ты меня наперстком поишь?

- Абордаж! Абордаж! - с досадой басил из угла раненый бритоголовый матрос. - Кажись, я умру на судне, а того абордажа и в глаза не увижу...

- Эх, силен я, братцы, врукопашь драться! - воскликнул молодой матрос, сожалея о том, что ему не выпало показать этого на деле.

Отдаленный грохот, то слабый, то усиливающийся, оживленно обсуждался в самом благоприятном для Петропавловска смысле.

Маше было легче среди этих людей. Для большинства из них Петропавловск чужой, случайно встретившийся в жизни порт. А какое сердечное участие к его судьбе!

Матрос с ампутированной ногой тихо позвал Харитину.

- Сестричка, - прошептал он, - ты не засватана, а?

Харитина склонилась над ним белое смеющееся лицо:

- Нет.
- Это ладно. Меня дожидайся. Спишут меня с корабля - оселюсь у вас...
- Небось дома невесту оставил, - сказала Харитина, поправляя подушку.
- Оставил, - не сразу признался матрос - Зазнобушку. Гордая она, без ноги не возьмет.
- А как же я? - удивилась девушка.
- Ты добрая, ты жалеть станешь! Дай чарочку, сестричка!
- Хватит! - строго оборвала его Харитина.

Иона позвал Машу. Он вышел из палаты в глубоком расстройстве, горестно покачивая головой.

- Впал в великое уныние, - сказал Иона и беспомощно развел руками. Привязанность к мирской суете и недостаток веры! Побудьте с ним.

Маша вошла в палату. Максutow не видел ее, но, вероятно, услышал шаги или просто почувствовал присутствие девушки.

- Марья Николаевна?
 - Я здесь, - ответила Маша, которой показалась тяжелой, давящей атмосфера этой комнаты.
 - Скажите, когда я упал, артиллеристы побежали с батареи?
 - Нет.
 - Мне казалось, что мимо меня пробежали люди...
 - Артиллеристы оставались и вели огонь из последней пушки.
- Максutow передернуло. Значит, все шло своим чередом? Словно кто-то обворовал его, кто-то посягал на его славу. Неужели не он сделал последний выстрел?
- Вы хорошо помните, Маша? Это важно.
 - Помню. Батарея сопротивлялась, пока мичман Пастухов не приказал заклепать орудия и уйти...
 - Бессмысленно... Глупо...
 - Что? - не поняла Маша.
 - Сопротивляться... Они слишком сильны, - тихо сказал Максutow.

Его охватила непонятная злость. Мелкая, будничная, отвратительная, как малярный озноб. Зачем она говорит неправду? Он ясно видел сапоги бегущих матросов, слышал топот ног у самого уха. Или она хотела успокоить его? Глупо!

- Вы нравились мне, Маша, - прошептал он неожиданно.

Маша молчала. "Кажется, Вильчковский идет".

- Почему вы молчите?

- Мне нечего вам сказать.

- Понимаю, - мучительная улыбка сделала лицо МаксUTOва неприятным, отталкивающим. - Я скоро понял, что мы не подходим друг для друга. Вы созданы для господина Зарудного...

Маше трудно молчать, трудно сдерживать себя, помнить, что перед ней тяжело раненный офицер.

- Я не люблю господина Зарудного.

Она старалась говорить мирно, безразлично, но слова звучали вызывающе.

- Полюбите... Он упрямый человек... Азиат... Такие ждут десятилетиями.

Маше захотелось вдруг рассказать о Мартынове, об их давнишней дружбе. Зачем? Он не поверит.

- Я никого не люблю, - упрямо сказала Маша.

- Полюбите... Куда вам от него деваться... здесь, на Камчатке...

Внезапно Маша побледнела и бросилась к окну. Колени больно ударились о койку, но она не почувствовала этого. В синих, широко открытых глазах мелькнули изумление и страх.

- Что случилось, Марья Николаевна?

- На Никольской горе неприятель... Боже мой! Ничего не удалось сделать...

Окно выходило на Никольскую гору. Маша видела синих и красных гномов - они перебежали по хребту. Послышалась частая ружейная пальба, новые звуки для Маши.

Максутов устало опустил веки. Кончился изнурительный безнадежный труд, и можно наконец отдохнуть, забыться в тяжелом сне.

Вильчковский вошел в палату, оживленный, бодрый, в сопровождении фельдшера и старого матроса. По-видимому, он уже знал о неприятеле, заметил его в окно соседней комнаты. Во всяком случае, спокойный взгляд, который он бросил на Никольскую гору, не изменил выражения его лица. Как будто он хотел только удостовериться, не привиделся ли ему неприятель несколько секунд назад.

- Ну-с, Александр Петрович, - сказал он, поглаживая полосатый жилет, - пора и за вас браться. Вы погрузитесь в сладчайшую нирвану, а мы тем временем отремонтируем вас.

Старый матрос начал готовить МаксUTOва к операции.

РАЗГРОМ

I

Изыльметьев давно опасался появления врага на Никольской горе.

Атака, предпринятая неприятелем в этот день, представляла наибольшую

угрозу для Петропавловска. Она обрекала на бездействие две сильнейшие батареи, значительную часть людей и прежде всего "Аврору".

Англичане избегали встречи с "Авророй". Они боялись русского флота. Большие, свободно маневрировавшие фрегаты неприятеля вместе с буксирным пароходом прятались от "Авроры". Двести орудий неприятеля уходили от двадцати двух пушек "Авроры", - она стояла у входа в гавань мужественно и непоколебимо.

Англичане предпочитали захватить порт, напасть на фрегат с тыла, а уж затем в донесениях расписать, как д о б л е с т н ы е офицеры и матросы ее величества п о б е д и л и "Аврору", взяв ее на абордаж.

То, что неприятель боялся "Авроры", наполняло Изыльметьева гордостью. Что ж, если падет город и порт, "Аврора" будет сопротивляться до конца и не попадет в руки неприятеля. На фрегате еще достаточно пороху...

Выстрелы "Облигадо" не заставили Изыльметьева уйти с палубы. Глубокая морщина прорезала лоб, и усы казались сегодня взъерошенными, злыми. На палубе, надраенной утренней вахтой, лежали концы перебитых грот-вант и грот-штага. В грот-мачте зияла сквозная пробоина. Правая скула фрегата повреждена ядром. Слишком большого вреда выстрелы "Облигадо" сделать не могли: корпус фрегата был закрыт перешейком, и бриг, стреляющий исключительно ядрами, не мог взорвать "Аврору". Повреждение рангоута в этом положении не играло большой роли.

Другие мысли тревожили капитана "Авроры".

Если судьба Петропавловска решится на извилистых тропинках Никольской горы, в штыковом бою, не следует ли ему оставить фрегат и вместе с матросами отправиться навстречу англичанам? Правильно ли он поступает, оставаясь на "Авроре"? Последний эпизод сражения - сопротивление и взрыв "Авроры" - может быть весьма героическим и памятным для врага, но судьбы порта он не изменит. Героическая смерть не заглушит тяжести поражения.

Несколько минут назад посланный от губернатора покинул палубу фрегата. Завойко сообщал, что у него только сто двадцать человек против многочисленного неприятеля, остальные на батареях. По количеству десантных судов Изыльметьев и сам рассчитал, что в высадке участвует не меньше восьмисот человек. Трудно устоять против такой массы неприятельских штыков. Завойко приказал бросить в бой все резервы.

Только что Евграф Анкудинов и Пастухов с двумя партиями отправились с "Авроры" на Никольскую гору. В резерве оставался еще один отряд аврорцев, во главе с мичманом Михайловым. Молодежь, горячие офицеры, на них можно вполне положиться. Сколь ни заманчиво самому броситься в бой,

чувствовать, как твоя пуля настигает врага, у командира есть более сложные обязанности. Пусть идут вперед эти юноши с открытыми, честными лицами - сегодня большой день в их жизни. Он останется здесь, - еще неизвестно, какие трудные решения придется принимать на "Авроре".

По приказу Изыльметьева отряд матросов переправился на перешеек, уже под ружейным огнем англичан. Перед тем как они погрузились в шлюпки, Изыльметьев сказал несколько слов, запросто, словно давая практический совет в далекую, спокойную дорогу: "Помните, что русские умело ходят в штыки".

Напряженно смотрел Завойко на гребень горы, занятый неприятелем. Он не знал, достиг ли посланный "Авроры". Успеют ли фрегатские подойти до того, как англичане и французы захватят внутреннюю отлогость горы?

Арбузов уловил минутную растерянность Завойко.

- Дайте мне ваш резерв, - предложил он азартно, - и я сброшу врага с горы.

Ружейный огонь начинал серьезно беспокоить людей.

- Резерв? - переспросил Завойко. - Рано.

"Боится, - решил Арбузов. - Канцелярский генерал. Предпочитает держать резерв для охраны собственной персоны".

Вскрикнул Мровинский, который стоял между Завойко и Арбузовым. Внезапно сел на землю и застонал, обхватив худыми пальцами ногу. Голень левой ноги была раздроблена.

Завойко приказал командирам стрелковых партий, находившихся у северной оконечности Николки, идти на гору для встречи с неприятелем. Англичане и французы замешкались, поджидая своих стрелков и отыскивая наиболее удобные пути для проникновения в город.

Барабаны затрещали по всему гребню. Неприятель двинулся вниз под воинственные крики и беспорядочную ружейную пальбу. Главные силы англичан под командой Паркера наступали у северной оконечности Никольской горы. Раздвигая кустарник, спешили рыжебровые солдаты морской пехоты. Прыгали с бугра на бугор, откидываясь назад, чтобы не бежать слишком быстро. Шли вразвалку матросы в красных рубахах, втянув голову в плечи, оскверняя воздух замысловатой руганью.

Шли под дробный стук барабанов, слыша за своей спиной дыхание солдат, ругань матросов с "Пика" и "Президента", выкрики офицеров, гулкие раскаты корабельных орудий. После скалистого берега и отвесных круч долина казалась безлюдной, покорно дремлющей за стеной огня и смерти, воздвигнутой в эти дни русскими артиллеристами.

Волна за волной спускались по склону англичане. Выстрелы русских ружей и

мушкетеров не очень тревожили их. Пули на излете достигали первых рядов и почти не причиняли вреда.

- Вперед! - ободрял морских солдат капитан Паркер. - Вперед, сыны Англии! Знамя Гибралтарского полка трепетало от быстрого шага. Золотой леопард протянул лапу к городу. У поясов унтер-офицеров позванивали стальные наручники.

Вперед!

Сидя в овраге, Никифор Сунцов смотрел на англичан из-под круто нависавшего над серыми глазами лба.

В плотных зарослях ольхи, в сухих травянистых оврагах, между складками горы, в старых рвах и ямах, оставшихся после строительства казарм и офицерских флигелей, скрывались стрелки и матросы. Колокольцев, поддержанный двумя другими партиями, предпринял попытку вернуться на гребень горы, но сильный огонь неприятеля заставил его отступить и залечь. Никифор Сунцов - коренной забайкалец. Грамоте он научился от отца, в свою очередь просвещенного политическим ссыльным екатерининских времен. В его серых глазах, зорких и пронзительных, жило умное, пристальное любопытство.

Он давно решил, что постарается найти среди массы неприятельских солдат офицера и самую верную пулю отдать ему. К этому вели и выгода и тайные мысли Никифора Сунцова о несправедливом устройстве мира. Капитан Арбузов еще на Амуре объявил стрелкам, что за поражение неприятельского офицера полагается Георгиевский крест.

У самых глаз Сунцова по краю рва рос папоротник, скрывая солдата узорчатой листвой. Дуло семилинейного ударного ружья высунулось вперед, раздвинув прямые стебли папоротника. В двух шагах от Сунцова находился Никита Кочнев, а чуть поодаль - седобородый Иван Екимов, тот, что первым записался в ополчение. Вынужденные залечь под огнем англичан, партии смешались, в ряды сибирских стрелков затесались местные жители и матросы с "Авроры".

Никифор настороженно следил за англичанами. Он выжидал, хотя вокруг уже слышалась пальба.

Никита Кочнев стрелял не целясь, не замечая того, что дуло его ружья смотрит вверх, на вершину горы, где теперь появлялись одинокие фигуры французских матросов. Иван Екимов, которого раздражала бессмысленная стрельба Кочнева, спросил:

- Никак испугался, парень?

- Не-е! - ответил Никита задиристо. - Гостя пугаю.

- Ты его не пугай, - заметил старик наставительно. - Ты его убей. Прилядись и убей.

Теперь, когда англичане подошли ближе, видно, как их много. Сунцову представились маленькие кучки вооруженных людей, зябко жавшихся друг к другу на рассвете этого дня у Николки. Сколько их? Верно, человек сто сто пятьдесят, не больше. Как же они могут сдерживать красно-синюю лавину, устремившуюся вниз, с горы? Здесь сотни человек, горластых, идущих вперед под прикрытием судовой артиллерии, обстреливающей город.

Офицера среди них нет, он, вероятно, где-нибудь сбоку. Никифор видит разгоряченные лица. Лучи солнца, падающие отвесно, освещают безусые лица неприятельских солдат. Сунцова поражает одинаковость их выражения. Есть в них что-то барское, усиливается тяжелым шагом вразвалку, трубками, сигарами, затейливыми бакенбардами, обрубленными или смыкающимися на подбородке.

- Гляди, отец! - крикнул он Екимову так, что его могла услышать первая шеренга англичан. - И впрямь брит пожаловал. Дома побрились, а к нам, однако, постричься прибыли!

Ответа Екимова Сунцов не услышал. В нескольких шагах от них послышалось громкое "ура" и понеслось, охватывая подножье Николки, навстречу такому же воинственному кличу, который возник над перешейком.

Не слыша команды, повинуясь общему порыву, Сунцов поднялся. Бросил свое литое тело вперед и, топчя высокий папоротник, устремился навстречу англичанам, угрожая штыком.

Громкое "ура-а-а" покатилося по ложбине, метнулось к гребню горы.

Эхо повторило голос сибирских стрелков, ринувшихся на гору. Воинственное "ура-а-а" летело на гору от седловины, от портовых магазинов, из рощ, разбросанных по склону. Оно вырывалось из крепких глоток аврорцев, несло впереди артиллеристов Гаврилова и Дмитрия МаксUTOва, грохотало вокруг матросов, ломившихся сквозь кустарник навстречу врагу. Оно гремело, как свирепые волны северных морей, как могучий порыв ветра, срывающий с якорей суда.

Дробь барабанов потонула в протяжном крике. Он разрывал зеленые заслоны, звенел о каменные выступы, сливался в один непрерывный гул, заполнив собой весь склон Николки. И когда на всем протяжении горы сверкнули русские штыки, а снизу, предводительствуемые Завойко, побежали стрелки и матросы, не сводя с неприятеля пристальных, бесстрашных глаз, англичане дрогнули.

Было что-то устрашающее, леденящее кровь во внезапном броске русских, в

суровой решимости, написанной на их лицах, в их слитности, которая, казалось, во сто крат умножала силы защитников порта.

Неприятель остановился, поспешно заряжая ружья. Но ружья уже не решали дела. Презирая смерть, русские приближались слишком стремительно, угрожая англичанам стальными лезвиями штыков. И тогда морские солдаты Паркера повернули, бросились вверх, увлекая за собой французов.

А грозная атака нарастала. Ободренные бегством врага, матросы "Авроры" и сибирские стрелки поднимались в гору, настигая неприятеля.

Депуант только что оставил адмиральский вельбот. Он собрался в Петропавловск. Что барабаны умолкли, он находил вполне естественным: его мальчишки пошли врукопашную, а тут уж не до барабанов. Хватит и того, что небу и горам жарко стало от того, как они орудуют. Но что они кричат?

"А-а-а!" - донеслось до слуха Депуанта.

"Черт их знает! Холмы так шутят с голосами матросов, что из победных кличей их выходит подобие русского "ура"..." Англичане бежали, ныряя в плотную листву ольшаника. Бежали, поворачивая на ходу испуганные лица, роняя сигары и трубки, подпрыгивая и петляя, когда им казалось, что русский штык преследователя вот-вот ударит в спину. Бежали молча, безразличные ко всему, кроме спасения собственной жизни.

Пастухов со своей партией быстро продвигался в гору в районе перешейка. Легко отрывая тело от земли, ощущая в мышцах ног и ровно работающем сердце большой запас сил, Пастухов поднимался выше и выше... Бархатный дерновый ковер, распластаный между двумя известковыми скалами. Камень, на котором он часто сидел с Настенькой, наблюдая закат. Крутой поворот тропинки у обрыва...

Образ Настеньки продолжал жить где-то в глубине сознания. Она второе после матери близкое для него существо, светлый образ родной земли, радостный и грустный вместе, молодой и приветливый, как березовый подлесок. Благодатная синь здешнего неба, необъятная, но зримая, отчетливая из-за горного обрамления ширь залива, мягкая зелень земли - все неотделимо от Настеньки. Мир полон красивого, возвышенного, а она лучшее, что есть в нем...

Впереди отряда камчадалов бежал Илья. Его темные быстрые глаза полны живого интереса и мысли. Камчадалы подымались в гору молча, открывая рот только для короткого выдоха. Их угрюмая молчаливость среди топота бегущих ног, хруста веток и накрывающего все "ура-а-а" придавала небольшому отряду какую-то особую значительность.

Неудержимая атака нарастала.

Сибирских стрелков и матросов поддерживали артиллеристы, брошенные с Сигнальной, Кошечной и стертой с лица земли "Смертельной" батареи. Ушел на гору Арбузов с отрядом стрелков. Резерв тоже был пущен в дело. Завойко и сам находился на Никольской горе с атакующей неприятеля партией Колокольцева, не переставая следить за общим ходом дела. Для охраны озерного дефиле теперь достаточно было волонтеров Зарудного и орудийной прислуги Гезехуса. Северная оконечность Никольской горы, у Култушного озера, и южная, у перешейка, были сосредоточием неприятельских сил, - тут, соответственно, находилась и большая часть стрелковых партий. Но и на всем протяжении горы, рассыпавшись редкой цепью по склону, двигались русские.

Увидев, что англичане повернули, Магуд бросился в сторону, надеясь скрыться от морских солдат Паркера. Он искал спасения у французов, несмотря на то, что Депуант так негостеприимно встретил его. Тут был хоть один шанс из ста. Нужно примкнуть к французам, сесть в их шлюпку, попасть на французский фрегат. Но Магуд понимал, что сделать это почти невозможно - для этого необходимо пересечь наискось весь склон и перевалить через гору у перешейка. Вряд ли на это хватит времени.

Портовые партии настигли неприятеля у гребня горы. Пока расстояние не позволяло действовать штыками, люди стреляли в неприятельские спины на ходу, с коротких остановок. Успевали стрелять даже те, у кого ружья заряжались с дульной части.

На вершине Барриджу удалось задержать часть английской морской пехоты. Он размахивал пистолетом перед носом матросов. Особенно бесили его матросы Никольсона. Головорезы с "Пика", всегда готовые к драке, к поножовщине, уходили быстрее всех. Некоторые из них в суматохе бросили ружья. Барридж, который считал величайшим свинством измену боевому содружеству, ощутил прилив злобной ненависти к Никольсону. Но пока Барридж беснуется здесь, без фуражки, потерянной бог весть где, орет на матросов, рискуя каждую секунду свалиться от русской пули, Никольсон наблюдает за необычайным зрелищем в подзорную трубу.

Паркер и Барридж увидели, какая опасность ждет десант. Если люди побегут и дальше, вниз по склону, к отвесным кручам, они погибнут.

Изыльметьев предусмотрительно направил ударные партии к перешейку. Если отрядам, которыми руководит Завойко, удастся успешно действовать со стороны озера, фрегатские партии не дадут врагу спастись бегством по пологому склону, у перешейка. При успешном отражении неприятеля фланги будут зажаты, англичане и французы понесут ощутимые потери.

В поисках офицера Сунцов посветлевшими от злости и азарта глазами на ходу обшаривал гору. Он дважды выстрелил к, кажется, не промахнулся, во всяком случае солдаты, в которых он метил, упали, но были тут же подхвачены на руки и унесены. Перед глазами мелькнула фигура в офицерском мундире, с открытой головой, и сразу же потерялась, нырнула за гребень горы.

Уже приближаясь к вершине, Сунцов заметил Паркера. Узкое лицо капитана Гибралтарского полка кривилось над острым, подвижным от крика кадыком. Подобравшись поближе, Сунцов прицелился.

Пуля Сунцова угодила Паркеру под подбородок и вышла у макушки. Капитан взмахнул длинными руками; руки, воздетые к небу, на какую-то долю секунды замерли, и Паркер рухнул на спину.

По всему гребню завязался рукопашный бой. На каждого матроса с "Авроры", на каждого стрелка или камчадала приходилось по три-четыре неприятельских солдата. Камчадалы действовали исключительно как стрелки у них не было штыков. Солдаты английской морской пехоты, матросы соединенной эскадры все еще были на гребне горы.

Схлестнулись люди, скрестились, лязгая, штыки. Стоны и вопли слышались среди несмолкавшего басовитого "ура-а-а", готового перевалить через вершину и покатиться вниз. Офицеры десанта метались по зеленой вершине, ободряя солдат. Одно только усилие, один мощный удар, который сбросил бы горсть русских с гребня, - и честь английского знамени будет спасена, десант увенчается успехом, Петропавловск ляжет у ног, беззащитный. Одно усилие...

Тут и там рассыпалась дробь барабанов. Но она тонет в реве, в криках отчаяния.

Нет, барабанам уже не сыграть грозной музыки наступления... Вот упал, обливаясь кровью, барабанщик. Гладкий ремень соскользнул с плеча, и барабан покатился к обрыву, подпрыгивая и ухая негодующе, глухо... Еще бы одно усилие, один смелый бросок!

Аврорцы в светлых парусиновых рубашках шли вперед, точно им не угрожали неприятельские штыки. Велико, необыкновенно одушевление, охватившее людей! И враг не выдержал этого натиска. Враг бежал.

Бежали англичане и французы. Неслись вниз без дороги, сломя голову, подгоняемые страхом. Русские преследовали их, подогревали ружейным огнем, наваливались сзади неотвратимым, как горный обвал, "ура-а-а".

Офицеры уже не могли справиться с обезумевшей от страха, ревущей толпой, не могли остановить ее и построить в боевые порядки. Все смешалось.

Барридж бежал вместе с матросами Никольсона, злобно отталкивая матросов и даже знаменосца, за которым волочилось знамя Гибралтарского полка - леопард, занесший лапу над земным шаром в знак своего владычества над морем и сушей.

"Per mare, per terram!"

Бежал лейтенант Кулум, оставляя за собой кровавый след, не видя, что его друг Клеменс безнадежно отстаёт, припадая на простреленную ногу. Пронесся мимо плешивый, черноротый Мэт Робинсон, нечистоплотный офицер с "Пика", презираемый товарищами. "Этот уцелеет, - успел подумать Кулум. Такие сволочи долго живут!"

Пастухов, как и его солдаты, орудовал штыком. Ему было отлично видно, как смело действовали матросы лейтенанта Анкудинова и мичмана Михайлова, как молодецки разили они врага. "Удача!" - хотелось крикнуть Пастухову так, чтобы его услышали все в порту - и Максutow в палате и Настенька на хуторе. Недавно матросы Анкудинова ещё топтались где-то у перевязочного пункта вблизи перешейки в ожидании своего часа. Мимо них проносили в лазарет Александра Максutowа. Евграф Анкудинов, презиравший жест и аффектацию, закричал:

- Ребята! Смотрите, как нужно умирать герою!

Максutow, казалось, услышал эти слова, - он не открыл глаз, но что-то дрогнуло на меловом лице.

Не прошло и часа, а уже матросы Анкудинова храбро шли в атаку.

Никита Кочнев ударом приклада повалил знаменосца Гибралтарского полка. Живучий стрелок потерял рассудок от ужаса, но из последних сил продолжал ползти к обрыву, волоча по земле знамя. Никита наступил сапогом на знамя, и древко выскользнуло из рук умирающего солдата.

Леопард. Земной шар. Корона. Надпись на чужом языке. Пожалуй, из всего Никите ясно только значение короны. Царственная эмблема заставила Никиту поднять втоптанной в землю лоскут материи и отдать его подошедшему унтер-офицеру. Кочневу и в голову не пришло, что этот лоскут будет передаваться из рук в руки, промчится на перекладных через всю Россию, обрадует седовласого ялutorовского узника, друга Пушкина, оживит на одно мгновение тусклый взгляд жестокого самодержца, потрясенного сознанием, что война в Европе проиграна...

Вперед! По крутому склону горы ещё металась красная рубаха, кружа и петляя у обрыва, стремясь уйти к перешейке, улизнуть на катера. Напрасное старание! Вниз, вниз по скалам, задерживаясь на острых уступах и снова срываясь под тяжестью падающих сверху тел! Прямо с крутого обрыва, не

столь величественного, как Столовая гора, не столь знаменитого, как граниты Гибралтара, но гибельного и неумолимого.

Вниз!

В широкую расщелину скалы забился потрясенный штыковой атакой Пьер Ландорс. Он сжался, втискиваясь в каменистую щель, обдирая лицо и руки. Прилип к камню, как моллюск.

Никита хоть и поздно, но вспомнил о своем намерении взять пленного. Он знал, что по окончании войн противники обмениваются пленными. Война России и Англии не кончится сражением в Петропавловске. Но, может быть, господа адмиралы, уходя с Камчатки, не захотят оставить здесь своих людей и поменяют их на Удалого с товарищами!

После встречи с Харитиной Никита потерял покой. Видно, крепко полюбился ей Удалой. Что ж, чужому сердцу не прикажешь. Вот и свое не слушается разума... И Никита решил помочь ее беде.

Нужно добыть пленного! Нелегкая задача! Кто избежал русского штыка, уже бежит по воде к шлюпкам или валяется у воды с раздробленным черепом.

Может быть, на перешейке взяли пленных? Там сподручнее. А хотелось бы самому!

Никита добежал до края обрыва, к расщелине, куда забился Ландорс. Бородатый стрелок уже занес приклад.

- Стой, браток! - воскликнул Никита и перехватил ружье.

- Да ты что! - закричал стрелок. - Ополоумел, что ли?

- Живьем возьму, - спокойно ответил Никита, схватив Ландорса за волосы. - На живого поглядеть охота...

С большим трудом он вытащил Ландорса из расщелины. У француза был жалкий, испуганный вид. Не верилось, чтобы за такого отдали Семена.

С досады Никита съездил Ландорса кулаком в подбородок, отчего тот просиял, ибо постиг простую истину: кто намерен проткнуть тебя штыком, не станет утруждать кулаков.

- Гляди, - сказал Никита наставительно, - как твои дружки купаются.

Страшное зрелище открылось глазам Ландорса. До сих пор, оглушенный атакой, он не отдавал себе отчета в происходящем. Он бежал, падая, спотыкаясь, задыхаясь от усталости и ужаса, повинуюсь не разуму, а инстинкту. Перепрыгивая через неподвижные тела, лягался, когда за его широкую штанину хватались какие-то люди, по-видимому раненые. Мелькали кустарники, светлые стволы берез, перекошенные лица. Временами перед глазами расстилалась вода и суда далеко, далеко, в недостижимом заливе. И снова отчаянные прыжки, заячий, неровный бег, кромешный ад.

Только теперь, с высоты семидесяти метров, Пьер впервые охватил взором картину разгрома. На краю обрыва сидели русские матросы и солдаты, расстреливая по команде спокойного, худощавого русского генерала отступавшего неприятеля. Англичане и французы метались по берегу, спешили к своим катерам и баркасам. Словно пьяные, они брели в воде по грудь, по подбородок, издавая истошные крики и стоны.

На эскадре делались попытки помочь отступающим. "Эвредик" послал к берегу пять гребных судов. "Облигадо" приблизился и с двух кабельтовых стал стрелять по горе ядрами и картечью, пытаясь прогнать с обрыва стрелков, бьющих неприятеля хладнокровно, на выбор. На бриге нервничали, час назад артиллеристы "Облигадо" били точнее по мачтам "Авроры", теперь же огонь брига мало беспокоил людей. Ядра проносились к вершине Николки, а картечь ударяла в середину обрыва, осыпая стынувшие на берегу трупы землей и камнями.

Вот когда показали свое искусство камчадалы! Хладнокровные охотники, они рассчитывали каждый выстрел, дорожили каждым золотником пороха. Обученные бить соболей только в глаз, без промашки, они наносили жестокий урон врагу.

На берегу Барридж, придя в себя, заставил отступающих уносить убитых и раненых, - русские не должны знать действительного числа потерь. И так уже немало англичан осталось лежать на горе. Там и бедняга Паркер, пожалуй единственный из офицеров эскадры, которому Барридж симпатизировал. Вспыльчивый, неожиданный в своих решениях, но все же порядочный парень. И вот он лежит на горе, бессмысленно раскинув длинные руки, а собака Никольсон прохлаждается на палубе "Президента". Божий мир устроен отвратительно, сегодняшний день лишний раз подтверждает это!

Барриджу не хотелось смотреть на берег, на груды израненных, издающих раздирающие душу стоны людей. Багровые рубахи матросов казались отвратительными кровавыми пятнами, обнаженной кровоточащей плотью.

Раненые бросались вплавь к катерам, окрашивая кровью воду залива, захлебываясь соленой волной. Битком набитые баркасы отваливали при пяти-шести гребцах.

В самые мрачные минуты Барридж не думал, что на уступах этой ничтожной русской горы и в воде, омывающей ее, ляжет столько англичан. Только такой хвостун и выскочка, как Никольсон, мог довериться подозрительному бродяге и послать людей на смерть! Где этот проходимец с глазами кролика, штурман, пропахший дешевым табаком, потом и нечистотами?! Может быть, он бежал к русским?

И вдруг Барридж увидел Магуда. Магуд спешил к лодкам, припадая на левую ногу и размахивая руками. На баркас карабкались последние из уцелевших матросов.

- Эй, капитан! - кричал Магуд. - Хорошо, что я вас нашел!

Рука Барриджа легла на пистолет. Он подпустил американца ближе.

- Паршивцы французы спихнули меня в воду. Сбросили и вдобавок прострелили ногу.

Магуд бежал по поясу в воде. Спешил, бросая туловище из стороны в сторону, тянул руки к баркасу.

- Прострелили ногу, говоришь? - Барридж взял пистолет поудобнее.

- Я им это припомню, хозяин! - у Магуда в углах рта показалась пена, глаза налились кровью.

- Они прострелили ногу, а я убью тебя, собака!

Барридж с упоением целился в Магуда. Тот нырнул, снова показался над водой и, захлебываясь, закричал:

- Эй, капитан... Постой... Ты успеешь убить меня... Сво-о-лочь! Я еще пригожусь вам... Убери пистолет... Послушай, я расскажу об Амуре... Русские плавают из Амура в океан... Слышишь? В Сан-Франциско тебе дадут за это столько золота, сколько весит вся твоя дерьмовая туша...

Барридж целился в лоб, но попал в мясистое ухо Магуда.

"Ну и черт с ним! Нужно убираться отсюда, а он пусть остается с русскими. По всему видно, что он не очень хочет встретиться с ними. А на эту удочку с Амуром меня не подцепишь. Хватит Никольской горы и Петропавловска..."

Баркас уходил, преследуемый выстрелами. Магуд стоял в оцепенении по грудь в воде. Но не успел баркас отойти на десяток саженей, как янки бросился за ним, упав в воду как-то неловко, плашмя.

Несколько секунд он не показывался на поверхности. Барридж ждал, но Магуд оставался под водой. Тогда Барридж понял: Магуда уложил выстрел с горы, его убили русские.

"Все равно. Один конец собаке".

Это был последний выстрел Ильи. Глубоко вздохнув и оглядев затихший, неподвижный берег, Илья принялся чистить ружье.

ВЫСТРЕЛ УНТЕР-ОФИЦЕРА ЯБЛОКОВА

I

Первое возбуждение боя улеглось. За поворотом горы хоронили неприятельских стрелков. Хотя англичане и французы уносили убитых и раненых, на горе было найдено тридцать восемь трупов - малая часть

действительных потерь неприятеля. Никифор Сунцов держался неподалеку, убеждаясь по тому вниманию, которое оказывали офицеры бранным останкам Паркера, что он прихлопнул "важную птаху". Внимательным взглядом провожал он каждую бумажку, извлеченную из кармана Паркера: листок с записью отрядов десанта, афишку спектакля "Эрнани" в театре Сан-Франциско с карандашной пометкой: "Обязательно захватить десять пар наручников", часы, платок и всякую дребедень.

Запись Паркера подтвердила предположение Завойко о размерах десанта. Неприятель высадил около тысячи человек. Труднее было установить точные потери англичан и французов. Во всяком случае цифра убитых и раненых колебалась между тремя-четырьмястами человек. Цифра особенно внушительная, если учесть, что защитники порта потеряли тридцать семь человек убитыми и семьдесят восемь ранеными. Паркер не единственный офицер, сложивший голову на Камчатке. По документам, мундирам, меткам на белье были установлены личности лейтенанта Лефевра, Бурассэ и мичмана Жьекель де Туш.

Пришедший в себя Пьер Ландорс опознал французских офицеров. Искренняя грусть отразилась на его лице, лишь только он наклонился над маленьким телом Жьекеля де Туша.

- Черт меня побери, - пробормотал Ландорс, - если он не был достойным человеком! Ему следовало жить при родителях или заведовать библиотекой кардинала. На корабле его не понимали!

Кроме знамени Гибралтарского полка, взято семь офицерских сабель и пятьдесят шесть ружей. Труп Магуда вскоре прибило к берегу. Завойко доложили об этом во время обеда. О Магуде думать не хотелось. На память пришел Андронников, - его смерть показалась сегодня особенно обидной и нелепой.

Завойко приказал освободить Чэзза и дать ему в руки заступ, пусть сам хоронит своего соплеменника.

- Пусть поглубже роет, - сказал Завойко. - И никаких могильных холмов, надгробных знаков. Вровень с землей!

Заметив недоумение на лице Ионы, добавил:

- Застреленный янк не был христианином. Память о нем постыла людям. Он не был и солдатом.

- Аминь! - пробасил Иона.

Когда справились с неотложными делами, Завойко пригласил офицеров к праздничному столу, накрытому в гостиной и уставленному разномастными бутылками вин, привезенных на "Авроре", "Оливуце" и "Св. Магдалине".

Он мог гордиться сегодняшним днем. Пусть главная заслуга принадлежит не ему, а сидящему рядом с ним массивному человеку в густых солдатских усах, с умными немигающими глазами. Человеку, который доставил Камчатке стрелков, талантливых командиров батарей, орудия и порох. Ведь не для красного словца говорил Завойко молодым офицерам о непоколебимой твердости Изыльметьева, не в ожидании ответных любезностей поднял он тост за "героя Петропавловска".

- Что бы ни случилось дальше, господа, - сказал Завойко, - ради такого дня, как нынешний, стоило прожить жизнь! Англичане пришли к нам за десять тысяч миль, в порт, казавшийся им жалкой деревушкой. Спесивые моряки, прославившиеся злодейскими приобретениями во всех частях света, хвастливые мореходы - они потерпели поражение от горсти русских. Они готовы целый мир привести под британскую корону, на каждом берегу поставить свои крепости и загородить все проливы мира своими фрегатами! Но русская земля неудобна для чужеземцев! Каждому недругу воздаст она по заслугам!..

Прекрасный, неповторимый день!

С гордостью смотрел Завойко на энергичные молодые лица офицеров. Непременные усы, от густых, нависающих до тонких, щегольских, как-то уравнивали возрасты людей; юнцы мичманы и тридцатилетние лейтенанты казались сверстниками, у тех и других горящие глаза, угловатая порывистость.

Особенно возмужал за эти дни Пастухов. Появись он такой в Петербурге, с загорелым, отливающим медью лицом, с тонкими морщинами у глаз, с потемневшими, словно просмоленными усами, - никто, кроме матери, не решился бы назвать его Костенькой. Большеротое лицо по-прежнему молодо и смешливо, но в глазах появилось выражение силы, спокойной уверенности. Завойко знал, что Пастухову, как и ему самому, хочется хоть на несколько минут оказаться на хуторе Губарева и, взяв за руки любимую, постоять молча, поведав ей без слов и мысли свои и чувства. Вероятно, у Пастухова это желание сильнее - он молод.

- Могли бы вы отпустить на сегодняшний вечер мичмана Пастухова? спросил Завойко у Изыльметьева.

- Отчего же... Могу, конечно.

- Считаю нелишним отправить на хутор захваченное знамя и офицерские сабли. Неприятель попытается вернуть столь важный трофей.

- Пожалуй, - ответил Изыльметьев с преувеличенной серьезностью. Мичман Пастухов наиболее подходящий для этой цели офицер.

- Я пошлю с ним записку своим, - сказал Завойко и вдруг спохватился: - А ездит ли он верхом?

- Я думаю, что если бы ему предложили проехаться до хутора на акуле, - ухмыльнулся Изыльметьев, - это тоже не остановило бы его. И седла не попросит.

Василий Степанович рассмеялся и стал с увлечением рассказывать о том, как в молодости, находясь на Сандвичевых островах, он катался на акулах:

- Это было на острове Воачу, где жил король Сандвичевых островов...

Офицеры не поверили ему. Катание на акуле сочли праздничной шуткой, внушенной вином. Василий Степанович вышел из комнаты нарочито твердой, трезвой походкой и тотчас же вернулся с книгой в шестнадцатую долю листа. "Впечатления моряка" - книга лейтенанта Василия Завойко, изданная пятнадцать лет назад в типографии петербургского издателя Фишера.

- Да устыдятся маловеры, - сказал он, находя нужную страницу. - Вот натуральное мое письмо к брату Ефиму. Оно подтвердит истинность моих слов. "Венера каталась на голубях, Бахус плелся на ослах, еще кто-то носился на деревянном пегасе, и мы все в свое время скакали на палочке, а я еще ездил и на рыбах. - Он сделал многозначительную паузу. - Пожалуй, любезный брат, твои соседи не поверят этому и скажут: "Описался, да и только!" Так побожись им, - Завойко перешел на украинский язык, сообщая всему рассказу оттенок добродушного юмора, - що правда. Нехай вони повірять, що не одні вони такі мудрі, що запрягають у ярмо вола, есть, скажи, і такі люди за морями, що і рибу запрягають собі в човники, тай іздять по волнах, як по пашні..." - Затем следовали подробности: со шлюпки бросали канат с петлей на конце, и алчная акула, перевернувшись брюхом вверх, хватала его. Петля захлестывалась, и акула тащила шлюпку на буксире.

- Это первое натуральное чудо острова Воачу, - проговорил Завойко и захлопнул книгу. - А второе, и весьма ненатуральное, состоит в том, что на Сандвичевых островах развелись в изобилии трактиры, биллиарды, кегли, верховые лошади... Да-с, господа... Британцы, янки ловко забросили петлю на сей доверчивый и миролюбивый народ. И катаются! Во всяком случае, король еще в ту пору на чистейшем английском языке приглашал нас отобедать. Широко живут англосаксы, позавидуешь... В одном месте островок уворуют, в другом обширную провинцию за бесценок прикупят, объявят собственностью целое море, закроют пролив или прикарманят континент глядишь, и сыты! Нынче и на Камчатку позарились...

Снова разгорелся шумный разговор, в котором главным была гордость за то, что Камчатка сумела постоять за себя, встретясь с матерым противником.

Завойко напрасно дожидался Арбузова к офицерскому столу.

После отбоя он назначил Арбузова руководить уборкой убитых. Капитан, спустясь с Никольской горы в самом воинственном настроении, убежденный, что никто не сделал для защиты порта так много, как он, оскорбился, услышав такой приказ, и, сославшись на удушье, отправился в госпиталь, отдав себя в заботливые руки доктора Ленчевского, который пустил ему кровь, находя это полезным для здоровья после пережитого возбуждения. Отдохнув немного, он побрел к Никольской горе.

Но у порохового погреба настроение капитана окончательно испортилось. Так бывало с ним всегда, когда среди многочисленных собраний или в моменты торжественных церемоний, до которых он имел касательство, он вдруг замечал, что и без него все идет своим чередом, на все хватает учредителей и распорядителей... Острая обида ранила сердце. Его обошли, забыли.

Он направился было к губернаторскому дому, но когда взошел на крыльцо и услышал звон посуды, смех, стук ножей и вилок, круто повернулся и поплелся к губернской канцелярии. Здесь он был с энтузиазмом встречен чиновниками, собравшимися на праздничный обед. Тут, рядом с судьей Васильковым и столоначальником Седлецким, с оправившимися от пережитого испуга канцелярскими чинами, он, единственный среди присутствовавших офицер и Георгиевский кавалер, был окружен должным вниманием и восторгами...

По случаю победы Завойко поощрил поручика Губарева, но отстранил его от должности полицмейстера и приказал в недельный срок отправиться в Тигиль, на освободившееся место казачьего исправника. Прежний тигильский исправник приехал перед самым сражением в Петропавловск, участвовал в деле и был убит на Никольской горе. Так как Арбузов неожиданно ушел в госпиталь, губернатор поручил Губареву уборку трупов.

Поручик бродил потерянный по склонам Никольской горы, равнодушным взглядом окидывал тела павших в бою людей, знакомых ему нижних чинов камчатского флотского экипажа, рыжебородого тигильского исправника, камчадала с искалеченным ухом и навсегда ненавистных Губареву аврорцев... II Никольская гора, знакомая до мельчайших подробностей, в эти дни обрела для людей какую-то новизну и особую привлекательность. Гора словно пробудилась от длительного сна. Рядом с узкими, послушно обтекающими ее тропинками, не нарушавшими привычного покоя, легли новые, прямые дороги. Было любопытно подниматься на гору по недавнему следу солдат, находить среди ломких папоротников оброненные патроны, сигары и даже фуражки, не замеченные трофейной партией.

Больше ста лет строился порт и поселок у подножья Никольской горы. Медленно, едва заметно росло население порта. Появлялись новые здания, серые избы, казармы из привозного леса. Строили портовые магазины, мастерские, торжественно именовавшиеся верфями, лавки и даже питейное заведение, которое пустовало большую часть года. Рожали детей, русских крепышей и смуглых быстроглазых ребят от смешанных браков русских и камчадалов, трудились и умирали в твердом убеждении, что никому во всем мире нет никакого дела до Камчатки.

Пока шла переписка с Петербургом о дозволении строить школу или магазин, сгнивал лес, припасенный для строительства.

Семнадцать лет назад в такие же солнечные дни августа, что стояли и теперь, в Петропавловск пришел французский пятидесятивосьмипушечный фрегат "Венера" под командой капитана Дюптитуара, впоследствии адмирала французского флота. На фрегате было около пятисот человек команды, немногим меньше, чем всех жителей Петропавловска. Вышедшие из употребления медные пушки, разлученные со своими лафетами, лежали на складе.

Дюптитуар пришел на Камчатку для промеров Авачинской губы, даже не думая испрашивать на это разрешение у царского правительства или местной администрации. Французские офицеры, числом в тридцать человек, бродили по окрестностям Петропавловска, восторгались стройным хором камчатских мальчиков, вышколенных протоиереем Прокопием Грозовым, истребляли говядину, камчатские овощи и грузди местного засола, которые произрастали в той самой яме, куда спустя семнадцать лет свалилась пушка Зарудного. Французы в самых изысканных выражениях благодарили начальника Камчатки Шахова за снабжение фрегата зеленью и мясом, а под конец весьма своеобразно оплатили гостеприимным хозяевам. Двадцать четвертого августа матросы буйствовали в питейном доме и отобрали у сидельца все деньги. Мало того, Дюптитуар потребовал от Шахова пятьдесят тысяч рублей и тысячу пудов хлеба. Только уверясь в том, что у Шахова нет ни таких денег, ни хлеба, дикий гость покинул Петропавловск, напечатал в своем "Путешествии в Камчатку", что здесь со времен Лаперуза, с 1787 года, "ничего не изменилось, та же скудость и нищета...".

В Петропавловске немногие помнили визит "Венеры", а кто помнил, не читал сочинение господина Дюптитуара о его подвигах и ученых взглядах на моря, проливы и заливы мира. В дневнике старожила сохранилась короткая запись: "Пришли снять местность на карту, выведать, богат ли порт деньгами и хлебом". Эта запись стоила всего сочинения Дюптитуара!

Что напишут нынче охочие до мемуаров и сочинений гости, возвратясь в Европу? Неужто и теперь, когда их встретил не хор мальчиков, а солдатское "ура", когда пушки порта не салютовали им, а били по судам, сбивали флаги и пробивали мачты и единственной зеленью, которой им удалось поживиться, была трава, зажатая в окоченевших руках мертвецов, - неужто и теперь они не найдут нескольких правдивых слов для Петропавловска и не признают за ним никакого движения вперед?

До сих пор Николка стояла в стороне от деловой жизни. Рыбный сарай на берегу залива, пороховой погреб на внутреннем склоне, несколько изб - все это почтительно жалось у подножья горы; сама же гора, более лесистая, чем Сигральная, была словно заповедным местом. Сигральный мыс нес практическую службу - это был один из аванпостов порта.

У Красного Яра вырыты кислые ямы с запасами рыбы для собак. Между Красным Яром и кошкой по пологому склону разместилось кладбище. А на Николке - березы, нежный запах цветущего шиповника, мягкие травы, ласковый ветер да тяжелое дыхание моря, укрощенное кольцом гор и холмов. Слабый ветер падал на Николку, бессильный пробиться дальше, сробев перед ворчунами-вулканами.

Теперь события разбудили гору, и она не обманула любви петропавловцев. Крепкая, как орешек, ладная, крутым плечом сбросила она врага в море! С Николки только и любоваться потрепанной, стоящей в отдалении неприятельской эскадрой!

Вблизи порохового погреба пьяненький отставной бомбардир Крапива объяснял Женщинам, каким манером он схватил бомбу, "подобную голове огнедышащего змия", как вознес мысленно молитву и бросил "смертоубийственный снаряд" в ров.

Никита Кочнев нашел Харитину у перешейка. Все, что чувствовала и переживала девушка - потрясения этого дня, проведенного среди раненых, гордость за матросиков и мужиков, на которых она подразделяла всех защитников порта, даже усталость, - все пронизывалось чувством тревоги за Семена. Тревога росла с часу на час: разгневанный неудачей неприятель может выместить свою злобу на пленных.

- Здравствуй, Никита!

Долго сидели молча, наблюдая за неподвижными судами, за людьми на берегу и у обрыва.

Наконец Кочнев обронил, будто невзначай:

- Я пленного взял.

- Живого?

- Известно. Мертвый нынче не диковина, - всех унести не смогли, не до того им было...

Кочневу очень хотелось, чтобы Харитина спросила, как он сегодня воевал. Все-таки взял пленного. И флаг, отобранный у знаменосца, тоже не мелочь, раз Никиту представляли самому губернатору.

Внезапная догадка заставила Харитину порывисто повернуться к Никите. Глаза смотрели настойчиво, строго.

- Зачем он, живой?

Никита рассмеялся:

- Эх, ты! Сказано - баба. Для размену нужен... Понимаешь?

- Нет.

Хотелось услышать от Никиты подробнее, яснее.

- Для размену, - повторил Никита. - Получайте, мол, своих, а нам подавайте наших. Так испокон заведено.

- Душа за душу? - спросила Харитина.

- Я своего для Семена брал. Жидковат он против Удалого, а ничего... Оно и выйдет душа за душу...

Харитина доверчиво прижалась к плечу Никиты.

- Никитушка, а коли не узнают они, что у нас пленные есть?

- Где бой, там и пленные, - с достоинством ответил Никита. - После сражения первый разговор о пленных.

Харитину потянуло к казармам, куда, как выяснилось, поместили француза и двух британских морских солдат, раненных на Никольской горе.

Протискавшись сквозь толпу любопытных, Харитина и Никита оказались у открытого окна. В комнате были пленные и мичман Попов, который бегло говорил по-французски. Солдат Гибралтарского полка Гарланд лежал неподвижно, повернувшись лицом к стене.

Пьер Ландорс сидел за столом, напротив мичмана, в самом лучшем расположении духа. Он без умолку болтал, ерошил волосы и, вытащив из кармана неоконченное письмо, попросил у Попова карандаш. Пьер писал и выпячивал губы, произносил слова вслух, по складам.

- "До-ро-гая мамочка, - писал он, - я продолжаю свое письмо с Камчатки... "Ага! - скажете вы и нотариус Трюайль, читающий вам письмо. Значит, наш мальчик захватил русский порт!" Ничего подобного, русские захватили меня... "Ах, - зарыдаете вы (а господин Трюайль неодобрительно покачает лысой головой), - несчастный мой мальчик!" Вовсе нет! Я гораздо счастливее тех, кто уже не может написать ни строки. Если в Нанси не разобраны еще трусами и подлецами все невесты, одна из них - самая кругленькая и веселая

- может вполне рассчитывать на меня..."

Пленный француз понравился Харитине, хотя она и не понимала его веселого лопотанья.

Выйдя на зеленые улочки Петропавловска, Харитина сказала Кочневу, снова переходя на постылое "вы":

- Пришли бы сегодня, Никита, спели бы?!

А у Никиты в голове все еще звучало "Ни-ки-тушка", произнесенное недавно ласково, сердечно.

- После такого, - ответил Никита неопределенно, - не сразу и запоешь...

Но заметив в глазах Харитины сожаление, он добродушно ухмыльнулся, поправил фуражку на вихрастой голове и весело сказал:

- Попробовать разве?! Отчего не попробовать! Ждите в гости, беда вы моя и печаль горькая! III Нерадостной была встреча Пастухова и Настеньки.

Мичман прискакал на хутор в четвертом часу дня и, прежде чем увидеть Настеньку, оказался окруженным нетерпеливыми женщинами. До него здесь уже побывал вестовой, нерасторопный портовый писарь. Он ничего не смог добавить к короткой записке Завойко. Пастухов привез знамя, сабли с позолоченными эфесами, атмосферу, запах недавнего сражения. Его слушали жадно, обступив тесным кольцом, засыпали вопросами, требовали ответить, не загорелся ли такой-то дом, не разрушен ли другой, хотя Константин уверял их, что город совсем не пострадал.

Пуще других шумела жена судьи. Она расцвела, уйдя из-под надзора бдительного супруга, и оказывала многочисленные знаки внимания мичману. Настенька незаметно подошла и остановилась за спиной Пастухова. Слушала знакомый, немного осипший голос и была счастлива, что Пастухов жив, что он не простой курьер от губернатора, а участник событий в порту. Пастухов повернулся в профиль, и Настя женским чутьем уловила перемену, происшедшую в нем. Что-то новое появилось в лице мичмана. Это был отпечаток пережитой опасности, чужих страданий, они не прошли бесследно для отзывчивого сердца. Его лицо, обветренное и заострившееся, показалось Насте прекрасным. От нахлынувшего чувства сжалось сердце. И вместе с тем новое в мичмане было чужим, оно пришло в ее отсутствие, незнакомое и непрошеное. С ним нужно сжиться, свыкнуться.

Внезапно ей показалось, что Пастухов бесконечно далек от нее, что она была наивна, называя его своим, видя их будущую жизнь нераздельной. Он офицер флота, со своей судьбой, которой она коснулась случайно. При первом же потрясении Константин, как казалось сейчас Насте, отодвинулся от нее, хотя его честное, хорошее сердце не стало ни хуже, ни грубее. Он мог

полюбить ее только здесь, в Петропавловске, обреченный на скуку и бездействие. Он обманулся, но должна ли она обманывать его? Эти мысли привели Настю в смятение.

Неловко, растерянno прозвучало его приветствие в присутствии множества свидетелей. Сдержанно, натянуто, чтобы не выдать своего волнения, ответила ему Настенька.

Все не ладилось. Обменивались фразами урывками, в скупых словах не находили выхода их действительные мысли и чувства. С каждой минутой напряженность, неестественность их отношений усиливалась. И, как назло, единственная женщина, способная их понять и сделать все, чтобы они наговорились досыта, Юлия Егоровна, на радостях забыла обо всем на свете, кроме окруживших ее детей. Жена судьи увела растерянного Пастухова ужинать в комнату, где она царила в окружении трех пожилых чиновниц.

Мичман уехал с хутора засветло, проклиная собственную застенчивость, назойливость петербургской модницы, человеческий эгоизм, женское любопытство и даже равнодушие лошади, увозившей его в Петропавловск.

- До свидания, Настенька! - сказал он, прощаясь с девушкой.

- Прощайте, Константин Николаевич!

Тихое, грустное "прощайте" не выходило из головы. Зачем же снова забытое, казалось, величание? Прошло только семь дней...

У Култушного озера Пастухов свернул направо, к заливу, на стук топоров и людские голоса. У него есть время в запасе, - хотелось проехать по береговой полосе, мимо разрушенных батарей. Коню тут неудобно: повсюду разбросаны камни, попадаются воронки от бомб, нужно спешиться и повести коня в поводу.

При свете факелов на батарее Коралова велись ремонтные работы. Здесь был Можайский, он наблюдал за прислугой и мастеровыми. Неприятель мог утром повторить нападение: десантные катера и баркасы стояли на воде, приткнувшись к корпусам фрегатов.

Пастухову было приятно, что на батарее его встречали как своего. Можайский показал ему поврежденные пушки, советовался с ним.

Вдоль Никольской горы Пастухов ехал уже в хорошем настроении шагом, посматривая то под ноги коня, то на невеселые огни эскадры. Тишина объяла берег, еще утром сотрясавшийся от выстрелов.

По мере того как Пастухов огибал Никольскую гору по перешейку, перед ним вырастал освещенный порт и город: "Аврора" со спущенным верхним рангоутом, "Двина", огни в окнах казарм, губернской канцелярии и беспорядочно разбросанных изб.

Петропавловск казался давным-давно знакомым, родным городом. Константин готов был усомниться в том, что он покидал сегодня город, видел Настеньку и уехал от нее, не сказав ни одного слова из тех, которыми был полон, когда гнал коня из порта на хутор Губарева. IV Александр Максutow умирал. Он был обречен, хотя многие, а среди них и Дмитрий, надеялись на благополучный исход. Слишком велика была потеря крови, при падении разбит позвоночник. Очевидно, затронуты и внутренние органы. Можно облегчить страдания лейтенанта наркотиками и бессильно наблюдать за тем, как слабеет его неподвижное тело и приближается к мучительной агонии.

Мровинский лежал на своей койке так тихо, что Александр забывал о его присутствии. В первую ночь инженера еще беспокоили офицеры с разрушенных береговых батарей, заходил Гаврилов, Тироль. Видимая холодность и педантичность инженера, в соединении с превосходными деловыми качествами, импонировали Тиролю. К тому же у Мровинского, как и у Тироля, почти не было друзей; приехав на "Двине" с Арбузовым и уйдя с головой в дело, он мало интересовался людьми и, казалось, не нуждался в друзьях.

Разговоры о "Смертельной" батарее раздражали Мровинского, хотя он и старался казаться равнодушным. При мысли о ней раненая нога начинала ныть сильнее обычного, высокий лоб покрывался испариной. Память, ослабевшая за несколько лет праздной жизни в Иркутске, почему-то сохранила образ большелобого сероглазого солдата, смотревшего на него укоризненно и насмешливо в тот день, когда он с Завойко впервые обходил батарею. Вспоминались подробности разговора на батарее, грубый окрик, которым он ответил на справедливые слова солдата. Жив ли солдат, выразивший простую и важную мысль: "Что невозможно и неведомо сегодня, станет возможным завтра"? Жив или погиб на "Смертельной" батарее, доказав ценою жизни свою правоту в этом споре?

Может ли он забыть об этом споре, если в одной комнате с ним лежит умирающий офицер, командир "Смертельной" батареи! У них были закрыты одни пятки... Одни пятки! Верно! А можно было бы устроить батарею иначе? В те сроки, которые были даны ему, - нет. Тогда в чем дело? Зачем он грызет себя?

А из темного угла палаты на него смотрели серые глубокие глаза солдата - он недоверчиво качал головой. И Мровинский чувствовал, что в чем-то он все-таки неправ: по крайней мере не нужно было лгать, притворяться, - люди, отстоявшие сегодня порт, заслуживают того, чтобы говорить им только правду. Теперь, они восстанавливают "Смертельную" батарею. Они хорошо

знают, каково на ней во время боя. Но разве это помешает им стоять у своих орудий под неприятельским огнем? После виденного в это утро Мровинский понял, что при новой атаке "Смертельная" батарея будет не менее грозным препятствием для англо-французов, чем сегодня.

У постели МаксUTOва дежурила Маша. Прежде Мровинский не замечал ее по своей обычной рассеянности, замкнутости. Здесь же, в палате, следя за умелыми движениями Маши, видя, сколь терпеливо исполняет она свои обязанности у постели умирающего лейтенанта, Мровинский размышлял о том, как много есть хороших людей, которых и не оценишь по-настоящему, пока не придет беда.

В первую же ночь Мровинский и Александр оказались невольными свидетелями разговора Маши с отцом. Осторожно приоткрыв дверь, управляющий аптекой окликнул Машу. В продолжение всего разговора они оставались за дверью, но вскоре заговорили так громко, что в палате слышно стало каждое слово.

- Нет, я не сделаю по-вашему, не сделаю... - твердила Маша.

- Умоляю тебя уехать, - просил Лыткин. - Приказываю тебе волею родителя... Если англичане ворвутся в Петропавловск после того, что случилось сегодня, они зажгут город...

- Они не одолеют нас, отец! - возразила горячо Маша. - Вы видели, как храбро сражались матросы!

Затем голоса сошли на шепот.

- Не невольте меня к низкой, бессмысленной жизни, - донеслось до слуха Мровинского. - Я недолго перенесу ее и избавлю вас от хлопот...

Наступило молчание, затем хлопнула дверь, и голосов уже не было слышно.

Через час Маша возвратилась со свежими, блестящими от долгого умывания щеками и заняла свое место у койки МаксUTOва. Александр, несмотря на боль, повернул к ней лицо и изучал ее потускневшими глазами.

- Светает... - проговорил Мровинский. - Скажите, Машенька: что говорят о неприятеле? Заметно приготовление к десанту?

Маша пожала плечами.

- Не знаю. Могу сходить узнать...

- Не нужно, - Александр с трудом проглотил вязкую слюну. - Дайте мне воды.

Маша дала ему напиться.

- Вы правы, Марья Николаевна, - сказал Александр, не сводя с нее глаз. - Правы... Они не одолеют... Н-е-е-т! - протянул он убежденно. - Не одолеют, потому что у нас есть такие женщины, как вы, и... артиллеристы не побежали с батареи... Вы сказали мне правду...

Он не сказал больше ни слова на протяжении многих часов, до самого начала агонии.

Время тянулось в напряженном ожидании.

Встречаясь с Завойко, Изыльметьев неизменно говорил:

- Пора, Василий Степанович, и за рапорт садиться. Порадуйте Россию.
- Рано, - отвечал осторожный Завойко, хотя в ящике его стола уже лежало подробное донесение о событиях последней недели. - Отобьемся еще разочек, тогда и за рапорт примусь.
- Хитрите, хитрите! Небось, не одну стопу бумаги исписали?
- Что вы! Чем хотите поклянусь! - протестовал Завойко, но ни разу не решился произнести ложной клятвы.

Дмитрий почти не бывал у себя в комнате: в ней все напоминало об Александре. Он делил свое время между госпитальной палатой, "Авророй" и комнатой Зарудного, в которой и оставался ночевать. С Зарудным они не заговаривали об Александре: Дмитрий знал, что Зарудного и Александра разделяет нечто непримиримое, что сильнее смерти, выше предрассудков и заурадной жалости. Их ничто не помирит... Дмитрий понимал это, любил и жалел Александра и вместе с тем внутренне с каждым часом отдалялся от него, уходил к Зарудному.

Вдова Облизина, после того как она побывала на перевязочном пункте "Смертельной" батареи и наблюдала бегство неприятеля, жила исключительно в кругу военных интересов. Могучее конральто наполняло комнаты ее бревенчатой избы. Машу она называла "голубушкой" и не чаяла в ней души.

По вечерам люди, толпившиеся в порту, видели силуэт флага на Сигнальной горе, подсвеченный со стороны Тарьи малиновым закатом. Темное полотнище казалось багровым по краям, словно оно приняло на себя кровь русских солдат, павших при отражении десанта. Порт смотрел уверенно и грозно.

Неприятель похоронил убитых и умерших от ран на берегу Тарьинской бухты. Прайс не остался генералом без армии. Больше ста подданных ее величества, солдаты Гибралтарского полка, французские матросы легли рядом с дальновидным, предусмотрительным Дэвисом Прайсом.

Утром 27 августа петропавловцы заметили исчезновение эскадры. Все, кто был в состоянии ходить, высыпали в порт и на Сигнальную гору. Стояло хмурое осеннее утро. Свежий северный ветер разбил гладь Авачинской губы, залив играл пенистой волной.

Бегство неприятеля не вязалось с представлениями петропавловцев о чести и достоинстве военного флота. Вспоминали, что накануне англичане изрубили

и пустили по ветру плашкоут, на котором был взят в плен Семен Удалой. С вечера подняли в ростры большие гребные суда, - здесь полагали, что для починки, а оказалось, что эскадра готовилась к уходу. На "Форте" подняли фока-рей, на "Президенте" - крьюйс-стенгу, и это, оказывается, не для того, чтобы свободнее маневрировать, не полагаясь на буксир. Неужели неприятель, у которого оставалось свыше двух тысяч матросов и солдат, двести двенадцать орудий и большой запас пороха, - бежал?..

Да, неприятель бежал.

Когда суда проходили мимо Дальнего маяка, унтер-офицер Яблоков дал три выстрела по эскадре. Десять дней назад он первый встретил огнем неприятеля. Но тогда в ответ на выстрелы восьмифунтовой медной пушки англичане и французы только хохотали: матросы бросились к сеткам, орали, размахивали руками и фуражками. Теперь палубы были сумрачны, безлюдны. Никто не обернулся на выстрелы унтер-офицера Яблокова, словно матросы на судах, оглушенные разгромом, не слыхали их или испугались малых ядер медной русской пушки.

Люди столпились у причала и смотрели в сторону океана. Там, за Раковым мысом, за широкими каменистыми воротами, просторный, насторожившийся мир. Пришельцы из этого мира являлись сюда без спросу, изумляясь огромности залива, добродушию и долготерпеливости жителей. Узнает ли мир теперь о воинской славе Петропавловска?

Завойко не замечал ни горестного напряжения на лице Харитины, ни досады Сунцова, ни насмешливых глаз Изыльметьева. Глаза и сердце были открыты только тем чувствам, которые наполняли его, делали это туманное утро лучшим в его жизни.

- Бежали! - произнес он взволнованно, повернувшись к Изыльметьеву. Вдумайтесь-ка в это слово: бе-жа-ли!

- Да, ушли, не простившись. Поверите, я подозревал это.

- Уж и подозревали? - усомнился Завойко.

- Кто советовал вам садиться за рапорт?

- Готов рапорт! - воскликнул Завойко. - Давно готов! Это чудо, батенька мой! Без средств, без орудий, единственно с вашей помощью, отстояли порт, не дали на поругание ни крепостного флага, ни имени своего. Иной раз и сил достаточно, пороху, пушек и всякой всячины хоть отбавляй, внимание правительства неусыпно, что ни час скачет курьер из Санкт-Петербурга, а приходится испытать горькую чашу... А здесь! - Завойко развел руками от избытка чувств.

Изыльметьев наклонился, назначая свои слова одному Завойко:

- Это наше чудо, Василий Степанович. Что живо умом и мужеством народа нашего, то спасается блистательно, где курьеры да эстафеты, там и беда.

На Бабушкином мысе показался столб бурого дыма. Это с обсервационного пункта сообщали, что неприятельская эскадра с попутным ветром на всех парусах уходит от камчатского берега. В море заметили какое-то судно, шедшее с юго-запада навстречу эскадре. Но туман помешал рассмотреть его. Завойко не сразу оценил значение слов Изыльметьева. Только что ему казалось, что борьба окончена. Нет, не окончена. Одержана славная победа, но борьба еще не окончена. Никто не имеет права так думать.

- Пусть люди сегодня отдохнут, - сказал Завойко, оглядывая оживленную толпу. - Завтра примемся за укрепление Петропавловска. Они будут мстить нам за свой позор.

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КУРЬЕР

I

Дмитрий Максutow второй месяц в дороге.

В мире своим чередом шли события: монархи и правительства ставили под ружье новые сотни тысяч людей; в Крыму неприятельские генералы гнали тьмы солдат на огонь севастопольских редутов, и мертвым не хватало места на захваченном клочке русской земли; "покоритель Петербурга" сэр Чарльз Непир поеживался от балтийского ветра и с бессильной ненавистью думал о неприступном Кронштадте; американец Колът грузил в трюмы британских судов ружья, заказанные Россией; неутомимый Виллье, консул Соединенных Штатов на Сандвичевых островах, терпеливо толковывал Камеамеа III все преимущества присоединения его солнечного королевства к Штатам; происходило немало и других удивительных событий, - а Дмитрий Максutow, в сопровождении Никифора Сунцова, безостановочно двигался по осенним сибирским тропам в Иркутск.

И Никифору Сунцову казалось, что из всех мировых событий главным в настоящее время является их поездка и его неусыпная служба при кожаной переметной суме, в которой хранились офицерские сабли англо-французов и свернутое знамя Гибралтарского полка. В станционных юртах, в маленьких селениях и острожках, в две-три избы, в стойбищах тунгусов Сунцов делил с Дмитрием обязанности рассказчика. Максutow беседовал со станционными зрителями, с чиновниками, купцами; Сунцов находил благодарных слушателей среди ямщиков-якутов, поселенцев и писарей. Иногда он, тайком от лейтенанта, извлекал из кожаного мешка знамя и офицерские сабли.

Трогая золоченые эфесы, якуты удивленно причмокивали, прищелкивали языками, и Сунцову ни в чем не было отказа.

Новая, привольная земля открывалась Дмитрию Максutowу. Потрясения минувших недель, бессонные ночи, проведенные с Зарудным в беседах, в которых оживали видения прошлого, лица героев и мучеников 1825 года, дерзновенные, страстные речи, переходившие в осторожный шепот, - все это обострило чувства Максutowа. С того часа, как из тумана Охотского моря возникли циклопические утесы Аяна и шхуна проскользнула в гранитное ущелье, ведущее к аянскому порту, он оказался в новом, непривычном мире. Скалистый берег Аяна в дождливые осенние дни пугал своей суровой угрюмостью. Но едва затихли голоса чиновников и штаб-офицера, проводивших Максutowа в дорогу, и зеленый купол местной церкви скрылся за лесом, Дмитрий Максutow ощутил безмолвное величие тысячеверстной сибирской земли.

Поездка Максutowа усложнялась одним обстоятельством: на станциях не было свежих лошадей. На днях из Аяна в Якутск проследовало много иркутских чиновников. Они участвовали в первом сплаве по Амуру и прибыли в Аян из Де-Кастри на паровой шхуне "Восток". Они разбились на несколько отрядов, взяли лучших лошадей, заняли проводников.

Дорогой, от станционных смотрителей, Максutow узнал, что в те дни, когда неприятельская эскадра осаждала Петропавловск, шхуна "Восток" находилась в Охотском море. Офицеры рассказывали, как они, при шести пушках, на шхуне, мечтали о встрече с неприятелем, и однажды, заметив в тумане судно, уже изготовились в бою, но судно подняло американский флаг. В пути же Максutow услышал имя, которое заставило его насторожиться: Мартынов. Уж не тот ли, которому он везет пакет от Маши?

Сначала Максutow надеялся догнать пассажиров "Востока", но догнать оказалось невозможно. По ночам, когда храпели проводники и стреноженные лошади пофыркивали в темноте, воображению рисовались горные перевалы, узкие тропы среди болот, таежная дорога, мелкие реки и овраги, версты и версты, лежавшие между ним и партиями иркутских чиновников. Только глубокой ночью, уходя с головой в оленью полость и засыпая, Максutow думал о том, что и те, ушедшие вперед, спят где-нибудь в дорожной юрте, со стенами из вертикально поставленных бревен.

Дорога тянулась бесконечно. Поднималась на горные, едва проходимые зимой перевалы, на высокие сопки, откуда на десятки верст виднелся осенний лес; петляла по тайге, уходила в многоверстные болота, стлалась неприметно по бурой тундре, спешила, изгибаясь, к человеческому жилью.

Даже в тайге МаксUTOва не покидало ощущение необъятности этой земли. Деревья обступали дорогу, по сторонам в ста шагах от нее темные стволы вставляли сплошной стеной, и тишина сибирского леса и тесный, непроглядный его строй отвечали громадности края, непривычным для всех, пожалуй кроме моряка, масштабам. Дмитрий МаксUTOв испытывал все неудобства неустроенного пути: глотал дым в станционных избах, мерз в дороге по утрам, досадуя, что заставил ямщика тронуться досветла, выжимал у костров одежду, промокшую на болотах, изнемогал от многочасовых переходов верхом, - и все же, очарованный сибирской землей, обласканный людьми, забывал о дорожных невзгодах.

МаксUTOв неуклонно продвигался вперед. И уже новой, важной, исполненной особого смысла казалась ему дорога на Якутск, с задушевными беседами у переправ, с послушными, голодными чиновниками, которых несчастный случай загнал на край света, с добродушными, трудолюбивыми якутами, доверчивыми слушателями, дорога со всей ее бедностью, радушием и суровостью.

Кроме военных трофеев, зимней одежды и провизии, с МаксUTOвым был еще драгоценный груз - он вез большую почту. Почтмейстер, возвратившийся в Петропавловск вскоре после ухода эскадры, возненавидел Дмитрия МаксUTOва за то, что тот добровольно взял на себя обязанность почтового курьера и набил два мешка пакетами, не заботясь об их надлежащем оформлении. Никогда еще почта не была так велика, и она прошла мимо рук почтмейстера. В голове Трапезникова зрел грозный рапорт: он докажет опасность такого своеволия, нарисует гибельные последствия подобных бунтовщических затей, помогающих крамольникам скрывать свои мысли от бдительности цензуры.

Многие обрадовались возможности отправить письма с верным человеком. Письма Зарудного к Якушкину и Свербееву да и некоторые другие были бы много тоньше и скупее, если бы им надлежало пройти через руки Трапезникова. Просвещенный Муравьев желал знать, что думают в его "княжестве" - Восточной Сибири, и смотрел сквозь пальцы на то, что частные письма подолгу залеживаются в Иркутске и доставляются адресатам с попорченной печатью.

К рапорту Завойко был приложен список убитых аврорцев и нижних чинов камчатского флотского экипажа.

Список попадет в Адмиралтейство, будет опубликован в газетах, которых крестьяне, отдавшие своих сыновей во флот, не читают.

Известие о смерти Александра Дмитрий МаксUTOв привезет сам.

Изыльметьев напоследок тоже дал ему письмо.

- Прошу вас, Дмитрий Петрович, коли представится возможность, передать в собственные руки, если это не Очень затруднит вас. Изыльметьев просил неуверенно, почти застенчиво. - Я не сомневаюсь, что вы повезете донесение в Петербург. Генерал Муравьев не откажет в этом Василию Степановичу. Попадете в мой дом - расскажите обо всем. Я пишу мало, коротко. Да и нечего писать. Поглядите, что там у них, как живут. Скажете, и я скучаю, да, видимо, по обстоятельствам времени, придется зимовать в Петропавловске. Прощайте. Счастливого вам пути!

У матери Пастухова нужно побывать во что бы то ни стало. Мичман просил согласия на обручение с Настенькой. Он хвалил Настю в самых восторженных и преувеличенных выражениях, на какие только способна любовь. Мать испугается этого потока слов. Она решит: если любовь Константина так велика, значит, она ослепила его, значит, нельзя верить ни одному его слову, сказанному как бы в горячечном бреду. Дмитрий сам поговорит с матерью Пастухова. Он ей расскажет и о сыне и о Насте, все обрисует в таком виде, что матери останется только всплакнуть, вздохнуть и согласиться. Уж он-то умеет обращаться с простодушными, милыми старушками, которые дремлют у окна со спицами в руках и съехавшими на нос очками! Он похвалит ее соления; пробуя наливку, закроет от блаженства глаза, вставит кстати фразу о ветреной молодости, - глядишь, и сердце старушки в плену. Лучшего посланца Пастухов и выбрать не мог...

Плавание по Лене заставило МаксUTOва забыть о всех мелких неудобствах и превратностях жизни. Был конец октября, - леса на берегах Лены то пылали багряным пожаром, то угрюмо темнели, врежаясь в серое небо острыми вершинами елей. Могучий разлив Лены у Якутска, Олекминска и до Березовской, крутые каменистые "щеки", в которых ворочалась и бурлила река, высокие якутские могильники, волнистые пласты красного песчаника, тишина и редкие встречные баржи - все это настраивало МаксUTOва на поэтический лад и заслоняло недавние события.

В начале ноября, миновав несколько больших бурятских селений, расположенных вокруг буддийских монастырей - дацанов, Дмитрий МаксUTOв достиг Иркутска.

У городских ворот стоял массивный каменный крест.

Крест был очень старый. Может быть, еще Хабаров и Поярков снимали перед ним меховые шапки, отправляясь в неведомый путь.

Дмитрий мельком взглянул на него из почтового возка. II Взаимная неприязнь на эскадре достигла предела.

Соединенной эскадрой ее можно было назвать лишь в насмешку. Суда разделяли не только кабельтовы пенистых вод, но и свинцовая стена взаимного недоброжелательства.

Никольсон считал виновником поражения Депуанта. Депуант во всем винил англичан.

Припадки ярости сменялись у адмирала полным штилем, - слабый, опустошенный, он полулежал в своей каюте и говорил Никольсону в лицо все, что думал о нем и об английском флоте. На это уходил остаток энергии.

Адмирал решил отвести французские суда в Сан-Франциско. Бессонными ночами, когда жизнь казалась безрадостной, конченной, он повторял про себя слова, которые приходили в голову его матросам еще на Никольской горе: "Да поможет мне святой Франциск!"

Что и говорить, неприятно идти в такой оживленный порт, как Сан-Франциско, с потрепанными судами и поредевшей командой. Каждый опытный моряк в Калифорнии, заметив, что паруса крепятся не сразу, как полагается на военных судах, а поочередно, поймет, что французов основательно поколотили. Этакая диковинка развеселит портовых зевак.

Сослаться разве на цингу?..

Ну кто этому поверит! Может быть, заплаты на бортах и повреждения рангоута тоже следы цинги? Нельзя же и команду долго держать взаперти. А пусти на берег - наговорятся вволю. На завтра весь мир узнает, какая "цинга" прошла по кораблям эскадры. Калифорнийские газеты обрадуются сенсации.

Нет, он поступит иначе. Пусть Никольсон удирает в Ванкувер, он, Феврие Депуант, мужественно перенесет удар судьбы. Прав был Виллье, американский консул на Сандвичевых островах, советуя в случае неуспеха представить дело таким образом, будто в Петропавловске они встретили многократно превосходящие силы. До сих пор мир не знал имен Завойко и Изыльметьева, отныне он узнает их. Депуант сам назовет эти имена, сам превознесет их.

Он станет перед журналистами вот так: в парадном мундире, нога вперед, в позе, передающей мужественную решимость, и скажет: "Господа! Генерал Завойко защищался храбро и со знанием дела!"

На последних словах голос адмирала срывался, а между тем именно это "знание дела" нужно произнести как можно проще, по-солдатски. В этих словах спокойствие, снисхождение к противнику. Затем, после паузы, он обведет многозначительным взглядом портовых чиновников, репортеров и добавит так, словно речь идет о человеке, который еще не раз изумит мир: "Я

жалею, что не мог пожать ему руку".

И, наконец, совсем вскользь, небрежно: "Я не ожидал встретить такое сильное сопротивление в таком ничтожном месте!"

На этом фантазия адмирала иссякала.

Стотонная шхуна "Анадырь", захваченная эскадрой при выходе из Петропавловска, вопреки строжайшему запрещению Депуанта, была разграблена и сожжена англичанами. Адмирал потребовал к себе Никольсона.

- Я ничего не мог поделаться с моими ребятами, - оправдывался капитан. - Они бросились на шхуну, как голодные шакалы. Вы должны понять их.

- Я не позволю разбоя и пиратства! - вскричал адмирал срывающимся голосом.

- Господин адмирал, у ребят остыли души, они должны согреться. Хуже будет, если они начнут бесчинствовать. Не правда ли?

Депуант вспомнил английскую бомбу, разорвавшуюся в толпе французских матросов у Красного Яра, и обмяк.

- Наши взгляды на вещи так различны, - начал он неуверенно, - что мы никак не можем понять друг друга.

- Я отлично понимаю вас! - сказал Никольсон.

- В Калье Прайс хотел захватить "Аврору", - жаловался Депуант.

- Напрасно он этого не сделал. Не будь "Авроры", нас встретили бы на Камчатке гораздо любезнее.

После таких разговоров Депуант сердито умолкал и на прощальные слова англичанина отвечал гневным кивком.

Шхуну "Анадырь" взял у берегов Камчатки "Вилаго", и Депуант успокаивал себя тем, что англичане предали огню собственный приз. Но когда Никольсон вздумал так же расправиться и с кораблем Российско-Американской компании, удовлетворились тем, что завладели провиантом и компанейским имуществом, взяли в плен команду "Ситхи" - торговых матросов - и договорились о том, что "Ситха" должна следовать в Ванкувер вместе с английскими судами.

Депуант потребовал перевести на французский корабль двух армейских офицеров, пливших на "Ситхе", несколько гражданских чиновников и приказчиков. Пленных разместили в жилой палубе "Форта", вместе с Удамым, Ехлаковым и Зыбиным.

Перед тем как английские суда легли на новый галс, чтобы надолго расстаться с постылым союзником, Депуант в последний раз попытался уговорить Никольсона идти в Сан-Франциско. Англичане - мастера приврать,

расписать несуществующие успехи, пусть бы они и выкручивались. Стоит Никольсону улизнуть в порт Викторию, на остров Ванкувер, уж он сумеет замести следы!

- А может быть, все-таки в Сан-Франциско? - адмирал заглянул в глаза Никольсону.

- Нет.

- В Сан-Франциско рейд достаточно велик для наших кораблей...

- Я должен идти на остров Ванкувер, - упорствовал Никольсон, - меня там ждут депеши.

- Ах, депеши, депеши! - промолвил грустно Депуант. - Снова депеши... Мой друг Прайс однажды уже ждал депеш...

Никольсон молчал.

- Значит, порт Виктория?

- Виктория.

- Я думаю, сэр, - голос адмирала прозвучал вызывающе, - что вам в нынешнем бедственном положении не следует идти в порт с таким символическим именем - Виктория! - И он повторил с горечью: - Виктория! Прощайте.

Простившись с адмиралом, Никольсон принялся за Барриджа. Простодушный служака впал в черную меланхолию после событий на Никольской горе и мог, чего доброго, наговорить глупостей. Барриджу ничего не стоит выболтать правду. Он уже попытался сделать это в рапорте о действиях десанта. Послать такой рапорт в Лондон - самоубийство. Лучше самому срезать погоны и бежать в Америку на поиски золота и счастья, чем возвращаться в Англию с таким донесением!

Никольсон протянул Барриджу рапорт и спросил зло:

- Вы пошутили надо мной?

Барридж повертел бумагу в руках и сказал:

- Скорей русские посмеялись над нами, сэр!

- Не знаю, что вы думаете о русских, Барридж. Теперь это не так важно. Я хочу жить!

- Ну и живите на здоровье! - огрызнулся Барридж.

- Мне не дадут жить, если вы будете писать плаксивые бумажки вместо боевых рапортов!

- Потише! - прохрипел Барридж, в котором мгновенно всколыхнулась ненависть к Никольсону.

- Нет, уж лучше пошумим, - сказал Никольсон. - Лучше зарычим и вцепимся друг другу в глотку, пока никто не видит нас, чем посылать подобные

донесения лордам адмиралтейства. Не перебивайте меня! - закричал он на Барриджа, открывшего было рот. - Вы хотите, чтобы имя ваше было предано позору, брошено, как вонючие потроха, газетным шавкам? Хотите поругания и нищеты?

Такой натиск оказался не под силу Барриджу.

- Я написал правду, сэр, - промямлил он, отводя глаза в сторону.

- Какому дьяволу нужна ваша правда? - Темные очки Виллье возникли вдруг перед внутренним взором Никольсона. - Она убийственна для нас и позорит честь британского флага! Вам не простят такой правды. Лучше лгать всю жизнь, чем однажды сболтнуть подобную правду.

Барридж взглянул в посеревшее лицо капитана "Пика" и подумал: "Испугался, подлец!" В душе зашевелилось что-то похожее на удовлетворение.

- Вы напоминаете мне покойного адмирала. Похоже, что вместе с обязанностями вы получили в наследство и его страхи.

- Ладно, - ответил Никольсон сговорчиво. Он понимал, что Барридж теперь не станет упрямиться. - У меня нервы покрепче, чем у старика. Я скорей заставлю вас сто раз переписать эту бумажку и столько же раз лжесвидетельствовать на суде, чем пушу себе пулю в лоб!

- Чего вы хотите от меня?

Барридж сдался, и Никольсон начал диктовать ему рапорт.

- Нужно внушить всем мысль о численном превосходстве русских, нигде не говоря этого прямо, - поучал Никольсон. - Пишите: "Многочисленный неприятель находился в это время на возвышенности в весьма сильной позиции и открыл по отрядам ружейный огонь тотчас, как мы вышли на берег..." Не смотрите на меня так, Барридж. Все происходило точь-в-точь, как я говорю. Страх помешал вам рассмотреть русских.

- Конечно, с борта "Президента" было виднее!

- Бесспорно. - Никольсон пропустил мимо ушей язвительный тон Барриджа. - "Морские солдаты быстро выстроились под командой бесстрашного капитана Паркера..." Вычеркните "бесстрашного". Просто "под командой капитана Паркера"... "...И совместно с матросами стали подниматься на весьма крутую гору, покрытую густым кустарником; это обстоятельство доставляло неприятелю некоторое преимущество..." - Никольсон призадумался, раскуривая трубку. - Да, напишите: "большое преимущество". Написали?... "...Большое преимущество перед нами, но мы нашим натиском заставили его отступить и сами заняли господствующую позицию".

- А затем мы ее потеряли? - Барридж пожал плечами. - Получается неладно...

- Хорошо. Согласен. Зачеркните "господствующую позицию". Напишите: "Заняли сносную позицию". Именно сносную.

Вскоре рапорт был переписан. Сообщив в заключение, что "трудность приступа и кустарник представляли нам очень большие препятствия, в то время как скрытый неприятель стрелял со всех сторон, мы тем не менее сделали все, что было в наших силах", - Ричард Барридж подписал продиктованное Никольсоном донесение.

В нем ни слова не говорилось о Прайсе. О старом адмирале, оставленном на Камчатке, позаботится Никольсон.

Выпроводив Барриджа, он снял мундир и много часов не вставал из-за стола. Эскадра шла к берегам Америки. Остров Ванкувер - Калифорния. Все обезьяньи листки, эти американские "Таймсы" и "Геральды", у издателей которых не хватает фантазии даже для оригинальных, отличных от лондонских названий, должны получить добротную информацию из первых рук. Важны детали, подробности, они особенно действуют на широкую публику. Важно вовремя вернуть удачное словечко. На своем месте оно стоит любого факта, самой дельной мысли. Скажем: "Отряд, не будучи в состоянии выносить неравный бой, получил приказание отступить и возвратиться на суда..." "Неравный бой"! Хорошо. Или: "Войска медленно удалились..." Тоже хорошо. Спокойно, убедительно, с достоинством... Да... на нескольких русских матросах, если верить очевидцам, были красные рубахи. "Единообразие английской и русской формы произвело замешательство среди французов: они опасались стрелять по красным рубахам..."

Покончив с этими заботами, Никольсон приступил к составлению общего рапорта, воздавая должное б е с т р а ш и ю солдат и офицеров и выражая надежду на то, "что храбрость, выказанная офицерами и нижними чинами, будет по достоинству оценена адмиралтейством".

"Честь имею донести адмиралтейству, - писал Никольсон, - что французский адмирал Феврие Депуант 5 сентября решил атаковать Петропавловск по тому самому плану, который был ранее составлен главнокомандующим эскадры адмиралом Прайсом..."

Депуант. Прайс.

О себе Никольсон из скромности умалчивал.

Ни слова о знамени с изображением короны и леопарда. Ни слова о трусости и преступлении Прайса. Изменником и самоубийцей он его назовет в частных письмах к друзьям и высоким покровителям.

Не назовет, а уже назвал. Эти письма давно написаны. Они попадут в Лондон одновременно с официальными бумагами. III В Иркутске Дмитрия Максудова

ждали.

Кто-то из чиновников губернской канцелярии встретил его на одной из последних станций и опрометью бросился назад, чтобы первым сообщить Муравьеву о победе на Камчатке. Пока Максutow проезжал по широким улицам города, глядя на каменные особняки, на верблюжий караван из Кяхты, на серебристый туман над быстрой Ангарой, весть о победе на Камчатке облетела губернскую канцелярию, присутственные места, проникли в лавки, питейные заведения и частные дома. Максutow, как только оказался в приемной губернатора, понял, что о нем уже здесь знают. С таким любопытством, с каким все уставились на него, могли смотреть только на заезжую знаменитость, одно имя которой пробуждает всеобщий интерес.

Лейтенанта приняли немедля. Пересекая большой губернаторский кабинет и идя навстречу Муравьеву, Максutow успел рассмотреть его. В движениях генерал-губернатора было что-то кошачье, мягкое, вкрадчивое, так бесшумно он двигался по пушистому ковру. Русский, с розовым, моложавым лицом, в коротких бачках, маленький и ловкий, он приветливо улыбался офицеру. Где-то в уголках глаз играли озорные искорки. "Небось думаешь, молод? говорили они. - Не видывал еще таких генералов? Так вот, посмотри на меня, братец..."

Муравьев подал Максutowу левую руку - правая была на перевязи - и произнес укоризненно:

- Не торопитесь вы с добрыми вестями: вся Сибирь знает о победе. Я узнаю последним.

Но Максutow почувствовал, что Муравьев не сердится.

- Ваше превосходительство, - спокойно ответил Максutow, - я скакал к вам не переводя духа. Однако вижу, что добрые вести опередили меня.

Сказав это, он протянул губернатору казенный пакет от Завойко. Муравьев взял пакет, секунду взвешивал его на пухлой ладони и положил на стол.

- Бумаги потом. Сперва расскажите мне обо всем простыми, человеческими словами. Прошу вас! - Он пригласил Максutowа сесть. - Я буду ходить. Привычка. Рука ноет и будет ныть до середины января, пока не станет Ангара. Проклятый туман!

Он показал на окно. Внизу лежала холодная, кутавшаяся в туман река. Ровные улицы города расположились у самого берега Ангары.

Максutow рассказывал долго, обстоятельно. Муравьева интересовало все: число людей у орудий, имена офицеров, калибр пушек, устройство пороховых погребов, характер повреждений на батареях, описание конгревовых ракет, вошедших в употребление уже после того, как он оставил

армию и был назначен тульским губернатором... В коротких, деловых вопросах его виден был опытный офицер, с цепким, живым умом, способный мгновенно оценивать и сопоставлять факты. Петропавловск он помнил так, словно вчера только вместе с Максutowым оставил этот порт.

Остановясь перед лейтенантом, когда тот заговорил о бегстве англичан с Никольской горы, Муравьев воскликнул горячо:

- Подумать только: я был в устье Амура, так близко от Петропавловска!

Он искренне сожалел, что не был на Камчатке в дни нападения англичан. Недурной сюрприз преподнес бы он своим петербургским завистникам, которые до сих пор еще считают блажью его поездку в Петропавловск пять лет тому назад!

Максutow почувствовал расположение к этому беспокойному, честолубивому человеку, а по совету Зарудного и еще кое-кого из чиновников ему следовало держаться осторожно, не давая воли чувствам и не поддаваясь впечатлениям первой минуты.

- Вы были с нами в самые трудные часы, ваше превосходительство!

Уловив какую-то натянутость в словах лейтенанта, Муравьев насторожился. Сейчас он даст понять этому молодцу, что не нуждается в провинциальной, топорной лести.

- Не понимаю! - сказал он строго.

Максutow озлился на себя, что пустился в область, чуждую и противную ему; может быть, поэтому ответ получился убедительный: деловой, суховатый, лишенный и тени подобострастия.

- По рассказам старожилов, вы, ваше превосходительство, в бытность свою на Камчатке лично указали место, которое следовало иметь в виду в случае покушения на Петропавловск. Это - озерное дефиле, где и была устроена батарея поручика Гезехуса. Генерал Завойко избрал это место своим командным пунктом. Недавние события подтвердили ваше предсказание.

- Вот как! - усмехнулся польщенный Муравьев. - Значит, помнят... Беда мне с Камчаткой! - Муравьев остановился в простенке меж двух высоких окон. - Занятия Камчаткой, Амуром у нас почитаются пустым делом, а то и опасным вольнодумством. Все суждения о Камчатке, об Авачинской губе в Петербурге относятся ко временам, здесь давно прошедшим. Но с той поры, как утвердились англичане и американцы на Сандвичевых островах, с началом китайских войн, с открытия золота в Калифорнии и китобойства в нашем Охотском море, все переменялось. А никто из наших голосистых политиков и не подумал заглянуть сюда, никто не захотел пожаловать к нам в сибирские пределы. - Он задумался и после большой паузы тихо сказал: - Жаль, жаль

мне Восточной Сибири. Опасаюсь за великую ее будущность - петербургские интриги угрожают ей. Увы, приближенным государя все это не нужно, им нужны деньги, деньги, деньги. - Лицо Муравьева неприятно покраснело.

Максутов молчал, и Муравьев, успокоившись, продолжал:

- Несколько лет твержу о том, что Англия угрожает Восточной Сибири. Прошу помощи. Все напрасно. В Петербурге никто и пальцем не шевельнет. Забывают о том, что действия англичан и североамериканцев во всех частях света имеют одну цель - собственный карман, а в выборе средств они не привыкли стесняться. стыдно признаться, а ведь журнальные писаки больше записных политиков понимать стали. Кабинет российский все еще североамериканцев нашими друзьями считает: памятни, мол, еще конгрессу британские пули! А пишущая братия истину учуяла: одного хочет конгресс владений поболее и барышей повернее. Пока Россия кровью исходит, урвать все, что близко лежит, а коли далече, так и то не беда. - Муравьев взял со стола июльскую книжку "Современника" и протянул ее Дмитрию. - Откройте "Современные заметки" на пятьдесят восьмой странице. Там крестиком отмечено. Прочтите-ка.

Дмитрий пробежал отмеченный абзац.

Речь шла об эскадре командора Перри, который должен добиться того, чтобы японцы "открыли свои порты для торговли, позволили запастись у себя водою и жизненными припасами кораблям, идущим в Калифорнию, - одним словом, вступили с североамериканцами в дружеские отношения, иначе североамериканская эскадра вступит с ними в недружеские сношения. Думали, что дело не обойдется без хлопот, что американцам придется попугать своих новоприобретаемых приятелей, чтобы "внушить" им, как справедливо сказано: О дружба, кто тебя не знает, Не знает тот и красных дней... То есть: кто не хочет мирной торговли, тому приходится плохо..."

- Уразумели? - спросил Муравьев, принимая от Максутова журнал. Весьма радикальный журнал изрекает простую истину, а нам Петербургом предписано оказывать всяческое содействие и почтение Перри, если ему заблагорассудится прийти шпионить и к нашим берегам... Да-с, ныне весь мир увидал, каковы планы англичан на Тихом океане, каков их аппетит. Слава богу, случай помог нам отстоять Камчатку, а что будет завтра?

- Петропавловск спасла отвага солдат и матросов, ваше превосходительство! - возразил Максутов.

Муравьев остановился и взглянул на лейтенанта, словно тот высказал странную, неожиданную мысль.

- Отвага... - повторил Муравьев. - Ну разумеется. Завойко умеет ладить с людьми.

Отчего так холодно, так равнодушно звучит эта похвала? О пушках и порохе Муравьев спрашивал с большим интересом.

- Завойко, - продолжал Муравьев, - удалось кое-что сделать, потому что он знает: нельзя пренебрегать и толпою, лучше иметь ее в свою пользу, чем против.

Генерал-губернатор был откровенен с Максutowым. В какую-то минуту лейтенанту показалось, что Муравьев заинтересован в нем, но он сразу же отбросил эту мысль, как несерьезную. Неизвестно даже, пошлет ли его Муравьев ко двору с донесением о победе, - в Иркутске же или в Петропавловске Максutow решительно безразличен генерал-губернатору. Однако настроением Муравьева надо воспользоваться. Максutow обещал Завойко сделать все от него зависящее, чтобы вопрос об обороне Камчатки в навигацию 1855 года решился в интересах порта. Обо всем не напишешь в донесении. Многое зависит от настроения, случайного стечения обстоятельств, неведомых жителям Петропавловска. Муравьеву в сибирских делах принадлежит важная, едва ли не решающая роль! Зачем же он жалуется на Петербург, на интриги, расстраивающие его планы? Уж не готовит ли он Максutowа к тому, что решение вопроса - оборонять ли Камчатку в будущем году или оставить ее неприятелю - зависит не от него, а от скрытых, враждебных сил в столице? Максutow постарается добиться ясности. Из разговоров со встречными чиновниками, из газет, попадавшихся ему на последних станциях под Иркутском, он понял, что в Крыму дела плохи. Радость, которую он привезет двору, не так уж велика, чтобы заставить забыть о потерях под Севастополем. При нынешних заботах от него могут отмахнуться, как от назойливой мухи, и предоставить камчатские дела беззаботному течению времени и злобе мстительных англичан. Может статься, что все будет зависеть от доброй воли, настойчивости и решимости Муравьева.

Пока Муравьев просматривал донесения Завойко, Максutow внимательно изучал кабинет губернатора. После практической мебелировки "Авроры", простоты и уюта дома Завойко кабинет Муравьева подавлял не только масштабами, но и массивностью, громоздкостью всего, что наполняло его. Внушительность этого помещения, казалось, должна была возмещать недостаток действительной власти в условиях громадного, трудно управляемого губернаторства. Портреты Александра и Николая в золоченых рамах, массивный стол, высокие резные спинки кресел, темные латы

рыцарей, стоящих по углам кабинета, ковры, которые глушили звук шагов, высокие окна в темных шторах - все это делало здесь нового посетителя как-то меньше, незначительнее. Маленький рыжеватый человек расхаживал по кабинету, действуя на воображение умной вкрадчивостью, мягкостью движений и скрытой энергией.

Муравьев позвонил и приказал дежурному чиновнику вызвать помощника правителя канцелярии. Явился высокий, крупнотелый коллежский асессор. Он двигался как-то странно - боком, особой канцелярской иноходью, откровенно подобоострастной и, однако же, свободной, словно непринужденной. Лицо коллежского асессора показалось Максutowу знакомым: бесцветные глаза, совершенно обезличенные толстыми стеклами очков, мясистый, в крупных веснушках нос и злой, чуть выпяченный, морщинистый рот.

Как только чиновник заговорил, Максutow вспомнил: он встретился с ним накануне под Иркутском. Удивительный контраст между крупной фигурой и противным голосом кастрата.

Чиновник сдержанно поклонился лейтенанту.

Генерал-губернатор распорядился срочно снять копии с привезенных бумаг, так как донесения Завойко и Изыльметьева должны следовать в Петербург.

- Старый знакомый? - спросил Муравьев, когда чиновник вышел.

- Я, кажется, встречался с ним.

- Это он обскакал вас с вашей же новостью. В жизни на коня не садился. А тут примчался - конь в мыле и сам ни жив ни мертв.

- Усердный чиновник, - неопределенно заметил Максutow.

- Говорун. Говорун и совершеннейший Молчалин. Вы знакомы с сочинением господина Грибоедова?

- Видел в театре.

- В дни моей молодости, - сказал Муравьев мечтательно, - сатира Грибоедова была куда как модной на Кавказе. Читали в списках, вслух, запершись. Молодежь тайком от начальства, начальство по секрету от молодежи... - Муравьев вспомнил о чиновнике и сокрушенно потрянул головой. - Да-с, говорун. А у нас, как и везде, впрочем, говоруны берут верх... Идеальный чиновник, чудо нашего века.

Откровенность сановника начала утомлять Максutowа. Ему вновь послышалось в ней что-то неестественное, какое-то необъяснимое желание расположить молодого офицера к себе. Поэтому он обрадовался, когда Муравьев вспомнил о знамени Гибралтарского полка, оставленном в приемной.

- Ваше превосходительство, - сказал Максutow, - разрешите мне вместе со знаменем представить одного из доблестных защитников Петропавловска.

- Извольте.

- Никифор Сунцов, рядовой двенадцатого сибирского батальона. Он застрелил командира английских морских стрелков, капитана Паркера...

- Прикажете явиться.

Муравьев распорядился позвать чиновников губернской канцелярии. Ему хотелось, чтобы при этой церемонии присутствовало как можно больше людей: пусть видят английское знамя, захваченное в пределах его в л а д е н и й.

Вскоре в зале собралось много чиновников.

Максutowа в этом собрании занимали два человека - Муравьев и Никифор Сунцов. Они стояли друг против друга - прославленный генерал и рядовой солдат, блистательный вельможа, соправитель империи, и сибирский мужик, одетый в солдатское сукно.

Едва зал наполнился молчаливыми чиновниками, Муравьев преобразился. Будь кто-то невидимый вставил на место стержень, который был вынут перед приходом Максutowа. Резкие повороты, властный тон, строгий, начальственный взгляд цинично-умных глаз. Сразу обнаружился горячий, нервный темперамент, взятый в тиски воли, выучки, воинской привычки.

Сунцов впился глазами в Муравьева: вот он каков, грозный вельможа, пославший на смерть Василия Овчинникова, друга и побратима Никифора...

Вспомнился Сунцову утрамбованный казачьими сапогами плац перед гарнизонной гауптвахтой, весеннее солнце, палящее затылки сибирских стрелков. Василий Овчинников, бледный, спокойный, с руками, туго скрученными на спине. Между нескончаемыми шеренгами солдат метался бригадный командир, угрожая гауптвахтой каждому, кто не оставит кровавого рубца на спине солдата, который оскорбил его, осмелев схватить за эполет.

Овчинников, пригнувшись, двинулся сквозь строй.

Солдат прошел треть пути. Вдруг строй заволновался: вдали, у входа в полковую канцелярию, показался Муравьев в сопровождении офицеров. Ждали, что он помилует Овчинникова. Но Муравьев остановился в отдалении и, ставив перчатку с руки, поощрительно помахал ею бригадному.

Истязание продолжалось.

К вечеру Овчинников умер. Это случилось за неделю до отплытия сибирских стрелков по Шилке и Амуру.

Теперь генерал стоял против Сунцова.

Никифор угадал желание Муравьева и бросил знамя на ковер, к его ногам.

Генерал-губернатор словно попирал побежденное знамя своим щегольским сапогом.

- Молодец! - сказал Муравьев покровительственно. - Низко ценишь гордое английское знамя!

Серые глаза Сунцова сверкнули из-под нависшей глыбы лба.

- Ваше превосходительство! - отчеканил он. - Англичане уронили его еще ниже: с земли пришлось подбирать.

Муравьев рассмеялся, и смешок, дребезжа в чиновничьих глотках, покатился по залу.

- Знаешь ли ты, что здесь написано? - спросил губернатор.

- Английский тигр и земля, ваше превосходительство!

Из предосторожности он не упомянул короны.

- Это не тигр, а леопард, - поправил Муравьев. - Но я спрашиваю о надписи.

- Не могу знать, ваше превосходительство!

- Per mare, per terram! По морю и по суше! Англия владычить хочет и на море и на земле... За "Георгием" приехал?

- Так точно!

- Откуда родом?

- Нерчинский. Из крестьян горного ведомства.

- Вижу, что хорошо служишь.

- Рад стараться, ваше превосходительство!

Максутова легко потянули за рукав. Он обернулся. Позади него, недалеко от коллежского асессора с голосом кастрата, стоял бравый есаул, совсем еще молодой человек, с русыми, резко спадавшими у уголков рта усами и бесцеремонным взглядом красивых карих глаз.

- Не томите меня, лейтенант, - сказал он трагическим шепотом. Говорят, вы привезли почту. Уверен, что там есть письмо и ко мне.

- От кого?

- Я Мартынов, - прошептал есаул. - Вы, оказывается, ехали следом за нами. Обидно. Есть письмо?

Максутов улыбнулся и показал руками: "Вот какое!" Есаул Мартынов ответил на улыбку, и лицо его стало вдруг простым, без налета развязности, которая почудилась Максудову.

- Спасибо! - Мартынов стиснул локоть лейтенанта. - Вы поселитесь у меня. Жду вас у крыльца. Условились?

Максутов кивнул. Мартынов, прячась за чиновничьи спины, пробрался к выходу.

В приемной коллежский асессор остановил Максудова. Тускло, безразлично

смотрели его глаза сквозь толстые стекла.

- Генерал-губернатор приказал определить вас на квартиру. Угодно в гостиницу-с?

- Благодарю вас, я уже устроился.

- Позвольте полюбопытствовать, - пропищал чиновник. - Извините... служебные надобности-с, срочный вызов-с...

- Не знаю адреса. На квартире у есаула Мартынова.

- У Мартынова-с? - У чиновника было такое лицо, будто Максutow назвал ему адрес тюрьмы или притона.

- Да. А что?

- Не приличествует дворянину, - ответил чиновник. - Господин Мартынов принадлежит к худшему элементу местного общества. Да-с! Вы приезжий! Не хочу скрывать от вас...

- Вот оно что! - Максutow с растущей неприязнью смотрел на старческий рот чиновника. - Я натуралист, господин помощник правителя канцелярии. Интересуюсь всем и ничем не брезгую. Познакомился с вами, поживу у есаула Мартынова, надеюсь, что и лучшему иркутскому обществу буду представлен. И, небрежно поклонившись чиновнику, Максutow позвал Сунцова: - Идем, Никифор. Уже готова теплая изба и угощение. IV Внешность Мартынова обманчива. Округлый подбородок с ямкой посередине и карие глаза, насмешливо и бесцеремонно изучающие собеседника, не располагали к нему. Но стоило Мартынову улыбнуться - а улыбался он щедро, с полным радушием и откровенностью, - стоило заговорить, как уже он казался простым, привлекательным человеком, положительным и сердечным. В минуты молчания он напоминал штабного офицера, закаленного в сердечных боях и шулки ради напоявшего мундир казачьего есаула - уж не для того ли, чтобы в чужом мундире увезти тайком невесту? Но вскоре под картинной насмешливой внешностью обнаружился коренной сибиряк, основательный, резковатый, чуждый рисовке. Крепкий, как сибирский дубок, которого и ноябрьские морозы не заставят сбросить листву, он через полчаса после знакомства мял и тормозил Максutowа, похлопывал по плечу медвежьей лапой и звал его на "ты".

- Письма Маши не осилил сразу. Успею и ночью прочитать. Тут надолго хватит, - сказал он, хвастливо взвешивая на ладони пакет.

Но в разговоре часто возвращался к Маше, спрашивал о ней, слушал Максutowа недоверчиво, настороженно.

- Поверишь, - сказал он вдруг, - я иногда не могу вспомнить ее лицо. Стараюсь, лежу с закрытыми глазами - и ровно ничего. Сначала забылось

выражение лица, а потом и черты стерлись.

- А портрета нет? - спросил Максutow.

Величать Мартынова по имени-отчеству было неудобно, но и короткое "ты" не получалось.

- Не оставила. Считает плохой приметой. С ней трудно.

- Маша - упрямая девушка, - согласился Максutow.

- Небось многим фрегатским вскружила голову?

- И не только фрегатским. - Максutow вспомнил Зарудного.

- Ну а тебе? - С наигранной свирепостью Мартынов так схватил его за борта расстегнутого сюртука, что затрещало сукно.

- Я, брат, не умею влюбляться с первого взгляда, - сказал Дмитрий.

- То-то же!

Мартынов отпустил его.

Весь день в доме есаула хлопали двери. Приходили друзья Мартынова познакомиться с Максutowым, услышать подробности из уст участника событий. Входили шумно, как в собственный дом, стряхивали с сапог и шуб снег. А снег падал уже третий день непрерывно, укрывая до окон деревянный домик вблизи рыночной площади.

Предсказания помощника правителя канцелярии не оправдались: к есаулу приходили приятные люди, с которыми Максutow легко знакомился. Если в Иркутске много такой молодежи, а в домах так тепло и уютно, то лучшего города невозможно себе и представить.

После утомительного путешествия по необжитым местам Иркутск, укутанный в мягкий светлый покров, с белыми садами, сизыми дымками, медленно ползущими из труб, и многоголосым пением колоколов, от которого Дмитрий уже отвык, наполнял сердце благодушным покоем. С первыми же морозами туман оседал мохнатым инеем на резных карнизах домов, на чугунных решетках, каменных и кирпичных выступах, на выпуклых буквах вывесок, на деревьях и оконных наличниках, придавая городу вид нарядный и сказочный. Максutowу казалось, что и гости Мартынова приносили с собой частицу этого опрятного, светлого мира.

К началу ранних осенних сумерек в комнате остались только Николай Дмитриевич Свербеев, муж Зинаиды Трубецкой, чиновник дипломатической службы при Муравьеве, и Вячеслав Якушкин, сын декабриста, жившего в Ялуторовске вместе с Пушиным, Евгением Оболенским, Матвеем Муравьевым-Апостолом и другими.

Свербеев пришел за письмом из Якутска, от преосвященного Иннокентия, но Максutow очень скоро почувствовал, что у осторожного чиновника есть и на

него самого какие-то свои виды.

Иннокентий, один из первых миссионеров православной церкви на Алеутских островах и побережье Тихого океана, человек властный, проницательный и умный, в письмах к Свербееву и Муравьеву использовал петропавловские события для доказательства того, что необходимо торопиться с заселением далекого приамурского края. Свербеев даже прочитал вслух одно место из письма Иннокентия:

"Со всею вероятностью можно сказать, что лишь только мы оставим Амур, то или американцы, или англичане немедленно овладеют им и уже не будут так вежливы с соседями нашими: они как раз и самим айгунцам покажут место за горами, а потом, пожалуй, и подальше..."

Свербеев не пил, говорил не спеша, гибкими, плавными фразами. Потом он заторопился. Он еще должен успеть домой к обеду. Обычаи этого дома для него священны. Он так счастлив в семье Трубецких! Трубецкому по-прежнему не дозволено проживать в Иркутске, и он, Свербеев, единственный мужчина в их доме.

- Отчего бы вам по дороге не заехать в Ялуторовск? - как бы невзначай спросил он МаксUTOва.

Все смотрели на лейтенанта. Ялуторовск? МаксUTOв припомнил: это в Западной Сибири, где-то в стороне от дороги в Петербург. Большой крюк. Почему Ялуторовск?

- Господа, - ответил МаксUTOв уклончиво, - может статься, что донесение в Петербург повезет кто-нибудь другой.

- Об этом мы позаботимся, - уверенно возразил Свербеев. - Я спрашиваю на тот случай, весьма вероятный, если Николаю Николаевичу угодно будет командировать вас.

- Почему Ялуторовск?

- Вы окажете нам дружескую услугу, господин МаксUTOв. Услугу личного характера.

- Я хотел бы знать, господа...

- В Ялуторовске проживают близкие нам люди. Мой родственник Евгений Оболенский... Там Пущин, там люди, которые вправе прежде двора узнать столь счастливую новость. Порадуйте их, Дмитрий Петрович, в многолетнем сибирском заточении!

- Почту за счастье! - воскликнул МаксUTOв.

Он забыл об ответственности, которую берет на себя, соглашаясь на такую просьбу.

Уверившись в решимости лейтенанта, Свербеев попрощался. Он напомнил

Максутову, что они увидятся вечером у Муравьева.

- Кстати, - сказал Свербеев, уходя, - прискакал милейший Александр Павлович Арбузов. Свирип. Решителен. Рассказывает чудеса! Он уверяет, что господин Завойко назначил его на бот для перевозки угля паровой шхуне "Восток" с намерением убить храброго капитана газами разлагавшегося от сырости угля. - Свербеев высоко поднял ровные брови. - Так сказать, умышленное покушение! Какая ерунда-с!.. Арбузов заартачился, и господин Завойко отправил его из Камчатки, но в пути храброго капитана постигло горькое разочарование: вы, Дмитрий Петрович, опередили его новостью о победе, и этого он никогда не простит вам...

Это сообщение было сделано неожиданным тоном светского болтуна и повесы.

После Свербеева осталось какое-то неопределенное ощущение. Холодный ум, неприятная настороженность, назойливые славословия дому княгини Трубецкой и желание казаться старше своего возраста.

Мартынов называл его "зятем Трубецких". Видимо, он относился к Свербееву сдержанно. После ухода чиновника дипломатической службы переменилась атмосфера в комнате Мартынова, чем-то напоминавшей обиталище Зарудного. Мартынов повеселел. Живее зазвенели чарки, теснее, уютнее стало за столом, на котором горели свечи.

Якушкина есаул любил, но относился к нему несколько покровительственно и даже иронически, как деятельный, живой человек может относиться к мечтательному и медлительному другу. Каждый из них хорошо знал мысли другого, его странности и слабости. Именно таким людям простым, доброжелательным, свободно высказывавшим свои радикальные взгляды на общественное устройство России, - хотелось Максутову рассказать о том, чем стал для него Петропавловск-на-Камчатке и как изменится отныне вся его жизнь. Мартынов внимательно слушал Максутова, и после каждой выпитой рюмки удивленно и смешно потряхивал большой вихрастой головой.

Дмитрий рассказал Мартынову о своем разговоре с помощником правителя канцелярии. Есаул только рассмеялся:

- Если Муравьев и недолюбливает меня, то его он презирает. Взяточник. Сквалыга. Совершеннейшая мизерия.

- Однако ж держится он прочно, - вставил Якушкин.

- Как прыщ на спине! Держится, пока не слишком тревожит.

Взяв в руки гитару, есаул пропел хрипловатым голосом на мотив лермонтовской колыбельной: Тих и кроток, как овечка,

И крепонек лбом,

До хорошего местечка
Доползешь ужом
И охулки не положишь
На руку свою.

Спи, покуда красть не можешь!

Баюшки-баю. Якушкин попробовал было отобрать гитару у Мартынова, но тот только грозно нахмурился на него и продолжал: Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин,
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.

Заживешь - и мирно, ясно

Кончишь жизнь свою...

Спи, чиновник мой прекрасный!

Баюшки-баю. Вячеслав Якушкин укоризненно смотрел на друга, пока тот пел знаменитые, строжайше запрещенные цензурой некрасовские строфы, а дождавшись конца, сразу же перевел разговор на другое.

- Как вам показался наш Николай Николаевич? - спросил он у МаксUTOва.

- Признаюсь, господа, - помялся Дмитрий, - я нахожусь в затруднительном положении. Муравьев - человек не простой...

Мартынов присвистнул:

- Сложная штучка, но не настолько, чтобы при некотором уме не разобраться в его мудреном механизме.

Нетерпеливым жестом Якушкин отодвинул от себя тарелку остывших пельменей, надулся.

- Муравьев прекрасно владеет пером... - начал было он.

- А розгой - и того лучше! - съязвил Мартынов, наблюдая исподлобья за другом.

- Он умен, светски образован, - продолжал Якушкин, ожесточаясь.

- Боек, - вторил ему есаул.

Дмитрий решил, что они не впервые спорят об этом. Это чувствовалось по тому, как быстро собрались тучи, как мало потребовалось слов, чтобы атмосфера сделалась напряженной.

- Вздорное, пустое критиканство! - протестовал Якушкин, помахивая непомерно большой, в темно-русых волосах головой. - Образ мыслей Муравьева достаточно хорошо известен. Не он ли один из первых предложил государю упразднить крепостное право?

- Узрев в этом экономические выгоды России? - не сдавался есаул. Только выгоды! Если вам угодно знать, Николай Николаевич, не жалующий купцов и

откупщиков, по естеству своему первый откупщик и промышленник империи.

- Неправда! - горячился Якушкин. - Он смягчил участь ссыльных, героев четырнадцатого декабря...

- Чтобы Россия аплодировала ему! - гремел Мартынов. - Для того, что ты зовешь смягчением участи, Муравьеву не нужно было пошевелить и мизинцем. А польза велика: нынче его славословят все доверчивые юнцы: "Ах, Муравьев смягчил! Муравьев дозволил!" Полно тебе назад глядеть. Нынче новые времена, и у голубых мундиров* заботы не о героях Сенатской площади. Муравьев это отлично понимает.

* Жандармерия. - Алеша! Алеша! - с болью и сожалением твердил Якушкин, которому не доставало сил бороться со страстной убежденностью Мартынова. - Не приведет это к добру...

- Я не ищу добра для себя, друг мой, - ответил Мартынов мягко.

Максутов устроился в теплом, уютном углу под олеографией "Осада Туртукая" и любовался Мартыновым. Он был рад случаю, который свел их здесь, вспоминал немногие, полные детского преклонения слова Маши о Мартынове и с сожалением думал, что такой человек, как Мартынов, не сможет принести ей семейного счастья. "Натуральный холостяк, - думал Дмитрий. Своенравный, азартный... Такого не засадишь в домашнюю клетку..."

Между тем Якушкин, подкупленный мягкостью последних слов Мартынова, приободрился.

- Алексей не хуже моего знает, как трудно приходится Муравьеву, обратился он к Максуту. - Вечные интриги петербургских завистников, доносы Горного департамента, унижительные клеветы... А здесь не легче: своевластие золотопромышленников, косность имущего класса, предрассудки, нищета... Муравьеву приходится лавировать, колебаться...

Мартынов встрепенулся и горячо принялся за прежнее:

- Он колеблется между желанием скрутить всех в бараний рог и стремлением прослыть свободомыслящим!

Спор разгорелся с новой силой. Якушкин ссылаясь на целесообразные государственные акты Муравьева, на создание Камчатской области, на поддержку Невельского, организацию сибирской флотилии, на то, что Муравьев охотно окружал себя людьми, близкими к декабристам - с ним, кроме Свербеева и Якушкина, работали Бибикив, Беклемищев, - и не мешал им поддерживать частную переписку со ссыльными. Мартынов, не отрицая известных фактов, в простых, насмешливых словах вскрывал их истинный смысл, и гуманные деяния Муравьева тускнели.

Когда Якушкин упомянул об образовании забайкальского казачьего войска, Мартынов резко вскочил с места и, распахнув дверь в соседнюю комнату, позвал Сунцова.

Солдат явился пунцовый, пышущий жаром. Он успел попариться в крохотной бревенчатой бане, которая чуть торчала из-под снега в углу двора, и досыта напиться чаю.

- Кто ты есть? - лукаво воззвал есаул.

- Рядовой двенадцатого сибирского батальона Никифор Сунцов.

- Родом?

- Из Нерчинска. Из крестьян Горного ведомства.

Мартынов представил Сунцову Якушкина:

- Вячеслав Иванович Якушкин.

Светлые глаза Сунцова с интересом уставились на озадаченного чиновника.

- Вячеслав Иванович интересуется: доволен ли ты, братец, службой? спросил Мартынов.

- Так точно, - не задумываясь ответил солдат. - Доволен и рад!

Есаул, словно умышленно, копировал дневной разговор генерала с Сунцовым и чего-то ждал от солдата.

- Жалует государь рекрута? - подмигнул Мартынов.

- Ох, и жалует! - ответил Сунцов неопределенно.

- Поди, не так, как ссыльнокаторжных?

- Известно, рекрут из свободных крестьян не чета каторжнику.

- Неужто хуже?

- Как можно?! Рекрута противу государева преступника вдвое жалуют!

- Вдвое?

На сей раз и Мартынов насторожился: что еще на уме у этого сметливого солдата?

- Ссыльнокаторжный отработает на руднике пятнадцать, по крайности двадцать лет - и прощай острог, прощай мелкозвон*. Опять он свободный, гульный человек. А безвинному нерчинскому крестьянину в рекрутском звании сорок лет службы положено. Посчитай-ка, барин!

* Мелкие кольчатые кандалы. - Действительно, вдвое! - торжествовал Мартынов. - И служба ничем не легче каторжной. Он и в рудниках и в соляных варницах, у раскаленного чрена*. Отравленный рудой, газами, парами...

* Большая сковорода на примитивных солеварнях. - Хорошо, если военная

оказия случится, - словно извиняясь, добавил Сунцов.

- Да, - зло сказал Мартынов, - отменно воюет русский мужик, золотые у него руки, а голова и того лучше. Но горек его путь к подвигу. Неужто ты, Вячеслав, не знаешь, - укоризненно бросил он Якушкину, - что рекрут и на преступление идет, только бы попасть ему из бессрочной каторги в срочную, получить срок, хоть и десятилетний, как великую милость, чтобы потом вместе с домочадцами стать свободным? Или каменные стены присутственных мест закрыли от тебя мир, заглушили людские крики и стоны?

Неуверенные возражения Вячеслава Якушкина не могли остановить потока его гневных слов. Мартынов не рисовался, подобно Муравьеву, не витийствовал, - он любил, страдал и верил. И от его справедливых слов события в Петропавловске освещались новым светом, становились более значительными, дорогими для МаксUTOва. Само собою пришло решение: если его пошлют в Петербург, он непременно заедет в Ялutorовск.

А Мартынов, не сводя глаз с притихшего Якушкина, запел свою любимую песню: Звенит звонок, и тройка мчится.

Несется пыль по столбовой;

На крыльях радости стремится

В дом кровных воин молодой... С тихой горечью Мартынов пел о солдате, который пятнадцать лет не видел отчего дома. Но вот показалось родное село, непрошенная слеза явилась на глаза. Звени! Звени, звонок, громчее! В его глуховатом голосе МаксUTOву невольно передались и тревога, и необоримое волнение, и рыдания, теснившие грудь солдата. Лихая тройка, вихрем мчись,

Ямщик, пой песни веселее!

Вот отчий дом!.. Остановись! Есаул и сам ощущал, как глаза застилают слеза, когда растерянно, забыв о мелодии, выговаривал слова служивого, потрясенного тем, что родные не узнают его: Я вам принес письмо от сына, Здоров он, шлет со мной поклон;

Такого ж вида, роста, чина,

И я точь-в-точь, две капли он!.. И все четверо - есаул, влюбленный в него Якушкин, сероглазый Сунцов, МаксUTOв, от которого прочь отлетели и сон и усталость, - жили в эту минуту одним чувством, думали одну думу.

Долгое, нерадостное молчание, навеянное песней Мартынова, прервал Вячеслав Якушкин.

- А в Крыму дела плохи, - глухо проговорил он, весь как-то съеживаясь. - Неприятель свозит стотысячную армию, прокладывает железную дорогу к самым позициям. На Украине бунтуют мужики. Кровь... Слишком много

крови...

Мартынов порывисто поднялся. Максutow еще не видел его таким на протяжении всего вечера: беспощадное выражение колючих глаз, рот, оскаленный яростью и гневом.

- Россия обновится в святой крови! Эта кровь не будет пролита даром. Слышишь, Якушкин?! К дому Муравьева подкатывали сани, подъезжали колесные экипажи, санный путь только что установился, и многие еще ожидали оттепели.

Ни Мартынов, ни Якушкин не были званы к Муравьеву. Они проводили Максutowа до самого подъезда.

- Желаю вам хорошо повеселиться, - сказал Якушкин.

- По крайней мере не умереть с тоски, - добавил Мартынов.

Впервые за долгое время очутился Максutow в шумном чиновном собрании. Вначале им завладели Муравьевы - генерал-губернатор, его жена Екатерина Николаевна, которую муж ласково звал Катенькой, и старая дева Прасковья Николаевна Муравьева, такая же некрасивая, как ее брат, но без его умного, оригинального выражения лица. Серолицая и злая, она, по-видимому, давно потеряла веру в счастливый случай, - даже присутствие Максutowа, офицера, холостяка и героя дня, не вызвало в ней интереса.

Муравьев был любезен, внимателен и, знакомя Максutowа с местной знатью, успевал шепнуть о каждом из гостей что-нибудь злое, остроумное, обнаруживая насмешливый ум и независимость суждений. Слушая его, Максutow готов был скорей согласиться с характеристикой Якушкина, чем с резким отзывом Мартынова. Да, в этом живом, умном человеке, обладающем большими познаниями в литературе и истории, трудно было предположить злой умысел или деспотизм.

Максutow не скрыл своей радости, когда Муравьев сказал, что решил послать его в Петербург.

- Василий Степанович просит об этом, - добавил Муравьев, словно оправдываясь перед Максutowым.

- Благодарю вас, ваше превосходительство.

- В Петербурге вам предстоит нелегкая миссия, - начал Муравьев.

- Я сделаю все, - с готовностью сказал Максutow. - Я полюбил Камчатку, как родной дом...

Муравьев остановил его:

- Я не о том, Дмитрий Петрович. В Петербурге ваша семья. Вы понесли тяжелую утрату. ("Отчего я так редко вспоминаю Александра?" - с грустью подумал Дмитрий.) Слабые духом отчаиваются, они ни в чем не находят

забвения. Иные ищут утешения в религии. Нам же, друг мой, не должно следовать примеру слабых. Мы помним о России!

Максутов сосредоточился. Но губернатор вдруг перешел на будничный, деловой тон:

- Ваши бумаги готовы. Завтра попрошу вас зайти ко мне для исполнения некоторых формальностей - и с богом в дорогу.

О Камчатке толковали беспрестанно. Только Муравьев, его сестра и красивая Катенька словно забыли о существовании Петропавловска и о том, что привело молодого офицера в Иркутск. Екатерина Николаевна сопровождала мужа в его путешествии на Камчатку пять лет назад, помнила уютную ложбину между Никольской и Петровской горами, малый внутренний рейд, ширь Авачинской губы и не донимала Максудова расспросами.

Муравьев все время, пока удерживал около себя гостя, говорил с ним о Кавказе и Крыме. Клеймил вероломство Австрии, принудившей Россию очистить завоеванные кровью русского солдата дунайские княжества, и тут же уверял, что "в целом свете один только Нессельроде и мог поверить в искренность и дружество австрийского императора".

- После Альмы, - сказал Муравьев, нервно постукивая по паркету носком сапога, - мир решит, что у нас нет больше генералов. Может быть, флотские спасут честь России, я верю в счастливую звезду Севастополя. А как трудно воевать! Перед нами нынче не горцы и не одни фанатики турки, а Европа-с, вооруженная до зубов, армия, ни в чем не испытывающая нужды. Уж поверьте мне, после Синопа Англия потеряла покой, она будет из кожи вон лезть, только бы покончить с русским флотом, пустить его ко дну или на веки веков запереть в Черном море... К ним нынче и американские инженеры прибыли телеграфический кабель от Балаклавы до Варны прокладывать, для связи со столицами, а у нас неразбериха, хаос, порошу нет, угля не хватает и для нескольких пароходов, солдаты гибнут от болезней, напрасно ждут медикаментов. Нет, нет твердой руки... в армии, - добавил он.

В словах Муравьева звучала искренняя горечь, тревога за судьбы России и вместе с тем едва уловимая честолюбивая нотка: "Дали бы мне право командовать, руководить операциями в Крыму, я многое спас бы!.."

Во всех других кружках, закоулках зала и в нескольких прилегавших к нему комнатах то и дело заходил разговор о Камчатке. Максудову надоели однообразные вопросы, праздный по большей части интерес к драматическим событиям в Петропавловске и бесконечные толки о том, каких наград могут быть удостоены камчатские чиновники. Он видел, что интерес к этому событию подогревался его присутствием и уверенностью, что самому

губернатору приятно видеть это патриотическое оживление. Не будь здесь МаксUTOва, подай Муравьев малейший знак к тому, чтобы перейти к обычным, каждодневным делам, - и все это разряженное сборище с радостью отдастся своим мелким страстишкам, праздной болтовне, нудному коловороту местной жизни.

- ...мы лишились нескольких храбрых защитников наших, - скорбел протоиерей Прокопий Громов, - и забвенна будь десница наша, если мы не будем всегда возносить молитвенно имена их у жертвенника Христова! - И добавил будничным тоном: - Но число их весьма невелико, так что порой одна буря на море сопровождается не меньшею потерей...

МаксUTOв не стал больше слушать. Миновав группу чиновников, в центре которой недавний его знакомец - помощник правителя канцелярии самодовольно утверждал, что "безуспешное нападение на нас неприятеля доставило нам величайшую честь перед лицом всей России", - он остановился у портьеры, разделяющей две комнаты... В соседней было оживленно, и уже первые услышанные слова заставили его насторожиться.

- ...Пришед по назначению, я просил командира батареи господина Гезехуса, чтобы прислуга из писарей зарядила орудия через одно ядром и картечью, ядром и картечью...

Голос показался МаксUTOву знакомым. Он заглянул в комнату, - там был Арбузов, окруженный офицерами, молодыми чиновниками, девицами.

- ...Да-с, ядром и картечью, - увлеченно продолжал он. - Я приказал казакам нарезать шашками травы и прикрыть ею орудия. Посадив бойких писарей за насыпью, я, господа, сам стал на банкет. Вскоре явились два англичанина в красных мундирах с белыми перевязями...

Несколько женских голосов одновременно воскликнули: "Ах!" - не то с ужасом, не то восхищенно.

- ...За ними подошли еще четверо и вздумали прицеливаться по мне, как по единственной живой мишени, - голос Арбузова неестественно возвысился. В простоте сердечной, еще не зная полета штуцерных пуль, я стоял и только грозился им саблями. Неприятеля, пошутив со мною и не пробуя стрелять, вздумали возвратиться...

Кровь прилила к голове МаксUTOва, застучало в висках.

"Какая пошлость, какая низость выставять дело в таком виде ради своего самолюбия!"

- Тогда я, господа, - Арбузов сделал паузу, рассчитывая на наибольший эффект, - дернул за шнурок, сделал выстрел, и неприятель бежал, подхватив убитых на руки.

Некоторое время голос храброго капитана тонул в одобрительном гуле. Арбузов достиг своего: он был снова героем дня, по крайней мере здесь, в комнате, заполненной иркутскими простаками и недорослями. Окрыленный, он продолжал:

- От угощения Завойко я отказался, господа. Я отобедал за общим столом с чиновниками, людьми скромными, умеющими ценить храбрость и воинские заслуги. Не скрою, господа, камчатские чиновники предложили мне выдать за своими подписями свидетельство о том, что спасением порта они обязаны мне, а не генералу Завойко... Сам Петр Илларионович Васильков, тамошний судья, дважды делал мне подобное предложение...

- Неужто вы отказались? - изумилась одна из слушательниц.

- Да, - решительно ответил Арбузов, - я отклонил от себя эту честь. Видимо, Арбузову показалось обидным так быстро расстаться с лавровой ветвью победителя, и он закончил многозначительно: - Я просил их только подтвердить это под присягой тогда, когда окажется нужным!

Максутов отдернул портьеру и вошел в комнату. Он не находил подходящих слов и неподвижно уставился на Арбузова, но тот ничуть не растерялся. Мартынов, вероятно, знал бы, как поступить! Уж он натворил бы чудес: дал бы пощечину лжецу, дрался бы с ним на дуэли, примерно расправился бы с ним.

- А-а-а! Дмитрий Петрович! - радушно приветствовал его Арбузов, поднимаясь навстречу.

Взбешенный Максутов резко повернулся и, не ответив на приветствие, направился к выходу.

На лестнице его нагнал помощник правителя канцелярии.

- Дмитрий Петрович? - окликнул он. - Так рано?

- Я отвык от балов, - буркнул Максутов, накидывая на плечи шинель, и к тому же устал.

- Жаль, жаль...

Чиновник кокетливо склонил голову.

- Два слова... - заискивающе сказал он, понизив голос. - Если вам случится по пути заехать в Ялуторовск, я попросил бы вас передать...

Максутов не дал ему договорить:

- В Ялуторовске я, может статься, и побываю, но от ваших поручений увольте. Пользуйтесь казенными курьерами. Так благонадежнее...

На улице было тихо. Молодой месяц не мог пробиться сквозь серую пелену и обозначался на небе светлым, матовым пятном. Редкие снежинки медленно кружили и падали на дорогу.

Утром Муравьев принял МаксUTOва запросто, как старинного друга, пожурив за неожиданное исчезновение.

- Катенька очень огорчилась... - Узнав причину бегства, он долго и искренне смеялся. - Арбузов! Неисправимая личность! Честолюбец и, вероятно, храбрец. Уж я ему окажу прием, могу вас заверить - не обрадуется!

Сегодня и МаксUTOву казалось, что не стоило так сердиться на человека, полного спеси и смешных слабостей. Бог с ним!

Наконец МаксUTOв решился спросить о Петропавловске. Захочет ли правительство оборонять порт в будущем году? Что полагает сделать генерал-губернатор?

Столь прямые вопросы редко кто задавал Муравьеву. В Иркутске за ним укрепилась репутация резкого, вспыльчивого человека, готового мгновенно сменить кошачью мягкость и вкрадчивость на злобное, хищное рычание. Обычно ждали вопросов Муравьева. Даже знаменитый Бенардаки, откупщик-золотопромышленник, соперничавший фактической властью с генерал-губернатором, при встречах с ним был кроток и сговорчив. Бенардаки не перечил Муравьеву - перечили деньги, миллионы, о которые разбивались энергия и настойчивость Муравьева.

Но МаксUTOв и на этот раз почувствовал, что Муравьев с ним радушнее и терпеливее, чем с другими.

- Будет ли и в 1855 году спасен Петропавловск, который протоиерей Громов изволил вчера назвать богоспасаемым градом? - спросил лейтенант.

- Я знал, что этот вопрос вас заинтересует, - ответил Муравьев, протягивая МаксUTOву какую-то бумагу. - Это копия письма, отправленного час назад нарочным курьером на Камчатку. Письмо ответит на все ваши вопросы и тревоги.

"Хладнокровие и распорядительность ваши, - писал Муравьев, - личное посещение всех пунктов бывших действий, при мужестве войск, одушевленных вами, было главнейшими причинами блистательного отражения неприятеля. Я поставил себе приятную обязанность представить об этом его высочеству*. Прошу вас принять от меня изъявление искренней, душевной признательности, поздравить от моего имени всех тех, кто удостоился принять участие в этом деле, покрывшем славою русское оружие на отдаленнейшем краю нашей империи. Вместе с тем уведомляю ваше превосходительство, что от лейтенанта кн. МаксUTOва я получил все представления ваши, касающиеся доставления весной будущего года разных предметов на Камчатку, и соображения ваши, относящиеся до защиты Петропавловского порта на случай нападения неприятеля в будущем году.

Относительно доставления на Камчатку разных предметов продовольствия и прочего мною сделано уже здесь надлежащее распоряжение, равно как и об отправлении по Амуру всего необходимого для усиления Петропавловского порта; о некоторых же артиллерийских предметах я вхожу ныне же с представлением к его императорскому высочеству. Все эти предметы, команды и продовольствие будут сплавлены по Амуру с первой возможностью плыть по этой реке и будут доставлены на Камчатку".

* Великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал. - Как видите, мы не намерены терять и часа, - сказал Муравьев, принимая письмо из рук МаксUTOва.

- А если неприятель учинит нападение весною? - спросил лейтенант.

- Что ж, пути господни поистине неисповедимы. У нас нет средств доставить среди зимы на Камчатку продовольствие и артиллерийское снаряжение. К тому же нужно получить благословение Адмиралтейства. Я надеюсь, что ваши энергичные представления в Петербурге окажут нам большую помощь.

- Я приложу все усилия, ваше превосходительство.

Максутов поднялся.

Муравьев осторожно взял его под руку и стал прогуливаться по пустынному кабинету, от одного рыцаря, закованного в латы, к другому. Полились жалобы на Петербург, на министров двора, на Горный и Азиатский департаменты.

- Нас не жалуют в Петербурге-с, считают крамольниками, фантазерами. Живем смиренно, из повиновения не выходим, а условия таковы, что уж лучше бы, как князю Гагарину, петлю на шею - и конец мытарствам, - свободной рукой Муравьев провел по горлу. - Гагарин помышлял отделить Сибирь от России. Удельным князем возомнил себя! Я же хочу одного - добра, процветания края. Но никому еще столько не вредили осторожные политики, никого они еще не донимали так, как меня. Им хороши были генерал-губернаторы, которые любили есть, пить, волочиться и наживаться! А я хочу разрабатывать железные руды, серебро, свинец, графит... Прошу дозволения добывать золото и употреблять его на укрепление Сибири и Камчатки, хочу обложить пошлиною охотских китов - легкую добычу чужеземцев - и сей доход употребить на тот же предмет. И что же? Всюду тычки и подножки. Горный и Азиатский департаменты заключили между собой союз и объявили меня в осадном положении. Пошли на меня войной, - конечно, кабинетною, чернильною, дипломатическою... Но разве может солдат, идущий на приступ, беречь свою жизнь! - Муравьев остановился и сказал проникновенно,

убеждающе: - Милостивый государь! Если вы удостоитесь высочайшей аудиенции, я хочу, чтобы вы поведали его величеству о нуждах края, который, я надеюсь, никогда уже не будет безразличен вам. Государь неизменно интересуется мнением людей, лично побывавших в отдаленных местах империи.

Лейтенант слушал Муравьева молча, всем своим видом выражая согласие с ним и сочувствие его затруднениям. Муравьев унялся только, когда ощутил, что Максutow достаточно подготовлен к роли, которую ему придется сыграть в Петербурге.

- Еще один совет, лейтенант, - сказал он. - Если вам случится ехать не прямо, а с остановкою, скажем, в Ялutorовске или другом пункте, куда нередко влечет молодежь, сохраните это в тайне.

Муравьев понимающе улыбнулся. Максutow вспомнил любопытного помощника правителя канцелярии. Так вот оно что! Оказывается, роли распределены точно. Презираемый чиновник необходим высокому сановнику.

- Я еще не думал об этом, - солгал Максutow.

- Мой совет на всякий случай, - продолжал Муравьев. - Я и сам стараюсь облегчить участь несчастных страдальцев.

- Мне говорили об этом.

- Кто? - быстро спросил Муравьев.

Максutow замешкался ответом.

- Не хотите - не надо, ради бога!..

- Вячеслав Иванович Якушкин. И не только он.

- Суровость правительства ничем не оправдана, - веско заметил Муравьев. - Эти люди более не представляют собой опасности, они принадлежат прошлому. У двора и правительства есть более современные противники, - эти люди свободно расхаживают по петербургским улицам, издают журналы, возмущают чернь. Нищие, голодные студенты. Выходки, осмеливающиеся поучать Россию. Этакое российское третье сословие... Вот о ком думать надобно. Освобождение декабристов нанесло бы ущерб новейшим подстрекателям. Пора забыть, пора и простить. Я ведь и сам стою за отмену крепостного состояния, - сказал Муравьев и поспешно добавил: - Но без потрясений в государстве. В этом пункте я решительно расхожусь с горячими головами...

Через час, поблагодарив Мартынова за гостеприимство, Максutow забрался в курьерский возок. Потеплело, и санная дорога испортилась. Это было неприятно, - он уже предвкушал удовольствие быстрой и покойной езды в санях. Но несмотря на тряску, он вскоре после переправы через Ангару у

Вознесенского монастыря задремал. Сказалась бессонная ночь, проведенная в разговорах с Мартыновым.

Эти разговоры, привлекательный образ есаула и были самым дорогим, самым важным, что увозил из Иркутска лейтенант Дмитрий Максutow.

ЗИМА

I

Представление "Ревизора" все-таки состоялось.

В госпитальной зале настлали сцену, расставили стулья и скамьи. Зрители сидели прижавшись друг к другу, - такая теснота бывает только на нижних палубах речных пароходов да на барках, перевозящих переселенцев по Тоболу.

Это был театр без освещенного подъезда, без лож и галерей, без газовых рожков и сухого шуршания шелковых нарядов. Не было и суфлерской будки, и чиновник-суфлер прятался сбоку, за складками корабельной парусины. Жена судьи оказалась единственной обладательницей театрального бинокля. Какую непогрешимую веру в цивилизацию нужно было иметь, чтобы не забыть захватить с собой в Петропавловск эту красивую инкрустированную безделушку!

Спектакль начался поздно. Экипажи "Авроры" и "Двины", сибирские стрелки, расквартированные на зиму, поспешно воздвигали новые укрепления. В мастерских заготавливали запасные станки и лафеты. На батареях с удивительной быстротой вырастали новые брустверы, прочные амбразуры, одетые деревом и скрепленные железными шипами. Кузнечные мастера под присмотром поручика Можайского заменяли изломанные части артиллерийского снаряжения, связные болты, ударные молотки, оси. Везде прорывались закрытые ходы, строились надежные пороховые погреба.

Завойко торопил людей. Как только начнутся обильные снегопады, нечего и думать о земляных работах. А к весне придут суда с артиллерией, порохом, людьми; нужно, чтобы батареи были готовы к установке новых номеров, к приему больших запасов пороха и бомбических снарядов.

Мровинский, которому раненая нога давала право уехать в Иркутск, удивил всех своим решением остаться в Петропавловске до будущей навигации.

- Я в долгу перед англичанами, - мрачно объявил он Завойко. - Пулю из ноги вырезали, а заноза в сердце осталась. Укатить теперь из Петропавловска будет не по-мужски, Василий Степанович!

Завойко растрогался, но хотел испытать решимость инженера.

- Ваша нога, милейший, достаточно отомщена. В Иркутске у вас семья, дети...

- Уж не хотите ли вы меня выставить, как блаженной памяти Александра Павловича Арбузова? - обиделся инженер.

- Что вы! Помилуйте! Лежите, отдыхайте...

Мровинский не отдыхал. Пока не мог ходить, превратил госпитальную палату в инженерный штаб. Тут составлялись чертежи укреплений, определялись фасы батарей, толщина траверсов, расстояние между амбразурами. Он исправлял чертежи, нервничал, грозил изругать всех, если по выходе из госпиталя найдет на батареях "несоответствие и произвол". Он начал курить, брлся не чаще трех раз в неделю и стал гораздо больше походить на окружающих его офицеров, чем прежде. Как только Мровинский начал поправляться, его, опирающегося на палку, можно было видеть и на ближних укреплениях порта.

Батарея на перешейке стала предметом особых забот Мровинского. Из-за нее инженер даже поссорился с Завойко и Изыльметьевым. Он предлагал расширить ее весной, когда придет снаряжение, до восьми крупнокалиберных орудий. Мровинского не поддержали. Недавние события показали, что эта батарея имеет вспомогательное значение. Тогда он обратил все свое инженерное искусство на укрепление Перешеечной батареи. "Теперь никто не скажет, что у артиллеристов на перешейке закрыты только пятки", - не раз думал Мровинский, вспоминая насмешливый взгляд солдата, которого ему так и не удалось отыскать среди живых.

На представлении "Ревизора" Мровинский сидел в кресле, среди чиновников с женами и взрослыми дочерьми. Позади на скамьях расположились матросы с камчадалами, стрелки и нижние чины флотского экипажа.

Пока шли последние приготовления к спектаклю, капельмейстер извлекал из своего оркестра нестройные звуки; они сливались с громким говором зала. Но вот занавес пошел вверх, открывая сначала ноги, а затем и туловища чиновников и квартальных, почтительно замерших на авансцене перед грозным городничим - Вильчковским.

Пастухова уговорили взять роль Хлестакова, и он, робея, ждал своего выхода. Зарудный, прежде наотрез отказавшийся от участия в представлении комедии, теперь сам попросил роль почтмейстера - Ивана Кузьмича Шпекина. Вскоре после начала первого акта, когда на сцену явился почтмейстер, требуя объяснить, "какой чиновник едет", обнаружился умысел Зарудного, он и гримировкой и всей своей внешностью напоминал Диодора Хрисанфовича Трапезникова. Глуховатым голосом, опустив голову к дощатому настилу, словно отыскивая потерянную булавку или монету, Зарудный ответил на вопрос городничего:

"А что думаю? Война с турками будет".

Зал взорвался хохотом. Трапезников, дремавший в четвертом ряду, привстал и тревожно посмотрел на Зарудного, еще не постигая всей злости сатиры.

"Право, война с турками, - настаивал почтмейстер Зарудный. - Это все француз гадит".

Зрители ликовали, когда Зарудный бесстрастным голосом, поводя головой, точь-в-точь как Диодор Хрисанфович, и нравоучительно поднимая вверх указательный палец, стал распространяться насчет наслаждения, доставляемого чтением чужих писем.

Петр Илларионович Васильков сидел мрачный подле своей подвижной, смеющейся жены. Он вспомнил Петербург, Александринский театр, актера Сосницкого, бесшабашные кутежи после спектаклей, и неодолимое отвращение ко всему окружающему охватило его. В эту минуту судья ненавидел и тех, кто так часто в долгие зимние вечера сиживал гостем в его петропавловском доме: надутого, чопорного провинциала Ленчевского, дряблого, медлительного Седлецкого, всегда подтянутого Тироля, к которому заметно благоволила жена судьи, и даже неприметного, неслышного горного чиновника, состоящего при Завойко.

Петропавловский почтмейстер стоически переносил выпады Зарудного, а последний выход Ивана Кузьмича Шпекина с сенсационным разоблачением Хлестакова даже заставил его приосаниться, напомнив об исключительной важности и значении того дела, которое вверено его заботам.

Внешне Пастухов как нельзя лучше подходил к роли Хлестакова. Невысокий, ловкий, юный, он, казалось, мог бы лихо сыграть заезжего вряля, несущего в состоянии опьянения околесицу и чудовищную ложь. Но Пастухов был неопытен, и чистое сердце брало верх над артистическими усилиями. Третий и четвертый акты Пастухов провел совсем дурно.

После того как со сцены победоносно удалась Облизина в роли высеченной унтер-офицерши и вниманием Хлестакова завладела Марья Антоновна, словно невзначай впорхнувшая в комнату, в спектакле случилось нечто непредвиденное и странное.

Пастухов и думать забыл о Хлестакове. В голове вертелись слова роли, за парусиной их произносил убедительный бас суфлера, но перед ним была не Марья Антоновна, а Настенька. С того дня, как они видались на хуторе Губарева, Пастухов несколько раз встречал Настеньку, но всегда в такой обстановке, которая мешала сердечной беседе. И оттого, что время шло, становилось все труднее объясниться; Пастухов замечал это и по себе и по Насте.

На репетициях многое говорилось холодно, механически. Теперь Пастухов стоял перед Настей, взволнованный вечером, собственной неудачей, и многие слова роли произносил не так, как полагалось бы Хлестакову.

- "Какой у вас прекрасный платочек!" - воскликнул Пастухов с неподдельным восторгом, а Настенька не тоном Марьи Антоновны, не лукаво-кокетливо, а грустно и серьезно ответила ему:

- "Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными".

Зрители, кажется, были рады такому серьезному повороту дела. Пастухов прильнул губами к плечу Настеньки, которая смотрела в нарисованное окно и наивно спрашивала у него:

- "Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?"

И в ответ на возмущение Настеньки - Марьи Антоновны он закричал с болью, с трепетом душевным:

- "Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно, от любви!" Из любви, право, из любви! - повторял Пастухов.

В первых рядах весело переглядывались. Юлия Егоровна незаметно нашла руку мужа. Маша сочувственно смотрела на молодую пару, понимая, что им не так-то уж легко приходится. Но зал был доволен: смеяться доводилось весь вечер - смешил и автор, и актеры, и многие несуразности домашнего спектакля, - маленькая доза драматизма казалась вполне уместной. Харитина строже других смотрела спектакль, отвечала улыбкой не на слова актеров, а на заразительный смех соседей и была особенно довольна этой неожиданно возникшей чувствительностью. Один Мровинский недоумевал, но мичман Попов шепнул ему что-то на ухо, и вскоре инженер вместе с другими горячо вызывал Пастухова, заглушая звон колокольчика, который оповещал о том, что Иван Александрович Хлестаков навсегда укатил из дома Сквозник-Дмухановского.

Хлестаков укатил на лучшей тройке и с предписанием почтмейстера в кармане, а Пастухов снял с лица румяна, переоделся и ждал Настеньку у крыльца, прижимаясь к стене, чтобы не быть замеченным кем-нибудь из сослуживцев.

- Я провожу вас, Настенька, - сказал он.

Девушка протянула ему руку. От руки Настеньки знакомое тепло разошлось по всему телу Пастухова, примиряя его с жизнью и удерживая готовые сорваться слова упрека.

Наконец Пастухов спросил:

- Почему вы так переменились ко мне?

- Не нужно об этом, - попросила Настя.

- Отчего же не нужно! - Мичман остановился. - Это выше моих сил молчать, видеть, что вы пренебрегаете мною, любить вас...

- Молчите!

Пастухов испугался силы и боли, с какой было брошено это слово. Настя вырвала руку и заговорила поспешно, будто опасаясь, что Пастухов не даст ей договорить:

- Не мучьте меня, Константин Николаевич! Вы добрый, хороший, - зачем же вам мои слезы, мое горе? Я давно вижу: мы не пара... Нет, нет, не пара, что бы ни говорили вы, Маша и все люди... Хотела сказать вам, открыться и все боялась. Не хватало решимости своими руками разбить счастье, может быть единственное счастье всей жизни...

Константин воспользовался паузой.

- Это безумие, Настенька! - воскликнул он.

- Вы приехали на хутор - помните? - смелый, хороший, усталый... Все обрадовались, а я вдруг поняла, что нам не быть вместе, не быть, хоть вы и любите меня и хотите мне добра. Пощадите меня, Константин!

Пастухов бросился к девушке и обнял ее. Настя вздрагивала, - но то были не слезы, не боль, а чувство, которому она тщетно сопротивлялась. Он целовал ее руки, лицо, говорил волнуясь о письме к матери: в письме он просил ее согласия на женитьбу, убеждал, клялся.

- Все равно... Все равно... - отвечала Настя потерянным и счастливым голосом. - Все равно... Прикажут - и вы навсегда оставите Петропавловск... Я не хочу быть вам обузой...

- Мы на всю жизнь полюбили друг друга... Вы поселитесь с моей матерью в Петербурге. Вместе будете ждать, и я приеду...

Они стояли, обнявшись, на тесной улочке, уходившей под гору, к дому Завойко. Настя спрятала мокрое лицо на плече мичмана и повторяла, словно в забытьи:

- Все равно, все равно, милый...

В темноте где-то подле них раздались голоса, и Пастухов с Настей стали быстро подниматься к дому. Миновали тополевою аллею, пустынный двор и, поднявшись по скрипучим ступеням крыльца, прошли в комнату девушки. Не снимая пальто, Настенька прильнула к пылавшему лицу Пастухова, целовала в темноте его глаза, лоб и шептала, задыхаясь от волнения:

- Все равно... Все равно, милый, единственный... Ни о чем не жалею... Родимый!.. II Что за раздолье нестись по Сибири в крытой кибитке, запряженной тройкой сильных лошадей! Ветер посвистывает с боков, подхватывает снег, взлетающий из-под кованых копыт, норовит бросить его в

щели, сквозь которые путник время от времени смотрит на привольный, светлый край.

Летишь и летишь в санях, роняя в степную тишину ясный звон колокольчиков. Мчатся, подняв головы, кони, ласково шуршат по первопутку полозья, и кажется - нет на свете земли шире, воздуха чище и края привольнее. Тут бы и жить человеку - среди светлых зим, нетронутых лесов, неисчисленных пространств...

Когда позволяет погода и тяжелые хлопья не застилают все вокруг, Дмитрий распахивает кожаный полог кибитки и любуется заснеженной степью, не слыша ни окриков ямщика, ни тонкого голоса колокольчика. Рубленые станции с подобострастными пьяненькими зрителями, со встречаемыми чиновниками, потрясающими своими подорожными, с пунцовыми от чая и тепла купцами, едущими на собственных лошадях, станции с неперменным кисловатым запахом хлеба, овчин и казенного присутствия быстро скрываются за горизонтом, и еще быстрее исчезают из памяти Дмитрия.

Зима только началась, - люди еще не оделись в длинные тулупы поверх шинелей и шуб, не побрякивают, не покачивают головой, выходя из теплых изб на мороз.

Зима только началась, а уже ровный свет залил степь, и тишина ее стала особенной, полной, без шороха трав, без звона кузнечиков и крика птиц в высоком небе.

Необъятна, могуча сибирская земля! Версты мелькают, как тени придорожных деревьев. Стоверстные княжества и тысячеверстные державы, именуемые уездами и губерниями, остаются позади, а навстречу по-прежнему несется белая степь и седые, дремлющие леса.

Но занает жалобно встречный колокольчик, послышится тягучая арестантская песня, мелькнут бледные, заросшие лица скованных попарно людей и широкие спины жандармов, застынет у обочины арестантский поезд, пропуская барина на курьерской тройке, - и сердце сожмется от боли, и мир уже не покажется таким прекрасным. Тронешь кучера за плечо, прикажешь остановиться и, встав на передок, долго-долго смотришь вслед возкам, едва прикрытым дерюгой. Так и стоишь, пока слышится чужая песня, пока серые возки не начинают сливаться с дорогой, пока привычный ко всему ямщик не скажет наставительно: "Поехали, однако, барин..."

И снова белая дорога без конца, без края, тайга, снова редкие деревни и степь, освещенная косыми лучами зимнего солнца.

Вот она, удивительная ширь земли русской, столь созвучная своим размахом и спокойствием душе народной! Утесы Аяна, базальтовые скалы Джугджура,

лесистые горы и сопки, узкие просеки сквозь леса и болота, тропинки, обходящие валуны, топи, колючие заросли, обрывающиеся у горных рек, - все это преддверие великой равнины.

Тут бы и жить человеку, не ведая горя, теснее сдвинув маленькие деревни, радуясь каждому новому дню, провожая путников ласковым взглядом и взмахом руки, не знающей холода кандалов...

А ухо ловит далекий, медленно растущий звон колокольчиков, - словно шаман осторожно шевелит бубном и крадется по кругу, закрыв глаза: заманивает злых духов. И еще и еще раз дерюжный скорбный поезд, кандалы, прохудившиеся валенки, подаренные крестьянами в пути, снова недобрый взгляд из-под нахмуренных бровей на мчащуюся мимо тройку. И темные, глухие окна деревень и рабское подобострастие опустившихся чиновников.

Долго щемит сердце, долго звучит в нем горестная песня, долго жгут его суровые взгляды увозимых на восток людей, след которых уже замела поземка. Не скоро оживет сердце в полную силу, не скоро даст оно широко вздохнуть молодой груди, не скоро поддастся гипнотизму пространства.

Но тайга и степь возьмут свое! Надвинется вдруг добрый лохматый лес, которому и мороз нипочем, закроет ящика от ветра, забалуется и стряхнет на него рассыпчатый снег с ветвей в благодарность за сердечную ящицкую песню. Стоит, неподвижный, хвастаясь нерастраченной зеленью, постреливая да побрякивая на страх длинноухим. А то остановится с разбегу как вкопанный, послав вперед несколько деревцев, помоложе да посмелее, поглядеть, что впереди: небольшая ли луговина, затерявшаяся в лесу, речное ложе или снова началась бескрайняя степь? Громче звучит голос ящика, точно открывшийся простор прибавил ему сил, дал песне крылья и она долго еще будет лететь к темнеющему позади лесу. III Друг мой Алеша!

Спешу отправить с декабрьской почтой последнее в нынешнем году письмо. Снег падает как никогда обильно - это говорят и старожилы - и скоро укроет нас от целого света. Порою кажется, что Петропавловск вовсе скроется под снегом и его не найдет ни вражда англичан, ни Ваша неторопливая дружба. А мы все уснем и проснемся через много лет, чище и лучше прежнего, а главное - счастливее.

Не удивляйтесь тону моего письма. Оно не похоже на прежнее, которое привез Вам Дмитрий Петрович. Что ж поделаешь! Видно, и я уже не та, что была прежде... Пишу откровенно, как на духу. Да и кому еще могла бы я открыть душу свою? Отец суров со мною с того самого дня, когда я, пренебрегая мнением ханжей, отважилась проводить ночи у постели

умирающих. Матушка присматривает мне жениха - занятие нелегкое на Камчатке, хотя за последнее время рядом с "Авророй" в порту выстроилась небольшая флотилия зимующих судов: корвет "Оливуца", транспорты "Двина", "Иртыш", "Аян" и бот "Кадыак".

Впереди долгая зима. Раз в неделю бал у Завойко. У подъезда вместо карет и колясок нарты и собаки. В шесть часов зажигают огни в доме, а к семи праздник в полном разгаре. Все тот же капельмейстер, играющий левой рукой, шумный ужин и непременно "восьмерка", которую танцуют до глубокой ночи. Или катанье на собаках, крики каюров, узкие нарты, охотно опрокидывающиеся в снег. Если бы судьба послала мне Вас, я больше и не хотела бы, - вдвоем на нартах мы неслись бы впереди всех. Но этому не бывать. Снег, закрывающий все дороги к нам, твердит мне ежечасно: "Не бывать! Не бывать! Не бывать!"

Предчувствую, что наступающий год многое изменит в моей судьбе, толкнет меня на какие-то важные решения. Это не пустые мечты и не игра расстроенных нервов. Год назад я ведь ничего подобного не ощущала. Жизнь шла мимо, я оставалась вне серьезных ее интересов, в слишком узком кругу. Теперь, после бывших тут сражений, после чувствительных жертв, я иначе думаю о жизни и, кажется, вижу свою дорогу, - только бы достало сил пойти по ней. Еще и еще раз вспоминаю Вас: "Жизнь есть действие!" Что я стану делать? Может быть, попрошусь к любезному Василию Степановичу в добровольные помощники по хозяйственному устройству края (не вздумайте смеяться надо мной!) или вернусь в Россию и стану учить грамоте деревенских ребят... Не знаю, что будет, но без любимого дела я уже не смогу прожить.

Остаюсь преданная Вам Маша.

ЯЛУТОРОВСК

От Тобольска Максutow повернул на юго-запад, к Ялуторовску. Дорога шла вдоль Тобола, то приближаясь к берегу, то убегая в прибрежные леса. Здесь было тише, чем на главном сибирском тракте, и соответственно больше внимания оказывалось флотскому мундиру Максutowа.

Городок вынырнул из снежной пелены внезапно. С бедной церквушкой, с сиротливой каланчой, обшитой потемневшими досками, и бревенчатыми домами, утонувшими в сугробах. Голые деревья бросали унылые тени на снег. Под ногами редких прохожих поскрипывали дощатые мостки-тротуары, покрытые наледями.

На почтовом дворе Максutowу указали дом вдовы Бронниковой, в котором

жил Пущин с друзьями. Он выделялся среди прочих обывательских домишек величиной и сходством с почтовой станцией. Над землей он поднят выше других и имел что-то вроде простенького мезонина, что позволяло издали приметить его и запомнить среди соседних купеческих строений, щеголявших изобильной резьбой.

Был тихий предвечерний час. Ямщик остановил лошадей у ворот дома. Сразу же от крыльца навстречу побежала девочка, как будто ее предупредили о приезде МаксUTOва и велели ждать его. Девочка была в больших пимах и куталась в платок, наброшенный прямо на платье.

- Почта? - спросила она, открыв калитку.

- Почта, - подтвердил МаксUTOв.

Не сказав больше ни слова, девочка убежала в дом.

МаксUTOв медленно шел по скрипучей снежной дорожке. Он волновался. Может быть, сказаться человеком занятым, из любезности согласившимся передать письма иркутских друзей и родственников? Сдать пакеты, заночевать на почтовом дворе и с рассветом тронуться дальше, на Тюмень - последний крупный пункт до Уральских гор...

Как встретят его здесь?

Чувство какой-то стесненности замедляло шаги Дмитрия. Он еще не родился на свет, когда эти люди под конвоем голубых мундиров проследовали в Сибирь, в рудники, на каторгу. Пущин, Оболенский, Муравьев-Апостол...

МаксUTOв боялся их вопросов и немалых вопрошающих взглядов. Он так мало знает жизнь! Ему нужно было попасть на Камчатку, чтобы от сибирского жителя Зарудного узнать много такого, что следовало бы знать в Петербурге. Да, лучше, не объявляясь, сдать письма, откланяться и не заставлять людей оказывать ему, как гостю, знаки внимания.

Он уже готов был повернуть к воротам, но вспомнил насмешливые глаза есаула Мартынова, его прямые, откровенные суждения и заколебался. К тому же открылась дверь, и уходить было поздно.

- Входите, входите, милостивый государь! - крикнул ему кто-то с крыльца. - Не испытывайте нашего терпения!

Следуя за седым человеком по длинному полутемному коридору, МаксUTOв вошел в просторную комнату. Тут тепло, накурено и людно.

Войдя в комнату, человек резко обернулся. МаксUTOва поразило его лицо: седые волосы, седые усы, нависающие над энергично сжатым ртом и коротким, упрямым подбородком, и совсем молодые, горящие глаза, пронзительно глядевшие из-под седых бровей. Выправка старика строгая, военная, а две глубокие складки у рта сообщают всему лицу решительное

выражение.

Он подал Максutowу руку и отрекомендовался:

- Пушин. Иван Иванович. - Широкий, привычный жест. - Мои товарищи по сибирскому уединению.

Максutow поклонился, но вместо того чтобы представиться или объявить им о письмах из Иркутска, неожиданно сказал:

- Господа, я привез вам добрую весть с берегов Тихого океана. Небольшой гарнизон Петропавловского порта наголову разбил неприятельский десант.

Все бросились к Максutowу. Он был мгновенно усажен за стол. Посыпались вопросы, восклицания. И представляться Максutowу не пришлось все выяснилось из его сбивчивого, неровного рассказа. Сам собой нашелся и тон.

Кроме Пушина и его верных товарищей по ссылке: Евгения Петровича Оболенского, Матвея Ивановича Муравьева-Апостола и Аннушки - дочери Пушина, тут находился ялutorовский мещанин Росманов, высокий, с бородкой клинышом и светлыми, мечтательными глазами, друг Якушкина и талантливый механик-самоучка. Он держался скромно и молчаливо, но, видимо, давно привык к этому дому. Аннушка устроилась подле отца. Ее круглое детское личико поразительно повторяло склад и черты лица Пушина, его живость и энергию.

Вист, за которым Максutow застал этих состарившихся в ссылке людей, мгновенно был отставлен. Ни разу еще не рассказывал он о петропавловском деле так страстно, взволнованно. У Муравьева он был несколько скован, хотелось изложить все покороче, не расходясь с официальным донесением, рассказать о разгроме неприятеля так, чтобы военная целесообразность защиты Петропавловска в будущем году казалась несомненной. Тут можно было говорить всю правду - Камчатка спасена доблестью простого солдата, умом и решимостью молодых офицеров, выдержкой таких начальников, как Изыльметьев и Завойко. Но прежде всего - солдаты, матросы, артиллеристы, показавшие неприятелю силу и бесстрашие русских, несмотря на поразительную недостаточность средств.

Максutow вспоминал мелкие эпизоды боев, имена солдат, рассказывал подробности, которыми не могли не интересоваться слушавшие его бывшие офицеры.

Муравьев-Апостол, низенький, с волевым взглядом настороженных умных глаз, интересовался военной стороной дела. Он говорил отрывисто, громко и часто поглаживал низко свисающие сивые усы. Набрасывал на бумаге план Петропавловска, требовал от Максutowа подробностей.

- Удивляюсь одному, - воскликнул Пушин, услышав от Максutowа цифру

защитников порта, - при множестве войска в России его никогда нет там, где оно нужно! Всё заботы о мундирах, высочайшие повеления о киверах, выпушках, панталонах.

Максutowу было приятно, что эти люди не скрывали от него своих мыслей. Их откровенность не утомляла его, не держала в напряжении, как неожиданная словоохотливость Муравьева. Оболенский и Муравьев-Апостол успели пробежать письма из Иркутска и уже уведомлены о Максutowе. Но решающую роль сыграл все-таки его рассказ, - по комментариям и оценкам Максutowа можно было судить и об образе его мыслей.

Худощавый Оболенский время от времени наклонялся к Максutowу, придвигая к нему свое красивое холеное лицо: большие глаза, грустно глядевшие из-под тяжелых век и огромного лба с крутой, почти прямой линией надбровий; седой карниз ровно подстриженных усов, скрывающих верхнюю губу; широкий мягкий подбородок. Он все расспрашивал о своем племяннике, Николае Дмитриевиче Свербееве:

- Понравился ли Коленька? Каков он? По-прежнему самонадеян? Из писем не все узнаешь.

Весь он был какой-то лучащийся, скромный, в белом вязаном жилете, в светлом шелковом платке вокруг тонкой шеи, в изящном верхнем платье собственного кроя.

Расспросам не было конца - об участии камчадалов в деле, о дороге с побережья Охотского моря в Иркутск, о китобойном промысле, об артиллерийских новшествах, об Иркутске, Муравьеве... От них он узнал о поражении под Альмой, о тяжелых потерях и неудачах в Крыму и о стойкости защитников Севастополя.

- Мы здесь читаем все, что можно, о современных событиях, - заметил Пущин. - Все, что дозволено цензурой и доставляется нам верным союзником купцом Балакшиным. Представьте, - Пущин весело сверкнул глазами, - нашелся среди местных толстосумов благодетель. Исполняет наши поручения, выписывает книги, журналы, которые иначе должны были бы с громкими нашими прилагательными отправляться в Тобольск, прежде нежели доходить к нам...

- Как вы думаете, Иван Иванович, - спросил Максutow, - могу ли я рассчитывать на успех при дворе? Войдут ли там в нужды порта?

- Не знаю, - проговорил Пущин задумчиво. - Двор, Петербург - все это слишком далеко. Между нами обстоятельства и Урал. Стараемся на расстоянии понять наших звездоносцев, постичь новейшие закономерности, но не всегда это удается. При громадных усилиях народа не видишь деятеля -

оттого современные дела так неимоверно тяготят.

- Но интересы России на Востоке так очевидны! - воскликнул Максutow, волнуясь. Ему не хотелось верить, что его миссия, казавшаяся вначале такой легкой, может потерпеть неудачу.

- Они были очевидны и в дни нашей молодости, - живо возразил Пущин. Многие из нас обращали внимание правительства на Восток: Рылеев, Штейнгель, Завалишин... всех не упомнишь. А далеко ли продвинулись в этом вопросе за четверть века? - глаза Пущина гневно засверкали. - Если и продвинулись отчасти, то благодаря Невельскому, благодаря предприимчивым людям, действовавшим на свой страх и риск. Нессельроде грозил им дыбой и в подлых мечтах своих уже срезал у них эполеты...

- И головы у тех, кто не имел чести носить мундир! - воскликнул Муравьев-Апостол, уже не в первый раз вскакивая с места, чтобы быстрым своим шагом измерить расстояние от дверей до этажерки, туго набитой книгами.

Ни годы - а Муравьеву-Апостолу было за шестьдесят, - ни тяжелое ранение, полученное еще в молодости, под Кульмом, не сломили его крепкой натуры. Он был бодр и, похаживая по комнате, весело напевал себе под нос куплеты времен Отечественной войны.

Пущин сделал усилие над собой, чтобы вернуться к вопросу Максutowа, не досказав свежему человеку тех гневных, обличительных слов, которые постоянно - за чтением книг, за работой по сельскому хозяйству, за невольными врачебными занятиями - рвались наружу, искали выхода.

- Желание властвовать над человеком, пагубный деспотизм - вот что мешает нам, милостивый государь! Возьмите Сибирь - здесь нет крепостных. Это благо всего края, и такое благо, которое имеет необыкновенно полезное влияние. И что же вы думаете? Многие, и в Петербурге и здесь, ночей не спят, все думают о том, как перенести заразу крепостничества на сибирскую почву. В несчастных наших чиновниках есть страсть - едва дослужатся до коллежского асессора, тотчас заводят дворню. Ничто, кроме собственных выгод, не может вывести их из сонного состояния. Что значат выгоды России?! Кому из звездоносцев, окружающих трон, придет на ум помыслить о будущем народа? Они хотят иметь Сибирь большим острогом, карцером, каторгой, ледяным жерновом для истребления неугодных и инакомыслящих, в тупости и подлости своей не думая о том, что богатый русский край станет добычей чужеземцев: английский купец им ближе нашего брата, ближе поляка, поднявшего знамя свободы. Это люди, глухие к наставлениям века, люди без совести, без чести...

- Ты увлекаешься, Иван, - мягко заметил Оболенский, и его большие

грустные глаза под высоким и чистым лбом оживились иронией. - Николай расчетливый политик. У него достаточно тонкий нюх, чтобы учуять выгоду в петропавловском деле...

- Если только он не схватил насморка после Альмы, после осенних неудач в Крыму и изменнических маневров Австрии и Пруссии. Есть от чего занемочь и его дубовой натуре. - Пущин обнял ладонями голову задремавшей у его ног Аннушки. Заговорил взволнованно, глубоко дыша: - Вот и пришла кара! За все, за все. За мерзость и подлость. За палачество. За страдания нашего народа. Проклято будет имя тирана. А Россию не убить, она непременно подымется, она скажет свое слово...

Неожиданно Пущин умолк. В коридоре раздались громкие шаги, кашель, сопение. Росманов беспокойно заходил по комнате и остановился в простенке между печью и книжным шкафом.

- Пристав! - объяснил Максутову Оболенский. - Дать о себе знать стуком не соглашается: усматривает в этом умаление власти. Предпочитает играть "зорю" носом.

- Войдите! - зычно крикнул Муравьев-Апостол. - Господин Чемерзин, милости просим!

Человек за дверью умолк, но не торопился войти.

- Оскорбился, - шепнул Оболенский. - Оригина! И "войдите" и "господин Чемерзин" - все это, на его взгляд, преднамеренное утонченное оскорбление. Иногда этот субъект является к Якушкину в школу и сидит часами, не сводит с него собачьих глаз. А городничий, представьте, слывет либералом...

Вошел пристав, ступая на носки, словно в каблуках обнажились гвозди и нельзя было стать на пятки. Странно выглядело это щуплое существо с преобладающим хрящеватым носом. Низкий, иссеченный морщинами лоб, две оловянные пуговицы вместо глаз и тонкий, ровный, как надрез, рот - все это для того будто существовало, чтобы оттенить монументальность носа пристава.

Он небрежно поклонился, с таким видом, будто не было ни предупредительного покашливания его за дверью, ни вызывающего приглашения Муравьева-Апостола.

- Мне стало известно, - начал он медленно, скрипучим, сухим голосом, зная по опыту, что горячий Пущин вставит слово, и ему, господину приставу, не придется расходиться на целую фразу. К тому же он старался сохранять мудрую неопределенность с этими ссыльными, в прошлом капитанами, подполковниками, лейб-гвардейцами.

- Совершенно верно, господин Чемерзин! - подхватил Пущин. - К нам

пожаловал дорогой гость - лейтенант, князь Дмитрий Петрович Максutow. Максutow встал и молча поклонился. Оловянные пуговицы смотрели недоверчиво. "Видали мы и князей, - говорили они, - и поосанистее твоего. Сегодня князь, а завтра ялutorовский житель, без права переписки, под надзором господина Чемерзина". В полной добродушной фигуре Максutowа пристав не заметил ничего похожего на дворянское достоинство, на ту захватывающую дух осанистость, которую Чемерзину доводилось наблюдать у лиц, приезжавших ревизовать городничего.

- Разрешите полюбопытствовать...

Пристав протянул руку ладонью вверх.

- Покажите господину приставу ваши бумаги, - подсказал Муравьев-Апостол, - хотя бы подорожную...

Пока Максutow отыскивал подорожную, пристав обвел взглядом комнату, отметил присутствие Росманова и зачем-то улыбнулся Аннушке. Бумагу рассматривал долго и, возвращая ее, сказал со вздохом сожаления:

- Дали крюку-с, ваше сиятельство! Жаль. Ялutorовск-то в подорожной не значится.

- Разве? - удивление Максutowа прозвучало искренне.

- Упустили-с! - сочувственно проскрипел пристав. - Форменная ошибка-с! - И он нацелил свой нос на Росманова: - Росманов!

Механик вышел из укрытия.

- Что вам угодно-с?

- Проходя мимо вашего двора, я заметил странный предмет, доступный всеобщему обозрению...

- Это ветромер, господин пристав.

- Что-с? - строго переспросил Чемерзин.

- Ветромер. Прибор для измерения не только направления, но и силы ветра.

- Вот оно что! - многозначительно протянул пристав. - Для познания стихий? Не верите в божий промысел?

- Необходимый предмет, - возразил Росманов. - Полезный для хозяйства, для предупреждения несчастий в пути... Я сохраняю его на время отсутствия господина Якушкина.

- Немецкая выдумка! - перебил его пристав. - Ах, Росманов, Росманов!

- Ошибаетесь, любезный, - Муравьев подошел вплотную к Чемерзину. Ветромер оригинальной конструкции господина Росманова. Не всякая голова додумается до такого простого решения, не всякие руки сделают столь тонкую работу. - Муравьев уставился на нос пристава и сказал, заранее рассчитав эффект своих слов: - Господин городничий поощряет занятия

механикой: стенные часы и пружинный термометр, изготовленные господином Росмановым, украшают гостиную городничего, в чем вы могли бы убедиться лично. Со временем они попадут в музей.

Муравьев угодил в больное место пристава. Самолюбивый Чемерзин не удостаивался чести быть приглашенным в дом городничего, а по служебным нуждам не проникал дальше передней. Он шумно втянул воздух большими ноздрями и, бросив всем присутствующим: "Честь имею!" - вышел из комнаты.

Когда хлопнула наружная дверь, все громко рассмеялись и только Росманов прошептал укоризненно:

- Зачем же, господа? Ведь знаете, что стоит, подслушивает!

- Ну и пусть его подслушивает! - ответил смеясь Муравьев-Апостол, подошел к двери и, вынув изо рта трубку, замурлыкал какой-то фривольный мотив.

Пущин пригласил МаксUTOва, все еще стоявшего посреди комнаты с подорожной в руках, сесть.

- Так и живем, Дмитрий Петрович. Не на шутку заселяем сибирские кладбища, учим ребятишек, занимаемся по хозяйству, лечим. Народ принимает нас за лекарей и прибегает скорей к нам, нежели к штатному доктору, который по большей части пьян и даром не хочет пошевелиться. Иногда одной магнезией вылечишь - и репутация сделана. Изредка является этакий субъект, - Пущин резким движением головы указал на дверь, в которую ушел пристав, - смотрит, нюхает, и городничий на основании его донесений ежемесячно дает о нас аттестации. Обыкновенно пишут: "Занимаются книгами или домашностью, поведение скромное, образ мыслей кроткий". "Образ мыслей кроткий"! - повторил он гневно. - Кроткий, друзья! Да, другие нынче трудятся над уничтожением рабства... Шесть лет назад необыкновенные события происходили в Европе. Жар этих событий достиг и нашего уединения, согрел нас, - Пущин помолчал несколько секунд. - Тираны не поскупились на кровь... Но цель все ближе, ближе, и я терпеливо жду, как должно человеку, понимающему причину вещей и непрременную их связь. И верую в отечество свое, ныне отданное беззаконию! Разве петропавловское дело не говорит о мужественной и справедливой душе народной?!

Серый сюртук Пушина застегнут наглухо, так что борт его уходит под широкий, свободно лежащий воротник. Вокруг шеи темный шелковый платок с торчащим из-под него воротом белой рубахи, подступающим к самому подбородку. Ни в жестах, ни в интонациях Пушина никакой аффектации или рисовки. Чувствовалось, что небольшой кружок ссыльных видит в нем главу, своего артельного старосту.

Воспользовавшись наступившим молчанием, Росманов откланялся и ушел, как свой человек, никем не провожаемый. Пущин послал Аннушку закрыть дверь: гостей уже больше в этот вечер не предвиделось.

- Преуспеете ли вы в защите интересов Камчатки? - возвратился Пущин к прежней теме, трезво излагая свои соображения. - Не обольщаюсь, но и разочаровывать вас не хочу. Думаю, что Муравьев со своей стороны сделает все возможное, а это уже не так мало: у нас считаются с реальной силой. А Муравьев сила, умная, последовательная, порой злая и деспотическая, но сила! Николай ошеломлен неудачами этого года - потерей дунайских княжеств, предательством Австрии, которое неминуемо завершится военным союзом Франца-Иосифа с нашими врагами. Николай напуган возможностью проигрыша. Вы порадуете его победой на Камчатке. Надолго ли? Укоренившееся пренебрежение Востоком слишком велико...

Беседа затянулась за полночь. Матвей Муравьев-Апостол и Оболенский набросали на большом листе бумаги карту Камчатки, Сахалина и Охотского моря и спорили о том, как лучше отстоять этот край в кампании будущего года. Вновь и вновь возвращались к подробностям петропавловского дела. Максutow успел описать им всех молодых офицеров, знакомых ему, образ их мыслей, круг интересов. Рассказал он и о своем посещении Якушкина перед самым отъездом из Иркутска. Якушкин - общий любимец и ялutorовский старожил - после долгих мытарств получил разрешение съездить в Иркутск, к врачам: тяжелые язвы на ногах почти парализовали его.

...Придвинув стул к окну, Якушкин провожал взволнованным взглядом открытый экипаж, в котором торжественно везли по улицам Иркутска знамя Гибралтарского полка и захваченные офицерские сабли. "Известия из Камчатки, - сказал он, пожимая на прощание руку Дмитрия, - напоминают "Илиаду" или, если вам угодно, подвиги наших героев последнего столетия в Турции и в Италии..." Вскоре пожелал доброй ночи Муравьев-Апостол. Он жил неподалеку в маленьком бревенчатом доме и воспитывал двух сироток. Поднялся и Оболенский, стройный, элегантный, несмотря на десятилетия ссылки, и сердечно распростился со всеми. Самый молчаливый и задумчивый из ялutorовских узников, поседевших в Сибири, Оболенский светскостью своей и рассчитанностью движений отличался от веселого, грубоватого Муравьева-Апостола и такого простого, отечески открытого Пущина.

Аннушка спала на коленях у отца.

- Письма - моя отрада, - тихо проговорил Пущин. - Письма, дружба и маленькая Аннушка.

Он показал на полку, на толстые, в самодельных картонных переплетах тома,

стоящие рядом с петербургскими журналами, "Мыслями" Паскаля и записками Франклина.

- Я сам переплетаю письма погодно. Часто заглядываю на эту полку. Судьба меня радует дружбой, мною не заслуженной. Сколько около меня товарищей, которые лишены всего! Срезанные эполеты все уничтожили, как будто связи родства и дружбы зависят от чинов. - Он осторожно погладил голову Аннушки и положил руку на ее лоб, большой, светлый, как у него, и горько усмехнулся. - У меня здесь в почтовый день просто как в каком-нибудь департаменте. Часто пишут на восток: около Иркутска рассеяна большая колония наших...

- Вы позволите и мне писать вам? - попросил Максutow.

- Буду рад, - просто ответил Пущин. - Побываете в столице, у самого трона, среди министров и сановников, взглянете на дело критически. Не верьте словам, уверениям, мишуре. Сами поглядите на все, что откроют обстоятельства. Велики ли трещины в основании отечественного деспотизма?..

Максutow устроился на ночь в этой же комнате. Из кухни, через сени, доносился храп Сунцова. Последняя свеча погасла, и четырехугольная комната слабо освещалась светом зимней ночи, проникавшим сквозь три незанавешенных окна. В комнате много книг - на самодельных высоких полках, на двух точеных тонких этажерках, на столе и подоконниках.

Не спалось. Впечатления этого вечера были слишком сильны; многие слова Пущина, Оболенского как будто все еще звучали в опустевшей комнате, и Максutow все глубже проникал в их сокровенный смысл. Вспомнился и Муравьев - маленький умный сановник с капризно вздернутым носом, эффектный вития в сравнении с этими спокойными, искренними людьми. Хорошо, что эти люди живут, мыслят, верят; что в Иркутске есть Мартынов, а в Петропавловске Зарудный и что повсюду, куда бы ни забросила Максutowа судьба, он найдет ненавистников рабства, людей, уважающих естественные права человека и презирающих деспотизм.

В восьмом часу Максutowа разбудили. Явился помощник пристава с предписанием немедленно покинуть Ялutorовск для следования в пункты, обозначенные в подорожной.

Пущин вышел проводить гостя в том же сюртуке, в каком был с вечера. Он протянул Максutowу два письма.

- Одно из них, может быть, пригодится вам, - сказал он. - Я предполагал, что они устроят пакость, и успел написать письма. За двенадцать лет можно изучить местные нравы.

- Следовало бы наказать городничего и остаться здесь, - сказал Максutow, поеживаясь от утренней стужи. - Но боюсь причинить неприятность вам, испортить аттестацию о "кротости мыслей". - Пущин ничего не ответил, и Максutow, испытывая какую-то неловкость, добавил: - И, разумеется, неотложные дела заставляют меня торопиться...

Уже прощаясь, держа руку Максutowа в своей сухой теплой ладони, Пущин сказал, упрямо тряхнув седой гривой:

- Вы храбрый человек, Дмитрий Петрович. Будьте же мужественны и в другом, великом и трудном, требующем самопожертвования на благо России. Не забывайте о горестном положении отечества нашего... Если молодежь сумеет обуздать законами своевластие правительства, нам и в сибирских могилах будет теплее. Помните об этом!

Глаза Пущина горели молодым, неслабеющим огнем. Он резко взмахнул рукой вслед тронувшимся саням и повернул к крыльцу. А в конце ноября из Иркутска в Ялуторовск пришло взволнованное письмо Сергея Волконского.

"Вероятно, вы видели Дмитрия Петровича Максutowа, - писал он Пущину, - вероятно, он дал вам подробные сведения о знаменитой защите Петропавловска, где горсть защитников, никогда не бывших в огне 290 человек, отразили нападение восьми военных судов и 900 человек десанта. Где столько порицаемый служебными тунеядцами Завойко делал чудеса распорядительности, твердости духа и самостоятельности, где мирные жители и гражданские чиновники в бою отличались наравне с сухопутными и морскими витезями и неприятель, напавший на мирную землю, был опрокинут со стыдом и потерей..."

Расписался об обстоятельствах, давно, может быть, тебе известных, но сердце русского откликается к тем, кто делом достоин имени русского!"

МУЖИКИ

Под копытами лошадей похрустывал тонкий лед.

Около часа курьерский возок Максutowа быстро катил по подмерзшей дороге, легко подымаясь на холмы, грохоча по бревенчатым мосткам, перекинутым через овраги.

Остались позади и белая Сибирь и в проседи снегов угрюмые горы Урала. Россия встретила Максutowа непогодами, неслышными, как туман, студеными дождями, утренниками, которые для того только и подмораживали дорожную грязь, чтобы к полудню она становилась еще более вязкой и липкой.

Вчера с вечера ударил морозец, но взошло солнце, согрело землю, и началась обычная канитель. Тяжело переваливаясь и поскрипывая, возок

двигался по неровной дороге. Холмы теперь казались высокими, нескончаемыми, как горные перевалы. Ямщик, рыжебородый, приземистый, с хитроватым прищуром глаз, успокаивал лейтенанта, уверяя, что пройдет денек-другой и дорога установится.

Попадались навстречу деревни, молчаливые, точно обезлюдевшие, разве что выйдет кто-нибудь на порог избы поглядеть вслед тройке или тощий пес с лаем проводит ее до околицы.

Максутов вскоре задремал. Накануне, в селении близ губернского города, наскучив одиночеством, он впервые поддался дорожным соблазнам и допоздна пил с каким-то ремонтером, словоохотливым брюнетом-усачом. Наклонившись вперед, к облучку, Никифор Сунцов тихо, чтобы не потревожить лейтенанта, переговаривался с ямщиком. За Уралом Сунцову все было внове, все любопытно: и каменные церкви с высокими белыми колокольнями, и способ вязать бревна, и чересполосица, и даже масти собак, кидавшихся вслед лошадям.

- Откуда ты, служивый, на землю свалился? - спросил наконец ямщик.

- Из-за Байкала, - охотно ответил Сунцов. - Из Сибири, значит...

- А-а-а, - протянул ямщик равнодушно. - Ну, гляди, гляди, набирайся ума-разума.

На вопросы Никифора он отвечал обстоятельно, но со странной медлительностью.

- Говоришь, деревень густо понатыкано? - неторопливо басил он, скашивая на Сунцова зеленоватый, в белесых ресницах глаз. - То ли будет дальше, служивый! Это тебе, таежному жителю, в диковину, а нам без деревень невозможно. Вас зверь и рыба кормят, а здешней земли кормилец мужик. Из него разве что холста не ткут, а уже все прочее, - козырнул он любимым словом, - мужиком живо!

Он остановил лошадей, прыгнул на землю и принялся счищать с колес грязь.

Вернувшись на место и понукая лошадей, ямщик продолжал:

- Я всякого проезжего по выговору признаю и тебя признал, только увериться захотел... А на то, смирно ли живет наш мужик, одно скажу: смирно, да неладно.

Он надолго замолчал, усердно скреб свою жесткую рыжую бороду, вздыхал и что-то бубнил себе под нос. Затем, не поворачивая головы, сказал:

- Одно - народу побили много. Турок-то, видать, енералам нашим поперек горла стал. Да-а... просто бы сказать - ни туды ни сюды; они и осерчали и гонят мужика на смерть. Да-а-а, - пробасил он еще раз, вдумываясь в собственные слова, - еще холера мужика морит, ну и помещик, и прочее.

Помещик своего никому не отдаст, он, почитай, и турка обманет, и холеру, и самого царя-батюшку по силе возможности. Вот и посуди, каково-то мужику в крепости! Просто сказать, жизни нет. В избах пусто, и мышь зерном не разживется...

Дорога сходила с холма полого; по обе стороны ее, щетинясь стернею, лежали неспаханые поля. В ложбине, у подножья холма, виднелся глубокий овраг с речушкой на дне.

Уныло звучал голос ямщика, тускло, сквозь какую-то дымчатую пелену, светило солнце. Максуту казалось, что не будет конца его пути - вязким колеям, стылым лужам и одиноким придорожным деревьям с голыми ветвями, в отчаянии протянутыми навстречу проезжим. Москва была совсем близко. Максutowa неудержимо потянуло в Ракитино подмосковное сельцо Ивана Кирилловича, его дяди. Хотелось повидать старика, вознаградить его камчатской новостью за памятные Дмитрию рассказы о Березине, о Бородинском бое, пожаре Москвы и о военном кумире дяди фельдмаршале Кутузове.

С приближением к Москве Дмитрию изредка попадались навстречу толпы мужиков под усиленным конвоем казаков или жандармов. Мужиков вели закованными в кандалы, многие шли без шапок, с наголо обритыми, покрытыми кровавыми струпьями головами.

Это были крепостные, бежавшие от своих помещиков в Москву, где, по слухам, раздавались билеты на поступление в воинскую службу. Множество толков ходило в народе: кто говорил, что вступающий в государеву службу становится вольным казаком, кто толковал о морском ополчении, о караульной службе, о рекрутском наборе... Но на сердце у всех было одно: воля!

Нашлись и грамотеи из мещан, из нищего деревенского причта, уверявшие народ, что самим царем обещаны вечная воля и до третьего колена освобождение от рекрутчины тому, кто пойдет в государево ополчение. Крепостные потянулись к Москве, но натыкались на казачьи заслоны, на свинец и штыки. Тяжкой осенней беспутицей, понукаемые штыками, брели вспять, но не было уже в их глазах покорности.

Во время коротких роздыхов у почтовых изб встречал Максutow и помещиков, ехавших вслед за толпами задержанных мужиков. На остановках помещики металась в толпе "бунтовщиков", находили вожakov и осыпали их ударами кнутов, кулаков и арапников. Проклинали войну, бездарных генералов, турецкого султана, английских министров и свое нераспорядительное правительство...

До Ракитина рукой подать, - на седьмой версте, за последней перед московской заставой станцией, песчаная дорога, влево по сосновым просекам, затем напрямик через луг, к одноэтажному, но вместительному дому с нежилым мезонином и тремя пузатыми старозаветными колоннами. На лугу ленивая река, где пастух Прошка научил Дмитрия насаживать червя на крючок и вовремя подсекать добычу, где они сообща подняли на дырявом челне первый парус.

Но Максutow колебался. Долг офицера велел ему спешить в Петербург, не теряя и часа.

"Вероятно, старик очень плох, - убеждал самого себя Дмитрий. - Он и тогда уже был нездоров, при последнем нашем свидании, перед уходом "Авроры" из Кронштадта. Старый, больной, а примчался в Петербург проститься! Неужто я не могу повидать его, хоть на час, ну, на полчаса! Просто, не снимая шинели, без ночевки, по солдатскому уставу! Он поймет, не обидится. Только обнять старика, почувствовать под ладонями его сухонькие, острые лопатки, показаться ему не в парадном мундире, а в боевом, камчатском..."

Еще в дороге Максutow успокаивал себя тем, что весь путь до Москвы он проделал быстро, а из Москвы он отправится дальше по чугунке и не опомнится, как попадет на торцовые мостовые Петербурга.

На последней перед Москвой почтовой станции Дмитрий уже не мог противиться охватившему его чувству.

Был ясный осенний день. Станционное подворье лежало на возвышенности, окрестные луга и леса были видны так хорошо, как бывает только в ясные дни поздней осени, когда кусты и деревья стоят уже голые. И хотя ничего, кроме синевшего вдалеке леса, окружавшего Ракитино, Дмитрий не видел, ему казалось, что он различает и кирпичную церковь сельца, и белый господский дом, и даже старую часовенку на границе соснового бора. Все вокруг было родное, близкое, сердце щемило, а грусть, навеваемая голыми полями, холодным блеском воды в колеях, пустынным, без облачка, небом, толкала Максutowа навстречу дяде.

В полчаса Максutow был готов в дорогу. Получил свежих лошадей и предупредил возницу, что заедет в Ракитино. Сунцов снес чемоданы в повозку, и Максutow, любезно простившись со станционным смотрителем, вышел на крыльцо. Он был в прекрасном настроении, хотя сердце сжималось по-прежнему, предчувствуя и сладость нежданной встречи и грусть скорого расставания.

За раскрытыми воротами почтовой станции стоял старомодный экипаж, запряженный парой сытых вороных лошадей. Хозяин этой видавшей виды

колымаги, уездный полицмейстер, заглянул по какому-то делу к смотрителю и недолго шептался с ним в жилой горнице. Невысокий, брюхатенький, он выкатился в служебную комнату в отличном расположении духа и, подкручивая на ходу усы, вышел на подворье.

Теперь его большая голова в форменной фуражке чуть возвышалась над опущенным верхом экипажа.

Выйдя на крыльцо и заметив все еще не отъехавший экипаж полицмейстера, станционный смотритель заторопился к воротам. Максutow удивленно посмотрел ему вслед. В дорожной грязи у передних колес колымаги стоял на коленях человек. Максutowу бросились в глаза малиновый околыш солдатской фуражки и неестественная поза человека, схватившегося руками за построmки.

Смотритель не успел добежать до ворот: полицмейстер крикнул кучеру: "Пшел!" Ременный кнут взвился, полоснул сразу обеих лошадей, и они рванулись с места. Человек, ухватившийся за построmки, на мгновение оторвался от земли. Максutowу вдруг показалось, что у него нет ног - над грязью мелькнули две култышки.

Это случилось так неожиданно, что все, забыв на несколько секунд об упавшем человеке, провожали растерянным взглядом экипаж. Ни полицмейстер, ни его кучер ни разу не обернулись.

Первым справился с растерянностью Сунцов. Он бросился на дорогу, поднял человека и понес его в избу. На руках у Никифора действительно лежал солдат-калека; обе его ноги были обрублены чуть ниже колен и завернуты в тряпье. Максutow разглядел сильную шею и затылок, заросший светлыми, завихряющимися к середине волосами.

Что-то заставило Максutowа последовать за денщиком в избу. Никифор положил солдата на широкую скамью и, взяв со стола глиняный кувшин, стал обмывать его лицо.

Максutow подошел поближе. На бледном, чуть тронutom у глаз и переносицы веснушками лице калеки курчавилась русая борода. Пряди, прилипшие ко лбу, ресницы, брови и густая щетина, обмытая водой, - все это было рыжеватого оттенка, неприятного из-за мертвенной, тюремной бледности. Левая щека калеки часто подергивалась, хотя он и не пришел еще в сознание. Нечто знакомое, мучительно близкое угадывалось в этом лице, но как ни напрягал память Максutow, он не мог ничего вспомнить.

Станционный смотритель, наблюдавший равнодушно за тем, как Сунцов возится с калекой, только хотел было ответить на вопросительный взгляд лейтенанта - солдат открыл глаза, и Максutowа мгновенно осенила догадка.

- Прохор! - воскликнул он потрясенный, но не получил ответа.

Сунцов усадил калеку, и тот, прислонясь к стене и упираясь большими руками в скамью, испуганно водил словно выцветшими, молочно-голубыми глазами.

- Прохор! - повторил Максutow, уверясь окончательно, что перед ним товарищ его детства пастух Прошка.

- Ваше благородие, - начал солдат жалобно, сиплым голосом, - виноват, ваше благородие...

- Дай руку, Прохор, - сказал Максutow, подходя ближе. - Неужто не узнаешь меня?

Прохор продолжал смотреть все тем же невидящим, но виноватым взглядом, - он так и не взял протянутой руки Максutowа.

- Па-амять-то отшибло мне в княжествах, ваше благородие, - сказал он, мучительно растягивая слова, и привычно склонил голову на грудь.

Под светлыми волосами на макушке розовел большой рубец. Прохор качнулся, но не упал, Максutow успел подхватить его, обняв за плечи, покрытые сплошным слоем грязи.

- Вина! - приказал Максutow Сунцову.

Большое тело Прохора слабело в его руках и тяжелело.

Прохор пил жадно, запрокидывая голову и забывая об окружающих. Две огромные, почти черные руки уверенно держали чарку, но только она пустела, рукам не находилось места - Прохор то клал их на стол, то судорожно, словно боясь упасть, хватался за край скамьи. Глаза его приобрели осмысленное выражение.

- Митя... Дмитрий Петрович, - медленно проговорил он после третьей чарки, когда Максutow снова назвал себя. - По-омню, барин, ка-ак не помнить... Я и сома помню... Под корягой хоронился, у парома, а? Максutow подсел к Прохору. - Усищи страсть, напугаться впору, а... вы нет, не испугались...

- Верно, - Максutow улыбнулся давним воспоминаниям.

Прохор беспокойно посмотрел на полный еще штоф и, тяжело глотнув слюну, продолжал:

- Ны-ынче и у нас усы повыросли, ви-ишь какие... а никто не пугается... - Он поймал на себе строгий взгляд зрителя и сказал торопливо: - Отдышусь малость и-и... с богом поползу себе...

- Ты сиди, сиди, Прохор, - сказал Максutow, не понимая причины его беспокойства.

Он налил Прохору еще. Тот выпил, неожиданно ловким движением вытер рукавом пшеничные усы и, кивнув на Сунцова, спросил, переходя вдруг на

"ты":

- При тебе со-о-стоит? В денщиках? А-а-а... Зна-атная служба! - В голосе его прозвучала горькая ирония. - Да-а... А меня-то ви-ишь как укоротили, спасибо руки оставили, будет чем слезы утирать...

- Где это тебя так? - спросил Максutow.

- Ольтениц, слышал? Ольтениц... Карантин Ольтениц! - Прохор тревожно посмотрел на лейтенанта. - Неужто не слышал? Ольтениц, при реке Дунае! Почувствовав, что это обстоятельство почему-то волнует Прохора, Максutow успокоил его:

- Значит, ты в дунайских княжествах воевал?

- Во-о! - удовлетворенно подхватил Прохор. - Та-ам. А недалече крепость старинная Туртукай. Ее русский солдат уже попроведал, при генерале-то знатном...

Прохор покосился на зрителя, но тот уже не слушал, погрузившись в чтение каких-то бумаг. Осмелев, Прохор сам потянулся к штофу; схватив его, хотел было приложиться к горлышку, но удержался и, выстукивая дробь по чарке, налил ее через край.

- Ваше здоровье! - он выпил и помолчал немного. - Дунай - река бы-ыстрая, один берег крутой, другой - с водой вровень. На крутом-то берегу турок, а тут мы. Пло-охо нам, к Дунаю не подойдешь, турок с горки палит из мортир да из крепостных... Недоглядели наши командиры, турок реку перемахнул - и в Ольтениц. Засел и сидит, пушки свез, рвами обнесся, бастионы воздвиг и сидит. От него-то и зла большого нет, да генералам обидно, особенно нашему немцу Даненбергу: гордый больно. И то сказать, от царя что ни день курьеры, генералов чествуют только что не срамным словом. - Прочно завладев штофом, Прохор наливал и пил теперь не спеша, мелкими глотками, все больше хмелея. Щека почти перестала дергаться, но лицо покраснело, сделалось одутловатым. - Вот и приказали солдату Ольтениц-карантин взять... Кому же брать, как не солдату! Солдат все может... Ну, пошли напрямик, через поле. С левой руки густой камыш, туда бы нам, сподручнее было бы, да приказа такого нет. У турка и штыков поболее, и штуцер из карантина бьет, и мортиры с горки, с заречья, Прохор ожесточенно жестикулировал, - а мы идем. В рост идем. Нас шрапнель косит, пули клюют, крови - а-а-а! - вскричал вдруг Прохор, прикрывая глаза ладонью с растопыренными пальцами, - а мы все и-идем, и-идем. Ляжешь на землю, кровью братской умоешься - и впе-еред! - Зритель сердито поднялся и подошел к Прохору, но Максutow остановил его. - Тысячи положили мы, а не зря. Видим, турок бежит, с вала пушки свозит, к воде, к лодкам ретируется...

Ур-а-а! - закричал Прохор, обвел комнату покрасневшими выпученными глазами и вдруг зарыдал, как ребенок - Генерал наш Даненберг, с-сукин сын, отступать приказал... Турок спину жает, а он, - Прохор грохнул кулаком по столу, - отступа-а-а-ть... На своей кро-ови доплыли - и уходи! У-у-у... При отступе меня и поразило, да мало, мало-о-о-о, крепче бы надо... А Даненберг жив, жи-и-и-ив... - Внезапно испугавшись чего-то, Прохор зачастил умоляюще: - Ваше благородие, виноват, кругом виноват... Ни земли ведь, ни избы, калека, нищий... Ваше благородие...

Голова Прохора тяжело упала на стол. В светлой поросли на затылке Максutowу виделось что-то детское, напоминавшее о тех временах, когда Прошка, склонив к воде нестриженую русую голову, часами просиживал над удочками.

- Скажите, - обратился Максutow к зрителю, - почему он не в деревне? Чиновник махнул рукой.

- Прошка лишился дома. Грустная история! Старики не дождались, умерли. Оно и к лучшему, радости мало. Ну, и его не ждали, избу отдали, кому он теперь нужен... Чиновников, начальство тревожит, сами видели. Иной раз такое скажет - хоть в острог сажай...

- Позвольте, - перебил его Максutow, - не поверю я, чтобы Иван Кириллович прогнал Прохора как собаку...

- Да-с, верно изволите говорить, господин лейтенант. Я здесь человек новый, однако наслышан о старике. Справедливый был человек...

- Он умер?! - вскричал Максutow.

- Жив, жив! - поторопился успокоить его чиновник. - Но умом помешался. Вознамерился вольную мужикам своим дать, а заодно раздать и землю, - он хихикнул, рассчитывая на сочувствие собеседника, - фамильную землю... Ну-с, сенат вмешался, опекунский совет. Лишили старика прав состояния. Нынче тут его меньшей брат хозяин...

Дмитрий больше не слушал чиновника. Опрометью бросился он на крыльцо, затем вернулся, сунул удивленному зрителю несколько кредитных билетов и, шепнув ему: "Сделайте что-нибудь для Прохора, непременно сделайте, я еще буду у вас", - торопливо ушел на подворье.

Курьерская тройка выехала в ворота. Максutow обернулся и увидел какой-то предмет, алевший в дорожной грязи. Это была солдатская, с малиновым околышем фуражка Прохора. К дому Дмитрий Максutow поехал не широким проселком, а лесной дорогой. Колеса наезжали на обнаженные корни сосен, и возок сильно потряхивало. Даже после могучего очарования сибирской тайги и далекого русского приволья тишина подмосковного леса, уже по-

зимнему неподвижного, строгого, с лазоревыми куполами над взлетевшими вверх ярусами хвои, глубоко трогала душу.

Вот группы сосен, лесные уголки с зарослями кустарника, слева сосна, раздвоенная на высоте человеческого роста, - не сюда ли забирался он вместе с Прошкой, наблюдая за мелькающей меж деревьями лесной дорогой? Или вот едва заметный бугор и рядом яма, вырытая бог знает зачем. Кажется, здесь хоронились самые крупные и сочные ягоды земляники? Бегут солнечные полосы по широким крупам лошадей, по возку и пассажирам, а мысли Дмитрия торопливо пробегают вереницей лет и неизменно возвращаются к безному Прохору.

Еще не миновав леса, Максutow прислушался к далекому, неясному гулу и приказал свернуть к экономии, находившейся в полуверсте от господского дома. Когда в просвете леса замелькали хозяйственные постройки, до слуха Дмитрия уже отчетливо донеслись чьи-то вопли и выкрики. Приказав вознице остановить лошадей, Максutow и Никифор Сунцов пошли вдоль длинной конюшенной стены и, обогнув ее, замерли изумленные.

Постройки вытянулись в две перпендикулярные друг другу линии. Площадь внутри этого огромного прямого угла с колодцем посередине, с коновязью и корытами для водопоя была полна мужиков. Рота солдат, стоявших спиной к Максutowу, двумя шеренгами оцепила толпу.

- Видать, повсюду война, ваше благородие, - сказал Сунцов. - Воюет Россия...

С двух сторон к экономии рвались женщины, но солдаты, расставленные в десяти саженьях от построек, сдерживали их, угрожая штыками. Женщины окрестных деревень бежали по оттаявшей, вязкой пахоте, метались по луговине.

Навстречу Дмитрию бросился жандармский унтер-офицер и, взяв под козырек, удивленно уставился на его флотский мундир.

- Что тут у вас стряслось? - спросил Максutow, ответив на приветствие жандармского чина.

- Ждем подкреплений, ваше благородие! - отрапортовал унтер-офицер. Бунтуют... - Он с ожесточением ругнулся.

На площадке перед крыльцом экономии шла экзекуция. Глухой ропот то и дело прокатывался по толпе. Толпа приходила в движение, стоявшие на коленях люди вскакивали, но солдаты по команде жандармского штаб-офицера направляли на людей заряженные, с примкнутыми штыками ружья, и люди медленно опускались на колени.

Дмитрий растерялся. Он заметил сутулую, квадратную в плечах фигуру

своего приемного отца - князя Петра Кирилловича, станового пристава и исправника, которые командовали поркой. Тут же он узнал и известного в округе ходатая по народным делам, мещанина Федора Федоровича Пыхачева, со связанными руками, с запекшейся кровью на лбу. Князь Петр Кириллович Максутов, майор в отставке, был в старом своем Преображенском мундире. Он восседал в кресле, окруженный помещиками.

Перед князем стояло двое крестьян, отец и сын. Оба темно-русые и сухощавые. Парень был много выше отца и бесстрашно смотрел в глаза Петру Кирилловичу, старик часто переступал с ноги на ногу и неуверенно поглядывал по сторонам.

- ...Стало быть, хотим в ополчение, - громко басил парень, видимо не раз обдумав каждое слово. - Царский указ вышел мужику: кто в ополчение войдет, тому от барина воля...

- И семействам, - певуче вставил старик, - от мала и до велика!

- Где же этот указ? - спросил жандармский штаб-офицер.

- Указ весной вышел, - уверенно ответил парень, сжимая обеими руками рванный заячий треух. - Еще до пахоты! А становой пристав пропил царев указ у барина в дому!

Тучный, розоволицый помещик, с виду совсем еще молодой, крикнул с крыльца срывающимся фальцетом:

- Врешь, скотина! (Отец и сын были его крепостными.) погоди, сдам я тебя в рекруты, еще в ногах валяться будешь! Отправляйся домой и жди.

Старик тяжело переступил с ноги на ногу и, словно под тяжестью, сгорбился. В разрезе его рубахи, среди седоватых волос на тощей груди, блеснул нательный крест.

- Чего ждать-то-о-о? - сказал он протяжно. - Пока всех земля возьмет? Холера не ждет, и барин не ждет, а ноне и бессрочно отпущенных под ружье взяли. Дождались, видать...

- И ты, хромой лапоть, в ополченцы! - цыкнул на него моложавый помещик. - Так-то ты роду нашему за добро платишь?!

- И я, - ответил старик просто. - И старые кости воля греет. Мне что под барином пропадать, что под турком - один расчет. (Максутов вспомнил смерть Цыганка, его мучительный вопрос капитану.) За волю для сынов моих и внуков я на все согласный, - закончил старик проникновенно и, повернувшись к штаб-офицеру, бесстрашно подался ему навстречу. - Вот хоть и ты, вынь сабельку да рубани меня надвое...

- Про-о-очь! - закричал взбешенный офицер.

- Не прочь! - упрямо ответил старик и показал рукой на толпу. - Нет им пути

назад.

- Верно, Трофим Ермолаич, - спокойно сказал Пыхачев, с какой-то нежностью наблюдавший за стариком. - Назад дороги нет.

Все оглянулись на Пыхачева, а штаб-офицер занес над его головой ременную плеть.

Дмитрий немного знал Федора Пыхачева. Сын чиновника из обнищавших дворян, уроженец этих мест, Пыхачев в прошлом был одним из многообещавших студентов Московского университета. В 1835 году его, тогда уже студента третьего курса, изгнали из университета за сочинение "возмутительных стихов" по поводу введения министром просвещения Уваровым обязательных предметов - богословия и церковной истории.

Спустя два года с паспортом на имя Ивана Сергеевича Таганцева, сына мелкопоместного вологодского дворянина, Пыхачев попал в Киевский университет св. Владимира, но и оттуда во время студенческих беспорядков 1839 года был исключен. Университет тогда временно закрыли, и Федор Федорович счел за благо, не теряя и часа, оставить Киев.

Вернувшись в Подмоскowie, он поселился в родительском доме, но вскоре похоронил отца и вынужден был содержать себя и старуху мать. Пыхачев нанимался репетитором в некоторые дома ближнего уездного городка, тащился туда, делая по двенадцать верст ежедневно; пробавлялся случайными заработками; носил неизменную - хотя ему было уже за сорок - кличку "студент" и почти все свое время отдавал нуждам и бедам крестьян, составляя бумаги и прошения в разные адреса, грозя самодурам помещикам судом, гласностью, сенатом.

Крепостники ненавидели этого умного, щедушного с виду человека с волнистой русой бородой и грустным - из-под стекол пенсне - взглядом усталых синих глаз. Они называли его не иначе как "крамольником" и "смутьяном".

Дмитрий встречал Пыхачева у дяди. "Студент" иногда подолгу гостил в Ракитине и проводил время в беседах с Иваном Кирилловичем. Нередко встречи их оканчивались ссорой, Пыхачев уходил тогда раздраженный, отказываясь от лошадей и долгие месяцы, пока князь не посылал за ним, не появлялся в Ракитине.

...Теперь Федор Пыхачев стоял перед палачами и в угрюмом спокойствии наблюдал за происходящим.

Первое естественное движение души Дмитрия - броситься к Петру Кирилловичу и рассказать ему о смерти Александра - сразу же пропало. Хоронясь за двумя шеренгами рослых солдат, он приблизился к зданию

экономии и уже мог расслышать не только человеческую речь, но и свист лозы, которою секли крестьян.

Вот становой пристав ударами нагайки выгнал из толпы к месту экзекуции новую группу мужиков. Молча стояли они перед понятыми и казаками, пока исправник заносил их имена в списки. Молча стали стаскивать с себя худые зипунишки, рваные шубейки, серые домотканые рубахи.

Петр Кириллович остановил их.

- Сто-о-ой! - закричал он с крыльца протяжно, на воинский манер. Будете повиноваться и работать, как прежде работали? - Мужики молчали. Ну! - крикнул князь Максutow, сходя по ступенькам к мужикам.

- На барщину не пойдем, - громко ответил чернобородый худой мужик, глядя в упор на приближавшегося помещика. - Желаем кровь проливать за царя-батюшку, а в крепость назад не войдем!

- Сво-о-олочь! - в бешенстве закричал Петр Кириллович, метнулся к Пыхачеву и сгреб в кулак его бороду. - Ты научил? Ты? Говори!!

Мужики угрюмо смотрели, как мотается, словно неживая, голова их заступника.

- В Сибири сгною! - захлебывался яростью Петр Кириллович. - Всех в рекруты сдам, хоть и без зачета...

- Твоя воля, барин, - сказал чернобородый, - а только не гоже тебе, князь Петр Кириллович, супротив государевой воли идти.

- Истинно! - закричал Пыхачев срывающимся голосом. Пенсне, прикрепленное к шнурку, плясало на его груди. - И не только воля дарована вам, мужики, но и рекрутчины до правнуков своих знать не будете. Верите мне? - воскликнул он в подвижническом экстазе.

- Ве-ерим! - пронеслось по толпе.

- Дворяне и помещики - отчизне изменники! - Пыхачев смотрел на князя Максutowа горящими, ненавидящими глазами. - Откупаются они от выборов в ополчение! Шкуру берегут!

Петр Кириллович даже за сердце схватился от неожиданности. Он попятился к крыльцу и, широко разевая рот, повторял одно только слово:

- По-роть! По-роть! По-роть!

Дмитрий невольно отступил на шаг, судорожно сжимая руку Сунцова.

- Что, Дмитрий Петрович, - прохрипел Сунцов, - крепко жжет мужицкое горе? От крыльца долетела отрывистая речь князя Максutowа:

- Никого не пощажу... Бунтовщики...

Краска стыда, жгучего, пронзающего насквозь, залила щеки Дмитрия.

Становой пристав кинулся к стоявшим особняком старику с сыном и в слепой

злобе взмахнул плетью. Беззвучно обвилась вокруг головы старика плетью-свинчатка, и конец ее впился в глаз мужика. Дернув плетью, пристав уже замахивался на побледневшего парня, а старик с кровоточащей дырой вместо глаза постоял несколько секунд пошатываясь и рухнул на землю.

- Наших-то как полосуют! - истошно закричал кто-то высоким голосом, долетевшим до толпы женщин и вызвавшим ответный вопль. - Чего стоять! Ждать чего?

Женщины, прорвав солдатский заслон, бросились к построикам. Задняя шеренга солдат, находившаяся у построек, тотчас же, по команде офицера, повернула кругом, встречая бегущих женщин.

Жандармский офицер высоко занес руку, Дмитрий метнулся к нему, но не успел удержать. Раскатился неровный залп. По обе стороны солдатских шеренг упали, обливаясь кровью, люди...

- Петр Кириллович! - крикнул Дмитрий, борясь с душившими горло спазмами.

- Прекратите это... Не нужно крови!

- Митя!

Дмитрий не двигался с места. Он жестко и зло бросил в возбужденное лицо князя:

- Петр Кириллович! Александр убит на Камчатке!

Князь Максудов отшатнулся, защищаясь от Дмитрия протянутыми вперед руками, затем впился неверящим взглядом в заезжего флотского офицера и с хриплым криком: "Ты ли это, Митя?" - свалился в кресло. Поник головой так, что форменная фуражка упала на грязные ступеньки, и в отчаянии обхватил седую голову красноватыми руками. Дмитрий ни часу не оставался бы здесь, если бы его не удерживала мысль помочь несчастному Пыхачеву и мужикам, запертым в господской конюшне. Князь не соглашался отпустить Пыхачева и избавить его от формального следствия, но обещал ради "светлой памяти Александра" забыть личные обиды и дерзкие слова "студента". Дмитрий не был спокоен: он знал, сколь переменчив Петр Кириллович, и хотел дожидаться, когда уберется все это слетевшееся на кровь воронье.

Петр Кириллович сразу осунулся, постарел, бродил по комнатам, не замечая растерянных гостей, часто заходил в спальню и подолгу сидел возле неподвижной, окаменевшей от горя жены. Она вела себя странно: казалась сосредоточенной на какой-то затаенной мысли, была внешне спокойна, словно давно ждала этого страшного удара. Она вставала, брала какой-нибудь предмет, находила ему новое место и снова ложилась. Дмитрия только однажды позвала к себе, гладила его бледной рукой по голове и слушала, не прерывая, рассказ о камчатском бое. Но когда Дмитрий заговорил о

госпитале, о последних минутах Александра, ее рука схватила плечо Дмитрия и больно сжала его. Дмитрий понял - ни о чем больше не надо говорить...

Дмитрий сидел молча рядом с князем в темной гостиной, куда из соседней комнаты долетали голоса помещиков, закусывавших перед разъездом. Порою Петр Кириллович тяжело поднимался с кресла, наведывался к гостям, в хмурой сосредоточенности несколько минут наблюдал за ними и, не говоря ни слова, уходил. Помещики, собравшиеся за столом, часто поминали Александра и, притворно смахивая слезу, веселили после каждой рюмки. Компанию больше занимала сегодняшняя экзекуция. Дело приняло нешуточный оборот: в конюшне, под охраной солдат, лежали пять мертвецов. Неизбежно следствие и огласка. Герои нынешнего дня подбадривали друг друга ложью о преступных намерениях толпы.

- Заметили ли вы, милостивые государи, нож?! - вопрошал собравшихся круглолицый, моложавый помещик. - Разбойничье оружие! - С торжествующим видом он поднял над столом простой крестьянский нож. - Вот полюбуйте!

- Вещественная улика-с, - пробасил жандармский штаб-офицер, потянулся через стол и взял у помещика нож. Офицер быстро хмелел и старался держаться грозного, начальствующего тона. - Благодарю!

- Будет вам, - досадливо отмахнулся помещик и наклонился к соседу по столу: - Жандармские чины-с, опора правительства... Мизерия-с, одна мизерия! Скажу откровенно, кончал бы я эту войну. Уступили бы, задобрили бы как-нибудь англичанина и француза, - он засмеялся, - не бедны, слава богу, есть чем откупиться. - Но заметив, как вспыхнул услышавший его слова жандармский офицер, он продолжал примирительно: - Ну, понимаю: воинский долг, честь родины, воодушевление чувств... Так ведь навоевались, сыты, вот как сыты! Не то придут еще к нам англичане и французы и не куда-нибудь, а в столицы и - Христос воскресе, православные, не угодно ли республику-с...

- Не позволю! - закричал пьяный офицер.

- Вас не спросят, любезнейший, - насмешливо возразил помещик. Скомандуют "налево кругом" и... к-коленкой под зад... Свободно-с...

Пока негодующий офицер искал подходящий ответ, в застольный шум ворвался монотонный голос другого гостя, слывшего в округе ученым человеком. Желчный, длинноносый, в пепельных бакенбардах, он произносил слова лениво, точно снисходя к глупости окружающих:

- ...Или возьмите в рассуждение вопрос о ратниках, сиречь существах женского пола, оставленных ушедшими в зачет ратниками. Правительство

оставляет нас в томительном неведении, господа! Несут ли ратницы какой бабин оброк, обязаны ли мне барщиной и всем прочим? Ратницы мнят себя вольными казачками, - он саркастически улыбнулся, - однако же вопиют, когда я приказал отобрать у них землю, дабы свобода их была истинной, всесущей и непререкаемой...

- И курьез-то какой! - весело, не переставая жевать, вставил третий гость, маленький неопрятный человечек с хитрыми раскосыми глазами. Вообразите, торгуем с Европой! Ездил я летом в Петербург, в гости к зятю был зван. Он у меня, даром что молод да не в военной службе, - объяснил помещик офицеру, - генерал, и только!.. Среди торговых первого десятка человек. Ей-богу, - простодушно добавил помещик, зная по опыту, что обычно ему не верят. Подцепив на вилку большой кусок буженины, он отправил его в рот. - "Что, - спрашиваю у него, - худо вам нынче приходится? Пшеница, стало быть, залеживается, море англичанин запер, а подвод и под порох нет". А он смеется. "Ничего, - говорит, - тестюшка, не жалуемся. У нас и нынче все на прежний манир: день прочь - барыши считаем..." - "Быть того не может!" - "И подвод, - говорит, - нам хватает. Не порох возим; хлеб святое дело, богу угодное. И сало и лен. Через посредство прусского купечества с Европой сносимся. Дело верное, хоть сто лет вой. Мы, говорит, - народ мирный, торговый". - Он вздохнул. - А тут последнего мужика решиться можно, в Пруссии его не купишь небось, не продадут...

- Р-республику, говорите? - собрался наконец с мыслями офицер. Он злобно пялил глаза на тучного, добродушного с виду помещика и решительно поднялся, опрокинув стул. - Шалишь! Я вот пойду и пристрелю этого плюгавого студентишку...

- Пыхачева?

- А хоть и Чихачева!

- Нельзя-с, - недружелюбно сказал толстяк. - Пыхачев зловернейшая личность, а не подлого сословия человек. Нельзя без суда.

- Можно, - упрямо мычал офицер.

- Никак невозможно-с!

- М-можно...

Жандармский офицер двинулся к выходу, распахнул дверь и попятился от неожиданности. Перед ним стоял Дмитрий Максотов, бледный, с угрожающе поднятой рукой.

- Стойте, вы! - воскликнул Дмитрий. - Палачество свое... прекратите... Слышите?! Если осталась в вас хоть капля русской крови... он растерянно оглянулся, - постыдитесь! В доме горе... - И закричал строго: - Князь в

трауре... Лейтенант Александр Петрович Максutow пал смертью храбрых на Камчатке. Там тоже не хватало ни пороха, ни пушек... Дмитрий озлобленно махнул рукой и вышел из гостиной.

- А я пристрелю каналью, - донесся до него пьяный голос офицера. Пулю в лоб, помяните мое слово. Прямым, не разбирая дороги, оступаясь на скользкой пахоте или ломая сухую стерню, торопился Дмитрий к бывшему дому лесничего, где жил теперь Иван Кириллович. Дмитрий успел узнать у дворовых людей, что старик жил совершенным отшельником, был плох и только в погожие, солнечные дни выползал из дома с помощью слуги, постоянно находившегося при нем.

Дмитрий подумал о том, что при старике все эти скоты, которых он оставил за столом, не смели и появляться тут, они стороною объезжали усадьбу Ивана Кирилловича, мстя ему за прямоту и нелицеприятие сплетнями, злоязычием, мелкими потравами. Правда, и князь Петр Кириллович прежде не бывал в подобной компании.

Дмитрий отчетливо помнил последний, прощальный перед отплытием "Авроры" вечер в петербургском доме Максutowых.

Давно уже шла война на Дунае, поговаривали о том, что и великие европейские державы не останутся в стороне от конфликта. Гости пили за здоровье государя-императора, славили его государственную мудрость; христианнейшее сердце, скорбящее о судьбах несчастных народов, изнемогающих под властью нечестивых басурманов; твердую военную руку, которую благословляет всевышний на свершение великих ратных подвигов. А более того толковали о хлебе, о черноморских портах, о Балканах и о том, что победоносное завершение войны умножит вывоз хлеба на юге.

Особенно запомнился Дмитрию один из гостей, давний друг и командир Петра Кирилловича по Преображенскому полку, князь Сергей Александрович Г.... Надменный вельможа александровской поры, глубокий уже старик, он сохранил хорошую выправку, чеканный, созданный для дворцовых парадов шаг, а приятная смуглость молодила лицо, несмотря на глубокие складки, морщины и обвислые щеки. Он давно перешел в штатскую службу, был одно время товарищем министра финансов, но всегда находил достаточно времени для бдительного надзора за собственными владениями, поставлявшими ежегодно сотни тысяч пудов хлеба на европейские рынки. О хозяйственных делах толковал неохотно, был записным патриотом и гордился ранами, полученными на Кавказе, куда он был отряжен с особыми полномочиями самим императором.

В памятный вечер прощания он увел Дмитрия и Александра в сад и,

покровительственно обняв их за плечи, долго вышагивал по темнеющим аллеям, слушая одного себя, мягкие переливы своего некогда чаровавшего дам баритона. Называл Дмитрия и Александра своими "юными друзьями" и самые проникновенные верноподданнические фразы произносил непременно по-французски.

- Велико счастье России! - восклицал он убежденно. - В час всеобщей смуты и духовного падения ее ведет бестрепетная рука государя-императора. Иные народы и богаче, и образованнее, и - что греха таить, вы сами скоро убедитесь в этом - куда как умнее нас. Но счастливее нас нет народа в целом мире. Я враг лести и лакейства, но скажу не колеблясь: государь ниспослан России самим провидением...

"Еще совсем недавно звучали эти слова о невиданном величии государя-императора, о неременной победе, - думал Дмитрий, - и как переменилось все нынче!"

Дядю он нашел в постели, слабого, совсем разбитого событиями нескольких минувших дней. Он был извещен о приезде Дмитрия, знал, по-видимому, и о смерти Александра: по крайней мере, он долго в скорбном молчании держал руку Дмитрия. На столе, придвинутом к кровати, горела лампа, и от красной наволочки на лицо старика лег жаркий багрянец. И седые волосы были тронуты розовым цветом, только глубоко сидящие глаза оставались темными, пронизывающими.

Старик внимательно выслушал Дмитрия, беззвучно шевеля губами и не отпуская его руки. Но о войне заговорили не сразу.

- Ты был там сегодня, Митя? - спросил он.

Дмитрий понял, что речь идет о расправе над крепостными.

- Я приехал слишком поздно, - ответил Дмитрий, словно оправдываясь.

Старик покачал головой и сказал внятно:

- Этого уж никто не в силах изменить, мой дружок... Хорошо, что я повидал тебя напоследок...

- Если бы вы были... здоровы, - заговорил Дмитрий горячо, - все было бы иначе. Крестьяне не бежали бы от вас...

Иван Кириллович остановил его слабым жестом.

- Не увлекайся, Митя... Я, пожалуй, был добр к ним, да на что им наша доброта... Разве что спины целы и в глазах страха меньше, чем у окрестных крестьян. Хлеба взыскуют они, грамоты, а более всего - вольности, крыльев... Какая это сила, Митя! - взволнованно проговорил старик. - Много повидал я на долгом веку, а сильнее силы не знаю... Хотел я помочь им, он глубоко вздохнул, - да, видишь, сил у меня неостало... Одолели меня...

Дмитрий не утерпел, рассказал о своем столкновении с офицером.

- Гнили много, - согласился старик, глубже уходя с головой в подушку. - Нам и задохнуться недолго. Казарма, тупая, подлая казарма... На всех мундиры, тугие - не вздохнешь. Всю Россию в мундир затянули и тридцать лет палками учат. Душно, Митя!..

Они помолчали немного.

- У мундиров одно утешение - сила. Тем и тешились: мы, мол, сильны, нашей палки Европа трепещет; а началась война - и поперла гниль из всех щелей, трещит казарма, вязнет сила богатырская в непролазной грязи. Несчастливая война!

Дмитрию вспомнилось недавнее посещение Ялуторовска и гневные слова изгнанников. Старик сказал с неожиданной силой:

- Хорошо еще, если мы хоть немного подвинемся вперед по этому морю крови...

- Непременно подвинемся! - воскликнул Дмитрий так горячо, как будто от него самого зависело какое-то движение огромной страдающей страны. В Москву Дмитрий выехал затемно, он торопился к петербургскому поезду.

Слева от дороги белели хозяйственные постройки. Ракитино лежало безгласное. Ни скрипа ворот, ни стука дверных щеколд, ни стопа, ни плача, который после всего случившегося резал бы слух меньше, чем эта мертвая тишина.

Дмитрий почти физически ощущал, как рвались непрочные связи родства. Умрет Иван Кириллович, честный кутузовский офицер, отданный под опеку корыстных родственников, - и тогда не нужно будет вспоминать о Ракитине.

В ПЕТЕРБУРГЕ

I

В полном одиночестве шагал Максотов по аванзалу Гатчинского дворца. После степного раздолья, снежных, волнистых холмов и сливающегося с серым небом горизонта Гатчина показалась ему холодным, давящим казематом.

Скоро его представят императору.

Великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич терпеливо выслушал Максотова, пробежал донесение Завойко и, прочтя вслух латинскую надпись на английском знамени, возвратил его лейтенанту.

- "Per mare, per terram"! - повторил великий князь, отдавая знамя лейтенанту Максотову. - Весьма важно, весьма важно... Английские газеты рисовали камчатский эпизод в неблагоприятном для нас свете.

Холодные глаза его смотрели испытующе.

- Ваше высочество, - сказал Максutow, чувствуя какую-то скованность, - клянусь честью русского офицера, дело обстояло именно так, как доносит генерал-майор Завойко. Англо-французская эскадра потерпела полное поражение!

Великий князь положил руку на плечо лейтенанта. Было в этом жесте что-то привычное и обидно-снисходительное.

- Прекрасно! Государь примет вас! - И вдруг резко: - Вы знакомы с рапортом Завойко?

- Нет, - солгал Максutow, - но обстоятельства дела таковы, что наша победа не нуждается ни в каких прикрасах.

Их взгляды встретились. "Я понимаю, - говорили глаза Максutowа, - вас слишком часто обманывают, успокаивают фальшивыми реляциями, ничтожными подробностями, ничего не значащими в развитии военных операций..."

Константин Николаевич первым отвел взгляд и сказал с оттенком казенной напыщенности:

- Защитники Петропавловского порта будут щедро награждены. Государь ценит преданность и отвагу. Мне особенно приятно, что в деле приняла участие "Аврора". Я еще мальчиком плавал на "Авроре". В Киль, в Копенгаген... Весьма приятно! Расскажите государю о деле в общих чертах. А главное - знамя. Повергните знамя к стопам его величества. Знамя, отнятое у англичан, символ будущих побед России в отдаленном и малоизведанном Восточном бассейне.

В ожидании аудиенции Дмитрий Максutow пытался разобраться в ощущениях, вызванных приемом у великого князя. Прежде всего, камчатское дело не было для двора новостью. По-видимому, англичане и французы, отправившиеся в тихоокеанские порты Соединенных Штатов, внушили американским газетам ложное мнение о событиях в Петропавловске. Телеграфические аппараты передали клевету в Нью-Йорк и Бостон, а оттуда пароходы доставили газеты в европейские гавани. Мудрено ли, что эти газеты попали в Петербург раньше, чем успел промчаться через всю Россию Максutow. Если купец Смуров, торгующий овощами и заморскими лакомствами, только что получил партию груш из Парижа, а московские промышленники, братья Прохоровы, в ноябре поставили лондонским магазинам, через Мемель, халатный полубархат в восточном вкусе, модном нынче в Европе, с шалевыми узорами по вишневому цвету, - то отчего бы русскому двору не получить своевременно газетные листы из Парижа и Вены,

из Лондона и Берлина, а великим князьям не верить в подлинность их информации?

О чем думал великий князь, с четырех лет от роду ставший генерал-адмиралом флота, подготавливая МаксUTOва к высочайшей аудиенции? МаксUTOв мог поручиться, что великий князь думал не о Петропавловске! Тут не могло быть ошибки. Привезенные известия и трофеи Константин Николаевич мысленно приспособливал к чему-то другому, далекому, служившему предметом его особого внимания.

Он озабочен чем-то иным. Смотрел на МаксUTOва, на знамя с изображением короны и словно обдумывал течение будущей сцены с участием самодержца всея Руси. "Главное - знамя!" - вспомнилось МаксUTOву. Смешно! Он и сам не забывал о захваченном знамени; но не думал, что именно этот церемониал окажется главным.

Наконец за МаксUTOвым пришли и проводили его в белый двухсветный зал. Там находились Николай, великий князь и несколько свитских офицеров.

- Слышал, слышал! - приветливо сказал Николай, не дав лейтенанту представиться. - Рад был узнать о блистательном отражении превосходных неприятельских сил!

МаксUTOва поразила внешность Николая. Как не похож он на многочисленные литографированные портреты, на того Николая, которого МаксUTOв видел однажды в стенах Морского корпуса!

Николай уже не кажется могучим, литым из светлого металла, монументом... Случилось что-то непоправимое. Во всей фигуре чувствуется дряблость, надломленность, пустота. Мундир стиснул фигуру Николая, как стареющего светского льва корсет. Император горбился, и мундир из-за этого с боков и под мышками морщился.

Серое, обрюзглое лицо. Чтобы скрыть дряблость обвисающих щек, рыжеватые колбаски бакенбардов опущены совсем низко и загнуты навстречу усам. Отталкивала холодная пристальность выпученных глаз.

- Ваше величество! - сказал МаксUTOв. - Я счастлив первым принести весть о мужестве русских войск на отдаленнейшем краю империи!

- России нужна победа, - Николай смотрел мимо МаксUTOва, на многофигурный горельеф, украшавший камин. - Недалек тот день, когда Россия получит ее.

Константин Николаевич движением глаз показал МаксUTOву на знамя. Лейтенант развернул его и бросил на паркет, к ногам Николая. Знамя скользнуло по полированной поверхности и ткнулось в носки императорских сапог. Николай не мог хорошо рассмотреть знамя. МаксUTOв слишком

буквально понял приказание великого князя - повергнуть знамя к стопам его величества! Не успел Дмитрий подумать о своей ошибке, как один из свитских офицеров переложил знамя с паркета на обитое светлым атласом полукресло.

Стояли в почтительном молчании, пока Николай изучал знамя.

- Велики ли были неприятельские силы? - спросил он, наклонившись и не поворачивая головы.

- Явилась эскадра в составе шести судов, ваше величество... Четыре фрегата, пароход, бриг. В людях и в артиллерии неприятель имел по крайней мере четырехкратное превосходство...

- Чем же объяснить поражение? Незнание местности? Просчеты?

- Неприятель не сделал видимых ошибок, ваше величество, - ответил Дмитрий. - Если он бежал из Петропавловска, то это заслуга наших солдат и матросов, проявивших чудеса храбрости...

Николая передернуло, но внешне это выразилось только в нетерпеливом движении правого плеча. Изо дня в день ему твердят об одном и том же - о чудесах храбрости, о верности престолу - и тем не менее сдают позицию за позицией, позволяют неприятелю накапливать силы в Крыму, проигрывают войну...

- Ты помнишь имена неприятельских адмиралов? - спросил Николай строго, экзаменаторским тоном.

- Контр-адмирал Дэвис Прайс и контр-адмирал Феврие Депуант, ваше величество.

Николай помолчал немного, но эти имена, видимо, ничего не сказали ему. Максutow, утомленный долгим ожиданием приема, незаметно переместил тяжесть своего тела с правой ноги на левую и добавил, нарушая тягостное молчание:

- Адмирал Прайс, по слухам, вполне правдоподобным, застрелился накануне первого сражения, девятнадцатого августа.

Николай забыл о знамени и круто повернулся к лейтенанту.

- Застрелился... - проговорил он глухо. - По какой причине?

Он наклонил голову, положив тяжелый подбородок на ворот мундира, и нацелил на лейтенанта холодные выпуклые глаза.

- Сколько можно судить, - сказал Максutow, чувствуя, что разговор принимает нежелательный оборот, - его пугал призрак ответственности за совершенные ошибки, а может быть, и предчувствие неуспеха.

Николай недаром слыл превосходным актером, умеющим искусно скрывать истинные чувства. По его серому мясистому лицу было трудно понять,

заинтересовали ли его вообще последние слова МаксUTOва.

Но Константин Николаевич и находившиеся при царе особы метали в сторону лейтенанта уничтожающие взгляды. Как можно здесь, в Гатчине, в тяжкие для империи дни, говорить столь опрометчиво и глупо!

- Впрочем, - поторопился добавить МаксUTOв, - есть и другие версии. Говорят, что адмирал застрелился случайно, заряжая пистолеты, или был убит осколком русской бомбы, угодившей в пароход, на котором он находился...

Но слова эти падали уже в пустоту, тяжело и неуклюже. Прайсом, как и следовало ожидать, никто не интересовался. Почему-то остыл вдруг интерес и к Петропавловску и к МаксUTOву. Что-то не удалось в замысле великого князя, и добродушный лейтенант с приятным, открытым лицом стал ему безразличен. Мало ли таких лейтенантов в русской армии и на флоте!

- Мы рассмотрим донесения, рапорты, представления Муравьева, проговорил Николай бесстрастно и повторил обещание великого князя: Защитники порта будут награждены по достоинству...

- Не ради наград сражались они, - поспешно сказал МаксUTOв, чувствуя, что сейчас он вынужден будет уйти, так и не сделав ничего для Камчатки, но примут их с величайшей благодарностью, как признание заслуг перед отечеством. Они ждут помощи, ваше величество. Понадобится продовольствие, артиллерия и прочие военные предметы, так как неприятель будущей весной несомненно будет искать реванша.

Картинные усы с блестящими колечками-завитками удивленно приподнялись на холеном лице Николая.

- Мы не оставим людей без помощи, - холодно сказал он и подал знак одному из придворных.

Тот взял со стола небольшой футляр и приблизился к Николаю.

В футляре находился Георгиевский крест, который Николай пожаловал МаксUTOву.

Прием был окончен.

Наступил декабрь, а МаксUTOву все еще не удалось узнать ничего определенного. "Санкт-Петербургские ведомости" и "Северная пчела" печатали сообщения о должностных лицах, которые прибывали в столицу и покидали ее пределы. Среди действительных статских советников и генералов всех родов, от отставных до генерал-адъютантов, среди многочисленных Голицыных, Муравьевых, Васильчиковых, Нордгеймов, Мантов, Будбергов, Меллеров и Бергов имени МаксUTOва не было. Не было и никаких упоминаний о Камчатском деле. Но так как слухи о событиях на Востоке, хоть и ложные, рожденные на печатных машинах Америки и Европы,

все-таки достигли ушей петербуржцев, "Северная пчела" сочла нужным перепечатать следующее сообщение "Морского сборника": "По местным обстоятельствам Камчатки почта отходит оттуда два раза в год, именно в мае и декабре месяцах, а потому не получающие долго известий из этого края не должны беспокоиться".

Один Максutow, примчавшийся из Камчатки на перекладных, мог по достоинству оценить горький юмор этой заметки, непонятной и тем, кто напечатал ее. Для него эти несколько строк были обращены не к прошлому, а к будущему, не сулившему никаких перемен.

Почему газеты молчат о петропавловской победе? Или ей нет места среди многословных и туманных реляций о б л и с т а т е л ь н ы х п о б е д а х в Крыму?

Максutow и сам понимал, что победа на Камчатке не может повлиять на трагическое и неотвратимое развитие военных дел в Крыму. Убеждение это родилось еще в Иркутске и возрастало по мере того, как Дмитрий удалялся от Камчатки.

Меншиков не сумел воспрепятствовать высадке неприятельских войск в Крыму, не смог остановить их продвижения, несмотря на явные ошибки союзного командования. Плохой дипломат, немало способствующий тому, что Россия оказалась перед неизбежностью войны, он был еще более незадачливым полководцем и окружил себя бездарными генералами, казнокрадами, льстецами. Солдаты испытывали жесточайшие лишения, терпели недостаток во всем - от обмундирования до медикаментов, которых никогда не оказывалось там, где в них была острейшая нужда. Болезни косили солдат; одна холера уносила не меньше жизней, чем неприятельские пушки.

Поражение Меншикова при Альме было настоящей катастрофой. Разбитые войска отошли на южную сторону Севастополя, а спустя три дня - 11 (23) сентября - пришлось затопить у входа в Северную бухту значительную часть славного Черноморского флота, еще недавно стяжавшего мировую славу разгромом турецкого флота у Синопа. Подойдя к Севастополю, англо-французы нашли его столь укрепленным, что вынуждены были приступить к осаде, беспощадно обстреливая порт и город.

Предстояла долгая и, по-видимому, безнадежная для Меншикова борьба. Личный состав Черноморского флота перешел на укрепления Севастополя; там же был и герой Синопа адмирал Нахимов. Отрезанные от страны, лишённые связи и подвоза, матросы и солдаты проявляли чудеса храбрости, защищая родную землю, но выиграть войну они не могли. В Крыму

беспрепятственно высаживались новые дивизии англо-французов, хорошо вооруженные и экипированные, и хотя русские солдаты превосходили неприятельских мужеством и отвагой, противостоять подавляющей материальной, технической и людской силе становилось все труднее и труднее.

Угрожающими были и дипломатические поражения России. Пришла расплата за многолетнюю лживость и лицемерие дипломатии Нессельроде и его послов, поддерживавших Николая в твердом убеждении, что правительство Эбердина не решится на войну с Россией, а австрийская монархия Франца-Иосифа, спасенная Николаем в 1849 году, не посмеет отказать своему благодетелю в помощи против Османской Порты. Англия давно уже воевала с Россией, близился час враждебного выступления Австрии. Решительно неоткуда было ожидать помощи. Дмитрий Максutow не мог понять всей сложности положения, но остро ощущал общую подавленность, неверие, неразбериху, при которых не может быть ни твердого руководства армией, ни достижения победы.

Но Максutow был военным моряком. Его мысль неизменно возвращалась к флоту, и он с гордостью думал о том, что русские моряки, несмотря на плохую оснастку и вооружение кораблей, покрыли себя славой и в эту несчастную войну, в то время как в летописях прославленного британского флота не появилось ни одной героической страницы.

Эхо Синопа будет звучать в веках. Подвиг "Авроры", подвиг героев Камчатки тоже не скоро изгладится из памяти людей. Пусть сражение на Камчатке и невелико по числу людей и судов: не все же в мире измеряется числом, простым математическим соотношением! Бывают ничтожные поражения, предвещающие будущее неизбежное падение! Ведь английский флот не добыл пока ни одной победы в нынешней войне. Беспрепятственная высадка десанта в Крыму, разрушение Бомарзунда, варварская бомбардировка Колымы и Соловецкого монастыря, безуспешное нападение на Камчатку - вот и все, чем могут рапортовать британские адмиралы первому лорду адмиралтейства. Петропавловск - одно из доказательств неизбежного в будущем заката морского владычества Англии.

Но почему в Петербурге ничего не слышно о камчатской победе? Видимо, бумаги Завойко и Муравьева, как и сообщение Максutowа, недостаточно веские аргументы? Ждут доказательств из-за границы. Обычная тактика Министерства иностранных дел: смотреть не в живое лицо России, а на его отражение в кривом европейском зеркале. Если правда, что англичане потерпели поражение в Петропавловске, это должно обнаружиться. Заговорят

пресса, парламент. Послышатся крики, призывающие к мести, к реваншу. Париж и Лондон невольно признают факт поражения. Тогда о нем узнает и Россия. Пусть прежде лишат отличий английских офицеров, пусть назовут их трусами в парламенте, тогда и мы скромно напомним о нашей роли в этом деле. Тактика Нессельроде, принятая двором, казалась мудрой, осторожной, предусмотрительной. В действительности же она исходила из подлого убеждения в том, что жизнь России - только эхо европейского грома, европейского смеха, европейских страстей.

Максутов побывал у осторожного Перовского - министра внутренних дел. Помогло рекомендательное письмо Муравьева. Удалось узнать кое-что и у важных должностных лиц Адмиралтейств-совета, взглянуть и на калифорнийские корреспонденции о петропавловском сражении. Постепенно картина становилась все более ясной и очевидной.

Ничего не стоит опровергнуть лживые утверждения калифорнийских газет, и если бы "Санкт-Петербургские ведомости" взяли на себя этот труд, Максутков мог бы по пунктам ответить всем "Геральдам" и "Таймсам" обоих полушарий. Вот поистине гасконское хвастовство газеты "Эко де пасифик": "Французские суда были предметом глубочайшего сочувствия не только наших соотечественников и союзников, но и американцев; каждый с завистью увлекался успехами союзных флотов!" Вот и рассказать бы миру о захвате знамени Гибралтарского полка, о флаге, сбитом на гафеле "Президента" первым же залпом "Смертельной" батареи, о жалком виде неприятельских судов после второго сражения, об их бегстве из Авачинской губы! Впрочем, и кое-кто из калифорнийских репортеров, больше доверяющих собственным глазам, чем болтовне французов, проговаривается, рисуя истинное положение вещей. Так, "Сан-Францисская газета" на следующий день после прихода эскадры сочувственно сообщила, что "состояние французских судов в гавани носит сильное свидетельство искусства русских в артиллерийском деле; потребуются большие суммы денег на исправление всех повреждений". Вероятно, это соболезнование не понравилось Депуанту, и он поторопился известить газету о том, что английские суда находятся в еще более плачевном состоянии. "Говорят, - дополнительно осведомляла читателей "Сан-Францисская газета", - что английский фрегат "Президент" находится в весьма печальном положении и достиг острова Ванкувер с большой опасностью. Одно ядро, пущенное с русской батареи, разом уложило тринадцать человек, и фрегат пробит насквозь во многих местах".

Но "Геральд", выходявший в Сан-Франциско, спешил уверить своих подписчиков в том, "что союзный флот овладел бы Петропавловском б е з в с

я к о г о т р у д а, если бы не нуждался в провизии"!..

"Тогда отряд, не будучи в состоянии выносить неравный бой, - писал калифорнийский "Таймс" о сражении на Никольской горе, - получил приказание отступить и возвратиться на суда... Войска медленно удалялись..."

Такие сообщения Максutow не мог читать спокойно. "Неужели и эта ложь останется безответной, неужели русские газеты промолчат и для всего мира камчатские события будут выставлены в ложном свете?"

Тихоокеанский бассейн, прежде незнакомый Максutowу, теперь, после плавания "Авроры" и боя с англо-французской эскадрой, все больше занимал его. Немногие американские газеты, особенно газеты севера, отзывались о русском флоте с расположением и симпатией. Позиция правительства Американских Штатов была иной, - Максutow, бывая в различных департаментах, причастных к снабжению армии и флота, прекрасно видел это.

В военном ведомстве он узнал о панических письмах штабс-капитана Лилиенфельда, командированного в Америку специально для наблюдения за выполнением военных заказов. Американские фабриканты продолжали обманывать Россию. Они мошенничали, нарушали сроки, предъявляли необоснованные требования, настаивали на непомерных авансах, пытались внести в деловые соглашения пункты, делавшие практически невозможной транспортировку оружия в Россию, - и кончали тем, что заказанные Петербургом партии нарезных ружей отправляли в Париж и Лондон. Пытались сбыть России дрянь, от которой Лилиенфельд отказывался. Петерс, Кольт, Перкинс словно сговорились дурачить и шантажировать представителя артиллерийского департамента России.

Русский агент в Сан-Франциско настаивал на том, чтобы "военные призы" - русские торговые суда, приведенные в американские порты англичанами и французами, возвращались России. Это требование отвечало позиции нейтралитета, официально объявленной Соединенными Штатами. Однако на запросы Сан-Франциско американское правительство давало уклончивые объяснения и оставляло широчайший простор для произвола местной администрации. Ни один торговый корабль не был возвращен России.

Между тем тихоокеанские порты Соединенных Штатов превратились в опорные пункты англо-французского флота. Золото и симпатии плантаторов-рабовладельцев открывали все гавани неприятельским судам, которые нуждались в провизии, порохе, в ремонте и длительной стоянке. Корабли Никольсона, Депуанта, суда внушительной эскадры адмирала Стирлинга

могли являться в Сан-Франциско и другие порты Америки как в свой собственный дом, располагаться там по собственному усмотрению, набираться сил для новых разбойничьих набегов на берега России и Китая. Американский флаг на "Вилаго" не был ни чрезмерной дерзостью, ни слишком большой подлостью Дэвиса Прайса, - скорее это был и символ и практический шаг, вполне отвечавший действительной позиции правительства Пирса - президента Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты торопились использовать военную обстановку для новых захватов в бассейне Тихого океана. Захват северных районов Мексики, острова Кубы, Сандвичевых островов, сосредоточение в своих руках японского рынка и значительной части торговли Китая - таковы были ближайшие планы американских политиков. Заговорили и о том, что Штатам следует прибрать к рукам Аляску. У русских, мол, и без нее слишком много добра, дай бог управиться. Всем еще памятна была записка Аарона Пальмера конгрессу об экономических ресурсах Сибири, Маньчжурии и Дальнего Востока. Можно было взять Аляску силой, да хлопотно: бревенчатые крепости Русской Америки умеют постоять за себя, они это уже не раз доказали. Стоит ли наживать себе врага в лице России, когда дело могут решить деньги! Золото сильнее армии вооруженных головорезов. Правительство Соединенных Штатов, используя военные затруднения России, предприняло первые настойчивые шаги в этом направлении. Петербургу внушалось, что Аляска - обуза, обременительная статья бюджета, а владеет ею Штаты - английским кораблям и не плавать севернее Ванкувера. Тем временем американские дипломаты собрались на совещание в Остенде и рекомендовали правительству купить остров Кубу; президент Пирс заявил, что совет дипломатов ему по душе и он будет действовать согласно данным ему рекомендациям. Предполагавшаяся покупка обставлялась со всей мыслимой пышностью. В Гаванну, Матанзас и другие гавани Кубы направлялась эскадра, дабы - как объяснил цивилизованному миру "Нью-Йорк геральд" - "доставить нравственную поддержку доводам, которые будут употреблены к продаже острова". Господа дипломаты выразили при этом твердое убеждение, что "Франция и Англия благоприятствуют продаже Кубы Соединенным Штатам". Не благоприятствовали этой сделке в Мадриде - Испания не хотела мириться с мыслью о потере Кубы; орудия американской эскадры грозили не столько Гаванне, сколько собранию кортесов, назначенному в Мадриде на декабрь.

С Камеамеа III, королем Сандвичевых островов, Соединенные Штаты церемонились меньше - за его спиной не было кортесов, Англия же слишком

занята Китаем и Россией. Достопочтенный Виллье в восторженных и непреклонных выражениях объяснил королю все преимущества присоединения его богатых, но беззащитных владений к "могущественному союзу свободных Штатов".

Виллье был неприятно поражен, узнав, что Англия, которой он лично оказал столько мелких услуг, обязывающих к уступчивости, пытается помешать благоденствию и процветанию гавайского королевства. В самом деле! В конце сентября английский консул посетил дворец Камеамеа III в Гонолулу и в собрании князей и старейшин высказал королю протест английского правительства. Джентльмен с Темзы в длинной речи, выслушанной с полным почтением, дал блестящие образцы новейшей дипломатической тактики, которым мог бы позавидовать сам Виллье.

Указав на то, что присоединение Сандвичевых островов к Соединенным Штатам явится нарушением существующих трактатов, он заметил, что "английское правительство не может принять этого равнодушно". Следующий пункт длиннейшей мемории, зачитанной английским консулом, поражал своей неотразимой, воистину британской логикой. "Так как, - сказал он, - король не имеет права уступать своего королевства без согласия народа, я не могу поверить, что ваше величество согласилось на подобный проект, не сообщив о нем английскому правительству". Он заметил, что в Штатах процветает рабство, невольничество, что эта зараза распространяется как на американский континент, так и на колонии, тогда как в благословенной империи королевы Виктории "нет невольников, а есть дворяне".

Заканчивая свою речь, он заявил, что "Великобритания, разумеется, не желает присоединения Сандвичевых островов к своим колониям, но в сложившейся обстановке, равно как и в любой другой обстановке в будущем, оно было бы предпочтительнее присоединения к Северо-Американским Штатам!"

Камеамеа хорошо знал английский язык, язык угроз и банковских бумаг, и, опасаясь обидеть любезных джентльменов, озабоченных благополучием его государства, не сказал им, что Сандвичевы острова могли бы преспокойно существовать в Тихом океане, не меняя флага. Он и сам знал, что в его владениях слишком много сандалового дерева и другого добра, которое заботливые джентльмены не оставят на произвол случая.

Долго длилась пауза после энергичной речи английского дипломата. Наконец король сказал несколько неуверенным тоном:

- Я выслушал то, что вы мне сказали от имени своего правительства. (Легкий поклон сидящего на троне человека.) Я не уверен, понял ли я все, но я

подумаю и припомню былое. (Король мечтательно закрыл глаза. Он вспомнил блаженные дни своей молодости.) Я предпочел бы, чтобы все касающееся до моей власти и все интересующее старейшин и народ было сообщаемо письменно, дабы предупредить ошибки и недоразумения, которые мы можем сделать...

Виллье торжествовал тактическую победу.

Дипломат с Темзы, сообщая правительству о своей неудаче, думал о том, что королю Сандвичевых островов больше сорока лет, а сорок лет жизни в этом сказочном, благословенном крае - срок вполне достаточный. Возраст и тропический зной привели к размягчению мозга, и надо полагать, что молодой племянник Камеаеа, воспитывавшийся в Лондоне, мог бы управлять государством разумнее и лучше. В весьма осторожных выражениях он написал об этом министру иностранных дел. Вячеслав Якушкин по просьбе отца снял копии с донесения Завойко и отправил их декабристам, жившим в отдаленных уголках Сибири.

Кяхтинские жители, узнав от Сергея Петровича Трубецкого о победе на Камчатке, собрали около трех с половиной тысяч рублей серебром на покупку штуцеров для Петропавловска. Не отставали от них жители Тобольска, Канска и других городов. Первые деньги, полученные в Иркутске, были посланы в морское министерство, вслед уехавшему Максутову. Морское министерство обратилось к военному министерству с просьбой об уступке штуцеров. Хорошо, что удалось сдвинуть с мертвой точки хоть это дело: надворный советник Бибилов, чиновник особых поручений при Муравьеве, отправился в Ижевск, откуда он должен был увезти в Иркутск четыреста нарезных ружей, четыре формы для отливки пуль и унтер-офицера оружейника.

Медленно тянулся декабрь. Газетные столбцы были заняты подробностями боев в Крыму. Кое-что напоминало августовские бои в Петропавловске: французы теряли много людей из-за расчетливой медлительности англичан.

В витринах книжных магазинов - виды Крыма, Севастополя, Одессы. В дворянском собрании - маскарады, балы, язвительные толки о великих князьях Николае и Михаиле, командированных императором в Крым, в действующую армию.

Но Максутлов знал и другое. В Крыму тяжкие потери, неудачи. Высшее командование потеряло управление армиями. Не раз приходили Максутлову на ум слова Пущина: современные дела неимоверно тягостны, не видишь деятеля при громадных усилиях народа!

Горчаков, посланный Николаем в Вену, столь же мало подвигает Россию к

победе, как Меншиков к Крыму. Луи Наполеон пугает Франца-Иосифа революцией в Италии, и австрийский император медленно, но верно приближается к военному союзу с врагами России; второго декабря он подписал с ними договор о союзе.

Двор мечтал о почетном мире. Николай, чья могучая жандармская фигура и властный голос созданы для того, чтобы повелевать, поручил Горчакову и Нессельроде спасти все, что еще можно спасти, что еще можно выговорить на европейском торге. Но Англия - прожженный торгаш! Английский кабинет знает, что торг нужно сорвать любой ценой, - завтра они возьмут за бесценок то, что сегодня продается по умеренной цене. А кровь солдат? А десятки тысяч жизней? А слезы английских матерей? Что за вздор! Кабинетам не пристало думать о таких мелочах и подвергать из-за них опасности н а ц и о н а л ь н ы е интересы! Золото тяжелее крови. Люди должны умирать не в постели, - иначе кого будут воспевать поэты?!

Николай метался между Зимним и Гатчиной, изменив обычной своей аккуратности, строгому распорядку дня. Гатчина встречала Николая гнетущими, однообразными сумерками, холодной сыростью озер, схваченных у берега ледяной коркой, безмолвием, зловещими призраками прошлого. И все-таки его тянуло сюда. Он ходил по пустым комнатам, под низко свисающими незажженными люстрами, - огромный, серый, с тусклыми, водянистыми глазами.

Ходили слухи о ночных прогулках царя по набережной и Дворцовой площади. У Максудова мелькнула мысль встретиться с Николаем ночью, на берегу Невы, еще раз попытаться заговорить о Камчатке, но здравый рассудок взял верх.

Опрометчивый поступок Дмитрия мог погубить все. Человек, которого невеселые мысли гонят, одинокого, сгорбившегося, в пустынные улицы Петербурга в декабрьскую непогоду, не расположен к добру! Опасно испытывать его терпение.

Перовский во время их единственной встречи успокоил Максудова. Высочайший приказ о наградах подписан еще первого декабря. Он вполне понимает молодого офицера: нельзя получить удовлетворения от собственной награды, если твои товарищи забыты. Но высочайший приказ подписан. Из морского ведомства ему сообщили подробности. Офицеры произведены в следующий чин. Много орденов, государь не поскупился. Обойден только один человек - Иван Николаевич Изыльметьев. Не совсем обойден, но отмечен какой-то незначительной наградой. Кажется, его не жалуют в морском ведомстве.

- Впрочем, и это еще нуждается в проверке, - сказал Перовский, заметив, как помрачнел Максотов.

А Дмитрий вспомнил тихую квартиру на Литейном, старушку с широким лицом, открывшую ему дверь, и бледную красивую женщину, которая не проронила ни слова до тех пор, пока не прочла письма мужа. Высокая, в черном платье, женщина не спеша двигалась по квартире, напряженно слушала Дмитрия, молитвенно складывала руки на груди при упоминании об опасностях и с какой-то особенной, грустной нежностью произносила имя Изыльметьева: "Ваня, Ванечка", - чуть-чуть надтреснутым голосом. "Ванечку обойдут, как обходили всю жизнь, - сказала она, когда Дмитрий упомянул об обещании царя. - Бог с ними, с наградами. Возвратился бы он поскорей. Мы очень одиноки..."

- Не все еще потеряно, - повторил Дмитрий Перовский. - Предстоит награждение ряда лиц, состоящих при Муравьеве, и ошибка может быть исправлена. Кстати, об орденах! Французский император принял в королевском дворце Англии орден Подвязки! Какая низость и забвение национальной гордости! Император французов украшает себя орденом, основанным в память о величайшем позоре французов в битве при Креси.

Но это не могло отвлечь мыслей Максотова от главного: почему в газетах ни слова о Петропавловске? почему молчат о наградах?

Перовский пожал плечами.

- Государственная политика не считается с желаниями отдельных лиц. Во всяком случае победа в Петропавловске - козырь! А козырей нынче немного. Естественно, что он прибегает до подходящего случая. Ждут, какова будет реакция лондонского парламента. Кажется, и командирам эскадры не удастся скрыть истину от своих правительств. Уже раздаются голоса, обвиняющие адмирала Прайса, вносятся запросы в палату общин. Оппозиционная печать требует примерного наказания офицеров. "Таймс" настаивает на реванше, - будущим летом можно ждать решительных действий на Востоке. Даже с участием линейных кораблей. Да, вы правы, если дело обстоит так, то было бы разумно принять решительные контрмеры... Справедливо, совершенно справедливо. Я думаю, что настояния Муравьева возымеют действие...

Вскоре Максотову удалось увидеть и наградные списки. Завойко был произведен в контр-адмиралы и награжден "Георгием" третьей степени и орденом Станислава. Офицеры и служащие порта произведены и награждены орденами св. Владимира и св. Анны. Изыльметьев, автоматически произведенный в следующий чин - капитан второго ранга, отмечен скромной

наградой - орденом св. Владимира третьей степени, без банта. Исправить ничего не удалось.

Титулярный советник Зарудный продвинулся на одну ступеньку презируемой им иерархической лестницы: отныне он коллежский асессор.

Только что появилась книга "Правда об Англии и сказания о расширениях ее во всех частях света". Книгу раскупают бойко, заимствуя из нее гневные слова, обличающие вероломство и эгоизм Англии. Дмитрий нашел строки, ответившие его мыслям, его личным наблюдениям во время кругосветного плавания. "Англия поставила первым, непреложным правилом почитать везде и всегда врагом своим всякий народ, строящий корабли. Внимательно наблюдает она за портовыми работами всех государств, и ей кажется, что всякий корабль, рассекающий волны морей, вторгается насильственно в ее владения". Разве покойный Прайс держался других взглядов? Разве самый приход неприятельской эскадры в отдаленнейшую гавань России не был продиктован все тем же желанием уничтожить соперников на море? "Стоило Англии ступить ногою на какую-нибудь землю, на какой-нибудь берег, чтобы никогда уже не покинуть ее; с этой минуты она постепенно начинает развиваться, подаваться вперед, шириться, ежедневно отрезывать участок за участком, обирать последовательно целые народонаселения, уничтожать или угнетать их, так ловко, так повсеместно обвивает она ветвями своими ту почву, на которой единожды навсегда водворилась, что решительно вытесняет туземцев и сама же начинает вопиять о помощи, о захватах, когда эти народы требуют от нее достояния отцов своих!" "Весь Восток, со своим древним просвещением, стал коммерческой конторой, открытой для спекулятивного духа британской торговли..."

Но петербургских жителей больше волновали английские суда у северных берегов России.

Планы Непира в Балтийском море рушились.

Прошли лето и осень 1854 года, а соединенной англо-французской эскадре не удалось добиться успеха в Балтийском море. В течение всего лета первый лорд адмиралтейства торопил Непира, напоминая ему о том, что "пребывание союзного флота в Балтике должно ознаменоваться каким-либо результатом". Но результаты были самые плачевные - и не для Кронштадта или Свеаборга, а для командующих союзными эскадрами: адмирала Непира, французского адмирала Персеваля и прибывшего к ним на подмогу генерала Барагэ д'Илье. После разгрома английского десанта в Ботническом заливе Непир ограничился блокадой залива и разведкой у русских берегов. Только в августе, на исходе лета, французы, понеся огромные потери, овладели

Бомарзундом - пунктом, не имеющим серьезного стратегического значения. Посвятив много усилий рекогносцировке подступов к Свеаборгу, Непир так и не решился на штурм, найдя крепость неприступной.

Лондонские газеты слишком часто стали напоминать Непиру об его обещании в три недели взять Петербург, и адмирал не придумал ничего лучшего, как назвать свои облетевшие мир слова "послеобеденной шуткой". Уже не только оппозиционные, но и правительственные газеты разрешали себе оскорбительные намеки по адресу престарелого адмирала. Так не пишут о человеке, который не утратил поддержки парламента, адмиралтейства и первых министров империи. Но чего хотят от Непира? Разве не адмиралтейство требовало от него непрестанно беречь суда и матросов? Разве лорд Грэхэм не похвалил адмирала за то, что в Бомарзунде истекали кровью французские, а не английские морские солдаты? Зачем же разрешают газетным москитам кусать его до крови? Адмирал готовился к возвращению в Лондон, предчувствуя свист и улюлюканье. С тем большей яростью разбойничали английские суда в прибрежных селениях Балтийского и Белого морей, разоряя деревни, отнимая рыбу, хлеб и медные гроши у беззащитных рыбаков.

А Николай искал сочувствия среди влиятельной английской знати. Именно в эти дни он любезно вернул ненавистнику России лорду Кланрикарду его сына лорда Дункеллина, взятого в плен и жившего в Калуге. Николая тешило выпретенное послание Кланрикада, который утверждал, что "никто лучше императора не постигает всей великости личных пожертвований, которых может требовать долг службы в несчастных обстоятельствах". Царь вспомнил о сыновьях. Пора отозвать их из Крыма, своим пребыванием в войсках они мешают генералам. Он сочувственно думал о Кланрикарде, о любезных строках послания лорда, которое, увы, не смягчило позиции английского кабинета! Лорд Кланрикард заключил в объятия своего отпрыска лорда Дункеллина, освобожденного из плена, но лорда Уэстморленда это зрелище не растрогало: в братском единении с французским дипломатом Буркне он продолжал в Вене свою игру против России. Даунингстрит* по-прежнему держалась жесткого курса!

* Улица в Лондоне, где помещалась квартира премьер-министра. II Было два места, где Максудов отдыхал душой. Тихая, отрешенная от мирской суеты квартира Изыльметьева, - там неслышно двигалась красивая женщина, одетая в темное, раскладывала пасьянс старушка, схожая лицом с капитаном "Авроры", и маленький дом на Васильевском острове, дом, где жила Клавдия

Трофимовна Пастухова.

У Пастуховых Максудов чувствовал себя совсем по-домашнему. Исчезала всякая натянутость, напряженность, необходимость осторожно выбирать слова - необходимость, нелишняя даже в доме Изыльметьевых в минуты хандры и дурных предчувствий. Мать Константина оказалась хоть и седой, но не старой женщиной, во всяком случае не старушкой с вязальными спицами в руках. О Константине мать говорила нежно, как о мальчике, которому нужен постоянный присмотр, но вместе с тем и с гордостью. Очень быстро разгадывала собеседника, предупреждала порой его слова и мысли. Удивляла своей начитанностью и той спокойной верой в народ, в его добрые начала, в неизбежность общественных улучшений, в необходимость жертв; той верой, которой была проникнута жизнь многих русских женщин, закаленных нуждой и бесправием.

- Вам я могу сказать, вы любите моего сына, - сказала она в первые минуты знакомства, - по глазам вижу. Слышу по тому, как вы произносите его имя. Любите его, - сказала она проникновенно, - он чистый юноша и, надеюсь, останется таким всю жизнь. Но душа у него девичья, его легко обидеть.

- Вы не узнали бы теперь Константина, Клавдия Трофимовна, - улыбнулся Дмитрий. - Бравый, мужественный офицер...

Глаз Пастуховой заблестели от счастья. Она взволнованно провела рукой по гладким волосам.

- Это - снаружи, а душа нежная!

- Константин - офицер, лейтенант! - шутливо запротестовал Дмитрий.

- Все равно нежная душа.

- Нежная, - сдался наконец Дмитрий. - Константин - любимец экипажа.

О Насте разговор не заходил долго. Пастухова раздумывала о чем-то, перечитывала письмо сына, привыкала к мысли о чужой, незнакомой женщине. Только при третьей встрече, после ухода родственников, непременно появлявшихся, когда бывал Дмитрий, она спросила:

- Вы знаете эту девушку?

- Знаю, - поспешил ответить Дмитрий, сразу сообразив, что речь идет о Настеньке. - Славная девушка, скромная, душевная.

И снова счастье в глазах матери.

- Костя не полюбит плохую. Я боюсь другого: не жалость ли это? Она сирота. Бывают ошибки, которые трудно исправить.

Дмитрий ответил убежденно:

- Они любят друг друга. От их чувства все кругом светлеет.

- Ей будет хорошо здесь, со мною?

Глаза матери просили: "Скажи мне правду, только правду. Ты ведь знаешь, что Константин постоянно будет в море! Ты так хорошо мыслишь о важнейших вещах, подумай над тем, что я у тебя спрашиваю..."

- Лучшей жены нельзя желать моряку, - сказал Дмитрий, взял руку Пастуховой и поцеловал ее. - Вам она будет дочерью, любимой дочерью.

Благословение матери было получено. Прошло еще несколько дней томительного ожидания. Был канун Нового года. Петербург, несмотря на военные неудачи, готовился к маскарадам и балам. Наблюдая предпраздничную суету, постыдное равнодушие чиновной публики ко всему, что выходило за пределы бюрократического мирка, Максutow считал похороненным вопрос о Петропавловске. В морском ведомстве, в департаменте артиллерии его встречали радушно, но неохотно заговаривали о деле.

- До Крыма рукой подать, - жаловались департаментские офицеры, - но и там полнейшая катастрофа. Все запуталось так, что сам черт ногу сломит!

Горечью и злобой наполнялось сердце Максutowа. Бесило напускное спокойствие Перовского, цинизм сановников, департаментская бестолочь. Все было брошено на произвол судьбы. Крым, предоставленный произволу случая, исходил кровью. Будущее не сулило ничего хорошего - оставалось мало надежды на то, что Николай и его приближенные вспомнят о Петропавловске.

Сунцов несколько раз заговаривал об отъезде: скоро ли?

- Неровен час, домой опоздаешь. Отобрали у нас знамя, а ворочаться, может, с пустыми руками придется...

- С пустыми легче, - усмехнулся Максutow.

- Уважения прежнего не будет. Повезут, да не так лихо, - говорил Сунцов. - Будто с ярмарки, проторговавшись, едем. Ехали - думали ружье и топор купить, а денег и на топорище не хватило. Двадцать четвертого декабря дворовый человек князя Сергея Александровича Г... принес Максutowу короткое письмо. Князь корил Дмитрия за невнимание, звал к себе и жаловался на длительное нездоровье.

Пришлось поехать, обрекая себя на несколько часов непрерывной скуки. Дмитрий отправился пораньше, чтобы по крайней мере уйти до обеда, - ему не хотелось ни сталкиваться с обычным кругом гостей князя, ни рассказывать им о Камчатке. Пройдя гостиную, украшенную широким плафоном с изображением двух крылатых гениев в середине, Дмитрий по внутренней лестнице поднялся во второй этаж, в большую квадратную комнату в три окна, выходивших на одну из линий Васильевского острова. Понизу у стен

тянулись книжные шкафы, а над ними вставали высокие, светлые, цвета "французской зелени" стены.

И в этот ранний час Сергей Александрович был не один: подле него в кресле сидел знакомый Максуту по внешнему виду седой отставной генерал, а тщательно выбритый, но с лицом, отливающим синевой, немец прощался с князем, с достоинством откланиваясь и желая ему доброго здоровья на чистейшем берлинском диалекте. Это был комиссионер крупной прусской фирмы по закупке и транспортировке зерна, с которой по военной необходимости приходилось нынче вести дела князю.

Лицо Сергея Александровича нисколько не изменилось за минувший год, но сегодня, с хрипловатым от простуды голосом, без лент и орденов, в халате, накинутом поверх белоснежной сорочки, он показался Дмитрию очень постаревшим.

Сергей Александрович поднялся, открыл навстречу Дмитрию объятия, потом отпрянул и посмотрел на него, чуть склонив голову.

- Так вот ты каков, Дмитрий! - проговорил старик. - Возмужал, сложился... - Он повернулся к генералу и сокрушенно сказал по-французски: - И с такой молодежью приходится просить пощады!

Дмитрий приготовился было рассказать о цели своего приезда в столицу, но на этот раз его спасла словоохотливость князя.

- Наслышан, наслышан, - проговорил Сергей Александрович, усаживая Дмитрия подле себя. - У меня на этих днях был Перовский, он рассказал мне обо всем. А потом письмо от Петра Кирилловича. - Он взял в руки письмо, но Дмитрий ничем не обнаружил своего интереса, и старик положил его на стол. - Жаль Александра, - сказал он задумчиво, - жаль, когда молодая кровь проливается без всякой надежды на успех. - Тяжелый, пытливый взгляд старика предупредил возражение, готовое сорваться с уст Дмитрия. Перовский хорошо говорил о тебе, Дмитрий. С его рекомендациями можно устроить твоё назначение в Петербург...

- Я не ищу для себя такой чести, - сказал Дмитрий сухо. - Хочу вернуться на Восток, на "Аврору".

- Хвалю! - воскликнул генерал, энергично взмахнув рукой. - Сразу виден солдат.

Но князь неодобрительно покачал головой.

- Здесь, в Петербурге, ничем не помогут Востоку, - сказал он жестко. - Я хочу, чтобы ты знал это, Дмитрий. Люди, у которых ты тщетно добиваешься правды, не скажут тебе ее, а я скажу. Ты вернешься с пустыми руками.

- Тем более я обязан быть там, со своими товарищами.

- Благородно, но неразумно, - заметил Сергей Александрович, чувствуя, что уже нет силы, которая подавила бы встающее между ним и этим молодым офицером отчуждение. - Исход войны решается не на Камчатке, а на севастопольских бастионах... Он уже решен, исход войны...

- Сергей Александрович! - воскликнул Дмитрий, поднимаясь. - Я хотел бы напомнить вам...

- Знаю, мой юный друг, - перебил его князь, устремив на Дмитрия насмешливый и грустный взгляд, - ты хочешь напомнить прощальный, перед отплытием "Авроры", вечер, мое напутствие вам? Помню. Все помню и ни от чего не отказываюсь. Он велик, наш государь. Но это слишком доверчивый ум, чересчур простодушный и прямой характер. Европа обманула его. Неблагодарные люди, обязанные целостью своих корон ему, одному ему, теперь хотят унижить и сломить его, продиктовать ему свои условия мира. А что поделаешь? Пора кончать, пора! Уже и мужики зашевелились, выползают из своих грязных, зачумленных нор, безразличные к судьбам России, голодные и жестокие. Они могут всадить нож в спину.

- Если мы еще не проиграли войны, - проговорил Максutow, сдерживая гнев и волнение, - то этим мы обязаны мужику, которого вы так строго судите. Мужики, народ - это и есть Россия.

- Журнальные прописи! - с раздражением отмахнулся старик. - Россия это мы с вами, милейший Дмитрий Петрович, - князь незаметно перешел на "вы", - а эта проклятая война роняет наш престиж и достоинство. Час назад явился ко мне этот бритый пруссак. В хорошие времена его и на порог не пустили бы. А нынче - добро пожаловать! Рассуждает как равный, хлеб взял за полцены: доставка, мол, дорога. Деловой человек Европы! - сказал он с нескрываемой ненавистью. - А ничего не поделаешь, зерно девать некуда, не пропадать же ему...

- Мне говорили, что в армиях не хватает хлеба, - сказал Максutow неприязненно. - Отдали бы хлеб армии...

- Шутки изволите шутить! - вскричал старик и в развевающемся халате заметался по комнате. - Там интенданты-воры состояния наживают на казенных поставках, а мне что же прикажете, филантропией заниматься? Кормить голодных трусов, которые и земли-то своей отстоять не могут? Нет, слуга покорный! Сгною, сожгу, а хлеба не дам... У меня вот мужики бегут. Кто мне вернет их?.. А вы изволите такое говорить...

Максutow из вежливости посидел еще несколько минут, а затем холодно откланялся. Князь не стал его удерживать.

Двадцать восьмого декабря Максutow увидел в "Санкт-Петербургских

ведомостях" изложение рапорта Завойко, заимствованное из свежего номера "Морского сборника". Тут же был напечатан и список наградений. Против фамилии Изыльметьева значилось: "Орден св. Владимира III степени. Без банта".

Максутов не знал, что за несколько дней до появления в газетах рапорта Завойко в Англии предали анафеме память Дэвиса Прайса, что лондонские политики чернили его имя, а лорды адмиралтейства единодушно постановили лишить всех отличий офицеров эскадры, участвовавших в петропавловском деле, не исключая и предусмотрительного Фредерика Никольсона. Не знал Максудов, что за неделю до того, как в Петербурге напечатали сообщение об английском знамени, поверженном к стопам царя, из Портсмута отплыл восьмидесятичетырехпушечный линейный корабль "Монарх", чтобы возглавить в Тихом океане эскадру, которая должна отомстить маленькому непокорному порту. В конце декабря 1854 года Чарльзу Непиру было предложено снять блокаду Петербурга и Кронштадта, спустить свой флаг и сойти на английский берег, а проще говоря - убраться восвояси, чтобы сполна получить от парламента и газет все, что полагается адмиралу, потерпевшему неудачу.

Снятие блокады было радостным событием в жизни столицы. Хотя к присутствию английской эскадры в Балтийском море успели привыкнуть, сознание, что хоть это предприятие врага провалилось, доставило удовлетворение.

А в начале января капитан-лейтенант Дмитрий Максудов проследовал через Москву в Сибирь, минуя подмосковную деревню. Ему было предписано срочно отбыть в Иркутск с секретным письмом великого князя на имя генерал-губернатора Муравьева.

Максудов увозил из Петербурга орден Александра Невского, пожалованный Муравьеву, и ненависть к жестокому человеку в Гатчине, человеку с тусклыми, холодными глазами, за которыми скрывались страх и неуверенность!

РЕШЕНИЕ

После отъезда Максудова Муравьев с возрастающей тревогой думал о Петропавловске. Напрасно он поддался первому своему порыву. Не следовало посылать письма камчатскому губернатору, не нужно было обнадеживать его.

Конечно, в деньгах для оказания помощи Петропавловску Муравьев не испытывает особой нужды. Кое-что он сможет сделать собственным

ижданием. В Иркутск приходят все новые известия о пожертвованиях. Приисковые рабочие дают золото, крестьяне - хлеб, охотники - меха, далекие кочующие племена оленей, - их тоже можно обратить в деньги. Расшевелились и купцы: они ждут его сигнала, чтобы раскошиться и принести свои дары. После удачного сплава по Амуру все они уразумели, какие возможности открываются на Востоке, какую силу представляет собой генерал-губернатор Восточной Сибири. Первым явился седовласый Кузнецов, - у него самый острый нюх, самый большой аппетит и щедрая, хоть и узловатая, подагрическая рука.

Не в первый раз задумывается Муравьев над тем, что промышленники и купцы - а против них он постоянно воюет, обуздывая их самочинство, - по самому смыслу своей жизни и направлению деятельности ближе ему, чем какой бы то ни было другой элемент общества. Помещичья, дворянская партия совсем слаба здесь, но за Уралом он уже пресытился ею по горло. Праздные, бездеятельные, непомерно требовательные люди, мало думающие о пользе государства. Мещанство, по мнению Муравьева, ужасающая язва русского общества. Крестьяне, крепостные и свободный, рабочий люд хоть и составляют подавляющее большинство народа, являются силой, которая должна находиться в повиновении и разумно направляться в соответствии с законами, начертанными сильною рукой. Золотопромышленники, откупщики, гильдейские купцы, промышленники всех родов - люди практического дела. Они создают действительные ценности, обогащают страну. Если бы только удалось обуздать их своекорыстие, заставить сознательно служить идее государственности, распространить на них закон!

Во всяком случае, они быстрее двора поверили в великую будущность Амура. И теперь они сделали бы многое, чтобы помочь снабжению Камчатки. Но помочь Завойко продовольствием и даже людьми, не послав одновременно артиллерии и пороха, значило отдать неприятелю и запасы и людей.

Наступил декабрь, а Петербург молчал. Приезжали курьеры со скучными бумагами, перепиской многомесячной давности. Среди бумаг не было той, которой нетерпеливо дожидался Муравьев.

Он отлично понимал, что камчатский вопрос не из тех, что откладываются в долгий ящик. В Петербурге узнали о событиях на Востоке, конечно, еще до приезда Максудова. Муравьев достаточно поездил на своем веку, чтобы знать, что путь через Атлантический океан на пароходе короче великого тракта от Охотского до Балтийского моря. К прибытию Максудова у Николая уже должно сложиться определенное мнение. Максудов нарисует полную

картину, и специальный курьер с повелением царя тотчас же помчится в Иркутск.

Муравьев подсчитывал дни, часы, скупясь, прикидывал кое-что на превратности пути, на медлительность, с какой свершаются в Зимнем самые простые дела, на непредвиденные обстоятельства. Но время шло, а курьера с желанными инструкциями не было. Муравьев проявлял признаки нетерпения: был беспощаден со своими чиновниками, разговаривал с людьми резко, вызываясь сверх всякой меры.

За восемь лет восточносибирского губернаторства он еще не попадал в такое нелепое положение. Петербург молчал. Дни проходили бесцельно (настоящая казнь для деятельного Муравьева!), слагались в недели, заполненные мелочной возней, крохоборством, гаданием на кофейной гуще. Завойко даны твердые обещания, но выполнить их Муравьев не может, пока Петербург не одобрит его действий. А в ожидании Муравьев медлит даже с отправкой наличного снаряжения в те пункты, откуда оно с началом навигации быстрее всего достигнет Камчатки. Что-то удерживало его. Какое-то предчувствие. А кроме того, успеется. Уж это наверняка успеется. Он загоняет людей, но добьется своего!

Все чаще вынимал Муравьев желтоватую бумагу из ящика письменного стола и подолгу задумывался над ней. Это донесение Невельского, помеченное 26 октября 1854 года. Что за беспокойный, назойливый человек! Не сделал ли Муравьев ошибки, предоставив этому фанатику Амура так много свободы и самостоятельности? Он, Муравьев, печется о благосостоянии целого края, хочет видеть многие порты Востока в благоденствии и процветании, а больше всего - Петропавловск, выгоднейший пункт на случай обороны, - а Невельской, заплутавшись среди баров и рукавов Амура, понимает только будущее этой реки, только нужды дикого Приамурья.

"Бог свидетель, - думает Муравьев, - я помог Невельскому в его изысканиях, помог и возвыситься, но надобно и меру знать. Надобно знать такт и место среди прочих административных лиц края. Ведь Россия не Геннадию Невельскому, а мне доверила Восточную Сибирь!..

...Невельской предлагает упразднить Петропавловский порт, свезти людей и имущество на Амур, в открытые им гавани. Он уже не раз пытался склонить меня к этому и ныне хочет воспользоваться военными затруднениями для достижения своей навязчивой идеи. Не мытьем, так катаньем!

И как пишет! Слово перенос порта дело почти решенное, а продуманные и не раз высказанные мною мысли не стоят ломаного гроша".

"...В случае продолжения войны сосредоточение в Николаевском всего, что

находится ныне в Петропавловске и Японии, - писал Невельской, - по моему мнению, должно составлять нашу главную заботу. Если мы вовремя это сделаем, то какие бы превосходные неприятельские силы здесь ни появились, они никакого вреда сделать не могут, потому что банки лимана, полная неизвестность здешнего моря, расстояние не в одну тысячу миль, отделяющее их от сколько-нибудь цивилизованных портов, леса, горы и бездорожье, пустынное побережье Приамурского края составляют крепости, непреодолимые для самого сильного врага, пришедшего с моря".

"Что за манера поучать, растолковывать самоочевидные вещи, излагать все с такими частностями, будто письмо предназначается новичку, который не кажет и носу из своей резиденции! Пора бы помнить, что я не хуже Невельского знаком с Амуром. Или он пишет свои рапорты и донесения ради потомства, чтобы представить себя единственным ревнителем и пионером Амура?"

"...Каждый же прибывший сюда человек, без совершенно полного довольствия пищею и одеждою и строительным материалом (кроме леса, разумеется) и инструментами, будет нас здесь не усиливать, а только ослаблять и обременять, распространяя болезни и смертность, поэтому не следует присылать людей без полного обеспечения всем вышеупомянутым".

Пробежав это письмо, Муравьев со злостью швырнул его в глубину ящика, чтобы забыть о нем. Он не собирается присылать людей к Невельскому. Наоборот, он рассчитывает послать людей и снаряжение на Камчатку вопреки мнению Невельского.

Но проходило время, Петербург ничего не обещал, ничего не приказывал, и Муравьев, чувствуя необычную боль в простреленной руке, вытаскивал письмо и перечитывал наставления Невельского:

"Здесь в настоящее время каждый солдат прежде всего должен быть плотником; самое для него необходимое: топор, теплая одежда и полное во всех отношениях продовольствие. С этими средствами он может бороться и выйти победителем неминуемого и лютого здесь врага - мороза и других условий, вредно действующих на здоровье и порождающих различные болезни и смертность. Победивши этого врага, внешний враг, пришедший с моря, для нас будет уже уничтожен, ибо, прежде чем добраться до нас, ему придется встретиться с негостеприимным и богатым банками лиманом, в котором он или разобьется, или же очутится в совершенно безвыходном положении. Он не решится также без пользы терять людей, высаживать десанты на пустынные берега Приамурского края".

Следующая фраза приводила Муравьева в состояние крайнего раздражения,

- он от своих клеветов знал, как нелестно отзывался Невельской о воспитанниках Кавказа и красносельских лагерей, о настоящих, с точки зрения Муравьева, военных, мечтающих об орудийном громе и воинской славе.

"Таким образом, - писал Невельской, забывая, что эти слова адресуются герою Кавказа, - война здесь будет окончена со славой, хотя и без порохового дыма и свиста пуль и ядер, - со славой, потому что она нанесет огромный вред неприятелю без всякой с нашей стороны потери: неприятель будет всегда в страхе, дабы суда наши не пробрались отсюда в океан для уничтожения его торговли. Он будет вынужден блокировать берега Татарского пролива и южной части Охотского моря, поэтому здесь необходимо будет сосредоточить большое количество военных судов. Правда, это будет сопряжено с весьма значительными расходами, но, знаю, принесет нам огромную пользу, так как, блокируя побережье пролива, а следовательно, и весь Приамурский и Приуссурийский края, неприятель тем самым фактически признает их русскими".

В этом месте Муравьев не мог удержаться от злорадной улыбки. "Невельской - дипломат! Вот уж поистине несовместимые понятия!"

Муравьев пробовал отмахнуться от резонов Невельского, но с каждым днем это становилось труднее и труднее.

Камчатские дела на время привлекли внимание всего мира. Уже и теперь до Муравьева в обширной переписке, которую он ведет, дошли сведения о подготовке англичан и французов к реваншу. В этих условиях малейшая ошибка может оказаться роковой для него. У него так много завистников, врагов, ликующих всякий раз, когда ему случается оступиться.

Не они ли задерживают нужные бумаги?

Нет! Даже они не решатся на такое. По-видимому, медлит император. Чего-то ждет. Занят Крымом? Не верит в способность солдат и матросов отстоять Камчатку? Весьма вероятно. Считает августовскую победу нечаянной радостью, ниспосланной ему небом в эти трудные дни, и не хочет больше испытывать судьбу? Да, это государь, его уклончивость в делах, которые он считает второстепенными.

Муравьев вспомнил одну из своих встреч с царем. Он явился к нему за напутственными словами перед отъездом в Сибирь. Но император после нескольких вежливых фраз покровительственно возложил руку на плечо низкорослого Муравьева и, загадочно улыбнувшись, сказал:

- Впрочем, поезжай. Поезжай поскорей. Не об чем нам долго толковать! Для хорошего слушателя не нужно слов...

Вот и все, что увозил с собой молодой генерал-губернатор, жаждавший узнать мнение государя о будущем золотопромышленного дела в Сибири, о выгодности кяхтинской торговли, откупной системы и многом другом. Глаза Николая были пусты и бесцветны.

С той поры прошло восемь на редкость трудных лет. С клевретами Нессельроде, с Горным департаментом и косностью кабинета воевать труднее, чем некогда с Шамилем. По крайней мере, труднее ему, генералу Муравьеву. Там, среди кавказских гор, шли умирать солдаты. Они приносили ему победу на окровавленных штыках. Остальное довершал он в многочасовых беседах со сговорчивыми князьями.

От пули горца ныла рука. Происки петербургских завистников ранили сердце и мозг. Тут уже самому нужно ежедневно идти в атаку. Тут дуло нацелено на тебя, именно на тебя, а не на твоих солдат.

Восемь лет назад, проезжая к месту своего назначения, Муравьев, к удивлению Сибири, на взмыленных конях проскакал мимо Томска - резиденции князя Горчакова, генерал-губернатора Западной Сибири. Еще в Петербурге он узнал о злой шутке Горчакова, которая облетела весь чиновный мир.

Прочитав о назначении тридцативосьмилетнего Муравьева на пост генерал-губернатора Восточной Сибири, Горчаков кликнул дежурного чиновника и сказал ему:

- Поздравляю тебя! Ты - министр!

Чиновник опешил. В изумлении он молча смотрел на Горчакова.

- Не веришь? - куражился тот, потрясая газетой. - Вот смотри, Муравьев такой же мальчишка, как ты, а он генерал-губернатор!

Так началось сражение, которое длится вот уже восемь лет.

Теперь недруги получают великолепную возможность отплатить ему. Если двор и морское ведомство, после длительных размышлений, в конце декабря или в январе потребуют у Муравьева, чтобы суда, зимующие в Петропавловске, ушли ранней весной, эвакуировав порт, он не сумеет предотвратить катастрофу. Он не успеет вовремя предупредить Завойко, и суда, скованные льдом в Авачинской губе, станут добычей врага. Тут нет ни удобных дорог, ни телеграфных аппаратов, чтобы передавать в отдаленнейшие пункты России запоздалые веления сановников. Уже и теперь трудно сыскать человека, который достиг бы Камчатки до наступления весны. Кто сумеет в три месяца покрыть восемь тысяч верст по труднопроходимой, дикой местности, подняться вверх вдоль берега Лены, достичь Якутска, Охотска, проскакать вдоль безлюдного Охотского побережья, обогнуть необъятную, изрезанную

шхерами Пенжинскую губу, пройти всю Камчатку - все это в пургу, на лошадях, на оленях, на собаках? Кто не бывал в этом краю северных ветров, снежных буранов, морозов, обжигающих словно каленое железо, в краю слепящих белых просторов, обледеневших заструг, кто не испытывал жуткого чувства тоски и одиночества в бескрайной тундре, где человеческие поселения разделяют триста - четыреста верст молчаливого безлюдья, где нет надежды добраться до теплого очага раньше чем в три-четыре дня, - тот не может представить себе, что значит подобное путешествие. Отправляясь в дорогу, невозможно быть уверенным в благополучном возвращении.

Муравьев подозревал недоброе. Если бы Петербург внял его просьбам, курьер должен был бы уже привезти высочайшее повеление, приказы, инструкции. Могли задержать МаксUTOва (теперь Муравьев злился и на него, напрасно он поддался обаянию этого мальчишки и поторопился отправить письмо Завойко), но дело не терпело задержки. Каждый день проволочки новый и все более убедительный аргумент за эвакуацию порта, за оставление Петропавловска, за предложение Невельского. Если этого не понимают или не хотят понять в морском ведомстве, полагая, что у них есть еще свобода выбора, то он понимает всю абсурдность такой позиции. Пройдет еще две-три недели, и никто уже не сумеет помочь Завойко даже добрым советом: английские суда из Америки и Гонолулу появятся прежде, чем Петропавловск подготовится к эвакуации.

И когда столичный курьер на взмыленной тройке привез награды защитникам Петропавловска - высочайший приказ и чемодан орденов, а о дальнейшей судьбе порта не было сказано ни слова, Муравьев принял решение. Он отправит курьера к Завойко с приказанием покинуть Петропавловск в первые же дни навигации, чтобы предупредить бдительность неприятеля.

Решение рискованное и смелое. Он превышает свои полномочия. Такие вопросы не решаются губернаторами, нужен приказ Адмиралтейств-совета, повеление генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича, высочайшее одобрение. А что, если Петербург потребует защиты Камчатки? Курьера уже не остановишь. Каким бы ни было повеление царя, Завойко выполнит не его волю, а распоряжение Муравьева.

Риск подхлестывал энергию Муравьева. Он готов держать ответ за свои разумные поступки, - ему ведь не впервые выходить из сложного положения. Жаль оставлять Петропавловск! Разве не он донимал Петербург донесениями о Камчатке, о достоинствах Авачинской губы и важности, именно военной, этого пункта для России?! Ему напомнят это теперь, после самовольного решения эвакуировать порт и оставить полуостров беззащитным.

Петропавловск опустеет. Земля, ставшая могилой для врага, встретит его хмурым безмолвием. Но заманчиво и другое: Муравьев впервые по-настоящему, в военных целях использует Амур, из-за которого ему тоже досталось немало. О письме Невельского никто не знает. При удаче честь смелого спасительного решения будет приписана всецело ему. Это еще теснее свяжет его имя с Амуром.

В официальных случаях Муравьев рыцарственно отказывался от славы открывателя Амура, уступая ее тому, кто более всего достоин ее, - Геннадию Невельскому. И вместе с тем молва о том, что именно ему принадлежит решающая роль в этом предприятии, приносила Муравьеву большее удовлетворение, чем многие административные начинания, которым он поначалу придавал немалое значение.

Перо плохо повиновалось Муравьеву. Рука ныла сильнее обычного. Каждая фраза письма, прямо противоположная тому, что он недавно писал Завойко, рождала боль и злость, мешавшие плавному течению мысли. Он потребовал дежурного чиновника и почти обрадовался, увидев перед собой массивные стекла очков и старческий, по-рыбьему выдвинутый вперед рот помощника правителя канцелярии. В его присутствии к Муравьеву быстро вернется необходимая холодность, полупрезрительное отношение к миру и людям.

Муравьев диктовал, расхаживая из угла в угол, с отвращением поглядывая на кривившиеся от усердия губы чиновника.

- "...Зная, что эскадра наша в здешних местах не может быть усилена и в будущем году и, следовательно, вы..." Зачеркните "вы". Пишите: "следовательно, Петропавловский порт останется без всякой помощи..." Муравьев сморщил красное лицо и тряхнул головой. - Не нужно о помощи. "... без всякого благонадежного сообщения с устьем Амура или Аяном, а также, усматривая из полученных мною сведений, что неприятельская эскадра, действовавшая в настоящем году, усилена даже линейными кораблями, я признаю необходимым..."

Коллежский ассесор слушал Муравьева с подобострастным вниманием. Он и по состоянию Муравьева улавливал что-то необычное, из ряда вон выходящее.

- "...признаю необходимым перенести из Петропавловского порта все находящееся там: военные способы, морскую команду и управления, как военные, так и гражданские, в Николаевский пост, на устье Амура; оставить в Камчатском округе только управление земское, с присвоением исправнику всех обязанностей, кои возложены на земских исправников малолюдных округов Сибири, и почтовую контору..."

- Перепишите набело - и в дорогу, милостивый государь! - сказал Муравьев чиновнику.

- Слушаюсь! - привычно ответил тот, поднимаясь из-за стола, но сразу осекся.

- В дорогу-с?

- Да-с! Положите живот на алтарь отечества. Превосходный случай отличиться!

Коллежский ассессор оторопело смотрел сквозь толстые стекла. Шутит он или серьезно?

- При моих-то глазах? Ваше превосходительство, я всегда с готовностью... Труднейшие поручения... Рвение и усердие...

Муравьев неумолим:

- Вот и покажите усердие, рвение, прыть и все такое прочее. Правительство щедро одаривает храбрецов. Читайте!

Коллежский ассессор напрасно старался одолеть приказ о наградах за отражение неприятеля в Петропавловске. Строки сливались, заглавные буквы играли в чехарду, ни одно слово не входило в сознание.

- Ваше превосходительство!.. - взмолился он тончайшим голосом.

- Читайте! - грозно вскричал Муравьев. - В вас нет надлежащего почтения к высочайшему приказу. Пока вы здесь запускаете руки в карманы иркутских обывателей, люди выслуживаются, повышаются в чинах, пребывают в трудах праведных. Читайте! Здесь нет имени генерала Муравьева?

Коллежский ассессор заставил себя пробежать список.

- Нет, - пролепетал он, мертвея. - Нет, ваше превосходительство...

- И справедливо! - прикрикнул Муравьев. - Совершенно справедливо... Потому что его превосходительство генерал Муравьев не стоит орденов. Он сидел здесь с вами, пока русские люди в Петропавловске проливали кровь. Он не заслуживает награды, не правда ли?

Чиновник мычал в ответ что-то невнятное.

- Он стал канцелярской крысой, переписчиком бумаг, - горячился Муравьев, - того и гляди, его лишат и прежних орденов... Вы молодой человек, я дам вам возможность отличиться, чтобы не коснеть в пороках, а прославиться на всю Россию!

- Помилуйте! Пощадите, ваше превосходительство! - молил помощник правителя канцелярии. - Самоотверженное сердце и недостаток здоровья... Невеста... Решается судьбы...

- Невеста?!

- Да-а-а, - жалобно протянул чиновник, - невеста-а...

- У вас - невеста! Ха-ха-ха! - Муравьев смеялся долго, зло, наслаждаясь

испугом чиновника, его жалкими попытками улыбнуться. - У вас невеста?! И вы ее уже целовали?

- Целовал-с, ваше превосходительство...

- Ну, коли так, бог с вами, оставайтесь дома, при невесте, а то уведут ее от такой красы.

Одинокая слеза скользнула из-под стекла.

- Премного благодарен-с... На всю жизнь... раб... Слуга верный... бормотал чиновник.

- Довольно и без вас рабов! - грубо оборвал его Муравьев. - А вы подумайте-ка лучше: кто сумел бы доставить мой приказ в Петропавловск? Не позже середины марта. А?

Чиновник мгновенно преобразился. Правая нога сама собою двинулась вперед, и весь он застыл в позе благоговейного внимания. Только за стеклянной броней беспокойно, как две маленькие мечущиеся твари, бегали глаза.

- Этакое расстояние! - говорил он, шевеля бесцветными губами. Зима... и притом зима необыкновенная... Право, тут растеряешься... Есаул Мартынов? - полувопросительно воскликнул чиновник, будто он сделал важную находку, но еще должен увериться в ее действительной ценности.

- Мартынов? - Муравьев грозно метнул левую бровь вверх.

- Нужен человек идеального порыва, - пролепетал чиновник, - баловень судьбы. И, прошу прощения, человек достаточно грубый, чтобы выдержать подобное испытание.

Ему не удалось скрыть жадной заинтересованности. Муравьев пытался прочесть на лице чиновника причину его волнения.

- Уж не соперник ли вам Мартынов? Не позарился ли он на вашу невесту?

- Помилуйте, ваше превосходительство! - Чиновник слегка икнул от пережитого страха. - Господин Мартынов не принят в доме моей невесты. Ее родители люди весьма положительного образа мыслей.

- Не принят с парадного, можно и в окошко забраться, - дразнил его Муравьев. - С Мартынова станется. Да и девицы нынче пошли, сами знаете... Родители положительного образа мыслей, а девицы - напротив того, гм...

- Не могу знать-с, не могу знать-с, ваше превосходительство... Не смею возражать...

Муравьев с отвращением отвернулся от него.

"Хочет избавиться от моего адъютанта. Очень хочет. Однако, подлец, прав. Мартынов действительно подходящий человек. Дал бы я тебя ему в денщики, так ведь откажется или убьет по дороге".

- Идите, - сказал Муравьев сухо. - Я недоволен вами. И прикажите прислать есаула Мартынова.

Через полчаса Мартынов стоял перед генералом и весело пялил на него карие глаза.

- Никогда тебя нет на месте, Мартынов! - выговаривал ему Муравьев, разглядывая молодецкую фигуру и свободные, чуждые робости жесты.

- Виноват, ваше превосходительство, не могу равнодушно пройти мимо базара. Нынче много бурят, якутов. В глазах рябит от пестрых халатов и всякой всячины. Шум. Гам. Верблюды покачивают мудрыми головами среди всей этой суеты. Жизнь! Жизнь, ваше превосходительство!

- А ты, братец, любишь жизнь?

- Люблю, - простодушно ответил есаул.

- Н-да... - Муравьев не спешил с главным. - Значит, торговля идет бойко?

- Чего душа пожелает, - ответил Мартынов. - Хоть соболя, сбежавшего уже после выделки из казны, хоть золота или серебра!

Муравьев не принял этого разговора. Он и сам знал, что контрабандная торговля золотом и серебром идет на всем протяжении от Иркутска до Кяхты, но помешать ей не мог.

- Ты, конечно, знаешь об обстоятельствах петропавловского дела?

- Так точно.

- Еще бы! - Муравьев вспомнил Дмитрия МаксUTOва. - Лейтенант МаксUTOв у тебя-то ведь и заночевал?

- Так точно. Милейший человек!

- Ну-с, милейший человек укатил в Петербург и словно в воду канул. Получил "Георгия", произведен в капитан-лейтенанты, - об чем еще думать, об чем тревожиться!

- МаксUTOв оставил на Камчатке дорогую могилу, - возразил есаул.

- Оставил и забыл!

Мартынов сказал просто и убедительно:

- Не верю, ваше превосходительство.

- А мне дела нет, веришь ты иль не веришь, - рассердился Муравьев. Обстоятельства переменились, и нынче не только могилы героев Камчатки, но и сама слава их будет отдана на поругание, если мы не примем энергичных мер.

Есаул встал навтыяжку.

- Надобно знать Англию: христолюбивые филантропы из лондонского парламента не успокоятся, пока не отплатят за августовское поражение. Английский флот в Тихом океане будет усилен к весне, и усилен

радикальным образом - пароходами, линейными кораблями... Понимаешь?

- Но ведь и Камчатку мы укрепим артиллерией и войском? Опыт есть, чего же лучше...

Муравьев помолчал, перебирая бумаги, потом сказал с легким вздохом:

- В том-то и беда, братец, что мы не дадим Камчатке ни одной пушки, ни одного солдата. В петропавловском гарнизоне прибавится разве что один казачий есаул.

- А это немало, - пошутил Мартынов, предчувствуя, что ближайшие события должны коснуться его самого. - Казачий есаул - плохой подарок англичанам.

Муравьев взял со стола еще сыроватый от чернил лист.

- Надобно свезти письмо к Завойко. - Он выжидательно смотрел на есаула.

- Долго ли, ваше превосходительство! - Сердце Мартынова чаще забилося от радостного предчувствия: неужели ему выпадет честь помочь героическим защитникам порта и счастье встречи с Машей? - К весне добраться до Амура по знакомой дорожке - и с первым транспортом к Завойко.

- Не годится, братец, - отрезал генерал. - Надобно быть в Петропавловске не позднее середины марта.

- В три месяца?! - изумился Мартынов.

- Да-с, в три. В три самых свирепых, самых неподходящих месяца. На транспорте и барышня доедет.

Мартынов невольно развел руками.

- Опасаешься? Не доедешь?

- Такого и нарочно не придумашь, - есаул говорил медленно, стараясь понять, шутит ли генерал или говорит серьезно. - Однако верст тысяч семь будет...

- Восемь.

- В три месяца?

Муравьев деловито кивнул и снова спросил:

- Не доедешь?

- Может, и доеду.

- Не годится, - Муравьев начинал сердиться. - На карту поставлено слишком многое: по имеющимся сведениям, английский флот придет в Петропавловск ранней весной, до привычного начала навигации. В порту зимуют суда, и все они могут стать трофеем англичан. Необходимо оставить Петропавловск до прихода неприятеля, снять порт, разрушить батареи, увезти с собой решительно все, что могут забрать суда, все, чем мог бы похвастаться англичанин. Нужно спасти людей.

- Как, ваше превосходительство? Мы оставляем Петропавловск?

- Обстоятельства требуют этого.

В другое время Муравьев не стерпел бы подобного поведения есаула, дерзких вопросов, в которых слышалось и осуждение. Но он знал, на что посылает Мартынова.

- Теперь, когда народ жертвует медные гроши на вооружение порта?! И я должен привезти эту несчастную весть защитникам порта?

- Да-с! Да-с! - жестко, зло выкрикнул Муравьев. - Я знаю все, что ты можешь сказать мне об этом, все чувствительные слова. Ты, братец, хоть и глядишь молодцом, а пороху не нюхал. Если удастся вовремя снять Петропавловск и обмануть неприятеля, это будет победа, настоящая победа, не меньше той, которою петропавловцы уже прославили себя. Победа без крови, без пушек и ружейной пальбы! Неужто из-за чванства, из-за хвастовства и амбиции рисковать судами, портом, людьми, честью нашего флага? Силы будут слишком неравны, а мы ничем, решительно ничем помочь Завойко не сумеем. Вкладывая в свои слова слишком много чувства и незаметно повторяя слова Невельского, Муравьев скорее укреплял себя в принятом решении, чем убеждал Мартынова. Мартынову он мог и приказать, дать предписание, не объясняя и цели командировки.

- Ты человек думающий, - на ум пришли слова коллежского асессора, человек идеального порыва, так о тебе говорят мои чиновники. Оттого я и хочу, чтобы ты знал цель и важность поездки. Я знаю - русский человек широкий, неожиданный, многое сердцем решает. Поверишь в свое дело доедешь. Ползком, а доберешься. В кровь оборвешь руки, а цели достигнешь. Да, да, приятностей в этом вояже не жди. Только и приятность, что помочь людям. Вместе с ними из-под снега вырыть славные пушки.

- Доеду! - уверенно сказал Мартынов.

- Впрочем, есть еще одна приятность, - Муравьев указал на небольшой чемодан, привезенный курьером, - свезешь и награды защитникам порта. Приказ, ордена, производства.

- Сказали бы сразу, ваше превосходительство! - расцвел Мартынов. Для такой радости я готов и жизнью рискнуть. С этим добром не стыдно явиться туда: авось не побьют меня!

Лицо Маши, темные, с лукавой искоркой глаза, маленький рот и тонкие, подвижные ноздри над ним - все то, что стало ускользать из памяти Мартынова, возникло перед ним с необыкновенной ясностью. Мартынов улыбался, раздвинув концы русских усов, поблескивая редкими зубами.

- Не побьют, братец, в ножки поклонятся. Я тут было предложил эту честь молодому чиновнику из ловких, сноровистых. Представь - отказался. У него

невеста, расстаться жалко.

- Хорошая невеста не каждый год случается, - рассмеялся Мартынов. Уважить надо... Невеста! - повторил он насмешливо и все же сердечно.

- Уважил, конечно, уважил, - ответил смеясь генерал. - А если и у тебя невеста имеется, то иди прощайся. Завтра с рассветом в дорогу!

- Хоть и сегодня, ваше превосходительство! Я убежденный холостяк.

На следующий день еще затемно Мартынов в сопровождении нескольких казаков тронулся в дорогу. Приказом Муравьева он был назначен камчатским начальником. Проезжая через городские ворота, он весело поклонился темневшему в стороне каменному кресту. Максудов приехал только в конце января. Передал Муравьеву пожалованный ему орден Александра Невского и письмо великого князя. Генерал-губернатор вскрыл пакет и, сдвинув рыжеватые брови, впился в письмо. Он волновался. Письмо может принести ему удовлетворение и относительный покой, а может и положить начало новому спору, новому конфликту с Петербургом.

Постепенно складки на лбу разгладились и лицо приобрело обычное выражение насмешливого упорства, настойчивости и полупрезрительного, полуиронического отношения к окружающим. Осторожные, дипломатические фразы письма развеселили Муравьева. Неужели понадобилось полтора месяца, чтобы написать это письмо, полное уклончивых советов, осторожных настояний и вопросов?

"Ваше превосходительство полагаете укрепить для будущего лета Камчатку..." - перечел Муравьев. Злое лицо снова сморщилось, мягкая ладонь прижала письмо к столу. - "Не "полагаю", а "полагал"! Полагал, пока не прошли все сроки, пока вопрос не попал на высочайшее рассмотрение! Полагал, ваше высочество, а ныне не полагаю!.." - "...для чего потребуются большие усилия и невероятные труды, результат коих еще весьма сомнителен. Если неприятель решится действовать в превосходных силах, высадит порядочный десант, то едва ли все меры, которые мы в состоянии будем принять, будут достаточны для отражения его; если же он подобного нападения не предпримет, то все усилия наши не будут нужны и составят нам лишний расход..."

Лишний расход! Кто пишет ему? Сибирский купчина, толстосум Бенардаки, санкт-петербургский банкир или великий князь Константин Николаевич? Можно не сомневаться, что сам император пробежал водянистыми глазами ровные строки письма. Лишний расход! Будто речь идет не о славе России, не о важной во всех отношениях земле, а о каких-нибудь пришедших в ветхость торговых рядах губернского города, о старом лабазе! "Если решится...", "если

не предпримет"! Кому же и знать, решатся или не решатся англичане на отправку больших сил в Тихий океан, как не двору, не правительству, пользующемуся услугами целой армии агентов?

Перечитывая письмо, Муравьев отлично представлял себе сухое, продолговатое лицо великого князя, его жесткий, неприветливый взгляд.

"Здесь мы приняли за правило защищать упорно в будущем году только те пункты, которые мы действительно в состоянии защищать, а прочие оставить без защиты, дабы не дать неприятелю возможности хвастаться победой. В Сибири сильным пунктом, в котором может найти убежище весь тамошний флот и который мы в состоянии защищать, если мы соединим в нем все усилия наши, есть не Камчатка, а Амур, и потому не сочтете ли более благоразумным с открытием навигации не посылать в Камчатку военные силы, а, напротив, оттуда вывести оные, снабдив только жителей продовольствием, которое спрятать внутри края, и затем безоружный город или местечко оставить в гражданском управлении, собственно порт и морское управление упразднить, суда и экипажи вывести и все военные способы сосредоточить на Амуре?"

"Не сочтете ли более благоразумным?" Неужели они ждут еще ответа? Что это, глупость или цинизм? К тому времени, когда полностью определятся точки зрения, Петропавловск будет нуждаться разве что в могильщиках или в правительственном комиссаре для установления убытков.

О царе говорилось глухо, неопределенно: "Мысль эту я докладывал государю императору, и она удостоена предварительного одобрения его величества". И более ни слова. Почему же дело не двинулось дальше "предварительного одобрения"? Почему даже о Петропавловске в письме говорится "город или местечко", словно ни о чем, решительно ни о чем, что касается Востока, у правительства нет ни твердой уверенности, ни определенных сведений.

Муравьев торопился домой. Он хотел поделиться новостью с Катенькой, порадовать ее орденом, которому сам не придавал большого значения. А все-таки приятно. И хорошо, что сложилось именно так.

- Ну-с, милейший Дмитрий Петрович, - весело сказал он в приемной Максутову, - придется вам зиму поскучать с нами. Весною отправитесь по Амуру к океану в объятия старых друзей.

- Нельзя ли мне последовать за Мартыновым? - Максутов смотрел угрюмо, холодно.

- Дорога слишком трудна.

- Я знаком с дорогой.

Муравьев отмахнулся от него:

- Э-э! Зимой не узнаете дороги и не увидите ее. Аршинную свечку поставлю, если есаул доберется живой. А вы нынче капитан-лейтенант, важная персона...

И Максutow остался в Иркутске, в ожидании нового сплава по Амуру, назначенного на весну 1855 года. Он поселился в опустевшей квартире Мартынова.

Радостной была его встреча с Вячеславом Якушкиным, но длилась эта радость недолго. В отсутствие Мартынова слабовольный Якушкин всецело попал под влияние Свербеева и уже, казалось, начинал говорить осторожными фразами этого чиновника-дипломата.

Только теперь Дмитрий понял, что разделяло Мартынова и Якушкина при всей их личной взаимной привязанности. Мартынов смело смотрел правде в глаза. Вячеслав Якушкин страшился ее, он предпочитал, может быть безотчетно, быть обманутым. Маленькая фигура Муравьева заслонила от него огромный мир. Вероятно, Якушкину и нельзя было стоять так близко к этому умному вельможе. Но не затем ли и приближал к себе людей Муравьев, чтобы приковать их взгляды к его простому армейскому мундиру и раненой, на перевязи, руке?

Встречи Дмитрия с Якушкиным и Свербеевым становились все более и более редкими. Переписка с Ялutorовском, поездки в Читу и Верхнеудинск с поручениями Муравьева скрашивали тяжесть ожидания, но сердце все же тосковало по "Авроре" и Петропавловску.

"ОСЕНИ МЕНЯ, СВОБОДА!"

На французском фрегате "Форт" Удалой попал в Калифорнию. Погода благоприятствовала французам, - за все время похода случилось только два-три пасмурных дня. Удалой, переведенный вместе с товарищами из темного трюма в жилую палубу, стал приходить в себя от побоев, нанесенных ему на "Пике". Офицеры "Форты" оставили в покое русских, а среди матросов, обрадованных тем, что больше не придется карабкаться на крутизны Никольской горы, было немало веселых и дружелюбных парней.

В Калифорнии Удалой окреп.

Французы хотели, чтобы жители Сан-Франциско, портовые зеваки, матросы разных наций посмотрели на русских. Все-таки пленные, военные моряки. Не станешь же каждому объяснять, как они попали в плен.

"Пленные"! Хорошо, что можно похвастать хоть этим.

- Если на корабле есть пленные, - глубокомысленно сказал Ла Грандиер, - никто не смеет болтать о поражении.

Депуант благодарно посмотрел на осанистого офицера.

Семен Удалой и два его товарища находились на "Форте" вместе с купцами и чиновниками, захваченными на "Ситхе". Фрегат ремонтировали рабочие Сан-Франциско - разноязычное сборище кузнецов, плотников, канатных и парусных мастеров, из числа тех, кто нахлынул в этот край, прослышав о его сказочных богатствах. Были здесь и американцы из восточных штатов, они приехали тогда, когда золото уже не валялось под ногами и кусок хлеба приходилось добывать тяжким трудом; мексиканцы, разоренные предприимчивыми янки, немцы и швейцарцы, итальянцы и негры. Последних нанимали для самой трудной и грязной работы.

Удалой с удивлением увидел, что команда "Форта" не участвует в ремонтных работах. Матросы слонялись по гавани, уезжали в долину Сакраменто, напивались, затевали драки.

Аврорцы держались тесной кучкой. Подолгу сидели на палубе, отогревая кости, все еще нывшие от длительного пребывания в нижнем трюме "Пика".

К Семену вернулось обычное самообладание. Порой он завистливо следил за работой корабельных плотников или парусных мастеров, подходил к кому-нибудь из них, молча брал в руки топор или парусную иглу и сосредоточенно работал несколько минут. Зыбин и Ехлаков одобрительно наблюдали каждое его движение. Затем, словно вспомнив о чем-то, Удалой бросал топор и, улыбаясь щербатым ртом - передние зубы Семену выбили на "Пике", - шел к своим.

- О! Камшатка! - с уважением говорили мастера. - Рус Камшатка...

Вскоре у Семена установились добрососедские отношения со многими матросами. Добродушный русский парень был им симпатичен, а сознание, что его так бесчеловечно отделали англичане, которых матросы Депуанта возненавидели после Петропавловска, еще больше сближало матросов с пленными.

Изо дня в день разыгрывалась одна и та же сцена.

Кто-нибудь из матросов, смеясь, показывал на беззубый рот Удалого, затем - для ясности - на свои зубы и спрашивал:

- Anglais?

- Англия, - подтверждал Семен.

- Canaille!

- Каналья! - повторял Удалой.

- Diable!

- Верно говоришь: дьявол!

Вскоре Семен с помощью жестов и немногих французских слов стал

поддерживать оживленный разговор с матросами. Первое знакомство с французским языком поразило его своей легкостью. Затруднения начались позже, когда Семен попытался увеличить словарь.

Для первого урока он избрал молодого матросика, принявшегося за бритье. К нижнему углу зеркальца было приклеено изображение старой женщины. Удалой пальцем показал на портрет и выжидательно уставился на француза.

- Понятно, - обрадовался Семен, услышав объяснение француза. - Мама. А это? - он поднял с ящика шапку матроса. - Кашкет? Ага! Слышал... Кашкет. А это? - Семен показал на штаны. - Панталон, говоришь? Понятно, слыхивали... Так началось изучение чужого языка. С портрета матери, с матросской фуражки, с хлеба, с ругательных слов, которыми Удалой и французы энергично одаривали англичан. Через три месяца Удалой бойко беседовал на странном жаргоне собственного изобретения, составленном из смеси русского и французского.

Объясняясь таким образом, он узнал, что адмирал Депуант никогда не появляется на палубе, потому что прикован к постели и, по словам собеседника, "благодарение св. Франциску, вряд ли дотащится до Франции"; что решено после ремонта отправиться на острова Товарищества, которые можно было бы считать райским уголком, если бы матросы нашли там не только кокосовые пальмы, бананы и хлебное дерево, но и французских женщин, что будущей весной "Форт" пойдет на "Камчатку" и оплатит за обиду, но лучше, конечно, было бы убраться восвояси, во Францию, "к нашим девушкам, добрее и смышленнее которых нет на земле".

В конце декабря три военных корабля Соединенных Штатов, соседи "Форты" на рейде, спешно отбыли из Сан-Франциско на Сандвичевы острова. Соображения английского консула о скорой кончине короля Сандвичевых островов оказались пророческими. Несмотря на превосходное здоровье, Камеаеа III внезапно скончался 15 декабря 1854 года, сорока двух лет от роду, и был похоронен иждивением англичан с подозрительной поспешностью. Ему наследовал племянник - Александр Лиолио, отныне Камеаеа IV. По счастливой случайности милый, сговорчивый юноша воспитывался в Англии, в Кембридже, и почти забыл родной язык. По слухам, он не видел выгоды в присоединении королевства к Американским Штатам, и янки, огорченные таким заблуждением юного короля, отправили в Гонолулу три военных корабля для облегчения переговоров. Янки не доверяли сцеплению случайностей, благоприятствующих англичанам, и решили подкрепить дипломатические демарши Виллье сотней пушек. Поскольку речь шла об "охране американских интересов", эта акция почиталась

справедливой и гуманной.

Совершенно неожиданно Удалой нашел собеседника в лице старого негра Глэда Стоуна. Он работал в порту кузнечным мастером, доставлял на фрегат готовую поковку и уже на месте пригонял и доделывал все мелочи. Негр узнал одного из приказчиков, взятых на "Ситхе", и, низко кланяясь, приветствовал его по-русски. Купец не признал его. Тогда негр напомнил, что работал когда-то в форте Росс - самом южном из русских поселений американского побережья Тихого океана; "добрый масса офицер" приютил беглого негра, научил его русскому языку и кузнечному делу. Торопясь и сбиваясь под неприветливым взглядом приказчика, негр рассказал, что после ухода русских из Калифорнии и золотого безумия ему удалось остаться в одной из кузниц Фриско. Приказчик когда-то приезжал в форт Росс, и негр запомнил его.

- Кто тебя знает! - досадливо проворчал приказчик. - Все вы на один манер, черные, не узнаешь!

Удалой и прежде не давал прохода купчикам с "Ситхи". Видя, как старательно отделяются они от пленных матросов, с каким подобострастием принимают благосклонные взгляды французских офицеров, он задевал их при каждой встрече. Ругал трусами, недоумевал, как можно было "Ситхе" при четырех пушках сдаться в плен, спрашивал, скоро ли они перейдут на службу к французам.

Услыхав ответ приказчика, Семен подошел к нему.

- На черной земле белый хлеб родится, - сказал он. - Потрудись, человек хороший, потрудись и узнай. Не больно важная ты птица.

Краснощекий, сутулый и словно перекошенный сильным ударом приказчик дернул плечом.

- Не знаю.

- Узнай! - настаивал Семен. - Смотри, как кланяется, какое почтение твоему русскому имени! Протянул бы ручку, барин...

Обозленный приказчик сунул руки в карманы. Твердый кулак Семена коснулся его носа.

- Эх ты, животная... Рожа, значит, не нравится? Вот я подержу тебя за ноги над водой, полюбуйшься на свою морду!

Удалой дружелюбно потряс необъятную ладонь негра, и с той поры между ними установились дружеские отношения. Странная пара обращала на себя общее внимание: негр, скаливший крупные белые зубы, и щербатый светлоглазый русский матрос, заросший золотой щетиной. Оба охотно смеялись: Семен - по обыкновению беззвучно, всем лицом, Глэд Стоун гулко,

с легким дребезжанием, будто мощные мехи его легких где-то дали трещину. Семен любил песни, доносившиеся с берега. Особенно в вечерние часы, когда прохладный воздух лучше пропускал монотонную, тоскливую мелодию. Однажды, когда запели близко, на лодке, которая огибала корпус "Форта", Семен спросил у Глэда, о чем поют гребцы.

Кузнец закатил глаза, сверкая белками.

- О! О-о! - только и сказал он.

Но Удалой пристал к негру, и тот, наклонясь к белым, выгоревшим на солнце волосам Удалого, прошептал:

- Они поют о свободе! О! - Он приложил палец к толстым губам. - О, свобода! О, свобода! - начал он нараспев, вторя певцам в лодке: ...осени меня, свобода!

Лучше, чем рабом мне жить,
Чтоб меня похоронили.

Лучше мне лежать в могиле

И свободным быть... - Это-о песню, - сказал он совсем тихо, произнося букву "у" как протяжное "о", - поют негры, когда нет белых. Когда сло-ошает белый плохо, о!

- Ладная песня, мастер!

С той поры отношения их стали еще ближе. После рассказов кузнеца Удалой перестал удивляться поведению приказчика. Вся история молодого штата Калифорния прошла на глазах у наблюдательного кузнечного мастера Глэда Стоуна. Белые, конечно, не интересовались его мнением, но это не мешало Глэду ликовать, когда в 1849 году поселенцы Калифорнии избрали конвент и выработали конституцию, запрещающую рабство.

- Калифорния послала прошение в конгресс, - грустно сказал негр. "Примите нас в союз, мы свободный штат". Праздник был у черных и у белых друзей, праздник. Но юг сказал: "Нет". Белый плантатор взял в руки ружье, и президент в большом доме в Вашингтоне подумал: "Хорошо, пусть будет штат Калифорния и пусть не будет свободы, пусть белый не волнуется из-за негра". Конгресс дал новый закон: беглого негра нужно ловить везде и отдавать хозяину; его нужно ловить здесь, в Калифорнии, и в каждом другом свободном штате. Черные проклинали Калифорнию: пока не было прошения в конгресс, на севере не гонялись за неграми с псами. Это генерал Клэй придумал штуку, которая не снилась черным: штаты - свободные, а негр раб. Завтра может прийти в мастерскую белый и сказать: "Глэд - мой негр. И его жена - моя негрityанка. И его дети - мои".

Удалой сердито посмотрел на него.

- Ты-то постоишь за себя!

- Нет, Сэми, свяжут мне руки и поведут, как скотину, через весь штат.

И не так слова кузнеца, как тоска, с которой они были сказаны, заставила Семена нахмуриться и замолчать.

От Глэда Стоуна он узнал, что на юге ежедневно подвергается истязаниям и убийству "по правилам закона Линча" кто-нибудь из негров. Минувшим летом в Виргинии хулиган Брукс изломал свою палку о голову сенатора Сумнера, противника рабства. Студенты виргинского университета в знак благодарности подарили Бруксу новую изящную трость с золотым набалдашником.

Негр часто вспоминал свою жизнь в форте Росс. Приходилось много работать. Да, масса офицер заставлял Глэда работать от зари до зари. Но он имел кусок хлеба, свою лачугу. Засыпая, он не думал о том, что его разбудят руки преследователей, лязг наручников, удар сапога в живот. Они выращивали зерно, тяжелое, золотистое, не похожее ни на рис, ни на таро. На черной руке Глэда каждое зернышко горело, как звездочка... А какой душистый хлеб пекли из него белые женщины форта Росс! "Спасибо, они научили этому и мою старуху, - иногда она балует меня светлым хлебом, и, проглатывая каждый кусок, мы вспоминаем форт Росс и белых людей из России, которые ушли на север".

Семен не успел проститься с негром. За два дня до окончания ремонта "Форта" пленных матросов спровадили в трюм, - в качестве живой рекламы подвигов французских моряков они уже сделали свое дело.

Фрегат покинул Сан-Франциско.

Снова потекли дни в полумраке трюма. Пленные не знали, куда их везут, только по усиливающейся жаре они понимали, что судно уходит на юг, с каждым часом удаляясь от берегов России.

В адмиральской каюте умирал Феврие Депуант. Вопреки всем его усилиям, надвигалось бесславие. Газеты издевались над ним. Снисходительно, с притворным сочувствием, выражали надежду, что его не постигнет судьба английских офицеров. Чувствуя, что в последний раз вышел в океан, он составил духовное завещание, обвиняя англичан в измене, Прайса - в трусости и самоубийстве, подчиненных офицеров - в бездарности, а весь мир - в несправедливом отношении к нему, контр-адмиралу Феврие Депуанту.

Французские суда пришли на остров Таити, крупнейший из островов Товарищества. Пленных матросов высадили на берег и приказали им строить вместе с таитянами каменную морскую крепость.

Матросы отказались.

- Работать не будем, - ответил Удалой офицеру.

Офицер удивился:

- Работали же на фрегате?

Дважды во время штормов пленных матросов звали наверх.

- На кораблях работать - дело другое. Работа идет вам не впрок. А крепость строить не будем. Верно я говорю?

- Верно, - подтвердил Ехлаков, не поднимая глаз от земли.

Матросов заковали в кандалы и посадили на хлеб и воду. По приказу Ла Грандиера, в распоряжение которого они поступили, пленных истязали, оставляли по нескольку дней без воды, хотя температура воздуха доходила в тени до 32°. Вскоре они стали пухнуть от голода, и однажды утром товарищи Удалого молча встали на окрик часового и, звеня кандалами, ушли на работы.

Удалой лежал, закинув за голову отекавшие руки и поджав колени. В полубабыт он слушал визгливые окрики надсмотрщиков, щелканье наручников, лязг цепей.

Вокруг было темно и душно, несмотря на раннее утро. Перед глазами колебался черный корпус "Авроры", мелькало лицо Изыльметьева, вставали коралловые рифы Таити, камчатские валуны, какими он увидел их с плашкоута, а звуки сливались в какую-то мучительно знакомую, родную, русскую мелодию. И над самым ухом шептали толстые губы Глэда: Лучше, чем рабом мне жить,
Чтоб меня похоронили.

Лучше мне лежать в могиле

И свободным быть...

НА ВОСТОК

Есаул Мартынов быстро подвигался на северо-восток вдоль Лены. Он не терял времени на почтовых станциях и не церемонился со зрителями и сонными писарями. Каждую станцию брал правильным приступом: сначала денщик Степан Шмаков вкрадчивым голосом объяснял чиновнику, что его барин, замешкавшийся в кибитке, "важная птица", сумасброд, "карашный" и человек крутой на руку; затем с шумом вваливались казаки - шесть дюжих молодцов, не обращающих ни малейшего внимания на станционных хозяев, и только после такой подготовки входил, свирепо скаля зубы, Мартынов. Он был в новехонькой парадной форме казачьего есаула и сбрасывал тулуп на руки Степана таким царственным жестом, что им залюбовались бы и в передних аристократических домах. Воображение чиновников иногда

потрясало мрачное спокойствие есаула, решительный отказ от чая и угощения, почти мистическое благоговение окружавших Мартынова казаков. Наконец - и это не последнее соображение! - молодой есаул не кто иной, как адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири. Адъютант! Магическое слово! Чем черт не шутит! Не следует ли за ним по пятам сам Муравьев, фантазер, которого станет и на зимнее путешествие в Камчатку?

Станционный смотритель приказывал немедленно закладывать лошадей. И только когда все было готово - свежие лошади впряжены в кибитки, проверена и увязана поклажа, Мартынов преображался. Уже добродушно, подомашнему, он покрикивал на белобрысого Степана, требовал водки, хохотал, расхаживал по залу в расстегнутом мундире - словом, превращался в простого, любезного малого. Чиновники понимали, что их провели, но у Мартынова ведь грозная подорожная и на дворе возле косматых якутских лошадей несговорчивые казаки.

Иногда чиновникам удавалось сорвать злость на Степане. Его считали главным обманщиком, потому что он вначале почтительно именовал Мартынова "превосходительством" и даже "сиятельством", а затем переходил на короткую ногу с ним, величал по имени и по батюшке. И так как Степан составлял арьергард небольшой казачьей партии - он убирал в кожаную сумку остатки поспешной трапезы, - ему доставались все бранные слова, до которых так охочи снедаемые скукой чиновники.

Бывало и иначе. Мартынов заходил злой, нахохлившийся, но заметив в глазах станционного смотрителя сочувствие, отсылал казаков и достигал нужного радушным разговором. Мартынова провожали добрым советом, напутствием и нередко сообщали полезные сведения.

- Гони! - кричал Мартынов ямщику, ударяя его рукавицей по плечу. Что есть мочи гони!

Сибиряк неуклюже поворачивался к есаулу и, трогая вожжи, говорил:

- Сибирь, однако, велика, барин. Хочешь доехать - береги коня.

- Но! Но! - угрожающе ворчал есаул. - Твое дело - дорогу глядеть да песни петь. Гони!

По дороге, среди новых людей, Мартынов чувствовал себя превосходно. Коренной житель Иркутской губернии, он мог объясняться с бурятом или якутом без помощи переводчика, даже если его собеседник совсем не знал по-русски, что, впрочем, случалось редко. Встреча с новым занятым человеком была для Мартынова наслаждением. Любопытный разговор мог задержать его на лишние полчаса, хотя порой, в тихую погоду, он отменял ночевку в теплой избе, заставлял закладывать лошадей и, на ночь глядя,

трогался в путь...

К концу первой недели пути под вечер подъезжали к почтовой станции близ Киренска. Ночь обещала быть ясной, лунной, и казаки не сомневались, что Мартынов даст им напиться чаю, пока будут менять лошадей, а затем прикажет ехать дальше. "Приступ" на сей раз не состоялся, - предупреждая Степана, навстречу им вышел подвижный, нетерпеливый старичок в шинели, из-под которой выглядывал грязный камлотовый капот, и в поношенных башмаках тонкой работы. Редкие вихры на непокрытой голове были светлее лежащего вокруг снега. Пронзительный, вызывающий голосок не вязался с грустными, усталыми глазами. Это и был тот "оригинал", "нигилист", о котором Мартынову рассказали в станице Жигаловской, а затем и на следующих станциях.

Мартынов молча прошел за стариком в избу, выслушивая его незаслуженные упреки и брань.

- Ну-с, господа хорошие, - шумел старик, не замечая, что за ним идет один Мартынов. - Небось, вам некогда? Неотложные дела-с? Веления начальства-с? Ревизии, инспекции и все такое прочее?.. "Подавайте лошадей-с, да поживее! Не то р-р-распеку-с, упеку-с, три шкуры спущу-с!"

Старик рассмеялся мелко, залиvisto. В темной избе его смех звучал неприятно, что-то в нем было нездоровое, пугающее. Он зажег коптящую лампу, закашлялся, хватаясь за грудь сухими ручками, и надел новенькую фуражку. Фуражка единственный предмет, достойный его чина и службы, все остальное - помятое лицо в светлом пуху, старое, лоснящееся платье, бурый шарф, которым была повязана его шея, - больше подходило к обитателю ночлежного дома, чем к такому важному в этих малолюдных местах должностному лицу, как станционный смотритель.

Он надел очки - одного стекла в них не хватало - и, зажмурив правый, невооруженный глаз, с удивлением уставился на Мартынова.

- Ба! - воскликнул он. - Военные господа-с! Отчего же так тихо-с, без вина, без песен, без оскорбления личности-с? Погодите, погодите, погодите! - зачастил старик, видя, что Мартынов хочет представиться. - Сам отгадаю... Казачье войско, да-с, милостивый государь, а вот звания вашего не осилю...

- Есаул Мартынов, адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири, Мартынова разбирал смех.

- Вот как! - Старик вызывающе топнул ножкой и гневно поднял седую бровь.

- Смеетесь? Над чем смеетесь?

Мартынов, против собственного ожидания, показал на странные очки.

- А-а-а! - разочарованно сказал старик. - Монокль. Что ж, милостивый

государь, сие не мешает мне видеть человеков и человеческие пороки в истинном свете.

Мартынов припомнил, что ему говорили о смотрителе. Он вознамерился вести борьбу со взяточничеством где-то в России, в одной из центральных губерний. На этом, как говорили, он и "свихнулся". Потерял друзей, семью. Попал в немилость начальству, нищенствовал и наконец, обвиненный бессердечными сослуживцами в злом взяточничестве и подлоге, был брошен в эту дыру. Тщетная борьба со злом отняла состояние, а происки недругов в два месяца достигли цели.

Зато нужно было видеть, что делалось со стариком, когда проезжий купчина или чиновник совал ему деньги в надежде побыстрее получить лошадей! Он изрекал проклятья, потрясал руками, готовый вот-вот вцепиться в бороду обидчика, поносил его и провожал ругательствами до кибитки. Правда, лошадей в этих случаях давал немедленно, чтобы, как он выражался, "поскорей убрать с глаз пакостника". Результат такого поведения был самый неожиданный: проезжие, наслышанные о старике на ближайших станциях, предлагали ему довольно крупные кредитки, рассчитывая на быструю отправку. А между тем среди почтовых чиновников упорно ширился слух о том, что "оригинал" в действительности является самым прожженным взяточником, набивающим себе цену.

Через четверть часа Мартынов со смотрителем мирно беседовали за столом. Старик знал о событиях на Камчатке. Когда Мартынов сказал ему о предполагаемом новом нападении, он поспешно вытер усы и рот темным платком и проговорил негодую:

- В мире много охотников до чужого добра, милостивый государь! Отчего же не рискнуть? Пушек у них вдоволь. Пороху предостаточно, кораблей великое множество. Пожалуйте, господа англичане! - крикнул он в полумрак комнаты.
- На берегу Восточного океана еще нет английских могил!
- Они есть на Камчатке, - сказал Мартынов.
- Камчатка! - старик неопределенно махнул рукой. - Это край света, тартарары... Не взыщите.

Мартынов хотел напомнить старику, что он едет именно туда, на край света, что и там живут простые, хорошие люди, которым он принесет своим известием много горя, что там, на краю света, его ждет место исправника и девушка, лучшая из всех, кого он встречал во всю свою жизнь. Но вместо этого сказал:

- Обыкновенная земля, поверьте мне. Так же трудятся, как и везде, так же витийствуют о добродетелях и так же обирают ближнего...

Напрасно он затронул эту тему. Старик забыл об угощении и, вскочив со скамьи, заговорил. Мартынов безуспешно пытался повернуть разговор на другую тему, успокоить старика, уверить его, что и генерал-губернатор Муравьев враг взяточничества...

- Не верьте вельможам, милостивый государь! Партия мошенников слишком сильна и многочисленна. Я наслышан о Муравьеве. Разве так берутся за уничтожения мздоимства?! Пустое краснбайство, обыкновеннейший обман публики! Муравьев облечен властью, в здешних местах более сильной, чем монаршая власть. А каков результат? Плуты и мошенники живут припеваючи, под носом у губернатора творятся величайшие безобразия, порок чувствует себя в такой же безопасности, как и там, где не слышно громких слов о честности, о пользе государства и недопустимости взятки. Впрочем, - старик махнул рукой, - эти слова говорят везде.

Он знал уже кое-что о делах, творящихся в губернаторстве.

- Иной раз всхрипнешь, - проговорил смотритель таинственно, прикинешься спящим и подслушаешь такой разговор, от которого волосы сами собой шевелятся... Вот и выложить бы все это самому Муравьеву. Думаете, испугаюсь?

Мартынов не думал этого.

- Ничуть не бывало! - Старик воинственно уставился на есаула. Самого черта не убоюсь. Я, милостивый государь, когда перед сенатской комиссией предстал, такого наговорил, такого наговорил... Не возрадовались, что тронули меня...

Острые наблюдения и обличительные речи мешались у старика с фантастическими проектами упразднения денег, как "главнейшего зла", "миллионноголавого змия", установления особой церковной присяги для чиновничества, учреждения специального "департамента честности". Засыпая, Мартынов все еще слышал высокий голос старика и во сне увидел его в образе старого, выцветшего от времени и голода таракана, шевелившего блеклыми усами, в окружении хохочущих чиновников, которые подталкивали его свернутыми в трубочку казначейскими билетами.

При прощании смотритель неожиданно сказал:

- Как полагаете: отчего англичане после Камчатки не поворотили в Амур?

- Не знаю.

- Ага! Не знаете? - довольно вскричал старик. - А я знаю! Во-первых, нос был разбит камчатскими ядрами, а каково с расквашенным носом визиты наносить! Во-вторых, третья часть непрошенных моряков лежит в Камчатке, треть - в лазарете, ну, а остальные? Остальные в страхе божьем пребывают. -

Он рассмеялся, затем внезапно оборвал смех. - Эх, была бы моя воля, поворотил бы я вас в Иркутск: авось и без вашей подмоги отбились бы камчатцы...

Мартынов благодарно пожал костлявую руку.

- Кто знает... Кто знает... А ехать надобно. Прощайте! В утро этого же дня в портсмутской гавани раздались трехкратные залпы береговых орудий в честь восьмидесятичетырехпушечного линейного корабля "Монарх". "Монарх" уже побывал в балтийских водах в составе эскадры Непира и теперь уходил в Тихий океан - попытать счастья у русских берегов, не защищенных, подобно Кронштадту, гранитными бастионами. Тяжелый трехпалубный корабль под всеми парусами покидал английскую землю. Он плыл, рассекая волны Атлантики, стремясь к той же маленькой точке на карте, куда мчали Мартынова якутские лошади, олени эвенков, собачьи упряжки. Отныне началось состязание между казачьим есаулом и экипажем "Монарха", насчитывающим больше семисот человек. От этого состязания зависела судьба Петропавловска. Мартынов стремился выиграть время на огромном пути между Иркутском и Якутском. Здесь знакомая дорога. Здесь выносливые гривастые лошади, станции, деревни, станицы и небольшие города, в которых Мартынов задерживался не дольше, чем в дымных почтовых избах. Здесь можно рассчитать дни, часы; здесь многое зависит от грозного окрика, решимости, находчивости есаула.

Важно не подчиниться сонному, медлительному ритму жизни почтовых станций, одуряющей атмосфере лени и тупого спокойствия. У чиновника унылый, безжизненный взгляд, вызывающий зевоту, в избе натоплено, на столе с присвистом дышит пузатый самовар; за столом купцы или приказчики, не дай бог знакомые, - они, завидев тебя, потрясают початыми флягами; ямщик ушел - кстати! - в деревню к жене; свежих лошадей нет; все, решительно все склоняет тебя к остановке, к отдыху! И всему этому нужно сказать: "Нет, шалишь!" Схватить за шиворот эту дремлющую, ленивую жизнь да встряхнуть так, чтобы разом появился и ямщик, и кони, и подвижность у перепуганного зрителя. Нужно ворваться на станцию, как сквозной ветер в окно, хлопнуть дверью и мчаться дальше, оставив хозяев сокрушенно качать головой да выметать сор, выброшенный ветром из затхлых углов. Нужно сбросить с себя гипноз расстояния, не поддаваться предательской мысли: ведь все равно, мол, впереди тысячи и тысячи верст дороги, недели и недели пути! Велика ли важность - часок-другой!

Восемь тысяч верст в три месяца! Если разделить расстояние на девяносто дней, получится девяносто верст в день. А ведь будут и такие дни, когда

пурга вовсе не позволит двигаться вперед, бывалые каюры и проводники откажутся выйти из своих юрт и чумов. Вместо лошадей будут собаки, а на собаках и при самых благоприятных условиях не сделаешь больше пятидесяти верст в день. Будут горы и перевалы, бездорожье, изрезанные глубокими шхерами берега Гижигинской и Пенжинской губы, непредвиденные случайности, отнимающие часы, а то и сутки.

Время необходимо выиграть на первом, самом удобном и безопасном дорожном этапе до Якутска. Мартынов двигался вперед с небывалой быстротой, удивляя встречных, - в Киренске впервые видели человека, меньше недели назад выехавшего из Иркутска. Не зря он подобрал себе крепких казаков, охотников, способных провести несколько дней без сна, без еды, без отдыха. Выносливость Степана Шмакова вошла в поговорку: этот сухощавый белобрысый человек словно вырезан из светлых сыромятных кож - ни сломать, ни разорвать. Но и они, лихие спутники Мартынова, разводят руками и с сожалением смотрят на остающиеся позади деревни, на почтовые станции, теплом которых им не удалось воспользоваться.

В кабинете Муравьева Мартынов еще не почувствовал всей значительности порученного ему дела. Мысль о том, что он привезет защитникам Камчатки нерадостную весть, тяготила его. Но он любил дорогу со всеми ее трудностями и непредвиденными осложнениями, а возможность неожиданно появиться перед Машей заставляла его смеяться неслышным, внутренним смехом. Образ Маши больше не ускользал от него. Он хорошо видел девушку, ее удивленные глаза. Видел и такой, какой знал ее по Иркутску, и старше, строже, в темном закрытом платье. Теперь она представлялась ему спокойнее, сосредоточеннее той капризной девушки, которая нередко наутро забывала о самых страстных своих желаниях, еще накануне вечером казавшихся ей вопросом жизни и смерти. Порой к реальному облику Маши примешивались какие-то черты ее матери, что-то от ее мелочной рассудительности и практичности. Мартынов не верил в возможность таких изменений, сердился на самого себя, но ничего поделать не мог.

После нескольких дней пути Мартынов обнаружил в себе странную перемену. Он с возрастающим волнением стал думать о цели своей поездки, прежде она вызывала в нем только глухую досаду. Что послужило тому причиной? В какой-то мере сама дорога, отрезвляющая ясность пути, мертвое белое ложе Лены, первые морозы, первые метели.

Но сильнее всего подействовало на него отношение людей. Узнав о цели путешествия Мартынова, люди - с некоторыми из своих давних знакомых есаул был откровенен - смотрели на него с нескрываемой тревогой. Они

беспокоились за него, за участь Петропавловска.

Впервые Мартынов понял эту бескорыстную тревогу в юрте старого бурята, дважды побывавшего на своем веку в Охотске. Есаул был знаком с бурятом, - тот жил у самого почтового двора и славился умелой игрой в шахматы. Пока Степан Шмаков занимался приготовлениями к дороге, Мартынов со стариком расставили тяжелые, выточенные из кости фигуры на большой доске, лежавшей на ковре. Мартынов лег, упираясь локтями в ковер и положив подбородок на сжатые кулаки. Острый запах баранины, варившейся в медом котле, щекотал ноздри.

Старик играл молча, теребя на подбородке редкие волосы и непрерывно набивая табаком ганзу - крохотную медную трубку на прямом чубуке. Выиграв первую партию, он налил Мартынову чашку ароматной горячей жидкости - смесь молока, бараньего жира, чая, соли - и сказал, прищурив глаза:

- Плохо играл сегодня. Худо играл...

- Вижу, Ринчин, сам вижу, - Мартынов хлебнул из чашки. Горячая жидкость обожгла гортань. - Первый раз против тебя я держался крепче.

Старик неторопливо расставил фигуры рукой, словно вырезанной из крепкого коричневого корня.

- Тогда домой ехал, не спешил, - усмехнулся он. - Голова был светлый, мудрый. Теперь плохую дорогу видишь, торопишься.

Бурят еще добавил, что шахматы изобрели индусы - мудрый народ, почитающий высшим благом размышление, прихотливое и спокойное течение человеческой мысли.

- Дорогу, говоришь, вижу? Верно, бо-о-льшую дорогу! - признался Мартынов и, возобновив игру, рассказал буряту о своем путешествии: Якутск, Охотск, Гижига, Тигиль...

Бурят недоверчиво покачивал головой. Да, да... У людей нет согласия. В середине огня нет прохлады, посреди мира нет покоя... Рискованная затея... Он дважды был у большой воды. Это очень далеко. Никто не может предсказать, что случится в дороге. Может пройти три луны, пока молодой русский доберется только до Охотска. А ведь и оттуда путь неблизкий.

Выиграв и вторую партию, он смахнул фигуры на ковер и, перевернув доску, легко поднялся. Казалось, старик опасался, что азартный офицер захочет реванша и игра затянется. Он подошел к зеленому, окованному старой медью сундуку и, открыв его, вынул голубую ленту-ходак, освященную ламами и хранившуюся в сундучке как реликвия вместе с другими ходаками различных размеров. Положив ленту на руки так, что бахромчатые концы повисли по

сторонам, он низко поклонился и протянул ее Мартынову в подарок. Это было знаком высокого почтения и одновременно пожеланием счастья и удачи в будущем.

Подобные подарки делались нечасто. Мартынов бережно свернул ходак, сделанный из мягкого китайского шелка, и спрятал его за борт мундира.

- Пусть тебе благоприятствуют боги и удача, - сказал старик на прощание.

Мартынову и после не раз случалось замечать, что чем душевнее бывал собеседник, тем он меньше сочувственных слов тратил для есаула и больше тревожился за Петропавловск.

Встречался Мартынов и с людьми, которым не было дела ни до Камчатки, ни до англичан. Они и не верили, что он собрался в Петропавловск. "Знаем твою Камчатку! - лукаво подмигивали они. - Где вдоволь мехов, там и Камчатка. С такой командой, как у тебя, целую губернию обобрать можно. Где не продадут - силой возьмете..." Пьяными глазами они ощупывали поклажу Мартынова: какой, мол, товар припас для охотников?

Мартынов быстро продвигался вперед.

Лена встала еще в начале ноября. Декабрьские морозы впросинь выкрасили лед, а затем укрыли его слоем снега. Кибитки неслись по малоезженной дороге, ныряя в тайгу и выбегая на просторный берег реки. Зеленый потемневший лес, бодрящий запах ели и кедра, тонкий узор лиственниц на фоне заснеженных холмов или бледного, почти белого неба, шорох падающего с веток снега - все было знакомо Мартынову с детства, напоминало годы, проведенные в тайге.

В несколько дней его лицо сделалось смуглым, стало суше, тверже.

Всю дорогу от Олекминска до Якутска ветер бил в лицо, обдавая ямщиков сухим, колючим снегом. Лена лежала в плоских берегах, невидимая в белесом тумане. На каждой станции якуты-ямщики уверяли Мартынова, что лучше бы подождать денек, пока распогодится, и через час-другой уже неслись во весь дух на северо-восток, напрягая глаза, чтобы не потерять дорожные приметы и не сбиться с пути.

Так и приехали в Якутск в сумерки, не разглядев в густом снегопаде ничего, кроме очертания двух каменных церквей. Только тусклым утром увидел Мартынов город, раскинувшийся в степи. Все жалось к земле, словно боясь подняться, напомнить о себе, взглянуть в свинцовый горизонт. Юрты якутов, приземистые, бревенчатые избы, невысокое каменное здание Гостиного двора, сплошные частоколы - все сливалось с угрюмой степью, отвечало ее монотонности.

В Якутске провели день. Пока Мартынов наносил официальные визиты,

Степан Шмаков с казаками рыскал по Гостиному двору и базару, тянувшемуся по берегу Лены. Он закупал провизию, которой должно было хватить до Петропавловска. Ни в Охотске, ни тем более в Гижиге и Тигиле нельзя было рассчитывать на пополнение запасов, - в этих местах зимой нередко бывает самый настоящий голод.

В дальнейший путь до Охотска Мартынов брал с собой только Степана и двух казаков - при езде на собаках каждый лишний человек становился обузой. Но за час до отъезда Мартынов решил отослать в Иркутск еще одного казака, - по совету преосвященного Иннокентия он заменил его проводником, местным якутским казаком, знавшим язык оленных тунгусов.

Как ни беден Якутск в сравнении с Иркутском - нарядным каменным городом на Ангаре, Мартынов знал, что дальше пойдут места совсем глухие. Здесь по крайней мере снуют по базару люди; поблескивают купола церквей; изредка покажутся нарядные сани с тройкой нездешних лошадей; случается, что навстречу попадут и чиновники в дорогих шубах. Дальше будут горы, снег, тайга, тундра, маленькие поселения в лесу, острожки на замерзших переправах, люди, не ждущие в эту пору никого, кроме жадных, бесцеремонных купцов: русские, якуты, эвенки, коряки...

Отправляясь из Якутска, есаул приказал ямщику придержать лошадей у развалин старой крепости. Пять башен, сложенных из крепких бревен, между ними остатки стен с разрушенными амбразурами, суровая простота линий, словно выражающая мужество и решимость строителей крепости - казаков, завоевателей Сибири, привлекали внимание Мартынова всякий раз, когда он попадал в Якутск.

- Гляди, Степан! - Мартынов показал денщику на башни. - Знаешь, что это?

- Крепость.

- А сколько годов она стоит здесь, прикинь-ка.

Степан пожал плечами.

- Не знаю. Дерево поглядеть бы...

- Иди гляди!

Степан осмотрел срез бревна, постучал по нему согнутым пальцем, вернулся и сказал неуверенно:

- Годов тридцать, а то и пятьдесят...

- Бери выше!

- Осемьдесят?

- Двести лет стоит! Понимаешь, две сотни лет! Казаки строили. Сибирские удалцы. Оставили след на земле, а?

- Выходит, оставили.

- Ты погляди, каково бревна-то связаны, как сложено крепко! Недруги жгли - не горит, раскидать хотели - бревна точно железом схвачены, ветер двести годов трясет - они не шелохнутся!.. А ведь одними топорами да умелыми руками сработано.

- Умелые руки все могут, Алексей Григорьевич.

- Летом в Якутск попадешь, непременно взойди на крепость. Все своими руками ощупай; встань у амбразуры, примерься, годишься ли в казаки. Ну, поехали!..

Лошади тронули. Мартынов промолвил серьезно, глядя невидящими глазами в спину ямщика:

- Эх, Степан, поспеть бы нам вовремя!

ОБЪЯСНЕНИЕ

В этот вечер Зарудный никого не ждал. Третьи сутки дул настырный юго-восточный ветер, не давал спокойно улечься частым хлопьям снега. И хотя пурга уже проявляла все признаки усталости, на открытых местах ветер все еще норовил сбить человека с ног, залепить глаза снегом, подтолкнуть к саженному сугробу.

Только в такую погоду вдова Облизина и запирала наружную дверь. Иначе пурга распахивала ее, засыпая снегом сенцы и хлопала дверью так, что дрожали бревенчатые стены.

В восьмом часу кто-то сильно постучал в окошко, полuzасыпанное снегом. Так давали о себе знать многие, проходя мимо окна к двери по снежному окопу, достигавшему человеческого роста.

Зарудный отодвинул засов и налег на дверь.

- Маша!

Снег хлестал по лицу, заставляя жмуриться. Маша и еще кто-то с ней, большой, неуклюжий. Да это же Настя, в оленьей кухлянке, закутанная по самые глаза!

- Не ждали?

Маша сбросила заснеженную кухлянку на пол, возбужденно засмеялась и протянула руки Зарудному:

- Согрейте!

- Признаться, не ждал, - он стиснул ее холодные руки. - Страшно?

- Нет, хорошо. Только у самого дома замело...

- Страшно, - простодушно призналась Настя. - Маша на радостях чуть не разбила окошко.

Настя надеялась кого-то встретить здесь, Зарудный понял это по быстрому

взгляду, которым она окинула комнату. В последние недели лицо Насти стало тоньше, острее. Какие-то сложные душевные переживания наложили отпечаток на ее добродушное, светлое лицо, окружили глаза синевой.

В сенцах стукнула дверь. Настя настороженно ждала. Никого.

- Я забыл запереть, - объяснил Зарудный. - Кого-нибудь ждете?

Настя кивнула, прижалась спиной к теплой печи и закрыла глаза от удовольствия. Маша сбросила оленьи сапоги и с ногами забралась на кушетку.

- Мы хотели проститься с вами, Анатолий Иванович, - Маша, по обыкновению, куталась в платок, часто поводя плечами. - Должны были заглянуть Константин Николаевич, Попов, Можайский. Вы завтра уезжаете с Василием Степановичем?

- Да, если утихнет пурга.

- А она утихнет? - Маша задала вопрос поспешно, с вызовом.

Зарудный внимательно посмотрел на нее. Когда Маша в таком настроении, от нее можно ждать всего.

- Должно быть. Пойду поставлю самовар.

Зарудный долго возился с самоваром. Настя, согревшись, села на край кушетки, возле Маши.

- Вот так прийти однажды сюда, - проговорила Маша, оглядев комнату, и остаться... Свой дом. Свое тепло. Рядом хороший человек, которого ждешь, провожаешь и опять ждешь, ждешь...

Настя повернулась к Маше:

- И останься. Обвенчайтесь. Он будет счастлив.

Маша будто не расслышала ее слов.

- И ни слова больше о женихах, о сватовстве. Он жених, он муж... Трепетать от счастья, услышав стук, а у дверей еще раз зажмурить глаза: он или не он? Еще раз стукнула дверь. Настя поднялась с кушетки и остановилась посреди комнаты.

Снова никого, только скрипела половица под ногами.

Маша, очнувшись, посмотрела на Настю изучающим взглядом.

- Никого, - вздохнула Настя и, возвращаясь к прежнему, сказала просительно: - Анатолий Иванович такой хороший...

- Нет! - Маша резким движением стянула концы платка на груди. - У счастья открытые глаза, непременно открытые. Я вижу это по тебе.

- Ты сама не понимаешь себя, Машенька. Ведь ты любишь Анатолия Ивановича...

- Люблю, - произнесла Маша протяжно.

Настя усталилась на нее. Уж лучше бы Маша возражала, спорила, чем это безразличное "люблю"!

- Выйдешь замуж - полюбишь крепче. Ты будешь любить его. Такого мужа...

- Нет! - упрямо возразила Маша, отвечая на какие-то свои сомнения и колебания.

Вернулся Зарудный.

Маша сказала капризно:

- Как долго вы, Анатолий Иванович!

- Прошу прощения.

- Оставались бы дома. - Маша говорила серьезно. - Уедете - скучно будет.

- Никак невозможно.

- Обойдутся без вас. Торговые дела не по вашей части. Вы и здесь волонтер.

- Совершенно верно. - Зарудный приготовился к ожесточенной атаке. Непременный волонтер, неисправимый охотник до чужих дел.

Сегодня Машу злила податливость Зарудного. Он нравился ей не покорный, а беспокойный, упрямый, как тогда, во время спора с Александром Максutowым.

- Зачем выезжать зимой, в самое неудобное время? Прихоть Завойко?

- Нет, это наиболее удобное время, - Зарудный отвечал терпеливо, как учитель на вопросы ученика.

- Экономическая необходимость?

- Выгоды края, а значит, и экономическая необходимость. Купцы именно зимой предпринимают разбойничьи набеги на деревни и острожки. Где не удастся обманом, пускают в ход вино, угрозы, насилие. Только упустишь из виду этих молодчиков - непременно случится беззаконие. Жил тут у нас один камчадал, вы сына его, Ивана Афанасьева, знаете. Не пришелся он по нраву приказчикам тагильского купца Брагина, они и убили его. Да, не удивляйтесь, убили - и концы в воду. Подкупили исправника, чтоб повез Афанасьева в Петропавловск: судить, дескать, за то, что мешает правильному торгу. Поехали вчетвером: два приказчика, исправник и Афанасьев - каждый на своей упряжке, - а прикатили сюда без камчадала, втроем. Вместо него казенная бумага: мол, Афанасьев вину свою признал и отпросился домой. Сжалились, говорят, отпустили, вот и расписка его. Расписка! - воскликнул Зарудный с неостывшей горечью. - А человек пропал, как под землю ушел. Завойко сына его в портовые мастерские взял. Да человека этим не воскресишь. - Зарудный неловко сел на краешек стула. - А в нынешнее военное время можно ждать всяких сюрпризов: нет такой низости, перед которой остановится купец или приказчик. Народ все коростолобивый,

жестокий. Их надобно в узде держать.

За стеной завозилась Облизина. Настя тихо выскользнула из комнаты.

- Как же вы можете повлиять на эту орду? - удивилась Маша. Приезжаете вы в острожек, а их уже и след простыл.

- Бывает и так, - Зарудный говорил отрывисто, чувствуя странную стесненность. - Но чаще купец трусит, боится.

- Значит, вы отправляетесь в военную экспедицию?

- Похоже.

- Станный вы человек, - сказала Маша задумчиво. - Вернетесь домой и снова один. Много друзей, а все один, один... - И вдруг тревожно: - Хоть бы на меня, недостойную, внимание обратили.

Зарудный поднялся со стула, заслонив собой лампу.

- Не шутите этим, Маша!

Тень упала на лицо Маши, и Зарудный не заметил мелькнувшего в ее глазах испуга.

- Я не шучу, - ответила Маша, бледнея. Она вся подобралась, съежилась на кушетке.

Зарудный шагнул вперед и заговорил сбивчиво, горячо, забыв о вдове и о Насте, беседующих за стеной:

- Если вы все-таки шутите, Машенька... это злая, жестокая шутка. Я странный человек, может быть. Я часто и сам вижу это... Но я люблю вас, люблю больше жизни... Полюбил давно и не могу не думать о вас, и не могу потерять вас...

Маша закрыла глаза. Сейчас он сделает еще один шаг - и она не пошевелинется, не оттолкнет его. Каждый удар сердца отчетливо отдавался в напряженном теле.

Но Зарудный опустился на пол у низкой кушетки и уткнулся лицом в колени Маши. Ее руки торопливым движением легли на голову Зарудного; можно было подумать, что Маша испугалась чего-то, хотя она бережно прижимала ладонями его жесткие волосы.

- Это счастье... - шептал Зарудный. - Жизнь моя, любовь моя, светлая, единственная...

Он порывисто поднял голову, схватил руки Маши, целовал их, прижимал к разгоряченным и влажным щекам.

Девушка почувствовала себя виноватой, пристыженной. Она казалась сама себе нищей. Чем ответить на большую любовь, которой ей самой, может быть, не суждено никогда пережить? На такие чувства способны не все. Зарудный лучше других, ей хорошо с ним, но разве этого достаточно? Он отдает ей

всего себя, в его представлении Маша стоит где-то высоко, она лучше, чище, умнее других; она - жена и возлюбленная, друг и советчик, судья, справедливость, счастье... Маша чувствовала, как высоко вознес ее Зарудный, не умеющий любить иначе, и тот же инстинкт говорил ей: "Берегись, тебе нечем будет ответить ему".

- Я не шучу, - повторила Маша спокойным тоном, который заставил Зарудного выпрямиться. - Это вырвалось неожиданно, вдруг... но я не шучу, Анатолий Иванович... Встаньте, сейчас вернется Настенька...

- Пусть, я не стыжусь своих признаний... своего счастья, - добавил он без прежней уверенности.

- Встаньте, - настойчиво повторила Маша и спустила на пол ноги в меховых чулках. Зарудный виновато поднялся. - Подождите еще немного... и все само собой решится. Хорошо?

- Спасибо! - воскликнул Зарудный, сжимая ее пальцы.

Маша почувствовала прикосновение железного кольца.

Неловкость длилась лишь несколько секунд. Вернулась Настя, в комнату ввалились Пастухов, Попов и Вильчковский.

С наступлением зимы вокруг Зарудного составилась небольшой кружок. У Завойко становилось тесно: офицеры с "Авроры", "Оливуцы" и трех транспортов образовали многочисленное по камчатским масштабам общество, с трудом помещавшееся в доме губернатора. Пришлось завести еще два стола для карт - любители виста составили слишком обширное сословие, полное презрения ко всем другим средствам человеческого общения.

Молодежь искала другого. Хотелось попеть на свободе, не стесняясь присутствием начальства и старших офицеров, поспорить о книгах, узнать как можно больше о крае, который благодаря военным обстоятельствам навсегда вошел в их жизнь.

Все это они нашли у Зарудного: простую, радушную хозяйку, приученную покойным мужем к мысли, что в мире только и есть значительного, что мундир, табак и офицерская вольница; хозяина, знавшего край не хуже своей комнаты; задушевную гитару. Сюда перекочевали лучшие книги и журналы из фрегатской и портовой библиотек; тут высшим авторитетом и судьей стал Вильчковский, и сам помолодевший в кругу молодежи; тут часто упоминали Герцена, Белинского, Гарибальди, чьи имена привели бы в смятение благонамеренных гостей Юлии Егоровны.

До наступления обильных снегопадов у Зарудного собирались редко. Офицеры участвовали в строительстве укреплений. В короткий срок петропавловцы построили девять батарей на пятьдесят четыре пушки, с

соблюдением новейших правил фортификации. Батареи, устроенные с большим искусством, из крепко переплетенных фашин, с прочными траверсами, с максимальным углом обстрела, окопали рвами и соединили крытыми ходами. Работали с рассвета до наступления ночи, азартно, увлеченно, словно неприятель мог прийти не через полгода, а завтра-послезавтра. К середине ноября основные работы продвинулись далеко. А затем начал падать снег, настойчиво, непрерывно. Орудия пришлось укрыть старыми парусами, на которых вскоре уже лежал метровый пласт снега.

Пастухов и мичман Попов зачастили к Зарудному, но особенно сблизился с ним Вильчковский. Доктор похудел, исчезла болезненная одутловатость лица, от частых прогулок к горячим ключам в долине реки Паратунки оно загорело и стало более молодым. Он носился со всевозможными планами ученых изысканий, шумел, весело поблескивая глазами из-за тонких стекол очков. Вильчковский проявлял большой интерес к жизни декабристов в Сибири и часто обвинял Зарудного в лени.

- Поймите же, - тормозил он Зарудного, схватив его руку и рассматривая кольцо почему-то со стороны ладони, будто изучая "линию жизни" собеседника, - ведь неслучайно именно к вам в руки попал этот талисман, неслучайно судьба одарила вас наблюдательностью, умом и поставила на вашем пути страдальцев России. Напишите о них, обязательно напишите! Всякая несправедливость должна предаваться гласности, мужественный подвиг послужит образцом для многих. Мы прозябаем в косности, а ведь пора закричать: "Господа хорошие, довольно! Воздуху! Воздуху!"

Зарудный отклонил высокую честь:

- Это не по мне задача.

- Бойтесь? - негодовал доктор.

- Нисколько. Да и нечего мне бояться. Из Петербурга ссылают в Сибирь. А мне-то уж и ехать дальше некуда.

- А мундир? Служба?

- Пустое! - защищался Зарудный. - Меня и ружье прокормит. Таланта, таланта нет!

- Ересь! Святотатственная ересь! От нее мы несем неисчислимый урон! В этом пункте волнение Вильчковского обычно достигало высшей точки. - В Европе-с, которую, в упрек России, почитают цивилизованной, любая посредственность спешит поведать миру собственное безмыслие и убожество выпуском книги. Отправится дилижансом в ближайший город - глядишь, и готово описание пути, нравов, обычаев, дорожного устройства, гостиничных простынь, чужих физиономий. А ежели грамотей еще и имущий, тогда и вовсе

беда: тотчас же станет газету печатать... Да-с! - Вильчковский угрожающе подымал руку. - Мы же, милостивый государь, золото в землю закапываем. Честные мысли, важные открытия, все, все, на что так богат наш народ, гибнет втуне, не имеет выхода, а порою не ищет его, сказав себе однажды: "Не могу, не умею, слаб-с, неталантлив!" Опаснейший вздор и ересь!

Однажды, когда они остались наедине, Вильчковский повел настойчивую атаку, и Зарудный почувствовал, что у него больше нет сил противиться доктору.

- Ну что ж, я напишу, пожалуй, - проговорил, сдаваясь, Зарудный. - Но какая польза людям оттого, что в моем столе прибавится исписанной бумаги?

Вильчковский подошел вплотную к Зарудному и с молодой силой схватил его за плечи.

- Об этом не тревожьтесь! - проговорил он, наклонив голову и возбужденно поверх очков глядя на Зарудного. - Она не залежится в вашем столе. Необходима только смелость, смелость, мой молодой друг. Вы готовы действовать?

Зарудный молча кивнул, - ему передалось волнение доктора. А тот усадил его рядом с собой на кушетку и осторожно заговорил:

- Вы, конечно, слыхали о Герцене. Это великий человек! И то, что он делает для России, для нашего страдающего народа, огромно. Но мы должны помочь ему. Он не может вернуться на родину. Честные люди России должны стать глазами и ушами Герцена. В изгнании он создал вольную русскую типографию, а мы, тысячи ненавистников рабства, снабдим ее фактами русской жизни. Герцену нужны корреспонденты, он просил меня об этом. Русские моряки уже доставляют и будут доставлять ему почту. - Вильчковский сокрушенно развел руками. - Но мы слишком мало бываем на берегу, мы плохо знаем жизнь в губерниях, а Герцен требует фактов, одних фактов и правды. Доктор потряс поднятым вверх кулаком. - Под пером Искандера эта правда превратится в грозную силу, придет час, и она поразит коронованного сатрапа! Ваше положение превосходно: доверие Завойко (не открывайтесь ему, человек он честный, да в этом деле одной честности мало!), полная ваша осведомленность в делах Сибири и Петропавловский порт с его почтовыми удобствами... Писать можно и не прямо Герцену, осторожности ради. Я дам вам адрес торговой фирмы. - Он умолк, еще раз испытующе посмотрел на Зарудного и спросил: - Вы готовы на это?

- Готов, - твердо сказал Зарудный.

Жизнь его отныне наполнялась новым, более высоким смыслом. Часто заходил разговор об Андронникове. К общему удивлению, среди бумаг

убитого землемера оказались любопытнейшие записки, дневники и наброски неотосланных писем ученого содержания. Вильчковский и Зарудный с возрастающим интересом разбирали бумаги, исписанные бисерным почерком Андронникова. Наблюдения землемера над бытом и природой Камчатки, метеорологические записи, заметки о животном и растительном мире представляли огромный интерес, - впервые за сто лет, минувших после посещения полуострова Степаном Крашенниковым, жизнь Камчатки исследовалась так тщательно и талантливо. Нескрываемая ненависть к официальной науке, атеистические приписки на полях, юмор - все это делало бумаги Андронникова живыми, осязаемыми. При разборе бумаг Зарудному не раз казалось, что он беседует с самим Андронниковым, слышит басовитый голос старика, его громкий смех. Вильчковский нашел запись землемера, которой он затем не раз побивал Зарудного: "Мысль изреченная есть ложь!" - записал Андронников и продолжал от себя: - "Плутовство и поповское блудодейство! Мысль сокрытая есть преступление. Преступление противу себя и противу человека. "Nihil potest esse verius"*.

* Нет ничего истиннее сего! Часто у Зарудного говорили о том, что ждет Петропавловск и "Аврору" с наступлением весны. Вернется ли сюда неприятель? Будет ли ожидать его "Аврора" в гавани или уйдет вместе с небольшой эскадрой в Охотское море?

Высказывались самые дерзкие предположения. Больше всего увлекала молодежь возможность крейсерства в Тихом океане. Пастухов развивал планы крейсерства, в мечтах своих легко преодолевая расстояние от Камчатки до берегов Америки, бороздя океан вдоль и поперек, наводя ужас на английских купцов. Настенька слушала Петухова с упавшим, замершим сердцем, невольно гордясь и восхищаясь им.

Обычно Константина обрывал кто-нибудь из трезвых собеседников Вильчковский, Зарудный или артиллерист Можайский, насмешливый, сухощавый брюнет, похожий на горца, всегда интересовавшийся технической стороной дела.

- Не забудь, Константин, что в Америке нам не на что рассчитывать. Во всех крупных портах неприятельские суда. Повторись ныне Калья - и с "Авророй" не стали бы церемониться. А экипажу нужна вода, свежая провизия...

- Но у нас есть крепость Ситха, - упорствовал Пастухов. - Фактории Российско-Американской компании.

- Они будут блокированы неприятелем.

- "Аврора" прорвет блокаду!

- Как знать, - скептически возражал Можайский. - Если неприятель двинет линейные корабли, большие фрегаты... Англичане в Америке как дома. Они хоть и давние недруги Штатов, а все-таки всегда сталкиваются с янки. Мы можем надеяться только на русские берега.

- Этого достаточно, - ворчал Константин, чувствуя, как блекнет его мечта.

И в этот вечер говорили о будущем "Авроры".

Канун отъезда, пусть непродолжительного и не связанного с морем, будоражил людей. А тут еще Вильчковский объявил новость, припрятанную им как сенсацию: он тоже отправляется в поездку с Завойко.

- С трудом уговорил Ивана Николаевича, - сказал он торжествующе. Знаете характер: кремень, скала! И любит держать людей при себе. Долго не сдавался, потом заявил: "Ладно уж, во имя науки, так и быть, отправляйтесь". Я его травками пронял!

- Какие травки зимой на Камчатке? - поразился Попов.

Вильчковский хлопнул себя ладонью по широкому лбу и рассмеялся:

- А ведь верно! Мы и не подумали об этом, два старых чудака... О лекарственных травках толковали.

- Могу утешить вас, - сказал Зарудный, - вы и зимой найдете превосходные лекарственные коллекции: и травку, и цветы, и корни. Их заготавливают с лета...

К полуночи, когда Зарудный пошел провожать гостей, пурга унялась. Ветер еще врывался в город со стороны Ракового мыса, слабея и задерживаясь у первых же портовых зданий. Снег полузасыпал дорожку, и она напоминала батарейные ходы сообщения - белую лунную траншею. Пастухов и Настенька шли бок о бок, теснясь и сваливаясь в сугробы, так как дорожка была рассчитана на одного человека.

Маша, молчавшая почти весь вечер, задержалась с Зарудным у дороги, неожиданно притянула его к себе и быстро, словно виновато, поцеловала в щеку холодными губами. Не успел он выпрямиться и справиться с каким-то странным чувством неловкости, Маша уже сбежала на дорогу и присоединилась к офицерам.

Зарудный долго стоял на пригорке, наблюдая за фигурами, уходившими все глубже и глубже в нескончаемый белый овраг. II Утром следующего дня на открытой площадке у двора Завойко собралось множество петропавловцев и приезжих офицеров, - новичкам было особенно любопытно посмотреть на большой зимний выезд. Унтер-офицеры и писаря нагружали нарты провизией, лопатами, семенами огородных растений, каюры расхаживали у нарт, а суетливые подростки давно утрамбовали снег на наклонной площадке

у серого дощатого забора. День начинался спокойный, тихий. Такие дни не редкость в этом уголке Камчатки, заботливо прикрытом горами. Но стоит перевалить за сопки, спуститься в долину реки Камчатки и картина резко меняется: холодные ветры перехватывают дыхание, секут кожу, заставляют падать ртуть в термометре.

Старик Кирилл с раннего утра вертелся около каюров - молодых, неразговорчивых камчадалов, тревожно посматривая на небо и донимая их советами.

- Гляди-ка мне, - говорил он уже не в первый раз невозмутимому каюру, - не гони споначалу собак: собаке роздых нужен, пока она не вбежалась. Собака в человеке спокойствие любит, разумность. Ты ей споначалу роздых дай, потом она сама понесет, что олень. А не дашь роздыху - запалится, обезножит.

- Хорошо, дедка-а, - протяжно отвечал каюр.

- Может, какой барин и прикажет: "Гони!" - бубнил старик, - а ты знай свое дело, дай собаке роздых. Помни, кого везешь, окаянный!

Кирилл недоверчиво осмотрел упряжки, попробовал рукой стоячий баран нарт, хорошо ли укреплен; постучал по копыльям, посматривая в один глаз из-под косматой брови на озорных мальчишек. Он уверял, что концы остолов длинных заостренных шестов - притупились и при спуске с горы ими не остановить нарты.

Увидев в толпе Харитину, старик по-гусиному зашипел и затрусил к дому: с тех пор как губернаторский самовар получил пробоину на Кошечной батарее, кое-как заделанную в мастерских порта, Кирилл невзлюбил девушку. Он теперь подолгу беседовал с клокотавшим самоваром, называл его и "ветераном" и "степенством", но ничто не могло примирить его с Харитиной, которая, как он утверждал, "украла" самовар. Разрешение Завойко Кирилл в таких случаях не ставил ни во что.

Проводить губернатора явились многие чиновники. Они толпились за воротами во дворе, поджидая Василия Степановича. За оградой оставались судья с женой и Диодор Хрисанфович Трапезников, в молчаливом раздумье стоявший неподалеку от собак. Он прислушивался к их негромкому вою и укоризненно смотрел на возникавшую время от времени собачью грызню.

Зарудный надеялся, что и Маша придет проститься. Тут были все знакомые и друзья, даже пленный француз, тяготившийся бездельем. Он смеялся и потешно размахивал руками в кругу петропавловских жительниц. Изыльметьев вполголоса разговаривал с Вильчковским, грозил ему указательным пальцем и тяжело хлопал по плечу. Мровинский деловито

расхаживал по площадке, словно примеряя, годится ли она для устройства батареи, и молча совал знакомым руку, сложенную, как всегда, ковшиком.

А Маши не было.

Отъезд задержался. Прошел отец Маши, мельком и, как показалось Зарудному, неприязненно взглянул на него.

Один Пастухов видел страдания друга. Счастливый, уверенный в привязанности Настеньки, он особенно остро ощущал тоску Зарудного.

Настя выбежала за ворота в легкой шубке, с накинутым на голову платком.

- Здравствуй, Настенька! - окликнул ее Зарудный.

- Здравствуй, - поклонилась ему девушка и ласково кивнула Пастухову.

- Уж не меня ли вы ищете? - спросил Зарудный.

- Вас. Василий Степанович немного задержится. Миша вчера заболел, ночью сделался сильный жар, лихорадка. Юлия Егоровна не хотела говорить, да уж так получилось...

Позвали в дом Вильчковского и Изыльметьева.

Зимний день светлел, отливая золотом и тонкой синевой неба.

Маши не будет.

К десяти часам пришел Завойко, с непокрытой головой, в новенькой, богато изукрашенной кухлянке. Юлия Егоровна шла следом за ним с дорожной сумкой в руках. Кирилл с подносом обошел отъезжающих и гостей. Выпили по большой чарке рома и стали рассаживаться на узких нартах по двое, вытягивая вперед ноги или свешивая их набок. Ездовые нарты с цветистой куторгой, затейливо переплетенной между досками и варжиной - легкими перильцами с боков нарты, осели в снег под тяжестью тел.

Завойко простился с Изыльметьевым, с чиновниками и офицерами, окружившими его. Ласково обнял Юлию Егоровну.

- Береги Мишеньку, он у нас слабенький.

- Я выхожу его, дружок... Поезжай с богом... - Она протянула мужу сумку и меховую шапку.

Собаки плавно взяли с места и, усиливая разгон, понесли седоков к Никольской горе.

- Роздых! Роздых не забудьте, иродовы дети! - беззвучно бормотали губы Кирилла.

У Култушного озера, там, где дорога, прихотливо изогнувшись, огибает Никольскую гору, поезд Завойко встретился с нартами Чэзза.

Рыхлое лицо американца расплылось в угодливой улыбке. Он приветственно помахал шапкой и поклонился Завойко, который приказал остановить нарты.

- Второй час поджидаю вас, ваше превосходительство. - Он показал рукой на

белое пространство впереди: - Хозяину дорога!

Завойко не ответил на приветствие. Охватил взглядом четыре грузовые нарты Чэзза, согнутые, безразличные фигуры каюров, испуганное лицо Трумберга, изгнанного со службы за систематическое мошенничество и нанявшегося до навигации будущего года в приказчики к американцу.

- Много нынче дряни везешь? - спросил Завойко, показав на тюки, привязанные к нартам.

- Как можно, ваше превосходительство! Лучший товар! - Чэзз заискивающе улыбнулся. - Охотники встречают меня как родного.

- Смотри, чтобы и провожали как следует. Знаю я тебя!

Завойко погрозил ему кулаком и уехал.

Чэзз не спеша потащился за губернаторским поездом. До Сероглазок ему некуда было свернуть с прямой дороги.

ЕСАУЛ МАРТЫНОВ

I

До Охотска тысяча верст. Часть пути, до Амгинского перевоза, Мартынов проделал на лошадях, по лесным просекам и оледеневшим топям. Теперь лошади делали в день не больше семидесяти - восьмидесяти верст, а затем и вовсе пришлось отказаться от лошадей - поклажу сгрузили на нарты и продолжали путь на собаках. Но по глубокому снегу или по скользкому насту, покрывавшему огромные тундровые пространства, собаки двигались медленно, выбиваясь из сил.

С этим ничего не поделаешь. Собаки все чаще выносили нарты в тундру, на плоскогорья, открытые северо-восточным ветрам. Степан, перевязывая тюки на опрокинувшейся нарте, которую собаки долго волокли по снегу, обморозил руки.

Настоящие испытания только начинались. Пока лошади мчали кибитку так, что шуршанье полозьев сливалось с посвистом ветра, Мартынов был бодр и весел, - он знал, что нет человеческой возможности двигаться быстрее. Каждый прожитый день приносил удовлетворение. Никто еще не ездил быстрее его по ленскому зимнему тракту. Пожалуй, и ни один из губернаторов Восточной Сибири еще не скакал так по своему царству.

Сутки летели быстро, словно камень, брошенный сильной рукой по гладкому ледяному полю. Мартынову хотелось крыльев, и каждый раз, получив свежих лошадей, он бросал ямщику привычное: "Гони!"

Кибитка неслась вперед, а есаулу казалось, что у него и впрямь вырастают крылья и он, мягко покачиваясь, летит над снежной дорогой. Толчки, удары

полозьев о камни под снегом выводили его из мечтательного забытья. Мартынов высовывал голову из кибитки и радовался тому, что лошади по-прежнему неустомимо бегут вперед.

Совсем не то теперь. Часто перебирая ногами, собаки тащат по снегу тяжелые нарты, налегая грудью на кожаный алык, соединенный постромкой со средником - длинным ремнем, приклепленным к самой нарте. После шумной грезни и воя на остановках они бегут ровно, неустомимо, частя темными лапами по снегу. Но даже сильная упряжка в десять или одиннадцать собак не делает больше пятидесяти верст за день, так как на каждой нарте по два человека с поклажей или один каюр и десять - пятнадцать пудов груза. На нартах сухари, вяленое мясо, сахар, табак, всевозможная мелочь, вроде ложек, ножей, иголок, трубок, колец, бисера для расплаты с проводниками, каюрами или хозяевами собак. Здесь нет почтовых станций, селение от селения отстоит на десятки, а порой на сотни верст; нечего и думать о том, чтобы часто менять собак. Необходимо захватить еще и собачий корм; длинношерстые, остроухие собаки становятся твоими постоянными спутниками. Каюр заботливо смотрит за ними: осматривает лапы после больших переходов, грудь, трущуюся о жесткий алык, дает им корм, отгоняет остолом драчунов, всегда готовых вырвать кусок оленины или мороженой рыбы у слабых. Редкие ночи удается провести в берестяных юртах якутов, - большей частью ночлег устраивался в едва укрытом от ветра месте: за ночь снег засыпал людей, закутанных в меха, и собак, свернувшихся друг возле друга.

За Алданом у иркутского казака началась цинга. Он стал вялым, сонным, словно угнетенный какой-то тяжелой, неотвязной мыслью. С трудом прожевывал сухую пищу, но старался скрыть болезнь от есаула. Обнаружились признаки цинги и у Степана; она не тронула пока только крепкие, с редко посаженными зубами десны Мартынова.

Но на горном спуске к Аллах-юню с есаулом случилась беда.

До реки Аллах-юнь и небольшого якутского поселения у переправы оставалось около сорока верст. Узкая тропа шла по склону горы, круто скользя вниз или петляя вокруг поросших пихтой и кедром скал. После холодной ночи утро наступило хмурое, снежное. С перевала, которого они достигли вечером, нельзя было разглядеть спуска в долину. Начинался буран. Горизонт был плотно закрыт белесой пеленой.

Мартынов не захотел ждать, пересидживать непогоду. Он сердито крикнул на каюров:

- Слава богу, не в тундре, не заплутаем! А в Аллах-юне и отдохнем и

отогреемся.

Каюр Мартынова, правивший легкими ездовыми нартами, с ременным переплетом вместо досок для сидения, решился возразить ему:

- Правду говоришь - не заплутаем. А шею свернуть очень просто.

Якут посмотрел на своих товарищей, ища поддержки.

- Он правду говорит, начальник, - поспешно подтвердил второй каюр. К Аллах-юню в такую погоду спускаться - бо-о-льшую беду делать!

Третий каюр, темнолицый якут, у которого даже белки глаз отливали оливковым цветом, равнодушно прислушивался к разговору. Мартынову показалось, что у этого каюра он найдет поддержку.

- Скажи ты, - обратился к нему Мартынов, - ты старше всех.

Каюр посмотрел под ноги, затем огляделся вокруг, будто хотел еще раз увериться в том, что метель не утихает, и с достоинством ответил:

- Не спрашивай у старого, спрашивай у бывалого, - он кивнул головой на молодых каюров.

- Однако как ты думаешь? - настаивал Мартынов.

- Эх, начальник, - с сожалением проговорил якут, - меня спросишь, а все равно по-своему сделаешь.

Сказав это, он отошел к своей нарте, полагая, что Мартынов не послушается их совета.

Он не ошибся. Есаул приказал начать спуск. Якутам приходилось то и дело останавливать нарты, втыкая в снег остолы.

Нарты то сближались, и тогда было слышно короткое дыхание собак, то пропадали в белом вихре, и только по необычно громким крикам каюров Мартынов знал, что товарищи живы и движутся где-то невдалеке.

Он и сам понимал, что каюры правы. Казак из Якутска, назначенный Мартынову в проводники, тоже согласен с ними, хоть он и не проронил ни слова: из этого бородача слова нужно было тянуть кузнечными клещами. Он не раз прошел путь от Якутска к Охотскому морю и знал, какой риск представляет спуск к Аллах-юню в пургу.

Риск?

Мартынов обязан рисковать. Если ему вздумается в этих гиблых местах пересидеть непогоду, он приедет в Петропавловск целехонек, но когда? В мае, при большой удаче - в конце апреля. Поздно! В таком случае не стоило и отправляться из Иркутска. Слова "риск" не было в предписании, но вся его поездка величайший риск; выиграть дистанцию можно только при условии, что он пренебрежет опасностью и привычным распорядком.

Перед Мартыновым вырос темный массив скалы. Ветер словно нарочно

сдернул с нее легкий снежный покров, обнажив изломанную поверхность гранитной стены, ее острые уступы и трещины, заполненные снегом. Нарта быстро неслась на скалу, настигая собак. Каюр вонзил остол в снег перед нартой, но железный наконечник ударился о камень, а нарту занесло толчком в сторону. Молодой каюр успел повернуть упряжку вправо, и Мартынов только чуть задел плечом о скалу, но этот маневр обошелся дорого: каюр выпустил из рук остол.

После этого собаки понесли с возрастающей быстротой. Нарта ударилась о камень, подпрыгнула, на поворотах ее заносило так сильно, что Мартынов хватался за варжины и стоячий баран, чтобы не упасть. Оттого, что окружающие предметы были плохо различимы, быстрота спуска казалось еще большей. Уже несколько минут Мартынов не слышал голосов других каюров, скрипа полозьев, - только ветер свистел в ушах да бешено дышали настигаемые нартой собаки.

Наконец на крутом спуске за одним из поворотов нарта налетела на упряжку и сбила собак с ног. Мартынов и якут покатались вниз, в ущелье, и последнее, что ощутил есаул, - это сильные удары в лицо, в грудь и спину. Перевернутая нарта повисла над обрывом на крепком ремennom среднике.

Собаки остались лежать на снегу. К завыванию ветра прибавился их протяжный вой, оказавшийся спасительным для Мартынова и его каюра: по этому вою люди установили место катастрофы и пришли на помощь.

Мартынов пришел в себя только наверху, после того как Степан влил ему в горло большую чарку водки. Еще не открыв глаз, Мартынов услышал слова старого якута, сказанные кому-то спокойно и добродушно:

- Терпи, Никон. Связался с дьяволом - терпи. Ничего не поделаешь, что потерял один дурак, сто умных не найдут. Эх, нога-то Распухла!

Мартынов знал язык якутов, но он ничего не сказал в ответ на дерзость каюра. Приподняв голову, он хрипло закричал на казаков:

- Чего стали, чертовы дети! Или поминки по мне справлять задумали? Тро-о-гай! Живо-о-о!

На спуске к Аллах-юню экспедиция Мартынова потеряла грузовую нарту со всей упряжкой. Она упала в пропасть. Каюр Мартынова, хоть и молодой, но знающий дорогу лучше других, не мог двигаться дальше. У него, кроме перелома ноги, сильно ушиблен живот, - он беспокойно поводил темными глазами, стонал и отказывался от мяса.

Мартынова трясла лихорадка. Острая боль чувствовалась в правом боку, по-видимому были повреждены ребра. Лежа в снегу, он простыл. Ушибы головы и общее потрясение только усиливали озноб. Иногда он впадал в забытие,

метался в жару, словно приближаясь к раскаленному чрену солеварни. Степан хлопотал вокруг него, укутывал оленьими дохами.

Приходя в себя, Мартынов садился на разостланные меха и приказывал собираться в дорогу. На этот раз якуты оказались непреклонными. Упрямо молчали, показывая на молодого каюра, лежавшего возле огня, на самого Мартынова, на его опухшее, в кровоподтеках лицо, или открывали двери юрты, чтобы "русский начальник" мог увидеть, как свирепствует пурга. Но больше всего они упирали на то, что "сам начальник" болен, что голова у него не в порядке, - их напугали минуты его горячечного бреда; говорили, что, пока он не поправится, они и не подумают покинуть жилье. Мартынов ругался, угрожал, обещал богатые подарки каюрам, хозяину юрты, если тот найдет новых каюров, но якуты твердо стояли на своем.

Несколько раз Мартынов подзывал к себе Данилу Касьянова, казака из Якутска. На бородача происшествие в горах не произвело никакого впечатления. "То ли бывает, - говорил его равнодушный взгляд. - Все живы и то добро".

- Слышишь, Данила, может, без них махнем, а?

Проводник упрямо мотал головой. На такие вопросы не стоило и отвечать.

Мартынов сердился. Но казак молчал.

- Какого же черта ты в проводники вызвался? - злился есаул. - Сидел бы с бабой в избе, если дела не знаешь.

В ответ казак выдохнул короткую фразу:

- Ох, и сидел бы... - Он по-бычьи склонил голову набок. - Начальство гонит...

В юрте, поближе к окну, расстелили белую лошадиную шкуру. Вскоре явился и шаман - остроголовый старик с узкими щелочками глаз, с болезненно подвижным лицом. В руках он держал бубен, с головы свешивались пестрые ленты, нитки блестящих бус, лоскутья белого меха. Его позвали к больному каюру, чтобы изгнать болезнь, - на взгляд якутов, она забралась в его живот, пока каюр находился в ущелье, среди злых духов.

Три крохотных берестяных сосуда, наполненных оленьей кровью, стояли между лошадиной шкурой и огнем. Подойдя к шкуре, шаман опустился на нее неслышно, как пустой мешок. Его темные губы беззвучно прыгали, а ноздри трепетали непрерывно, как у зверя, принюхивающегося к острому и желанному запаху.

Шаман не смотрел на якутов и русских, находившихся в юрте. Только дважды на протяжении долгого камлания Мартынову показалось, что он поймал на себе пристальный взгляд шамана - светлую полоску, сверкнувшую между коричневых морщинистых век.

Вдруг шаман визгливо закуковал:

- Ку-ку! Ку-ку!

Трижды выкрикнул, точнее - простонал, имя больного:

- Никон! Никон! Никон!

Трижды свистнул сквозь желтые крупные зубы, трижды пробормотал:

- Ба-ба!

После этого стал раскачиваться, сильнее и сильнее ударяя в бубен и бормоча слова заклинания, сначала неслышно, затем громче, визгливее, нагсажнее.

Шаман поднялся на ноги, продолжая раскачиваться и подпрыгивать. Он вгляделся в колотушку бубна, приблизив ее к прищуренным глазам, и причитал, все убыстряя движения. Схватив бубен под мышку, старик быстро завертелся на белой шкуре, подергиваясь всем телом и оглашая юрту громкими криками. Пестрые одежды свободно болтались на тощем теле.

Каюр со страхом и надеждой следил за шаманом, который дошел тем временем до исступления и рухнул на шкуру рядом с больным якутом, припав вздрагивающими губами к его обнаженному животу. Шаман долго извивался по полу, давая понять, что он борется с духом болезни, втягивает его в себя и содрогается от борьбы с ним. Чтобы не оставалось сомнений в могуществе и дьявольской силе духа, шаман, окончательно вытянув недуг из больного, упал рядом без движения, словно потеряв сознание.

Под глухое гудение бубна - в него непрерывно бил помощник шамана - он лежал несколько минут, плоский, как упавшее тряпье.

Его ноздри по-обезьяньи раздулись и едва заметно вздрагивали от прикосновения свежего воздуха. После этого старик, покачиваясь, направился к выходу и выскользнул наружу, чтобы там извергнуть из себя духа болезни. Каюры и друзья больного сторожили вход, - ведь недобрый дух мог вернуться в юрту и снова вселиться в больного...

Есаул заметил одно обстоятельство: никто не проявлял большого интереса к больному во время камлания, а после того, как "дух болезни" был изгнан, все считали его благополучно исцеленным, хотя бедняге было несколько не лучше. Поэтому, когда и на следующее утро каюры отказались ехать, ссылаясь на болезнь молодого начальника, Мартынов потребовал к себе шамана. После энергичных переговоров вчерашняя процедура повторилась до мельчайших подробностей - только Мартынову удалось спасти живот от лобзания шамана, - есаул сунул ему руку, утверждая, что дух болезни распространился по всему телу и через руку он уйдет легче.

После камлания есаул потребовал у Степана чаю и, напившись досыта, закричал - совсем как прежде, до катастрофы, на каюров, вскочил на ноги и

потребовал немедленно начать сборы.

Мартынов старался казаться веселым. Когда же это не удавалось и начинал трясти озноб, он бегал по юрте, сердился, торопил, делая вид, что его трясет от нетерпения и недовольства каюрами. Не только каюры и хозяева юрты, но и сам шаман был потрясен чудесным исцелением русского начальника.

Из Аллах-юня уехали, против обыкновения, в середине дня, - к счастью, буран утих, и, по мнению шамана, ближайшие дни обещали благоприятную погоду.

Степан Шмаков неотступно ходил за Мартыновым и в дороге старался держаться рядом. Он один видел, в каком состоянии находился есаул. Чай и водка не были достаточно сильным лекарством, а в шамана Степан не верил. На первой же остановке и каюры заметили, что их молодой начальник совсем плох. Это озадачило их. Они и мысли не допускали, что Мартынов обманул их в Аллах-юне. Значит, случилось что-то необычное. Есаул рассеял все недоразумения.

- Видишь, братец, - сказал он с виноватой улыбкой пожилому каюру, плохой лекарь твой щаман. Выпустил мою болезнь на мороз, да не сказал ей, в какую сторону бежать. А она дождалась меня за Аллах-юнем и опять треплет. Каюр отвел взгляд:

- Рано поехал, начальник. Померзла бы и ушла в другое место...

Мартынов упрямо мотнул головой.

- Нет, не рано.

Он опустил горящие веки. Резь в глазах усиливалась от снега.

Каюр снял рукавицы, вынул из-за пазухи темную волосяную сетку, которой защищают глаза в солнечные дни, когда сверкающее снежное поле слепит людей.

- Возьми! - сказал он и дружески положил руку на плечо есаула. Ничего, молодой начальник, все хорошо будет: мокрый ремень не рвется, много лет жить будешь!

- Спасибо на добром слове, братец, - ответил Мартынов, принимая подарок.

Нарты понеслись к Юдому. II Обычно Чэзз не ездил дальше Тигиля. За этим селением начиналась тундра, она тянулась к Пенжинску и Гижиге, на северо-запад, и к Чукотке, на северо-восток. Оленные коряки, кочующие по обширным, поросшим мохом пространствам, не представляли большого интереса для Чэзза. В этом районе торговлю захватили в свои руки представители американских фирм "Россель и К°" и "В. Бордман из Бостона". Они так искусно обирали коряков и камчадалов, живших на побережье Пенжинской губы, что пришлому купцу тут нечем было поживиться.

Но в феврале нынешнего года Чэзз решил съездить в Гижигу, жертвуя лучшими днями зимней торговли. Он был в смятении. Непреклонность Завойко, обычно такого покладистого и вежливого, пугала купца. Ему мерещился почерневший труп Магуда, спина рыжего матроса, исполосованная кнутами, темный карцер гауптвахты. Захотелось уехать домой, в Штаты, и начать дело где-нибудь на западе, хотя бы в Калифорнии. В августе минувшего года он не сомневался в том, что англо-французская эскадра захватит Петропавловск, и взял на бриге "Ноубль" флаг Соединенных Штатов для своей лавки. Заготовил хорошее угощение. Но судьбе было угодно обмануть его расчеты. Чэзз не смог бы сказать, зачем господу богу понадобилось так спутать все карты и даровать победу русским. Видимо, и на небесах любят грубые шутки, от которых набожному кальвинисту становится не по себе.

Магуда ему не жалко. Этот штурман хоть и был храбрым парнем, но слишком любил командовать и кормиться за чужой счет. Напрасно он решил, что у русских не хватит сноровки, чтобы справиться с ним. Кто приходит сюда с такими мыслями, редко убивается целым и невредимым. В сущности говоря, если бы рыжего матроса повесили после экзекуции в порту, Чэзз чувствовал бы себя спокойнее. Ведь Чэзз не пустил его на порог своего магазина, прогнал прочь, полумертвого, голодного, только бы, упаси господи, не навлечь гнева Завойко. В конце концов сердобольные русские бабы сжалились, выходили матроса и даже хлеба дали на дорогу в Штаты. Да, уж с ним лучше и не встречаться, а рыжая собака, вероятно, путается в Калифорнии, рассчитывая на встречу с Чэззом. Напрасно Завойко пощадил его. Чэзз охотно закопал бы его рядом с Магудом. Велика важность схоронить парня, в котором не больше пяти футов роста!

Все-таки Магуду не повезло. Так всегда бывает с людьми, не знающими толком, чего они хотят. Если он хотел торговать, нужно было делать это спокойнее. В таком деле нахрапом не возьмешь и в один год состояния не наживешь. В Калифорнии, говорят, миллионы лежали под ногами, в готовых слитках. Даже дураку видно, бери лопату в руки и не спускай глаз с ружья. Пушная торговля требует ума, навыков, терпения. Нет, не меха были у него на уме! В последнее время парень свихнулся на мысли об Амуре. Далась же ему эта река! Как будто она лучше других рек или ведет прямо в рай. А если и ведет? Неужели такие, как Магуд, рассчитывают попасть в рай? Было бы просто свинством и на том свете находиться в одной компании с Магудом.

Бордман из Бостона должен Чэззу триста долларов. Прошлым летом Чэзз срочно отправил в Штаты партию мехов, закупленных Бордманом. Он

выложил капитану судна свои денежки за провоз мехов. Было бы обидно уехать, не получив с гижигинского купца кровные доллары. К тому же Чэзз еще не решил твердо, уедет ли он. Нужно поглядеть, как дела у Росселя и К°, разнюхать настроение Бордмана. Чэззу есть что порассказать, но и их послушать полезно, - грамотей из Бостона за сто миль чует опасность, всегда все знает и умеет вовремя поставить точку. С такой головой можно заседать в конгрессе, а не торговаться до хрипоты с тунгусами и коряками. Напекают на дурную репутацию Бордмана... Ну, это, положим, вздор... Плохая репутация никогда не мешала деловому человеку. Разве в конгрессе заседают святые? Ничуть не бывало! Дело есть дело. А Бордман из Бостона - деловой человек. Подъезжая к Гижиге, Чэзз вдруг с испугом подумал, что не найдет здесь ни приказчика фирмы Россель и К°, ни проныры Бордмана. В самом деле, а вдруг они уехали еще осенью, предоставив Чэзза мстительности Завойко? К чувству страха примешался голос корысти и трезвого расчета. Жаль долларов, увезенных Бордманом, но останься Чэзз здесь без всяких конкурентов один-два года - он бы удвоил свое состояние.

Бордмана он застал дома, в постели. Купец только что возвратился из Охотска и простудился в дороге. Он был, как всегда, вежлив, суховат и странно напряжен. Его лицо напоминало правильный треугольник, перевернутый основанием вверх. Плоская голова, покрытая черным жестким ежиком, и лицо, срезанное от висков к острому, мышинному подбородку, - лицо словно без скул, а нижняя челюсть как игрушечная. Острый, с горбинкой нос, маленький рот, изо рта торчит трубка. Темные бархатные глаза дополняли этот странный портрет. Особенно обманчивы глаза, - они умели казаться и добрыми, и грустными, и сочувственными, и даже любящими в ту самую минуту, когда их хозяин спокойно обдумывал, как удобнее спустить с вас шкуру.

Обменявшись с Бордманом ничего не значащими любезностями и получив с него триста долларов в обмен на расписку капитана, Чэзз издали повел интересующий его разговор.

- Не могу ли я получить от вас рекомендательные письма в Бостон, мистер Бордман? - спросил он.

Бордман ласково посмотрел на него, но ничего не ответил.

- Собираюсь прикрыть лавочку, - вздохнул Чэзз, соорудив жалкую гримасу на рыхлом, ноздреватом, как тающий снег, лице.

- И выбрали Бостон?

- Да, мистер Бордман. Почему бы и не Бостон?! - сокрушенно сказал Чэзз. - Пора подумать о себе. Вы ухитряетесь создать себе какой-то уют в таком

гиблом месте, как Гижига. А я, знаете, живу как собака...

Бордман постучал трубкой о спинку кровати, высыпал пепел на пол и стал не спеша набивать трубку.

- Грех сетовать на судьбу, мистер Чэзз! - сказал он, воодушевляясь. Мы пионеры великой цивилизации, и люди когда-нибудь воздвигнут нам памятник.

- Сомневаюсь, - пробурчал Чэзз. - А хотя бы и так! Мне наплевать. Меня на эти штучки не подденешь. Дайте мне письмо - и я уеду, ни разу не оглянувшись!

Маленькое лицо Бордмана исчезло в облаке табачного дыма. Из-за этой завесы раздался спокойный голос:

- Мистер Чэзз, я никогда не бывал в Бостоне.

Чэзз подождал, пока рассеется дым.

- Позвольте-е-е... - недоуменно протянул он. - Не пойму... Где, вы говорите, не бывали?

- В Бостоне, - повторил Бордман. В эту минуту его глаза излучали мягкую грусть. Они скорбели о том, что им не пришлось увидеть такой прекрасный город, как Бостон. - Официально я именуюсь Бордманом из Бостона. Хорошо звучит и очень удобно. Уверен, что из Бостона обо мне не сообщат ничего плохого. Вы твердо решили ехать? Продаете магазин, дом? Бордман впился глазами в Чэзза.

- Черт возьми, - развел руками Чэзз, - в последнее время не узнаю себя. Ехал к вам, проклинал свою судьбу, русских... Даже боялся, что не застану ни вас, ни приказчиков Росселя...

- Они действительно уехали, - сказал Бордман, снова утопая в душистом дыму.

Чэззу захотелось протянуть руки к тонкой шее Бордмана и душить его до тех пор, пока тот не выложит все, что у него на уме.

Вместо этого Чэзз жалобно спросил:

- Куда?

- К чукчам. Повезли всякий хлам, залежавшийся на складе. Надеются на богатый улов.

- Удачливые люди, - завистливо сказал Чэзз, - умеют из грязи делать Деньги! Бордман промолчал.

- Все прибирают к рукам, - канючил Чэзз. - Вам - раздолье. Исправник - пьяница, трус... Народ на сотни миль голодный!

- Мы считаем, мистер Чэзз, что самое теплое местечко досталось вам. Бордман рассмеялся. - Как говорят русские: купец первой гильдии.

Чэзз гневно зафыркал:

- Готов поменяться с вами, с Росселем, с купцом, потерпевшим крушение и выброшенным на остров к дикарям! Завойко!.. - простонал он.

- Что ж, по рукам, мистер Чэзз? Вы всегда держали свое слово. Бордман протянул дрожащую руку; острые, нечищенные ногти неправдоподобно удлинляли пальцы. - Я сумел бы поладить с Завойко, - продолжал Бордман, так как Чэзз молчал.

- Ха! - вскричал Чэзз. - Это вы хватили! Поладить с Завойко? Вы видели когда-нибудь раненого моржа, мистер Бордман? Видели? Прекрасно. Так вот, раненого, разъяренного моржа легче привести к причастию и заставить вслух повторять молитвы, чем поладить с Завойко.

- И все-таки я попробовал бы, - проговорил Бордман с мягкой укоризной.

- Честный американец не может иметь с ним дела! - уверял Чэзз, выходя из себя. - Ему не нужно денег, не нужно подарков. Черт его знает, что ему нужно! У него варварское понятие о справедливости. Ему что я, что вонючий охотник, что простая девка - все равно!

- Уж я-то столкнулся бы с ним! - самодовольно сказал Бордман и неожиданно быстрым движением спустил худые ноги на посыпанную пеплом медвежью шкуру. - Ладно, оставим пока Завойко в покое. Посидим. Закусим. Я вам покажу человека, который любит Завойко не меньше вашего. При нем этого имени лучше не произносить.

- Кто такой?

- Мой новый служащий, - загадочно ответил Бордман, влезая в узкие клетчатые панталоны.

За столом разговор не клеился. Челюсти Чэзза, обычно с равным усердием перемалывающие любую пищу, работали вяло. Даже нежный язык молодого оленя, олени мозги, лосось, приготовленный с морожеными ягодами, оставили его безучастным. Мистер Бордман ел мало, словно через силу. Усердствовал молчаливый Трумберг, он всегда хранил почтительное молчание в присутствии выдающихся представителей делового мира.

Новый служащий Бордмана, которого Чэзз увидел, как только они перешли в другую комнату, не обращал ни малейшего внимания на присутствующих.

Бордман просил Чэзза поподробнее рассказать о военных событиях в Петропавловске. Чэзз говорил нехотя, скрыв, что он сидел на гауптвахте. Как только Чэзз упомянул имя Завойко, приказчик Бордмана вскричал так, что прислуга, появившаяся в это время в дверях, испуганно попятилась:

- Погодите, я сведу с ним счеты! Я перегрызу ему глотку!

- А! Господин Трифонов! - изумленно воскликнул Чэзз.

Чэзз протянул через стол мягкую лапу. Трумберг поспешно встал и начал отвешивать поклоны.

- Не узнали, дьяволы? - гремела протодиаконская октава. - Неужели так одичал?

- Переменились, переменились, господин Трифонов! - затараторил Трумберг.

- К лучшему, к лучшему!

Оказывается, судья Васильков предвидел все верно. В Иркутске Трифонова выручили знакомые купцы. Вмешался сам Кузнецов, у него Трифонов когда-то начинал приказчиком. Пустил в ход большие деньги - гижигинский купец обязался все вернуть сторицей, - и дело прекратили. Но счастье изменило Трифонову. Приехав в Гижигинск, он узнал, что стал нищим. Его вторая жена, прожившая три года в рабской покорности, удрала из Гижигинска со старшим приказчиком Трифонова Скосыревым, забрав все ценности и деньги. Дом и магазин хмельной приказчик поджег перед уходом.

На прошлом пришлось поставить крест. Ходили слухи, что его жена с любовником уехала на американском корабле попытать счастья в Новом Свете. Другие уверяли, что беглецы подались в Россию. Трифонов остался с пустыми руками, а иркутские благодетели требовали денег.

Пришлось наняться к Бордману. О жене Трифонов старался не думать. "Подлая баба, - коротко говорил он. - Встречу - убью, а толковать об ней не стоит". Всю силу ненависти он сосредоточил отныне не Завойко.

Чэзз высказал предположение, что весной Петропавловск опять подвергнется нападению.

- Англичане захотят взять свое, - сказал Чэзз. - Они не любят оставаться в долгу.

- Пущай приходят! - заревел Трифонов. - В ножки поклонюсь! В палачи пойду - кнутах Завойко стегать. Сам ему на руки железа надену, закую так, чтобы век не расковать...

- Не увлекайтесь, мистер Трифонов, - сказал Бордман, обласкав бородатого купца евангельски кротким взглядом. - Россия - дружественная страна, мы не должны желать ей зла.

- Ничего с ней не станет, с Россией! - Трифонов зло огляделся. - Ей палки впрок пойдут, по себе знаю.

- Вам хорошо рассуждать, - Чэзз поднялся со скрипящего стула, - у вас не загорится крыша оттого, что в Петропавловске будут стрелять из пушек.

- Господь оградит вас от несчастья, - вдохновенно промолвил Бордман.

- Господь? - Чэзз решил поставить вопрос на более деловые рельсы. - А если англичане захватят Петропавловск?

- Ну? - равнодушно спросил Бордман.

- Я говорю - захватят Петропавловск, ограбят, возьмут в плен начальников?

Бордман остался невозмутим:

- Вас-то не тронут.

- Не тронут, - согласился Чэзз.

- Не ваша вина, что русские дерутся с англичанами?

- Ясно, - вторил Бордману купец.

- Англичане пошумят, поскандальят и уберутся домой. - Бордман раскурил трубку и веско сказал: - Ну а вы поживете год-другой без начальства. Разве плохо? У русских ничего не останется - ни железа, ни домов, ни одежды. Англичане увозят даже бревна. Или жгут. Вы, мистер Чэзз, поможете русским. Привезете новые товары, облагодетельствуете их... Мы все поможем русским...

- Привезу, мистер Бордман! - просиял Чэзз.

Бордман встал, подошел к Чэззу и покровительственно потрепал его по вислой щеке.

- Ну как, раздумали уезжать?

Чэзз рассмеялся, обнажив коричневые, нездоровые зубы.

- То-то же! - сказал Бордман, вперив в него бархатистый, ласковый взгляд. - Никогда не пытайтесь надуть меня и не морочьте мне голову хныканьем. Я вас вижу насквозь. Приходите ко мне как на исповедь.

Чэзз от избытка чувств ткнул Бордмана кулаком в грудь.

- Ох, и скотина же вы, мистер Бордман из Бостона! - воскликнул он умиленно. - Ну и скотина! III В Гижигу Мартынов приехал с денщиком и двумя эвенками, проделавшими с ним весь путь, от Охотска до Гижигинской губы.

Якутского проводника и казака пришлось оставить в Охотске. Проводник никогда не ездил дальше Охотска и уже не мог принести никакой пользы. Казак страдал от цинги, он не выдержал бы дороги до Гижигинска. Кроме того, Мартынов рассчитывал, что, попав в Гижигинск, подначальный камчатскому губернатору, он получит все необходимое - людей, олени и собачьи упряжки.

Охотск поразил его своей тишиной и пустынностью. Житель Сибири, он много слышал об Охотске и считал его крупнейшим перевалочным пунктом на побережье моря, носившем имя Охотского. На неприветливом, скалистом берегу, открытый ветрам, лежал плоский, словно ушедший в землю поселок: несколько десятков изб, пустые магазины в порту и казенное здание, которое потеряло всякое значение с того времени, как факторию Российско-

Американской компании перенесли в Аян.

За Охотском началась дорога, отнявшая у Мартынова остаток сил. Северный ветер налетал с гор, бураны падали на берег с востока, с ледяных полей Охотского моря. Ветер проникал сквозь самые теплые одежды, заставлял собак замедлять бег. Собственно, дороги не было никакой, проводники по каким-то им одним известным приметам находили удобный путь вдоль гористого побережья. Нарты то поднимались на взгорье, на острые, ребристые холмы, негусто поросшие березой и лиственницей, то ныряли в лощины, попадая на ровные пласты снега. Ветер, ударяя с моря, сдирал верхний слой снега, обнажал темные шишки и иглы ползучего кедра.

За двадцать дней пути - обычно от Охотска до Гижигинска добирались в месяц - Мартынову только три раза попадалось человеческое жилье.

В последние перед Гижигинском дни свалился Степан. Мартынов тоже заметно терял силы. Одолевала сонливость, странное оцепенение, без мыслей, желаний, воспоминаний. Он похудел, но это не шло ни в какое сравнение со страшной худобой Степана Шмакова, словно иссушенного многомесячной болезнью.

На двадцатый день пути Мартынова разбудил крик каюра. Нарты остановились. Эвенк тормозил есаула, указывая остолом на что-то впереди себя. Выглянув из-за спины каюра, Мартынов увидел красный шарообразный предмет. В первое мгновение он подумал, что это необычный закат солнца или полярное сияние, вырастающее из гигантской багровой капли.

- Гижига! Гижига приехал! - закричал каюр, возвращая Мартынова к реальности.

На горизонте виднелся красный купол гижигинской церкви.

Даже и после Охотска Гижигинск поразил есаула скудостью, черными стенами низких срубов с крохотными окнами. Но в доме исправника он нашел и довольство и весьма богатую обстановку. Нетрезвый исправник с напряженными глазами и тяжелой челюстью ввел Мартынова в большую комнату. В ней находился письменный стол красного дерева с какого-то разбившегося в Пенжинской губе судна. У стола не хватало ящика, а одна из ножек была кое-как подделана из сосны и неискусно выкрашена под цвет стола. В противоположном углу комнаты стоял мелодиум розового дерева, а посреди комнаты - сверкающий чистотой обеденный стол, покрытый белой скатертью. Дом держался на молодой жене исправника, деятельной и властной женщине, не лишенной привлекательности, - она разрешала мужу пить и бесчинствовать во второй, темной комнате, а сюда, в горницу, оклеенную цветными обоями, пускала его как в храм.

Исправничиха проводила приезжих в баню, к глухому квадратному срубу, покрытому шапкой снега. Оставив есаула и Степана в коротком предбаннике, она прошла внутрь. Мартынов раздевался медленно, борясь с одолевавшим его сном, безнадежно пытаясь подсчитать, сколько дней осталось до Петропавловска.

Степан, голый, стоял понурясь на мерзлом полу предбанника. Мартынов поднялся, намереваясь толкнуть маленькую дверь, обитую медвежьей шкурой.

- Алексей Григорьевич, - предупредил его Степан. - Там баба...

- А? - сонно переспросил есаул.

- Хозяйка там, говорю, - Степан мялся, топтался на месте, зная, что женщина сейчас пройдет мимо них.

Но голос исправничихи, низкий, ласковый, разрешил их сомнения:

- Померзнете там, однако. Сюда ходите. Здесь-ка темно.

В бане действительно было так темно, что красноватый отсвет угольев и трепетавшая на полу свечка не могли осветить наполненного паром помещения. Бревна, покрытые слоем сажи, окружали людей непроницаемой чернотой. В углу, возле груды накалившихся камней, неторопливо двигалась хозяйка. Она с шумом задвинула заслонку и начала поливать раскаленные камни водой. Все, даже неясные очертания женской фигуры и сухощавое тело Степана, потонуло в густом, сладком пару.

У Мартынова закружилась голова, тело обмякло. Захотелось лечь на пол, растянуться и отдать себя теплым, сдавливающим грудь волнам.

Кто-то прошел мимо, толкнув его твердым плечом.

- Степан, черт, куда глядишь? - проворчал ок.

Хлопнула дверь. На мгновение серый свет предбанника ворвался в баню. Степан, как и прежде, стоял в двух шагах, не двигаясь. И снова темнота.

- Шальная баба! - услышал Мартынов голос Степана. - Озорует.

- А что?

- Толкает шибко. Эх, кабы не мужняя жена! - закончил он со вздохом. Проспав восемнадцать часов, Мартынов поднялся бодрым и голодным. За столом он растолковал поддакивавшему исправнику важность своей поездки и потребовал на утро подготовить свежие упряжки. Исправник не возражал, только беспомощно разводил руками, ссылаясь на то, что тут без "господ купцов дела не уладить", что власть ему дана, а "способов не дадено". Выпив изрядно с гостем, он ушел "держатъ совет с купцами" и вскоре вернулся в сопровождении Чэзза и Бордмана. Американцы хотели увидеть человека, который за два месяца домчал из Иркутска в Гижигинск, интересовались

новостями и вежливо спрашивали: не может ли господин Мартынов показать ордена, которыми сам государь император одаривает "славных героев прошлогодней виктории?"

Мартынов, улучив момент, прикрикнул на исправника:

- Все раззвонил, дурак! Не умеешь язык держать за зубами!
- Свои ведь, - объяснил заплетающимся языком исправник. - Люди примерного поведения... Не ссыльные, слава богу.

Мартынов отвернулся. Что с ним толковать!

Вечер медленно тянулся во взаимных расспросах. Мартынов интересовался дальнейшим маршрутом. Куда ехать после Тигиля? Пробираться ли на восток, чтобы достигнуть Авачинской губы по долине реки Камчатки, или держаться равнинного побережья Пенжинской губы и пересечь полуостров после Большерецка? Что он встретит в дороге?

В девятом часу у дома остановилась собачья упряжка. В сенях раздался густой, низкий бас, а когда хозяйка открыла дверь из сеней, чтобы крикнуть мистера Бордмана, Мартынов заметил мелькнувшее в глубине косматое лицо. Вскоре Бордман возвратился. Каюр криком и ударами шеста поднял лежавших за окном собак. По тому, как удалялся голос каюра, можно было заключить, что нарты быстро уносились прочь.

Бордман посмотрел на Мартынова ясным, открытым взглядом лучистых глаз и сказал:

- Если бы господин Мартынов задержался в Гижигинске еще на день, он мог бы иметь хорошую компанию...

Он протянул Мартынову серебряную табакерку. Есаул набил трубку светло-коричневым душистым табаком и сказал:

- Не думаю, чтобы кому-нибудь была по душе моя дорожная метода.
- Ошибаетесь! - возразил Чэзз. - Ничего так не люблю в жизни, как быструю езду...
- Хотя мистеру Чэззу была бы полезнее ходьба, - пошутил Бордман.

Есаул повернулся к Чэззу:

- Вы возвращаетесь в Петропавловск?
- Послезавтра в дорогу, - ответил тот.
- В таком случае я поеду один. Завтра утром.
- Сомневаюсь, - заметил Бордман сочувственно. - У нас не так просто раздобыть хороших собак и проводников. - Он перешел на шепот: - Исправник здесь, знаете... - Купец покосился на дверь.
- Я вытрясу из него душу! - резко сказал Мартынов. - А если не поможет, - он упрямо посмотрел в глазки Чэзза, - если не поможет, уеду завтра на ваших

собаках... Дело не терпит.

- Мои собаки? - засмеялся Чэзз. - Они еще щенки. Правда, мистер Бордман, глупые щенки? Раньше послезавтрашнего дня им не подрасти.

- Ничего, я знаю секрет, они у меня в полчаса подрастут.

Мартынов говорил нарочито грубо. Но Бордман ласкал его все тем же кротким, примиряющим взглядом.

- Жаль, - меланхолически сказал Бордман. - Мой приказчик, очень опытный и хорошо знающий местность, только сегодня уехал в Тигиль...

"Уж не сейчас ли он ускакал?" - подумал Мартынов, вспомнив возню в сених, отсутствие Бордмана и вой собак под окном.

- У него прекрасная упряжка. Одиннадцать собак. Между прочим, он поедет в Петропавловск, если в Тигиле не удастся покончить дело миром. Бордман говорил все это Мартынову, но глаза его лениво следили за хозяйкой. Орудую у стола, она бросала короткие взгляды на молодцеватого есаула. - Осенью моего человека обобрали, отняли мехов на тысячу долларов. Казаки. Сказали - конфискация. Тигильский купец Брагин подпоил двух казаков и пообещал хорошо заплатить. Потом, дурак, обманул их, они и выдали.

Тощий, глазастый Бордман, напоминавший стрекозу в своих узких пестрых панталонах, усердно подливал Мартынову вино. Есаул оглушительно смеялся, заставляя вздрагивать дремавшего в единственном кресле исправника, называл купцов на "ты", величая их жуликами и хапугами. Американцы ушли, подхватив под руки окончательно захмелевшего исправника и водворив его в соседней комнате.

Сон долго не шел к Мартынову. Хмель, как и всегда, не держался в голове: стоило ему прилечь, закурить трубку и сосредоточиться - и к нему возвращалась полная ясность сознания. На полу, у печки, тяжело дышал Степан. Мартынов, лежа на свежей постели, впервые в жизни с такой остротой и удовольствием ощущал силу своего молодого, мускулистого тела, которое не смогли победить минувшие два месяца. "Живуч как собака, - подумал он. Нет, пожалуй, покрепче буду. Собаки падали в пути, обезноживали, а я жив-здоров". Он сильно нажал правый бок. Боль едва чувствовалась. "Из казаков один Степан достиг Гижигинска. Степан жилистый. Но и Степан послабее меня: вторые сутки в Гижигинске, а никак не выйдет из сонного оцепенения. Придется его здесь оставить..."

Впервые Петропавловск рисовался Мартынову близким, лежащим почти рядом, за тундрой и небольшим горным хребтом. Он почти достиг Камчатки, а уж там сумеет добраться и до порта, где живет Маша Лыткина.

Маша! Пока он мчался по Лене, торопился, выбиваясь из сил, к морю, он

старался не думать о ней. Мысль о Маше будила приятное, но тревожное чувство. Оно словно мешало ясно представить себе, какой будет их встреча. Стоило ему вспомнить девушку, представить себя с ней - и все вокруг становилось зыбким, все плыло, мешалось, совсем как в те минуты, когда Мартынову случалось, лежа на берегу Ангары, смотреть на июльское солнце сквозь сетку ресниц, ощущая на лице поток тепла и погружаясь в короткую радужную дремоту. Сегодня впервые Маша долго стояла перед его взором, обрадованная, взволнованная. Он не слышал ее слов, но чувствовал, что она, как и в прежние годы, требует от него ответа на самые главные, самые трудные вопросы жизни...

Тихо заскрипела дверь. Кто-то прошуршал босыми ногами по комнате, приближаясь к Мартынову. Он повернулся на бок и приподнялся на локте.

Шепот хозяйки дома предупредил окрик Мартынова.

- Куришь?.. Думаешь... - сказала она неопределенно.

- А, хозяйюшка! - Мартынов опустил на подушку.

- Куришь все, - тупо повторила женщина.

- Ничего, избы не сожгу.

Женщина присела на край кровати.

- Жги, - сказала она со странной покорностью. - Избы не жалко.

- Ишь, отчаянная... Мужа побоялась бы...

Она ничего не ответила. Мартынову почудился короткий вздох.

- Ждал меня?

- Нет.

Женщина пошарила в темноте рукой. Положила ему на грудь влажную, беспокойную ладонь.

Мартынов отвел руку и сказал строго:

- Не ценишь ты себя, баба... Эх!

- Чего мне цениться-то? - громко ответила она, не смущаясь присутствия мужа за стеной. - Видать, мне мужем такая цена назначена.

- Неладно живете, - заключил Мартынов.

Степан заворочался во сне. Женщина склонилась к Мартынову и прошептала с неожиданной ненавистью:

- Мучаюсь. Сам-то у меня гнилой, удавить бы его, да некому.

Мартынов сел на кровати.

- Ты не бойся, я чистая... - Она схватила его за плечи. - Как увидала тебя, сердце зашлось... Сына мне такого, век господа благодарила бы... Не дает господь детей! - простонала она.

Мартынов услышал тихие рыдания. Неожиданно, против собственного

ожидания, он привлек ее и прижал к себе вздрагивающее тело.

- Сиди тихо, - сказал он, - не балуй.

Она продолжала всхлипывать.

- Ты и слова человеческого-то в жизни не слыхала.

- Нешто услышишь его здесь-ка...

- А детей хочешь? Чему ты научишь их? Или американу отдашь в науку сына?

Женщина резко отпрянула.

- Своего ума хватит. Подойти никому не дала бы... Слышь, что я тебе скажу! -

Она заговорила быстро, в самое ухо Мартынова: - Ты американу не верь и мужику моему не верь. Крутят они им, как хотят, так и крутят... Намедни они все шептались, каторжника одного вперед погнажи, душегубца...

- Ладно, ладно, - нетерпеливо сказал Мартынов. - Ничего со мной не станется, не тронут.

- Слушай меня. Эти ироды все могут... Знать их надо... - Исправничиха вновь прильнула к Мартынову.

- Пускай их бес знает, - резко сказал он. - А мне зачем? Иди. Мартынов мягко отстранил ее. - Да, гляди, за моего казака не зацепись, он мужик злой, баловства не любит.

Она постояла немного, затаив дыхание, потом тяжело прошлепала к двери.

Распахнула дверь и хлопнула ею, как среди дня. Проснувшись, Мартынов узнал от исправника, что мистер Чэзз решил ехать сегодня вместе с "любезным и веселым офицером", что американцы добыли для есаула две выносливые собачьи упряжки, на которых он доберется до деревни Каменской. Оттуда они поедут на оленях.

Дом исправника стоял в верхней части Гижигинска, рядом с казенными строениями, магазинами для муки и соли. Тут же расположились и три купеческих дома с кладовыми и хозяйственными пристройками. Съезжая на карте в нижнюю часть, еще более бедную и пустынную, где избы были случайно разбросаны и стояли без труб, со слюдяными пластинками в маленьких оконцах, Мартынов заметил невысокую фигуру женщины, скользнувшую за деревянную церковь.

Мартынову показалось, что он узнал жену исправника. Ни она, ни мистер Бордман из Бостона не пришли проводить его. IV В Англии росло недовольство флотом. Флот ее величества насчитывал около шестидесяти тысяч человек, но ни одно славное деяние еще не было совершено его офицерами и матросами в эту войну.

Козлом отпущения стал сэр Чарльз Непир, - Лондон отвечал глумлением на все его попытки оправдаться.

В нижней палате Чарльза Непира пытали по всем правилам парламентской инквизиции. Честолюбивый адмирал ясно ощущал неотвратимость надвигавшейся беды. Он и сам был некогда членом парламента и знал, сколь немощны доводы разума, истина перед могущественной силой политических интриг и закулисного сговора. Слишком замкнуто и неприветливо лицо Пальмерстона, того, кому верой и правдой служил старый адмирал. И сэр Джеймс Грэхем молчит, словно не он благословлял медлительность и осторожность Непира и после Бомарзунда, в письме - а оно, к счастью, хранится в бумагах адмирала - будто не он оправдывал его бездействие. "Было бы жалким отсутствием твердости, - писал Грэхем, - если бы вы уступили воплям и рискнули бы вашими кораблями и пожертвовали многими драгоценными жизнями в попытке морскими силами разрушить укрепления, которые непременно должны были пасть при нападении с суши". Адмирал отлично усвоил главное требование кабинета: пусть умирают французы! Чего же хотят от него теперь?

Непир долго говорил об искусстве русских артиллеристов, о неприступности Кронштадта:

- У них могучие крепости, многочисленная армия на побережье, русские канониры на береговых батареях прекрасно обучены...

Адмирала плохо слушали. Раздались жидкие хлопки на скамьях оппозиции, слабые, как разрыв детской хлопушки. Непир только оправдывался, а они ждали другого - разоблачений, нападок на правительство, сенсаций. "Но нет, - думал Непир, - нужно поостеречься". В конце концов, его судьбу решит не парламентская оппозиция - для нее он только возможный козырь, - а кабинет, его старый противник лорд Россель, сэр Грэхем, увертливый Пальмерстон. Не могут же в этой свободной стране вышвырнуть вон с позором и стыдом человека, который командовал Балтийским флотом! Не могут!

Но почему злобствует правительственная партия? Оттуда, с их скамей, раздавались злые, оскорбительные реплики. Особенно усердствовал лорд Осборн, точно его прищипывают иронические взгляды Пальмерстона. И Непир, взбешенный насмешками, пытается перейти в наступление. "Завоеватель Кронштадта", "покоритель Петербурга", "любезный джентльмен, взявшийся передать письма на Невский проспект", оправдываясь перед членами палаты общин, обвинял правительство в неосмотрительности, в плохой организации морской службы.

- Когда я прибыл в Балтийское море, - заявил адмирал, - то застал экипаж корабля "Нил" с плешивыми головами и в очках. Я имел честь донести об

этом лордам адмиралтейства!

Чарльз Непир тщательно готовил этот "экспромт". Он впервые указал на плешивые головы и очки еще в июньском рапорте. Это должно развеселить палату.

Сэр Чарльз Непир сел наконец на место с таким видом, будто нанес противникам неотразимый удар. Но лорд Осборн встал, потирая руки от превкушения приятной сцены.

- Храбрый и почтенный адмирал не намеревается ли развить свои планы балтийской кампании?

Непир протянул вперед красные волосатые руки, словно защищаясь от пощечины, и воскликнул:

- Нет! Нет! Нет!

- К чему же в таком случае хр-р-рабрый и почтенный адмирал говорит об экипаже корабля "Нил", о плешивых головах и об очках?

Осборн никогда не гнушается дешевым успехом. Он состроил гримасу, и по палате покатился хохот.

- Потому что это справедливо! - закричал Непир с места.

- В этом еще должно удостовериться! - Осборн скрестил руки на груди и продолжал громовым голосом: - Как же могло случиться, что храбрый адмирал послал в адмиралтейство рапорт, в котором было сказано, что пятого февраля 1854 года корабль "Нил" был им найден в самом исправном положении?

- Это не противоречит ни очкам, ни плешивым головам!

- Я не постигаю, - торжествовал Осборн, - как мог начальник, храбрый и почтенный адмирал, найти корабль в самом исправном состоянии, когда экипаж этого корабля носит очки и состоит из плешивых голов?

У Непира мелькнула спасительная мысль:

- Какого числа мой второй рапорт?

Осборн ответил без запинки, - у него цепкая память на мелочи, даты, подробности:

- Июня месяца 1854 года, храбрый адмирал!

- Вот видите! - воскликнул Непир. - Четыре месяца спустя!

Смех палаты утих, стихли свистки оппозиции, и адмиралу показалось, что в палате светлеет.

Но ненадолго. Последовал сокрушительный удар Осборна:

- Храбрый адмирал, разрешите вам напомнить, что экипаж, найденный в весьма исправном виде - я напоминаю вам эту немаловажную подробность первого рапорта, - найденный в весьма исправном виде, не может, даже под

вашей командой не может, в течение четырех месяцев потерять все свои волосы и быть принужденным носить очки.

Это нокаут. Считаю хоть до ста, сэр Чарльз Непир не поднимется.

Сегодня ревет от восторга правительственная партия. Завтра будет смеяться вся Англия. Непира могут наградить, могут пожаловать Большим Крестом ордена Бани - это ничего не изменит. Он выброшен вон с позором и стыдом.

Непиру можно надавать публичных оплеух в парламенте, отдать его на растерзание торгашам. Можно посадить его в полном адмиральском облачении на колючие страницы газет, заставить глотать оскорбительные заголовки статей, набранные самым крупным шрифтом.

Имя Прайса вызывает холодное бешенство. Презренный трус! Он посмел бежать от возмездия. Он показал слабость английского флота именно там, где никто не рассчитывал на сопротивление, где чертовски важно поддержать престиж Британии, в назидание, не только китайцам, но и бесцеремонным янки, заглатывающим слишком уж большие и жирные куски.

Если бы хоть адмирал Дондас в Черном море прославил британскую корону подвигами, достойными памяти Джервиса или Нельсона! Но и там ни одной крупной победы флота, ни одного выигранного морского сражения. Русский флот гордится Синопом, русские матросы покрыли себя бессмертной славой на бастионах Севастополя. А чем прославился флот ее величества королевы Виктории? Хвастливой болтовней адмирала Дондаса? Потерей трети экипажа на Камчатке? Постоянными ссорами с французами? Дезертирством?

Куда девалась энергия морских офицеров? Что стало с их былой предприимчивостью, доходившей до дерзости и неповиновения? Если так пойдет дело и впредь, то вскоре рассеется миф о несокрушимости британского флота, составляющего основу могущества Англии. Этак, пожалуй, иные государства начнут строить флоты, не спрашивая разрешения у Англии, проходить мимо ее крепостей, воздвигнутых на всех берегах мира, не спуская флага, проплывать проливами, пренебрегая угрозой британских пушек!

Конечно, Петропавловск-на-Камчатке - ничтожный пункт, неустроенный порт, лежащий за пределами цивилизации. Но пощечина, нанесенная там Британии, жжет лицо. Сподвижники Прайса - офицеры "Президента", "Пика", "Вилаго", осмеянные, лишенные орденов, самым существованием своим напоминают о камчатском поражении. Янки посмеиваются, деликатно, сдержанно, как приличествует родственникам; однако и они рады, когда кто-нибудь колотит Англию, и особенно в Тихом океане.

Петропавловск - ничтожный пункт, но камчатское поражение должно быть

отомщено. "Только кровью!" - вопит "Таймс". "Кровью!" - вторят "Таймсу" в трогательном согласии и правительственные и оппозиционные газеты. Крови требуют парламентские ораторы. О крови возносят молитвы миссионеры, приезжающие за инструкциями на родину.

Только лорд Пальмерстон не произносит этого слова. Он противник резких слов, крайних мнений, показной жестокости. Самообладание первейшее достоинство политика. Можно пролить много крови, н е п р о и з н о с я этого тяжелого, возбуждающего чернь слова! Можно уничтожить в Индии фабрики тончайшего шелка, воздушной кисеи, сказочно красивой парчи, разрушить древние города, храмы, дворцы, отбросить народ на несколько веков назад - и все же твердить о благе цивилизации, которую Англия несет "диким индусам". Можно захватить полмира - и играть роль обиженного человека, вынужденного защищать свое старое фамильное добро!

Вопрос о Камчатке решается просто. Нужен реванш. Моральный авторитет британского флота в бассейне Тихого океана с наступлением весны должен быть восстановлен. Там у Англии достаточно сил. Располагай русские таким флотом на Востоке, они могли бы не тревожиться о безопасности своих восточных портов. Но у них там три фрегата и мелкие суда, о которых не стоит и говорить. Мы пошлем двадцать, тридцать судов. Вместе с французами мы создадим флот в полсотню вымпелов.

Хорошо, что вовремя прогнали эту бездарность Флитвуд-Пеллау. Адмирал Стирлинг лучше справится с обязанностями начальника Ост-Индской морской станции. Он сумел досадить китайцам, сумеет и русским причинить неприятности. Сэр Джэмс Стирлинг благоразумен. Ему часто не хватало храбрости и решимости. Но благоразумные, осмотрительные полководцы так же полезны, как и благоразумные политики... Пока Мартынов, обманув шамана, подвигался к берегу Охотского моря, английский линейный корабль "Монарх", вооруженный восемьюдесятью четырьмя пушками большого калибра, плыл вдоль американского континента, из Рио-де-Жанейро к мысу Горн.

В тихоокеанских портах Новой Англии, на островах Товарищества и Сандвичевых островах английские и французские суда ждали приказа к отплытию.

"Президент" и "Пик", "Форт" и "Эвредик", "Альцест" и "Дидо", "Бреск" и "Энкаунтер", "Барракута" и "Амфитрита", "Монарх" и "Тринкомали", "Сибил" и "Хорнет", "Биттерн" и "Тартар", "Спартан" и "Рэттер", "Винчестер" и "Сарацин" и еще десятки кораблей с самыми причудливыми и грозными названиями составили флот, которому надлежало взять реванш за поражение минувшего

года.

Тридцать четыре английских корабля и двадцать два французских небывалая в этих местах сила!

Здесь были линейные корабли и двухпалубные фрегаты, винтовые корветы и первенцы новой, эры судостроения - железные пароходы, бриги и даже описное судно*, занятое неустанной разведкой под мирным флагом и под предлогом научных изысканий в районе Курильских островов.

* Судно, занятое научной описью малоизученных берегов. И пока Петропавловск спал, укрытый снегом, не зная о предстоящей эвакуации, Мартынов в одиночку боролся с неприятелем, разрезавшим океанскую волну за много тысяч миль от него.

Больной Степан остался в Гижигинске, на попечении светлицей исправничихи. V Чэзз оказался словоохотливым, но малоинтересным спутником. Мартынов быстро раскусил его и перешел на грубовато-фамильярный тон, что было естественным ответом на лесть купца.

Если им случалось ехать близко друг от друга, Чэзз окликал есаула, обращал его внимание на пустяковые подробности дороги, неудачно шутил и сам смеялся громко, прерывисто, издавая звуки, похожие на кваканье большой лягушки.

После выезда из Гижигинска выпало несколько хороших дней. Горы стояли тихие, устремив в небо бурые наконечники утесов. Березовый лес, по которому шла тропа, опоясывал горы кружевом тонких ветвей, приветливой красотой светлых стволов. А за ними подымалась стена хвойного леса с высокими елями, стоящими как бойницы или сторожевые башни. Укрытый от моря горами и тайгой, Мартынов быстро подвигался вперед.

Американец, ехавший со своим каюром впереди, часто останавливал собак.

- Собачкам нелегко тащить такую тушу! - говаривал он, хлопая себя по животу. - Кому, кому, а моим ногам это хорошо известно!

На каждой остановке он успевал закусить, поражаясь строгому режиму Мартынова.

- Здесь так мало удовольствий! - цедил купец сквозь жующие челюсти. Большой грех уйти на небо, не съев всего, что отведено тебе самим господом богом. Человек не должен пренебрегать своими обязанностями.

- Я дожужу на небе, - ответил Мартынов. - В раю. Там у меня не будет других дел.

- Боюсь, что там, - Чэзз уморительно закатил глаза, - не дадут мяса. - Он притворно вздохнул. - Я задал однажды этот вопрос корабельному

священнику...

- Что же он ответил?

- "Мистер Чэзз, не беспокойтесь напрасно. Рая вам не видать, а в аду вы получите сколько угодно мяса, даже филе из собственной ягодицы, приготовленное на хорошем огне".

Он громко хохотал, вздрагивая всем телом и заставляя собак настораживать острые уши.

Поскольку предметом шуток Чэзза служили его же слабости и физические недостатки, запас остроумия американца быстро истощился. О Петропавловске и царивших там порядках Чэзз отзывался в превосходной степени: все "прекрасно", "великолепно", "исключительно"!

- Завойко? О, это большой государственный ум, справедливый хозяин и деловой человек! В Штатах он мог бы рассчитывать на президентское кресло. Только в России подобный человек может иметь такой маленький штат, как Камчатка... Лыткин? - американец задумался. - Ах, господин начальник морской аптеки!.. Как же, знаю! О, большой доктор!

Чэзз успевал скупать меха, хотя Мартынов бесцеремонно гнал его вперед. Новый приказчик, Трумберг, охранял товары и меха, переговоры с коряками вел сам Чэзз. С неожиданной легкостью он нырял в круглое отверстие подземной юрты, служившее и окном, и дверью, и дымоходом. Вылезал оттуда багровый, кашляющий от дыма, но большей частью довольный, волоча за собой связку шкур. Казалось, Чэзз живет ради этих великих минут; рыхлое лицо его пылало, он суетился вокруг хозяина мехов, хлопал его по спине, хватал за нож, привязанный к поясу, показывал, что они и так "зарезали его", забрав самые лучшие товары, оглушал смесью русских, английских и коряжских слов.

После Пенжинска у Мартынова произошла первая серьезная размолвка с Чэззом. Кончились горы, впереди на сотни верст лежала безлесая тундра, скудная земля оленных коряков. Здесь не было ни охотничьих троп, ни дорожных знаков, по которым можно ориентироваться. Небо, повисшее низко над тундрой, непроницаемо днем и ночью. Просыпаясь, Мартынов вначале никак не мог определить, где восток и где запад, север и юг. Коряки-проводники находили направление пути по застругам - волнообразным снежным гребням, перпендикулярным направлению господствующего ветра.

Приглядевшись к приемам оленных коряков, которые осторожно счищали только что выпавший снег, чтобы добраться до прочных гребней, Мартынов как-то за рекою Таловкой заметил, что они уклонились на восток от своего маршрута. Заметил он это не сразу, а на второй день, когда быстроногие

олени успели отмахать много верст. Чэзз торопился, его олени, лучшие из всех, выбранных в большом стаде за Пенжинском, бежали далеко впереди. Мартынов догнал его у обширного стойбища оленных коряков. Чэзз успел забраться в одну из конических юрт, обтянутых оленьими шкурами.

Есаул пошел на розыски. Поднимая меховой полог, он заглядывал внутрь юрт. Сушеный мох, горевший в сосудах с оленьим жиром, скудно освещал дымные меховые пещеры.

Наконец он нашел американца, беседующего о чем-то с тучным коряком, по-видимому мелким князьком.

Мартынов забрался в юрту и грубо оборвал купца:

- Ты куда меня завез?

- К друзьям, - промолвил Чэзз, не замечая сердитого тона есаула.

- Почему в сторону свернул?

- Олени устали, - просто сказал он, - менять надо. - Он показал на князька: - Свежих оленей даст.

- Не дури, купчина, со мной шутки плохи, - сказал Мартынов угрожающе. - Где это видано, чтобы за свежими оленями сто верст крюку давать! Пока на дорогу воротишься, и эти пристанут!

Купец схватил его за рукав.

- Не нужно обижаться, господин Мартынов! Маленькая хитрость. Надоело ходить по пустому следу Бордмана. В Пенжинске мне сказали, что сюда придут чукчи с Большого озера и Анадырской губы. У них много мехов, кож... Хотел поживиться, - закончил он извиняющимся тоном. - Беспокойная наша жизнь, господин Мартынов!

Мартынов заставил его собраться немедленно, не открывая торгов. Коряки по приказу князька выбрали из огромного стада ездовых оленей, и Мартынов тронулся дальше, настороженный, враждебно настроенный к своему попутчику.

Купец пробовал восстановить хорошие отношения.

Однажды в стойбище кочующих коряков он показал Мартынову поразительное зрелище: в большой юрте находились четыре коряка, словно отрешенные от мира, безразличные даже к приходу незнакомых людей. Бледные, с мертвыми, стеклянными глазами, они механически жевали какую-то жвачку. Чэзз показал на маленькие берестяные коробочки, наполненные бурыми кусочками.

- Сушеный мухомор, - объяснил Чэзз.

Подойдя к одному из коряков, он больно ущипнул его за щеку. Несчастный не шевельнулся и не ответил на странное приветствие. Чэзз дернул его за

прямые, жесткие волосы.

- Хуже скотины...

Есаул оттолкнул Чэзза.

- Не трогай. Не собаки, люди. Больные... Разве не видишь!

Чэзз добродушно заквакал:

- Пьяные...

Мартынов ударил ногой по коробочкам. Кусочки мухомора рассыпались по старой оленьей шкуре. Выходя из юрты, Мартынов заметил, что американец собирал их и прятал в свой карман.

В другой раз Чэзз остановился на вершине горного перевала, южнее реки Лесной, поджидая есаула.

- Смотрите! - закричал он Мартынову и показал рукой вокруг себя, тяжело поворачивая туловище.

Справа и слева лежало мертвое пространство, темневшее к горизонту, будто уходившее в тяжелый, свинцовый туман. Впереди виднелись снежные пики, покрытые голубыми и сиреневыми тенями.

- Теперь это зрелище не стоит и десяти центов, - проворчал Чэзз, глядя на равнодушное лицо Мартынова. - Побывали бы вы здесь летом! - он прищелкнул языком. - Справа - Охотское море, залив Шелихова, слева - Тихий океан. Настоящие ворота в Камчатку. А впереди - вулканы. На них и летом снег. А там далеко, далеко, - он помахал рукой, - Американские Штаты...

Он закатил глаза и прижал руку к сердцу.

- Тянет на родину? - спросил Мартынов. - Ну и ехали бы себе домой...

Американец отдернул руку, словно испугался толчков своего сердца.

- Как можно! - возразил он. - О нет!

- Денег мало собрали?

- Нужно помочь русским. - Купец тяжело вздохнул. - Русская земля бедная земля...

- Бедная? - Мартынов рассмеялся. - Видели бы мы тебя здесь, кабы земля бедная была! Как же! Любовался бы ты здешними видами!

Чэзз посмотрел на Мартынова долгим взглядом, будто впервые увидел его, и проговорил серьезно:

- Ты умный человек. Скажи мне: почему русские начальники людей не жалеют? Почему тебя послали на смерть в такую дорогу? Ты офицер, не мужик...

- Мужик, - прервал его есаул, - сибирский мужик. Меня не разжалобишь и смертью не напугаешь. Семерых со свету сживу, прежде чем ноги протяну.

Поехали!

Мартынов внимательно наблюдал за Чэззом. Глуповатый купец не внушал ему опасений, да и не с чего было Чэззу покушаться на есаула: больших денег у него с собой нет; а Георгиевские кресты и ордена с бантами вряд ли интересуют американца. Но Чэзз хитер. У него свои планы, свои коммерческие интересы. Их он ставит выше, чем все прочие земные дела, и если не присмотреть за ним, он, пожалуй, снова уклонится в сторону.

В Тигиле, куда они прибыли к вечеру, подозрения Мартынова окончательно улеглись. Приказчик Бордмана приехал сюда два дня назад, но он ничего не знал о Мартынове. Для местного исправника курьер из Иркутска был полной неожиданностью. Значит, приказчик уехал из Гижигинска до приезда Мартынова.

К ночи разбушевалась пурга. Ветер, налетевший с Пенжинской губы, кружил снег, пробовал исполинским плечом крепость бревен, из которых сложены дома и магазины тигильских купцов Брагина и Воробьева, падал на плоские кровли обывательских лачуг.

Чэзз и слушать не хотел о том, чтобы наутро трогаться в путь. Ни солнце, ни добрые приметы не заставили бы его покинуть Тигиль раньше, чем дня через два. У него здесь дела, да и людей обижать не годится. Раз уж судьба занесла его в Тигиль, он посидит, потолкует со своими русскими друзьями.

- В такую пургу, - сказал он Мартынову, - меня не выманишь из норы ни черной лисой, ни королевским горностаем, ни сотней пушистых шкурок выдры, самой ходкой в Сан-Франциско.

Исправник повиновался губернаторскому курьеру и подготовил к утру свежую упряжку, однако и он убеждал Мартынова остаться, переждать непогоду. Есаул приказал грузить нарту.

И вдруг среди людей, относившихся к решению есаула как к блажи и молодечеству, нашелся человек, который не только поддержал Мартынова, но и согласился отправиться вместе с ним в Петропавловск. Это был Трифонов, приказчик Бордмана из Бостона. При всей нелюдимости Трифонова, Мартынов обрадовался попутчику. Местный житель соглашается ехать в такую погоду значит, не все так плохо, как пророчат.

Они решили перевалить через горы, достичь долины реки Камчатки, наиболее густо населенной и не столь открытой ветрам, как побережье Пенжинской губы. Нарты Трифонова бежали впереди, за ним ехал Мартынов с почтой и орденами.

С каждым коротким привалом Трифонов делался все неприятнее. Горластый, злой и нелюдимый, он, вопреки приказчиному обыкновению, не думал о том,

какое впечатление производит на нового человека. С каюром объяснялся грубо, злым окриком, пинками.

- Давно вы в приказчиках, Трифонов? - поинтересовался Мартынов.

- А что? - насторожился бородач.

- Да так... - есаул замялся. - Приказчицье гибкости, обходительности не чувствуется.

Трифонов захохотал, мощная октава слилась с ревом пурги.

- Был гибок, да кости поломали, а срослись неладно. - Он ткнул камчадала в спину. - С ихним братом гибкости не нужно, голос громкий - и то ладно.

Видимо, вопрос Мартынова задел его, потому что на следующем привале он вдруг спросил:

- По-вашему, я мордой в барина не вышел?

- Баре разные бывают. Не в них счастье. Человеческое лицо важнее господского.

- Будто уж?! - усомнился Трифонов. - Господа всему голова, всему суд и начало.

- Ну, брат, - усмехнулся Мартынов, - вижу, что ошибся, не признавши в тебе приказчика. С виду вепрь, а душа у тебя приказчицья. По мне не так. Я мужика хорошего на десяток таких, как твой хозяин, не променяю.

- Денег у Бордмана много, - стоял на своем Трифонов. - Жулик, а денег много.

- Ну и лежат себе в сундуках...

- Полеживают, а сильны... Сильны-ы-ы!

- Высоко ты о капиталах думаешь!

- Высоко! - гордо сказал бородач. - Большие деньги - как море: вода прибывает, деньга на деньгу набегают.

Поколебать его было невозможно.

- Богат, говоришь? - наступал Мартынов. - А от смерти никуда не уйдет, хоть золотой стеной загородится.

- Ты божьего не тронь. Я о земном толкую. О том, за что людьми цена положена.

- Сегодня цена одна, - ответил Мартынов, - завтра другая. Раз люди положили, они и переменить могут.

Собеседник упрямо замотал бородой.

- Купеческая порода крепкая, ядреная, - сказал он с непонятной злостью. - Купец - что волк: он и сытый жадный. Деньги - первая сила!

На этом он стоял твердо.

Злая, цепкая сила хоронилась в этом большеруком, кряжистом человеке в

синей купеческой чуйке под кухлянкой. Когда-то он, в приказчиках у Кузнецова, много работал, много поперетаскал тяжестей, - это заметно по манере держать руки так, словно им дорога каждая минута отдыха, по широченной, горбившейся спине, по тому, как в пути он все опробовал сам ремни, поклажу, крепость упряжки, устойчивость копыльев.

С ним интереснее, нежели с Чэззом. Тот отступал при малейшем нажиме и уклонялся от споров. Ничего определенного, и из всех его инстинктов сильнее всего трусость. Даже жадность, державшая Чэзза на земле, при малейшем окрике или подозрительном шорохе становилась трусливой и осмотрительной. В приказчике же бродила злая сила, свирепо скалившая клыки на людей. С ним можно схлестнуться: это давало кое-какую пищу уму. Мартынов стал поддразнивать Трифонова, вызывать на короткие споры.

Два дня они двигались с величайшими трудностями сквозь белесую мглу. Снег бесновался вокруг, ослеплял или, отхлынув вместе с ветром, открывал глазам гнетущее однообразие зимней дороги. Казалось, что снег падает не сверху, а, подхваченный ветром с камней, истолченный в сухую, колючую пыль, играет, ярится, не хочет лечь на землю.

Утром третьего дня, когда они достигли перевала, ветер подул еще свирепее, а мгла стала плотнее. Люди обрадовались начавшемуся пологому спуску.

Дорога, как обычно при спуске с гор, кружила, снижаясь ярусами, огибала упрямые породы, разбросанные повсюду. Нарты держались близко, и Мартынов неизменно слышал прорывавшийся сквозь вой ветра окрик каюра с передовой нарты.

- Ках! Ках! Ках! - кричал он, поворачивая собак вправо. - А! А! А! (Прямо! Прямо!)

Внезапно Мартынову почудился протяжный вой: "А-а-а!" - крик боли и ужаса. Он прислушался.

Ветер и горы могли исказить голос каюра, слить его короткие возгласы в один тоскливый звук.

Все спокойно. Даже голоса каюра больше не слышно. Камчадал, сидящий впереди Мартынова, насторожился. Замер в воздухе остол, готовый вонзиться в снег.

- Сейчас Медвежий камень будет! - закричал камчадал есаулу. - Видишь ты, дорога шибко опасная!

Нарты сделали резкий поворот вправо, и сразу же раздались два выстрела с короткими промежутками. После первого выстрела камчадал вонзил остол в снег, после второго упал. Нарту занесло от резкого торможения, но собак нигде не было видно. Видимо, упряжка оторвалась от нарты.

В первые секунды Мартынов не почувствовал боли в простреленной руке. В него стреляли из штуцера. Это ясно по звуку и по тому, как быстро следовали один за другим два выстрела. Неужели Трифонов? Но у приказчика не было ружья. Мартынов внимательно оглядел поклажу Трифонова еще в Тигиле.

Правой рукой Мартынов выхватил свое ружье, лежавшее вдоль нарты, за решетчатой куторгой, и стал ждать, - левая рука, простреленная в тот момент, когда сани разворачивались, уже не служила ему. Почта, чемодан с наградами, все добро Мартынова находилось на нарте. Камчадал лежал без движения, уткнувшись лицом в снег. Вокруг головы темнела кровь.

Мартынов вздрогнул от мысли, что остался один, а человек, стрелявший в него, скрылся с упряжкой. Если не удастся отбить у него собак, Мартынову ни за что не добраться до жилья. В снежной пустыне, без собак, с простреленной рукой... Никогда не добраться.

Нужно сбросить кухлянку, перевязать руку. Но он не может разрешить себе ни одного лишнего движения, не может выпустить из рук ружье. Левый рукав прилип к руке, наполняясь стынувшей кровью. Пусть. Замерзая, теряя сознание, он все равно будет лежать в снегу с ружьем наготове, поджидая своего врага. Не может быть, чтобы убийца не подошел к нарте Мартынова, он должен подойти.

Мартынов не ошибся. Кто-то приближался к нему. Осторожно отделился от темной громады Медвежьего камня и шел, пригибаясь, волоча ноги по снегу. Трифонов!

"Значит, не поверил, что у меня нет денег? Польстился на казенное добро. - В отяжелевшей голове отдался ухающий смех Трифонова: "Деньги первая сила!"

Мартынов скрыт нартой и привязанным к ней тюком. Он подпустил Трифонова на несколько шагов и выстрелил наверняка. Приказчик сначала уронил ружье, затем, взмахнув руками, как в прыжке, упал на спину. На притворство не похоже. Штуцер упал слишком далеко.

Вой ветра снова ворвался в сознание Мартынова, будто только что вышибли плотно закрытое окно. С трудом поднявшись, Мартынов подошел к распростертому телу. Голова Трифонова была запрокинута. Из темной пасти торчали верхние клыки. Глаза бессмысленно уставились в сумрачное небо.

Расстегнув на нем кухлянку и тесную чуйку, Мартынов достал бумажник. Деньги. Сто долларов, три русских кредитных билета по пятьдесят рублей. Определение иркутского губернского суда по делу о гижигинском купце первой гильдии Трифонове Савелии Прохоровиче. Паспорт. Запечатанное письмо с адресом, написанным по-английски: "Сан-Франциско. Торговое

заведение г-на Макрея. В. Бордман. Гижигинск". На новеньком штуцере, поднятом Мартыновым, марка американского заводчика Кольта, чьих ружей напрасно ждут в департаменте артиллерии.

В сорока шагах от Медвежьего камня есаул нашел нарту Трифонова. Каюра-камчадала не было, он исчез. Мартынов стрелял из ружья, кричал. Слабое эхо умирало, заглушенное снегом и ветром. Он перенес на нарту приказчика чемодан и почту. С трудом перевязал руку, придерживая конец холщовой тряпки зубами. Тщательно осмотрел нарту. Проверил запас провианта, корм для собак. Одной рукой, упираясь слабеющим коленом в поклажу, потуже подтянул ремни. Чемодан с наградами и почтовую сумку тоже наглухо привязал к поклаже, сняв ремни со своей нарты. VI Силы часто оставляли его.

Приходя в себя после нескольких минут забытья, он уже не знал, сколько часов прошло с того момента, как прозвучали выстрелы у Медвежьего камня. Собаки бежали ровно, осторожно, будто понимая, что за их спиной сидит беспомощный человек.

А может быть, Мартынову только кажется, что нарта плавно скользит по снегу? Ведь чувства притупились, все стало мягким, расплывчатым, неопределенным. Его охватил жар, только неизмеримо более сильный, чем на пути к Охотскому морю.

Острые скулы и ввалившиеся щеки стали быстро зарастать. В минуты ясности Мартынов трогал светлую щетину, стараясь хоть приблизительно узнать, много ли дней прошло после выезда из Тигиля. Последний раз он брился в Тигиле. Лицо изрядно заросло. Неужели прошла неделя? Не может быть. Мартынов угрюмо улыбается: "Кажется, у умирающих сильнее растут волосы?"

Он гневно щурил глаза, словно второй Мартынов, шепчущий воспаленными, запекшимися кровью губами о смерти, стоял напротив, избегая взгляда Мартынова, сидящего на нарте. Мартынов не дался бы так просто, даже если бы речь шла только об одной его жизни. Но его послала Россия. Именно Россия! Только теперь эта мысль со всей отчетливостью пронизала каждую клеточку его мозга - не Муравьев, а Россия... От его выдержки зависит жизнь множества людей. Гордый флаг порта, слава героев, спящих в камчатской земле, честь живых - всё, всё зависит от его выдержки.

Метель утихла. Наступил морозный солнечный день. Мартынов часто закрывал глаза. Волосную сетку, подаренную старым якутом, он потерял, а без нее слезящиеся, воспаленные глаза быстро слепли.

С трудом поднимались веки. Будто кто-то заостренными прутиками колот

глазные яблоки. Наступила почти полная слепота. В какую-то долю секунды, когда глазам было больше всего, Мартынов ясно разглядел снег и темные прутья кустарника... Снег! Снег не сошел... Значит, еще зима, он еще не опоздал.

И когда собаки, повинаясь властному окрику, остановились, когда перед глазами Мартынова зашевелились мутные тени и человеческий голос обратился к нему с вопросом, есаул не сразу ответил. Он снова впал в забытие.

В этот день британский линейный корабль "Монарх" пришел в Гонолулу и опустил якоря в теплую воду залива. Упряжка Мартынова, достигнув реки Камчатки между Шаромой и Милково, была остановлена Иваном Афанасьевым.

Подружившись на Никольской горе с Ильей Буочча, Иван Афанасьев отправился с ним в излучину Камчатки, густо поросшую лесом, на охоту за выдрами. На льду реки, у пропарин, сквозь которые коричневый зверек выходил на воздух, они и заметили странную упряжку.

Казалось, она никем не управлялась. Но когда камчадалы приблизились к карте, они увидели Мартынова, который лежал, не выпуская остола из правой руки. Их поразило решительное выражение лица изможденного, полуослепшего человека. Он слабо улыбнулся, услышав голоса, и на несколько минут потерял сознание. Обветренные лица склонились над Мартыновым: широкое, поросшее жидкими пучками волос лицо Афанасьева и тонкое, мальчишеское - Ильи.

В Милково, большом камчадалском поселении, есаул пришел в себя. Узнав, что до Петропавловска осталось не больше ста пятидесяти верст, он приказал немедленно везти его дальше. В голове звучали, отдаваясь и набегая, как грохот настойчивой байкальской волны, слова, сказанные милковским лекарским учеником: "Наступил март".

Люди, собравшиеся в доме тойона, поразились, услышав неожиданное требование есаула. Быть может, на этот раз Мартынову не помогла бы его настойчивость, но лекарский ученик объяснил старосте, что есаула следует немедленно везти в Петропавловск, даже если бы он и не просил об этом: только операция может спасти ему жизнь.

Илья и Иван Афанасьев повезли укутанного в меха Мартынова. Приходя в себя, он улыбался своим новым каюрам большим, ощерившимся от худобы ртом и слабым голосом просил их:

- Гоните, ребята! Гоните всю! Пока жив, хочу край земли нашей поглядеть!

Иван Афанасьев показал рукой на северо-восток и сказал снисходительно:

- Наша земля большая, барин. Всюду побывать - жизни не хватит...

Буочча и Иван Афанасьев гнали и без понуканий. Внешность Мартынова, казачий мундир, чемодан, в котором милковский тойон обнаружил ордена и секретные пакеты, говорили сами за себя. Старик Буочча, осмотрев Мартынова на последнем переходе, обернул его руку сушеным мохом, обвязал куском домотканого полотна и, не сказав ни слова, выразительно махнул рукой.

Илья понял: нужно мчать не задерживаясь, несмотря ни на что.

К вечеру третьего марта нарты выскочили из-за Никольской горы, и Мартынов увидел скудные огни Петропавловска.

Илья остановил собак.

- К доктору везти, барин? - спросил он через плечо.

- Успею к доктору. - Мартынов переводил взгляд с одного огонька на другой.

- К губернатору вези!

ГРАЧ

I

Вечером третьего марта у Завойко впервые после длительного перерыва собралось многолюдное общество. Все время, пока муж находился в поездке, Юлия Егоровна провела у постели Мишеньки - младшего сына, захворавшего воспалением легких.

По обыкновению, Юлия Егоровна ничего не сообщала мужу, взяв на себя тяжелое бремя ответственности. Отыскать Василия Степановича, непоседливого, стремившегося в несколько недель объездить чуть ли не всю Камчатку, было бы нелегко, для этого понадобилось бы поставить на ноги много людей. Изыльметьев явился к Юлии Егоровне с предложением послать матросов за Вильчковским, но она, положив свою усталую руку на рукав Изыльметьева, сказала:

- Спасибо! Сердечное спасибо. Вы и так уже избаловали меня. Все тревожатся... Не нужно, голубчик. Василий Степанович не любит этого...

Темные глаза Юлии Егоровны стали огромными на бледном, исхудалом лице. Сама она казалась Изыльметьеву измученной девочкой, которую хорошо бы взять на руки, укутать в платок, заставить спать. Он осторожно взял ее легкую, в голубых прожилках руку, наклонился и, стесняясь жестких усов, поцеловал.

- Деспот ваш Василий Степанович, доложу я вам, - проворчал он, не глядя ей в глаза, - сатрап!

- Сатрап! - подтвердила Юлия Егоровна, смеясь.

- Тиран!
- Мучитель! - вторила счастливая Юлия Егоровна.
- Вам бы мужа штатского, со звездами, с особняком на Невском да с ливрейными лакеями...
- Ах, поздно, Иван Николаевич, поздно! - Она с притворной сокрушенностью вздохнула и сказала, показав рукой на детскую: - Куда мне с моим приданым... - И снова тяжкая забота тенью пробежала по лицу.
- Второго такого приданого в мире не сыщешь, милая Юлия Егоровна!
- А Мишенька болен. Ой, как болен!
- Выходите, - убежденно сказал Изыльметьев. - Вырастите богатыря, весь в отца пойдет.
- Деспот? Сатрап? - Юлия Егоровна, улыбаясь, погрозила ему пальцем.
- Мучитель! - ответил ей Изыльметьев. - Уж вы меня не выдавайте, мы с вами сообщники.

Возвращение Завойко совпало с кризисом болезни. На несколько дней Завойко отдался дому. Петропавловск, похороненный под снегом - а его в этом году выпало небывало много, - мог и подождать; мелкие работы в портовых мастерских велись под присмотром Можайского и Мровинского. Завойко оставался дома, мешал Юлии Егоровне, слонялся по комнатам или вместе с офицерами "Авроры" занимался науками со старшими сыновьями.

Молодежь все это время собиралась то в большой палате госпиталя, где после представления "Ревизора" остались подмости, то у вдовы Облизиной, а то и в офицерских казармах. Но с выздоровлением сына дом Завойко зажил обычной жизнью, и вечером третьего марта комнаты наполнились гулом голосов, хлопаньем дверей, звуками настраиваемых скрипок. К освещенному дому подкатывали нарты, в которых находились дамы в кухлянках поверх легких платьев. Разница между мужчинами и женщинами становилась явственной только в передней, когда с гостей сваливались меха, открывая стройную, одетую в ситец фигуру штурманской дочери, шелковый наряд коллежской ассессорши, флотский или чиновничий мундир.

В кабинете Завойко, где устроилась часть мужчин, равнодушных к танцам, картам и шумному веселью, разговор вертелся вокруг недавней поездки губернатора и той позиции, которую должна была занять Англия после поражения экспедиций Прайса. Хозяин дома заглядывал в кабинет, задерживался у дверей гостиной, уходил в детскую половину и, приоткрыв дверь в комнату, прислушивался к дыханию спящих детей. В передней скрипел половицами Кирилл, недовольный шумом, привычно насупленный и не по чину придиричивый.

Вильчковский рассказывал о поездке, не видя вошедшего Завойко:

- Признаться, военные наши приготовления озадачили меня. Ждет ли нас судьба несчастного Кука, не состряпают ли из меня жаркое свирепые племена Камчатки? Порох. Свинец. Ружья. У господина Зарудного устрашающий, воинственный вид... - Зарудный, сидевший здесь же, сделал протестующее движение, но Вильчковский жестом удержал его. - И что бы вы думали, господа? Прекраснейший народ, добрый, сердечный, несмотря на ужасающую бедность, на болезни и суровую природу. Дети, добрые дети и притом удивительно одаренные, открытые всякому участливому слову. Только север, приучающий к неустанному труду, способен развить столько хорошего в людях, находящихся на невысокой степени цивилизации. Им известна бездна премудростей, чудесные травы и целебные средства, достойные быть названными в учебниках фармакопеи...

- Одним словом: мир, тишина и божья благодать! - прервал его насмешливый голос Завойко. - Вам повезло, доктор: купеческая гильдия нынче поутихла. В иные годы так допекут они несчастного камчадала, что, глядишь, и порохом запахнет.

Пока Завойко говорил, все более увлекаясь, Зарудный выскользнул из кабинета, остановился на пороге гостиной и, скрываясь за спинами чиновников, стал искать глазами Машу. В поездке он имел время подумать обо всем, что произошло с ним в памятный вечер прощания. От него не укрылась тогда ни сосредоточенность Маши, ни тихая, едва приметная грусть. Приписать ее предстоявшей разлуке? Хорошо бы думать так. И в иные минуты, когда мысль о Маше приходила среди дела, живого, энергичного дела, думалось именно так. Все становилось ясным, простым, хорошим, как клочки голубого неба в разрывах облаков или светлые прогалины в темной, спутанной чаще леса. Она любит и грустит, любит и ждет. Любит и будет любить всю жизнь.

Но вслед за тем вечером блеклой, беспокойной тенью возникало утро отъезда. Маша не пришла проводить его. Почему?

Он уже десять дней в Петропавловске, но Маши не видел. Она не показывалась нигде. Настенька как-то встретила Зарудного на улице и неуверенно сообщила ему, что Маша нездорова. Что-то удержало Зарудного от того, чтобы навестить ее. Он проводил вечера с Пастуховым и Вильчковским, переписывал в тетрадь разрозненные записи Андронникова, готовил по просьбе Завойко обстоятельную записку о состоянии края.

Маша здесь. Сидит рядом с Юлией Егоровной. Кажется, она действительно болела... Лицо побледнело. Темноглазые, темноволосые, они с Юлией

Егоровной как сестры.

Девушка заметила Зарудного. Приветливо улыбнулась и кивнула головой.

Радость разлилась в сердце, охватила теплой, ласкающей волной. Зачем он не проведал ее? Отчего он так связан при ней, так неласков и нерешителен? Густая толпа танцующих, которая заняла все свободное пространство гостиной, удержала Зарудного от того, чтобы броситься к Маше.

За спиной он услышал голоса мужчин, вышедших взглянуть на танцы. Василий Степанович отвечал кому-то, кажется Мровинскому, - Зарудный уловил нетерпеливое, упрямое покашливание инженера.

- ...А мы и на кораблях не скучали. Занятия гонят с корабля не только скуку, голубчик мой, но и тень этой вечной незваной гостьи всех человеческих обществ.

- Моряку недостает времени на скуку, - подтвердил Изыльметьев.

- Верно! - живо подхватил Завойко. - Море не даст скучать! Тихое или бурное, оно разговаривает с моряком человеческим голосом. Я мальчишкой впервые попал в шквалы Тихого океана. Они норовили опрокинуть наш транспорт. Но мы не зевали, шквалы проносились над нами, не успев поднять на воздух моей лейтенантской чести. И ветер кричал нам издали: "Спасибо, ребята!"

Кто-то громко рассмеялся, и Завойко сказал обиженно:

- Не верите? Тем хуже для вас! Кто знает море, тот поймет меня.

Несколько минут говорили тихо, затем снова раздался звонкий голос хозяина.

- Ошибаетесь! Не годы мерка, а дела. Есть охотники и до спокойной, устричной жизни. Им все нипочем. Чужие слезы, общая нужда, забота - все мимо, мимо, все суета сует. В делах они видят одну обузу, в детях - вечное беспокойство. Так и порхают по миру, поручив народу заботу о хлебе насущном и продолжении рода человеческого. Господа! - продолжал он торжественно. - Много радости можно взять у жизни, но большей радости, чем дети, клянусь честью, не знаю! Только они и делают наше существование до конца оправданным, нашу жизнь вполне сложившейся. И что за чудо морская семья, умеющая ждать и любить, как никто в целом мире! - Неожиданно он перешел на шепот: - Пойдемте со мной в кубрик, и я покажу вам чудо. Только тс-с-с...

"Кубриком" Завойко называл две комнаты, в которых по-приятски тесно стояли детские кровати. Несколько человек последовало за ним гуськом, ступая на носки. Зарудный тоже решил было пойти с ними, но заметил, что Маша, опустив голову, пробирается к нему.

Зарудный отступил в сумрак передней и протянул Маше обе руки, когда

девушка вышла из комнаты.

- Ну, вот вы и приехали, - сказала Маша с облегчением. Здравствуйте!

- Вы болели, Машенька? - проговорил Зарудный, стискивая ее руки.

Маша тряхнула головой.

- Нет. Я и сама не знаю, что происходит со мной. Хорошо, что вы вернулись, Анатолий. Я поняла это вот только что, когда увидела вас.

Кончился танец. Зарудный с Машей отошли к окну. Из гостиной высыпала молодежь.

Мужчины зашли в детскую, тихо, как заговорщики. Остановились по движению руки Завойко.

Деревянные кровати, грубые байковые одеяла, неровные куски медвежьей шкуры на полу, самодельные коврики на дощатых стенах освещались голубым светом заиндевевших окон. Дети спали не шевелясь, ровное дыхание шести маленьких существ наполняло комнату. Казалось, негромкое дыхание колыхнется в голубоватой зыби, согревает светлые стены.

Завойко наклонился над одной из кроватей. На ней спал выздоровевший Миша. Он дышал спокойно, забросив стиснутые кулачки за голову.

- Это счастье, господа! - прошептал Завойко взволнованно. - Истинное счастье!

Из соседней комнаты, где находились старшие сыновья, вышел Кирилл с ночником в руке и набросился на Завойко:

- Как можно! Как можно, Василий Степанович! - Он говорил скрипучим голосом, не боясь разбудить детей. - Не годится на спящих детей глядеть, ай-ай-ай! Сами бы еще смотрели, а то чужих людей привели, поди же ты, сладу с вами нет!..

- Свои люди, Кирилл, все свои, - оправдывался Завойко.

- А хоть и свои, - Кирилл высоко поднял ночник, облив желтоватым светом мужчин. - У людей разный глаз бывает. Эх вы, молодо-зелено! Шли бы к себе!

И, повинясь ему, гости тихо, на носках, повернули из "кубрика".

Танцы возобновились.

Зарудный вполголоса рассказывал Маше о поездке.

К дому, несмотря на поздний час, подъехали нарты, встреченные воем лежавших в снегу собак. Запоздалые гости поднялись на крыльцо и, не стряхнув в передней снега, не сняв кухлянок, прошли в гостиную, в толпу танцующих.

Кто-то громко вскрикнул. Толпа подалась назад. Оркестр внезапно оборвал танец, только скрипка уронила еще обрывок мелодии в наступившую тишину.

- Не пугайтесь, господа, - произнес глухой, настойчивый голос. - Я из Иркутска. Я привез награды защитникам порта и распоряжения генерал-губернатора. - Мартынов прикрыл глаза рукой. - Простите, больно глазам. Могу я видеть его превосходительство контр-адмирала Завойко?

Маша бросилась в толпу, расталкивая стоявших вокруг Мартынова людей. Есаула поддерживали Илья и Иван Афанасьев. Кухлянка на Мартынове распахнулась, открыв зеленый казачий мундир.

Маша взглянула на человека, голос которого заставил ее вздрогнуть и убежать от Зарудного. Перед ней стоял худощавый мужчина, заросший нескладной русой бородой, со спутанными белокурыми волосами, с невидящими карими глазами в воспаленных орбитах. Глаза скользили по толпе, по лицу Маши, безучастные, не чувствующие ничего.

Но человек улыбнулся виноватой, измученной улыбкой, и Маша, забыв обо всем, бросилась к нему, закричав на весь дом:

- Алексей!

Она обняла и поддержала Мартынова, как поддерживала артиллеристов, раненных на "Смертельной" батарее.

- Здравствуй, Маша, друг мой, - громко прошептал есаул в наступившей тишине. - Видишь, приехал...

- Вижу... - Слезы текли по лицу Маши. Она гладила его изъязвленное, щетинистое лицо. - Вижу, Алеша...

- Больно! - сказал Мартынов, заскрежетав зубами. - Где Завойко?

Подошел Завойко, но есаулу уже не удалось поздороваться с ним. Это произошло позже, в госпитальной палате, после ампутации простреленной руки. II Март выдался на редкость вьюжный. В эту пору на Камчатке всегда дуют северные ветры, дуют во все легкие, будто торопятся обрушить на людей весь не растраченный за зиму запас лютости. И снегу в небесных закромах, оказывается, еще немало; кажется, и зима на исходе, в далекой России грачи обновляют озябшие голые ветви, а здесь снег валит и валит и, подхваченный "северянином", пляшет многодневными метелями.

В обычное время снег не помеха. Человек и не думает вступать с ним в спор. Только и заботы, что отрыть проходы из дома к дороге, к колодцу, к присутственным местам. Под снегом покойнее, - под белой шубой земля лежит недвижная, тихая, не обременяющая человека трудами. Приятно знать, что как ни беснуется снег, стараясь выше крыш занести избы, как ни ярится "северянин", как ни злится, надувая щеки, старый камчадальский бог Кухта, а придет апрель на резвых, крепких ногах, схватится с зимой - и схлынет ее сила звенящими потоками в залив, сольются талые воды с горькой водой

океана. А человек и труда не приложит - разве что поможет весне, прорубив во льду канавку, - и похаживает по двору, подставляя спину солнцу, глядя на то, как беспомощно оседает снег, готовый было вовсе похоронить Петропавловск.

Не то теперь. До самого Благовещенья стояли сильные морозы, каких не бывало и в зимние месяцы. Ветер редко давал передышку людям. После двух-трех дней пурги тусклое солнце покажется на несколько часов, словно для того, чтобы люди увидели, что бороться с зимой бесполезно, - сколько ни сгребай снег, сколько ни расчищай артиллерийские площадки, он упрямо закроет и пирамиды ядер и холодные пушки. А людям не до отдыха, не до лукавой игры с мартовскими метелями; они сутками работают на открытых местах, обмораживая лицо и руки.

В одну из таких передышек, когда на севере в спокойном небе обрисовалась вершина Корякского вулкана, а западный берег Авачинской губы обозначился неровной темной полосой, Завойко находился на Сигнальной батарее. Спуск тяжелых пушек с Сигнальной горы был особенно труден и опасен. Сюда часто заглядывал Мровинский, проверяя прочность канатов, устойчивость стрел, сконструированных им для спуска орудий на лед и подъема на корабли.

С горы порт и внутренние батареи видны как на ладони. Завойко случалось и прежде бывать здесь зимой, приходить к подъему или спуску крепостного флага. Порт дремал в сизой дымке, мигали редкие огоньки. Василий Степанович, да и каждый из чинов сорок седьмого флотского экипажа мог безошибочно определить, где зажжен огонь и как долго он будет гореть, мигая в усиливающемся снегопаде.

Теперь Петропавловск неузнаваем. В порту стоят скованные льдом корабли - "Аврора", корвет "Оливуца", транспорты "Иртыш", "Байкал", "Двина", бот "Кадык" и мелкие суденышки, заявляющие о себе то торчащей из-под снега мачтой, то правильной формы снежным холмом. С берега к "Авроре" тянется широкая ледяная дорога вместо недавних пешеходных тропинок.

Повсюду темные фигуры людей; в порту их особенно много, но и на Кошечной батарее и за Красным Яром - везде люди на свежем, только что выпавшем снегу. На батареях и у кораблей торчат тонкие, гнущиеся стрелы подъемных кранов. Они составлены из нескольких кусков корабельных мачт, скрепленных железными бугелями. Мровинский набросал чертежи такой стрелы еще до приезда Мартынова, рассчитывая облегчить подъем пушек, которые придут весной в Петропавловск. Мог ли Завойко предположить в декабре минувшего года, что подвижные мачты будут служить совсем иной

цели?

По улицам Петропавловска проносились собачьи упряжки, минуя казенные здания, прямо в порт. Весть о снятии порта распространилась широко: приезжали старосты за наставлениями, командиры казачьих постов, разом отрезвевшие уездные исправники, охотники с мехами. Вместе с жителями города, не занятыми на работах, они толклись на берегу, глазели на суда, осаждали расспросами чиновников и особенно Завойко, как только он появлялся на льду малой бухты.

В наступившем безветрии отчетливо слышались новые, непривычные звуки: слитный крик матросов, которые стремительно волокли по льду трехсотпудовую пушку, визг отдираемой рамы, скрежет кровельного железа, сползающего с крыши, обнажавшего стропила и потемневшие доски. Здание окружного казначейства зияло пустыми глазницами окон и дверей, железная крыша словно сорвана ураганом, сиротливо торчат печные трубы, украшенные кружевными коронками из жести, - предмет гордости петропавловских жителей. Разрушен карликовый литейный завод, все, что можно было унести, погружено на "Двину" в надежде на то, что на новых местах тоже будет нужда в рулевых петлях, крючьях и малых якорях, которые научились отливать доморощенные камчатские мастера.

Батареи покрыты трехаршинным слоем снега. Матросы, прежде чем начать расчистку снега, нащупывают пушки железными прутьями. Как ни труден подъем пушек и вывоз их на салазках к берегу, самое опасное впереди: лед петропавловской бухты трещит и прогибается под пушками, лежащими на крепких разлапистых салазках.

Первая пушка едва не провалилась под лед. Пока сани пересекали узкую прибрежную полосу, промерзшую до песчаного дна, все шло хорошо. Сорок человек, самые сильные из экипажа "Авроры", впрягшись в канаты, потащили сани к фрегату. Никита Кочнев был здесь же с матросами, - веселый мастеровой полюбился им за зиму, а железные мышцы Никиты годились для трудной работы. Он шел, напрягая грудь, отстав от командовавшего перевозкой Пастухова на несколько шагов. Завойко и Изыльметьев поджидали сани в борта "Авроры".

Несколько секунд сани легко скользили по льду. Только люди, в чью грудь впились, несмотря на меховые одежды, веревки, могли сказать, каких это стоило усилий. Вдруг раздался позади треск и строгий окрик Можайского:

- Берегись!

Лед затрещал под полозьями и начал прогибаться. Наступило мгновенное замешательство. Пастухов, пятившийся впереди этой гигантской упряжки,

побледнел и хотел было уже приказать матросам сбросить веревочные постромки, но возглас Никиты Кочнева предупредил его намерение.

- На-ва-лись! - закричал Никита. - Бе-го-о-ом!

Матросы побежали по льду, широко ставя ноги. Лед все еще трещал под полозьями, но сани проскальзывали вперед быстрее, чем успевал податься лед.

Пастухов подбежал к борту фрегата сконфуженный, покрытый испариной.

Его встретил насмешливый вопрос Завойко:

- Жарко?

- По мне бы, Василий Степанович, лучше еще раз порох подвозить на шлюпке, под огнем неприятельской эскадры!

- Приятнее или легче?

Завойко тоже рад был счастливому исходу и веселыми глазами наблюдал за тем, как толстый канат, соединенный с подъемной стрелой, продели в скобу у казенного среза бомбической пушки, как неуклюжая машина повисла в воздухе.

- И приятнее и легче, Василий Степанович.

- Вот видите, - Завойко обвел хозяйским взглядом берег и толпу, еще кричавшую "ура". - Случаются хозяйственные дела потрудней баталий. Да-с... Молодежь не считается с этим. Хорошо, что вы нашлись, приказали людям бежать...

Пастухов покраснел так, как, бывало, краснел в Морском корпусе.

- Я не приказывал, Василий Степанович. Это Кочнев нашелся, дал команду.

Он показал на Никиту. Никита, задрав голову, наблюдал, как согнувшаяся стрела осторожно поднимала пушку к палубе фрегата.

- Молодец! - похвалил Завойко. - Что ж, сделайте его артельным старостой. У него и ума хватит и смелости. Вот что, господа, - обратился он к офицерам, стоявшим вокруг, - для перетаскивания орудий, особенно тяжелых, брать не сорок, а шестьдесят или семьдесят человек. Незачем людям надрываться. Берите только здоровых, сноровистых. В таком деле лодырь опаснейшая помеха. На льду по вашему знаку матросы должны мгновенно подхватить кладь и бежать к судам со всей возможной быстротой.

Изыльметьев внимательно следил за эволюциями вздрагивавшего от напряжения крана. От веревок, задерживавших орудие при спуске на палубу, показался дым. Визжали блоки.

- Я считаю, Василий Степанович, - промолвил он, наблюдая за повисшей над палубой пушкой, - не лишним, кладя орудие на сани, привязывать к нему томбуй с толстым канатом. В случае несчастья можно попытаться вытащить

орудие.

Каждую пушку встречали на палубе веселыми возгласами и прибаутками. Для матросов и артиллеристов пушка была не глыбой неодушевленного металла - у нее своя жизнь, свой "разговор" с неприятелем, свой темперамент и общие интересы с прислугой, приписанной к ней. Одна была "Меткая", другую нарекли "Тихой", третью встретили приветливым возгласом:

- Соседушка!

Четвертую проводили молчаливым возгласом, вспомнив, как лихо орудовал возле нее на учениях Семен Удалой. Пятая вызвала насмешливо-радостный возглас:

- Гляди, братцы, "Дылду" черти принесли!

Это была длинноствольная двадцатичетырехфунтовая пушка.

И в каждое имя, в каждую шутку вкладывалась человеческая любовь и теплота. Шрамы на темных телах орудий, вмятины от вражеских ядер, ссадины, оставшиеся после расклепки, концы цапф или края стволов, носящие следы осколочных попаданий, заботливо, по-хозяйски ощупывались, так, как будто матросы впервые заметили эти повреждения или, оставляя орудия под брезентом и слоем снега, надеялись на то, что время залечит и эти раны.

Даже Завойко, озабоченный множеством дел, когда ему доводилось присутствовать при подъеме орудия, заражался общим радостным настроением. После благополучного подъема первой пушки Изильметьев сказал ему:

- Легкий вы человек, Василий Степанович. Признаться, я боялся этого, - он показал на берег, - зная вашу привязанность к Камчатке.

- Э, голубчик мой, - вздохнул Завойко, - пока вы свое добро грузите, я креплюсь, а как до порта дело дойдет, свяжите меня, Иван Николаевич, непременно свяжите! - И после продолжительной паузы добавил серьезно: Люблю эту землю, грешен, но паче того люблю Россию. Так уж мы с вами скроены. Нас не перешьешь и на заморский манер не перелицуешь. - Он усмехнулся собственным мыслям: - Я было Мартынова злейшим своим врагом посчитал. Прилетел из Иркутска, как Вакула на черте... А потом поостыл. До утра просидел в кабинете. Думал. Без пороха, без пушек, без людей делать нам нечего. Лучше уж уходить. Один раз кровью, храбростью англичан взяли, нынче хитростью возьмем.

Впервые Завойко высказал опасение, что корабли не смогут увезти всего.

- Хочу забрать все, - он следил за погрузочными работами в порту, кровельное железо, оконные рамы, петли, заслонки, плиты, все, что

поместится в трюмах. Не в Петербург едем. Там ведь ни домов готовых, ни заводов своих, ни мастеров. Все начнем сызнова, нельзя с голыми руками прийти. Да и англичанину не хочу и гвоздя оставить. Самое большее, что он найдет здесь, - старые бревна, сгнившие доски, дрова. Хороший костер можно сложить и на нем сжечь былую славу британского флота вместе с победными рапортами, которые уже, почитай, заготовлены у неприятеля. С железом ясно: чего не сумеем захватить, утопим в Раковой бухте. Полежит, не пропадет. А с людьми как? Всех взять не сумеем. Чиновный люд хоть и беден, а плодовит, одних детей сотни две наберется. В апреле такие мерзости в океане творятся, что дай бог взрослому и бывалому выдержать. - Он помолчал несколько секунд, тяжело провел ладонью от лба к подбородку. - Подожду еще денька два, Зарудный полные списки готовит... Придется тогда решать.

- Готов помочь вам, Василий Степанович.

- Спасибо, - сдержанно ответил Завойко. - Этой беде помочь трудно. Сколько людей могут взять суда, я и сам знаю. А с лишними что поделаешь?

В пятый день погрузки случилась беда - ушла под лед пушка тридцатишестифунтового калибра. Команда замешкалась в опасном месте, трещина мгновенно раздалась, и пушка, свалившись на бок, пошла ко дну вместе с санями. Образовалась большая полынья, окруженная судачившим народом - матросами, служащими, бабами, всякий день бегающими в порт, чтобы узнать, нет ли отмены приказа о снятии. Имя Мартынова, человека, который в неправдоподобно малый срок прискакал из Иркутска и теперь лежал в одной из палат госпиталя, обыватели окружали таинственностью и странным недоброжелательством.

Выйдя к полынье, Завойко увидел темную, уже спокойную поверхность воды. Мичман Попов, как и Пастухов, произведенный в лейтенанты, но оставшийся пока при прежнем мундире, смущенно смотрел на Завойко. Злой, придирчивый взгляд адмирала был ясен без слов: он не увидел на воде томбуя.

- Виноват, ваше превосходительство, - негромко сказал Попов. Двенадцать орудий погрузили благополучно... Хотел быстрее сделать...

В толпе зашептались. Сообщение Попова, что провалилась именно тринадцатая пушка, произвело впечатление. Как-никак, несчастливое число, чертова дюжина! Это как бы оправдывало людей.

- Я не верю в приметы, лейтенант, - холодно сказал Завойко. Двенадцать пушек погрузили не вы, а люди, неукоснительно выполнявшие мой приказ. Это ваша первая пушка. Я попрошу Ивана Николаевича устранить вас от

дела, к которому вы отнеслись так легкомысленно. - Взглянув в расстроенное лицо Попова, он добавил мягче: - Поймите, вы распустили людей, ослабили их внимание. Томбуй служил для них сигналом об опасности, он пригодился бы и на более прочном льду. Вы послали за канатами?

- Так точно.

Веревки, привязанные к саням, лежали на льду, но нечего было и думать вытащить с их помощью пушку. Нужно подвести толстые корабельные канаты.

В нескольких шагах от Завойко стояла Харитина. Она смотрела немигающими глазами в воду, словно надеясь увидеть лежащую на дне пушку. С тех пор как началась погрузка, девушка не находила себе места. Раньше все казалось ей более или менее ясным: будущим летом придет неприятель - об этом говорили все, - и Удалого с товарищами обменяют на пленных, взятых на Никольской горе. Представить себе, что Удалой умер, она не могла и, хотя не верила в свое счастье, мечтала еще хоть раз увидеть его. Но если она уедет с Камчатки, а пленных увезут отсюда в глубь России, Удалой непременно затеряется среди бесконечно огромного мира.

Отведя глаза от воды, Харитина увидела Никиту Кочнева. В свободные от работы часы Никита как-то незаметно оказывался подле нее, и Харитина стала привыкать к нему.

Привезли на салазках канаты. Прежде чем Завойко успел оглядеть матросов, два человека стали торопливо раздеваться: дравшийся под начальством Попова на Кладбищенской батарее матрос и - на противоположной стороне полыньи - Никита Кочнев. Два мускулистых тела одновременно скользнули в ледяную воду.

Нелегко оказалось подвести канат под пушку. Показываясь по очереди из воды, матрос и Никита пытались ответить улыбкой на поощрительные возгласы толпы, но синие, одеревеневшие лица не слушались их.

Выбравшись на лед, они закутались в меховые одежды. Откуда-то появился ром.

Никита затопал ногами, запрыгал, чтобы согреться, но, заметив возле себя Харитину, остановился как вкопанный. Незастегнутый капюшон упал на спину.

Харитина посмотрела на него со смешанным чувством материнской любви и осуждения.

- Голову накрой, петух, - сказала она с притворной строгостью. Вместе с паром последний разум уйдет.

Никита тряхнул головой, клубившейся паром, и весело ответил, уверенный,

что его слышит не только Харитина:

- Не уйдет, молоканочка. А уйдет - не беда: твоего на двоих хватит.

Кругом засмеялись, и Харитина не удержалась от улыбки. III Маша просиживала дни у постели Мартынова. Предотъездная суета за стенами госпиталя, грохот, звон, громкие крики проходили мимо нее. Вся сила сочувствия к людям, все упорство и душевная теплота сосредоточились на узкой больничной койке со свежими простынями и серым байковым одеялом. Жизненное пространство ограничилось четырьмя стенами госпитальной палаты. Время отсчитывалось приемами лекарств, непременными визитами Вильчковского. Порою Маша с горькой усмешкой думала о том, что вот сбылась ее мечта и никто, даже родной отец, не гонит ее из госпиталя. Она проводит дни в тихой, пахнущей лекарствами комнате, как и в августе минувшего года, когда умирал Александр Максutow. Но нынешнее ее состояние совсем ново, необычно, оно ничем не напоминает прошедшего...

Маша любила. Большое чувство, открытое и глубокое, захватило девушку. Оно было сильнее всего: слез матери, угрюмого молчания отца, чувства вины перед Зарудным... Осталась только боязнь за жизнь Мартынова, сжимавшая иногда сердце Маши так сильно, что она вставала со стула и, выбежав на крыльцо, жадно глотала холодный мартовский воздух.

Она давно любила Мартынова. Ждала, не понимая собственной тоски и смятения. Как она могла хоть на минуту усомниться в том, что Алексей придет, что именно этот насмешливый, простой, хороший человек будет любить ее и будет с ней?! И что самое удивительное - чувство Маши было так велико, что оно не просило ответа, не сомневалось в Мартынове еще и тогда, когда он ни словом, ни взглядом не мог сказать ей о своей любви.

Она уже не была восторженной девушкой, покинувшей два года назад Иркутск. Августовские дни минувшего года наложили резкий отпечаток на характер Маши. Человек стал для нее чем-то и более близким и более возвышенным, чем прежде. Истерзанное человеческое тело, шершавая рука, беспомощно вытянувшаяся вдоль тела, боль, разлитая смертельной бледностью по обветренному лицу усатого матроса; детская беспомощность прерывистого, хриплого дыхания, которое заставляет тревожно останавливаться у постели; первая улыбка очнувшегося человека, еще не объявшего разумом великой истины: жив! - все это, прежде скрытое от Маши, стало самым важным, самым близким, приобщило ее к осмысленной жизни.

Мартынов ответил ей таким же чувством. Просыпаясь, он искал ее глазами. Маша брала его руку и гладила ее, Мартынов неторопливо и тихо рассказывал об Иркутске, о долгом своем пути на Камчатку.

Вильчковский относился к Мартынову с особой нежностью и за глаза называл его "грачом". Когда доктор был уверен, что есаул дремлет, он говорил Маше: "Ваш грач".

Однажды Мартынов спросил у Вильчковского:

- Доктор, почему вы меня прозвали грачом?

Вильчковский посмотрел на него сквозь очки удивленно, метнул укоризненный взгляд на Машу и наконец смущенно сказал:

- Извините, давать прозвища - корабельная привычка. У нас это принято.

- И мне нравится, - поспешил сказать Мартынов. - Но почему грач?

- Вы появились у нас в тот день, когда в Россию прилетают грачи. На Герасима-грачевника. И такой же взъерошенный, багрово-черный. А с вами и весеннее беспокойство... Впрочем, пусть уж вам лучше Машенька растолкует.

- Ну что ж, грач так грач. Не последняя птица на земле.

Через две недели прибыл из Гижигинска Степан Шмаков, оправившийся от болезни.

Часто заглядывал Завойко. Задавал множество вопросов о Муравьеве, об обстоятельствах, при которых было принято решение о снятии, как будто хотел увериться, что в Иркутске были употреблены все усилия, чтобы помочь Камчатке. Есаул многого не знал, но высказывал предположения, нравившиеся Завойко смелостью и основательностью.

- Откуда у вас эти бумаги? - спросил Завойко при первом визите, протягивая Мартынову бумажник Трифонова.

Мартынов нахмурился:

- Этот человек стрелял в меня. Приказчик американского купца Бордмана в Гижигинске.

- Вот как! - Завойко даже вскочил со стула. - Значит, правда? Откупился, мерзавец!.. Меня не сумел упросить, нашел защитников выше. Разбойник, несчастье целого края, а ведь ничего не поделаешь. Ни-че-го, господа! - возмущенно протянул он, обращаясь к Вильчковскому. - У нас коли денег вдоволь, так и суд милостив, - он потряс определением иркутского губернского суда. - Наворовал три тысячи рублей - ты и человек. При шести - личность, а ежели черные дела твои принесли пятнадцать тысяч капиталу, тебя и в почетные граждане запишут. Купец первой гильдии! Нет, шалишь! Этого я верну в острог!

- Сомневаюсь, - усмехнулся Мартынов.

- Напрасно сомневаетесь! - разозлился Завойко. - Я добьюсь своего, какие бы препятствия мне ни чинили.

- Трифонов мертв...

Завойко уставился на есаула широко открытыми глазами.

- Мертв, - повторил Мартынов. - Я убил его и взял бумажник. Там были и деньги...

- Деньги целы-с... - Завойко не мог скрыть охватившей его оторопи. Но позвольте... На каком основании вы... э... сделали это?

Мартынов на минуту закрыл больные глаза. Мохнатая фигура Трифонова двигалась на него сквозь пургу.

- У меня не было другого выхода, - проговорил есаул. - Он охотился за мной. Рассказ Мартынова объяснил все обстоятельства дела. Оставалось неясным, знал ли Бордман о намерениях Трифонова.

Завойко помрачнел.

- Шакалы! - почти простонал он. - И в эту пору оставить край! Глубокое искреннее горе прозвучало в словах Завойко. - Бросить его черным стервятникам на поживу и растерзание! Голубчик мой, - обратился он к Мартынову. - У вас хоть и одна рука и штыков не много останется на Камчатке, а вы не давайте им воли, не позволяйте порядки свои заводить.

- Постараюсь, - Мартынов участливо глянул в опечаленные глаза губернатора. - У меня рука тяжелая.

- Я не силы боюсь, а подлости людской. Золото сильнее пули ранит. Завойко все тыкал пальцем в раскрытый бумажник. - Хитрость тоньше штыка. Ведь вот как хитро мистер Бордман письмо написал, - он извлек из бумажника уже изученное письмо Бордмана мистеру Макрею, жителю Сан-Франциско. - Тут и имени подателя нет, а уж подлости с избытком.

Он бегло перевел некоторые места из письма:

- "Если эта деревенщина чудом доберется до тебя, выслушай его и реши, что с ним делать. Он говорит, что знает нечто важное об Амуре - большой реке, на которой, кажется, живут китайцы. По-моему, глупости. Набивает себе цену. Не представляю себе, что можно сообщить о реке, которая уже положена на карту. Впрочем, дьявол его разберет. Если его новость действительно чего-нибудь стоит, поблаговари мысленно меня. Его можешь использовать на кухне. Эти мужики усердно делают черную работу..." Какова сволочь! А? "...колют дрова, носят воду не хуже негров"... И все в таком духе: грязь, пакость, волчий вой.

Он вдруг резко повернулся к Мартынову:

- Ну-с, голубчик, каково-то у вас на сердце? Все-таки человека убили!

- Ничего на сердце, - ответил есаул, - спокойно.

В середине марта есаул стал двигаться по палате. Он часто усаживался у окна, из которого была видна часть Петропавловска и мачты стоящих в порту

кораблей. Расспрашивал Машу обо всем, что видел за окном.

- Мне принимать губернию, - говаривал он шутливо, - мое добро. Василий Степанович хозяин бывалый, того и гляди, надует, из-под самого носа вулкан увезет...

Однажды он спросил Машу о Зарудном. Имя чиновника чаще других упоминалось в письмах. Где он? Не случилось ли и с ним беды? Он хотел бы познакомиться с Зарудным.

Маша обещала привести его.

На Зарудного легли многочисленные обязанности по снятию порта: Завойко сделал его своим ближайшим помощником до первого апреля, когда было назначено отплытие судов. Зарудный редко приходил домой. Носился по батареям вслед за Василием Степановичем, руководил описью имущества, наблюдал за подготовкой архивов и бумаг, накопившихся за много лет. Все время был с людьми, обескураженными приказом о снятии порта. "Как долго они будут находиться в море? - спрашивали встревоженные жители. - Нельзя ли, вопреки общим указаниям, захватить с собою хоть старинный мелодиум, купленный за большие деньги? Неужели нужно бросить и собаку, к которой привыкла вся семья?"

Зарудный уже как будто и забыл о своей душевной боли. Все потонуло в большом человеческом горе, каким явилась эвакуация.

Люди неохотно покидают насиженные гнезда. Неказистый дом, поставленный на обрывистом, холодном берегу, счастье, взятое с боя у нужды, у жизни впроголодь, у суровой, несговорчивой природы, дороги вдвойне.

И вдруг все рушилось, смятое, поваленное бедствием. Все, кроме вещей, нужных в дороге, упало в цене. На Камчатке мало людей, имеющих деньги, а для купцов обывательские дома, которые все равно не увезти, - сомнительный товар. Впереди бурный океан, неизвестная, необжитая земля, новая нужда, болезни детей, тяжелые переходы и неприятель, которому ничего не стоит потопить транспорты с женщинами и детьми в отместку за прошлогоднее поражение. Все это наполняло людей тревогой.

Люди осаждали дом и магазин купца Жерехова. По совету Завойко, Лука Фомич решил на старости лет отправиться в неизведанные края. Азарт молодости проснулся в жилистом, крепком еще старике. Повеселевший, говорливый, он проводил дни в магазине, вместе с приказчиками, с медлительной женой и сыном Поликарпом, который оставался еще на год на Камчатке. Жерехов распродал оставшимся жителям все, чего нельзя было увезти на транспорте. Торговал дешево, с какой-то лихой, не старицкой бесшабашностью.

Проводя дни в терпеливых разъяснениях, в разговорах с камчадалами, Зарудный отлично понимал, какие бедствия принесет краю упразднение порта и губернаторского правления. Установление твердой русской администрации на Камчатке явилось несомненным историческим благом для камчадалов и коряков. Они были спасены от поголовного физического истребления, которому их обрекли хищные купцы, разбойные ясачники и чужеземные мародеры.

За несколько десятилетий управления Рикорда, Машина, Завойко камчадалы ушли от язычества, усвоили - в огромном большинстве - русский разговорный язык (а кое-кто и начатки грамоты), занялись огородничеством и переняли у русских поселенцев много полезных бытовых нововведений. И при Завойко произвол стяжателей не был уничтожен, но действия их уже не могли оставаться столь разбойными.

А теперь, с упразднением обширной администрации, купцы и исправники избавятся от сдерживающей их узды. Одна за другой возникали в памяти Зарудного физиономии местных исправников, корыстолюбивых, грубых, соединяющих купеческую алчность с жестокостью маленьких князьков. А жадные, напористые купцы, прилипчивые, как слепни, не уступающие в бесстыдстве исправникам? А иностранные китобои? Они и прежде не очень стеснялись, а теперь совсем опустошат берега Камчатки. Зарудному очень хотелось увидеть человека, который останется здесь вместо Завойко, хоть и в меньшем звании и с малыми силами.

Он пришел к Мартынову, не дождавшись приглашения Маши. Девушка несколько раз замечала Зарудного в толпе, занятого людьми, и не решалась подойти. Маша успокаивала себя: до отплытия еще достаточно времени.

Есаул дремал, когда в дверь палаты постучал Зарудный. Мартынов был один.

- Здравствуйте! Я Зарудный.

Мартынов легко поднялся на кровати.

- Наконец-то! Мне Марья Николаевна много писала о вас, но, лежа здесь, я уже начал сомневаться в вашем существовании.

- А между тем я существую, - усмехнулся Зарудный, пожимая протянутую руку. - И не только в воображении Марьи Николаевны.

- Вижу, вижу... Вы ведь близкий друг Машеньки?

- Надеюсь, - Зарудный чуть склонил лохматую голову.

- Я просил ее разыскать вас.

Зарудный кивнул, словно подтверждая, что он послан сюда Машей, и сказал:

- Не решался тревожить. Вы совсем были плохи, когда пожаловали к нам...

Что это вы меня так разглядываете?

Мартынов с привычной бесцеремонностью осматривал Зарудного.

- Удивительно, до чего вы оказались схожи с тем портретом, который сложился у меня! Не чертами, разумеется, а, так сказать, статью, типом...

- Рад, что не обманул ваших ожиданий, - бесстрастно сказал Зарудный, в душе проклиная себя за неловкость, мешавшую ему чувствовать себя непринужденно.

Есаул прищурил проницательные глаза. Он словно угадал тайную мысль Зарудного.

- Это вы бросьте, друг мой! - вскричал он. - Церемонии не по мне! Если вы друг Машеньке, друг Дмитрию Максуту, то и мне друг. Мне о вас столько хорошего наговорили, что вы хоть сажой вымажьтесь, а я буду твердить: "Бел! Чист! Бел! Чист!"

Зарудный рассмеялся. Стало хорошо и просто. Заговорили о Камчатке. Анатолий Иванович разошелся, убеждая Мартынова в преимуществе полуострова перед любым другим пунктом земного шара, называя его раем. Он метался по комнате, возбужденно тыкал пальцем в потускневшее от наступивших сумерек окно.

- Повидал я ваш рай! - говорил Мартынов, отворачиваясь и поправляя подушку, чтобы скрыть предательскую улыбку. - Жулье! Разбойники! Стреляют из-за угла...

В отместку Зарудный произнес гневную речь об иркутских нравах, об откупщиках и купцах, которые "хуже всякого разбойника", об "отвратительной привычке судить обо всем с одного взгляда".

Тогда Мартынов перевел разговор на другое. Он намекнул Зарудному на то, как хорошо было бы им двоим остаться на Камчатке и дружно взяться за дальнейшее устройство края. Анатолий Иванович увлекся, и они вместе строили планы будущей администрации, нового управления, справедливого, разумного и сильного, несмотря на почти полное отсутствие войска. Это управление плохо согласовалось не только с табелью о рангах, но и с самим духом существующей правительственной и административной системы, что нисколько не смущало пылких реформаторов. Управление давало широкий простор уму и энергии камчадалов, ительменов, коряков, ограничивало вожеления купцов, ставило народ под охрану справедливых приказов, обещало повысить благосостояние бедного люда и оградить отечественные интересы от бесцеремонных посягательств чужеземцев. Чего же еще желать? Пришла Маша с зажженной свечой и застала их сидящими на постели. Мартынов оставался в радужном, блаженном настроении, которое стало еще праздничнее с приходом девушки. Зарудного же появление Маши вернуло на

землю, к новым обязанностям, к мыслям о неизбежном и скором отъезде.

Вернулось и неясное, тревожное чувство, которое накладывало отпечаток на все, о чем думал и что делал Зарудный в последние две недели.

Маша казалась строгой, словно решившейся на что-то важное.

- Явился наконец, - есаул посмотрел на худое лицо Зарудного, - не посмел тебя послушаться, Машенька...

- Спасибо! - Маша протянула Зарудному руку.

Ничто не ускользнуло от взгляда есаула: боль, пробежавшая по лицу коллежского асессора; рукопожатие, длительное, похожее на прощание; глубокая значительность, с какой Маша произнесла "спасибо". Шутливые слова, готовые сорваться с уст Мартынова, - о том, что Маша в письмах отводила слишком много места Зарудному и будь он, есаул Мартынов, человеком ревнивым, причин для дуэли оказалось бы достаточно, - застряли в горле.

Зарудный снял фуражку с колышка, вбитого в стену.

- Прощайте, - сказал он.

Мартынов поднялся с кровати.

- Я буду ждать вас.

- Непременно! - Зарудный говорил немного волнуясь. - Теперь мы друзья, и я буду навещать вас. И вы выползайте поскорей. Не верьте докторам, даже Вильчковскому.

- Слушаюсь! - сказал Мартынов по-военному.

- Помечтали мы с вами... Побывали в прекрасной республике, пора и другими делами заняться. - Сняв уже надетую фуражку. Зарудный продолжал говорить, поглядывая в окно: - Это счастье, что судьба привела именно вас... Камчатке везет на хороших людей. Машин, Завойко, Мартынов... Рад за вас и желаю вам всяческого счастья. Трудно будет одному, да ведь мы к легкой жизни не приучены...

- Алексей Григорьевич не будет один, я остаюсь с ним.

Голос Маши звучал звонко, напряженно. Зарудный и Мартынов удивленно уставились на нее.

- Я ушла из дому. Навсегда... Останусь в Петропавловске, женой есаула Мартынова.

И, склонившись на столик, Маша заплакала, дав выход обиде и боли, вынесенным из родительского дома, длительному волнению, с которым она думала о неизбежной встрече с Зарудным, жалости к самой себе.

Зарудный нахлобучил на лоб фуражку и, шепнув Мартынову: "Берегите ее, пуще жизни берегите", - выбежал из палаты. В апреле, перед самым

отплытием судов, Мартынов и Маша тайно повенчались. Приходский священник Логинов наотрез отказался взять на себя венчание против воли родителей. Ни доводы Ионы, утверждавшего, что "брак не есть нечистота в церкви", что он "установлен богом и гнушаться участием в совершении брака грешно", ни просьбы Вильчковского, ни даже согласие Завойко - ничто не действовало на недоброго пастыря. И хотя церковь запрещала монашествующим совершение обряда венчания, иеромонах Иона взял на себя необременительный труд пропеть "Исайя, ликуй" и составить метрику о браке.

В качестве свидетелей присутствовали Вильчковский, вдова Облизина и Пастухов с Настей.

ПРОЩАНИЕ

I

Двадцать пятого марта, в праздник Благовещенья, вопреки обыкновению, никто не отдыхал. Кирилл еще с рассвета недовольно прислушивался к гулу в порту и, увидев губернатора, одетого в рабочий костюм - охотничьи сапоги, темную куртку, напоминавшую матросский бушлат, неодобрительно заворчал:

- Эх, и беспокойные вы! На Благовещенье и птица гнезда не вьет... А совет - ослабнут у нее крылья, ни летать, ни порхать ей, век ходить по земле. Так и человек, не будет ему ни в каком деле спорины...

Завойко взглянул на старика. Он давно уже не приглядывался к лицу Кирилла, сухонькому, янтарному, в блестках серебристых волос. Из ослабевших век текли слезы, но Кирилл не замечал их.

- А как же в море, Кирилл? - возразил Завойко мягко. - Неужто и при шторме сидеть сложа руки, праздник блюсти?

- Море - другое дело... Море-е-е... - Старческий, дребезжащий голос произнес это слово мечтательно, точно говорил о чем-то стоящем выше всяких человеческих законов и суждений.

- А у нас нынче шторм, военная нужда, - охотно, объяснил губернатор. - У нас одна нога здесь, а другая - на кораблях, в море. Бог непременно простит, и ты прости.

В порту Завойко встретил Мартынова. Высокий, исхудавший, с торчащей на голове папай, он был, пожалуй, выше Изыльметьева. Карие глаза весело скользили по разношерстной толпе, заглядывали в открытые двери казенных магазинов, осматривая груды всякого добра, прикрытого старыми парусами. Есаул был еще очень бледен. Он часто присаживался отдохнуть. В одну из

передышек у штабеля бревен, сложенного на берегу, Завойко, раскурив трубку, обронил:

- Алексей Григорьевич, а ведь вы могли бы с нами уплыть...

Мартынов сердито надул губы. Кончики его усов приподнялись и угрожающе уставились на Завойко.

- У нас достаточно офицеров, опытных чиновников, - убеждал Завойко. Назначим кого-нибудь, хотя бы Зарудного...

Есаул резко поднялся:

- Его сиятельство генерал-губернатор Муравьев приказал мне принять земское управление Камчаткой.

- Николай Николаевич не мог предвидеть всего. Потеря руки освобождает вас и от этой обязанности и от казачьего мундира. Если вы пожелаете...

- Нет, - сердито оборвал его Мартынов, - таких выгод не ищу. Увольте меня от ваших забот. Я останусь!

Завойко с опаской взглянул на молодого офицера. Неужели та же натура, что и у Арбузова? Упрямство, честолюбие, безрассудная удаля? Нет, сердитые карие глаза есаула светятся другим огнем. Он, кажется, твердо знает, чего хочет, и думает не об одном себе. Завойко молча протянул ему руку и, ощутив крепкое рукопожатие Мартынова, понял, что маленькая размолвка забыта.

Погрузка казенного имущества подходила к концу. "Аврора" ожила. Экипаж из казарм и офицерских флигелей возвратился на фрегат. На транспортах и корвете уже разместились семьи местных офицеров. Казармы, мастерские и другие здания стояли открытые сквозному ветру, гулкие, опустевшие. Если бы не потемневшие бревна, не ржавые пятна гвоздей на оголенных досках, можно было бы подумать, что порт строится - в малую бухту пришли суда с долгожданным железом, дверьми, рамами, и остовы домов начнут одеваться, а комнаты - наполняться человеческими голосами...

Камчадалы, приезжавшие из глубинных поселений и острожков, удивленно ходили по пустынным комнатам, наступая на ненужные бумаги. Нет дверей, сквозь которые так трудно было проникнуть раньше, нет жадных и ждущих глаз. Угрюмая тишина. Небольшие снежные наметы на полу, против окна, тающие на солнце, а по ночам стеклянной массой примерзающие к половицам.

В последние дни погрузки все-таки потеряли одно орудие. Тяжелая пушка тридцатишестифунтового калибра провалилась в глубоком месте, и вытащить ее на ненадежный лед оказалось невозможным. Больше других огорчился Гаврилов: пушка была с его батареи. Двадцатого августа минувшего года она

славно поработала и причинила большой урон англичанам. Гаврилов долго вертелся вокруг полыньи, обдумывая план подъема пушки, но ничего придумать не смог и ушел на "Оливуцу" угрюмый и злой. Для подъема пушки требовалось время, а обстоятельства вынуждали Завойко бросить команды на прорубку льда.

Нужно вывести в океан суда в такую пору, когда о движении зазимовавшей на Камчатке небольшой флотилии англичане и помыслить не могут. Иначе флотилия в составе двух военных кораблей - "Авроры" и "Оливуцы" - и транспортов с женщинами и детьми на борту столкнется в море с сильным и озлобленным неприятелем.

Петропавловская бухта наполнилась звоном кайл и топоров, скрежетом пил, грохотом взрывов. На ледяном поле бухты вырастал широкий канал с неровными, иззубренными краями. Люди брали приступом каждую сажень толстого льда, наросшего за зиму. Они настойчиво двигались к выходу из малого рейда. Нередко утренник сковывал льдом уже пройденное пространство, и нужно было вновь и вновь разбивать неподатливую ледяную корку.

Диодор Хрисанфович Трапезников похаживал возле магазинов и портовых строений. Он наблюдал царящую здесь суету, не задерживаясь ни на чем подолгу. Сбылась его мечта - с упразднением порта и губернского управления нарочные курьеры забудут дорогу в Петропавловск. Два раза в году содержимое ящика будет отправляться на судах в Россию.

- Диодор Хрисанфович! - подозвал Завойко почтмейстера, смешно переступавшего через лужи.

Трапезников приблизился.

- Знакомьтесь. Мой преемник, - представил Завойко Мартынова, - есаул Мартынов.

Почтмейстер недоверчиво покосился на Мартынова и сдержанно поклонился ему. Потом, глядя на рейд, многозначительно спросил губернатора:

- Полагаете, ваше превосходительство, все обойдется?

Это относилось к снятию порта, к уходу судов, к погрузке, ко всему, что в настоящую минуту попадало в поле зрения Трапезникова.

Завойко сурово сжал губы, чтобы не улыбнуться, и сказал:

- Надеюсь, Диодор Хрисанфович.

- Если потребуется моя помощь, - почтмейстер прижал руку к груди, готов. С превеликой охотой!

Услыхав ответную любезность Завойко, он удалился так же церемонно, как и подошел.

Завойко расхохотался.

- Будет у вас, Алексей Григорьевич, как при настоящем дворе, свой шут гороховый!

Мартынов удивленно смотрел вслед Трапезникову:

- Давно он здесь?

- Давненько. При множестве лиц не бросался в глаза. При вас остается единственным чиновником.

- Спасибо, Василий Степанович! - Мартынов поклонился в пояс. Одолжили, осчастливили...

На портовой площади стали появляться купцы из Тигиля, Большерецка и Коряк. С виду озабоченные и даже сочувствующие беде петропавловских жителей, они тем не менее назначали такую цену движимому и недвижимому имуществу, что отъезжающие только проклинали живоготов и гнали их от себя тяжелой, как свинчатка, руганью. Лучше уж бросить добро, чем за гроши продавать его кровососам.

Тут-то и развернулся Чэзз! Наставления глазастого Бордмана, видно, пошли ему впрок. Он облюбовал себе местечко на площади и появлялся здесь ежедневно в сопровождении Трумберга. Немец скупал для патрона все, что попадало под руку, и если стороны, до седьмого пота дойдя, не могли торговаться, в спор вмешивался сам Чэзз и дипломатически набавлял малость. Вокруг Чэзза всякий раз собиралась толпа, - он находился все эти дни в ударе, шутил, уверял жителей, что не оставит их своими заботами и увеличит торговлю "дешевыми и первоклассными товарами". Чэзз окликал приезжих камчадалов, заводил с ними разговор о зимней охоте, о предстоящем лове лососей и охотно отпускал товары в кредит тем, кто оставался на Камчатке. Поскорей бы убирался Завойко, с судами, с пушками, со своею чертовской непреклонностью, уж тогда никому не миновать пухлых рук Чэзза! Как говорил проныра Бордман? "Мы поможем Камчатке...". "Конечно, поможем! - ликовал внутренне Чэзз. - Освободим ее от обременительных запасов меха..."

Отъезжающего губернатора Чэзз и на этот раз встретил с привычным подобострастием.

- Здравствуй, Чэзз, - Завойко остановился против американца. Поездил по краю, говорят, даже в Гижигинск забрел, а ко мне носу не кажешь!

Глаза Чэзза воровато забегали.

- Дела, господин Завойко, заботы. Хороших людей жалко, помогать нужно...

- А я думал - ты старого знакомого придешь проведать, - Завойко испытующе смотрел на купца, - господина Мартынова.

Чэзз только теперь заметил стоящего рядом есаула.

- Пресвятая дева! - в глазах его отразилось притворное удивление. Господин Мартынов? Какое несчастье! Ай-ай-ай! Говорил я вам - нельзя торопиться в этом проклятом краю...

Есаул сделал вид, что не заметил протянутой руки Чэзза, и резко оборвал его:

- В этом краю нужно осмотрительнее выбирать себе попутчиков.

- Верно! - подхватил Чэзз. - На туземцев нельзя положиться. Из-за нескольких долларов убьют да еще, наглотавшись мухомора, съедят вместо оленины. Помните пьяных коряков?

- Вы думаете, коряки съели мою руку? - Мартынов колючим взглядом впился в широченное, покрывшееся испариной лицо американца.

- О нет! - заговорил словоохотливый купец. - Еще в Тигиле я видел вас совершенно здоровым. Вы уехали в пургу. Все удивлялись, а я сказал: "Такой человек не пропадет. Он своего добьется. Он стоил бы много долларов даже в Штатах..."

- Ну а Трифонов? - прервал Завойко излияния Чэзза. - Во что Трифонов и его хозяева оценили голову есаула Мартынова?

Чэзз рассмеялся:

- Вы шутите, господин губернатор!

Завойко коснулся плоского рукава Мартынова и сказал:

- Его работа. Ты зачем ездил в Гижигинск?

- К Бордману, за деньгами, - охотно ответил американец. - Триста долларов. Он никогда не торопится с долгами. - Купец понизил голос, угодливо хихикнул. - Кстати, забавная штука: мистер Бордман за всю свою жизнь не показывал носа в Бостон... Обман публики и настоящее мошенничество! Ха! Дураки верят. Солидная фирма: "В. Бордман из Бостона". В приказчики взял зверя...

Американец ласково посмотрел на Трумберга, свежевыбритого и почтительно внимавшего словам хозяина.

- У вас сам черт не разберет, где кончается ростовщик и где начинается грабитель, - сердито сказал Завойко. - На всякий случай имей в виду: Трифонов мертв. Господин Мартынов застрелил его, как собаку. Господин Мартынов остается здесь начальником. Понятно?

- Как же, как же! - торопливо заквакал Чэзз. - Рад трудиться под начальством молодого храброго офицера!

Завойко и Мартынов скрылись в толпе, а Чэзз все еще продолжал выражать свои искренние чувства. Иногда Завойко останавливали жены унтер-

офицеров и служащих, чьи семьи не попали в списки отъезжающих. Предполагалось, что их увезут с Камчатки первые компанейские суда, которые придут в Петропавловск, или иностранный китобой, нанятый за деньги, специально для этого ассигнованные.

Василию Степановичу обычно верили. Слушали его внимательно, не перебивая, как слушают приговор, не подлежащий обжалованию. А в глубине глаз залегла смертельная тоска, боязнь, что хорошим словам Завойко не суждено сбыться. Холодом веяло от этих взглядов, от глаз, угрюмо уставившихся в землю или в мутный горизонт. Завойко понимал: никакими словами делу не поможешь. На рейде стоят суда. Они заберут несколько сот жителей и уйдут в океан. Что случится после этого, никто не предскажет. Куда уходят суда, никто из жителей не знал.

Однажды Завойко, выходя с Зарудным из канцелярии порта, услышал у крыльца рыдания и громкий разговор, заставивший его остановиться.

Плакала женщина. Около нее, упрямо согнув шею, стоял квартирмейстер Усов.

- Нешто они каменные?! Нешто у них сердца нет?! Схо-ди-и! упрашивала сквозь слезы женщина.

- Не пойду! - отвечал Усов. - И не проси. Не пойду.

- Боишься?

- Нельзя мне. Пойми, нельзя!

- Можно, Гришенька... Не за себя просишь, дети у тебя.

- Эка невидаль, дети! - грубо ответил Усов, но в голосе у него что-то дрогнуло. - А у других щенята, что ли?!

- Ты об других не думай. Они где были, когда тебя англичец пытал?!

- Ладно! - прикрикнул раздраженно Усов. - Не твоего ума дело!

- Сходи-и-и! - голосила женщина. - Не то брошусь, упаду на пороге пускай делают что хотят.

Женщина рванулась вперед и заставила Усова, схватившего ее за руку, податься на шаг к крыльцу.

- Клавдия! - угрожающе прошептал он.

- Окаянный-й... родитель ты... У порога страх одолел...

- Совесть не дает. Пойми ты...

- Совесть! Совесть, говоришь? - простионала она. - А меня с детьми бросить совесть велит?..

- Не бросаю я вас, Клавушка, - взмолился вдруг Усов. - У меня сердце кровью зашлось, а что сделаешь?! Что станешь делать, милая...

Женщина заплакала навзрыд, повиснув на плече Усова.

- Придет компанейский корабль, возьмет вас, - успокаивал он ее. - На новом месте заживем лучше прежнего...

- Не свидимся... - стонала жена у него на плече.

- Свидимся... Я ведь как деток люблю! Скажи мне: голову отдай за них - отдам; рук, ног лишишь - лишусь, слезы не пророню... Не мучь ты меня, слышь, не мучь!

- Сходи-и-и...

- Служба не велит.

Новый приступ ярости охватил женщину:

- Служба! Коли в малых чинах, так и детям гибель?! Холодать, голодать мы первые. Нешто мы не люди?!

Женщина всхлипнула в последний раз и мелким, неуверенным шагом пошла к поселку.

Завойко вышел на крыльцо и спросил:

- Ты ко мне, Усов?

Усов растерялся, вздохнул, беспомощно поглядывая на Завойко и Зарудного.

- К вам, Василий Степанович. - Он откашлялся, взмахнул руками и неизвестно зачем подошел к самому крыльцу. - Василий Степанович, матрос Парошин-то захворал... На льду простыл... Упал в воду... В госпиталь, что ли?

- В госпиталь.

- А если вскоростях сниматься? Как быть?

- Выздоровеет - с нами уйдет, - сказал Завойко. - А не успеет - на компанейском доставят.

- Матрос больно хорош, первый умелец.

Усов произнес эти слова с такой тоской, словно он уже просит о детях и предчувствует отказ.

- Знаю. Хорошего матроса беречь нужно.

Квартирмейстер вздохнул с облегчением:

- И я так думаю, Василий Степанович.

- И отлично. А дети как?

- Мои-то?

- Твои. О своих я сам позабочусь.

- Дети... ничего. Жена убивается. Глупая она у меня.

- Ты скажи ей, - строго наказал Завойко, - в Старом Остроге для всех остающихся семейств убежище приготовлено. На случай нападения. Там и моя семья будет... дожидаться компанейского транспорта. Иди.

- Слушаюсь!

Усов удивленно уставился на Завойко: "Не шутит ли губернатор?"

молодцевато повернулся и умчался в ту сторону, куда ушла жена.

Провожая Усова взглядом, Завойко вспомнил недавний неприятный разговор с судьей Васильковым. Судья пришел к нему внутренне настороженный, но с вежливой и просительной улыбкой на лице. Он просил разрешить ему погрузить на транспорт все свое имущество, не исключая и громоздкой домашней мебели. Завойко уже знал, что судья через подставных лиц скупил кое-что у отъезжающих, рассчитывая, по-видимому, на то, что губернатор именно из-за натянутых с ним отношений разрешит ему увезти все.

Просьба Василькова взорвала Завойко, но он сумел сдержаться и только сказал:

- Очень сожалею. Ничего не могу поделать.
- Я настойчиво прошу вас об этом, ваше превосходительство.
- Мы высадимся на диком берегу, там ваше добро пропадет.
- Это уж моя забота, - сухо ответил Васильков.
- Вот как! - Завойко сурово взглянул на судью. - Я намерен неукоснительно придерживаться общих для всех правил. Для добра, честно нажитого за год жизни здесь, места на транспорте хватит.

Он отвернулся, считая разговор оконченным, но услышал позади себя хриплый от злости голос судьи:

- В таком случае требую оставить меня здесь! Я не желаю повиноваться вашим деспотическим и жестоким приказам.
- Это измена, господин Васильков. Не мне, а России. - Завойко указал рукой на дверь. - Вы поедете на "Иртыше", он уходит первым. Если вы не явитесь вовремя, я арестую вас и буду судить как изменника. Идите.

Неприятное, гадливое ощущение долго не покидало Завойко. Оно прошло только теперь, в разговоре с Усовым.

Зарудный следовал за губернатором натянутый, молчаливый.

Когда подходили к дому, Завойко спросил:

- Отчего нахохлились, Анатолий Иванович?
- Василий Степанович, зачем вы ему про свою семью сказали? Ведь он поверил.
- А вы не поверили? - Завойко сухо поклонился. - Напрасно, Анатолий Иванович. Пора бы знать меня. Прощайте!

Иван Николаевич уже ждал хозяина в кабинете. В доме все было сдвинуто с привычных мест. Стены стояли голые, без ковров и украшений. Юлия Егоровна подготовила все к отъезду. Только здесь, в собственном доме, среди пришедших в движение вещей и предотъездной суеты, Василий Степанович до конца ощутил, какой удар он должен нанести жене. Первым

вступился за нее Изыльметьев.

- Не пойму я вас, Василий Степанович, - сказал он, выслушав Завойко. - Юлия Егоровна - совершеннейший ангел, но вы злоупотребляете этим. Человеческому терпению есть предел. Неужто на кораблях не найдется места для вашей семьи?

- Найдется, - задумчиво ответил Завойко. - Не в том беда, Иван Николаевич. Мы вынуждены обстоятельствами оставить здесь многих до первой okazji. Тяжка участь сироты на Камчатке. У нас бедняк не может подать хлеба нищему. Кусок хлеба стоит дневного пропитания бедняка. Еще в прошлом году хотел я отправить семью, думал - попадется какой спекулянт, американец торговый, отправлю их... Страшно видеть нужду над детьми. Не довелось выслать, а теперь поздно. Если Юлия Егоровна останется, множеству людей легко на сердце станет. Не на погибель же губернатор оставляет их? Значит, правда, - корабли придут...

- Воля ваша, Василий Степанович, - проговорил капитан с укоризной. Однако же многим вы рискуете!

- В океане я рискую не меньше. Злобный англичанин, попирающий все законы человечества, ледяные штормы, несчастья подкарауливают нас. Кто знает, может статься, жестокость моя сохранит семью, дорогие жизни! Кто знает...

Заговорили о другом. Оказалось, не все готово к отплытию. Пришлось перенести срок отплытия с первого на пятое. Условились о прощальном обеде и молебне. Завойко на прощание сказал Изыльметьеву:

- Хотя я и пожалован адмиральским чином, а по выходе в океан прошу вас, Иван Николаевич, берите бразды правления в свои руки. Давненько не ходил в море. Море не любит отступников, бывших мореходцев...

По уходе Изыльметьева Василий Степанович долго оставался в кабинете в странном оцепенении.

Скрипнула дверь. По легким шагам он узнал Юлию Егоровну, но не поднялся ей навстречу. Рука жены опустилась на сидящую голову Завойко.

- Устал, Васенька!

Он прижал ласковую руку щекой к плечу.

- Иван Николаевич ушел не простившись... Что с ним?

- Торопился... На фрегате бездна дел, за день всего не переделаешь.

- Пастухов нынче говорил, - удивилась Юлия Егоровна, - все готово к отплытию.

- Пастухов - мальчишка. По нем, если мачты поправлены да паруса на месте, можно и плыть. Мы решили для нижних чинов в жилой палубе железные печи

поставить. Из цистерн. Тяжелый переход будет. В эту пору у берегов Камчатки мало кто решается плавать.

Юлия Егоровна присела на ручку кресла.

- У тебя какая-то тяжесть на душе, Васенька... Что-нибудь случилось?

- Да, нелегко, нелегко. Всех, кто назначен к переезду, забрать не сумеем.

- За ними придет компанейский корабль.

- Не верят. - Завойко повернулся к жене. - Впервые за все годы не верят. Убеждены, что стоит мне уехать отсюда... с тобой, с детьми, и уж ничто не будет от меня зависеть. Их и обвинять-то нельзя. Внезапные сборы в марте, прорубка канала во льду, поспешный уход кораблей в такое время, когда никто и не помышляет о выходе в море, - все это слишком странно. Куда уходит эскадра - не знают. От англичан пощады не ждут.

- Поговори с людьми, Вася, тебя послушают.

- Бесполезно, - тяжело сказал Завойко. - Час назад я был свидетелем печальной сцены... Квартирмейстер Усов жену увещевал. Напрасно, все напрасно. Доводы логики бессильны. Люди забыли даже о том, какой риск, какие невероятные трудности ждут нас в океане. Штормы, оледеневшие снасти, холод, а с высадкой - большие переходы пешком, никаких средств передвижения. Какие лишения ожидают детей!

Тревожное предчувствие заставило похолодеть Юлию Егоровну. Неужели он ждет от нее невозможного? Неужели хочет, чтобы она осталась в Петропавловске, согласилась на долгую разлуку, показавшуюся ей вдруг страшной?

"Вот как чувствуют себя жены, остающиеся здесь с детьми! - пронеслось в голове Юлии Егоровны. - Конечно, они не могут поверить в успокоительные слова, не могут, не могут".

- Не верят... - повторил Завойко, упорно думая о своем. - Мы с тобой знаем, что компанейские суда придут. Ты веришь в это...

- Да, я верю, - ответила она срывающимся голосом.

- Вот видишь. Ты нашла бы в себе силы остаться... на месяц-другой. Им труднее.

Она уже знала, чего хочет Василий Степанович. Безмолвный крик потряс все существо Юлии Егоровны, сердце ее то замирало, то бешено колотилось. Нет! Она не скажет этого первая! Он ждет ее самопожертвования, нескольких тихих слов, которые снимут камень с его души! Но у нее нет этих слов. Даже стон, рвущийся наружу, не может разжать сомкнувшихся челюстей. Расстаться?! Если Завойко уйдет один в море, случится несчастье, столкновение с неприятелем тогда станет, как почему-то думалось Юлии

Егоровне, неизбежным. И наоборот, представляя себе своих детей на корабле, рядом с отцом, она как-то исключала возможность военных действий. "Аврора" без нее и детей - военный фрегат, содрогающийся от залпов, окутанный пороховым дымом. С ними - это мирный корабль, которому сопутствует удача.

Завойко ждал. Короткими движениями он поглаживал руку Юлии Егоровны. И даже эти прикосновения словно подталкивали ее, говорили: "Торопись, я жду! Да ну же, скажи, скажи!" Рыдания подступили к горлу, но Юлия Егоровна проглотила их, крепче сжав зубы. В глазах слезы - Василий Степанович не видел их. Но если она попытается заговорить, он все поймет. Нужно привыкнуть к ужасной мысли. Еще несколько мгновений - и она сможет обо всем говорить почти спокойно... Почти...

Юлия Егоровна не ответила.

- Наш долг, наша обязанность... Мы должны дать нравственный пример... Ты знаешь, как тяжело, как невыносимо тяжело мне такое решение...

Еще нельзя отвечать, еще не слушается голос.

- Только это и могло вселить в людей надежду... Кто знает, быть может, мое решение спасет вам жизнь, - повторил он испытанный аргумент.

- Не смей об этом, Вася! С тобой ничего не случится, слышишь, ничего!

- Я солдат, дружок. Дело идет о чести России, я предпочту смерть позору.

Наконец найден выход рыданиям, волнению, боли. Теперь никто не станет корить ее за слезы, за сбивчивый лепет.

- Судьба хранила тебя, Вася... - Юлия Егоровна прижимается к мужу, словно ищет у него защиты. - Ты будешь жить... Ничего не бойся, не думай о беде... У нас еще много счастья впереди... Долгие годы...

- Трудную жизнь подарил я тебе, - говорит Завойко голосом, полным нежности, - да разве мало в ней тепла, мало счастья? Помянут нас с тобой люди добрым словом, пожалеют о нас, дружок. Большого нам и не нужно... Верно?

- Да, - чуть слышно ответила она.

- Ты останешься, дружок?

- Я сама хотела просить тебя об этом... Буду ждать... Господин Мартынов позаботится о нас.

Завойко с облегчением закрыл глаза.

Через полчаса Юлия Егоровна суежилась по дому, расставляя вещи по местам. В кабинет Завойко доносился ее спокойный голос, и ему становилось легко на душе. II Решение Завойко имело неожиданные последствия.

Настя, узнав, что Юлия Егоровна остается с детьми в Петропавловске,

присоединилась к ним. Она не раздумывала над своим решением, не взвешивала, не колебалась. Оно пришло сразу, уверенное, ясное. Она не могла оставить Юлию Егоровну, как не оставила бы свою мать или собственных детей.

У Насти были свои идеалы семьи, свои представления о долге мужа и жены, сложившиеся под влиянием сурового быта Камчатки. Здесь люди сходились навек, а уж долгим ли, коротким ли оказывался этот век, зависело не от них. Его укорачивали невзгоды, голодные весны, алчность купцов, мздоимство чиновничьей братии, жестокость чужеземных добытчиков-пиратов. Счастье кончалось вместе с жизнью. Мелочные, вздорные обстоятельства здесь были бессильны разрушить семью, разорвать честный, полюбовный союз. Жены терпеливо ждали возвращения мужей, ушедших морем в Большерецк, в Аян, на охоту или на добычу угля. Расставания неизбежны, и никому не приходило в голову жаловаться, роптать.

Она хотела стать женой Пастухова, флотского офицера, и станет, если не случится беды. "Пусть это будет нашим первым испытанием, - думала Настя, - первой разлукой и первой встречей в бесконечной череде разлук и встреч, из которых сложится вся наша жизнь..."

Иначе отнесся к этому Пастухов, когда Настя нашла его в порту и сообщила о своем решении. Они бродили по берегу, избегая людей, останавливаясь или ускоряя шаги, будто торопились куда-то.

Константин страдал. Это и радовало Настю и вызывало ответную волну жалости и тревоги, которой она не ощущала до встречи с Пастуховым.

- Я не могу поступить иначе... - сказала она. - Остается моя семья, самые дорогие, близкие люди...

- Настенька! Настенька! - повторял он с укоризной. - Мать для меня святыня, родная, кровная, но и она не могла бы заставить меня разлучиться с тобой.

- Мы скоро свидимся.

- Кто может предсказать?! Неужели ты вовсе не любишь меня...

Настя остановилась, заговорила срывающимся голосом:

- Я хочу быть достойной тебя, достойной славных людей, с которыми меня свела жизнь.

- Но если разлука затянется?

- Я буду ждать!

- Фрегат может уйти в крейсерство, в океан...

- Буду ждать! - упрямо твердила Настя.

- Все может случиться: бои, скитания, плен.

- Ждать! Буду ждать! - отвечала она, побледнев.

- Могут пройти годы.

Настя возразила с неожиданной твердостью:

- Я твоя жена, Константин. Жена морского офицера. Однажды Юлия Егоровна сказала: "Жена моряка - это прекрасная, нелегкая служба у нас в России". Не мешай мне. Это наше первое испытание. Нужно выдержать его. Я останусь.

Пастухову пришлось покориться. Настя возвысилась в его представлении, соединив необыкновенную привлекательность с душевной красотой и благородством. Опасение потерять ее причиняло ему глубокую боль.

Едва дождавшись конца молебствия, Завойко поспешил в порт. Освященные флаги взлетели на гафели судов. В воздухе затрепетали треугольники вымпелов. Офицеры и матросы заняли места. Зачернели куртки марсовых, взбиравшихся на свои посты по обледенелым снастям. В порту играл оркестр, но ветер срывал звуки с медных раструбов, как мертвую листву с ветвей, и швырял на утесы Сигнальной горы.

Суда готовы к отплытию.

"Аврора" едва заметно покачивалась на чистой воде. Фрегат отремонтирован, наведены белые полосы на темных бортах, словно он только вчера вышел с кронштадтского рейда. Рядом стоит "Оливуца", красивой осадки, стройная, трехмачтовая.

Корабли здесь последний день. На рассвете они отсалютуют Камчатке и пойдут по каналу в океан, хотя мокрый снег и ветер покрыли снасти ледяной броней, а канаты промерзли так, что могут сломаться при постановке парусов. Но как бы там ни было, утром суда должны покинуть Петропавловск. В порту народу все прибывает и прибывает. Валят из церкви, из окраинных домов, идут по узким талым дорожкам, между изгородями, образующими улицы. Сегодня здесь не встретишь матросов - все они на кораблях, при исполнении обязанностей, по которым так тосковало матросское сердце всю зиму. Нынче они особенно подтянуты! С берега их наблюдают не праздные зрители, а люди, с которыми они успели сдружиться за много месяцев камчатской жизни.

На берегу Завойко увидел Мартынова. Есаул курил трубку в кругу стариков и молодых камчадалов-охотников.

- Попутчики мои, - представил Мартынов молодых камчадалов. Спасители...

Старики стояли молча: Крапива, Иван Екимов, нижние чины инвалидной команды. Они наблюдали за кораблями, будто ждали какого-то чуда. Завойко знал их обыкновение не вмешиваться в чужие разговоры без приглашения, без особой нужды. Шубенка Крапивы распахнута, на груди отставного кондуктора блестит новенький солдатский "Георгий".

- Жаль расставаться, Белокопытов? - спросил Завойко.

- Никак нет, Василий Степанович, - молодцевато ответил старик. - Об чем жалеть? Военный маневр - обыкновенное дело.

- Маневр, говоришь?

- Хитрость, - пояснил старик. - Переходим на новый галс, меняем ордер. Нам здорово - англичанину смерть и поношение. Верно говорю, Василий Степанович?

- Верно, - сказал Завойко. Потом, помолчав, добавил: - Однако же в церкви какой стон стоял!

- Бабы! - презрительно заметил Белокопытов. - Одни бабы голосили. Им мужское дело невдомек. Я так считаю, Василий Степанович, сеятели мы, мужики. Коли в пору посеяно и зерно колосом пошло, так и жалеть не об чем... Ступай на новые места, корчуй лес да гляди, чтобы мохом не зарос. Русскому человеку распространяться надобно, беспокоиться. Иные нации в чужие угодья забрались, а мы свое добро в безлюдье держим. И то сказать богата Сибирь землями, рыбой и зверем изобильна, а хорошие люди один от другого ровно верстовые столбы стоят. Вам, Василий Степанович, за ласку, за науку спасибо! А жалости не имеем, не по нашему это департаменту. Сбросить бы мне годков двадцать, ушел бы с вами в океан. Такого наворотил бы, реки заставил бы вспять потечь! Жаль, разум поздно приходит, заключил он сокрушенно. - Молодость сильна, да глупа. А старость...

Он вздохнул.

- Ну а придет англичанин, что станешь делать? - спросил Мартынов.

- Полагаю, за ружьишко возьмемся. На плечо, на сошки. Огонь! Ура! Атака!.. А там видно будет. Верно говорю, старики?

- Я скажу, - поддержал его Иван Екимов, - не видать англичанам удачи. Залетела птица выше своего полета. Обломала когти минувшим летом, нынче, глядишь, и перья из крыльев повыпадут. А без перьев птица не птица, насмешка одна.

Завойко с глубоким вниманием слушал их. Впивался взглядом в лица стариков, молодых охотников, отличившихся в прошлогодних боях, рыбаков, мастеровых, которые обучались ремеслам на его памяти, и думал о том, как много спокойствия, твердости обнаруживается у них в самые критические минуты жизни. И, как бы отвечая его мыслям, Крапива уверенно сказал:

- Земля обжитая, верная. Ничего с ней не случится. Будет стоять как крепость. Для нас - периной пуховой, ласковой, для недругов - кремнем, могилою! III Мокрый снег беззвучно оседал под ногами. Подошвы сапог скользили по голым камням. Солнце садилось, но его лучи не плавильсь

золотом в стеклах казенных зданий, а проваливались в сумрачные глазницы окон. Город словно повернулся к солнцу шершавой, мшистой спиной и уснул раньше положенного времени.

Люди шли по берегу залива молча, охваченные одним чувством. Чуть впереди - Завойко, следом - Пастухов, Зарудный, Гаврилов.

Взошли на бруствер Кошечной батареи и, обнажив головы, стояли, точно прислушиваясь к звукам давно отгремевшей канонады, к умной, неторопливой пальбе артиллеристов Дмитрия МаксUTOва.

Безмолвная земля вздрагивала под ногами.

Из поселка ветер принес грустную песню о млад-ясном соколе. Песня летела к Красному Яру, на Кладбищенскую батарею.

Пела Харитина. О том, как захватили черные вороны сокола с опаленными крыльями. ...Они граяли, смеялись ясну соколу,

Называли они ясна сокола вороною... Сокол обещал отомстить им, взлететь высоко, пролить их кровь поганую в сине море, а перья разметать по темным лесам...

Между Песчаной косой и батареей мичмана Попова они ускорили шаги, точно у Красного Яра снова замелькали куртки французских матросов.

Сердце Пастухова билось учащенно. Мертвая земля. Пастухову казалось, что он слышит шуршание гальки на дне замерзшей Гремучки, клочкотание Безымянного ключа, боевой клич несущихся по взгорью камчадалов.

На батарее тихо. В чистом предвесеннем небе зажигается ранняя звезда. Здесь снег белый, нетронутый.

Голос Харитины ушел дальше, звучит мягко, но каждое слово слышно хорошо: Не год сидит и не два сидит добрый молодец.

Головушка стала седешенька, бородушка стала белешенька... С возвышенности у Красного Яра видна Авачинская губа и гладь, где стояла неприятельская эскадра. Здесь англичане взяли в плен Семена Удалого и его товарищей. Не оттого ли кажется, что песня Харитины несется оттуда, не оттого ли так западает в душу каждое слово? ...А все ждет-то он поджидает выкуп-выручки:

Был и выкуп бы, была бы выручка - своя волюшка,

Да далече родимая сторонушка-а-а... Офицеры возвращаются. Идут мерным военным шагом через город к Култушному озеру. Скользя, поднимаются на Никольскую гору.

Они не надевают фуражек. Стоят в глубоком молчании на гребне горы, потом пробираются по нетронутому снегу к Сигнальной батарее.

Здесь, под гордым, несдавшимся крепостным флагом, который в последний

раз опустится по команде Завойко, Василий Степанович становится на колени, бережно разгребает снег и трижды целует землю.

Мерзлая, каменистая земля обжигает губы. Корабли уходили не сразу. Первым скрылся в тумане бот "Кадьяк". Он плыл в Большерецк. Четвертого апреля подняли паруса "Байкал" и "Иртыш", на борту которого среди прочих пассажиров находился и судья Васильков. Быстроходные военные суда и транспорт "Двина" рассчитывали догнать их в океане, следуя заданному курсу.

В течение суток после ухода транспортов пронизывающий северный ветер одевал палубу и снасти оставшихся судов в ледяную броню. Ночью, при свете фонарей, снасти "Авроры" убегали вверх светящимися линиями. Закрепленные паруса, такелаж и реи, приведенные в горизонтальное положение, задубели.

Горнист "Авроры" заиграл поход. "Оливуца" ответила фрегату. Под звуки боцманских дудок и под удары колокола флаг и гюйс поползли вверх. Прохаживаясь по скользкой палубе фрегата, Завойко обратился с коротким словом к выстроенному перед ним экипажу:

- ...Если же встретим сильнейшего неприятеля в море, - Василий Степанович нашел среди людей, толпившихся на берегу, небольшую фигурку Юлии Егоровны, стоящей рядом со старшими сыновьями, - то храбрость офицеров и молодецких команд ручается мне, что ни в коем случае ни русское судно, ни наш военный флаг не достанутся врагу!

Дружное "ура" покатилося по палубе. По приказанию Изыльметьева матросы спустились на лед, где их ждали прикрепленные к судам лямки. В лямки впряглись не только матросы, но и офицеры, Иона, даже штатские помолоче, из жителей, собравшихся на проводы.

Впервые после долгих месяцев "Аврора" вздрогнула всем корпусом, снялась с места и медленно, в человеческий шаг, двинулась к океану. Впервые Никита Кочнев работал в полсилы, нехотя налегая на ременный пояс. Он ждал Харитину, приготовил ей место в жилой палубе "Двины". Но Харитина не пришла.

Харитина решила остаться, узнав, что пленного Ландорса и англичанина оставляют в Петропавловске, в надежде на размен. С этой минуты возродилась и ее вера в том, что Удалой жив и непременно вернется в Петропавловск.

Многие жители провожали суда по льду малой бухты и Авачинской губы. Настя долго шла рядом с Пастуховым, тянувшим лямку. В руках она несла его упавшую фуражку, видела, как ветер треплет милые русые вихры, и

незаметно целовала суконный околыш...

- На счастье! На счастье! - шептали ее губы.

Маша стояла на песчаной косе рядом с Мартыновым, махала рукой плакавшей матери и тщетно высматривала среди пассажиров мешковатую фигуру отца.

Дальний маяк впервые без салюта проводил русские военные суда. Унтер-офицер Яблоков находился на корвете "Оливуца".

Утро вставало прекрасное. Первое голубое весеннее утро.

Вскоре удалось поставить паруса, и, наполнившись попутным ветром, они быстро понесли суда в океан.

Константин смотрел на вход в Авачинскую губу, на высокий, обрывистый берег и на громадные горы, медленно сливавшиеся с горизонтом.

В полдень на волны опустился туман. Он закрыл горизонт, потушил яркие и прозрачные краски весеннего дня. Через час пелена тумана стала непроницаемой. Ветер утих и изменил направление. "Аврора" и "Оливуца" шли в полветра.

Слева от судов, с подветренной стороны, слышались едва различимые, тревожные удары колокола. Изыльметьев прислушался, но звуки не повторились.

Это били в колокол на английских пароходах "Энкаунтер" и "Барракута". Капитан "Барракуты", сын контр-адмирала Стирлинга, опасался, что суда столкнутся в тумане. Гончие псы адмирала Брюсса караулили русские суда. А бесстрашная маленькая флотилия прошла в двух кабельтовых от английских пароходов навстречу новой земле.

"ЛОВУШКА"

Лорды адмиралтейства могли спокойно смотреть в будущее. И в старых фолиантах, прославляющих морское могущество Англии, и в педантичной морской истории Джемса не найти другого такого примера образцовой подготовки к предстоящей операции в Тихом океане.

Говорят, иголку невозможно отыскать в стоге сена. Вздор! Утешение нерадивых! Английская методичность, стремление к системе, неутихающая злоба к каждому, кто позволяет себе спускать на воду суда и тем самым угрожать исключительному праву Англии владеть океанами и морями, проливами и береговыми крепостями, сделают невозможное возможным. Стог сена можно перебрать по стебелькам, не пропуская ни одного. Иголка найдется.

Отыщутся и русские суда.

Тихий океан куда больше всех стогов сена, что высятся на туманных лугах Англии. Но в необъятном Тихом океане не так уж много портов, куда могли бы скрыться русские корабли.

Для них закрыты все гавани Американских Штатов. Не укрыться им и в китайских портах. На английских фрегатах и железных пароходах в Кантоне и Гонконге хватит пороха не только для расстрела китайских мятежников, но и для уничтожения Камчатской флотилии, как ее стали называть после августа 1845 года.

Адмирал Джеймс Стирлинг не чета Дэвису Прайсу. Кто-то из журналистов, собирающих свою жатву в приемных адмиралтейства, хорошо сказал о Джеймсе Стирлинге: "Адмирал благоразумен и хитер наполовину. Хитер, как ростовщик, и благоразумен, как малосостоятельная невеста перед вступлением в брак". Многие считают его такой же посредственностью, какой был Дэвис Прайс. Джеймс Стирлинг; конечно, звезд с неба не хватает, но с этим ничего не поделаешь. Британскому флоту давно приходится пользоваться услугами посредственностей, однако это не меняет традиционной политики Англии, не мешает ей захватывать чужие земли. Посредственность Стирлинга не мешала ему убивать непокорных китайцев, казнить схваченных на берегу дезертиров и вообще проявлять ту непреклонную жестокость, без которой нынче в этом мире невозможно продвинуться ни на шаг. Да здравствует жестокая и вполне сознающая себя посредственность!

Опасны для русских и берега Японии. Во всяком случае, в Хокадато и Нагасаки русские не найдут ничего, кроме перспективы оказаться под пушками адмирала Брюсса или командора Эллиота.

Именно Эллиота многие считают наиболее вероятным героем грядущих событий. Когда в адмиралтействе заходит речь о Тихом океане, его имя произносится с уважением. Примерный молодой офицер. Высокое покровительство, которым он пользуется, и многочисленные связи не кружат ему голову. Эллиот мил и предупредителен. Свои пороки умеет маскировать, как никто другой из подающих надежды офицеров флота. Он непременно сделает карьеру. Человек, умеющий сохранять угодливую физиономию в кабинетах начальников, раздвигать рот до ушей в кают-компании за стаканом грога, замирать в благоговейном молчании у клироса корабельной церкви, хлопать друзей по плечу так, что у них екает селезенка, и одним ударом очищать у провинившихся матросов полчелюсти от зубов, - такой человек вправе рассчитывать на удачу и верную карьеру!

Да, успех предприятия предрешен. Пятьдесят шесть вымпелов не шутка.

Такого количества военных судов еще не бывало в Тихом океане. Можно обшарить русские берега, заглянуть в Охотск, Аян, осмотреть Татарский залив: не попались ли в капкан русские суда? Но прежде всего Петропавловск! Никогда еще столь неприметный порт не причинял таких хлопот английскому флоту и так дерзновенно не пятнал его честь.

Шпионы из Петербурга доносили, что царь не будет укреплять Камчатку, не станет посылать туда войска и артиллерию. Тем лучше. Правда, сообщают о возможном снятии порта: вопрос передан на усмотрение генерал-губернатора Восточной Сибири. Но снятие легко предупредить: английские корабли придут на Камчатку к самому началу навигации. Железный пароход "Барракута" и "Энкаунтер" посланы вперед и курсируют у русских берегов на тот случай, если Охотско-Камчатское побережье за несколько недель до срока освободится ото льда.

Имя Завойко почти ничего не говорит морским чиновникам Англии. Оно мелькало в донесениях дальневосточных агентов лишь несколько раз. На карточке Завойко с несколькими скудными записями начертан вопросительный знак: должен ли он вообще оставаться в морском списке? Завойко, вероятно, разучился ходить по палубе. Карточка Завойко была уже вынута из именного алфавита, когда указом Николая I ему был присвоен адмиральский чин. Завойко вернулся в прежний шкаф, сразу перешагнув в высшую группу за литерой "А".

Трудное имя Изыльметьева вызывает раздражение. Его существование никого не интересовало в Лондоне до злополучной портсмутской истории с попыткой похищения русских матросов. Оппозиционные газеты не упустили случая упрекнуть адмиралтейство, полицию, а заодно и парламент в том, что их преступная небрежность и "циничное равнодушие к престижу короны и чести нации" позволили господину Изыльметьеву уйти безнаказанно с портсмутского рейда. Человек, который оскорбил ее величество, швырнув за борт королевский приказ, обманул Прайса в Калье, доставил Петропавловску все необходимое для защиты: артиллеристов, стрелков, орудия, порох, - вызывал уже не только раздражение, но и бешенство.

Обидно, что у русских в Тихом океане все обстоит так, словно ничего и не случилось! Как будто британский меч в тяжелых боях не нанес им ни одного удара, не оставил ни одного рубца. Прайс похоронен в Тарье, Феврие Депуант оплакан близкими во Франции и зарыт в горячий песок Таити, сотни английских и французских матросов убиты; суда, нападавшие на Камчатку, стали посмешищем всего тихоокеанского побережья обеих Америк; треск отдираемых офицерских отличий до сих пор стоит в ушах достопочтенных

джентльменов из адмиралтейства. А что произошло у русских на Камчатке? Снова Завойко, снова Изыльметьев, - они живут и здравствуют, повышены в чинах, награждены. Снова "Аврора", "Оливуца" и старые, дрянные транспорты; их, видимо, сам господь бог бережет от встречи с английскими крейсерами.

Но лучше не думать об этом. Лучше смотреть вперед. На горизонте маячат пятьдесят шесть вымпелов. Пятьдесят шесть против двух-трех! Можно зажмурить глаза и видеть, как линейный корабль "Монарх", крупные фрегаты, корветы и железные пароходы окружают "Аврору", расстреливают ее в упор, топят, как плавает на успокоившейся поверхности океана фуражка капитана Изыльметьева... Или, лучше, - флаг "Авроры", униженно падающий вниз. Капитуляция. Изыльметьев в кандалах доставлен в Портсмут. Пусть князь Василий Долгоруков шлет любезные письма лорду Кланрикарду с напоминанием о возвращении раньше времени лорда Дункеллина из русского плена, Изыльметьев просидит в самой темной яме Лондона до тех пор, пока русский царь не подпишет мирный договор, продиктованный Англией. Изыльметьев мужик, посидит и на хлебе с водой.

Приятно в большом зале адмиралтейства рассматривать тихоокеанские порты на глобусе и знать, что в каждой бухте есть союзные корабли, готовые ринуться к берегам России. Приятно воображать, как плывут они по твердой, выпуклой поверхности глобуса, по голубым, причудливо изгибающимся полосам и синим овалам, обозначающим сказочные тихоокеанские глубины. Русским кораблям решительно некуда спрятаться от многочисленных англо-французских судов.

Некуда спрятаться, некуда уйти.

Камчатская флотилия продвигалась на юго-запад в тревожной атмосфере. Изредка встречавшиеся на пути китобои сообщали самые неутешительные новости.

Адмирал Стирлинг с большой эскадрой сторожит "Аврору" на юге. Командор Фредерик, под командой которого находятся восемь больших военных судов, уже на полпути из Сан-Франциско в Петропавловск. На обширном пространстве от Сандвичевых до Курильских островов рыщет эскадра контр-адмирала Брюсса, в несколько раз превосходящая прошлогоднюю соединенную эскадру. Корабли отлично снаряжены. В здешних водах еще не видывали такой грозной силы, столь отборных, многочисленных экипажей, вооружения и такого количества железных винтовых пароходов.

Храбрость "Авроры" и ее спутников, измотанных ветром и тяжелой океанской волной, вызывала невольное уважение у матросов китобойных судов,

знавших цену настоящим трудностям. Они долго смотрели вслед русским кораблям, непреклонно спешившим в тщательно скрываемый пункт назначения.

"Аврора" обречена. Гибель ее ясно начертана в книге судеб. Но как уверенно режет волну русский фрегат, как красиво и прочно держится его стройный корпус на воде! Не все сумели бы так мужественно идти навстречу смертельной опасности! Матросы наблюдали за "Авророй" до тех пор, пока фрегат не уходил за горизонт.

- Неприятель повсюду, - говорил Изыльметьев офицерам, отклоняя их предложение о проходе "Авроры" через Малый Курильский пролив, опасный для судов и в более спокойные месяцы. - Неприятель в Ванкувере и Сан-Франциско. На Таити и в Гонолулу. В Гонконге. В Кантоне. В Хокадато и Нагасаки. Представьте себе человека, который отбивается от стаи волков, прислонившись спиной к скале. Не сдобровать ему, если он начнет метаться, потеряет голову. Попробовать справиться с волками - куда ни шло. Но расшибить лоб о скалу - глупо. Господа Стирлинги и Брюссы могут дать промашку, а Малый Курильский так обласкает нас, что костей не соберем.

Но и без гнетущих слухов о многочисленности неприятельских эскадр переход из Петропавловска в устье Амура по трудности не уступал прошлогоднему плаванию "Авроры". Утренние вахты выходили на палубу, не успев ни отдохнуть, ни обсушиться как следует в кубрике у железных печей из цистерн, выложенных внутри кирпичом и устроенных позади фок-мачты. Температура, несмотря на середину апреля, падала ниже нуля. Шквалы, сопровождающиеся дождем и снегом, обрушивались на суда, заставляя матросов брать рифы у закоченевших парусов, тянуть обледеневшие снасти, обдирая до крови руки. Попутный ветер случался редко, а если и случался, то такой яростный, шквальный, что матросы были не рады ему. Но и плавание вполветра при ледяном дожде и одревеневших снастях требовало нечеловеческих усилий. Работа с парусами доводила людей до полного изнеможения.

В Охотское море отряд прошел через четвертый Курильский пролив. Штормы и здесь преследовали суда. Промозглый туман сменялся снегом. Мокрые хлопья его оседали на марсах и реях и падали вниз в виде огромных кусков смерзшегося снега. Палуба "Авроры", не говоря уже об "Оливуце" и "Двине", на которой находилась часть семей, расшаталась, и в пазы потекла вода, пронизывая все помещения холодом и сыростью.

Изыльметьев запомнил уроки прошлогоднего плавания. Главное поддерживать в экипажах бодрость, энергию, боевой дух. Первым выходит из

строю тот, кто предаётся унынию, у кого опускаются руки. Каждый день на "Авроре" и "Оливуце" шли абордажные и артиллерийские учения. Военные суда всякую минуту готовы были к встрече с неприятелем. Это произошло восьмого мая, в заливе Де-Кастри.

Здесь флотилия дожидалась встречных льдов из лимана и Татарского пролива и по очистившемуся фарватеру должна была подняться к мысу Лазарева и выше, в устье реки Амура. "Аврора", "Оливуца" и "Двина" стояли на якорях у отмелей, "Иртыш" и "Байкал" жались к крутому пустынному берегу. Пассажиры - чиновники с семьями, жены и дети офицеров - были высажены на берег.

Зарудный ожесточенно теребил усы, осматриваясь на незнакомом туманном берегу. Пастухов, прибывший с Изыльметьевым на шлюпке, держал в руках чемоданы Зарудного. В них, судя по весу, не было ничего, кроме книг и излюбленных Зарудным переплетенных номеров "Отечественных записок".

Анатолий Иванович неопределенно повел рукой.

- Вот мы и дома! - Он заметил, что Пастухов все еще держит чемоданы кругом не было сухого местечка. - Поставьте, поставьте, ничего с ними не сделается.

Пастухов опустил чемоданы и, сняв фуражку, протянул руку Зарудному:

- Прощайте. Мне пора.

- Да, да, идите! - Зарудный торопливо пожал его руку. Но Пастухов еще мялся и наконец проговорил глуховато:

- Анатолий Иванович, мне хочется сказать вам... Только не сердитесь на меня. Не думайте, что все хорошее позади...

Зарудный дружелюбно рассмеялся и стиснул плечи лейтенанта.

- Спасибо! - ответил он благодарно. - Вы не тревожьтесь, Константин. У меня много сил. Их достало бы на две жизни, но я со своими планами истрачу их и в одну. И здесь ведь люди, - закончил он смущенно и, не сказав больше ни слова, обнял Пастухова.

Простившись с Пастуховым, Зарудный догнал колонну, отправившуюся к озеру Кизи, через топи и труднопроходимые приамурские чащобы.

Как только Завойко и Изыльметьев вернулись на суда, стало известно о приближении неприятеля. С мыса Кластер-Камп сигналили: "В море вижу неизвестную эскадру из трех судов".

Еще не видя противника, Завойко передал с флагманского корвета "Оливуца": "Приготовиться к бою".

Вначале туман мешал разглядеть подходившие суда. Василий Степанович не сомневался в том, что он имеет дело с частью большой эскадры адмирала Стирлинга, которая стерегла Татарский пролив. Ограничится ли дело тремя

боевыми кораблями или за ними в скором времени последует вся эскадра Стирлинга?

Сигнальный пост сообщал, что эскадра идет к заливу под всеми парусами, - следовательно, надо ожидать немедленного нападения.

Тем временем туман рассеивался, растворялся в воде и на песчаных отмелях. Над водой еще колебалась дымчатая завеса, а небо уже простерлось над приамурской землей, голубое, бездонное. Когда исчез туман, Завойко увидел большой флагманский фрегат, а за ним, неся брамсели и бом-брамсели, спешили винтовой корвет и бриг.

Силы неравные. Хотя Завойко, уступая настояниям командира "Двины", поставил транспорт с его десятью пушками в боевую линию, серьезно он мог рассчитывать только на "Аврору" и "Оливуцу". Английский фрегат "Сибил" не уступал в вооружении "Авроре", бриг же "Биттерн" и маневренный винтовой корвет "Хорнет" были сильнее "Оливуцы". Старые, отжившие свой век транспорты, стоявшие у берега, не могли принять участия в схватке.

Суда изготовились к бою. С "Авроры" спустили на воду запасной рангоут. Изыльметьев неподвижно стоял на мостике, наблюдая в трубу за английской эскадрой, маневрировавшей у входа в залив.

Напряжение росло.

Что-то удерживало англичан от нападения.

- Я думаю, - высказал предположение капитан "Оливуцы" Назимов, - они ждут подхода главных сил. Захлопнули мышеловку и не торопятся.

- Мышеловку захлопнули?.. - обвел взглядом залив Завойко. - Да-с, очень похоже. Вы полагаете, что эти суда только авангард неприятельских сил?

- Несомненно! Не поджидай они другие суда, дело завязалось бы незамедлительно.

Завойко повернулся к Назимову:

- Передайте на эскадру: приказываю поднять флаги на всех брам-стенях. Флаги на брам-стенях и гафельные прибить гвоздями. Пусть неприятель видит, что мы не сдадимся и не опустим флага, как ни велика будет его сила!..

Завойко испытывал чувство глубокого удовлетворения, наблюдая за тем, с какой готовностью выполнялось его приказание. Матросы "Оливуцы" и "Авроры" как будто ждали этой команды контр-адмирала.

Кавалер ордена Бани, командор Чарльз Джильберт Джон Брайдон Эллиот, оставив флагманский фрегат "Сибил", перешел на винтовой корвет для рекогносцировки. Как некогда и Прайс, пересевший на "Вираго", чтобы обозреть Авачинскую губу и Петропавловскую бухту. Эллиот хотел лично

разведать местность и силы камчатской эскадры. На "Хорнете" он чувствовал себя в полной безопасности, сильные машины "Хорнета" позволяли быстро маневрировать, менять позицию, уходить...

Эллиот знал свою слабость, единственную, с его точки зрения. В прошлом он бывал опрометчив. Честолюбие слишком быстро, рывками гнало кровь по жилам, и он забывал об осторожности, которая с некоторых пор так высоко ценится в адмиралтействе. На этот раз он будет держать себя в руках, каких бы усилий это ни стоило. Пусть не смотрят на него олухи, стоящие рядом, так, словно они заранее угадывают его решение. На их лицах так и написано: "Знаем мы нашего командора. Уж он-то не упустит своей удачи! Сейчас небу жарко станет!"

"Нет, - думал Эллиот, - я не намерен торопиться. Русская эскадра в западне, и я не стану поступать неосмотрительно".

- Ого! - воскликнул Эллиот, когда его глазам открылось все пространство залива. - У русских пять судов!

- Только два из них военные, - уточнил капитан "Хорнета", - остальные транспорты. Мы можем не опасаться их.

- Ошибаетесь! - резко ответил Эллиот. - В боевой линии, кроме фрегата и корвета, стоит пароход. Я отчетливо вижу трубу.

- Ваше превосходительство, это камбузная! Прикажете открыть огонь?

"Хорнет" подошел к "Оливуце" на расстояние десяти кабельтовых. Командор взмахнул рукой, и три ядра пронеслись мимо корвета. "Оливуца" тотчас же ответила. Ее ядра просвистали над самой палубой "Хорнета". Точность русских артиллеристов не сулила ничего хорошего.

"Хорнет" круто повернул. Эллиот впился глазами в остров Обсерватории, близ которого находилась "Аврора". Что за чертовщина? Неужели русские успели построить здесь укрепления?

- Смотрите! - взволнованно проговорил Эллиот. - Остров усыпан батареями...

- Это скалы, сэр, уверяю вас, скалы правильной формы, - ответил ему, как эхо, капитан.

- Там многочисленные батареи, - озлился Эллиот. - Проход от острова к "Авроре" завален, я ясно различаю буруны.

Флаги на русских кораблях привели Эллиота в уныние. Не похоже на то, чтобы русские испугались его. Видимо, они сильны, если так дерзко подняли флаги на брам-стеньги, вместо того чтобы опустить и гафельные, при подходе английской эскадры.

- Если бы они думали спустить флаги, - озадаченно сказал он командиру "Хорнета", достаточно громко, чтобы его могли услышать стоявшие вблизи

офицеры, - то не стали бы подымать их на всех клотиках.

Он сошел с мостика задумчивый и, проходя мимо офицеров, обронил, словно невзначай:

- Нет, видно, они сильнее, и с них нам нечего взять. Подождем главнокомандующего...

"Хорнет" ушел из залива, скрываясь за островами.

Эллиота не смущали ни гневные взгляды подчиненных, ни явная несообразность его действий. "Такую предосторожность, - думал он, - можно разрешить себе однажды". Карауля русских в море, у входа в залив Де-Кастри, он наверняка достигнет цели.

Уйти судам некуда. На север от Де-Кастри их ждут встречные льды, против которых не устоит корпус "Авроры". "Если бы сам дьявол, - решил Эллиот, - убрал перешеек, соединяющий Сахалин с материком, чтобы пропустить суда в Амур, льды все равно преградят им дорогу на север".

Эллиот, как, впрочем, и все моряки мира, продолжал считать Татарский пролив заливом. Поэтому он спокойно отрядил бриг "Биттерн" в Хокадато, где ждал известий Джеймс Стирлинг, любезничавший с японцами.

Адмирал Стирлинг придет в Де-Кастри с эскадрой, и тогда Завойко не останется ничего другого, как спустить флаги или пасть смертью храбрых, подставив свои суда под огонь сотен орудий.

В ожидании этой благословенной минуты Эллиот приказал отвести "Сибил" и "Хорнет" в море, с таким расчетом, что если русские вздумают бежать на юг, то они непременно наткнутся на него. Он считал, что оставаться у входа в Де-Кастри неблагоприятно: чего доброго, русские разгадают маневр, оценят его по достоинству (чего, увы, никогда нельзя ждать от подчиненных) и ввиду безнадежности своего положения сожгут суда, лишив Эллиота чести и удовольствия потопить их.

Пусть лучше русские пребывают в неизвестности и нерешительности... Да и завистники пусть попробуют после столь блестящего плана продолжать твердить об его опрометчивости, о пристрастии к авантюрам. Никто не станет их слушать.

Английские корабли крейсировали южнее Де-Кастри. Мимо них, с севера, из амурского лимана, проплывали одинокие льдины. Эллиот подшучивал над недовольными офицерами, которым не хватало ума, чтобы оценить мудрость его замысла. Он часто склонялся над картой, лучшей, подробнейшей картой Тихого океана, какой не было ни у кого, кроме английских моряков. Такие подробные, точные карты печатаются только в Лондоне. Французам не хватает для этого основательности, терпения. Вероятно, и у русских нет

такой карты...

ПОДВИГ

I

Еще раз из тумана Берингова моря вынырнуло солнце, осветив гористую землю. В ясные дни первыми отвечали солнцу снежные вершины вулканов. Они вспыхивали розовым огнем, и на Камчатке начиналось утро. Солнце вставало над водой. Темная на рассвете земля одевалась зеленым плащом, свободно лежащим на неровном, скалистом берегу.

Десять дней смотрел Семен Удалой на камчатский берег. Передовые суда эскадры контр-адмирала Брюсса подошли к Камчатке еще восьмого мая, в тот самый час, когда командор Эллиот остановился у входа в Де-Кастри. Несмотря на попутный ветер и ясную погоду, они не решались войти в Авачинскую губу. Курсировали между мысом Шипунским и Поворотным. Офицеры чего-то ждали, изучали берег в зрительные трубы, сновали на шлюпках между судами, съезжались на совещания.

Со шкафута "Форта" Удалой обозревал эскадру, раскинувшуюся далеко в море. Он подошел к лейтенанту и протянул руку за зрительной трубой.

- Месье, прошу! - сказал он на ломаном французском языке. - Хочу посмотреть на чудо...

Накануне вечером к эскадре присоединился долгожданный линейный корабль "Монарх". Сегодня все изучают восьмидесятичетырехпушечную громаду, стоящую мористее других судов.

У Семена на фрегате репутация шутника и упрямца, непреклонного в своей решимости не делать ничего, что послужило бы во вред русским. Голод и кандалы на Таити, тяжелые линьки, исполозовавшие спину матроса, посулы и уговоры не сломили его твердости. Семена приписали к пушке. Он молчал. Стоять у орудия на палубе приятнее, чем валяться в трюме с кровоподтеками на теле. Если повернуться лицом к борту, где видна только пушка и назначенные для подачи ядер Зыбин и Ехлаков, то можно вообразить, что ты стоишь на палубе "Авроры", у родной пушки...

Лейтенант дал ему трубу.

- Смотри, смотри, - сказал он снисходительно, - перестанешь упрячиться! С такими силами мы поджарим Петропавловск, как рождественского поросенка, и подадим его на завтрак дьяволу.

Удалой обвел небрежным взглядом эскадру:

- Ого! Много нынче народу пришло умирать в Камчатку. Видать, понравилось. Но не для обозрения эскадры выпросил он трубу. Эскадра им хорошо

изучена. Пять фрегатов большого ранга, три парохода, три корвета и линейный корабль "Монарх". Двенадцать кораблей. Четыреста двадцать орудий. Не меньше пяти тысяч матросов и морских солдат. Неужели в Петропавловске по-прежнему находится одна "Аврора"? Не может быть. За осенние месяцы туда, верно, пришли и другие суда.

Он жадно осматривал берег. Вон Дальний маяк, стройные силуэты Трех Братьев - трех торчащих из воды утесов - и скалистый вход в залив. Там светло-зеленый солнечный ковш Авачинской губы, оставшийся в представлении Удалого точно таким, каким он увидел его после небывалого перехода из Кальяо. Вероятно, "Аврора", как и в прошлом году, загородила собой вход в малую бухту. Взгляд Удалого проникает сквозь береговые скалы и мысы. Он представляет себе родной фрегат яснее, отчетливее, чем стоящие неподалеку корвет "Тринкомали" и пятидесятипушечный французский фрегат "Альцест", видит светлую, надраенную палубу "Авроры", массивную фигуру Изыльметьева на мостике. Удалой вспоминает все до мельчайших подробностей: запах кубрика, звук колокола "Авроры", число ступеней в трапах, заплаты парусов. Корпус "Авроры" не очень прочен, дубовые шпангоуты и обшивка порядком устали от борьбы с волной. И, не смотря на это, трудно, невозможно себе представить, что "Аврора" может быть уничтожена.

Семен думал о Петропавловском порте, о людях - они теперь, вероятно, тревожно толпятся там. Им невдомек, что на одном из неприятельских кораблей находится Семен с товарищами. Верно, его уже похоронили. Исключили из списков - и все. Аврорцы знают нравы англичан. Знают и его крутой характер.

А может, дезертиром его считают?.. На короткий миг у Семена захватывает дыхание, глазам делается больно, в груди встает неуголимая ненависть к Губареву, к Тиролю, к каждому, кто может заподозрить его, Семена Удалого, в измене. "Нет, - успокаивает он себя, облегченно вздыхая, - быть того не может. Квартирмейстер Усов, верно, рассказал, как дело было..."

А Харитина? Семен гонит мысль о девушке, но она оказывается повсюду, куда бы ни заглянул он мысленно. Ласковая, обеспокоенная, такая, как в ту минуту, когда она окликнула его в порту и сунула теплый хлеб. Да, было все это! Было и минувшее. Не станет ждать его Харитина.

От этих мыслей в Удалом закипает злость. Хочется сказать щеголеватому офицеру что-нибудь обидное.

Семен возвращает зрительную трубу лейтенанту.

- Да-а-а, - говорит он протяжно, - невеселые ваши дела.

Кто-то из матросов перевел слова Удалого. Офицер снисходительно рассмеялся:

- Лучше не бывает, приятель.

Смеясь, он показал на внушительную эскадру.

- Если дела хороши, зачем меня к пушке становите? - говорит Удалой с издевкой. - Своих пушкарей не хватает?

- Хватает. Хотим посмотреть, как русский матрос по своим стреляет.

Зловещая улыбка мелькнула на лице Удалого.

- Поглядите! Да не скоро.

Но ждать пришлось недолго.

На следующий день, восемнадцатого мая, эскадра двинулась в Авачинскую губу. Суда плыли тихо, мимо Трех Братьев, мимо Бабушкиного маяка, к мысу Липунскому. "Форт" и "Пик" шли впереди эскадры, - их экипажи уже знали здешние берега.

У мыса Липунского на кораблях ударили тревогу. Туман, казавшийся таким надежным на рассвете, быстро редел. Уже можно различить Сигнальную гору и за ней серую шапку Никольской горы, словно приподнявшейся на носки, чтобы разглядеть неприятельскую эскадру.

Артиллеристы бросились к пушкам.

Только Удалой стоял, прислонившись к грот-мачте. Лейтенант, командовавший несколькими орудиями правого борта, подскочил к Семену.

- К пушке! Живо!

- Нет здесь моей пушки, - обронил Удалой и лениво повернулся к одному из матросов: - Переведи, служба!

Зыбин и Ехлаков остановились посреди палубы. Их записали у подачи ядер - без Удалого им нечего делать у орудия.

- Ребята! - крикнул Удалой, пока матрос переводил его слова. - Грех на своих руки поднимать. Уж лучше смерть!

Ехлаков поднял бронзовое, литое лицо и выжидательно смотрел на Семена.

- К пушке! - заорал офицер, топая ногами.

- К пушке не пойду.

Это не нуждалось в переводе. Офицер понял все по упрямому движению головы. Он выхватил пистолет.

- Ты меня пулей не пугай, - презрительно сказал Удалой и, подняв правую руку, зажатую в кулак, громко закричал: - У русских руки не поднимаются на своих.

Ехлаков и Зыбин в угрюмом молчании шагнули и стали рядом с Удалым.

Лейтенант побагровел и прокричал в самое лицо Семена:

- Если ты сейчас же не пойдешь к пушке, я прикажу повесить тебя!

Удалой стоял молча, упрямо поводя головой.

- Приготовить гордень! - приказал офицер.

За спором русского бомбардира и офицера наблюдала вся верхняя палуба.

Неподалеку от Семена через нок-фока-рею протянули гордень - веревку, при помощи которой подтягивают парус. Кто-то услужливо налаживал петлю.

Удалой бросился, цепляясь за снасти, вверх по грот-мачте. Поднявшись, он свистнул и закричал вызывающе:

- Врешь, гад! Ты меня не повесишь, а к пушке я не пойду!

Крепкие ругательства посыпались сверху на лейтенанта, кружившего у мачты.

- Взять! Живьем взять! - захлебывался тот от бешенства.

Удалой поднялся выше и перепрыгнул на ванты. Матросы, которым офицер приказал взять Удалого, в нерешительности топтались у грот-мачты. На вантах Удалого не взять, он не одного сбросит на палубу. Лучше бы сразу из пистолета.

Но офицер потерял голову от гнева. Он решил повесить Удалого, всякая другая смерть казалась ему чересчур легкой.

Между тем Удалой взбирался по вантам все выше. Никогда еще тело его не было таким легким, а руки - сильными. Ноги безошибочно находили малейшую опору, словно этот путь был сотни раз проверен, словно матрос не вскидывал вверх свое крупное тело, а плыл легко, саженками, подгоняемый попутной волной.

Люди затаив дыхание следили за Удалым. Бывалые матросы, чувствовавшие себя на винтах не хуже, чем на земле, дивились смелым движениям русского моряка. Казалось, что гордая, сильная птица взлетала выше и выше, насмехаясь над бешенством палачей.

- Ребята! - раздался с большой высоты далекий голос Семена. - Не сделайте сраму на этом свете, не подымайте рук на своих!

Туман разошелся. "Форт" забрал влево, к середине Авачинской губы, порт загораживала Сигнальная гора. Удалому показалось, что он видит верхушки мачт "Авроры" и других кораблей, но это были только голые верхушки деревьев. Он видел брустверы батарей, куда более мощных, чем в прошлом году, на Сигнальной горе, на перешейке у Красного Яра, и не знал, что на этих батареях уже нет пушек и только кое-где валяются ядра, забытые под снегом при снятии порта.

Родная земля встречала его светлой весенней зеленью, беспокойными стаями птиц, солнечным паводком, мощью укреплений, возведенных за минувшие

месяцы. Гордостью наполнилось сердце Удалого. Теперь он знал, что никому никогда не взять этой земли. Позвать бы сюда Зыбина и Ехлакова - пусть порадуются! - и крикнуть в три глотки, в три крепкие матросские глотки: "Ура!" - так, чтобы и за горой услышали.

По вантам неровной шеренгой поднимались матросы, задирая вверх испуганные лица.

- Эге-ге-гей! - закричал Удалой, заставив матросов остановиться. Слышь, ребята! Стоит земля наша, гордая, красивая... Не сделайте сраму! Прощайте! Широко взмахнув руками, он бросился вниз. Птицей мелькнул за сеткой снастей и скрылся в прозрачной воде Авачинского залива, рядом с фрегатом. Матросы бросились к сеткам. Редкостная чистота и прозрачность воды позволяли несколько секунд наблюдать за Удалым.

Он все глубже уходил под воду, словно где-то там, на дне, было его спасение.

Он не хотел умереть от пули французского офицера, от выстрелов англичан, карауливших его у борта "Пика".

Может быть, он хотел коснуться дна, прильнуть щекой к земле, которая была его землей.

Три года спустя адмирал Эдмонд Айли в статье о петропавловской экспедиции, напечатанной в "Ревю де Де Монд", вспомнил русского матроса Семена Удалого: "Он исчез под водой, даже не пытаясь бороться против смерти и не делая тех движений, к которым прибегают вследствие чувства самосохранения даже люди, одаренные самой железной волей".

Опасаясь, что поступок Удалого окажет дурное воздействие на матросов перед сражением, контр-адмирал Брюсс приказал выдать экипажам по дополнительной чарке рому к обеду. II В ночь перед появлением англо-французской эскадры у берегов Камчатки отдаленный грохот поднял с постели Мартынова. Не только он, камчатский новосел, но и Маша не поняла сразу, что этот грохот не похож ни на артиллерийскую канонаду, ни на весеннюю грозу. Он нарастал в самых недрах земли, ширился, переходил в сильные, с правильными интервалами удары, сменявшиеся глухим, недовольным ворчанием. Короткие вспышки озаряли комнату дома Лыткина, где поселились Мартынов и Маша.

Заговорила Авачинская сопка - самый близкий из камчатских вулканов. Авангардные суда неприятеля, шедшие в полный ветер, зарифили паруса, боясь приблизиться к земле. Столбы огня, вставшие над сопкой, придавали ночному пейзажу грозный, устрашающий вид.

Поспешно одевшись, Мартынов вышел на крыльцо. На улице ни души.

Местные жители привыкли к ворчанию Авачинского вулкана и разве что поглядывали в свои тусклые оконца.

Вернувшись в комнату, Мартынов сказал испуганной Маше:

- Не тревожься, Машенька. Это вулкан. Люди ушли, а земля настраивает куранты на воинственный лад.

- Хороший знак! - Маша натянула одеяло до подбородка и наблюдала за меняющимся цветом стен и потолка. - Это подают голос старые, забытые боги.

Маше захотелось рассказать о чудесных легендах, услышанных от Зарудного, о маленькой птичке чавычульке, что пела вчера под окном, радуясь своему возвращению. Но она промолчала. И без того имя Зарудного упоминалось слишком часто.

- Видно, чует земля приближение неприятеля. - Мартынов сел на край постели с зажженной трубкой. - Сердится.

Действительно, утро принесло важную новость: в море появилась неприятельская эскадра. Теперь у есаула, ныне камчатского начальника, оставалось не много дел. Несколько пушек, порох и ядра к ним спрятали в надежном месте. Зарыли в дресву все железо, оставшееся в Петропавловске. Часть соли и провианта из казенных магазинов увезли в Старый Острог, часть спрятали по домам оставшихся здесь казаков и камчадалов. Настенька, Юлия Егоровна и семьи некоторых казачьих чинов ушли, как и минувшим летом, в Авачу.

Маша оставалась в порту.

Нужно было что-то предпринять с китобойным судном "Аян", стоявшим на петропавловском рейде. Командир "Аяна", капитан Эмбер, приготовился к отплытию в тот самый момент, когда пришла эскадра Брюсса. Неприятель курсировал в двух милях от входа в Авачинскую бухту. Выход в океан был закрыт.

В трюме "Аяна" находились железные части парохода и три тысячи пудов муки, предназначавшиеся для Амура.

Капитан Эмбер, обрусевший финн, с виду сумрачный, но в сущности добродушный и трудолюбивый моряк, ждал распоряжений Мартынова.

Возле них весь день вертелся Чэзз. После ухода флотилии Чэзз обнаружил решительную готовность помочь жителям и администрации. Он понимал затруднения Мартынова, человека нового в морском деле.

Эмбер предложил затопить "Аян".

Чэзз недоуменно пожал плечами.

- Не понимаю, господа. Судно может быть спасено. Неприятель уйдет, вы

поставите паруса и благополучно отправитесь в... э-э-э...

Он ждал, что Эмбер подскажет пункт назначения. Но это по-прежнему хранилось в строгой тайне, а Эмбер был не из тех людей, которые проговариваются.

- Что вы советуете? - прервал он Чэзза, наклонив бритую голову и покручивая пышный седеющий ус.

- Снять муку, - деловито ответил американец. - Казенные магазины разрушены, а те, что уцелели, будут опустошены англичанами. Могу взять на сохранение. "Аян" увести в одну из бухт и спрятать. Его здесь и в год не найдешь. Можно бы в Тарью отвести, но англичане, пожалуй, захотят посетить могилу адмирала.

После короткого раздумья Мартынов решил:

- Муку раздать жителям. Полторы тысячи пудов сдадите на сохранение господину Чэззу. - Мартынов строго посмотрел на купца: - Головой ответите за каждый мешок. Железные части парохода потопить на рейде, "Аян" увести в Раковую бухту.

- Полагаю необходимым, - сказал Эмбер, почувствовав облегчение после того, как решилась судьба корабля, - паруса и такелаж снять, зарыть в землю. Оставить в Раковой бухте судно с голыми мачтами.

- Хорошо, - согласился Мартынов.

Всех дел хватило на два дня, а неприятель все еще не решался войти в Авачинскую губу. Каждый вечер Мартынов засыпал, не зная, что принесет утро, не появятся ли англичане и французы на берегу, и каждый раз, выходя из дому, находил пустынный порт и чистый простор большого залива за песчаной косой. Дни шли, полные свежей, приятной прохлады, ласкового дуновения южного ветра.

Постепенно привыкли к тому, что где-то за Тремя Братьями, верными стражами Петропавловска, стоят чужие корабли. Мартынов и Маша съездили на Авачу. Там началась трудовая жизнь, ремонтировались снасти, рыбные запоры, приводились в порядок речные балаганы - кое-кто уже оставил зимние жилища.

Старик Буочча, подставляя голову весеннему солнцу и глядя из-под ладони на Авачинский залив, убежденно сказал Мартынову:

- Живое сильнее мертвого. Никто не помешает исполнить закон рыбам, идущим из океана в реки. Ни хищные звери, ни железные лодки. И мы будем жить по своему обычаю.

Усевшись на почерневшей колоде, он стал наблюдать слезящимися от старости глазами за ловкими движениями женщин, сплетавших

продолговатые ловушки из гибких прутьев, за беготней ребятишек и веселой возней ездовых собак, ожидавших начала лова.

Прошло десять дней.

По сведениям, поступавшим с Дальнего маяка, неприятельская эскадра росла - чуть ли не каждый день подходили новые суда.

Мартынов ждал врагов без страха.

Хотелось посмотреть им в глаза в ту минуту, когда они поймут, что и на этот раз Петропавловск победил, когда их поразит окрестная тишина и покой, когда над ними посмеются опустевшие дома и оголенные стропила. Хотелось увидеть врагов, которых победил и он, опередив в стремительном беге на тысячи и тысячи верст.

Может быть, эскадра уйдет, даже не заглянув в Петропавловск? Может быть, им стало известно об уходе камчатской флотилии и они намерены отправиться в погоню, пренебрегая оставленным портом? В это не верилось, но необъяснимой казалась Мартынову и медлительность неприятеля.

Восемнадцатого мая эскадра вошла в Авачинский залив и приблизилась к малому рейду, обстреливая пустующие батареи.

Когда английский флагманский фрегат, буксируемый "Барракутой", проник в Петропавловскую бухту по узкому проходу между Косой и Сигнальным мысом, Мартынов ушел в уцелевшее здание портового управления.

Пусть они придут к нему.

Через час Степан, приоткрыв двери, сообщил есаулу:

- Идут! Золота, блеска... а-а-а!

Но прежде чем перед Мартыновым засверкало золотое шитье парадных мундиров, в окнах его кабинета показался черный дым, поднимавшийся в разных концах порта.

Зловещий дым пожаров, зажженных неприятелем, заволакивал небо. III Трудно передать чувство, овладевшее контр-адмиралом Брюссом, когда он обнаружил истинное положение вещей. Изумление, граничащее с недоверием к тому, что произошло, ярость, бешенство, жгучий стыд за трусливое отсиживание на кораблях в нескольких милях от Петропавловска покрыли лицо Брюсса зловещей бледностью. Он старался не смотреть в глаза подчиненным офицерам. На протяжении минувших десяти дней они не раз предлагали напасть на порт и теперь в душе смеялись над адмиралом.

В ногу с крохотным Брюссом - а меньше его в Англии был только отвратительный гном лорд Россель - шагал Никольсон, капитан фрегата "Пик", лишенный орденов за экспедицию прошлого года. Хотя Никольсон с виду был мрачен, Брюсс понимал, что капитан "Пика" злорадствует. Может

быть, смуглому красивому офицеру еще утром хотелось настоящего боя, подвигов, которые вернули бы ему расположение лордов и адмиралтейства. Но увидев пустынный порт, одураченного Брюсса, английскую эскадру, побежденную без единого выстрела, одним лишь умом, военной хитростью, он возликовал. Пусть знают на Темзе, что с русскими не так-то легко воевать. Адмирал принужденно улыбнулся Никольсону.

- Как вам нравится, капитан? Они, кажется, приняли меня за Наполеона!

Шутка не вызвала оживления в группе офицеров, следовавших за адмиралом. Порыв ветра. Где-то сбоку хлопнула дверь. Все повернули головы. Никого. Только кошка, забытая в провиантском магазине, испуганно перебежала дорогу.

- В прошлом году здесь был ад, - сказал Никольсон. - Не только кошки, но и люди не показывались.

Брюссу не понравились эти воспоминания. "Нашел чем гордиться! Молчал бы уж лучше". Но нельзя и виду показать, что сердисься. Лучше обратить все в шутку.

- В прошлом году русские приняли вас, мой храбрый капитан, за Наполеона... при Ватерлоо, - закончил адмирал, выдержав расчетливую паузу.

Эту шутку встретили гораздо живее. Никольсона не любили.

Брюсс изучал в трубу маленький городок, избы, крытые травой и позеленевшими от времени досками. Кто-то вошел в открытые двери церкви. Вероятно, священник. Большой дом на взгорье, по-видимому, тоже пуст. На крыльце и в окнах никого.

Но вот из-за угла провиантского магазина выкатилась толстая фигура и направилась к ним, открыв объятия. На мясистом лице играла лъстивая улыбка.

- Добро пожаловать! Добро пожаловать! - кланялся человек.

Брюсс по произношению узнал американца.

- Кто такой? - строго спросил адмирал.

- Чэзз. - Он зажмурил глаза не то от яркого солнца, не то от сверкания мундиров. - Хозяин пушной лавки в Петропавловске.

Чэзз семенил около офицеров, побрякивая от удовольствия и заглядывая военным в глаза.

Переводчик? Он сам справится с этим делом. Он познакомит их с храбрым молодым офицером, которому они обязаны этой тишиной и безлюдьем. В три месяца, как одержимый, прискакал из Иркутска с приказом о снятии порта.

- Пусть господин адмирал не смотрит так недоверчиво, - уверял купец. - Да, в три месяца! Я и сам поставил бы сто долларов против одного, что такой вояж

невозможен. Но, господа, он очень энергичный молодой офицер. Не успел отлежаться в госпитале - и сразу же под венец, - хихикнул Чэзз.

Густой дым стлался над заливом. Горели фашины Кошечной батареи, бревенчатые укрытия. Вспыхнул магазин Российско-Американской компании и стоящий рядом жилой дом. Матросы разрушали брустверы ближних батарей.

Подходя к крыльцу портового управления, Брюсс уже знал от Чэзза все, кроме пункта назначения камчатской флотилии. Его не знал и Чэзз. Зато еще до встречи с Мартыновым Брюсс имел возможность отправить винтовой пароход "Энкаунтер" за спрятанным в Раковой бухте "Аяном".

Есаул встретил Брюсса в нарочито небрежной позе, в шинели, накинутой на нарядный чекмень, в папахе с выбившимися из-под нее прядями. Мартынов, Степан Шмаков и несколько находившихся здесь казаков стояли тесной группой. После залитого солнцем порта в темноватой комнате трудно было различить лица русских, еще труднее определить, кто из них старший. Но приглядевшись, Брюсс выделил среди казаков Мартынова, поняв по решительному и напряженному выражению лица есаула, что дело придется иметь с ним.

- Господин Мартинкофф? - спросил адмирал у Чэзза.

- Так точно! - подтвердил Чэзз. - Храбрый, решительный молодой человек!

Мартынов метнул на Чэзза раздраженный, непонимающий взгляд.

- Спросите у господина Мартинкоффа: почему он не предлагает мне сесть?

Купец перевел:

- Господин адмирал недоволен вашим приемом. Почему вы не предлагаете ему стул?

- У нас нет стульев, - пожал плечами Мартынов. - Их увезли на судах...

В самом деле, стулья из комнаты вынесены. Вдоль стены стояли две длинные скамьи.

- ...Кроме того, если господин адмирал считает хозяином порта меня, невозмутимо продолжал есаул, - и ждет от меня знаков уважения, зачем он позволяет своим людям бесчинствовать здесь?

В порту раздавались беспорядочные выстрелы. Черные космы дыма резко обозначались на голубом небе.

Брюсс немного успокоился. Маленькое лицо стало похоже на жесткую, крашенную охрой маску.

Одну скамью перенесли на середину комнаты, и контр-адмирал осторожно уселся.

- Это право победителя! - Он кивнул на окно, снял фуражку и пригладил

редкие, словно приклеенные к черепу волосы.

- Нельзя победить мирное, незащищенное поселение, - возразил Мартынов. - Его можно разрушить, разграбить, сжечь. Но победить невозможно, как невозможно даже на многих судах увезти чужую землю.

Еще до того как Чэзз перевел слова Мартынова, по резкости, с какой они были произнесены, Брюсс понял, что перед ним упорный противник.

Он пристально взгляделся в энергичное, нахмуренное лицо есаула. За долгие годы жизни Брюсс научился довольно точно сортировать человеческие типы, характеры. Среди мужчин, приходивших наниматься во флот, он безошибочно различал отцов семейства, замученных нуждой и домашней канителью; романтиков, которые сбегут с корабля в первом южном порту; молодчиков, предпочитающих палубу тюрьме. Брюсс всегда хвалился тем, что даже на Востоке, где многим его коллегам видятся сотни одинаковых масок, он различает индивидуальные черты, характеры, психологические группы.

Теперь перед ним стоял рослый, красивый мужчина, и Брюсс затруднялся отнести его к какой-либо из изученных им категорий. Упрямый взгляд умных карих глаз обещает разумную и сильную волю. Да и держится он слишком независимо для сложившейся ситуации. Но чувствует ли он юмор? Есть ли у этого, по всей вероятности храброго офицера широта воззрений и интерес к психологическому миру противника - то, что адмирал считает непременным свойством цивилизованного человека?

- Ничего не поделаешь, - сказал Брюсс с притворным сожалением, - люди слишком обозлены. Они долго ждали этой минуты.

- Да, господин адмирал, слишком долго!

Брюсс нахмурился.

- На эскадре немало людей, посетивших эти воды в прошлом году, можно понять их нетерпение.

- В прошлом году их встретили еще менее любезно, - поддержал адмирала Мартынов. - Я здесь человек новый и с интересом взглянул бы на ветеранов Камчатки. Говорят, в Англии недовольны ими и даже лишили их наград?

Мартынов говорил в сочувственном тоне, но едва Чэзз перевел эти слова, как Никольсон, стоявший за спиной Брюсса, почувствовал неудержимый порыв злобы. На его мощной груди, достойной служить моделью для портняжных мастерских морского ведомства, - хоть шаром покати. И русский офицер, как будто нарочно, не сводит с него глаз.

- Во всяком случае, - сказал Брюсс, - можете быть уверены, что никому из ваших людей не будет сделано вреда.

- Об этом мы сами позаботились, господин адмирал.

- Где ваши суда? - спросил Брюсе с неожиданной резкостью.

- Они ушли.

- Куда? Я заставлю вас говорить!

Мартынов помрачнел. Он сделал резкое движение, и шинель, сползшая с правого плеча, упала на пол. Только теперь Брюсс заметил, что у есаула нет руки, что в его сильной фигуре есть что-то совсем молодое, юношеское. Есаул остановил Степана, попытавшегося набросить ему на плечи шинель.

- Я нахожу подобный вопрос большой неделикатностью со стороны господина адмирала. Разве в британском флоте отсутствует понятие о чести? Переведи точно! - прикрикнул Мартынов на Чэзза.

- Мне многое о вас известно, - Брюсс снова изменил тон на мягкий, почти дружеский. - Необыкновенный подвиг! Счастье, обретенное в этом диком крае... Я восхищаюсь вашим мужеством.

Если бы он знал, как пошло звучали в устах Чэзза его слова, содержащие, по мысли Брюсса, максимум благородства и терпимости! Купец заикался под презрительным взглядом есаула.

- Я сделал только то, что сделал бы всякий русский, преданный родине, - сдержанно ответил есаул. - Я потерял руку - многие отдали жизнь за Россию. Вы ничего не узнали бы от меня, если бы мне и был известен пункт назначения эскадры. Но он неизвестен мне, господин адмирал. Направление судов должно было решиться с выходом в океан. В зависимости от попутного ветра. Ситха, Охотск, Аян и даже американские порты - весьма возможные пункты. Еще толковали о Батавии, об Анадыре, а также о гостеприимстве короля Сандвичевых островов.

Брюсс засмеялся звонким, дребезжащим смехом, будто рассыпалась горсть монет и они покатались в разных направлениях.

- Сразу видно, что вы не моряк. Эскадра, обремененная женщинами и детьми, не станет шататься по морю.

- Контр-адмирал Завойко весьма осторожный человек. Он не сказал ничего определенного, полагая, что вы окажетесь слишком настойчивы.

- Я хотел бы верить вам, - миролюбиво промолвил Брюсс. Затем, будто между прочим, спросил: - Где теперь находится китобойное судно "Аян"?

- Не знаю.

- Оно должно находиться здесь.

Чэзз предусмотрительно перевел:

- Встречные китобои сказали мне, что "Аян" в Петропавловске.

- Не может быть! - Мартынов удивленно переводил взгляд с Брюсса на Чэзза.

- "Аян" по пути в Петропавловск не встречался ни с кем. Судно покинуло

гавань ночью третьего дня и, воспользовавшись темнотой, проскользнуло мимо вашей эскадры.

Это - слишком! Он не только обманывает английских офицеров, но и бросает им обвинение в недостатке бдительности. Гнев, сотрясавший тщедушное тело Брюсса, когда он впервые высадился на русский берег, снова овладел им.

- Я приказал привести "Аян". За ним послан пароход в эту... ну-у... Мистер Чэзз, куда послан пароход?

Под взглядом Мартынова лицо купца становится фиолетовым.

- В Раковую бухту, сэр, - проямлил он, испуганный тем, что английский адмирал так любезен с этим казаком.

Брюсс злорадствовал:

- Что вы ответите на это?

- Вам повезло, сэр, - брови Мартынова зловеще сошлись на переносице. - У вас хороший переводчик.

Брюсс недоумевал. Что это? Наглость, мальчишество, безрассудное упрямство? Даже избалованный, прижатый к стенке русский офицер держится независимо и гордо. Странная порода! Русские, которых он наблюдал в Лондоне, дипломаты, помещики, сорившие деньгами, не представляли собой ничего загадочного, ничего из ряда вон выходящего. Откуда же это? Много ли таких в России?

Адмирал поднялся. На первый раз хватит. Услужливые руки английских офицеров убрали скамью.

У дверей он повернулся и посмотрел на Мартынова в упор, с выражением непреклонной решимости.

- Доставьте мне флаг Петропавловска. Он по праву принадлежит нам.

- Флаг нужно взять в бою, - ответил Мартынов, выходя из-за стола. Попробуйте, господин адмирал! Он находится там же, где и фрегат "Аврора". Очень сожалею, но ничем не могу отблагодарить любезных офицеров, сдавших нам в бою на Никольской горе знамя Гибралтарского полка.

Брюсс не дослушал Чэзза до конца. Дробно застучали адмиральские каблучки по ступенькам.

- Ну, Степан, - сказал Мартынов, тяжело переводя дыхание, - а ты говорил: "Золото-о-о, блеск!"

- Эх, Алексей Григорьевич! - Степан мотнул головой. - Не зря мы с вами горе хлебали. Теперь и я скажу: не зря!

Маша ждала мужа дома, тревожно прислушиваясь к беспорядочным выстрелам в порту. IV Петропавловск горел.

Особенно усердствовали англичане с "Пика", с корвета "Тринкомали" и

линейного корабля "Монарх". Казалось, они хотели продлить удовольствие: всякий день пожары возникали в новом месте. Они жгли избы, выгоняя на улицу женщин и стариков, не успевших бежать из Петропавловска. Пьяные оравы глумились над камчадалками, грабили уцелевшие дома. Молодчики Никольсона подожгли пустующее здание казначейства, казармы, баню, пекарню, провиантский магазин, уничтожили морскую аптеку.

Пользовались щедрым кредитом Чэзза и, напившись, отправлялись на береговые батареи, вытаскивали уцелевшие фашины, бревна и жгли гигантские костры, распевая непристойные песни попеременно с "Правь, Британия!".

Никто не мог или не хотел сказать им, куда ушла камчатская флотилия. Молчали русские. Молчали камчадалы, на которых Никольсон пытался повлиять угрозами, насилием и ромом.

Неприятельская эскадра действовала без твердого, разумного плана. Пароходы таскали на буксире фрегаты то в малую бухту, то из нее. Время от времени какой-нибудь корабль уходил из Авачинской губы и вскоре возвращался, словно испугавшись чего-то в океане.

Колесный пароход привел отысканное в Раковой бухте судно "Аян". Голые мачты китобоя нагоняли тоску на Чэзза. Купец посоветовал Никольсону найти почтмейстера. Он должен знать, куда ушла "Аврора".

Но Трапезникова в Петропавловске не оказалось, а отряжать в глубь страны матросов англичане боялись, помня, как метко стреляют местные жители.

Перед уходом из Петропавловска англичане зажгли "Аян". Адмирал Брюсс, неотлучно пребывавший на борту флагманского фрегата "Президент", еще раз сошел на берег, на этот раз для размена пленных.

Узнав от Чэзза, что на Камчатке остались пленные после кампании прошлого года, Брюсс потребовал было доставить их на корабли, но Мартынов наотрез отказался. Он заявил, что доставит пленных - англичанина и француза - "из далекого камчатского селения Авача..." только при том условии, что адмирал освободит русских матросов, находящихся, по имеющимся у него сведениям, на "Форте". Брюсс подумал и согласился.

Слух о размере распространился еще с вечера. Виллиама Гарланда, матроса с "Пика", и Пьера Ландорса перевели в один из домов ближе к берегу.

Харитина первой была в порту. Она и раньше приходила сюда по вечерам, когда труба горниста и корабельные колокола загоняли неприятельских матросов на суда. Тишина охватывала порт. Пахло гарью. Харитина садилась на одном из ящиков или пустых бочонков, в беспорядке валявшихся по берегу, и молча наблюдала за огнями на рейде.

Девушка дольше всех оставалась на берегу, и люди уже знали, кого она ждет, о чем печалится, хотя никто и не помнил матроса, никто не знал его имени.

"Аян" горел споро. Огонь жадно лизал палубу, срывал дубовые доски обшивки, обрушил горящую мачту за борт, вздыхал и ухал, вырываясь из трюмных помещений на воздух. Огромные головни падали в воду с густым, громким шипением.

Ветер гнал дым на берег, на людей, ждавших в назначенном месте контр-адмирала Брюсса и пленных аврорцев.

Привели Гарланда и Ландорса. Француз приветливо кланялся окружившим его людям, помахивал матросской шапкой и прикладывал ее то к сердцу, то к глазам, в знак того, как он будет тосковать по ним. Гарланд оставался таким же неподвижным, целиком ушедшим в себя, как и в первый день плена.

Подошли две шлюпки с "Президента" - адмиральская и шлюпка с пленными матросами. Харитина закрыла глаза от волнения и почувствовала, что ее ласково взяли за плечо. Позади стояла Маша с лицом таким же бледным, как и в тот день, когда они встретились на батарее Дмитрия МаксUTOва.

- Успокойтесь, - шепнула Маша и, скользнув ладонью по руке, крепко сжала ее в кисти.

Маленький адмирал важно шагал впереди. За ним офицеры и группа матросов, окруживших пленных.

Сердце Харитины дрогнуло, хотя она еще не видела никого из русских. Но Семен такой высокий. Если бы он был там...

Матросы приближались. Между красными куртками уже мелькали растерянные лица пленных.

Маша обняла девушку. В маленьких руках ощущалась сила, которой Харитина безропотно подчинилась.

Вторая мачта "Аяна" упала и, ударившись о борт, полетела в воду.

Процедура размена длилась недолго. Гарланд и Ландорс шагнули вперед.

- Виллиам Гарланд! Фрегат "Пик"! - выкрикнул матрос с "Пика".

- Ваш? - спросил Брюсс у Никольсона.

- Мой...

Капитан "Пика" был недоволен. Он не рассчитывал найти здесь своего матроса. Ладно! Если русские не досадили этому паршивцу и он выглядит так, словно только что собрался на Пикадилли, Никольсон сумеет объяснить ему, что значит побывать в плену у неприятеля. Он не раз пожалеет о том, что не бросился вниз головой с утесов Никольской горы, когда еще представлялась такая возможность.

- Пьер Ландорс! Фрегат "Форт"!

Матросы хотели идти, но Мартынов задержал их.

- Нет ли у вас жалоб? - спросил он. - На обхождение, на пищу?

- No!* - ответил без раздумья Гарланд.

* Нет. А Ландрос рассмеялся, завертел головой, как будто воротник тер ему шею, и сказал:

- Есть!

Брюсс оживился:

- Говори, парень, говори...

Ландорс продолжал по-русски:

- Ви сделалъ мне боль... сердечный боль... Ви все такой короший, такой... такой дружок... Я буду всегда вспоминаль...

Он помахал на прощанье своей шапчонкой.

Из группы английских матросов вышел вперед Зыбин. Он отдал честь Мартынову и отапортовал:

- Матрос первой статьи Зыбин, с фрегата "Аврора". Вернулся на службу, ваше благородие.

Подошел и Ехлаков.

Мартынов взглянул в бумажку, которую держал в руке.

- По моим сведениям, господин контр-адмирал, - сказал он, - на плашкоуте было взято четверо матросов. Один из них, Киселев, умер от побоев на палубе фрегата "Пик". Двое здесь. Не хватает матроса Удалого.

Брюсс открыл было рот, но закашлялся - дым снова пополз на берег. Наконец он выдавил из себя со странной гримасой безгливости и лживого благочестия:

- Этот матрос умер. Он сам наложил на себя руки...

Был воскресный день. На церковной колокольне ударил колокол, размеренно, неторопливо. Брюсс удивленно поднял голову, удивляясь тому, что не все еще разрушено, не все безмолвно и мертво. А ведь ему говорили, что французы-католики разграбили церковь. Беда с этими французами! Ничего толком не сделают...

Зыбину показалось обидным, что Чэзз, переводивший слова Брюсса, назвал мужественную гибель Семена самоубийством.

- Брешут они, ваше благородие! - Зыбин резким движением сорвал фуражку с головы. - Удалой погиб геройской смертью при входе эскадры в губу.

И, подождав, когда удалятся англичане, Зыбин рассказал притихшим петропавловцам о подвиге Удалого.

Мартынов обнажил голову, и все стоявшие вокруг сделали то же.

Люди смотрели на залитый солнцем залив, будто ждали, что из прозрачной воды вынырнет озорной Семен и сильными саженками поплывет к берегу. Смотрела и Харитина, и на побледневших ее щеках высыхали два узеньких ручейка.

Неприятель поднимал в ростры баркасы и шлюпки.

К вечеру со свежим попутным ветром эскадра покинула залив. V Маленький адмирал, занимавший на "Президенте" ту самую каюту, где раздался выстрел Дэвиса Прайса, о самоубийстве не помышлял, хоть и понимал, как мало чести принесут ему рапорты, отправленные в Лондон.

Сбитый с толку разноречивыми сведениями петропавловских жителей о месте, куда направилась камчатская флотилия, он отрядил часть судов в Японское море, сам же взял курс на Ситху, надеясь найти там Завойко.

Брюсс меланхолически перебирал копии депеш, отправленных с петропавловского рейда. Все депеши адресовались секретарю адмиралтейства.

"Сэр! - просматривал он свои донесения. - Имею честь уведомить Вас, для сообщения лордам адмиралтейства, что по прибытии моем в Петропавловск 18 мая я нашел его совершенно покинутым: там не осталось ни одного человека, ни одного судна, ни одной пушки; виднелись только пустые амбразуры батарей и оставленные дома".

Депеша, отправленная ранее, еще до высадки на берег, теперь казалась ему несколько опрометчивой. Кроме того, он уже доносил о своем прибытии к берегам Камчатки 8 мая; в адмиралтействе, несомненно, заинтересуются, где находились суда эскадры в течение десяти дней.

Проклятый вулкан! Проклятая земля!

А вот и вторая депеша, но более дельная и энергичная.

"Я нашел скрытого в Раковой бухте русского китолова на 400 тонн. Имя его "Аян", судно строено в Або в 1853 году. Оно должно было плыть в порт Аян с семейством губернатора и с небольшой машиной для предполагавшегося там парохода; но, - Брюссу самому неловко перечитывать это место, ...своевременное прибытие судов нашей эскадры воспрепятствовало его отплытию. Судно покинуто без якорей, парусов, шлюпок. Оно будет уничтожено".

Верно. Сожгли.

Странно, почему было так много дыма; судно новое, оно могло гореть и лучше...

Седьмого июля суда Брюсса появились в виду Ситхи и не нашли здесь

камчатской флотилии. Адмирал огорченно вздохнул и излил на бумаге остаток своих камчатских впечатлений:

"Сэр, прошу Вас уведомить лордов адмиралтейства, что перед уходом моим из Петропавловска я успел по поводу освобождения из плена двух человек, взятых в прошлом году, войти в сношение с капитаном Мартинкофф, временным губернатором края, центр которого перенесен отсюда... - Брюсс задумался и решительно написал: - вовнутрь страны. В доставленных нам пленных мы узнали матросов Виллиама Гарланда с нашего фрегата "Пик" и Пьерра Ландорса с французского фрегата "Форт". По-видимому, с пленными русские обходились весьма хорошо".

Больше адмирал Брюсс не смог сообщить лордам адмиралтейства ничего утешительного. Адмирал вспомнил еще тучного американца, которому есаул Мартинкофф приказал убраться из Камчатки. Купец умолял Брюсса дать ему убежище на корабле, ползал на брюхе, клялся, что Мартинкофф казнит его, как только эскадра оставит Петропавловск. Брюсс остался равнодушным к причитаниям янки, но тот попал каким-то образом на борт "Тринкомали".

"Чего не сделают деньги!" Адмирал сокрушенно вздохнул и, морща лоб, силился вспомнить, как звали купца, но не вспомнил и только махнул рукой.

В АМУР!

На "Оливуце" ждали Невельского.

Только что дали знать о его прибытии в Де-Кастри, Изыльметьев едва успел перебраться с "Авроры" на флагманский корвет, а от берега уже спешила шлюпка с прославленным начальником амурской экспедиции.

Завойко не скрывал охватившего его радостного волнения. Даже Иван Николаевич, всегда сохранявший невозмутимость, проявлял нетерпение.

Оба знали Невельского, Изыльметьев - по Петербургу и Кронштадту, Завойко - со времени прихода его в этот край на транспорте "Байкал". Оба давно оценили незаурядную натуру Геннадия Ивановича Невельского. Человек с умными, молодыми глазами, поблескивавшими из-под мохнатых бровей, он располагал к себе. Одержимость ученого, ровный, товарищеский тон в отношении с подчиненными, умение сохранить над ними власть не одним авторитетом мундира, а силой ума, убеждения, вселяли веру в успех его начинаний.

Невельского ждали с особым нетерпением. Он, старожил амурского лимана, изучил местные условия лучше гиляков, проживших на этих берегах целую жизнь. Кто лучше его знает условия весеннего плавания в лимане? Кто точнее сможет сказать им, когда освобождается от льдов южная часть

Татарского пролива, между мысом Лазарева и заливом Де-Кастри?

Невельской устало поднялся по трапу.

- Вас-то нам и надо, голубчик! - бросился к нему навстречу Завойко. Сам господь прислал вас!

- Если это так, - пошутил Невельской, пожимая руки ему, Изыльметьеву и командиру "Оливуцы" Назимову, - то он мог бы позаботиться о лучшей дороге. От озера Кизи мы добрались в Де-Кастри по колено, по пояс в воде и снегу.

Изыльметьев не сводил глаз с Невельского. Невельской очень изменился, постарел. Небольшая лысина делала еще более высоким его чистый, покатым лоб. Проседь перекинулась с висков на густые, падающие книзу усы. В облике его заметна и физическая и нравственная усталость - результат трудных, изнурительных лет борьбы. Но взгляд темных глаз по-прежнему оставался живым и острым.

- Что, очень изменился? - спросил Невельской, поглаживая небритую щеку.

- Да, - признался Изыльметьев, - видно, нелегка слава российского Колумба. Лоб Невельского прорезала глубокая, тугая складка. Он словно ушел в себя, о чем-то задумавшись.

- Что неприятель, господа? - спросил он, но, почувствовав, что слишком круто перешел на другой, деловой тон, поспешно добавил: - Подумать только: третьи сутки извещен о вашем прибытии, прослышан и о приходе неприятеля, но о последствиях ничего не знаю! Встречаю нарочных, семейства, отправленные вами в Мариинск, - никто ничего толком не знает. Каков неприятель? Число судов? Знаю только из газет, что для уничтожения наших кораблей собрана сильная паровая неприятельская эскадра. Вот и представьте себе мое состояние... Я захватил с собой поручика Попова с подробными картами лимана - и немедля к вам.

Выслушав рассказ Завойко о появлении трех английских судов и перестрелке между "Хорнетом" и "Оливуцой", Невельской задумался.

- Англичане в нынешней компании не раз изумляли нас несообразностью своих поступков, - говорил Завойко так, будто хотел сообщить мыслям Невельского определенное направление. - То, что произошло здесь, превосходит наше разумение. Сильный противник побоялся напасть на нас. Суда на наших глазах ушли из Кластер-Кампа в море. Мы опасаемся какой-нибудь хитрости...

Принесли сухое платье. Невельской быстро переоделся в соседней каюте.

- Думаю, - сказал он, вернувшись, - что уход неприятеля в море не хитрость, а ошибка. Если и хитрость, то ее нетрудно разгадать.

- Неприятель ушел за подкреплением, - предположил Изыльметьев. - Он предпочитает действовать с многократно превосходящими силами.

- Несомненно, - поддерживал его Невельской. - Цель ухода может быть только такова. Другое дело, какое именно судно они отрядили за помощью, где находится английская эскадра и как скоро она придет на помощь нерешительному командиру. Расчет англичан прост: в море мы выйти не можем, - там курсируют их суда, а на подходе новые и, надо полагать, немалые их силы. Ну а лиман... - он сделал паузу, и лукавая улыбка скользнула по усталому лицу, - у них о лимане свое представление, господа. На морских картах англичан и французов на всем протяжении Татарского пролива не показано ни одной гавани. Берег обозначен как сплошь скалистый, неприступный. Сахалин соединен с матерым берегом песчаным перешейком, следовательно, речь по-прежнему идет об обширном заливе, из которого эскадре некуда уйти. Англичане спокойно ждут своего часа...

Изыльметьев спросил, глядя в сосредоточенное лицо Невельского:

- Позволят ли нам льды войти в лиман, прежде чем у Кластер-Кампа появится усиленная эскадра неприятеля?

Невельской не спешил с ответом, еще и еще раз обдумывая все, что касалось плавания в лимане - ветров, извилистого фарватера и очень сильного течения.

- Да-а-а! - сказал он. - Удивительно, господа, как соединяется в англичанах дух предприимчивости, коммерческая энергия с непостижимым ретроградством! Сколько времени спуют их шпионы вокруг Амура, но пока не случится нечто из ряда вон выходящее, пока чести британского флота не будет нанесен ощутимый удар, никто в Лондоне не пошевелинется, чтобы исправить ошибку морских карт. На сей раз и Петербургу, кажется, удалось сохранить наш секрет. - И без видимой связи со всем сказанным обратился к Завойко: - Василий Степанович! Я не видел вашей семьи в Мариинске...

- Они остались на Камчатке.

- Остались?! - поразился Невельской.

- Десять человек детей, мал мала меньше... Куда с ними, Геннадий Иванович, в такую пору, в весеннюю распутицу!

Изыльметьев удивленно посмотрел на Завойко: почему он не говорит главного? И словно предупреждая возможный протест Ивана Николаевича, Завойко добавил:

- Так мы порешили с Иваном Николаевичем. Жив буду - успею взять жену и деток. Помру - добрые люди не оставят их своими заботами.

Невельской легко оттолкнулся от переборки и, вобрав голову в плечи, стал

ходить по каюте.

- Да... - протянул он задумчиво. - Я покажу вам подробные карты лимана. - Он обратился к Назимову: - Пошлите за поручиком Поповым.

Пока Невельской говорил, явился Попов и разложил на рабочем столе карты. Невельской, до этой минуты не обращавший внимания на еду, стал с аппетитом есть ломти холодного мяса, запивая их большими глотками чая.

- Южная часть лимана, - говорил он, - иногда бывает совершенно чиста к пятому-шестому мая, а иногда затерта льдами до пятнадцатого. Это зависит от ветра: если дуют южные ветры, то южная часть лимана бывает чиста в начале мая. При северном, наоборот, лед держится значительно дольше, до середины месяца.

Изыльметьев и Завойко переглянулись: все дни дул холодный северный ветер.

- ...К сожалению, дуют северные ветры, - продолжал Невельской, - льды могут прижать суда к банкам на трудном, извилистом фарватере и раздавить.

- Следовательно, вы считаете, что из Де-Кастри уходить нельзя? взволнованно вставил Назимов, как человек, который долго искал единомышленника и наконец нашел его. - Надобно оставаться здесь, изготавиться к бою и драться до последней крайности?..

Невельской, покачав головой, заметил:

- Оставаться в Де-Кастри нельзя.

- Но если в проливе льды - верная гибель?!

- Мы послали в лиман лейтенанта Пастухова на вельботе, - сообщил Невельскому Изыльметьев, - разведать состояние льдов. Пастухов - сведущий, способный офицер.

- Хорошо, господа, - промолвил Невельской. - Я предлагаю потребовать на корвет всех командиров для военного совета. Тем временем может вернуться посланный офицер. Совет собрался в кают-компании "Оливуцы". Пастухов не возвращался. Назимов и командиры транспортов образовали единодушную партию, отвергавшую предложение о немедленном выходе из Де-Кастри. Они предпочитали оставаться у неприветливых, скалистых берегов.

Назимов изложил свою позицию в специальной записке и теперь, горячася и запинаясь, читал ее совету:

- "Я предлагаю немедленно приступить к выгрузке судов, оставив на них только артиллерию, снаряды, команды и необходимое продовольствие. Если атака последует силами трех судов - принять сражение и защищаться до последней крайности. Если эскадра усилится, - Назимов сделал паузу, прежде чем перейти к самому главному, - то, как только она будет хорошо

видна, надлежит свезти на берег, с ружьями и военными патронами, с "Авроры" и "Оливуцы" три четверти, а с транспортных судов - все команды, за исключением необходимого числа для затопления судов. Затем допустить неприятеля на пушечный выстрел, стараться нанести ему такой вред, какой будет возможен. Потом суда зажечь, команды свезти, забрав ружья со всеми боевыми патронами..."

Кончив читать, капитан "Оливуцы" протянул Завойко свое письменное мнение.

- Итак, вы предлагаете пожертвовать флотилией? - спросил Изыльметьев.

- Сражаться до последней крайности! - воскликнул Назимов.

- Ждать, пока англичане придут сюда в многократно превосходных силах, - а в этом можно не сомневаться; зажечь собственные суда, а затем отдать в руки неприятеля все, что мы успеем выгрузить на берег? Изыльметьев пожал широкими плечами и повысил голос: - Быть может, неприятель оставил нам для размышления не дни, а часы. Если он в Хокадато, можно с часу на час ожидать появления его эскадры. Мы не успеем даже приступить к выгрузке.

- А если невозможно идти в лиман? - упорствовал Назимов. - Ведь и Геннадий Иванович полагает, что южная часть лимана заперта льдом. И, несмотря на это, все-таки в лиман?

Невельской поднялся.

- В лиман, в лиман, господа, - резко сказал он, - и как можно скорее! Действительно, это сопряжено с риском, однако риск лучше верной гибели. Судя по свежим северным ветрам, в лимане еще много льда. Необходимо постараться пройти к мысу Екатерины, за первый бар, и там ожидать возможности входа в лиман, к мысу Лазарева, под прикрытие батареи Бутакова. Мы здесь кое-что успели сделать, хоть и тщетно ждали из Иркутска ответа на наше письмо. Без карт, без опыта неприятелю нелегко будет пройти к мысу Екатерины по узкому фарватеру, среди бесчисленных банок. В случае же нападения эскадры неприятеля, согласно справедливому мнению господ командиров, бороться до последней крайности и при несчастье взорвать суда, а кто спасется, тем от мыса Екатерины отступать на реку Амур, к селению Алом, с проводниками, которые там ожидают прихода нашей эскадры. Не ждать несчастья, а стараться его предотвратить.

Изыльметьев горячо поддержал Невельского.

- В продолжение нынешней кампании на Тихом океане, - заметил он, англичане не раз давали пример странной нерешительности. Было бы непростительно не воспользоваться их новой оплошностью и ждать неминуемого возвращения эскадры. В лиман! Только в лиман!

Ждали решения командира флотилии.

- Геннадий Иванович прав, - коротко заключил Завойко. - Завтра снимемся с якоря. На рассвете постараемся пройти к мысу Екатерины...

Вопрос решился.

После подробного объяснения пути из Де-Кастри к амурскому лиману командиры судов ушли с поручиком Поповым для тщательного изучения карт. Медлительным транспортам предстояло идти вперед, под прикрытием "Оливуцы" и "Авроры".

- Назимов горяч, - промолвил Завойко, едва дверь каюты закрылась за ним, - а "Оливуце", как назло, не удастся участвовать в сражении.

- Увы, Василий Степанович! Назимов лишь высказал прискорбное мнение, господствующее среди многих начальствующих лиц. - Выражение лица Невельского сделалось суровым, непреклонным. - Эти воспитанники красносельских лагерей и Марсова поля, баловни судьбы, не могут себе представить, что война кончится здесь без свинца, без ядер, без крестов, чинов и отличий! Самая мысль, что победа наша и водворение в приамурском бассейне должны совершиться без шума и треска, им противна.

Геннадий Иванович доверчиво посмотрел в глаза собеседников.

- Трудно, трудно здесь. Но никакие жертвы не остановят нас. Год назад я потерял дочь. Тяжело мне видеть могилу нашей малютки на пустынной Петровской кошке. Тяжко это испытание, но что делать? Эта жертва была данью исполнению долга, направленного к благу отечества.

Лицо его вдруг озарилось приятной, застенчивой улыбкой.

- Завтра чуть свет - на "Аврору". Вспомню молодость... Я ведь плавал на ней молодым, Иван Николаевич.

- Об этом всегда напоминаю своим офицерам, - сказал Изыльметьев и добавил: - Не списываю вас с фрегата.

- Спасибо! Я верю, что "Аврора" первой из русских фрегатов войдет в Амур с океана. Это важно для всех нас, господа. В Петербурге не все наши враги сложили оружие, хоть и дарят нас новыми мундирами. На другой день подняли в ростры запасный рангоут, спущенный на воду при появлении судов Эллиота. Из-за северного мыса, лежавшего против Клостер-Кампа, вынырнул долгожданный вельбот Пастухова.

Пастухов принес радостную весть: в проливе на юг от Де-Кастри не видно неприятельских кораблей, а к северу, где он провел трое суток, фарватер свободен от льдов. Если в ближайшие часы не нагрянет английская эскадра, смелый план может увенчаться успехом.

Завойко потребовал на "Оливуцу" мичманов за приказаниями.

В полночь суда начали сниматься с якорей и вскоре, лавируя в темноте, ушли из залива.

Шли медленно, осторожно, опасаясь посадить на мель какое-либо из судов и задержать продвижение всей флотилии.

Нервы напряглись до крайности. Людям казалось, что они слышат, как сильные течения Татарского пролива ударяют в корпуса судов, как шумит вода на далеких перекатах, как дышит беспокойное море у них за спиной.

Впереди чернели транспорты, они торопились как можно дальше уйти на север. За транспортами следовал корвет, а в арьергарде колонны - "Аврора", изготовившаяся к бою. На круглой корме фрегата установлено пять пушек.

Светаёт. Изыльметьев в окружении офицеров стоит у кормы и в трубу наблюдает за морем. Густой туман скрывает от него вход в бухту Де-Кастри и мыс Клостер-Камп.

Подле Изыльметьева Пастухов. Он вспоминает Перу, уход из Кальяо, тревожное ожидание погони. Сколько событий свершилось за этот год! Чем были тогда для Пастухова Амур, бухта с непривычным именем Де-Кастри, восточные берега России? Неведомая земля! А нынче это свой дом, земля, навсегда близкая, родная. Уже никогда не забыть ему этих суровых берегов и счастья, обретенного на них.

На шкафуте у борта стоит Вильчковский. Его близорукие глаза и при очках не различают ничего, кроме седой рассветной мглы, и в памяти невольно возникает туманная улица Лондона, комната, в которой шумно спорят поляк и мадьяр, итальянец и какой-то низкорослый швейцарец, вдохновенное лицо Герцена и его гордые, полные горечи, любви и веры слова о будущем России... "Будущее лучиной не осветишь..." - грустно улыбнулся Вильчковский, вспомнив предсмертные слова Цыганка. О них ему говорил Изыльметьев тогда же, в океане. Будущее России! Народ сделает это будущее прекрасным, каким и видел его великий изгнанник.

Туман уходит книзу. Позади, на горизонте, не видно ни чужих парусов, ни пароходного дыма. На марсах и саллингах ликуют часовые.

Впереди же ласково открывает людям свои материнские объятия земля; она прикрывает их высоким берегом с крутыми утесами и снежными горами, заслоняет песчаными отмелями Сахалина.

Скоро из-за острова покажется солнце, оно согреет продрогших за ночь людей.

ЭПИЛОГ

Ялutorовск.

Ивану Дмитриевичу Якушкину.

Из Николаевского поста на Амуре.

28 октября 1855 года.

От А. И. Зарудного. Милостивый государь Иван Дмитриевич!

Трудные обстоятельства здешней жизни помешали мне вовремя написать Вам. Тем охотнее делаю это сейчас, когда морская кампания нынешнего года окончена и о будущем этого отдаленного края можно говорить с большей уверенностью, чем четыре месяца тому назад.

Из моего короткого письма Вы уже знаете об успешном переходе нашей флотилии в амурский лиман. На днях к нам доставлена целая кипа американских и прочих газет, и так как я не был в Де-Кастри во время прибытия туда незадачливых английских моряков, то предоставляю слово очевидцам. Из моих выписок Вы увидите, как сильно задета гордость англичан, как много хлопот доставили им отважные наши командиры.

Вот отзыв одной из калифорнийских газет:

"Были взяты меры к решительному бою, и величайший восторг одушевлял союзную эскадру. Как офицеры, так и нижние чины намеревались смыть черное пятно со славного гербового щита их флота, нанесенное в прошлогоднем бесславном петропавловском деле, и не сомневались в успехе. (Еще бы! Сомневаться в успехе, имея целую эскадру против "Авроры" и "Оливуцы"!)) Уже суда были выстроены по диспозиции к атаке, как посланный вперед пароход убедился с досадою, которую легче вообразить, чем описать, что русские суда ушли.

Однако же союзники овладели дагерротипным женским портретом, ничтожным количеством провизии и разными мелкими принадлежностями женского туалета".

Для курьеза спешу добавить, что последнее совершенно верно. В качестве единственного трофея англичанам, которых нынче справедливо сравнивают с опереточными карабинерами, достались туалетные принадлежности г-жи Лыткиной, жены управляющего морской аптекой. Аптекарь не успел увезти свое хозяйство к озеру Кизи.

Теперь послушайте музыку другого сорта. Внемлите гневным воплям не на шутку рассерженной "Юнайтед сервис газет"!

"Удалением своим из Де-Кастри командор Эллиот способствовал уходу и спасению русских, и в этом он должен дать отчет отечеству. Хотя он сын пэра и зять благородного лорда, мы, однако, надеемся, что он не избегнет суда. В продолжение всей войны, кончившейся в 1815 году, не встречается подобного случая. Спрашиваемые с тогдашних адмиралов и капитанов отчеты

показались бы теперь пустыми и придиричивыми. В то время господствовало в британском флоте столь великое отвращение к пятну на чести офицеров, что простое подозрение в малодушии клеймило виновного в глазах всех, на всю жизнь. А сэр Джемс Стирлинг, вместо того чтобы заняться прямым своим делом, забавлялся в Японии достижением утопических договоров. Во всей истории британского флота не найти ничего подобного этому гнусному нерадению.

Нам больно рассматривать случай, касающийся чести британского флота и долженствующий быть непременно подвергнутым военному суду. Должно было отыскать неприятеля, будь он на воде или под водой, во что бы то ни стало. Должно было удостовериться, в какие отдаленнейшие заливы он скрыл свои суда. Это исчезновение целой эскадры из их глаз, так дурно рекомендуемое нашу бдительность, будет пятном на британском флаге. Все воды океана не будут в состоянии смыть это гнусное бесчестие".

И "Таймс" сердится на нашу нелюбезность:

"...Русская эскадра под командой адмирала Завойко переходом от Петропавловска в Де-Кастри и внезапным уходом из Де-Кастри нанесла нашему британскому флагу два черных пятна, которые не могут быть смыты никакими водами океанов вовеки".

Намереваются судить Стирлинга и Эллиота, требуют от них отчета о каждом судне нашей эскадры. Первое вполне в возможностях англичан: пусть судят нынешних Нельсонов и Коллингвудов. В минувшем году Прайсы и Депуанты, в нынешнем Стирлинги и Брюссы! Но и представ перед военным судом, они не смогут сказать ничего определенного о русских судах.

На этот счет французы высказались куда как откровеннее. Легковерный француз вовсе не желает скрывать своей растерянности.

"Мы теряемся в предположениях, - пишет "Журналь де Деба", - что случилось с русскими и их судами? Если бар не позволил союзным военным судам войти в реку, то как же могли русские провести свои? Вероятно, что они скрылись в какой-либо бухте Татарского залива. Русских не отгадаешь. Не сожгли ли они свои суда и не удалились ли в какую-нибудь крепость в верховьях Амура или в самую Сибирь?"

"Нет, господа, - хочется сказать им, - не ушли. Не сожгли. Не испугались ваших угроз! И не только не бежали в Сибирь, а заселяем понемногу новый край, построили в нем посты и казармы, воздвигли на суровых его берегах батареи, готовые достойно встретить вас, если, победив растерянность, вы пошлете новых адмиралов на новое бесчестие".

Как стаи некормленных гончих, метались неприятельские эскадры нынешним

летом по Тихому океану. Рыскали у Курильских островов, обшаривали берега Аляски, грабили побережье Охотского моря. Капитан Никольсон на "Пике" разорил компанейское селение на острове Уруп в Курильской гряде. Напали на Аян, на Охотск и другие пункты, воруя остатки материалов, которые мы не успевали зарыть. Доски и строевой лес в Аяне, имущество частных домов, три банки голландской сажи, два ржавых якоря - вот все, что присоединит история к захваченным англичанами принадлежностям туалета г-жи Лыткиной.

В бессильной ярости, они не раз возвращались к месту своего бесчестия, в залив Де-Кастри, и именно здесь бесславным десантом 9 октября закончились военные действия нынешнего года. Потеряв убитыми двенадцать человек, англичане, высадившиеся с "Сибила", "Энкаунтера" и "Хорнета", бежали на корабли и в течение двух недель бесцельно обстреливали берег Де-Кастри. Так и ушли несолоно хлебавши, потерпев поражение от семидесяти казаков при двух горных пушках. Достойное завершение тихоокеанской кампании!

Не скрою того, что торгующие американцы оказались дальновиднее морских офицеров королевы Виктории. Правда, сии завоеватели уповают не на гром пушек, а на обольстительный звон серебра, но они и преуспевают в своих начинаниях. Не успели мы обосноваться в Николаевском посту, а тут уже торгующие американцы свои склады устроили. Не оставляют они нас заботами, да и только!

Мы понемногу строимся. Возвели несколько казарм. В одной из них поместили походную церковь, снятую с фрегата "Паллада", и здесь, ко всеобщей радости, состоялось венчанье моего друга лейтенанта Пастухова об этом юноше я Вам уже писал - с девушкой, прибывшей из Камчатки вместе с семьей Завойко.

Я и раньше не любил засиживаться на одном месте, а теперь и вовсе потерял покой. Ношусь по острожкам и постам, которых не было и в природе еще нынешней весной. Скачу на лошадях, простужаюсь на лодках в холодном лимане, изучаю язык и обычаи гиляков - давнишних амурских жителей.

Кончилась моя тоска по Камчатке, кончилась и грусть, доказывая, сколь изменчива память человеческая. Капитан-лейтенант Максотов, назначенный здесь начальником Николаевского поста, шутит, что если я не уймуся, то мне придется подавать в отставку. Часто пишу Вильчковскому и его друзьям, этот человек многое изменил в моей жизни, за что и воздастся ему...

Камчатка тоже не загложнет.

Камчатский начальник Мартынов и его жена Мария Николаевна уже приняли

не одну семью новых поселенцев. Пусть удача не оставляет их. Это прекрасные, новые люди, их на нашей земле русской становится все больше. Ничто не остановит их, простых людей, готовых на любые жертвы во имя счастья нашего народа. Они будут бороться, идти к своей цели упрямо, мужественно, несмотря ни на что.

Юлия Егоровна Завойко рассказала нам трогательную историю девушки-посельщицы Харитины. Это она поила чаем артиллеристов на батарее Дмитрия МаксUTOва. Она потеряла в Камчатке суженого и навсегда осталась там. Нужно знать эту чистую, самоотверженную душу, чтобы до конца понять ее поступок.

Я потому тревожу Вас делами малоизвестных людей, что им, на мой взгляд, принадлежит главная роль в развитии и благоденствии этого края. Они и их дети обновят его, покроют берега Амура цепью поселений и станиц, протянут телеграфные линии, сдружатся с добросердечными местными племенами. Они построят обширные гавани, крепости и форты, над которыми всегда будут развеваться русские флаги..."

КОНЕЦ